

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (476)

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Станислав Бельский. Зазеркалье. *Стихи*.....3
Алексей Сальников. Опосредованно. *Роман*.....7
Ольга Брагина. «говорит и лучшие не вернутся с этой войны...» *и др. стихи*.....135
Елена Зейферт. Плавильная лодочка. *Карагандинская повесть*.....146
Данила Давыдов. «положим, я иду за ними...» *и др. стихи*.....193
Геннадий Каневский. «честные заборы и кюветы...» *и др. стихи*.....199
Татьяна Риздвенко. Симметрия. Животъ. *Рассказы*.....203
Владимир Тучков. «В Папуа – Новой Гвинее...» *и др. стихи*.....210
Павел Чхартишвили. Дневник Клишина. *Рассказ*.....215
Иван Белецкий. «Черная кошка...» *и др. стихи*.....234
Марина Бувайло. Истории из жизни Миганомии.....237
Алексей Александров. Это были торпеды добра. *Стихи из книги*.....279

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Боровиков. Про вино.....284

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Поэты антологии «Уйти. Остаться. Жить»: Ефим Зубков, Владимир Матиевский, Игорь Поглазов, Геннадий Лукомников, Игорь Бухбиндер, Михаил Фельдман, Анатолий Кыштымов. *Подготовка, предисловие Бориса Кутенкова*.....298

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Скатерть английской королевы.....308

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Соколовский. Черкизон
Наталия Черных. Неоконченная хроника перемещений одежды.....322

Ольга Бугославская. Мир – продолжение войны
Полина Жеребцова. 45-я параллель.....323

Андрей Пермяков. Дойти до самой жути
Татьяна Бонч-Осмоловская. Умножение сущностей: Статьи и рецензии; Татьяна Бонч-Осмоловская. Развилка: Повести и рассказы.....325

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея *(Продолжение)*.....334

© «Волга», 2018

Станислав БЕЛЬСКИЙ

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

***

географический казус:
слово не идёт вслед за словом
а рисует нотную линию
под ночной рубашкой

сторожевая почта
неумытая как детская ангина
но погоди – есть ли что-то вне фокуса
или это плещется пословица
в двуязычной ванне?

***

приманю как по нотам
искреннее невежество

лейтмотив угловат
и некогда оценить мятую сложность

и неважно – съел или нет
папиросное сердце

***

странный город – за поворотом
механические погромщики и разносчики пиццы
с женскими телами
и душами разрушенных школ
ты едва успеваешь добраться до громоотвода
только серьёзные отношения
только холодный завтрак
завёрнутый в утреннюю почту

Станислав Бельский родился в 1976 году. Живет в Днепропетровске, работает программистом. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «©оюз Писателей», «Дети Ра», «Зинзивер», «День и Ночь», «Крещатик», в интернет-журналах «Сетевая словесность», «Топос», «Другое полушарие», «Новая Реальность», на сайте «Полутона» и др. Автор книг стихов «Рассеянный свет» (2008), «Птицы существуют» (М: АРГО-РИСК, 2014), «Станция метро Заводская» (Дн-ск, 2015), «Путешествие начинается» (Дн-ск, 2016), «Синематограф» (Днепр, 2017), «И другие приключения» (Днепр, 2018) и сборника «Ошибочные теоремы» (в рамках совместной книги «Гімн очеретяних хлопчиків», 2011). Участник литературных фестивалей и вечеров в Днепропетровске, Киеве, Нижнем Новгороде, Харькове, Коктебеле, Запорожье, Виннице. В «Волге» публиковался в 2009 (№ 1-2) и в 2011 (№ 9-10) годах.

***

причинно-следственный камуфляж
и безопасность веры
но не во всех направлениях

я здесь никто: сложение
должно быть сродни
анатомическому театру

остаётся царственно
выгнуться дискоболом
пока не разоблачена
от звука и до звука
первая из
снежных парий

***

шагрень сжимается:
огненным кольцам
приходит пора разъездов
и чтицы садятся в горячие
почтовые ящики
имитируют пехоту

эссенция чуткой войнушки:
будет чем ревновать
смешанным с песком робинзонам

/секте октября/

всё начиналось
так просто
слово было словом /недолго/
и музыка была словом
завёрнутым в красную обёртку
вкусно выглядело но
в ушах сиамские серьги
хорошие дети напугались
и заперли на ключ

***

словно катится чужой голос
на роликах из темноты смертной
в колыбельную темноту

новое правило – краткий абзац
с отступом в виде трилистника
движение шёлковых парий
в шахматной партии
с разведённым финалом

сгорай под проплаченным солнцем
как сцена в летнем театре

***

подчиняя себя иной
желтизне обычного звука:
с проданными ступнями
состязаться – как говорить с монахом
(о фейсбуке насущном о славе
обнесённого чашей джедая)
только бы вышел снег
поверх памятливой грязи
кишащей
филантропическим сленгом

***

никто не
чувствует себя простым числом
в шашечной партии проигранной
/снегу?/
не так ли с масштабом: упираешься
в заговорённый пограничный столб

***

в животе круглая ямка
и в ней
два револьвера:
к нам приходили
а мы
не заметили

в ответ
отправим записку
в последнем вагоне:
всё понарошку
но
не забывайте
о почте

***

а хочешь ли
точки расставить
пишущей машинкой
раннего месяца?

на языке
барсучий жир
переговоры возможны
только с играющим тренером

***

фортепианная нотка
машет ветвями:
река не удалась
и на проспекте
обрывки симфоний

так и оттопчешься:
не дирижёрской бородкой
а чередой восклицаний

***

посмотри сколько времени последний:
реальность – изюминка внутри
раскисшего пирога
ни теологией не сломишь
ни многодетным станком

Алексей САЛЬНИКОВ

ОПОСРЕДОВАННО

Роман

И даже сочинения стихов на тему, никак не связанную со строительством, чего-то такое: «Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит... Примите, милая, привет мой... И что-то такое, не помню – та-та-та-та... болит...»

Михаил Зощенко. Мелкий случай из личной жизни

Глава 1.

Воздух, содрогнувшийся вместе с составом

1.

При всей своей нелюбви к учебе, двоечники ждали и всегда знали, когда будет урок биологии о размножении человека и урок литературы о поэзии. Были бы у трудовика темы, отдельно посвященные растворителю и клею «Момент», они бы и эти уроки посещали, похихикивая и переглядываясь.

Елена была хорошисткой, из тех, кто учится ближе к тройкам, нежели к пятеркам, безоговорочно благополучно у нее складывалось только с алгеброй и геометрией. Поэтому урок о поэзии она пропустила мимо ушей. Уяснила только, что это пагубное пристрастие, но им увлекался и родоначальник русского авантюрного романа – Александр Сергеевич Пушкин и лауреат Нобелевской премии Бунин, а принес всю эту заразу в Россию не кто иной, как великий русский ученый Ломоносов. Что прежде чем поэзия доросла наконец до пригодных к употреблению здоровыми людьми песен и произведений советских поэтов, она прошла долгий путь, берущий начало еще в первобытное время, и превратилась поначалу в античный театр, где греки и римляне предавались коллективному наркотическому безумию под ритмизованные произведения тогдашних авторов, под целые поэмы, которые были длиннее даже, чем «Василий Теркин», впадали в экстаз, длившийся много дней. Еще Лена запомнила, что когда учительница литературы заговорила про античность, то приняла позу, похожую на ту, в какой замерла «Статуя оратора» на картинке в учебнике истории; только тогда Лена поняла, откуда у литераторши такое необычное прозвище: Клепсидра.

Через варваров, которые использовали свои саги, мешая их эффект с химическим безумием отвара из мухоморов, через средневековые поэтические секты учительница стремительно шагнула в девятнадцатый век. Иллюстрируя приличную поэзию, прочитала басню Крылова. Двоечники со своих задних парт стали задавать неудобные вопросы про состояние поэзии в настоящее время, в то,

---

Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Уральская новь» и др., в двух выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Автор трех поэтических сборников (последний – «Дневник снеговика»: New York, Ailuros Publishing, 2013). Лауреат поэтической премии «ЛитератуРРентген» (2005) в главной номинации. В «Волге» опубликован романы «Отдел» (2015, № 7-8), «Петровы в гриппе и вокруг него» (2016, № 5-6; роман получил приз критического сообщества премии «НОС» и стал лауреатом премии «Национальный бестселлер»). Оба романа вышли отдельными изданиями. Живет в Екатеринбурге.

что официальные религии вполне себе используют стихи, чтобы пробуждать в пастве религиозное чувство и экстаз, так почему же нельзя легализовать остальное стихосложение, кроме того, что есть безобидного для психики.

Хулиганам интересно было задавать подобные вопросы. Им, почему-то, казалось, что они первые додумались до этих вопросов, им в голову не приходило, что учитель отвечает на эти вопросы каждый год, причем несколько раз, по количеству классов в потоке. Клепсидре, впрочем, стоило отдать должное. Она не раздражалась видом ехидных подростковых рожиц, тем более ехидных, что подростки считали, будто они оригинальны в своих попытках поддеть ее. Они даже спросили, не баловалась ли сама училка стишками на первых курсах (ходили такие легенды про филфак). Хулиганов интересовало многое, например, почему алкоголь и сигареты, несущие реальный вред здоровью, не запрещены, а за распространение стишков можно загреметь на пять лет, а за написание и распространение – на все десять. Где справедливость?

Елене этот разговор показался неинтересным и не имеющим к ней никакого отношения (потому-то, собственно, и неинтересным). Она невольно отвлеклась на апрельские окна, где улица зеленела и блистала, где было уже очень жарко. Тогда, на уроке, она прослушала, что говорила учительница, но потом, сама уже работая в школе, узнала все эти отработанные педагогические ответы, где говорилось, что помимо вреда здоровью есть вещи более ценные, которые невозможно поймать рентгеном и анализом крови, что есть этика, именно этикой регулируется в обществе множество отношений. Что же до монополии государства и церкви на использование стихов, то это по всему миру именно так, кроме разве что Голландии и нескольких штатов в США, но это уж их личное дело, в России хватает пока и других проблем. Кайф, появляющийся из коверкаемой речи, совершенно аморален. Обязательно приводился в пример эксперимент с крысой, которая давила на кнопку, стимулирующую центр удовольствия, пока не сдохла, приводились примеры из жизни, следовал рассказ про нескольких знакомых, которые увлеклись когда-то стихами, и это разрушило их жизнь: кому-то для того, чтобы низко пасть, хватило и стихов, кто-то вырос из литры и закономерно перешел на более тяжелые наркотики. Из года в год повторялись вопросы и ответы, но все было бесполезно. Как и в случае с другими неполезными и даже опасными для здоровья вещами, все рано или поздно принимались в той или иной степени злоупотреблять чем-нибудь вредным. Как-то это само собой получалось, как-то действовала местная флора, фауна, пейзажи, погода, что людям становилось скучно жить и нужно было взвеселить свое существование.

Елена считала, что никогда не будет курить, пить, а сексуальную жизнь начнет в первую брачную ночь. В отличие от многих сверстниц, которых современные нравы толкнули на стезю вполне здоровой девичьей активности с частыми влюбленностями, отслеживанием последней моды по журналам и ТВ, подростковым бунтом, Елена не перечила матери и бабушке, не увлекалась косметикой, не начесывала себе «Карлсона», идя на школьную дискотеку. Происходило это вовсе не из врожденного послушания или строгости и закостенелости старшей половины их половинчатой семьи (где мужчин не было уже почти десять лет), просто Лене было не интересно закатывать сцены, особенно как-то стричься и краситься для дискотеки или школьного фото. Закостенелой была, скорее, Елена сама по себе, она уже видела себя женщиной-математиком, млела, почему-то, от вида Мымры из «Служебного романа», представляла, что именно так у нее все и будет.

Впрочем, не совсем была она чужда и некоторых школьных склок. В год, когда необязательной объявили школьную форму, в девятом классе, Лена стала одеваться в одежду собственного пошива. Некоторые вещи остались незамеченными красивой половиной класса, но все же короткое платье, скроенное будто из красно-черной клетчатой диванной обивки, и бежевый кардиган с выпуклым узором в виде ромбов и большими синими пуговицами подверглись девичьим насмешкам. Особенно развлек одноклассниц кардиган, который показался им старушечьим, они не уставали спрашивать, не из бабушкиного ли сундука она утянула такую замечательную обновку. Упрямая Лена старалась надевать пару этих предметов одежды как можно чаще. Ей было интересно, когда девочкам наскучит эта игра, но девочкам игра не наскучивала, когда Лена надевала что-нибудь другое, они нарочито удивлялись тому, что в ее гардеробе есть еще что-то не менее смешное. Кажется, ей даже дали кличку, только Лена ее не запомнила, вроде бы даже ее и травили, даже и некоторые пацаны втерлись в эту травлю, но Лене класс был настолько неинтересен, что она этого не заметила. Вообще, дети из школы

№ 50, куда бабушка устроила ее по знакомству, настолько сильно отличались от детей из ее района, что казались иностранцами, разве что разговаривающими на том же языке, иногда существами настолько чужими, что обижаться на них было просто грешно. Да, школа № 1 на Оплетина не особо славилась своими выпускниками, а кварталы вокруг Пароходной улицы считались инкубаторами всякого мелкого криминала (и это было странно, потому что после перестройки мелкой и крупной уголовщины хватало и в других районах), но Лена не могла найти в них той разницы, что отличала бы «своих» ребят от тех, кого она друзьями не считала. Свои относились к ней хорошо, несмотря на то даже, что она порой, если было тепло, устав от запахов многочисленных бабушкиных мазей и лекарств, выходила делать алгебру и геометрию во двор и сидела за столиком, где тут же играли в карты или домино, или рассказывали анекдоты.

Можно было списать эту терпимость к ее показному ботаничеству на то, что в старших классах она помогала делать математику паре молодых дворовых авторитетов, которые закономерно пошли в ПТУ, но ведь и раньше никто до нее не докапывался, даже местные девочки. В среде «своих» тоже, конечно, попадались местные парии, и как Лена умудрилась не стать изгоем и там и там, было непонятно даже ей самой. В детстве естественно воспринималось то, что где-то ее не очень любят и даже говорят об этом в открытую, а где-то есть место, где ее не только терпят, но даже у нее есть там друзья. Но, когда на взрослую нее накатывало воспоминание из той поры, она почти ужасалась тому, насколько все могло быть плохо.

Не являлись ее воспоминания ностальгией. Это была, скорее, попытка найти корень своей зависимости, хотя не попытка найти даже, а больше стремление хотя бы перед самой собой перевалить ответственность за то, что с ней случилось, на неблагополучное окружение, на равнодушие, которое проявляли в воспитании мать и бабушка: им ведь важнее было, чтобы она была накормлена и одета – то, что творилось у нее в голове, их как будто и не интересовало вовсе, лишь бы пришла домой до того времени, когда они начнут беспокоиться (причем время это сильно разнилось в зависимости от того, были ли они сами у кого-нибудь в гостях, шло что-то интересное по телевизору, или им было скучно).

Но Нижний Тагил в то время, когда она заканчивала школу, когда училась в институте, вообще не являлся очень уж спокойным городом, какой район ни возьми. Действительно, кто-то из ее знакомых подсел на иглу или спился, кто-то сел, в конце девяностых пацаны из соседнего двора, гуляя по улице Фрунзе, умудрились до смерти избить своего ровесника, шарахавшегося возле ДК «Юбилейный», а ровесник возьми и окажись подававшим надежды хореографом, который приехал погостить к родителям и заодно решил в одиночестве ностальгически подышать красноватыми и белыми дымами НТМК. Из этого, почему-то, раздули скандал городского масштаба, будто они запинали фигуру едва ли не уровня Солженицына (хотя попался бы им и Солженицын...). Но такие вещи, пусть и не вызывавшие большого отклика в газетах, происходили повсюду. Где бы ни родилась Лена, не подсесть на стишки ей стоило бы огромного труда, раз уж у нее оказались предпосылки, но тут все еще и совпало одномоментно: дружба с Ирой, ее старший брат, успешное поступление в институт, скука и волнение в ожидании учебы и то, что Михаил Никитыч жил совсем недалеко и пользовался благосклонностью участкового.

С Ирой они начали дружить еще в детском саду. Редко такая дружба переживает пубертат: слишком быстро с началом учебы накапливаются различные интересы и складываются разные компании, но вот что-то было между ними, что заставляло их год за годом ходить в гости и бродить по округе. В основном они, правда, не бродили, а сидели на спортивной площадке школы № 1, где болтали о всякой ерунде, вроде последнего выпуска КВН, обсуждения сериала «Богатые тоже плачут», сплетничали в меру своих заучных сил. Ирина ушла из школы в девятом классе и поступила в художественное училище, поэтому сразу стала казаться Лене старше, но на самом деле не изменилась совсем, разве что стала гораздо веселее и разговорчивее.

Лена предполагала, что в том, что ее так и не начали травить во дворе, была заслуга именно Ирины, точнее, ее старшего брата Олега – сутуловатого, вечно какого-то недовольного крепыша, занимавшегося боксом. Он был старше Ирины и Лены на девять лет, поэтому мог влиять на отношение к Лене местного хулиганья там, где не помогли бы мать и бабушка, их интеллигентные призывы к совести. Бывало, что, когда мелкая Елена засиживалась в гостях, Олег молча вел ее через

темный двор до самой двери ее квартиры и ждал, остановившись площадкой ниже, чтобы дверь открылась, и только тогда уходил. Он появлялся у Елены, если Ирина слишком увлекалась и застревала допоздна, всегда отвергал приглашения Лениных бабушки и мамы тоже посидеть и выпить чаю и почему-то всегда стеснительно усмехался в пол, когда ему это предлагали.

Увидев себя в списках поступивших в НТГПИ, Лена не смогла довезти до дома эту радость, поэтому первым делом нашла телефон-автомат и позвонила сначала матери на работу, затем домой бабушке, а потом Ирине.

Подруги дома не оказалось, она укатила в Екатеринбург к родственникам, чтобы пополнить ряды абитуриентов архитектурной академии. Лена знала о планах подруги, просто забыла за своими собственными хлопотами, а теперь еще раз узнала от Олега, который к тому времени, как обе девочки успели вырасти до студенток, сам уже закончил местный филиал УПИ, отслужил в армии, работал на заводе, женился. Отношения молодоженов складывались не очень, Олег приехал переждать семейный скандал под родительской крышей, именно поэтому оказался у телефона. Первым делом Олег ревниво поинтересовался, почему, собственно, пединститут, если уж Лена не гуманитарий, почему не УрГУ, не что-нибудь другое. «Уж я, дуб-дубом, а отучился», – пояснил он свою претензию. Лена и сама не понимала, почему пошла в педагогику. Детей она не любила, общаться с людьми – тоже. Это было глупо, но она боялась, что ее знаний недостаточно для поступления в более престижный вуз, что преподаватели начнут смеяться над ее знаниями прямо на экзаменах, как-то так она считала, а Олегу стала объяснять совсем другими причинами и, не в силах оправдаться перед ним, перед его уверенным взрослым угуканьем, каким Олег сопровождал каждую ее фразу, Лена торопливо попрощалась с ним и бросила трубку.

После этого разговора от радости не осталось и следа. Лена стала завидовать Ирине, которая точно знала, чем хочет заниматься всю свою жизнь. Вообще, все вокруг, судя по всему, знали, чем хотят заняться. Пока Лена ждала электричку до железнодорожного вокзала, она успела достать зеркальце из своей потертой сумочки (доставшейся ей от мамы, спустя год еще пахшей пудрой, которой пользовалась мать) полюбоваться своим несчастным видом, понаблюдать за путейщиками, которые вразвалку прошли мимо по шпалам, совершенно очевидно довольные своей жизнью, подслушала веселые разговоры на перроне, где ее ровесники обсуждали случаи своего невероятного везения во время экзаменов. Лене вовсе не повезло. Она свое поступление высидела над учебниками и художественной литературой, последнюю она читала едва ли не со слезами ненависти на глазах, потому что совершенно не понимала ни самих школьных классиков, ни этого обязательного сочинения при поступлении. Но даже профильные экзамены дались ей не так просто. В школьных математических олимпиадах она пару раз выходила на область (правда, никогда не могла прорваться дальше), а тут обычные, в принципе, задачи, казавшиеся при взгляде на них элементарщиной, поставили ее в тупик. С первого захода она не смогла решить ни одной из пяти. Только поборовшись какое-то время с отчаянием, Лена смогла собраться и разглядеть, где она ошиблась сначала. И на этом ее страдания не закончились. Вечером после экзамена Лене придумалось вдруг, что она не поставила «плюс-минус» в одном из ответов – это была мука, коей нельзя было поделиться ни с кем из близких: мама стала бы упрекать Лену в том, что она рассеяна, а бабушка принимала все Ленины неприятности слишком близко к сердцу и могла разыграть целую драму, мастерски используя в качестве реквизита и валерьянку, и валокордин, и еще какие-то таблетки, и стакан с водой в трясущейся от волнения руке.

Усталая и пришибленная, Лена села в электричку, затем на автопилоте перебралась в трамвай на вокзальной площади. Женщина – водитель трамвая – объявляла остановки веселым голосом. Летняя жизнь внутри трамвая и снаружи него казалась Лене похожей на карнавал из песни Леонтьева: женщины были завиты и накрашены, некоторые мужчины как будто пьяны, на девочках были разноцветные лосины, на голове каждого третьего мальчика была синяя или камуфляжная бейсболка с надписью «USA». Весь проспект Ленина – от огромного Дома быта до поворота на Островского – был заставлен различными комками с видеокассетами, едой, трикотажем, игрушками. Было невыносимо светло, шумно, пыльно и очень жарко.

Только позже, когда шла уже к дому и при этом идти домой не хотела, Лена немного успокоилась, однако не настолько, чтобы не быть несколько оглушенной и не заметить, что Олег сидит на лавочке

возле ее подъезда. Когда он поймал ее за ремень сумочки, она вспомнила, что ее действительно кто-то окликал, а она решила, что зовут совсем не ее. Выдергивая руку, она не услышала, что он говорил, не сразу узнала его, потому что он отпустил что-то вроде бороды и усов, состоявших из щетины, которая будь длиннее, являлась бы уже неаккуратной небритостью. Моду на такую частично еловую физиономию подхватили многие мужчины, подглядев, как хорошо смотрится она на Брюсе Уиллисе, без его примера трудно было догадаться до привлекательности такого бритья, потому что до какого-то из «Крепких орешков» с подобной шершавостью лица щеголяли только местные алкоголики. И прическа у Олега была другая – раньше он стригся очень коротко, почти наголо, теперь, внезапно для Елены, аккуратно оброс волосами, отчего лицо его стало совершенно чужим.

«Не хочешь сходить куда-нибудь? Отпраздновать», – когда вопрос этот дошел до Елены, та не смогла ответить сразу, а внимательно посмотрела на Олега, пытаясь понять, не клеится ли он к ней случаем. Он вовсе, кажется, не клеился, но совместная прогулка все равно что свидание, он сам выбрал ее для этой прогулки, такое внимание ей польстило.

Фраза из «Чужих» (этот фильм она посмотрела в видеосалоне три раза, потому что ей показалось, будто она походит на девочку оттуда): «Ты выглядишь так, как я себя чувствую», – очень смешная по мнению Лены, однако не прижившаяся на местной глинистой почве, не ставшая общеупотребительной, как нельзя лучше описывала внешний вид Олега. В своей чистой футболочке, подпираемой изнутри мускулами, джинсиках, белых кроссовках, облившийся одеколоном перед прогулкой – Олег, тем не менее, являл собой довольно жалкое зрелище: какая-то нехорошая усталая улыбка была на его лице.

Им, очевидно, двигало ностальгическое желание иллюзорного, короткого путешествия в прошлое, где все в его жизни было гораздо проще. Окажись дома сестра, он, скорее всего, поволок куда-нибудь ее, потому что Ирина, несмотря на всю свою серьезность, не растеряла пока своей непосредственности и веселости, за неимением же сестры годилась и Лена. Это было не очень красиво с его стороны, но Лена, даже догадавшись о своей роли эрзаца, почувствовала, что внутри у нее что-то приятно зашевелилось, ей пришлось сдержать себя, подавить улыбку и не сразу согласиться, а сделать вид, что она думает. Со стороны, наверно, это выглядело очень смешно.

«Ну, я переоденусь, наверно, – сказала Елена. – Целый день по жаре таскалась. Ты подождешь?» В ответ Олег только развел руками, дескать, куда я денусь.

Лена, конечно, не просто переоделась, не только сменила платье с белого на более короткое синее, она и умылась, и причесалась, и помазалась мамиными духами, и отбилась от бабушки, которая уже пекла торт, разбавив запахами какао и ванили обычные квартирные ароматы бумажной пыли, мази Вишневского и валерьянки.

В итоге Лена вернулась на улицу только спустя полчаса. Олег за это время успел уже найти себе занятие: надевал цепь на звездочку велосипеда, принадлежавшего какому-то мелкому пацану; двое других велосипедистов, бросив свои машины прямо на дороге, стояли тут же. «Тебя там на понос пробило, что ли?» – через плечо поинтересовался Олег свойским, даже несколько игривым тоном, этим он намекал, больше самому себе, что предстоящая прогулка вовсе никакое не свидание. «Дебил», – стандартно ответила Елена, как делала много лет подряд, переняв это слово у Ирины – им та довольно часто награждала брата, если тот влезал каким-нибудь комментарием в их игру или разговор.

Глядя на склоненные к павшему велосипеду пыльные детские головы и могучую шею Олега, Лена невольно радовалась, что окна их квартиры выходят не к подъездному крыльцу, что у бабушки не возникнет муторных вопросов по поводу этой прогулки. Двор тоже почти пустовал, поскольку многие местные дети были заточены в пионерских лагерях, а взрослые еще не вернулись с работы. Но дело было уже к вечеру, мать уже могла начать собираться домой, и пересекаться с ней, да еще в такой компании, совсем не хотелось. Олега, очевидно, это совсем не беспокоило, когда велосипедисты, блестя одним и тем же повторенным на спицах нескольких колес бликом солнца, удалились наконец с глаз, Олег остался сидеть, задумчиво разглядывая руки, измазанные маслом, опасливо держа их подальше от футболки и джинсов. «Вот ведь скотина», – почему-то с удовольствием подумала Елена и полезла в сумочку за салфетками, но Олег уже встал и кокетливо потолкался в Елену бедром, показывая, что у него есть платок в кармане, который она должна была достать. Она смерила его

взглядом, к ее удивлению, их глаза оказались почти на одной высоте – настолько Елена выросла за то время, пока Олег не появлялся и околачивался в других местах, до этого она смотрела на него только снизу вверх. Он, кажется, тоже удивился, но ничего не сказал. Лена, помедлив, оттолкнула его от себя и передала ему сначала одну салфетку из пачки, затем протянула всю упаковку.

Закончив ухаживать за перышками, Олег, опять же молча, подставил Елене локоть, за который она должна была уцепиться, как любая гуляющая с парнем девушка, но Лена, опять же помедлив, оттолкнула и локоть. Они оба помнили, как поздним вечером Лена собиралась домой, как Олег сварливо говорил: «Давай руку» и волок ее до ее дома, обводя мимо грязи и луж, если дело происходило весной-осенью, а зимой они специально шли мимо раскатанных на тропинках мест, где Лена изображала бег на коньках, а Олег тянул ее вверх, не давая ей рухнуть, если она поскальзывалась, и говорил: «Хорош дурковать».

Идя бок о бок, будто сослуживцы, они отправились сначала в парк Горького, но там было скучно, тогда дворами они вышли к прибрежной части улицы Аганичева, а оттуда, по Фрунзе, мимо молочного магазина доползли до кафе на горке. Сначала, в парке, разговор не очень клеился, они вежливо поинтересовались делами друг друга, вежливо поотвечали, затем беседа раскрутилась, когда Лена стала рассказывать, смеясь над собой, об экзаменах, потому что только о них и могла пока говорить, так свежо и сильно было впечатление о пережитом страхе. Олег тоже стал делиться своими былыми экзаменационными переживаниями, как и у многих других, но не у Лены, его поступление было исходом целого множества счастливых случайностей. Билетов по физике он выучил только половину, да и ту кое-как. Крайне мала была вероятность того, что во время подготовки Олег заинтересуется подробностями экспериментов при измерении скорости света и как раз про измерение скорости света возникнут дополнительные вопросы у экзаменатора. А ведь именно так и произошло. И остальные предметы он сдавал так же, надеясь, как оказалось, не напрасно, на везение.

В кафе Олег попытался напоить Лену, а она отказалась, тогда он и себя принялся наполнять молочными коктейлями, поглядывая на блеск Тагилки сквозь прибрежную зелень. Лена, в свою очередь, смотрела на далекий пешеходный мост за плечами Олега: по мосту двигались туда и сюда обычные одетые граждане и голые купальщики (лето в том году затянулось едва ли не до сентября).

После кафе Олега и Лену понесло на Лисью гору, затем они постояли на плотинке, сначала с одной стороны, где можно было понаблюдать за лодочками на обширной поверхности пруда, затем с другой, где возле полудохлой воды стояли черные чугунные агрегаты завода-музея.

И разговор, вроде, клеился на протяжении всего пути и во время стоянок то там, то сям, и был даже весел, Лена сумела слегка развеяться, и все же ей заметно было, что Олег хочет говорить совсем о другом, но почему-то не может или не хочет. Его наверняка подмывало рассказать о каких-то настоящих взрослых причинах того, почему он позвал ее, Олег выжидал момента, когда сможет поудобнее вывалить на Лену впечатления о всех своих неприятностях или сомнениях, которые посетили его с того момента, когда они виделись с Леной в последний раз. Лене тоже зудело рассказать ему о том, как она видит свое будущее (она надеялась, что сможет стать преподавателем, что именно учась в институте сможет совершить какое-нибудь математическое открытие), и при этом понимала, что говорить про такое – это совершенно то же самое, что признаваться, что до сих пор верит в Деда Мороза. Порой они замирали друг против друга, как для поцелуя, а на самом деле, оценивая друг друга, прикидывая: можно ли уже начать говорить о том, ради чего они и двинулись в этот неторопливый обход жарких августовских улиц. Совершенно детская прогулка должна была казаться Олегу еще более нелепой, нежели Елене, хотя бы потому, что он сам все это начал, что был старше, что отчаяние, которое на него накатило, невозможно было убрать таким образом, что это нелепее, чем если бы Олег потащил Лену на эту неумную экскурсию ради того, чтобы с ней переспать.

Так и не сподобясь скатиться до откровенности, пробродили они до самой темноты и опять остановились в парке Горького. Физическая усталость и комары, от которых нужно было отмахиваться отломленной веточкой, пересиливали уже в Лене мрачные мысли, она рада была, что скоро попрощается с Олегом и будет сначала медленно ужинать, а потом ляжет перед маленьким телевизором в своей комнате и будет смотреть «Горячую десятку» с Васей Куролесовым, музыку Лена не любила, ей нравилось, что каждый клип сделан как маленький фильм.

«Че-то не получилось праздника для тебя, извини», – Олег сказал это для того, чтобы Лена хотя бы немного начала его опровергать, или правда хотел придумать по пути что-нибудь феерическое и так и не придумал. «Да нет, весело», – на всякий случай утешила Елена. «Нет, правда», – пытаясь добавить голосу убедительности, повторила она, когда заметила, что Олег вглядывается в ее лицо. Если бы Олег стремился к некому нагнетанию лирического момента, время и место он выбрал как нельзя худшее. Окружающая тополиная темнота полнилась звуками, которые слабо способствовали сгущению амурчиков вокруг парочек: неподалеку две громкоголосые барышни делили между собой молодого человека, еще где-то рядом пели под гитару песенку из детского фольклора, где герои сказки «Буратино» оказывались связаны диковинной кукольной оргией, за спиной Олега и Лены некто, отделенный от них не слишком большим расстоянием и несколькими рядами акации, удивительно долго исполнял что-то вроде номера художественной рвоты: так экспрессивно, так долго и так обильно его выворачивало. В моменты относительной тишины шарканье гуляющих по парковым тропкам людей было похоже на звуки тапочек в ночном больничном коридоре.

«Может, литры попробуешь, раз все так получилось?» – Олег спросил особенным тихим голосом, каким с Леной никто никогда не заговаривал. Она слегка отшатнулась, не столько от неожиданного предложения, сколько от такой необычной для нее интонации. Олег махнул рукой, в голосе его была досада на самого себя: «Ну это не винище, не косяк, даже не сиги, пахнуть не будет, даже Ирка уже пробовала – и ничего. Паленка и то опаснее». Лена помнила, что Ирина рассказывала, как пробовала стишки, которые кто-то притащил на одну из многочисленных пьянок юных художников. «Ну ничего так, все странное вокруг становится», – поведала Ира без сильного восторга.

«НТВ» изобиловал такими историями про наивных молодых людей, которых добрые знакомые сажали на иглу или еще какую дрянь, а заканчивалось все кражей вещей из дома либо проституцией ради очередной дозы. О стишках плохого почти не говорили, трава или контрафактные сигареты волновали создателей криминальных сюжетов на телевидении гораздо больше, а если стишки и упоминали, то в том ключе, что это верная дорога к более тяжелым наркотикам или верный, опробованный многими поколениями способ скатить свою жизнь на дно. При этом Ирина что-то не скатилась на дно, а уехала в Екатеринбург. Лена тоже могла уехать, у нее в Екатеринбурге жил дядя и двоюродная сестра, они бы помогли, если бы возникли трудности с деньгами, с жильем. Лена могла поступить и на заочку – армия-то ей не грозила.

Покуда Елена переживала разлитие желчи по организму в досаде на саму себя, Олег рассказывал, что стишки им давал тренер перед важными соревнованиями, и не сказать, что возникла сильная привычка. «Я в армейке закурил, и то труднее было отвыкать, – сказал Олег. – Ты же так с ума сойдешь или сделаешь с собой че-нибудь, как первокурсники с философского».

«У вас родители нормальные, – отвечала Елена, – а у меня папа алкоголик был. Пойду по его стопам, не дай бог». «Да ну, глупости все это, – горячо кинулся разубеждать Олег. – Ты сильная же, тем более девка, лет через десять, даже если захочешь – у тебя просто времени не будет на стишки, на другую херню постороннюю». Она уже готова была согласиться, а он сам дал заднюю: «Хотя, на фиг, действительно. Все, забудь». «Да нет, даже интересно», – просто, чтобы потравить Олега, Лена, что называется, полезла ему под шкуру, всячески изображая энтузиазм. «Не-не-не-не-не. Проехали, – отрезал Олег. – Хватит глупостей на сегодня. Пошли уже по домам. Тебя там уже потеряли, наверно». «Тогда через Быкова, – предложила Лена, – так дольше немного».

«А давай», – предложила она, когда были они уже недалеко от ее дома, под фонарем, среди протянутой вперед и назад улицы с блестящими трамвайными путями и фигурно растрескавшимся асфальтом. «Решила все-таки побунтовать? Восстание ботаников?» – в голосе Олега была усмешка и некое сочувствие. «Ты зато не ботаник», – ответила Елена. Олег выковырнул блокнот из заднего кармана джинсов, у блокнота была черная пластиковая обложка, в обложке была щель, куда Олег полез пальцем, выуживая клочок бумаги – сложенный до размеров почтовой марки обрывок тетрадного листа в клетку. На раскрытых страницах блокнота, шевелящихся, как таблицы в справочном вокзальном автомате, виднелись черные в фонарном свете имена и номера телефонов. «Можешь себе оставить, – сказал Олег, вкладывая бумажку в ладонь Лены. – У тебя эпилепсии, кстати, нет?» «А надо, чтоб была?» – спросила Елена, раскрывая бумажку в руках, будто упаковку ириски.

«Тебе не надо?» – спросила Лена, мельком взглянув на три четверостишия, записанных столбиком. «Я его и так помню. На меня уже не действует. Надо забыть сначала, и потом, через год где-то, прочитать», – Лена посмотрела на Олега, проверяя, врет он или нет, боится ли читать сам или просто издевается и шутит, как в американской комедии, где наивным молодым людям подсунули аспирин, а они, придумав, что их накрыло, натворили множество глупостей в своем городке. Лена решила, что ни за что не поддастся эффекту стишков, если таковой будет. «Читай давай, а то передумаю», – шутливо и в то же время явно колеблясь, пригрозил Олег.

Стихи начинались словами: «Будто большой стеклянный предмет с пузырьком внутри», следом шло описание зимнего вечера, деталей зимней улицы, ничего особенного, но с последней строчкой: «Этот вощеный свет», Лена почувствовала почему-то ком в горле и слезы на глазах. Это было странно, потому что ничего грустного в стишке не было, в середине упоминался даже Новый год. Через некоторое время Лена обнаружила, что смотрит уже не на листок, а себе под ноги, где сухая соломинка, черные камешки асфальтовой шкуры, несколько кубиков бутылочного и автомобильного стекла, обрывок пивной этикетки, лежа вместе, казались продолжением только что прочитанных четверостиший, просто не обретшим еще словесную форму. Лена посмотрела по сторонам, наслаждаясь новым своим зрением. Деревья стояли совершенно неподвижно, но при этом издавали вкрадчивый шум, чем-то похожий на змеиное шипение; всякие там городские огонечки и окошечки, располагавшиеся на разном расстоянии от Лены (умом она это понимала), лежали на воздухе, как на плоском экране, при этом казалось, что каждое пятно света как-то шевелится внутри себя самого. Все окружающее было полно деталями, совершенно осознанно пригнанными одна к другой: Олег стоял в таком месте сетки дорожных трещин, словно это трещины, сбежавшись вместе, взрастили его, как какой-нибудь гриб с внимательными глазами. Лена невольно рассмеялась этому его взгляду.

«Че-то я жалею уже, – ответил на ее смех Олег. – Как-то тебя довольно сильно...Ты хоть не спалишься перед родаками? У тебя аж колени подкосились слегка». Лена вместо ответа продолжила с удовольствием оглядываться по сторонам, в одном из окон близкого к ним дома горел свет, сквозь щель в желтых шторах за Олегом и Леной подсматривал телевизор, цветные пятна на видимой Лене полосе экрана то замирали, то медленно двигались, то принимались роиться; на подоконнике лежала высокая стопка газет, на ней сидела маленькая плюшевая горилла в боксерских перчатках, возле стопки газет стояли спортивная гиря и утюг. «Вы не родственники с этим подоконником? – спросила Лена у Олега. – Прослеживается какое-то сходство». Олег ничего не ответил, но, кажется, слегка улыбнулся.

«А это надолго вообще? Вот это вот чувство», – спросила его Лена. «Не увлекайся, – сказал Олег. – На пару дней. Потом, если перечитаешь, почти так же будет, только слабее, а потом никакого толку». «Я перечитаю», – призналась Лена. «Не сомневаюсь, – сказал Олег. – Надо было тебе сразу стишок отдать и не ходить никуда». «Нет-нет, хорошо было, даже если бы и без стишка, – честно сказала Елена. – Только надо было из парка никуда не уходить, просто сидеть, болтать, не знаю».

Олег смотрел, как она прячет бумажку со стишком в своей сумке, прилаживая ее так и эдак к продранной подкладке, к зеркальцу, тетрадкам с билетами, которые она так и не удосужилась вытащить. Это ее попытка перехитрить любопытные умы бабушки и матери не могла от него укрыться. «Тебя ревновать никто не будет? Никто потом меня не будет во дворе подкарауливать с серьезным разговором?» – спросил он, зачем-то интересуясь, есть ли у нее ухажер, почему-то решив, что если сумку Лены обыскивают, значит на то имеются некие причины, помимо дремучей подозрительности, воедино связывавшей Ленин возраст и приключения, в которые попадали ее ровесники. «Было бы неплохо, конечно, но – нет», – призналась Лена.

Не доверяя сумке, Лена понесла стишок в руке, а затем, когда Олег оставил ее у подъездного крыльца, на чем она сама настояла, перепрятала бумажку в лифчик. В том состоянии, которое на нее нашло, она, разумеется, не сразу полезла за ключами. Первый раз в жизни она заметила, что желтоватый кафель, каким была выложена лестничная площадка, точно такой же, каким были покрыты стены и пол в ванной, слабый свет лампочки на длинном шнуре кипел в воздухе, будто водяная пыль. Счетчик электричества ее квартиры крутился медленно, непрерывно, счетчик одного из соседей останавливался на какое-то время, потом начинал катать длинную красную отметку на неторопливой карусели диска. «Холодильник», – догадалась Лена.

Поступление Лены, совершенно очевидно, переместило ее на следующую ступень взрослости на некой умозрительной лестнице, существовавшей в головах мамы и бабушки, поэтому никаких лишних вопросов задавать они не стали, они, вообще, и без нее прекрасно отметили успех Елены, распив пару бутылок винца, и начали уже третью. Бабушка впала в состояние умиления и хулиганства, несмотря на возражения дочери и внучки, налила Елене алкоголя в чайную кружку и буквально заставила чокнуться и выпить. На маму накатила сентиментальность: отодвинув в сторону салаты, кружки, тарелки, она разложила на кухонном столике семейный фотоальбом, и посыпая табачным пеплом одной за другой прикуриваемых сигарет тонкие снимки и страницы из толстого фиолетового картона, ударилась в нежные воспоминания. Часть экскурса в прошлое была посвящена, почему-то, тому, какая была когда-то у Елены большая задница: как шестилетняя Лена умудрилась, неаккуратно двинув бедром, сломать подлокотник кресла, сдвинуть с места шкафчик с книгами, махнув крупом, выбить очки из рук бабушкиной гостьи, и другие подобные истории. Последовал закономерный рассказ о появлении Лены на свет, о том, как маме пришлось бросить курить на некоторое время, как Лену впервые поднесли к груди, а мама ужасалась ее волосатости. Елена думала, что если у нее появится молодой человек, то было бы неплохо, чтобы каждый раз, когда он будет приходить в гости, мама и бабушка встречали бы его с кляпом во рту. Но как-то незаметно, после нескольких тостов за здоровье, за будущую учебу, за будущую взрослую жизнь, она сама попала на ту же волну и едва сдержала слезы, когда бабушка стала говорить, как они ее всегда любили и любят, а когда бабушка тихим голосом запела: «Оглянись, незнакомый прохожий», – едва не стала подпевать, но помешало ей то, что слов песни, кроме припева, она не знала. Мама попыталась спеть после бабушки. Ее любимой песней была «В полях под снегом и дождем», Лене эта песня тоже нравилась, но бабушка сказала, что это совсем уж тоска и грусть, поэтому не надо.

О стишке Лена не забыла. После того как старшее поколение, вымыв посуду и вытерев стол, оставило ее над куском торта, она достала бумажку и принялась разучивать текст наизусть, причем с таким даже мускульным усилием мозга, будто все еще училась в школе и только в последний момент перед уходом ко сну вспомнила про заданное на дом. На безымянного человека, написавшего стих, она злилась, как на классиков русской литературы во время подготовки к сочинению, строчка «Деревья выдвигаются из воздуха, как ящики из стола» показалась ей совершенно бессмысленной и неправдоподобной даже под кайфом, именно слово «деревья» вываливалось из ее памяти, когда она повторяла стишок, проверяя, правильно ли все запомнила, доходя до этой строки, упорно пыталась начать ее словами «шкафы», «столы» или «тополя».

Боясь, что перепутает слова утром, она спрятала стишок среди тетрадей в столе, затем, повторяя текст в течение нескольких дней и убедившись, что совершенно точно знает, в каком месте текста находится каждое из его слов, утопила подаренную ей Олегом порцию литры в унитазе.

2.

Особой ломки Лена не заметила, хотя желание увидеть все мелочи вокруг какими-то более внимательными глазами у нее осталось, но оно было не сильнее, чем, например, желание сходить в кино. Другая идея захватила ее. Она почему-то решила сама сконструировать стишок, а потом показать его Олегу, чтобы он удивился ей, похвалил ее. Почему он должен ее похвалить, она бы и сама не взялась объяснять, но Лена хотела его удивления и одобрения.

Однако с чего начать, Лена не знала. Крутя стишок в голове так и эдак, записывая его на листочке и неторопливо убирая под учебник или тетрадь, если кто-то из родных, стукнув разок, врывался в комнату, она пыталась подступиться к своему собственному стишку, которого не было еще и строчки, потому что Лена не понимала, как она должна начать, как должна угадать, та ли строка первая, как эта строка должна привести к финалу, чтобы в голове что-то ожило.

За ответами она полезла в семейную и институтскую библиотеки, рассудив, что если стихи по форме напоминают поэзию, то должны у них быть и еще какие-то общие моменты, которыми бы она могла воспользоваться, при этом Лена точно не знала, нужно ли соблюдать именно тот ритм, который попался в стишке, подаренном ей Олегом, или это необязательно – в поэзии Асадова, Евтушенко, Высоцкого, Сосюры, Бедного и уймы других поэтов размеры были другие, но они и не откликались приходом – их действие был чисто эмоциональным, подчас до слез («Ведь может

быть тело дворняги, А сердце – чистейшей породы», «На земле уже полумертвый нос Положил на труп Джек, И люди сказали: “Был пес, а умер, как человек”», «Значит, нужные книги ты в детстве читал!») – это было совсем не то, что Елена ожидала. За неимением других стишков Елене пришлось предположить, что стишки отличаются от поэзии лишь качественно, при этом набор формальных приемов остается прежним. Тот стишок, что был у нее на руках, и книжная поэзия состояли как будто из одних и тех же деталей: были рифмы, были всяческие сравнения, завязка-кульминация-развязка, обилие одних и тех же гласных или согласных, зачем-то кучковавшихся в одной части текста.

Ее внезапный интерес к поэзии не остался бы незамеченным, если бы на первых курсах действительно не преподавали уйму ненужных, как ей казалось, предметов, где вдогонку к литературе имелись лекции по философии (уж она-то была Лене точно до фонаря), информатике, немецкому языку. Все это вываливалось на головы первокурсников, они, взмыленные, набегали на библиотеку, хватали груды книг, распихивали их по цветным пластиковым пакетам, что внезапно пришли на смену «дипломатам» и сумкам, растаскивали их по своим норкам. Лекции по литературе начались с широкого охвата множества русских писателей, баловавшихся рифмой. Пожилая полноватая женщина-преподаватель, чередуя восторги с неожиданным для ее уютной внешности медицинским цинизмом, рассказывала о традиционных поэтах, оставивших свой след, золотыми буквами вписавших и т.д, и в ноль раскатывала двуличных литераторов, которые, помимо писания для широкой публики, баловались стихами или даже в открытую злоупотребляли ими. Тут не было уже школьных увещеваний о вреде стишков, преподаватель констатировала, что люди в аудитории уже взрослые и сознательные, сами вольны выбирать, как уродовать свою жизнь, и поведала несколько историй о своей младшей сестре, которая имела трех детей от четырех разных мужей – и ничего, была вполне себе образована, успешна и счастлива. Большое внимание обращала преподавательница, отчего-то, на романиста начала века Александра Блока, она не уставала приводить его в пример того, что делают с людьми несколько вышедших из-под контроля страстей, сконцентрированных в одном теле. Беда Блока, по ее словам, была в том, что он пытался отойти от стихов в наполненные порнографией прозаические вещи, которые были бы очень хороши, если бы не болезненный эротизм и чистая безыдейная литературщина большинства текстов, где видна талантливая, даже порой гениальная попытка переложить наркотические переживания на язык прозы – но, к сожалению, ничего более.

Такие заявления педагога очень заинтересовали Елену. В институтской библиотеке Блок уже был разобран, в центральной, напротив театра, и тоже чем-то напоминающей театр, неуловимый Александр оказался на руках, только в библиотеке возле дома ей удалось взять пару нужных томиков, изданных еще в 1989 году, но невинных еще до такой степени, что неразрезанными оказались даже страницы вступления за авторством какого-то профессора, который долго и муторно разбирал блоковский символизм, всячески прячущийся в плотских сценах, сравнивал Блока с импрессионистами и пытался навести на мысль, что смелость Блока, подчас весьма провокационная и спорная, сильно повлияла, тем не менее, на последующую прогрессивность авторов социалистического реализма.

Осторожные слова ученого мужа про забытых авторов начала века – трудной эпохи, которая «платоновским паровозиком» (так он и написал) прошлась по многим судьбам, его осторожный оптимизм, что литературоведение еще ждет еще множество новых имен и открытий, нейтральная надежда, что творчество Блока будет понято правильно, предваряли начало романа, который открывался сценой в некой семейной купальне, где человек восемь взрослых и детей заняты были неким безобидным разговором, но как-то подозрительно подробно был обрисован загар или отсутствие такового на разных частях их обнаженных тел, особенное же внимание было уделено, почему-то, подмышкам матери семейства, «которые по густоте волос и темноте их даже превосходили а-ля капуль в паху ее супруга и, казалось, могли таить каждая по такому, как у него, органу».

Такой текст настолько расходился с когда-либо читанным Леной до этого, что она, открыв рот для долгого слезного зевка, которые раз за разом приходили к ней во время предисловия, не сразу вспомнила сомкнуть челюсти. Двести страниц из семисот были прочитаны за один присест, помимо того, что каждая из них содержала плотное, очень остроумное и даже смешное описание человеческих фигур, их различного взаимодействия, окружающей обстановки, взгляд, коим Блок скользил по своим героям, останавливаясь в некоторых уголках, и предметам вокруг них, несомненно

был преломлен призмой стишка. В те несколько дней, что Лена была накрыта дурью, она смотрела на все совершенно так же, правда, не так интенсивно сосредотачивалась над сексуальными образами, которые появлялись и у нее, однако были не так многочисленны.

Попалось в романе и то, что заинтересовало Елену больше остального. Одним из членов веселой семейки был семнадцатилетний юноша: крайне порочное создание, баловавшееся алкоголем, морфием, кокаином и стишками. Стишки он писал сам, а процесс этого писания излагался крайне подробно, и пускай не подавался в виде поэтапной инструкции, что-то полезное для себя Лена оттуда почерпнуть сумела. Во-первых, молодому человеку нравилось, что в стишке, который он писал, был ритм, который он до этого никогда не использовал, из этого Лена сделала вывод, что размер и ритм все же не имеют сильного значения, что это величина для стишка не каноническая. Во-вторых, для молодого человека было важно, чтобы рифмы не только хорошо накладывались друг на друга фонетически, он желал, чтобы между рифмованными словами пробегало «дополнительное электричество смысла, похожее на полторы сажени напряженного воздуха между скучающей вдовушкой и ее верной болонкой». Прочитав про это, Лена кинулась перебирать в памяти строчки подаренного ей стишка и увидела, что там правда всунута, сознательно или нет – неизвестно, своеобразная ловушка для читателя: в стишке говорилось про холод и зиму, а среди рифм попадались слова, имеющие отношение к огню, теплу, свету: «не гори», «зола», «стеарин», «фонарь». Неопытную в этих делах Лену такая изобретательность безымянного наркоизготовителя весьма впечатлила. Эта рифма с «не гори» была еще интересна и тем, что вопреки озвученному приказу прекратить горение, слово «гори» стояло в самом конце строки, на самом заметном ее месте, и будто велела делать совершенно обратное тому, что как бы заявлялось автором, словно переча ему.

И при этом ответа, как начать стишок, как определить, что он закончится приходом, Елена не получила, так ей показалось вначале. Из романов Лена почерпнула только, какие бывают виды прихода, а именно: скалам – восходящий и нисходящий, в зависимости от возникшего восторга, похожих на взлет или пикирование, будда, превращающий голову в спокойного наблюдателя за окружающим, ривер, делающий так, что мир втекает в тебя, как воздух, и тауматроп, необъяснимо и прекрасно совмещающий речь и ее изнанку в одну притягательную картину.

Спустя несколько лет, уже будучи обладательницей полного собрания сочинений Блока и заядлой изготовительницей стишков, она увидела, что подсказки разбросаны буквально по всему тексту, в каждом из романов, но для того, чтобы их понять, нужно самому написать хотя бы один стих.

Единственное кайфоносное стихотворение, что было в ее памяти, постепенно настолько истерлось при автоматическом повторении, что потеряло смысл для Лены, превратилось в чередование слов. Стишок стал похож на готовое решение системы уравнений. В начале были заданы определенные условия, а в конце все сводилось к сокращению всего и вся, к неожиданному, но при этом закономерному выводу. Лена решила, что путем подбора сможет поменять одни элементы на другие, не затрагивая при этом рифмы, и получит нужный ей приход. Часть каждого вечера была занята у нее этой игрой с поиском существительных и прилагательных с тем же количеством слогов и теми же ударениями, что в образце. Извела она на эти упражнения несколько общих тетрадей, а толку все не было. Понятно, что бессмысленная забава постепенно стала вытесняться более важными или интересными занятиями, затем настал день, когда Лена и вовсе забыла достать очередную тетрадку, чтобы продолжить перебирать слова в попытке выжать из них хоть что-то похожее на то летнее ночное чувство.

Глава 2.

Красный, но из него не делают флаги

1.

Закрывшая первую свою сессию, приглашенная на вечеринку своими новыми друзьями (в институте они у нее неожиданно появились), Лена, совершенно счастливая, влезла в электричку,

в неотапливаемый вагон, где было холоднее, наверно, чем на улице. Пока остальные ее товарищи курили в тамбуре, а другие болтали о всяком, предлагая найти вагон, в котором можно было бы проехаться, не застудив почки, она села на скользкий пластмассовый диванчик в стороне ото всех, не задев, впрочем, ничьих чувств. Та нелюдимость Лены, что в школе принималась другими за высокомерие, институтскими друзьями не замечалась. Дружелюбные одногруппники каким-то образом все равно постепенно стягивались в то место, куда Лена уходила, какой бы тихий уголок не выбрала, будто она каждый раз могла рассказать им что-нибудь интересное. Им хватало даже ее молчания во время общего разговора, и при этом ее не считали угрюмой и нелюдимой. Ребята подтягивались не сразу, будто ждали, когда тронется электричка, а та стояла с открытыми дверями, усугубляя холод. Снег, налипший на подошвы ботинок, не таял на линолеуме, которым был покрыт пол в вагоне. Было слышно, как под беспокойными переступаниями веселящейся в тамбуре компании хрустит снег. Внезапно все замолкли, пытаясь услышать, что доносит динамик диспетчера с соседней станции, кто-то неудачно шагнул, не шагнул даже, а перенес вес тела с одной ноги на другую, отчего снежный хруст, особенно заметный в такой тишине, перешел в долгую дверную ноту.

Солнце уже садилось, и цвет его был как у поношенного пионерского галстука или пионерского знамени: между красным, оранжевым и розовым. Были в жизни у Лены и другие похожие предметы того же оттенка, например, грейпфрут иногда был таким, либо алый наряд модели на обложке «Бурды» становился таким, если журнал оставляли летом на подоконнике на несколько дней, но мысль про грейпфрут и обложку не сразу пришла в голову, а сравнение с флагом и галстуком уже находилось в памяти, готовое к использованию.

В этом свете, похожем на свет в фотолаборатории, куда внезапно открыли дверь из соседней, освещенной яркими лампами комнаты, сиденья в вагоне казались белыми, тени от сидений – синими, а пар Лениного дыхания – красным, будто она действительно долгое время пробыла в некоем помещении, полном стягов, вымпелов, как тряпка была уже напитана пылью, в которую они (флаги, вымпелы и сама Лена) постепенно превращались.

Предупредительно прогудев, на соседний от электрички путь налетел товарняк, груженый чем-то сыпучим, потому что через сдвоенный грохот проходящего по рельсовым стыкам металла и сплошной железный шум всего поезда, быстро прокапывавшего тоннель внутри холодного воздуха, Лена услышала, как песок скребется о бок и окна вагона. Вот так же Лена с мамой ехали однажды в Москву, к маминой подруге, так же шел товарняк и скребся песок, Лена со своей верхней полки глядела наружу, а потом треть поездки мама вымывала из Лениного глаза соринку: колючую, каменную, огромную (судя по ощущениям), оказывавшуюся то под верхним веком, то под нижним, то где-то прямо на глазу, но при этом не видную ни самой маме, ни соседям по купе. Помня о том случае, Лена опустила лицо и невольно прищурилась, но при этом все равно видела, как свет, попадавший в промежутки между идущими вагонами, скользящий вместе с ходом товарняка, кратковременно освещает ее слева.

Первые две строки стихотворения сами собой возникли у Лены в голове, причем Лена даже удивилась тому, что они не пришли раньше, таким они были естественным продолжением ранних ее наблюдений, того, что происходило вокруг, но не казалось чем-то интересным: настолько было привычно, что солнце бывает красным во время заката, или что от длинного тяжелого поезда, проходящего мимо, исходят громкие звуки. Но раньше эти наблюдения не были заключены в какие-то определенные слова. Именно эти-то слова и выдергивали обыденные вещи из других таких же незаметных повседневных вещей и делали их событием. Две фразы были настолько далеки от всегдашнего говорения Лены, однако при этом она чувствовала их естественность, она ощутила, что это начало стишка, который должен закончиться приходом, будто это было стихотворение, от которого она уже когда-то получила свое, а теперь подзабыла, и он снова попался ей на глаза.

Само наблюдение про слова при этом вовсе не было для Лены заключено в окончательную формулировку, а открылось больше как ощущение, схожее с ощущением правоты. Если бы Лену спросили, чем же литра отличается от привычного ежедневного говорения, вряд ли Елена смогла бы сказать что-то определенное, а скорее показала бы что-то вроде беспомощной, но при этом восторженной жестикуляции.

Стишок пришел сам, незаконченный, но уже хищный в своей незавершенности, Лена почувствовала, как он роется в ее памяти, пытаясь дополнить две своих строки еще двумя зарифмованными. Он одновременно был и тем, что Лена придумала сама, и тем, что Леной как будто и не было вовсе. У него имелось чувство самосохранения: Лена почувствовала его страх исчезнуть, будто это был ее собственный страх смерти, стишок повторял сам себя, даже когда Лена, опасливо оглянувшись на приятелей, так и стоявших в тамбуре, вытянула из своей сумочки первую попавшуюся тетрадь, карандаш и записала две строки на одной из последних страниц (сначала попалась шариковая ручка, но чернила там явно были замерзшие, однако Лена все равно, прежде чем выковырнуть карандаш, проверила стержень ручки – несколько раз чиркнула по наконечнику подушечкой большого пальца).

Электричка тронулась, будто этакий горизонтальный лифт, везущий Лену в совсем другую жизнь. Отчасти даже первый кайф от первой дозы не впечатлил ее так, как сделали эти две строки. Она поняла, что означают все эти многочисленные обмирания в романах Блока, поняла, что происходило, когда молодой человек из романа «все еще взбегая по лестнице совокупления, отвлекся вдруг на тусклый отблеск чайной ложки, лежавшей на столике, на то, какой необычайно яркий блик давала она в побеленный потолок, как серповидный свет этот подрагивал совместно с похожим на часовой ход движением двух человек; текст заметался, еще ни имея в себе ни звука, но уже чувствуя, что будет состоять из этого подрагивающего пятна, жадно приискивал к этому еще что-нибудь: андреевские кресты узора на скатерти, нательный крестик, утекший Мише в подмышку».

К ней подсел одногруппник, который считал, что обязан мутить хотя бы с одной девушкой, раз уж попал в такое место, где девушек этих самых было много. Функция активного самца его явно и весьма тяготила. Лене, в свою очередь, было тягостно, что объектом своих неохотных, но усердных попыток однокурсник избрал именно ее. У многих уже были свои пары, не обязательно из институтских знакомых, но одногруппник, которого звали Сережа (все звали: и друзья, и преподаватели, даже из самых суровых), решил с чего-то, что обязан отыскать пару именно на первом курсе, много у него было книжного, запланированного, правильного, разве что он картавил, но тоже как-то довольно мило, на французский манер. Когда девочки необидно подкалывали Сережу, что он девственник, Сережа покрывался прекрасным румянцем и становился похож на карапузов с поздравительных открыток за авторством Владимира Зарубина. Вряд ли, конечно, сами девчонки были умудрены таким уж прямо опытом, но если начинали смеяться, их было не остановить. Лена сочувствовала Сереже и при этом поделать с собой ничего не могла, если разгорался смех, она пыталась сдержаться и не могла.

С первых дней Сережа подался в студенческую самодеятельность: он пел и играл на гитаре. Увидев его однажды на сцене, где он, с экспрессией, изображающей экспрессию Высоцкого, как бы разрывал головой паутину между собой и микрофоном во время припева, Лена, стыдясь себя, подумала: «Какое любить – так любить, какое стрелять – так стрелять, господи».

Без спроса взяв ее руки в свои, Сережа спросил: «Не замерзла?» – и улыбнулся замечательной своей улыбкой, подышал Лене на пальцы, то есть, получается, сначала дыхнул ей морозным паром с запахом «Стиморола» в лицо, а потом на костяшки пальцев. Когда он опять поднял к ней взгляд, проверяя, правильно ли упражняется в ухаживании, Лена, сначала в рассеянности даже не выдернувшая своих ладоней из ледяных рук Сережи, подумала: «Улыбку, что ли, вставить». Она прикинула рифму «рыбка-улыбка», что, конечно, не подходило к тем первым двум строкам, что уже придумались, но там можно было что-нибудь накрутить во втором четверостишии про рыбий блеск снега. Потом ей вспомнилось, что в местной газете «Консилиум», которая покупалась ради телепрограммы, едва ли не каждую неделю выходил разворот с литературными выкрутасами тагильчан, были даже поэтические подборки (Лена проверяла – вдруг торкнет, но, понятно, что такое редакция бы не пропустила, поэтому не торкало). Как правило, каждый раз, на литературной страничке этой светились два автора – Олег Романчук и Роман Белоцерковский. Оба они томно писали о любви и женской красоте, оба из раза в раз не уставали пользоваться рифмами «сердце – скерцо» и «улыбка – зыбкий». Белоцерковский, помимо стихов, писал еще и рассказы, которые начинались примерно так: «Молодой, но уже успешный композитор...». То есть автор показывал, дескать, вот смотрите, молодой, успешный, а еще чего-то не понимает, но я его сейчас прокручу через выдуманную мной историю, и он изменится. Герой, правда, менялся, от начала рассказа к концу, но вся история

казалась наивной даже Лене, которая, можно сказать, сама еще по колено стояла в наивности, чуть ли не Зайцем была из «Ну, погоди!», который там с барабаном и шариками по ночному парку. Текст же, который у нее крутился, был будто бы старше этого всего: Лены, газеты, авторов этой газеты, – посему улыбка Сережи, с ней и рыбка, и зыбко, и зыбкий, может быть, даже зыбка оказались отброшены, руки вежливо, тихонько, однако настойчиво (Сережа их пытался как будто удержать, но вот в том-то и дело, что пытался, а не удерживал), оказались вынуты из его нежных, розовых почти до лиловости лапок, руки его при этом так скользнули, будто Сережа пытался запомнить, какова на ощупь Ленина кожа. Лена подумала, что сама в те моменты, когда Сережа смотрел и прикасался к ней, сама становилась чем-то вроде стишка: попадала к пареньку в голову, эта ее проекция жила потом у Сережи в голове своей жизнью. Очередными взглядами и прикосновениями Сережа уточнял и дополнял образ воображаемой Лены, пытался придать ей больше деталей. Любопытно было глянуть ему в голову, посмотреть: насколько эта придуманная Лена, дополненная всякими деталями, служила Сереже как объект его онанизма, была ли она, вообще, таким объектом, потому что на курсе были девушки и покрасивее Лены, что было совсем не трудно, и тактильные подвижки Сережи могли дополнять вовсе не ее образ, а перекладываться на образы Вики или Саши. Вообще, девчонки решили между собой, что если на кого Сережа и передергивает, то сугубо на себя, когда представляет себя на сцене, с летящими в него букетами от восторженно беснующейся публики.

Сама Лена не с потолка взяла такой интерес, не извне он возник у нее. Голова Лены во время одиноких поездок в трамвае, маршрутке, или перед сном, если сам сон не шел, подсовывала то один, то другой образ ей знакомого человека. Это было совершенно произвольно, будто мозг, если считал какую-то беседу со знакомым не совсем завершенной, пытался доиграть разговор до некого необходимого успокоительного для самого себя финала. Так вот мысленно поговорив, Лена считала вопрос решенным, скуку по человеку развеянной, и потом, встретив знакомого, она уже и не беседовала с ним особо, потому что ну что уж тут разговаривать, если столько уже переговорено. Сексуальных идей воображение Лены тоже не было лишено. Несмотря на то, что в определенном смысле свидание с Олегом было совершенно невинным, позже оно превратилось в несколько ярких, обрывочных сцен, сначала в неких местах, каких в жизни Лены и не существовало вовсе: в белой, стерильной комнате, наполненной белой мебелью, или на каком-то острове, под шум океана, в невероятной зелени и синеве, позаимствованной, наверно, из рекламы «Баунти», и Лена в этой сцене была тоже вроде модели оттуда, такая вся с длинными волосами, с мелкими капельками прибоя и пота на загорелой коже, и Олег там был с капельками прибоя и пота. Первоначально мысль о том, что все может происходить у нее дома, в ее постели, и без того подвижной в плоскости x-z, или на диванчике в гостиной, под звяканье хрусталя в серванте, вызывала у Лены неприятие, однако позже стала даже слегка заводить. И это были только фантазии из последних, более крупных, более-менее проработанных. При этом если кто-нибудь из парней шутил на эту тему, Лена негодующе фыркала, как фыркали и другие девочки; Лена пыталась угадать, кто из них фыркает искренне, хотя и сама фыркала искренне, потому что в момент шутки была немного не той Леной, какой была дома – в туалете, когда крутило живот, или в ванной, тех Лен как бы и не существовало для других людей, даже для родных с какого-то времени они были как бы пьющими близкими родственниками, о которых неудобно говорить, если они не творят чего-нибудь по-настоящему забавного.

Она не только в себе не соглашалась признавать некие вещи, которые считала своими недостатками, но и у близких людей подчас отказывалась их видеть. Был ведь, например, у бабушки и мамы вибромассажер, в детстве ей объясняли, что он неплохо лечит спину, при этом не видела ни разу, чтобы кто-нибудь лечился этим вибромассажером, с другой стороны, был же в доме и напольный вращающийся диск, который предназначался для некой особенной гимнастики, упражнения для которой Лена даже видела в журнале «Здоровье», на диске этом тоже никто никогда не занимался, на нем и ради развлечения покружиться было трудновато, стояла на нем Лена или сидела по-турецки, стоило вертануться как следует, и центростремительное ускорение легко, будто даже за шкирку взяв, швыряло ее куда-нибудь вбок. Был еще в доме гимнастический снаряд, похожий на мочалку с пружинами, он тоже валялся то там, то сям бессмысленный и неупотребляемый.

Почти бесполезной была домашняя библиотека. Ряд томов Дюма и шестнадцать толстых книг «Современного американского детектива» просто занимали полки, откуда их, кажется, ни разу не

брали с тех пор, как туда водрузили. И ладно бы часть библиотеки и ненужные предметы были из тех, что могли когда-нибудь пригодиться, нет, совершенно они были бесполезны, никто больше не собирался читать трилогию про мушкетеров, вычленив ее из ряда плотно стоявших одинаковых книг, Лена попробовала в детстве, но как-то ей не зашло, детективы никто не то что не читал, но даже и не пытался начать хотя бы из любопытства, так же пылился Вальтер Скотт, спортивные снаряды не имели шанса, что о них вспомнят, как вспомнили о засохшем шланге от стиральной машины, когда оказалось, что им прекрасно можно прочищать засор в сливе кухонной раковины. Лена спокойно мирилась с обилием лишних вещей в доме, она привыкла, что ее окружают бесполезные предметы, она закрывала глаза на то, что мама и бабушка не хотят избавиться от хлама. У нее самой стоял на полке пластмассовый красный гном, появившийся после поездки в Москву, конфеты, которым гном служил упаковкой, были давно съедены, а он остался. Лежала в нижнем ящике стола большая цветная коробка из-под конфет, тая внутри аккуратно разглаженные утюгом конфетные фантики, выкинуть все это добро не поднималась рука, там же находилась довольно большая коллекция открыток, в основном праздничных, но было и несколько наборов серьезных народных артистов.

Стишок тоже оказался в ее голове, как она в родительской квартире, большая часть хлама, что его окружала, была ему совершенно не нужна. Пока Лена катилась до дома, нарезала салат, жарила кусочки батона, чтобы потом на месте уже намазать их шпротным паштетом, потом ехала с увесистым пакетом на Гальянку, где назначено было место сбора, стишок перебирал в ее памяти случайную ерунду, пока не выбрал неожиданно воспоминание о том, как она с забытой уже целью вырезала из журнала цветные красивые фотографии женщин, пытаясь резать по контуру, но поскольку не нашла нормальных ножниц, резала огромными портновскими, орудовать которыми было не ахти (еще Лена досадовала тогда, что вырезая фигуру с одной стороны страницы, теряет фигуру по ту сторону, жадничала, что нельзя без потерь вырезать как-нибудь обе).

Выбрал он и случай в ноябре, о котором Лена и думать-то забыла, не могла предположить, что такое вообще запоминается. Она шла домой, увидела жестяную крышку от пивной бутылки на тротуаре со слежавшимся уже снегом, вдавила эту крышку каблуком и отметила про себя, что крышка похожа на рождественскую звезду из какого-то мультфильма, вроде бы из «Супер-книги». Эта мысль как влетела в ее голову, так, казалось, и вылетела из нее, стишок же высветил ее, как спичкой на антресолях, будто разыскивая свечи при внезапно сдохшем электричестве. «Смотри, что я нашел», – как бы сказал стишок прямо посреди беседы со встреченной по пути до нужного дома одногруппницей. Хорошо, что не было у Лены при себе ни тетради, ни блокнота, иначе она кинулась бы записывать, будто конспектируя слова подружки о блузке, которая была такая вот и такая, но на нее был пролит вишневый сок, на такую часть груди, что даже ничем не завешать, никакими бусами, о салате из чеснока, морковки, сыра и майонеза («Его много получается, хотя вроде и сыра – всего ничего, и морковка одна»).

И без того несколько рассеянная Лена перестала подавать признаки хотя бы какой-то активности и принялась просто ходить за одногруппницей меж высокими зданиями четной стороны Уральского проспекта, тогда как с нечетной находилось огромное снежное поле, терявшееся во мраке и холоде. Они выглядывали номера домов, пытаясь найти нужный, потому что потерялись, как лесу: время было довольно позднее, народ во дворах по причине холода особо не развлекался, а подходить к тем немногим, кто все же кучковался под сумрачными козырьками подъездов, было боязно. Подружка почему-то решила, что она главнее беспомощной Лены, что обязана довести Лену до места, поэтому, видно, опасалась, что Лена обидится на нее за то, что она не может сделать это быстро, что они обошли зачем-то кругом школу, стоявшую на возвышении, наткнулись на собаковода, чей черный пес перебежал им дорогу, и подружка сказала, что ладно не кошка. Собаковод слабо ориентировался в районе, мог назвать только номер своего дома, при этом честно сказал, что не помнит, как номера убывают – прибывают, но махнул рукой наугад, потому что помнил что-то такое вроде, когда в магазин ходил за лампочками.

Они оказались не самыми последними из прибывших гостей и не последними, кто спросил собаковода о дороге. Последней пришла Вика со своим парнем, оба словно веселые от того, что продрогли и потерялись. Кроме Вики, парней привели еще две девушки. Чувство некоторой неловкости от присутствия незнакомых людей в уже как бы сложившейся компании слегка

скрадывало ушибленное, более чем обычно, состояние Лены, но не настолько она была все же в задумчивости, чтобы не следить с определенной степенью ревности за тем, как ребята едят приготовленные ею бутерброды и салат, больше ли им нравится ее еда, нежели другие салаты и бутерброды. Потом она вызвалась помочь хозяйке дома нарезать еще колбасы, а когда обе они вернулись к столу, гости уже были очень пьяные, либо притворялись таковыми, рисуясь друг перед другом. Сереже не дали достать гитару из чехла, да еще со словами «Сколько можно-то уже про уток, про плот!», так что он даже поскучнел и начал собираться прочь, его стали уговаривать остаться, отчего он заметно повеселел, Лена подумала, что не одна она тут такая сумасшедшая – жадная хотя бы до какого-нибудь внимания.

Временно самоустранившиеся родители хозяйки дома не курили, посему хозяйка приказала ходить на балкон, даже не в подъезд, потому что на лестничной площадке были очень раздражительные соседи. Лена увязалась за курильщиками, не столько затем, чтобы подышать дымом, конечно: среди курящих разговоры были интереснее, чем за столом, табак, видно, как-то действовал на говорящих, делал их чем-то вроде пифий, накладывался на опьянение и еще более развязывал воображение и языки, и еще это, видно, было нечто бессознательное, ведь когда мама курила на кухне, она была интереснее и казалась Лене красивее и серьезнее, внушительнее, чем обычно, ее паузы в словах во время затяжек порой завораживали Лену, мама в эти секунды молчания становилась похожа на Каа из советского мультфильма. Имелась и вторая причина, которая влекла Лену на балкон – высота. Сама Лена всю свою жизнь видела свою улочку со второго этажа, да и то не весь год: когда на акации и тополях возле дома появлялась зелень, дорога и нежилое здание напротив ее окна полностью скрывалось за листьями.

Подружка жила на десятом этаже, при этом дом ее стоял несколько выше, поэтому с ее балкона были видны плоские крыши остальных девяти и десятиэтажек. Глядя сверху на крупные темные пятна зданий с вкрапленными в них огнями мелких окон, вслушиваясь в приятельскую болтовню, удивляясь, что эти люди, обсуждающие фильмы ужасов, станут учителями и будут с серьезным видом день за днем входить в класс; борясь со страхом, что тело на пару секунд перестанет слушаться Лену и само как-нибудь перевалится через бортик балкона, Лена хотела текста, который бы вместил вот эту вот высоту, темноту и то, что балкон находился почти на углу дома, так что при взгляде налево стена, об которую терлись наждачные снежинки, обрывалась и как бы кренилась навстречу практически неподвижным тучам.

Может, это стояние на балконе и вся вечеринка, переросшая в пение под гитару песен «Агаты Кристи» и «Наутилуса», медленные танцы, где Сережина прилипчивость пришлась как нельзя кстати, хотя бы тем, что Лене, в отличие от некоторых, было хотя бы с кем потанцевать, было кому ее проводить, отвлекли Лену от ее первого стишка, потому что он в итоге не получился таким, как она хотела, то есть вроде и вышел, и логически закончился, все в нем Лене нравилось, но прихода от него не было. Она его изредка перечитывала, прежде чем забросить и забыть, пробовала понять, в каком месте ошиблась, и память о том вечере, точнее, уже о том, как она шла последние метров триста до дома, радостная, хотя никаких особенных поводов для радости не было, полная ощущением прожитого большого события, которое совершенно не являлось ведь замечательным.

Гораздо больше на нее в ту зиму должно было, вроде бы, повлиять то, что она переспала с Сережей, перешагнула еще один этап своего взросления. Но дело было, видно, в том, что она, переступая этот этап, будто на руках перенесла с собой и Сережу, который в первый свой раз на своей территории (что было бы с ним у нее дома, где он нервничал бы от каждого лишнего шороха, боясь быть застигнутым родственниками Лены) откровенно не блистал. И не мог блистать, потому что близость не перенесла Лену и его ни в белую комнату с белой мебелью, ни на кокосовый остров, не превратила его в загорелого красавца или хотя бы в Олега. Умом-то Лена понимала, что подобные телепортация и превращение невозможны в принципе, но обида на Сережу осталась. У него тоже, скорее всего, были некие представления о сексе, от которых он ждал гораздо большего, и Лена его тоже чем-то разочаровала.

После того как Лена вышла из детского возраста, ее дома особо никто не тискал, она открыла для себя, что вообще отвыкла от прикосновений, что любой поцелуй ниже лица вызывает у ее либо дикий смех, либо попытку оттолкнуть или даже ударить. Ленин пинок коленом в печень вряд ли

оставил у Сережи приятные воспоминания, наверняка ни о чем подобном он и мечтать не мог, когда он представлял себе близость с Леной, или с кем он там ее себе представлял. Лена тоже не представляла, что в самый неподходящий момент отметит про себя, что у Сережи чудовищно большая голова, он и сам был не маленький, но само отношение головы к туловищу один к пяти превращало Сережу в глазах Лены во что-то вроде гигантского пупса. У него и прическа походила на пластмассовую челочку у бывшей у нее когда-то куклы, и даже глазки синели так же ярко. Пупс был чем-то даже лучше, цветом, например. И Лена, и Сережа в голом виде были до отвращения для Лены белы, с красноватыми кистями рук и лицами. На фоне простыни эта бледность оборачивалась желтоватостью жира или серостью теста. Лена зачем-то поцеловала Сережу в шею, и он кончил, так ничего толком и не начав.

В перерыве у Сережи хватило ума не брать гитару, хотя начало песни «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми» было бы в тему. Ну, по крайней мере, он сделал виноватый вид, а Лена сделала вид, что сочувствует. Кажется, Сережа боялся, что Лена расскажет об этом конфузе, а сам уже еще задолго до этого наболтал дружкам, что у него с Леной было чуть ли не как в «Девять с половиной недель».

Она позволила ему второй заход, и глядя на его физкультурное усердие, слегка маялась совестью за то, что использует Сережу для того, чтобы не облажаться, если ей когда-нибудь подвернется действительно кто-нибудь по-настоящему интересный.

Думая, что новый опыт как-то на нее повлиял, она попробовала литературно обработать свои ощущения. Стихи, как и секс, получились не очень. Особенно Лена стеснялась, что в семи с половиной текстах четыре раза повторялось словосочетание «светлая грусть», даже раздеваться и начинать с Сережей было не так неловко, как натыкаться на эти слова. Она присматривалась к Сереже при встречах: изменился ли он, после той их встречи. Обидно было, что его тоже, кажется, никак не коснулось это их телесное взаимодействие. Лену подмывало сказать Сереже, что она залетела, что его сперматозоид, видно, махнув здоровенной головой, как сам Сережа перед микрофоном, прорвался через резинку. Ее интересовало, как Сережа отреагирует: будет ли рад; начнет ли уточнять: от него ли. Впрочем, эту выходку, при всей забавности самого эксперимента, Лена отмела, потому что это было слишком безумно.

Конечно, они сходили еще на несколько свиданий, однако в Сереже не находилось прежнего пыла, с коим он добивался постели, даже Лена была в большей степени непрочь повторить, по крайней мере, ей так казалось, может, если бы Сережа принялся настаивать, она бы еще порисовалась, прежде чем согласиться. И Сережа, выполнив некий пункт, который себе наметил в жизни, заскучал при Лене, хотя попыток завести подружку поинтереснее не предпринимал, и Лена, когда не получила того, чего хотела, а чего хотела и сама не знала, при встречах с Сережей говорила коротко, откровенно показывала, что ей с Сережей скучно. Никто никого не бросал: они просто перестали встречаться, да и все. Так быстро это все произошло, что за букетиком, который Сережа подарил Лене на восьмое марта, сексом и расставанием март не успел даже закончиться. Лена потом думала, что если бы и правда забеременела, Сережа обязательно переключился бы на какой-нибудь запасной план, который у него был наверняка набросан, обязательно бы женился на Лене, если бы поздно было что-то менять, и стали бы они жить, как папа Лены с мамой Лены, как два скучающих друг от друга человека, с редкими приступами праздничного веселья или показной, при походах в гости, если уж не любви, то симпатии.

Если Сережа после отношений с Леной прекратил всматриваться в людей противоположного пола, делал суровое лицо, когда его спрашивали, что это с ним, а в присутствии Лены совмещал ответ на подобный вопрос быстрым взглядом в Ленину сторону, то Лена и рада была остановиться, но не могла. Она запала не на одногруппника на этот раз, потому что одногруппники от близкого знакомства казались придурковатыми, либо, если не отличались придурочностью, то были заняты; на этот раз ее заинтересовал однокурсник. Любовь ее, впрочем, носила платонический характер, потому что Лена не знала, как подступиться к совершенно дикому с виду высокому молодому человеку, ездившему в институт откуда-то из пригорода. Обычно он сторонился компаний, но если уж оказывался в толпе, его сутулая лохматая голова высилась над другими, как голова коня. Он и вел себя как пугливая лошадь, каким-то образом оказавшаяся внутри аудитории: сторонился других, осторожно ходил

по лестнице, слегка шарахался, если к нему обращались. Люди тоже старались держаться от него в стороне, будто боясь, что он может лягнуть. Ходил он всегда в черном костюме и черной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей («Ему бы галстук», – еще до того, как заинтересоваться этим молодым человеком, думала Лена). Кто-то с курса предполагал, что парень когда-нибудь придет в институт с автоматом или ружьем, или пришел бы уже, если бы они все жили и учились в Америке. Преподаватели относились к этому молодому человеку с гораздо большей симпатией, чем студенты, то ли было за что, то ли знали про него что-то, что вызывало эту симпатию, потому что учился он не особо выделяясь среди других.

Так или иначе, на одном из семинаров Лена, услышав, как он дрожащим голосом зачитывает свой рефератик, держа тетрадку в трясущихся от волнения руках, внезапно оказалась охвачена чем-то вроде приступа жалости, такой силы, какой не испытывала никогда до этого, особенно грустно ей стало от перхоти, заметной на плечах его пиджака. Парень по-деревенски окал, торопливо пробегался по длинным словам и коротким предложениям, как бы выбрасывая гласные. «Лучше бы он заикался», – шепнул кто-то из девчонок, оформив в слова неловкое неопределенное чувство Лены, вызванное таким чтением.

Парень очень бы удивился, если бы узнал, как много о нем Лена думала еще несколько недель после его выступления. Он поразил ее так, как поразил лет в десять мальчик с фрески Васнецова «Крещение Руси»: несмотря на то что сама фреска была наполнена фигурами, как утренний автобус или трамвай, ее тогда привлек только он, его голова торчала из нижнего края, из-под головы старика, мальчик вопросительно смотрел в лицо наклонившегося священнослужителя, державшего книгу. Маленькая Лена томилась, не зная, как мальчик оказался в воде, что стало с ним потом, тогда ее это очень волновало по непонятной причине, еще она не могла разобраться: мальчик это или девочка, и это волновало ее тоже. Таким же томлением неизвестности полнилось и ее чувство к парню в черном. Только в детстве это было тоска по тому, что она узнать никогда не сможет, а тоска по однокурснику была сродни самоистязанию: Лена ничего про него почти не знала, но и знать не хотела, боясь, что это разрушит ее чувство тоски по нему.

Появления стишка она в этот раз просто не заметила, не обратила внимания, что в голове ее сами собой между делом крутятся две строчки, похожие на слова услышанной где-то попсовой или полуроковой песенки. Первая строка из двух была такая: «Ты говоришь “Волколамск”, чувак, “Волколамск”». Никак не вязалась эта строчка с однокурсником, никогда он при ней не пытался произнести слово «Волоколамск», хотя если бы попытался, у него бы получилось именно так. Слово «чувак» она тоже никогда не употребляла, из ее друзей тоже никто не пользовался этим словом.

К «Волколамску» хорошо прилегла рифма «волопас». Этот стишок не был таким осторожным и привередливым, как первый, он с легкостью нагреб недавних впечатлений, буквально выпал на тетрадный лист в количестве пяти четверостиший, на несколько минут, прежде чем Лена смогла прийти в себя от неожиданности, пригвоздил ее к стулу внезапным приходом. Благо стул находился в ее комнате, а Лена как раз была занята своими студенческими бумажками: ковырялась в конспектах по математической логике, готовясь к завтрашнему занятию.

Накрыло ее не так сильно, как в самый первый раз, но радость, что у нее получилось сделать свой первый настоящий, пробирающий стишочек, отчасти усилила эффект. Стекла в окошке ее комнаты как бы исчезли, отраженная в стекле настольная лампа и там же отраженная Лена с вопросительным взглядом переместились на улицу, в уже раскрывшиеся, большие и пыльные тополиные листья. Взгляд потусторонней Лены был настолько внимателен, что Лена в неловкости поправила халатик на груди. Настольная лампа, склонив пластмассовую шейку, недвижно пялилась на свое отражение в мутном листе оргстекла, которым была покрыта столешница. Отражение лампы в столешнице, в свою очередь, как-то даже осмысленно глядело на Лену.

Лену ненадолго отпускало, и тогда ей казалось, что никакого прихода нет, что она сама себе все напридумывала, отражения в окне и столешнице становились неживыми и плоскими, ничем не могущие удивить, затем вместе с ощущением телесной карусельной или качельной жути опять приходило одушевление: снова Лена смотрела на Лену, лампа смотрела на Лену, лампа смотрела на себя, отражение лампы смотрело на Лену, при этом самой Лене то казалось, что она никуда не смо-

трит, а просто оказалась в точке пересечения нескольких взглядов, то, что она сама способна фиксировать своим взором сразу несколько точек в разных частях комнаты.

Веселье от стишка не продержалось и суток. Еще с утра, по пути до института, Лена получила некий объем интересных впечатлений, по-новому чувствуя разнонаправленные взгляды прохожих, отражения в витринах и окнах, вздернутость носов двух пушек возле обелиска боевой и трудовой славы, взгляды пассажиров трамвая, высунутые наружу, как весла из галеры. В электричке присутствие стишка перестало чувствоваться совсем, зато в институте она встретила мрачного высокого однокурсника и смогла посмотреть с благодарностью на его пыльный, лохматый затылок, думая, что из чувства к этому нелепому кентавру сможет выдавить еще несколько текстов.

У нее появилось, наконец, то, чем она могла похвастаться перед Олегом, другое дело, что Олег во дворе не появлялся: от времени их последней летней встречи семейные дела его может и не наладились, но сбегать к родителям после ссор он перестал. Даже меньше года прошло, всего пару раз у Лены было, а она уже видела, как нелепа была с его стороны попытка утешиться в Лениной детской компании. Лена боялась признаться себе, что Олег ей нравится, но даже то, что она относилась к нему как к старшему родственнику, знала, что он женат, видела его нелепым, беспомощным, то, что он, не зная куда себя девать от неловкости, предложил ей наркоту – даже все это лишь слегка смущало Лену, когда она думала об Олеге. Больше всего ее коробило, что не только она относится к нему, как к родственнику – он тоже. Из всего, что Лена могла вспомнить как проявление симпатии к ней – это пара тычков пальцем под ребра, да то, что, когда она собиралась домой от Ирины, он с восклицанием «Шляпа!» натягивал Лене шапку на глаза. Это было как-то далеко от предвестника будущих отношений, от фундамента, с которого строится долгая совместная жизнь; от «Поющих в терновнике» это было тоже далеко, да.

Только летом, ближе к концу июля, мама, бабушка и Лена оказались приглашены на день рождения папы Олега и Ирины. Лена уже успела написать еще три стишка к тому времени, цепляли эти тексты не сильнее, но и не слабее майского.

Праздник проходил прямо во дворе, немногочисленные гости и рыжая дворовая собака (что появилась из ниоткуда, а потом также ненавязчиво исчезла) терлись возле столика под кустом акации, рядом со столиком сам виновник торжества жарил мясо на ржавом мангальчике, но, по сложившимся у Лены ощущениям, все больше пили, чем ели. То, что Олег приехал и не взял с собой жену (она сама отказалась), слабо утешало Лену, потому что Ира не приехала, занятая уже каким-то проектом («Здравствуй, укол зависти», с торжеством самоуничижения подумала Лена).

Олег пил коньяк и казался чужим, Лена не знала, как подступиться к нему после того, что он просто задал ей вежливые вопросы о прошедшем первом курсе и принялся остервенело тискать собаку. Праздник явно не задавался, разве что мама Ирины, мама и бабушка Лены прекрасно набирались винищем из коробок, дымили сигаретами так, что Лене казалось уже, что курит уже и бабушка. Папа Ирины пробовал заговорить с Олегом, но тот не отвечал даже отцу, с Леной папа Ирины тоже только перекинулся несколькими скучными словами, похвалил за успехи в учебе, как третьеклассницу. Два листка со стихами, лежавшие в кармашке Лениного платья, просились на угли – принесла она их зря, если бы мама была трезвее, она бы давно бы уже заметила и спросила, что это за бумажки Лена прячет.

Лена единожды попробовала изобразить приступ мигрени и уйти домой, но мама сказала тихо: «Фу, как некрасиво так делать». Лена и сама знала, что некрасиво, а разве красиво было сидеть, не зная, чем себя занять, кроме выпивки, портить своим видом праздник. Лене казалось, что если она уйдет, все как-то разговорятся между собой, мама или бабушка говорили бы потом, что зря Лена ушла.

– Вадик, салют! – возле столика появился еще один гость, Лена заметила, как симпатичное даже без косметики лицо Ириной мамы перекосило, а отец Ирины наоборот заметно оживился и с готовностью обернулся к пришедшему, – я не с пустыми руками!

– Кто бы сомневался, что не с пустыми, – утяжелив иронию скепсисом, сказала мама Ирины.

Новый гость жил в соседнем дворе, Лена часто его там видела, играющим в домино или пьющим. Он будто пропадал куда-то, когда наступала осень, зима, но стоило потеплеть, он снова появлялся, одетый в серую майку, тренировочные штаны и шлепанцы, в которых он ходил даже в магазин

или киоск. Еще в детстве Лена поражалась волосатости этого человека: казалось, он прячет пекинеса в декольте своей майки. От него за два метра пахло как от собаки, которую облили пивом и продержали в тепле пару дней. Лена даже предположить не могла, что может быть общее что-то между этим алкоголиком и серьезным, аккуратным папой Ирины, который умудрился разжечь мангал, не замарав ни руки, ни одежду.

Новый гость был толст, лыс и больше всего напоминал продавца комиксов из «Симпсонов», только еще более обрюзгшего, потому что был гораздо старше.

– Что-то давно тебя видно не было, – продолжила мама Ирины, – я уж надеялась, что ты.

Она была культурной женщиной, поэтому сдержалась под коротким, с упреком, взглядом мужа, мелькнувшим из-под очков в толстой пластмассовой оправе.

– Думала, что ты переехал, – закончила она.

– В больничке я лежал на Тагилстрое, – без обиды ответствовал гость.

– Не с циррозом, – добавил он тут же, видимо угадав следующий вопрос Ириной мамы.

– Ой, Миша, вот всегда у тебя так, – сказала мама Ирины.

Лена заметила про себя, что в таких случаях обычно принято допытываться, чем болел человек, раз уж он упомянул о больнице. Когда бабушка разговаривала с подругами по телефону, так оно и было, правда бабушкины подруги и сама бабушка охотнее делились между собой рассказами о своих болячках, однако порой находили время и для легкого кокетства, что все пустяки, ну давление и давление, уже двадцать лет давление. Мама Ирины не стала утруждать свое любопытство, отец Ирины, было видно, не стал задавать вопросы, потому что и так все знал.

– Я зато подарки умею неожиданные делать, – гость пошуршал черным пакетом в руке.

– Книга – лучший подарок, – не без яда прокомментировала мама Ирины, когда гость, протиснувшись между женщинами, выложил на стол потрепанный томик болотного цвета. Буквы на старой обложке невозможно было разобрать, книга лежала от Лены достаточно далеко, но она все равно почувствовала запах сырости, бумаги и табачного дыма. Отец Ирины, лишь покосившись в сторону подарка, стал заметно веселее.

– Преимущество спонтанной коммуникации с различными маргиналами в других частях города, – сказал гость. – Первое издание.

Лена очень не любила людей, которые выражались вот так вот излишне замысловато и как бы умно, при этом напуская на себя вид юмористический, ей было видно, что люди эти не умны, не смешны, лишь замысловаты, да и то для себя самих, будто замысловатость носят всегда с собой, как зеркальце, в которое то и дело поглядывают, или принимаются пускать солнечного зайчика в глаза другим. Лена поймала себя на том, что уже сама смотрит на гостя, как остальные женщины за столом, и даже мысль промелькнула в виде эмоции, но будь мысль эта словами, то звучала бы так: «Да алкаш ты обычный, что же ты из себя корчишь-то?»

– И о дамах я не забыл, – пакет снова зашуршал, а на столе оказалась длинная прозрачная бутылка с жидкостью, чья зелень казалась и ядовитой, и нежной.

– Это что за бормотуха такая? – спросила мама Ирины, взяла бутылку за горлышко и стала, прищурившись, разглядывать этикетку.

– Стыдитесь, Ольга Сергевна, – деланно оскорбился гость, его продолжило корчить в спазмах игривости. – Это абсент, «безумие в бутылке», прерафаэлиты, импрессионисты, Париж, Дега.

– Ну какой Дега, Миша, тут семьдесят градусов, – вмешалась мама Ирины.

Последовал известный в таких случаях обмен репликами насчет того, что понижать градус не рекомендуется, а вот повышение такового ничем абсолютно не грозит, если осторожно. Буквально через час утомленные бабушка, мама Лены и мама Иры были разведены по домам. На саму Лену, которая из любопытства пригубила принесенного Михаилом напитка, абсент подействовал ободряюще, даже возбуждающе, внутренне она жаждала какой-то деятельности, но подниматься на ноги не хотела, поэтому единственное, что она придумала нахулиганить – это вытянуть из забытой мамой пачки «Балканской звезды» одну сигарету и попробовала покурить, благо зажигалку мама оставила тут же. Прибывший на место происшествия Олег даже слегка остолбенел.

– Я только пробую, – пояснила Лена.

– Все понемногу пробую, – добавила она зачем-то и со значением посмотрела на Олега.

Для чего она это сделала (сказала и посмотрела), она и сама не могла понять, просто барьер между желанием сказать и посмотреть и самими этими действиями будто совершенно исчез.

Олег не обратил внимания на двусмысленное высказывание Лены, посмотрел на часы, сказал, что едет домой, и ушел. «Осталась одна Таня», – подумала Лена и кощунственно усмехнулась. После первых затяжек кашель прошел. Такая сомнительная победа над табаком не могла, конечно, улучшить настроение, но Лена, тем не менее, ощущала себя гораздо бодрее, чем в начале праздника. Это не помешало ей, облокотившись на столешницу, закурить вторую сигарету, чтобы проверить: затошнит ли теперь; при всем этом она так погрузилась в свое переживание дыма и одну какую-то мысль, у которой не было внятного словесного выражения, мысль эта походила на момент между бодрствованием перед сном и той секундой, когда, дернувшись, просыпаешься. Так же, дернувшись, как ото сна, она вдруг обнаружила сидящими напротив нее отца Ирины и Михаила, они расположились, каждый подперши подбородок ладонью – добрые и умиротворенные, было в них что-то от Анастасии Зуевой из самого начала фильма «Морозко».

Лена припомнила, что подсели они довольно давно и даже о чем-то говорили друг с другом, а она, получается, пялилась сквозь них и задумчиво курила, они, насколько она поняла, пошутили над ее ступором, кто-то из них даже спел: «This is the end beautiful friend», покрутил пальцем и пофыфыкал, изображая лопасти вертолета.

– Будешь еще? – спросил Лену Михаил, держа пластиковый стаканчик с плещущейся на дне зеленью.

Лена молча протянула руку.

– Че грустная-то такая? – осведомился Ирин отец, пододвигая к ней пластиковую же тарелку с шашлыком посередине и несколькими листочками акации по краю. – Ты закусывай давай.

Лена выпила, отдышалась, принялась послушно огрызать кусок мяса, который подняла ко рту на белой пластмассовой вилочке с гибкими зубчиками, и тут Михаил задал вопрос, от которого Лена замерла, и тот хмель, что был у нее и еще проникал вместе с выпитым недавно, казалось, полностью выветрился из головы:

– А че у тебя за листочки в кармане? Это то, что «у головы в голове»? Или так, Олеге записочка?

Лена сглотнула. Про залезание в голову головы, т.е. про попытку понять, как работает мысль при делании стишка, было у Блока. Да и то, что Михаил разглядывал ее так, что заметил бумагу в ее кармане, было не очень приятно.

Оба мужика засмеялись, радуясь разоблачению. Затем папа Иры стал серьезным и сказал, слегка давя интонацией в заботу:

– Завязывай, Ленка, не надо тебе этого.

Лена хотела ответить, что сама как-нибудь разберется, что ей нужно, а что не совсем, например, советы ей совсем не требовались. Оставшаяся еще с детства пионерская вежливость удержала ее от попытки надерзить.

– А че не надо-то? – спохватился Михаил. – В чем вред, собственно?

– Миша, – покривился папа Иры, – я к тебе нормально отношусь, но вот не надо этого вот опять. Я тебе друг, конечно, но сам-то посмотри, во что тебя за столько лет все это превратило.

– В сто с лишним килограммов натренированного холестерина? – шутя спросил Михаил в ответ, хотя было понятно, что он вполне себе соображает, о чем это папа Иры, и потому и съезжает в хохму, что разговор начал его задевать.

– Миха, ну елки-палки, – папа Иры несколько взвился.

– Да что ты переживаешь-то, господи, – Михаил беззаботно почесал щетину на втором подбородке, выпятил на Лену голубые, почти белые глаза и спросил: – Мои тебе Олег дал, или где купила? С Олегом меняешься?

– Ладно бы сама зарабатывала, – тут же влез Ирин папа со своим честным и справедливым возмущением, – так деньги матери же тратишь на эту пакость.

– Я сама написала, – ответила Лена. – Ничего я не трачу.

– Да не пи...ди! – с уверенным недоверием воскликнул Михаил. – Че у тебя может там быть? У меня в твоем возрасте еще даже и намека не было на что-то такое, хоть я и пытался лет с шестнадцати. Сама себе, небось, придумала, что пробирает.

Такое сомнение было и у самой Лены, она, в принципе, могла себя накрутить до такой степени, что радость перед законченным текстом выливалась в определенную эйфорию, казавшуюся ей приходом, в конце концов, она же сама не могла разобраться, насколько невоображаемо было ее чувство к мрачному однокурснику. Лена заметно замялась, не зная, что отвечать, она могла дать Михаилу свои клочки со стишками, только не знала, уместно ли, вообще, вот так вот во дворе делиться наркотиками на виду у всех. Но Михаила, видно, мало что смущало, он требовательно постучал пальцами по столу, будто отмечая то место на столешнице, куда Лена должна была выложить бумажки. Лена выдохнула, по-детски надув щеки, потянулась за третьей сигаретой, только тогда папа Ирины спохватился:

– Ирка, тьфу, то есть, Ленка, ты куришь, что ли?

– Только когда выпьет, – ответил за нее Михаил и без спросу тоже хватанул себе «Балканки».

Лена выложила стишки на стол, Михаил быстро сгреб их, чуть ли не в кулак, развернул их под столом и щурясь, то ли от табачного дыма, попадавшего в глаза, то ли близоруко, принялся читать.

Лена заметила, что не только она ждет вердикта этого толстого человека, но и папа Иры косится на лицо Михаила сбоку тоже вопросительно.

Михаил протянул низкое, носовое, одобрительное «агаааа», видно, удовлетворившись прочитанным.

– Ну, первое точно работает, – сказал он листочкам у себя в руках. – Такой будда в треть накала, если не в четверть.

Михаил игриво протянул листочек Ириному отцу:

– Будешь? Это не как мои, сильно не заберет. Чисто для бодрости, м? В честь праздника. А то, я смотрю, не все как-то задалось.

– Да без тебя тошно. И без чернил, – отпихнул стишки Ирин отец. – Эта не приехала. Этот приехал, чтобы побыстрее смотаться. Эта вон курит че-то, пишет еще.

– Да че она там пишет, – отвечал Михаил, махнув рукой на Лену.

При этом успел уже успел коротко завалиться на один бок, чтобы спрятать листочки в сомнительный и ненадежный задний кармашек своих треников, выглядело это для Лены как подтирание. Кажется, Михаил сделал так, чтобы это походило на подтирание, потому что смотрел он Лену в этот момент почему-то с издевкой. Не исключалась возможность, что он невольно увидел несколько фильмов про кунг-фу и теперь разыгрывал из себя седого учителя какой-нибудь школы, которые поначалу игнорируют гордость ученика.

– Она на один прием напирает, – сказал Михаил. – Даже видно, как это все сделано. Вот понравилось ей созвучие, спотыкание между словами, где согласных много, и пошло-поехало через весь текст.

Михаил кинул на Лену взгляд:

– В остальных так же? На чем-нибудь одном замешано?

Лена не успела кивнуть, потому что за нее вступился отец Иры.

– У тебя не так, – сказал он иронично. – Сравнение через сравнение раньше было, сейчас-то что-нибудь поменялось?

– Смотря что за сравнение считать, – заметно вспыхнув и во время этой краткой вспышки будто помолодев лет на двадцать, быстро заметил Михаил.

– Ну вот эти вот все твои летние вещи... – отец Ирины завертел в воздухе рукой, будто силясь припомнить.

– Сравнение и есть кровь стишка, – горячо воскликнул Михаил, затем, когда увидел, что отец Иры поморщился от того, что говорил Михаил слишком громко, и могли их услышать не только за столом, убавил громкость. – Перекладывание свойств одной вещи на другую, поиск их сходства в самых неожиданных местах. Без этого ни одна шестереночка там с места не сдвинется, пока не найдется какое-нибудь сравнение, ничего не работает. Притом сравнение сравнению рознь, это же не только то, что разделяется словами «будто», «как», «словно», другие вещи есть, которые позволяют вот это вот делать. Ты раньше, может, и не замечал их вовсе, когда читал. И через звук тоже можно сопоставлять предметы. И через положение их в строке. И как только нельзя. Да, вообще, нет для стишка слова «нельзя», в этом-то прикол их и есть.

Лена знала это и без него, так что Михаил зря старался. Она просто не понимала, как можно впихнуть в стишок так много всего, да чтобы это еще и работало.

– А у нее не только это, – продолжил объяснять Михаил, – она не дает стишку свободу, он у нее больше про нее саму и есть, про ее какое-то переживание. Любовь какую-то неразделенную, которую она и разделять не собирается, так я понял. Это прямо видно, прямо прет из нее.

Настал черед вспыхивать уже Лене, только если Михаил быстро покраснел и быстро остыл, да и покраснел-то он не особенно заметно, поскольку лицо у него и так было красное, румянец Лены сначала медленно охватил ее лицо, а затем стал сползать с лица отдельными фрагментами – по крайней мере, так это она ощутила. Лена захотела встать и уйти, однако поняла, что опьянение не позволит ей сделать это эффектно, а получится, скорее, забавно, посему она сдержала себя.

– Вообще, об этом нужно много и долго говорить, – сказал Михаил. – И не здесь, а где-нибудь в более укромном месте. Дома у меня, например.

Отец Иры хмыкнул, как подпрыгнул.

– Именно ПОГОВОРИТЬ, – неожиданно озлобился Михаил.

– Да я не об этом, – сказал отец Иры. – Сейчас я Ленку с тобой не отпущу, хоть ты тут изойди. А так она тебя ловить будет до осени. Да и не об этом я тоже. Она не в Олега ли втюрилась? Нашла тоже. Ему бы на мамке жениться, вооот была бы парочка, не разлей вода, бля.

Отец Иры оказался прав. Не насчет своего сына и своей жены, конечно, а насчет того, что Михаила трудно будет поймать для разговора. Лена довольно быстро махнула рукой на попытки вытянуть местного стихотворца из компашек, пьющих там и сям. Лена научилась находить их по вороньим громким возгласам. Михаил только отмахивался от нее, а порой делал вид, что не узнает. Его можно было понять: не каждый день на тебя наседает девица с просьбой научить ее правильно изготавливать наркоту. Но для Лены это была не только попытка получить знание, которое сделало бы ее стишки более забористыми. Она подозревала, что знакомых изготовителей стишков было не так уж много, ей хотелось общества такого же, как она, как бы живого Блока, возможность поговорить с тем, кто интересовался тем же, что и она. Уж наверняка знакомства самого Михаила в среде литрадельцев были очень обширны, чтобы не испытывать недостатка в общении подобного рода. Но Михаил продолжал отмахиваться, не замечать, не открывал дверь своей квартиры, когда Лена решалась-таки прийти и позвонить.

Михаил позвонил сам, спасибо, что не в дверь, а по телефону, и спасибо, что мама и бабушка уж с десять лет как доверили Лене роль автоответчика, крича в случае, если телефон принимался трезвонить в прихожей: «Ленка, возьми трубку!» Притом что звонили-то обычно вовсе не Лене.

– Здорово, Волколамск, – сказал Михаил, когда услышал голос Лены. – Не занята?

– Кто там? – крикнула бабушка из прихожей.

– Да так просто, – крикнула Лена в ответ. – Не тебя!

– Я у Вадика, когда телефон твой выяснял, так и не запомнил, как тебя зовут. Таня? Оля?

– Лена меня зовут.

– А, ну точно, как реку, да.

Лене такое сравнение, в принципе, пришлось по душе. Если бы Михаил принялся запоминать ее имя через Елену, похищенную Парисом, во всем этом был бы элемент флирта, который Лене показался бы неловким (Сережа весь мозг ей когда-то вынес Парисом, проводя некие малоочевидные параллели между судьбой Париса и своей). Телефонный голос Михаила был гораздо приятнее того уличного, который Лена слышала: гораздо моложе, ниже, без съезжания в сиплость. Было бы неплохо, если бы телефонный голос Михаила оказался внутри мрачного однокурсника.

– Нового ничего нет? – поинтересовался Михаил. – А то у меня есть.

– Не, мне завтра в институт, – отказалась Лена.

– Ну, давай тогда расскажи, как дошла до жизни такой, – с добрым смешком предложил Михаил.

– Тоже идея так себе, – ответила Лена.

– Дома кто-то?

Лена утвердительно мыкнула.

– Значит Блока ты читала? – тут же нашелся Михаил. – А что читала? Этот трехтомник, который в конце восьмидесятых издали? Это, кстати, заметно. Там выхвачено из середины его творчества, а ранние и поздние его вещи уже обойдены стороной, потому что очень уж отмороженные. Сейчас-

то стесняются издавать, не говоря уж...А Пастернака ты читала? У него все безобидно, но там есть одно «но».

– Это которого Нобелевской премии лишили?

– Да, буквально на полпути до церемонии, а потом из союза писателей вышибли за этот позор, что он стране нанес, за скандал, когда оказалось, что у него к роману прилагается подборка стишков, что поэт писал, про которого роман. Когда оказалось, что он не поэзией занимался, а литрой. А потом еще и фильм сняли в США по роману, так там для него вообще ад начался. Читала?

– Нет, не читала, – сказала Лена, потому что решила уже про себя, что лучше Блока все равно никого нет.

– Зря, – сказал Михаил с осуждением. – Раз уж ты в тему начинаешь потихоньку проникать, то стоит прочесть. Но дело-то, вообще, не в этом. У меня есть подборка из этого романа самиздатовская, там не все стишки, но то, что осталось, просто даже не могу сказать, что это. У тебя видно, что ты ищешь эффекта, у меня тоже наверняка видно. У него это естественно совершенно. Наши хитрости видно, даже отмечаешь про себя: «Ага, вот тут хорошо! Как необычно, но точно! “Больше угрей, чем самого лица”».

Это ее Михаил процитировал, и Лена попыталась сдержать польщенную улыбку, затем поняла, что телефон ведь.

– Или это вот, – продолжил он. – «Валидный инвалид. Айболит говорит: “Квирит?”». И думаешь, ах, какая умная девушка, зря на это поколение наговаривают, а она в следующем четверостишии путает клепсидру с амфорой. А потом школьников в стишке называет «пуэйри мейритории». Это что вообще?

– Это ругательство какое-то, наверно, – ответила Лена. – Это дедушка, когда в маразм впал, а потом ногу сломал, лежал в больнице. Что-то его там не устраивало, он так на соседей ругался. Он латынь преподавал где-то, пока у него кукушка не поехала.

– О! – почему-то одобрительно отозвался Михаил, будто это Лена сама уже где-то делилась своими знаниями о латыни. – Но я не об этом. Ты вот, кстати, Айболита упомянула, а ты в курсе, что Чуковский Блока знал и сам стишки писал? Не только пересказал Марка Твена и других, не только вот эту вот историю накатал про мальчика Пенту, сову Бумбу и доброго доктора. Он, правда, не от хорошей жизни начал их писать: у него дочка от туберкулеза умирала, он, чтобы ей легче было, сочинил довольно объемный корпус текстов. Когда попытались на него позже давить, вспомнили про эти стишки, а их уже тю-тю. Не зря он до старости дожил, Корней Иваныч. Мощные все же люди были, как нас так перемолотило, что не можем быть такими же? Ты-то еще ничего, а вот я иногда оглянусь, или мимо зеркала пройду или стекла... Вот мы, в общем, нас видно, мы как фокусники, чьи фокусы всем известны, мы, вроде, хорошо их исполняем, но все уже знают, в чем секрет. А у него там текст. Просто перечисление, по сути, давно известных вещей, особенно уже теперь известных, когда все прониклись духом всяких праздников, которые раньше не отмечали, а теперь отмечают с такой силой, будто соскучились и пытаются наверстать.

Лена рассмеялась. Уж она-то могла рассказать о таком рвении множество всяких историй: бабушка ее – до перестройки – член партии, да и мама – комсомольская активистка, разве что пост не блюли, а вот вербочки ездили освящать, с удовольствием отмечали Рождество и Пасху, что-то там мутили со святой водой на какой-то из праздников (банка с этой водой стояла на подоконнике кухни, ветки вербы в вазе под стеклом серванта).

– Ну, вот, значит знаешь, о чем говорю тебе! – сказал Михаил. – Могу тебе его по телефону прочитать, или переписать к субботе, потому что раньше его читать не стоит. Это очень сильный текстик.

Да, читанула Лена Пастернака. Она не сильно поверила в восхищенные отзывы о стишке, но все равно подступилась к нему не раньше субботы, вняв предостережениям старшего товарища по несчастью. По его же совету она дождалась, когда все дома уснут: чтобы не помешали внезапным стуком или внезапной просьбой (все равно могли помешать, но вероятность такого была уже поменьше). Начинался текст действительно просто: «Стояла зима. Дул ветер из степи». Лена скептически хмыкнула: она уже успела обрасти жирком стихотворческого снобизма, уже знала примерно, какой ее текст должен пусть слабо, но – сработать. Если бы она сама начала так – никакого прихода бы не

было. Она уже привыкла, что первая строка должна захватывать и тащить через текст, чтобы мозг не успевал сообразить, куда его тащат, и не мог опомниться до самого конца, где закономерно стояли две оглушительные и оглушающие строчки.

Здесь же все начиналось исподволь, Лена будто восходила по стихотворению, но не успела зайти слишком далеко, в стишке упоминалась «оглобля в сугробе», и Лене в друг показалось, что вокруг этой торчащей оглобли начал вдруг вращаться весь мир: сначала неспешно, локально, а потом все более ускоряясь и захватывая все больше места, так, что Лена даже ухватилась за край постели, чтобы не упасть, хотя и лежала на спине. На словах «И ослики в сбруе, один малорослей» неостановимые слезы восторга перед чем-то необъяснимым потекли у нее по вискам, и, казалось, с такой неестественной обильностью не могут они течь долго, что это слезы вроде тех, что могут нахлынуть, если в фильме происходит что-то печальное, но вместе со строками:

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары, –

слезы хлынули с удвоенной силой и не останавливались до самого конца текста. То, с чем Лена встретилась, ей самой совестно было назвать приходом, стишком, она не могла представить, что это вообще написал человек, живший когда-то, гулявший по бабам, бухавший. Лена оказалась будто перед огромной, гладкой каменной стеной, которой не было конца ни справа, ни слева, ни сверху. Она почувствовала то, что, наверно, по мысли Кубрика, чувствовали обезьяны перед обелиском в «Космической Одиссее». Лена не смогла удержаться, чтобы не прокрасться в прихожую и не позвонить Михаилу. Он взял трубку тотчас.

– Только не кричи, тебя услышат, – сказал он, действительно предупредив ее восторженное восклицание. – Это не стишок, да? Это что-то большее гораздо, хотя так вроде скалам восходящий обычный. Но тут прямо крутость ступеней невероятная и необъяснимая. Сколько лет пытаюсь что-то похожее повторить, но так и не смог. И, поздравляю, ты тоже, скорее всего, не сможешь, настолько «скорее всего», что честнее было бы сказать, что ты не сможешь так же, хотя и будешь пытаться, а остановиться пробовать не сумеешь, если окончательно не спрыгнешь с этого дела, или если «холодок» не схватишь. Издержки профессии.

– Что-что не схватишь? – спросила Лена.

– Ну, есть такая штука. «Холодок». Видимо, текст такой, который настолько сильно берет, что сразу кранты наступают.

– А что, и такое бывает? – забеспокоилась Лена.

– Ну, мне такое точно не грозит, – с непонятным для себя самоуничижением констатировал Михаил. – А насчет тебя не знаю. Это как бы такой стишок, видимо, который еще мощнее вот этого.

– Да куда уж мощнее.

– Вот неизвестно куда, но вот, видимо, есть, хотя может и брехня все это. Вроде как сразу человек отключается полностью, да и все, во время придумывания. Хотя как об этом узнали, если никто не выживал? Может, со стороны увидели, не знаю. Не инфаркт, не тахикардия, не припадок, не кровоизлияние в мозг, просто хлоп, как рубильник выключается – и нету Пети. So it goes. Но вот даже Ефремов в «Часе быка» про него, кажется, упоминает в одном эпизоде.

– А как узнать, что это именно «холодок» пишется, а не что-то другое?

– Знал бы, давно бы уже сам написал, – честно ответил Михаил. – Каждый раз надеюсь, что это именно он и есть. Потому что, если ты не заметила, жизнь моя довольно безрадостна. Да и не только моя. Дай волю народу вырубать себя таким быстрым и безболезненным способом – улицы Тагила топтать некому будет. Японцы, говорят, раньше этой штукой неплохо владели. Опозоренный самурай писал стишок и откидывался. Потом пошло уже, что откинулся – не откинулся, будь добр – умри, и без тебя народу на островах хватает, очередь из зачатых подпирает живущих.

Благодаря приходу мрачный монолог Михаила казался шутливым и даже забавным, Лена не смогла сдержаться и в паре мест (про улицы Тагила и про будь добр) довольно громко и басовито

хохотнула. Бабушка зашевелилась и вышла посмотреть, что это так веселит Лену во втором часу ночи. Бабушка так долго шаркала в Ленину сторону в своих шлепанцах, будто не квартирка у них была, а целый английский особняк, так что Лена ожидала уже увидеть чепец на голове бабушки и фонарь со свечой в ее поднятой руке.

– Чего ты тут гогочешь? – шепотом спросила бабушка. – И так сна нет, еще и ты тут.

– Да я так, – сказала Лена, – с другом разговариваю.

– За неделю, что ли, не могли наговориться, – махнула рукой бабушка и отправилась на кухню.

– У тебя там хоть свет выключен? – обеспокоился Михаил, – А то дело такое, у тебя сейчас зрачки не очень нормального размера. По себе знаю. А вообще, как ощущения? Здорово, да?

Лена согласилась, что ощущения правда прекрасные. Это было что-то вроде чувства сопричастности со всем вокруг, с полным осознанием того, что вселенная необъятна в обе стороны: астрономически и квантмеханически, Лена стояла будто в центре всего этого мира и понимала, что она не одна такая, и от этого родства с людьми и предметами была у нее невероятная эйфория. Михаил предостерег ее, что эффект продлится несколько дней, что не стоит все это время счастливо улыбаться. Потом предложил, чтобы она теперь, после всего, была с ним на ты. Лена так не могла, даже «после всего». Для нее человек старше нее, будь то и бомж, казался выше настолько, что пересилить себя и тыкнуть ему она не могла. Если некоторые подруги переходили на ты с кондуктором, когда возникала проблема с проездным, или с продавщицей киоска возле института, если мелькнуло подозрение на обсчитывание, тыкали пресловутому бомжу в электричке, когда он просил мелочишку, Лена так не могла совсем.

– Да ну тебя, – Михаил вроде как обиделся. – То я смотрю, ты меня по имени вовсе не называешь. Подозреваю, что тебе и «Михаил» сказать трудно, тебе с именем-отчеством надо. Ты смотри, в учителя пойдешь, там будет много старших товарищей, многих такое отношение обижает.

– А многих наоборот.

– Меня Михаил Никитович зовут, если тебе так уж важно. Но это коряво как-то звучит, как по мне. Никогда такого не любил, но меня так почти никто и не звал. Так что мне почти так же будет неловко слышать это, как тебе меня по-простому звать. Такие неловкие отношения.

– Они и так не слишком ловки, – нашлась Лена.

– Ловки, как акробат, – возражал на это Михаил.

Говоря о ловкости их отношений, он явно преувеличил, потому что когда их знакомство выплыло наружу, что произошло довольно быстро, благодаря маминым и бабушкиным знакомым, которые обнаружили девицу и мужчинку встречающимися на улице, Лена получила такой нагоняй, какого не было у нее со времен начальной школы. Благодаря невниманию мамы и бабушки, то, что Михаил занимается стишками, как-то осталось ими не замечено, главное, что они не обнаружили, так это Лениных текстиков на страницах конспектов, когда перерывали ее комнату в поисках неизвестно каких улик. Ну что они могли отыскать, подозревая страшный разврат? Трусы он мог оставить, что ли, или один из шлепанцев – вот этого Лена не понимала. Бутылку водки? Пачку из-под сигарет «Опал»?

Основной родительский гнев исходил от бабушки и передавался сначала на маму, потом на Лену. «Я второй раз такое не переживу!» – утверждала бабушка. «Еще одна такая же!» – утверждала бабушка. Маме было что возразить бабушке, она и возражала, затем обращала свою ярость Лене: «Мама, ну какой еще второй раз! Мы с Виктором хотя бы ровесники были! Мне было уже двадцать четыре года, а эта ведь только-только восемнадцатилетие отметила, уже пошла шлындать! Да с кем! Это же уму непостижимо! Это же как должно зудеть в одном месте, чтобы на такое пойти!» Лене хватало ума не возражать, чтобы мама и бабушка не заподозрили ее в том, что она делала на самом деле. Свою досаду она не могла ни на кого обратить, находясь как бы в самом низу пищевой цепочки. Конечно, сбегано было в милицию, Лену тоже туда отвели, чтобы она написала заявление об изнасиловании. Лена отказалась писать и подписывать что-либо, члены семьи тут же, при участковом, обругали ее, чуть ли даже не побили ее там же, но подергать подергали и даже пару раз ущипнули. Участковый – такой же лысый и толстоватый человек, как Михаил, только младше, кажется знал, что связывало Лену и Михаила, но тоже особо распространяться не стал, а только смотрел на Лену внимательно, с грустью и, вроде, с благодарностью.

Бабушка дошла до того, что собиралась провожать Лену на занятия, чтобы нигде у Лены не получилось пересечься с Михаилом. Запала ее хватило на пару походов до трамвая с утра. Затем лень и возраст стимулировали ее здравомыслие; она рассудила, что ничего не мешает Лене выйти на следующей остановке и отправиться куда угодно, в чью угодно компанию, если уж она такая уродилась. Женщины, что старая, что помоложе, – погрузились в мрачную уверенность, что Лена со дня на день выполнит известное и печальное действие, какое производили все нехорошие девочки в таком раннем возрасте, т.е. принесет в подоле. Каждый вечер в течение пары месяцев Лену ждал допрос, что она делала в институте, почему задержалась, как добиралась туда и обратно. Сор из избы (Лена и правда почувствовала себя живущей в избе девятнадцатого века, только что не занимали ее ремеслом при лучине, какими-нибудь кружевами) решено было не выносить, в институт ни мама, ни бабушка не звонили, не выясняли, сколько у Лены пар, как она себя там, вообще, ведет. Вечера в основном проходили в мрачном молчании, говорил, смеялся и плакал только телевизор в гостиной. Затем все как-то постепенно успокоилось само по себе. Кажется, мама и бабушка оказались даже разочарованы, что никакого ребенка нет, хотя и не признавались в этом ни себе, ни Лене. Был у них какой-то азарт во время семейных скандалов, когда они говорили о грязных пеленках, бессонных ночах, такого азарта не бывает, если не хочешь, чтобы в доме были пеленки и бессонные ночи. Больше всего огорчалась бабушка, потому что, похоже, вовсе не надеялась дождаться правнуков при обычном, ботаническом поведении внучки еще лет двадцать, а столько бабушке было бы не протянуть. Однажды бабушка ляпнула маме в перепалке: «Он, по крайней мере, не такой идиот, как Витенька твой». «Да уж! На кое-что у него ума хватило!» – отвечала мама в запале. «А что “кое-что”? У нас с Феликсом чаще было, чем у вас, даже когда вы молодые были! Это тоже, знаешь, показатель!» – «Мама! Мама! Ну, что ты несешь, мама! Как ты, вообще, можешь в таком солидном возрасте о таких вещах!» – «О нормальных вещах я говорю, Витя не был состоятелен ни в чем. Единственное, что он сделал – женился из своих каких-то представлений, всю жизнь быть ему благодарным за это как-то, знаешь, глупо».

Бабушка сильно удивила Лену во время этих событий. Она, бывало, хваталась за сердце, когда узнавала о школьных неприятностях Лены, а тут проявила удивительное присутствие духа, даже бодрость, и первая стала проявлять признаки здравомыслия, это если учитывать то, что вспоминая о своем детстве и юности, она говорила Лене, что так грубо отвечать своей маме она бы ни то что не посмела бы, ей бы даже в голову это не пришло, она рассказывала, что до конца жизни обращалась к родителям на вы, а они ведь простыми людьми были совершенно, прабабушка даже читать так и не научилась. «А все равно я ее уважала, а все равно она мне казалась умнее порой, чем некоторые профессора, просто жизнь у нее был тяжелая», – говорила бабушка.

После того как аффект у старших в семье прошел, то есть перестали они по десять раз за вечер врываться к Лене в комнату с вопросом «что делаешь?», прекратили первыми бежать к телефону, к двери, устали выяснять, где и как долго пропадала Лена, тем более что нигде она особо не пропадала, а рассказы ее были такими скучными, что слушать их раз за разом не было, видно, никаких сил даже у самых бдительных родных, когда перестали мама и бабушка ругать Лену за то, что она, возможно, беременна, и одновременно завуалировано досадуя, что это вовсе не так, Лена оказалась внезапно предоставлена сама себе. Некое отчуждение пролегло между нею и двумя другими членами семьи. Иногда Лена чувствовала себя едва ли не в школе, будто снова оказалась в своем классе. Хуже ей от этого не было, главное, что основное осталось не замеченным. А ведь она однажды, во время одного из скандалов едва не выпалила правду, лишь бы от нее отстали, потом же очень долго переживала, что едва не раскололась. Ей даже представить было страшно, что бы тогда произошло, мама, наверно, даже решетку бы на ее окно повесила и заперла бы под замок.

Вообще, если бы не стишки, а их написалось несколько штук, если бы не утешение, исходившее от них, Лене пришлось бы гораздо тяжелее. Ей нравилось, что как бы сильно ни пытались контролировать ее мама и бабушка, чуть ли не на цепь могли посадить – залезть в ее голову они не могли. От речи, беспрестанно двигавшейся в ее голове, как кинопленка, не могли они ее избавить никак.

Глава 3.

При этом он обладает правом

Позже эти два-три года слепились для Лены в единый эпизод, так что она не могла припомнить, в каком порядке, когда по времени происходило то-то и то-то. Было в этом времени нечто от романов Джона Ирвинга, тех сумбурных, но хорошо подготовленных мест в книге, где он авиакатастрофой, автокатастрофой избавляет читателя от определенных героев, или торопится к точке в конце, разбрасывая в могилы тех персонажей, что успели дотянуть до финала. Начинался этот новый этап ее жизни, несомненно, свиданием с Михаилом Никитовичем. Лена совершенно не помнила потом, как оказалась в его невероятно чистенькой квартирке, в его кухоньке, где возле батареи под окном стояли в два ряда до блеска отмытые пивные бутылки. Не помнила совершенно, а ведь сама как-то просто пошла, пошла, позвонила в дверь, он молча открыл, снял с нее пальто и ушел ставить чайник. Когда Лена, разобравшись с замками на сапожках, проследовала на шум горящего газа и греющейся воды по рыжей краской выкрашенным доскам пола, Михаил Никитыч уже дымил за столом и виновато смотрел на холодильник, шумевший, как стиральная машина.

– Даже спрашивать боюсь, как тебе досталось, – сказал Михаил. – Крепко я тебя подставил, конечно. Мне племяш рассказал, как тебя тиранили твои мамки и няньки. Мне он тоже бока намял за тебя, но тут заслуженно все, конечно.

Лена сидела на невероятно твердом табурете, чья твердость была будто выпрессована многолетним сидением на нем тяжелого Михаила, и понимала только отчасти, о чем это Михаил Никитыч говорит.

– Ну, племяш мой, участковый. Ты уж, наверно, заметила фамильные наши черты в нем. Лысина там, толстота.

Он повернул к ней улыбавшееся половиной рта лицо, и Лена увидела, что глаза у Михаила темные из-за расширенных зрачков.

– С такой фамильной чертой много кто, – ответила Лена. – У нас такой черчение преподавал и военруком был по совместительству.

– В пятидесятой школе? Так это Серега, мой брат двоюродный, – скучно сказал Михаил. – Говорю, это фамильное.

– Его в школе Фокусником звали, – улыбнулась Лена. – От него на уроках черчения спиртом не пахло, а на уроках НВП – пахло.

Михаил замялся, потом сказал пластиковой кухонной скатерти:

– И фокусы у нас в семье в принципе...

Затем опять поднял на Лену свои казавшиеся диковатыми глазищи:

– Но ты ведь не о фокусах пришла говорить? Написала что-то? Или завязать решила?

А Лена вместо ответа смотрела на окно кухни, верхняя половина которого была прозрачной, а нижнюю покрывала белая водяная испарина, на фоне этой белизны стояла на подоконнике невероятно зеленая герань, чьи сочные листья покрывала заметная растительная шерстка, между листьями гроздьями висели яркие цветы. Дома герань была чахлой, хотя как ее только не поливали, куда только не ставили – никогда не цвела, а тут стояла под открытой форточкой и была настолько мощной, что казалась чуть ли не ростком баобаба, или триффидом, способным вылезти из горшка, поставленного в блюдце. Запах герани перебивал даже пивной запах Михаила. Михаил понял Ленино завистливое молчание по-своему. Он сказал:

– В любом случае... – удалился, зашевелил ящиками в соседней комнате, а вернувшись, застал Лену стоявшей возле окна, трогавшей листья герани.

Лена не поняла ничего, когда Михаил положил на середину стола несколько крупных купюр. Затем она поняла деньги как плату за молчание, отчего сразу же Лене захотелось уйти: она-то считала, что от чистого сердца молчит, хотя молчала во избежание большего нагоняя, но было в этом ее утаивании от матери и бабушки стишков некое чувство, которое она считала благородным, и когда оказалось, что оно стоит вот этих вот нескольких бумажек на кухонном столе, что-то в ней вспыхнуло гневное, так что она застряла в прихожей, не в силах застегнуть трясущейся, скользкой от волнения рукой заедавшую молнию на сапоге.

– Дура, – уверенно сказал Михаил, угадавший мысли своей юной подельницы, но при этом явно сам разволновался до некого дрожания в голосе. – Это же не просто так. Это же за стишки за твои. Не просто так же ты их пишешь, должно тебе что-то быть от этого полезное.

Такое заявление еще больше взбеленило и без того рассерженную Лену. Она не для того писала стишки, чтобы их продавать. Она хотела просто узнать, как они работают, она хотела о них говорить, она хотела ими меняться и опять говорить о них с человеком, который их тоже пишет. Вот и все, чего она хотела. Вместо перечисления того, чего она желала от стихов, она просто дергала молнию и готова была разрыдаться.

– Художники же продают, – оправдался Михаил. – Ну, расцени это как выставку, где кто-то что-то купил. Так на это посмотреть нельзя? Никак? Поэтам же платят. Романчуку этому в «Консилиуме» за его развороты, Белоцерковскому. А там же ад голимый. Ты рассказ «Наркоманка» читала? Баба какая-то написала. Будто хтоническое что-то открывается со страниц.

Лена рассмеялась сквозь слезы, потому что читала, но остановиться в плаче уже не могла.

– Музыканты вон вообще чужое херачат иногда год за годом, и ничего: совестью как-то не сильно колеблются. Тоже не забесплатно.

– На пианиста нужно чуть ли не с четырех лет учиться, – огрызнулась Лена. – А стишки каждый может, если захочет разобраться.

Михаил оскорбленно рассмеялся:

– «Рождественскую звезду» каждый может? Вот так вот сядет и напишет?

Вообще-то Михаил сам признавался, что не смог за всю свою жизнь написать ничего подобного и, видимо, не сможет, свою жизнь он уже попусту истратил на стишки, да так и не нашел ничего по-настоящему оглушительного.

– Это как охота, – медленно сказал Михаил, помолчав. – На какого-нибудь небывалого зверя. А для этого в лес надо ходить. А люди не то что в лес не желают идти, они даже не знают, где этот лес находится, принимают за лес то, что лесом не является. Удобный парк принимают за лес. Даже если мимо пройдет стадо небывалых зверей, люди не заметят и не захотят замечать.

Лена вытирала слезы articulatio radiocarpea, то внешней стороной, то внутренней и думала, что Михаил, по сути наркоман, слишком много накручивает вокруг своей зависимости, чересчур много дает стишкам значения, что она и сама тоже слишком много себе навоображала. Со стишками было все не так романтично, как расписывал Михаил, а как-то гораздо жестче, безжалостнее, проще. Стишки были чем-то вроде бронзовых машин откуда-то из античности или глубже, продолжающих жить среди людей и ловить их по одному. Кто-то научился их избегать, а кто-то нет. Не было у множества людей вины в том, что они не желали упарываться стишками. Она сказала про невиновность людей Михаилу.

– Виновны, – убежденно сказал Михаил. – Каждый по отдельности невиновен, а все вместе – да. Вся культура – это игра в человечество такая. Почему стишкам нельзя участвовать в этом, а сигаретам можно? Алкоголю – можно?

Он в запальчивости едва не перешел в некий интеллигентский пафос, в коем был бы не совсем прав, зато праведно гневен и обличающ, но как-то сумел сдержать себя, что далось ему с явным трудом: даже некий спазм прошел по всему его бегемочьему телу. Михаил сказал после тяжелого вздоха:

– Но говорим-то мы совсем не об этом, мы-то говорим, чтобы ты деньги взяла и не чувствовала себя проституткой какой-то, не знаю. И не оскорблялась этим.

Искренне и одновременно веря во множество взаимоисключающих вещей, вроде того что в СССР было лучше и совок убил всех нормальных людей, а оставшихся загнал на кухни, умение при этом аргументированно доказывать каждую из своих многочисленных точек зрения, Михаил сумел убедить и Лену взять деньги, хотя, в общем-то, особых навыков риторики это не требовало. Лена сама порой начинала уставать от того, что в случае семейных споров ее начинали тыкать в то, что она не зарабатывает, инициатива же пойти работать в ночной комок пресекалась на корню недавно увиденными новостями о продавцах, убитых за пару бутылок, или сожженных заживо во время конфликтов с покупателями, масса была примеров неудачного исхода товарно-денежных отношений, и все они были один ужаснее другого: что коммерческие киоски, что продавцы, что ночные покупатели с криминальными намерениями, что примеры из новостей или слухов.

Кстати, в том, что Михаил не мог написать свою «Рождественскую звезду», тоже, по мнению Михаила, был виноват режим, при котором Михаил прожил самую обширную часть своей жизни. Он так это объяснял: «В звезде чувствуется искреннее восхищение Рождеством, настоящая вера, которую отняли и вряд ли можно такое уже вернуть, чтобы человек честно восхищаться приходом праздника. Это все же не Новый год. А нынешний человек, и я тоже, привык за время, что ему с детского сада вдалбливали как бы восхищаться вещами, за которыми для него ничего не стоит. Портретом Ильича, портретиком маленького Ильича на октябрятской звездочке. То есть вроде чувствуешь восхищение перед гением, рождающимся раз в сто лет, потому что вякни только, что тебе по херу галстуки трепещущие, кучерявый мальчик – даже непонятно, что будет, потому что никто и не вякал на этот счет. Деланное восхищение и убило настоящее, потому что не знаешь уже: правда ли тебя впечатляет что-то, или так просто в голову вдолбили, что и подумать не можешь, что тебя не может это восхищать. Или стихи мамам на Восьмое марта, папам на двадцать третье февраля, так ли на самом деле дети чувствуют, так ли их самые родные мамы восхищают, или это опасение, что в детском доме вообще кранты, таким уж ли папа защитником кажется, или даже вся армия, о которой у детей довольно абстрактное представление? И позже такая же петрушка: шедевры того, шедевры сего, красоты родной природы, «Вспоминаю неспроста заповедные места». Михаила Никитыча невозможно было бы слушать не зевая (не совсем таких разговоров, но в том же ключе, могла наслушаться Лена и дома), если бы не азарт рассказчика, прерывавшийся ядовитым, восхищенным смехом в самых неожиданных местах. Его восхищало то, что происходило в литературе, к которой он считал себя почему-то причастным, точнее, не в самой литературе, а скорее, в ее финансировании. «Прикинь, эти жопы всегда знали, что писать, навык у себя выработали, могли вообще не писать, а только тереться там правильно, все эти дачи, творческие командировки, семинары таких-сяких молодых, подающих надежды, а тут разом все накрылось!» – он весело хохотал. «Не одно еще поколение горя хапнет от того, что они хапали в свое время, с брезгливым ...балом решали, кого принимать, кого исключать, приезжали свою херотень читать на заводы и птицефабрики».

Это вовсе не мешало Михаилу выражать сочувствие по поводу прозаиков, забытых еще в то время, наверно, когда сам Михаил был ребенком. Названий любимых книг Лена не запомнила, как и авторов этих книг, в памяти осталось только то, что две из них были про попадание на необитаемый остров, а еще две – про дрессировщиков собак. Помимо книг Федора Михайловича и Льва Николаевича находились в списке его любимчиков такие экзотические, но наверно нормальные в его возрасте книги «Огни на реке» и «Мишка, Серега и я», которые что-то, видно, будили в его душе. Лена и не такое могла ему простить за особенное его общество, прощала и эти странные литературные пристрастия. Стерпела ведь она как-то вечер в компании его собутыльников, которых всего-то было трое, не считая Михаила, гам они производили за десятерых, а приветственным хриплым окликом стали ее приветствовать едва ли не в половине города (не в половине, конечно, только во дворе и окрестностях). Отрекомендована она была как племянница, пившие с Михаилом сделали вид, что поверили, отчасти это были невероятно деликатные люди, чья деликатность была выстрадана годами постреливания сигарет и мелочи у соседей, граничившая с навязчивостью и давлением на жалость без причины, но тем не менее это была все же деликатность, не больше, но все же и не меньше.

«Интересные люди, – сказал потом как-то Михаил Никитыч, – я их люблю, они меня любят, причем искренне, а не будь у меня племяш участковым со знакомствами, давно бы уже сдали бы за пару бутылок, если бы план надо было поправить. Думаю, даже пары бутылок не стою. Какой-нибудь фанфурик попроще, да сигареткой поделиться. А ведь я столько и стою, если подумать». Он рисовался отчасти, чтобы Лена принялась его разубеждать, а Лена и возразить на это ничего не могла, почему-то для нее он состоял из двух различных людей. Один был умен, зол, остроумен, второй – неприятен, неопрятен внутренней какой-то неопрятностью, которая выступала изнутри него, словно росинки жира на подсыхающих кусочках копченой колбасы. Казалось, дотронься до него, и он окажется мягким, как подпорченный помидор. Одной только похабщины в нем не было почему-то, с того раза в день рождения Ириного отца Лена ни разу не заметила, чтобы Михаил смотрел на нее как-нибудь не так, опустил взгляд ниже ее лица. О Блоке он говорил с удовольствием, но и только. Лена списывала все на его атрофированное этилом половое чувство. Прямо спросить не решалась, потому

что ответил бы он, что она его волнует, и что дальше? Она-то любила в нем того человека, которого мучила долгими бессонными разговорами, у которого не имелось тела, тем более такого тела, как у Михаила Никитыча, а только его телефонный голос, его улыбка одной половиной рта.

Можно было подстегнуть воображение видами молодого Михаила, Лена даже завела об этом шутливую беседу, изображая любопытную до семейных фотоальбомов девицу, на что Михаил ответил проницательной кривой своей улыбкой и соврал, было видно, что врет, будто никакого фотоальбома у него нет, сказал, что фотографий не хранит, есть только на семейных фотографиях у брата и сестры, но они у брата и сестры эти фотографии и лежат.

– Тебе зачем, вообще? Что за интересная причуда? – спросил он.

– Просто, – ответила Лена, а сама краснела, потому что однажды в беседе с Михаилом делилась одной своей находкой насчет того, что когда люди говорят «просто», ничего не просто, что человеку что-то как раз очень важно что-то узнать или что-то получить, что это почти мольба.

Почти не связаны были разговоры Лены и Михаила со стишками, касались больше литературы вообще, а это общение отчего-то подстегнуло непонятным совершенно образом ее мастерство в изготовлении того, что можно было «пустить по башке», как выражался Михаил Никитович. Их встречи после перерыва оказались действеннее, чем вся телефонная и уличная болтовня до этого, хотя встреч этих набралось за несколько лет не столь много: какое-то время ее наставничек пил по друзьям, какое-то время лежал в больничке. И о том, и о том сообщал с удовольствием, как о вещах равнозначных, будто и там и там его лечили.

«Но записала ты – просто огонь. Даже страшно представить, что будет, когда ты совсем повзрослеешь, – Михаил честно радовался ее поделиям, при этом как бы обидно утверждал ее детскость, но при этом считал детьми всех, кто младше него, даже тридцатилетних. – Жалко даже, что не доживу, чтобы увидеть, что ты там напишешь, когда до моих лет дорастешь. Откуда что берется? У тебя ведь родители скучнейшие люди, так я понимаю?» Это была сомнительная похвала, конечно, учитывая какую веселую жизнь вел Михаил Никитович и в чем это веселье заключалось. Лена мирилась и с таким пренебрежением к ее родным.

Ей казалось, что Михаил подтолкнул ее к тому, чтобы она ухватила за хвост способ писания сильных стишков, изредка к ней приходила мысль, что она, возможно, понимает что-то в стишках даже больше, чем сам Михаил, но прямо ему об этом сказать не решалась.

Со времени написания одного из стишков у нее был, в принципе, повод для таких мыслей. Однажды она придумала, что ее мрачный однокурсник такой же интересный, как Михаил, она совместила их у себя в голове в некий призрак – стоящую в уголке сознания тень. Через день-два придумались такие четыре строчки:

Нет ни семьи, ни фотоальбома,
Нет ни хера,
А у кого-то Свема и Ломо,
Лисья гора.

И так легко скатилась через несколько четверостиший в жесткий какой-то безжалостный приход, будто упала, что сама себе удивилась. С такой силой ее еще не поражали ни свои стишки, ни стишки Михаила. Ей было интересно, как оценит все это Михаил, но показывать именно этот стишок ему не решалась. Внутри текста легко угадывалось, про кого они. Такой стишок Михаил имел полное право написать про себя сам, со стороны Лены подобный поступок выглядел не очень хорошо. Стишок был простой, без сложных, с поскальзыванием в изыск, метафор Михаила, не было в стишке ничего того, что советовал Лене Михаил, это было бы, наверно, вдвойне обидно для него.

Не успела Лена тихо порадоваться своему несравненному мастерству, а мрачный однокурсник перестал появляться на лекциях, затем дошли вести, что он повесился. Кто-то пошутил: «На чем повесился? На фонарном столбе, что ли?» – а сердце Лены екнуло, она себя почувствовала чуть ли не ведьмой, накликавшей все это, потому что были у нее такие строки:

Тень уменьшается, будто проходишь
Под фонарем.

Она заразилась двоемыслием от Михаила, поэтому одновременно чувствовала гордость за однокурсника, за то что он, несмотря на всю свою нелепость, решился прекратить таскать свое продолговатое тело по земле, и как за свое гордилась жизнелюбием Михаила, который продолжал цвести и пахнуть, не особо оглядываясь на мнение окружающих и стыдные, но наверняка имевшие место расчеты родственников, на сколько его хватит при такой жизни, как скоро смогут некоторые из его племянников и племянниц улучшить свои жилищные условия. Сама же и думала, что будет, если и Михаил как-нибудь, не дай бог, вывалится из ее жизни, уснув в сугробе, захлебнувшись в блевотине, или что там еще случается с такими людьми.

Как бы ни винила себя Лена, однокурсник, видно, вины за Леной не ощущал: приснился только однажды, тоже как-то мельком, в компании других людей, так что Лена даже не вычленила его во сне, не поняла, что он уже мертв, а вспомнила об этом только утром.

Искушение отдать Михаилу свой самый сильный стишок было тем больше, чем сильнее он хвалил ее обычные стишки. «И ведь спрос на них сумасшедший. Мое-то уже примелькалось, пробирает-то пробирает. Но я больше по страбоскопам, а ты в будды и риверы хорошо зашла», – говорил он, и Лена каждый раз сдерживала себя. Ей хотелось заявить, изображая его же веселый смех: «А у меня вот еще что есть! Интересно, что на это люди скажут?» Люди были бы не против, если Лена правильно их тогда понимала. За стишки платили неплохо. С первых денег Лена купила новое пальто, платье, смогла наконец избавиться от маминой сумочки, приобрела новое собрание сочинений Блока, исправленное и дополненное.

Мама и бабушка не могли не видеть перемен в ее гардеробе, но решили, похоже, что Лена совсем пошла по рукам. Несколько сломленные предыдущей схваткой, не решались задавать ей вопросы. Лена самокритично думала, что не так уж они были и неправы в своих догадках, Лена, в каком-то смысле, действительно была нарасхват. Со вторых и следующих денег она стала покупать себе сигареты. Ей стало интересно, что скажет мама, когда найдет синий «Пэлл Мэлл» и зажигалку, если полезет шарить по ее вещам, в поисках, там, случайной бумажки из КВД, положительного теста на СПИД, подписанного согласия на отказ от ребенка, какой-нибудь справки про аборт.

Однако на маму ее курение не произвело того эффекта, который получили ребята в институте. Бабушка тоже только махнула рукой: «Лучше бы правда родила».

Это не были последние слова, которые она сказала при Лене, но запомнились они именно как последние. Отрезок времени с момента, когда Лена узнала о самоубийстве мрачного однокурсника, и дальнейшая пара смертей напоминали потом Лене такой отрывок из «Шахматной школы», в котором один из игроков теряет ход за ходом несколько фигур. Сами шахматы Лена не любила: отец-перворазрядник, пока был жив, каждый раз, когда обыгрывал ее, обидно посмеивался, с такой радостью, будто клал на лопатки гроссмейстера, а не дошкольницу. Но Лене нравились в передаче одновременно плоские, тяжелые с виду ладьи, ферзи, слоны, пешки, отлепляемые и в другом месте прилепляемые к настенной магнитной доске. Толстоватый лектор очень спокойно объяснял, по какой причине была потеряна та или иная фигура (Лене казалось, что она умерла бы от счастья, если бы ей дали подержать в руке белого ферзя в черной окантовке, или черного короля – в белой, или же любую из этих фигур, которые, казалось, могли существовать только в черно-белом телевизионном мире). И лектора было бы неплохо тогда вытащить за шкварник в настоящую жизнь, чтобы он с тем же спокойствием и логикой пояснил, почему так вышло. Нет, не то что парень повесился, бабушка умерла, Михаил умер, а почему вышло именно так, что это произошло в близкие друг к другу месяцы (какие именно, Лена, к своему стыду, не помнила). Кажется, было уже очень тепло, так что батареи уже отключили, когда у бабушки началась простуда, какую все приняли за аллергию на цветение чего-то такого городского, от которого аллергия у бабушки была всю жизнь. Затем все очень быстро перешло во что-то вроде гриппа, от которого в семье никто больше не заразился, оказалось пневмонией, вызвали уже скорую, а потом сообщили, что бабушка все.

Лене временно стало не до стишков. Дома наступила еще большая тишина по вечерам, чем обычно, тишину эту Лена старалась не тревожить лишний раз, хотя по большей части оставалась по вечерам одна. Мама говорила, что не может сидеть в духоте, и отправлялась куда-то по своим подругам, возвращалась, когда Лена уже спала. Лена помнила, что сидела с тетрадями, или перед телевизором, чувствовала, как время вытекает, будто расплавленный гудрон из ведерка, – больше от этого пустого

времени не осталось в памяти ничего. То, что Михаил не звонил ей, казалось Лене проявлением его тактичности, он, в конце концов, мог знать от Ириного отца, что случилось в ее семье. Взаимное их молчание становилось уже не совсем вежливым, Лена помнила и это, даже, кажется, беспокоилась, но позвонить ему, зайти к нему почему-то не решалась. Такой вот пришибленной, задумчивой, не понимающей, что происходит, и выловил ее однажды у дома участковый и сообщил о том, что Михаил умер у себя дома, что его никто не хватился, соседи по запаху не опознали мертвечину, а почему-то решили, что тот без устали травит тараканов, которых в доме временно не было (был как раз такой период, когда пруссаки будто покинули Тагил в массовом порядке). Затем окружающие обратили внимание на отсутствие местной достопримечательности у себя во дворе, подключили милицию и ЖЭК. «При нем про Лисью гору было», – сказал участковый. Лена с ужасом вспомнила, что за недостатком других текстов в последнюю их встречу сунула ему на продажу и этот стишок.

«Он так-то сердечник был, – с тоской сказал участковый. – Нельзя уже ему было этой ерундой заниматься. Ты тоже хороша. Снаруж говорит, что эту заклинашку человеку подсовывать – все равно что хмурым обколоть человека, который до этого только шмалью баловался». Участковый сидел на лавочке, задумчивый, в джинсовом костюме, который был модным когда-то в восьмидесятых, в клетчатой китайской рубашке, которая вышла из моды, даже не входя туда. Лена стояла перед племянником Михаила и не знала, куда себя девать, только лицо опустила, чтобы слезы не текли по лицу, а капали на землю. «Да», – скорбно сказал участковый, зачем-то теребя толстое обручальное кольцо на толстом пальце.

«Ты не переживай, – спохватился он, – все я убрал. И его, и твое».

«Ты бы, Лена, завязывала с этой х...ней, – посоветовал он по-отечески проникновенно. – Ну, правда, тебя или твои завалят, если сильно раскрутишься, или мои закроют, если кто стуканет мимо меня. Невесело как-то что так, что эдак. И ладно, если так вот просто грохнут, могут ведь и лицо порезать или хату спалить». Лена продолжила молчать, потому что возразить ей было нечего на такие альтернативы ее возможного будущего, чтобы занять руки, она достала сигареты. Участковый только эхнул расстроенно от вида курящей Лены. «Знала бы ты, какой дядя Миша был, – сказал он. – Я ведь от любой неприятности у него прятался. И сеструха моя. Когда детьми были, да и после. Все это как шутка была, еще тогда, в СССР, казалось, побалуется и перестанет. А эта хрень нервы расшатывает – только в путь. Ему и хватило, что жена с ним развелась. Я бы уронил бы моральный облик милиционера на пару месяцев. Но не так. Чтобы сразу человек так сдал, чтобы сразу его так разнесло во всех смыслах, чтобы в унитаз смыло вот так вот. Сразу закрутилось все это гнилье вокруг, когда выяснили, что он может то, чего они не могут. Он говорил, что у тебя еще лучше получается. Правда, что ли? Я в этих делах не понимаю, дальше четырех строчек не заглядываю». Лена не знала, что ответить, да и сам участковый понимал, что результат налицо.

«В принципе, ты даже мечту его исполнила, хотя и не хотела этого. Не хотела ведь? – осведомился участковый, устав ждать от Лены хоть какого-то звука, Лена отрицательно покачала головой. – Он, конечно, от холодка собственного загнуться хотел, но, как говорится, что выросло, то выросло. Я и сам сука, конечно, сейчас тут корчу из себя. А мог бы и раньше побеспокоиться, но тут семьи какие-то одна за одной, какие-то драки по вечерам внутрисемейные, какие-то аборты на дому. Нахрена на дому аборт делать, когда больниц завались? Параша вся эта. Мамашка тут какая-то почки сыну отбила и селезенку оторвала, когда решила, что он тройку на пятерку исправил в дневнике. Как сговорились. Я, вроде как, не уследил. Как тут уследишь, если квартиры сдают и снимают, въезжают, съезжают. Ладно цыгане смотались куда-то на Красный камень, а то тут такое иногда айнанэнанэ было, что до сих пор шерсть на спине дыбом встает». Он испытующе посмотрел на Лену: «Ты как, вообще, к нему? Может, помянем?». «У меня? – растерянно спросила Лена. – У меня ничего нет». «У меня есть, – сказал участковый, но видя недоверие Лены, зачастил: – Да жена дома, сын, ты что? – видя еще большую ее растерянность совсем запутался, застеснялся почему-то: – Да нормальные они, господи». Лена подумала, что похожа по сути на какую-нибудь маленькую девочку, которую без конца предостерегают никуда не ходить с незнакомыми дядями, а потом эта девочка все же показывает чудеса тупости и пропадает без следа, она уже пару раз сама связывалась с сомнительными людьми и могла попасть в неприятности, если бы у Олега или Михаила не все было в порядке с головушкой.

Женой участкового оказалась продавщица киоска возле остановки, Лена сразу решила, что теперь в киоск ни ногой. Предъявив Лену и свое безутешное горе, участковый вытребовал бутылку у семьи. Ни Лена, ни жена участкового не успели и полрюмки отпить за упокой, а сам участковый уже был буквально совершенно пьян и каялся за то, что разбил Михаилу нос за Лену, и на себе показывал, как он разбил, пока не у него самого не потекла кровь по губам и подбородку. «А он совсем и не обиделся, вот так вот на меня смотрел!» –участковый показал кривую улыбку Михаила, и такой бешеный, пьяный, сам стал похож на своего дядю. «Да ну тебя в баню, придурка», – сказала жена и утащила Лену в комнату, где абсолютно не встревоженный криками отца сидел в кресле возле торшера мальчик и листал большую книгу с большими цветными иллюстрациями. Из кухни раздавались рыдания участкового.

«Жалко, кончено, дядю Мишу, – сказала женщина, вздохнув. – Безобидный человек был. Ну, как безобидный? Хотя бы истерики такие бабьи не устраивал в пьяном виде, шутил больше. Отшучивался. Мы на памятник нашли фотографию, где он еще молодой. Тогда он еще производил впечатление какое-то хорошее, такой человек был, что на этом впечатлении, на остатках того, что все помнили, какой он был, до конца жизни, считай, продержался». У Лены была теперь возможность спросить семейный фотоальбом, посмотреть на Михаила в молодости, но не успела она обратиться с просьбой, которая теперь не казалась странной, а жена участкового уже потянула из серванта, из отделения в самом низу, фолиант в бархатной обложке, тут же выскользнули на палас четыре снимка пустотой к Лене. На одной из фотографий было написано красными чернилами, почерком с завитушками «Пицунда – 1983».

Лена бы и внимания не обратила на такую надпись, если бы дома у них не лежала фотография с такой же надписью (только синим и без завитушек). «Медом там было намазано, что ли, в восемьдесят третьем?» – невольно мелькнуло у Лены в голове. Женщина, усадив Лену рядом с собой на диван, раскрыла альбом, уверенно долистала до нужного места и протянула Лене фотографию: «Можешь себе забрать, если хочешь, у нас еще парочка таких есть. Негативы еще где-то валяются».

Лена иногда разглядывала свои детские фотографии: разбиралась, как недолепленные какие-то черты ничем не примечательного лица, почти стандартной круглой детской физиономии, похожей чем-то сразу на половину девичьих лиц в группе детского сада или классе начальной школы, оформились, ужесточились в нынешнее ее лицо, отражаемое утренним и вечерним зеркалом, глядящим на нее из паспорта и студенческого билета. Таким же детским казалось лицо Михаила на фотографии, притом что было ему на снимке лет тридцать, но в лице его только намечались та усталость вокруг глаз, скептические складочки, этакие скобки, в которые был заключен его рот, уже тогда левая скобка была чуть крупнее правой, но не настолько. По фотографии было непонятно, становилось ли его лицо таким, что казалось, что с мышцами лба, рта все в порядке, а глаза становились будто парализованными. На снимке Михаил сидел худой как свечка, а Лена находила в этой фигуре уже черты будущей, такой родной уже грузности, вдвойне милой оттого, что ей не приходилось на себе испытать эту грузность, ведь он ей и на ногу случайно ни разу не наступил, не говоря уже о большем. Словом, неожиданно оказалось, что пожилой, разваливавшийся, как затерянный в глуши дом или ветхий дом напротив ее окна, нравился Лене больше, чем эта недоделанная личинка Михаила, слишком веселая и даже спортивная с виду, в которой было слишком много от отца, всего этого дворового вечернего волейбола, турников, лыж, каких-то сплавов с заводскими друзьями.

«Нет, не надо, – сказала Лена, – я его и так хорошо помню, и так не забуду, а тут он другой совсем». «Ну и правильно! – участковый ввалился в комнату, самоотмытый уже и переодетый в чистое. – Мне он тоже в последнее время нравился больше, чем раньше. Потому что легко, легко! (повысил он голос в сторону жены, будто продолжая старый их, очевидно не известный Лене спор) очень легко человека любить, когда он активист какой-то, а чтобы люди радовались, когда ты уже почти куча компоста, вот это я понимаю, что-то должно быть внутри!» Он ахнул себя в кресло, где сидел мальчик, ребенок даже будто и не пошевелился, но не оказался раздавлен центнером участкового, а как-то просто оказался рядом, по-прежнему пялясь в книжку.

«Вот выйду на пенсию, так же буду с мужиками во дворе сидеть круглыми сутками. Растолстею», – сказал участковый мечтательно. «А то ты сейчас не сидишь и не толстый, – поддела его жена. – Да-

вай уж лучше рыбалка, зимняя рыбалка, охота, чтобы хоть видеть тебя поменьше». Лене пришлось встрять в их разрастающуюся перепалку, которая с каждой произнесенной шуткой становилась все более серьезной. «А бумаг никаких его не осталось? Архив какой-нибудь», – спросила Лена, на что участковый ответил молчанием и серьезным взглядом, в котором Лена ожидала увидеть меньше проницательности. «Завязывай, говорю тебе», – сказал участковый наконец. «Какие бумаги? – вздохнула его жена. – Там даже обои пришлось ободрать и ехать сжигать за город. Столько книг у него хороших было, даже те провоняли, мы их пробовали проветрить на чердаке в саду – бесполезно. Или, может, казалось, что пахло, или правда пахло, стоило подольше подержать их где-нибудь на ветерке». «Аутодафе», – сказал участковый неожиданное для себя слово, а затем добавил что-то непонятное, о чем Лена даже и постеснялась спросить, «Фало дель ванита». «Частично я его и твои бумажки Снаружу отдал, – признался участковый. – Но он поехавший на этой тематике, он может и из говна достать ваши штучки. Голыми руками».

«Снаруж – это ведь Снаружев который? Он вышел уже?» – удивилась жена участкового. «А тебе-то что? – слегка окрысился на нее муж. – Давненько он уже на воле. Сострогать себе уже успел кого-то, обзавелся какой-то соплячкой и обрюхатил. Лет десять уже как. Поздно ты хватилась, родная. Надо было слать посылочки, не упускать шанс».

«Тоже вот пример отрицательный, как раз для тебя, – неожиданно обратился участковый к Лене. – Тоже вот человек жизнь убил на писанину вашу, сколько уже сидел за это – не сосчитать. Уже седина, уже пора успокоиться. Нет, все порхает. Допорхается когда-нибудь тоже».

«Главное, что сам-то не может ничего! – почему-то радостно засмеялся участковый. – Больше знает о том, как надо, знает всех ваших в городе, редкости у него ваши какие-то имеются, всех писателей-наркоманов наперечет знает, какие были, какие есть сейчас. На часок-другой может по этой теме на ухо присесть, да и ведь интересно рассказывает. А у самого – ноль. Вот ад, наверно, где, – и участковый опять рассмеялся, потом смех его оборвало серьезностью: – Ты с ним только не связывайся. Он не любит некоторых штук. Не любит, когда его кинуть пытаются, когда чужое за свое выдают, он, кажись, за это пару человек прикопал, так что никто ничего и доказать не может, и найти до сих пор не могут, клюкву где-нибудь удобряют небось».

Лена вовсе не собиралась связываться с уголовниками, садиться тоже совсем не хотела, но скорбь ее за несколько месяцев поутихла и постепенно перетекла в ломку. Как Лена могла судить по телевизионным кадрам страдающих героиновых наркоманов, потребность в рифме была не такой жесткой. Оставшись однажды без сигарет, Лена могла сравнить раздражение без никотина и невроз от бесстишия, – вот они были близки, никотиновый чуть слабее. Другое дело, что гражданин, лишенный наркотиков, измеряемых в граммах, как-то постепенно мог избавиться от зависимости, а наркотик Лены был всегда с ней, она будто ходила со шприцем в вене – нажми только поршень.

В порыве одной утренней решимости начать жизнь с чистого листа, она пожгла и потопила все свои стишки в унитазе. Словно в ответ на такое предательство новые стишки будто обрубило, это было, конечно, хорошо, должно было Лене помочь, но она то и дело прикидывала строку к строке – это получалось у нее уже рефлекторно. Она была будто алкоголик, который постоянно держал во рту алкоголь и силился не проглотить его, вопреки всяким рефлексам. Приободренная успехами на ниве спрыгивания с зависимости, она пробовала разложить приходящее в голову на безобидные фразы, какие в читанных ей стишках не употреблялись, чтобы делать так и впредь, чтобы избавиться от этого навыка, а в итоге выхватила от одного-единственного стремительно самозародившегося четверостишия такое, что с трудом потом поехала на пары. Первая попытка, таким образом, не получилась. Остальные тоже не получились, но Лена все же пробовала раз за разом, пыталась отвлечь себя сигаретами, когда стишок приходил во время курения, решала бросить и курить тоже. Затем была пауза недели в три с половиной, когда она не курила, не придумывала стишков. Трогать, да и не трогать ее в это время не стоило совсем. Сережа привел в институт свою новую подружку, точнее, она сама приехала встречать его возле входа, Лена поинтересовалась, по-прежнему ли он так быстр в постели, отбила компанию одногруппников от внезапной проверки билетов в электричке, так что облитые ее ядом крепкие мужички с красными повязками смущенно удалились, а товарищи ее остолбенело стояли какое-то время.

Но вечером как-то, измученная сама собой, подумала: «...а пошло оно все». Тут же скидала вместе фрагменты до этого там и сям как бы показывавшего свои уши текста, а после того как ее торкнуло, пошла на кухню, с удовольствием закурила и подумала: «Для полного комплекта еще бухать начать».

И тут же, будто почуяв, что Лена временно решила не забрасывать вредные привычки, Снаруж и вынырнул, поймал ее вечером следующего дня, но так легко, обыденно, что Лена всю жизнь потом думала, что вот так, возможно, могут принять ее и сотрудники милиции.

Незнакомый белый автомобиль, забрызганный грязью, перекрывал асфальтовое ответвление от дороги во дворе к подъезду. Внутри Лены ничего не екнуло в предчувствии опасности, она еще подумала, что какое-то хамло встало тут, увидела темноволосого мальчика на пассажирском сиденье, который хмуро смотрел на Лену, та решила, что, видно, за кем-то просто приехали и сейчас уедут. На лавочке возле подъезда сидел человек и заметно скучал, рисуя что-то веточкой по асфальту, кожаная кепка на его голове делала его похожим на стереотипного таксиста из кино, на морду тоже человек был довольно прост, но именно люди с такими лицами играли обычно русских бандитов или советских военных в американских фильмах. «Привет, Волколамск, – скучно сказал шофер, когда Лена взялась уже за дверную ручку и потянула на себя, усиленную тугой пружиной дверь. – Сядь, поговорим». Лена подумала, еще не двигаясь с места, что в таких случаях добавляют: «Да не бойся, не съем», шофер, впрочем, не сказал этой фразы, а продолжил водить веточкой по асфальту, на Лену он не смотрел, зато черные глаза мальчика были очень внимательны, будто зачем-то запоминали Лену. «Есть что новенькое?» – спросил Снаруж (а кто еще это мог быть?). «Есть», – рот Лены сам собой зачем-то выдал честный ответ, она сразу же возненавидела себя за это. «Много?» – спросил Снаруж все тем же скучным голосом. «Я только для себя. Не хочу больше торговать», – теперь дивясь уже своему самообладанию, отвечала Лена. Она подозревала, конечно, что Снаруж вполне может взять ее за шиворот, затащить в дом, так что она отдаст и тот стишок, что у нее появился, и вспомнит те, что сочинила, не продала и утопила в унитазе. Но Снаруж никак не отреагировал на ее отказ, разве что слегка покивал, то ли соглашаясь с ее словами, то ли отвечая своим каким-то мыслям.

«Тут дело такое неловкое, – вступил он так внезапно, что Лена, обвыкшаяся с возникшим полуминутным молчанием, вздрогнула. – Может, войдешь в положение. Грек какой-то из Перми решил себе корпус текстов настрогать, чтобы на всю жизнь хватило. Его повязали, а с ним и всех, кто ему литру клепал, а это весь Урал почти. Так что на рынке пока запустение основательное. Грех не поучаствовать. Может, кого и отпустят, но это несколько месяцев. За это время можешь нормально поднять. Вот сколько тебе Миша отстегивал?»

Лена, глядя на заношенную кепку, назвала сумму. Снаруж по-лошадиному фыркнул и только покачал головой. «Ну это за гранью добра и зла, конечно, – признался он и весело посмотрел на растерянную Лену. – Я тебя тоже, грубо говоря, кину, если ты согласишься, но как-то более по-божески, что ли». Видя, что Лена сердится на него за такие слова о Михаиле, он опять покивал, как бы одобряя ее сердитость: «Не держишь зла на него? Да, Волколамск? Ну и правильно. Считай, что ты обучение у него оплатила, тем более что так оно и есть. Курсы повышения квалификации. Но если дальше сама продолжишь, то как бы в курсе цен надо быть. А то побьют за демпинг, и это еще хорошо, если побьют. Вот за всю твою мелочишку начальную он тебе, считай, раз... в шесть где-то недоплачивал за каждое». Он подождал, когда Лена прикинет в уме. Лена не верила, что любая из ее слабых дебютных штучек могла быть, как одна мамина зарплата. «Те, что позже, ну, раз в девять-десять», – вздохнул Снаруж. «Миша, я так понимаю, за каждое одинаково расплачивался?» – спросил Снаруж, Лена кивнула. Снаруж опять грустно вздохнул: «Ну, это уж ни в какие ворота, конечно».

Лена вспомнила, защищая Михаила: «Со мной он бесплатно менялся». «Ну, это просто барская шуба с плеча, ага, – непонятно согласился Снаруж, – Мощно ты его в “Лисьей горе” приложила, как чувствовала. Хотя не ты ведь приложила, а ОНИ? Они-то все знают. Их так просто не объедешь».

Был у них такой же вот препод в институте. Вроде слушаешь, слушаешь, вроде адекватный физик, и тут он начинает в тему торсионных полей съезжать, про биоэнергетику задвигать, про НЛП, что к физике совсем уж никак. Лена сама чувствовала порой живость своих стишков, их независимость, но мысль эта была строго для внутреннего пользования, игра такая, в которую она больше никого не допускала, как когда маленькая разыгрывала на полке трюмо королевство из бутылечков с духами, лаком для ногтей, флаконов для туши, еще всякой мелочи, вроде помады и поставленного на попа

бежевого коробка для пудры с золотой надписью – мама никогда не интересовалась Лениной возней, но стоило отцу или бабушке спросить, что Лена там шепчется перед зеркалом – игра стремительно расходилась по швам, вещи переставали быть одушевленными. Так и в этом случае. Лена сделала вид, что не понимает собеседника. «Ой, – не поверил Снаруж, в глазах его появилась лукавинка Ильича. – Ну, не хочешь, не говори. Я-то знаю, как это бывает, пускай и со стороны, но все же знаю, что с вами со всем происходит. Могу даже заранее тебе рассказать, как у тебя все будет, если ты не бросишь. С высоты возраста и опыта». Он не смог дождаться, когда Лена заинтересуется, и просто продолжил, хотя и выдержал паузу, словно освобождая место, где ее интерес мог разогнаться: «Без людей вокруг тебя ты – никто. Это и в других случаях справедливо, но в вашем – особенно. Если не найдется хотя бы одного человека, который тебя в этом деле, пусть и не соглашаясь с ним, поддерживать будет – кранты тебе, родная. И стишкам твоим кранты. И ты их на дно потянешь, и они тебя. Только они-то потом останутся, им есть к кому перепорхнуть, а у тебя жизнь одна. А найдешь человека, считай, тебе повезло, а ему – нет. Они и его захватят, даже если он ими ставиться и не будет, попадают люди в их ауру, стишки начинают чем-то стоящим казаться, хоть это и наркота всего лишь. Ты вперед, скорее всего, загнешься, а человек потом хранит все твои бумажки, как дурак. Не первый случай уже такой, раз десять я архивы выкупал. Автора бы, наверно, и то с меньшим страданием продали бы, потому что при жизни вы, ребята, не подарок судьбы. И дело не в том, что вы плохие, а в том, что речь лучше вас, просто потому, что ей уже тысячи лет, умнее вас по той же причине. Вы как бы приложение к ней, один лучше, другой хуже. Тот случай, когда разводной ключ умнее и дороже слесаря – и это видно».

С этого разговора стали они встречаться постоянно. Всегда он притаскивал на их свидания сына, что не могло Лену не удивлять, в конце концов, было же, наверно, это в иных случаях и опасно. «Жена ревнивая, – просто объяснил Снаруж. – Она потом наседает на него с вопросами, что и как. Не позволил ли где лишнего. Не таскаюсь ли за кем. За тебя она, кстати, плешь мощно проедает, считает, что может между нами искра проскочить, как у нас с ней когда-то. Ты, правда, ничего, глупо отрицать, но это ведь все молодость». Мальчик не мешал их разговорам, просто сидел и слушал, видно было, что ему неинтересно, да и понятно, что там было интересного в историях, слышанных от родителя не первый, наверно, раз.

Лена и сама была не прочь расспросить Славу (так звали сына Снаружа), где, кроме Лены, бывает его отец, с какими стихотворцами общается, как они выглядят: молодые или старые, кого больше – мужчин или женщин. Шансов на такую беседу не было у нее никаких, понятно. «Были бы вы нормальные поэты, представляю, какие он мог бы потом воспоминания написать, если бы захотел, – однажды задумался Снаруж. – Хотя что он там бы понаписал? Вон Зощенко знал кто-то в детстве, какой-то из актеров знаменитых, и толку? Восемь лет – ума нет». – «Вы бы хоть в кружок его какой-нибудь отдали, это же ненормально». – «Так он и так в музыкалку ходит. На домре играет», – сказал Снаруж, а лицо его сына, и без того недовольное, скорчилось в еще более мрачную гримасу.

Собеседником Снаруж оказался не худшим, чем был Михаил. Не перебивал, а внимательно слушал, если Лене было что рассказать, даже если это было что-то бытовое или студенческое, какой-нибудь анекдот, случай. Но и сам он был не прочь порассказывать, сравнить, как обстояло дело со стихами лет пятнадцать назад и как стало при Лене, что изменилось (изменилось то, что теперь людям проще было потратить деньги, что в восьмидесятые, например, часты были в стишках библейские мотивы, всякие Саваофы, Левиафаны там присутствовали и т.д, а теперь бытовуха больше, личное что-то). Один из рассказов, который понравился ей больше других, был про Мандельштама, который на волне послереволюционного, быстро закончившегося легалайза стал продавать свои сборники, в которых стишков не было, только обычная поэзия, его несколько раз колотили за такое, а когда к власти пришел Сталин, то посадили, как за литру. Так он и умер в лагере.

«У меня Славка знает два текста его, – похвастался Снаруж, – прочитаешь?» В ту беседу они сидели в парке Горького, было уже тепло, Слава ходил вокруг и пинал камушки. На вопрос он ответил молчаливым кивком, остановился там, где его спросили: стоя боком к ним, глядя в землю, неторопливо произнес: «Золотистого меда стгуя из бутылки текла...» («эр» он не выговаривал). Когда он дошел до слов: «Мы совсем не скучаем, – и чегез плечо поглядела», – на обращенной к Лене голой руке мальчика выступили мурашки; от этих строк, от вида того, что он чувствует удовольствие при чтении, что он, видно, что-то понимает, Лена и сама почувствовала, что мурашки бегают по ее

спине. Невольно восхитившись словами о кудрявых всадниках, бьющихся в кудрявом порядке, Лена подумала: «Как же хорошо!»

Читал мальчик без выражения, нудно протягивая гласные тонким своим голосом, но это не казалось чем-то смешным, будто и надо было так, споткнулся только на словах: «Не Елена – дугая, – как долго она вышивала?», на этом его спотыкании Снаруж молча ткнул Лену в бок, она непонимающе посмотрела на него, Снаруж, видя выражение непонимания на ее лице, одними глазами показал, что чем-то разочарован в Лене, кажется, ее недалеким умом.

«А второе какое?» – спросила Лена тотчас, как мальчик закончил. Слава покраснел.

«Второе – "Пготивогеча"», – передразнил сына Снаруж. Слава покраснел еще сильнее, злобно блеснул на отца косым взглядом, но все же начал: «Себя губя, себе пготивогеча...», – при этом бросил взгляд на Лену – не смеется ли.

Лена совсем забыла за эти несколько лет, что стихи могут быть хороши и без кайфа. Наблюдая такого небольшого ребенка, серьезно и по собственной мерно читавшего строку за строкой, Лена вспомнила себя в начальной школе, их игры с Ирой, все эти плоские фигурки самонарисованных кукол, обряжаемых в нарисованную и вырезанную из бумаги одежку, скакание через резинку, ей стало стыдно за себя, будто она до сих пор таким занималась. «Даже обидно, – сказал чуть позже Снаруж, словно прочитав Ленины мысли и желая ее утешить, – такой вот золотой Слава, а вырастет мной, или скучным кем-нибудь. Так оно всегда и бывает».

Из этого промежутка жизни, ставшего постепенно уютным безвременьем, подернутым еще и такой кисеей, многое было выставлено, чтобы не мешать нужной атмосфере. Исчезли мелкие стычки с матерью, горе за умерших (так что порой казалось, что и хорошо, что они умерли, все умирают), всегда, если Лена возвращалась туда памятью, было что-то вроде лета или ранней осени, всегда там было сухо, ломки забылись, так что Лене казалось, будто она по своей инициативе придумывала стишок за стишком, с легкостью ловила их себе в голову, будто голова ее была цветком, а они – шмелями. Совсем забыла, как писала диплом, выбрав темой фрактальную геометрию и насилуя купленный компьютер разбегавшимися и сбегавшимися фигурами, похожими на те, которые появляются, если надавить пальцем на закрытое веко. Если воспоминание было очевидно зимним, потому что Слава катался с горки на театральной площади, пока Лена со Снаружем мерзли неподалеку, декорации становились новогодними, с очень блестевшими сугробами, повсеместными яркими огнями елки на фоне совершенно черного неба. Даже воспоминанию о неприятном разговоре с матерью, случившемся зимой, в котором мама объясняла ей, что встречаться с женатым мужчиной – плохая идея, если он и обещает когда-нибудь развестись, фоном служило бесконечное бегство света по гирлянде на окне, металлическое поблескивание елочных игрушек и дождика. Не зная всей правды (радость по этому поводу почему-то становилась тем сильнее, чем дальше были встречи со Снаружем), мама, уверенная в своей правоте, увещевала Лену прекратить отношения с человеком, который явно водит ее за нос. Звучали едкие фразы, вроде «ты, думаешь, спонсора себе нашла?», «думаешь, если он на молодых западет, то года через два новую себе не найдет?» и все в таком же духе.

Это воспоминание почему-то всегда умиротворяло Лену, нравилось ей, как она тогда уравновешенно себя вела, успокаивала маму, говорила, что все не так, что не нужен ей этот мужик, что «просто». Она ведь за все время знакомства так и не узнала, как Снаружа звали на самом деле. Обращалась Лена к нему всегда на вы и спокойно себе обходилась этим, он чередовал Волколамск с Леной.

«Ничего ведь, что я тебя такой мужской кличкой зову? – спросил он однажды. – Она к тебе, может, и не подходит, а вот той тебе, что пишет – самое оно. Ты очень по-мужски пишешь. Ты такой языковой трансвестит, или как там это называется?» Именно тогда Лена, проигнорировав слова, которые можно было и за оскорбление принять при другом настрое, полюбопытствовала, есть ли, кроме нее, еще женщины как она. «Почему именно женщины всегда спрашивают об этом, а мужчины – никогда?» – спросил вместо ответа Снаруж. Вместо ответа он стал рассказывать о женщине-стихотворце начала века, которая сначала многое пережила в послереволюционной России, затем исхитрилась оказаться в Париже вместе с мужем, сыном и дочерью. Нравы в парижском русском сообществе того времени были довольно свободные, так что она могла торговать стишками и обеспечивать семью, но муж увез сына в Советы, воспитал в таком духе, что сынуля не уставал

посылать матери еженедельные злобные письма, а когда началась война, прислал последнее, пошел добровольцем и тут же погиб. Женщина взяла дочь, спаслась от немецкой оккупации сначала в Англии, потом в Америку перебралась, там отсидела разок за торговлю, а стишки ее с Брайтона и Парижа постепенно в Россию перебрались, пусть не все. «Я к тому, – сказал Михаил, – что не надо по-уральски всякую неприятность, даже трагедию, превращать в пошлую алкодраму: ой, больше никому, кроме пары торчков, не нужен. Пара торчков тоже, знаешь, признание. А у нас все вот так вот здесь. Пускай уж трагедия остается трагедией, переживай ее не с нашим сельским колоритом, а как трагедию, может, это и не трагедия вовсе окажется потом. А то как-то даже сочувствие исчезает, когда стихотворец по синьке х...йню творит. Будто Гамлет непросыхающий, и все вокруг него тоже в дрова. Встанешь такой над могилкой и думаешь: “Ну и на хрена ты все это сотворил?” или “И что ты кому доказала?”, а потом думаешь, что ведь человек просто от злости, не всегда от отчаяния, решил просто всех выключить, как лампочки разом, чтобы не было для него ни тех, кого он любил, а получается, что никого он не любил, кроме себя, ну и тех, кого не очень любил, тех уж само собой, такая черная ядерная бомба, выключение всего света разом».

Слова эти про сельский колорит не раз ей впоследствии припоминались, но не всегда она могла побороть себя, чтобы не вытворить что-то такое, за что ей было потом стыдно, и уже в момент поступка, за секунды до него она знала, что будет стыдно, – а все равно, говорила что-то, делала.

Кажется, Снаруж намекал, чтобы Лена написала что-нибудь и про него, или ждал чего-то такого. Лена, после стишка про Михаила и мрачного однокурсника, опасалась таких текстов, Снаруж понимал это, и все же хотел оказаться со стихами в еще каких-то отношениях, кроме тех, в каких состоял, торгуя ими, если уж не мог он написать ни одного, то внутри оказаться ему отказать было нельзя. Так он считал, видимо, хотел глянуть на отражение свое в темном зеркале текущих слов, не скрыл не обиды, но легкой ревности, что ли, которую обернул шуткой, заметив: «Ты уже и про Славу написала, а про меня ничего».

Лена не помнила, чтобы Слава где-то упоминался. «А вот в последнем, – сказал Снаруж так просто, будто Лена сразу же могла догадаться, просто кокетничала. – Ну, вот эта строка, “Четыре бороздки на макушке мороженого пока”», – а они действительно гуляли незадолго до стишка, Слава откусил от мороженого и долго шел, ничего больше с мороженым не делая. «Я перепишу», – испуганно и вместе с тем решительно заявила Лена. «Поздно, – сказал Снаруж. – По мне так – только испортишь».

Следующей встречи со Снаружем не получилось. К Лене приехал на велосипеде Слава: вырулил навстречу, тормозя, шумно шевельнул шинами мелкие камушки на почти распавшемся асфальтовом тротуаре вдоль школы № 1 и с удивительным спокойствием, равнодушно даже, сказал, что папу арестовали и, наверно, посадят. Это был тот случай, когда нельзя было сказать: «Ну ладно, понятно, пока», – и пройти себе мимо. Зачем-то косясь на большие пластмассовые, черные электронные часы на запястье Славы, настолько толстые и крупные, что Лене с высоты ее роста видно было, как мигает жидкокристаллическое двоеточие в промежутке между двумя и еще двумя цифрами, она пригласила пойти к ней, если хочет. Слава покачал головой и сказал, что он ненадолго. «Давай я тебя хотя бы провожу, чтобы велосипед не отобрали, – не могла не предложить Лена. – «Далеко?» «До “Урала”», – сказал Слава, и они неторопливо пошли сначала в сторону Выйского пруда, пока не вынырнули там, где улица Быкова впадает в проспект Космонавтов и повернули направо. Слава то пытался катиться рядом, но Лена двигалась не очень быстро, поэтому приходилось ехать рядом с ней, вихляя передним колесом для равновесия, то просто вести велосипед рядом с собой, как бы отгораживаясь им от Лены. Лена пыталась завести разговор, чтобы понять, как чувствует себя Слава, так же ли ему неожиданно и непонятно внезапное изъятие Снаружа из повседневной жизни, как ей самой. Еще ей было важно узнать, обижается ли на нее Слава, если бы он обижался, она бы ответила, что все взаимно, в принципе, получилось, что не она пришла к его отцу, он сам появился для того, чтобы покупать стихи. Слава не мог понять подкаты Лены к серьезному и откровенному разговору, отвечал коротко, будто и не остался без отца вовсе. Будто Лене подослали просто похожего на Славу мальчика (а могли, если бы захотели, если бы знали, что Лена не особо в него вглядывалась, почти всегда он был где-то не в фокусе, на периферии зрения). Только когда она, несмотря на вялые его протесты, дважды перевела его через перекресток Фрунзе-Космонавтов: сначала через Фрунзе, потом – через Космонавтов, он

поделился, наверно, тем, что его мучило, хотя облек это в этакую новость, которая должна была являться утешительной для Лены. «Мама говорит, что его через два года все равно выпустят, – сказал он, – там юбилей Победы и амнистия, наверно, будет», – даже заглянул Лене в глаза вопросительно: бывает ли так, отпускают раньше времени? «Так, наверно, и будет, – не могла не ответить Лена. – На юбилеи даже маньяков всяких отпускают». Видно было, что ему стало легче, оттого, что он сейчас отделается от Лены, когда он сел на велосипед и покатил прочь между прохожими.

А Лена все же нашла время, чтобы помучиться угрызениями совести, упрекала себя, что не настояла на том, чтобы Слава все же пошел к ней домой, выпил у нее чая, что повела она себя с отвратительным равнодушием, что и с Михаилом могла вести себя более по-человечески, со Снаружем могла не таить какие-то вопросы, и мрачный однокурсник мог быть жив, если бы она проявила к нему чуть больше внимания. Бабушку было уже не воскресить, но при жизни-то Лена в силах была поменьше отмахиваться, отвечая коротко и скучно на бабушкино любопытство к ее школьной и институтской жизни.

Упрекать себя за Славу она, впрочем, поторопилась. Появлялся он возле ее дома еще несколько раз, однажды зашел даже домой и в тот момент смахивал на кота, которого первого запускают в новую квартиру; не проронив и десятка слов, выпил две кружки чая, сходил в туалет, полистал старые подшивки «Роман-газеты». Видела Лена Славу и, что называется, в дикой природе, когда проезжала на трамвае или маршрутке по Космонавтов, а веселый и даже болтающий что-то мальчик шел в компании одноклассников, или, опять же веселый, чуть не прыгал от Красноармейской с кипой цветных комиксов под мышкой.

С печалью и муками совести по поводу бабушки тоже все было не так просто. Вроде бы куда уж проще: мучайся да страдай сколько влезет, если имеется такая потребность. Но когда мама, видно решившись, заявила, что, наконец, нашла свое счастье и собирается съезжать и что если бы не бабушка, то давно бы уже у Лены был новый папа, да что там: почти после траура по папе старому новый папа бы появился, – Лена была несколько потрясена. «Да у нас и с Витей все было бы гораздо лучше, если бы не она, – непонятно, в сердцах или правда так думая, сказала мама. – Что бы ни делал человек, если она рядом была, не могла, вот, от язвы какой-то удержаться никогда. Ни разу не удержалась. Лампочку ли он ввертывал, газ ли под чайником зажигал, просто сидел, смотрел ли телевизор или читал. Даже не представляю, как он голову ей не проломил, а просто умер. Это ж надо, на поминках заявить, что он теперь будет валяться, как всегда и хотел. И зарабатывал-то он мало, и с друзьями-то слишком много времени проводил. Или все дома сидел, будто других дел нету. И от паяльника-то припоем воняло. На всех ее хватало. На меня, на деда. Только ты у нее солнышко была в окошке. Не знаю, что в ее представлении “солнышко” было. Ой, а как ребенок воспримет нового мужчину в доме, ты подумала? А вдруг он ее изнасилует?» Произнеся эти слова бабушки, мама скрипнула зубами, ноздри ее гневно затрепетали. «А как она деда поддевала словечками своими? Вот уж кто с ней дольше всех выдержал и не свихнулся. Хотя свихнулся, конечно, потом, но это он нормально так вытянул столько лет. Удивляюсь, как его живым на небо не взяли. Попрекала человека тем, что он латынь преподает. А сама кто? Ленинской экспозицией в музее заведовала! Это, что ли, профессия?» Видно, давно мама сдерживала этот монолог, проговаривала его про себя перед сном или по пути на работу и обратно, потому что пускай и произносила слова достаточно спокойно, некоторые вырывались из нее с присвистом и шипением паровозных поршней: «Знаешь это кино дебильное с Гундаревой, где она говорит, что мамой работает? Там еще один из выпускников начинает проект свой на доске рисовать – город будущего. Так на этом моменте мама над отцом начинала подтрунивать, дескать, о, такой же: никакого толку. Она ведь и сама не знала, какой толк ей нужен. Скорее всего, какой-нибудь вахтовик с пудовыми кулачищами, но чтобы он всегда дома был и был культурный, при этом не пил. Вот этим она людей и разрывала близких как хотела, потому что чувствовала свою правоту какую-то и умела эту правоту показывать с высоты какой-то собственной. Правда, жалко, что ты не родила, все внимание на малыша, а ты бы хлебнула за то, что дверью не так хлопнула, что форточка на сантиметр больше открыта, чем надо – ребенок простудится. Но если в следующий раз так же, как она, форточку откроешь, метку даже сделаешь карандашом, чтобы не ошибиться, то все равно слишком широко. А еще форточка могла быть открыта слишком мало, так что ребенку душно. Молоко слишком горячее, слишком холодное».

И Лена в глазах бабушки становилась постепенно далеко не безгрешной оказывается: бабушка считала, что Лена чем-то упарывается. Вместо того чтобы спросить прямо, она ждала, когда Лена уснет, и проверяла ее вены, карманы, сумочку, обыскивала декоративные жестяные банки для приправ, из которых занятыми всегда были только емкости с надписями «Сахар», «Соль», «Перец». Стишки исключались, потому что бабушка считала Лену бездарной во всем и не имеющей художественного и какого-либо другого вкуса (Ты вспомни, что за кофту с пуговицами ты в школу таскала). Так что неизвестно, до чего дошли бы отношения в доме, проживи бабуля еще год-два.

Мама собиралась начать жизнь с другим человеком, который бы совсем не напоминал ей о прошлой семье вообще никак, поэтому она решила на время дистанцироваться от последнего обломка ее старой семьи в лице Лены. «Нам нужно пожить отдельно, может, позже отойду от этого привкуса, а сейчас, извини, не могу, не могу», – сказала мама.

Кажется, она пыталась задеть и Лену этими злыми словами, будто Лена шла прицепом и к бабушке, и к другим неприятностям, сама с рождения сознательно портила маме все, однако изумление маминой неожиданной речью и потом даже пересиливало все остальные чувства, пока не заместилось то и дело возникавшим желанием посадить дочерей и мужа напротив, высказать им все, что она думает о всей их жизни на самом деле.

Глава 4.

Портновскими ножницами резать по картону или бумаге

На знакомство с родителями будущего мужа Лена, так уж получилось, пришла под остатками сильного ривера, который помог спокойно и доработать неделю и провести собрание; Лене показалось, что стишок выручил и тут, поскольку суета родителей, шутки почти свекра про семеро по лавкам Лену могли слегка задеть, это как-то отразилось бы на ее лице, не очень хорошо бы вышло.

Шутки, впрочем, задевали ее не сильно, гораздо неудобнее были вопросы, как она оказалась в Екатеринбурге, почему переехала, неужели школы там не так хороши, чтобы Лена не могла учить там детей, зачем было тратить деньги на размен с доплатой, чтобы переезжать на окраину. Задавались вопросы из чистого любопытства, совершенно безобидным тоном (не специально безобидным, а и правда без двойного дна), было видно, что Лена родителям благоверного понравилась, им просто интересно было узнать о ней побольше, чтобы подкрепить первое впечатление еще чем-то. И Лене родители жениха стали симпатичны с первого взгляда, было в их доме что-то светлое, не было лишнего хлама по углам, не стояли на шкафу коробки из-под бытовой техники, подоконники были без цветов. Не увидела Лена полки с книгами, впрочем, висеть или стоять эта полка могла и в другой какой-нибудь комнате. Сразу было видно, что это не Ленина дикая семья, по крайней мере, не такая дикая – без внутреннего напряжения, выражающегося шутками дрожащим от сдерживаемой, внезапно подкатывающей ненависти голосом.

Разумеется, Лена не могла рассказать всей правды. Что устала от здоровающихся с ней дворовых пьяниц, от их почему-то виноватого вида, факт знакомства с несколькими из них почему-то стал угнетать быстрее, чем она это ожидала. Она с удивленной злостью отмечала, что они не забывают, что Лена с ними знакома. Устала здороваться с участковым, который всегда приветливо кивал, приветливо здоровался с ней его сын, вроде и вовсе не глядевший в ее сторону, когда Лена была у них в гостях. Жена участкового так и вовсе долгом своим считала расспрашивать Лену о делах и делиться рассказами о делах собственных, может быть, рассказывала всегда одно и то же, Лена не знала, стоило жене участкового заговорить – внимание отказывало Лене, почти сразу превращало слова женщины в словесный ровный шум, доносившийся как бы из-под воды. Докучливая болтовня женщины, в принципе, была переносима, а вот при виде участкового и его сына, будто рифмовавшихся со Снаружем и его сыном, Лена чувствовала тоску, похожую на мерный ход винта Архимеда где-то в районе солнечного сплетения.

Родителям жениха она сказала, что захотела жить в большом городе. Была это отчасти правда. Родители рассмеялись, потому как оказалось, что за пределы района не вылезали они уже лет пять, а если и выбирались – то лишь на дачку. «А тут сама видишь. Я в Тагиле бывал, – сказал будущий

свекор, – те же домики, желтой краской покрашенные. Трамвайчики бегают, даже несколько мест есть, где может показаться, что к вам на УВЗ едешь: та же зелень, заборы какие-то деревянные».

Соврать насчет того, что у нее уже нет родителей, Лена тоже не решилась, притом что велико было искушение заживо похоронить маму, чтобы не выныривали потом лишние вопросы, попытки познакомиться поближе. Все равно в Екатеринбурге жили еще двоюродная сестра Лены и дядя по отцу, правда все равно вывалилась наружу, а так – мама сама прекрасно себя потом показала накануне свадьбы. Неплохо она отыгралась на Лене, когда узнала, что Лена собирается переезжать, но зрителей этому спектаклю, кроме Лены, не нашлось, а в пересказе, даже если бы Лена решилась кому-нибудь пересказать это, действо теряло часть колорита.

«Делай, что хочешь, дорогая, – лениво сказала мама, когда Лена ей позвонила, – квартира твоя. Но учти: если тебя обманут и ты без денег и дома останешься, я тебя жить к нам не пущу».

На такое предупреждение – здравое и рациональное – обижаться не стоило, просто в нем содержалась не столько попытка остановить Лену от необдуманного шага, сколько именно злорадное желание, чтобы Лену именно обманули, потому что Лену окружали умные люди, а сама Лена была глупа, дескать, туда ей и дорога – внучке своей бабушки, годам тягостной жизни. Вполне возможно, что такого смысла мама в свои слова не вкладывала, но Лена поняла их именно так.

Лена имела неосторожность сболтнуть, что уже купила другую квартиру, точнее – разменяла, добавив деньги, на что мама скептически рассмеялась: «Заняла у кого-то, что ли? Ну, желаю удачи, крутись как хочешь, хотя в твоем возрасте легче, конечно, отдать». Они перекинулись еще несколькими репликами, и все время инициатива была на стороне мамы, ее чуть скучающей уверенной снисходительности, пока Лена не сумела удержаться и не брякнула устало: «Мама, ты от бабушки не убежишь, ты – копия она, наверно». Мама так резко положила трубку, что Лена ощутила едва ли не сексуальное удовлетворение.

Соседи по двору оказались радушнее, чем могла быть мама, да и сама Лена. Когда мужчины двора возникли из ниоткуда и помогли ей грузить мебель в нанятый грузовик, а среди мужчин этих, помимо участкового и отца Иры, появились и те самые алкоголики, которые вызывали у Лены гримасу приветственными восклицаниями, думая, будто делают ей приятное, если узна́ют ее, Лена испытала, разумеется, благодарность, но совесть ее в эти пару часов словно шаркали по стиральной доске за прежние ее брезгливые кривляния, что на лице она их не показывала при каждой встрече со знакомыми любителями принять на грудь, но мысленно кривилась, а это было, может, еще хуже.

И перед участковым было неловко за то, что считала их лишь подобием Снаружа, и перед отцом Иры: за то, что злилась на него, поскольку Ирина укатила в Москву.

Эти люди с замечательной снисходительной бесцеремонностью оттеснили нанятых грузчиков, объяснив, что грузчики еще успеют, шутливо огорчились, что поднимать вещи придется опять на второй этаж, а не на пятый, пожалели опять же, что нет у Лены фортепьяно («Что за переезд, если фортепьяно не надо со второго на седьмой таскать?»).

Лене хватило такта сходить до магазина, и тут уж мужики поглумились над ней, всячески изображая, что помогали они от всей души, так сказать, по-соседски, что помогли бы и просто так, не нужно было тратиться, от чего Лена чувствовала себя еще более неловко. При этом Лена знала, что это просто ритуал, раскланивание, вроде средневекового, что так положено. Как если знакомый подвозит мужа с женой на своей машине, когда ему по пути, или почти по пути, муж должен в конце поездки предложить знакомому деньги, знакомый должен слегка возмутиться: «Да ты что, обижаешь», а жена должна громко прошептать мужу, когда они вылезают: «Ты с ума сошел!»

Для работы Лена приглядела школу из белого кирпича на горке возле ее дома. Школа приняла ее с распростертыми почти объятиями: позапрошлый учитель математики подался в риелторы, прежний (прежняя) ушла в декрет. Директор – полноватая задумчивая женщина с маленькими внимательными, как у щенка, глазами не без подозрения и не без скепсиса оглядела фигурку Лены, словно прикидывая, сколько самой Лене осталось до беременности. «Это, конечно, не очень хорошо спрашивать...» – сказала директор. «У меня никого нет пока», – угадала вопрос Лена. «А у нас тоже никого нет, – только и махнула рукой директриса. – Сами ведь понимаете, что сейчас творится. Только у меня малышей нет на классное руководство. Пойдете к девятиклассникам?» «А что, девятиклассники не малыши?» – Лена сделала попытку поюморить. Брови директрисы немного

шевельнулись, а лицо при этом осталось неподвижно, без слов Лена поняла это как «Посмотрим, как вы будете шутить, когда до дела дойдет».

Ну, класс – и класс. От класса этого многого и не ждали, тем более что школа оказалась аналогом первой тагильской. Пара человек ее только и задевала одним своим присутствием – мальчик, ковырявший свое красное от прыщей лицо прямо на уроках, и другой мальчик, что баловался, изображая из себя развязного уголовника и беспрестанно перекидывавший янтарные четки в руке, как только выдавалась свободная минута. Это было, можно сказать, баловство – в одном из классов какой-то персонаж вообще несколько раз был замечен онанирующим на уроке, при этом ни разу факт поимки его не смущал, а даже веселил, будто неожиданная шутка, и не только его это веселило, но и его одноклассников. «И ведь он в десятый собирается!» – тихо и культурно выходила из себя на педсовете пожилая Тамара Ивановна – тоже математичка, как Лена.

За исключением вот этой пары человек с четками и прыщами, остальные сначала были совершенно обыкновенные, вроде массовки в советском фильме про школу, и если чем и пытались выделиться, то Лена почти этого не замечала, хотя были среди них и считавшие себя, может быть, выдающимися чем-то, талантливыми, иначе какие это подростки, если не считают? Увидев несколько нервную мать ученика с прыщами, Лена даже не стала говорить ей, что сын у нее ведет себя не очень нормально, потому что подумала, что мать примется дергать пацана по этому поводу, если еще не дергает, тот будет психовать еще больше, сильнее начнет ковырять лицо, будут они так ходить по кругу до самого выпускного, тем более с математикой было у него все в порядке: не лучше, не хуже, чем в среднем по классу из пятнадцати человек, да и сама Лена была не без странностей, чего уж тут: собственный ее крупный недостаток чудом просто не выражался в том, что она не направляла недовольство собой на частично подконтрольных ей учащихся, а обращался в новые стишки. В этом, право слово, было что-то от этой вот угревой сыпи.

Мальчика с четками звали Слава, тем сильнее было недовольство тем, что он единственный из класса усмехался каждый раз, когда Лена произносила фразу «квадратный трехчлен». Ну, единожды, ну, под настроение – можно было еще понять, но ведь не все время. Через полгода, когда отношения с учениками слегка скатились частично к фамильярности в рамках, впрочем, приличий, Лена не выдержала очередного смешка и спросила, а ужас от произносимого как бы бежал за вопросом, но чуть позади, так что не успел закрыть Лене рот: «Егоров, что ты так радуешься этому трехчлену? Представляешь, что тебя на него садят, что ли?» Класс коротко грохнул. Если бы Лена добивалась того, чтобы все оставались серьезными каждый раз, когда она упоминает трехчлен, то была бы не довольна собой, потому что какое-то время результат шутки был обратным: подопечные начинали ехидно улыбаться и коситься на заднюю парту, где сидел Слава. Но Лена просто ляпнула, не подумав, а потом отчасти радовалась, что класс ее не выдал, не рассказал шутку ни учителям, ни тем более родителям.

Перед педсоставом Лена решила покаяться сама. Тамара Ивановна радостно засмеялась, будто отмщенная за все годы своей педагогической карьеры, когда она вынуждена была терпеть какого-нибудь дебила, всегда находившегося в потоке, изображать, что не обращает на него внимания. Пара филологинь улыбнулись свершенной вендетте, думая о чем-то своем (о членах предложения). Физрук Александр Иваныч – бывший ученик школы, двудетный отец, вынужденно совмещавший учительство с охраной ночного клуба, сделал скучное лицо и сказал: «Ну, это рискованная шутка, конечно. Вам еще можно так пошутить, а я бы и перо мог словить за такие шуточки». В целом даже те, кто оценили поступок Лены положительно, безоговорочно осудили его непедагогичность, но даже если бы пальчиком погрозили, и то получилось бы строже.

Возможно, за неимением лучшего педагога, дети просто самоутешали себя и пронесли потом это самоутешение часть жизни. Когда ее первый класс появлялся на встречах выпускников с цветами и объятиями, Лена тоже радовалась, но это была скорее радость удавшегося обмана, что класс оказался настолько крепким, что даже Ленино корявое руководство его не испортило, что большую часть первого ее учебного года она занималась вовсе не учениками, а попытками разобраться в себе и найти такое место района, чтобы оно было достаточно близко к дому, но при этом настолько непопулярно у местных, чтобы купить сигареты и алкоголь там можно было без риска нарваться на учеников и их родителей, – вот что ее, собственно, заботило помимо процесса обучения. Вроде бы и

нашла магазинчик возле пединститута, но там ее Александр Иваныч и поймал. «Ты куришь? Думала, не спалят? Думала, повезет? – спросил он, веселясь. – Забудь о везении. Это место проклято, по нему тринадцатый троллейбус ходит». Тайну Лены он, впрочем, сохранил, но всегда потом смотрел на нее юмористически.

Алкая анонимности, Лена никогда не посещала районные кинотеатры и места фастфуда, близкий Уралмаш она тоже игнорировала, но то и дело натыкалась на здоровающихся с ней людей в центре и окрестностях центра города. Были дети, были родители детей, родственники и знакомые детей, увидевшие ее однажды и прочно запомнившие. Подсела к ней однажды в «Мак Пике» бывшая ее одноклассница, отчего-то ожидавшая, что Лена ей обрадуется и пустит пожить на месяц-два. Лена вела, конечно, несколько замкнутый и даже почти одинокий быт, но не настолько, чтобы пустить одноклассницу. Однажды кто-то выглядел ее в зале кинотеатра и принял случайного молодого человека, сидевшего по соседству, за ее благоверного, отчего некоторое время школьники ее смотрели на Лену с понимающей благосклонностью, а старший педсостав перешел с благосклонных интонаций при беседах на неуверенные и озабоченные.

Напрасно Лена надеялась и на то, что зависимость от стишков ослабнет на новом месте. Стихи не пропали, а стали будто просторнее, словно вместив в себя то пространство, что находилось между бывшим ее жильем и новым. Полностью переменились разве что сны, которые будто остались от прежних жильцов. В этих снах Лена ссорилась с каким-то мужчиной, одновременно боясь, что он уйдет от нее навсегда, либо ехала, почему-то, в Тюмень на поезде, в светлом от солнца плацкартном вагоне, где кроме нее, сложенного белья на полках и пары чужих детей (но во сне она знала, что это именно ее дети) – не было больше никого.

Если бы не своевременная предусмотрительность Снаружа, Ленино пристрастие к стишкам, скорее всего, раскусили бы довольно быстро. «Это Никитыч нигде не работал и не собирался, – прямо сказал он, хотя и сам только числился то ли на предприятии ВОС, то ли вахтером на каком-то загибающемся заводике, – а тебе с детьми работать. Они, сука, глазастые, они и не такое выкупают». Им решено было завести Лене контактные линзы, благо повод имелся: нижний ряд таблицы Сивцева Лена уже не могла разобрать, во второй снизу строке путала «н» и «к». Снаруж говорил, что многие стихоплеты оправдываются тем, что зрачки у них расширены из-за контактных линз, некоторые даже ставят их себе, вопреки медицинским показаниям. Еще Снаруж заставил Лену наизусть выучить слова: пилокарпин, карбахолин, ацеклидин, фосфакол, армин, фосарбин. «На всякий случай, всякое бывает, сама уже знаешь, – пояснил он. – А вообще, ты главное лыбу не дави, у нас в Россиюшке такое не любят, – советовал он. – Нисходяшку словишь – хер с ним – все такие, а вот этот энтузиазм и нездоровый оскал пытайся убрать – не поймут. Аспиринку помогает во рту держать, если на Крошку Енота пробивает. Педагогу, по-моему, даже к лицу, если у него этакое отвращение, знаешь, во время выкликания из журнала и других всяких дел, какие там у вас, не знаю».

Совет про таблетку аспирина во рту был хорош на самом деле еще и тем, что каждый раз, когда Лена пользовалась этой подсказкой, сразу ее мозг принимался вытаскивать одно за другим воспоминания о Михаиле Никитыче, Снаруже, Славе, длинном однокурснике – и люди эти, чем дальше Лена находилась от времени настоящего соприкосновения с ними, становились все милее, превращались в чуть ли не единую личность, которая просто умела принимать разные формы.

По вечерам, если не была занята работой, телевизором, чтением (а екатеринбургская библиотека Лены началась с Мандельштама, а затем стала стремительно разрастаться современными иностранцами и русскими классиками), ее вдруг прибивало какое-нибудь воспоминание с улицы Оплетина, института, тех мест в Тагиле, где они побывали со Снаружем, вмешивалось в любое домашнее занятие: готовку ли, уборку, да так навязчиво порой, что Лена через усилие, через останавливающий жест двумя руками, слова «Так, всё!», заставляла память прекратить показывать эти многочисленные цветные слайды, крутить эту пленку.

Не так уж она и была одинока. Двоюродная сестра оказалась очень общительной особой, вполне себе обаятельной, но ироничной настолько, что ирония эта сказалась во всем ее существе: взгляд ее, обращенный к очередному воздыхателю, походил на одновременный взор рентгенолога, психиатра, уролога и проктолога. Она была старше Лены всего на три года, знала китайский, английский, немецкий языки. Выращенная отцом-одиночкой, сама с легкостью чинила электроприборы и могла

ковыряться в машине, хорошо готовила. Сестра не могла притворяться, что ей что-то не нравится. Скорее всего, большинство мужчин отпугивало от нее то, что если мужчина не очень удачно шутил какой-нибудь стандартной расхожей шуткой, повторенной многими, или говорил какую-нибудь по-народному колоритную фразу, вроде «спать хочу, как медведь бороться», она смотрела на сказавшего поощрительно, с таким добрым сочувствием и смирением, какое отличает лица учителей рисования и музыки.

За три года в новом городе сестра сводила Лену на множество двойных свиданий, не окончившихся ничем.

Когда родители жениха спросили Лену, как она познакомилась с их сыном, Лене хотелось ответить: «Чудом». Так уж получилось, что сестра стала сплавлять ей кандидата в ухажеры, знакомого ей только по телефонным звонкам и рассказам знакомых, предложила Лене сходить посмотреть на очередного весельчака вместо нее. А Лена согласилась, слегка контуженная после выпускного, всех этих растроганных родителей, плачущих выпускниц, а в особенности стихотворения, посвященного ей – классному руководителю, «который был как мама». Зачитанный дрожащим голосом одной из учениц, стишок напоминал какого-то юродивого с этими аляповатыми сравнениями, внезапными язвами странных рифм, и не рифм даже, а неких созвучий (к примеру, «нее» – «зло»), жонглированием «ведь» и «же» для попадания в размер. Чудовищно было то, что выпускной снимало сразу несколько видеокамер; другое дело, что на видеозаписи гримасы Лены можно было трактовать как попытку скрыть слезы. Сложнее пришлось утром, когда школьники, родители и Лена пошли встречать рассвет на Калиновские разрезы, где солнце должно было красиво отразиться от воды пруда, можно было сделать какие-то особенно красивые снимки и всунуть в памятную любительскую киношку еще и восходящее светило. По пути до финального расстрела фотовспышками чтица стихотворения прилипла к Лене и стала расспрашивать, насколько хорошо было ее записанное в столбик прощание с любимым учителем.

«Мне было приятно, но само стихотворение очень нехорошо ты написала, хотя видно было, что старалась», – сказала Лена и сама ужаснулась сказанному, пускай неловкость была несколько смазана бессонной ночью за праздничным столом и выпитым вермутом, так тепло растекшимся по всему ее организму, будто Лена и не пила вовсе, а побывала на сеансе массажа. Выпускница не обиделась даже, скорее смутилась. «А что там?» – спросила она. Лену прорвало на разбор текста, который она, оказывается, неплохо запомнила с первого раза: так ее впечатлили больные места в этих стихах, что (она прекрасно понимала это, но ее уже несло) вовсе не обязан был изображать из себя литературный шедевр, но даже и полноценным стишком мог не являться. Это ведь были просто слепленные второпях слова на одном только чувстве как бы любви, которое тихая хорошистка вроде как должна была испытывать к своей молодой и, в принципе, милой училке.

Проспавшись, Лена маялась стыдом. «Вот поэтому-то ты и кончишь как Михаил Никитыч, – говорила она себе. – Господи, какая дура. Перед кем ты, идиотка, выделывалась? Зачем?»

Именно поэтому, когда молодой человек при встрече сказал, что его зовут Владимир, а потом добавил: «Можно Вольдемар», Лена сумела взять себя в руки, умозрительно зашторить призрак сестры, уже замаячивший в воображении с уничтожающей улыбкой на устах и фонарем скепсиса в деснице.

Лена очень не хотела умереть одна во время прихода. Она не сомневалась, что именно такой конец ее и ждет. Читая русских классиков, всякие там фразы, вроде «это была уже дама лет двадцати пяти, которая, не при дневном свете, конечно, а при свечах, казалась еще милою и свежею», Лена чувствовала себя развалиной. Работа в школе только усиливала впечатление старости, потому что стремительно растущие дети были все время на глазах. Впрочем, то что из девчушек вдруг получались девушки, было еще как-то нормально, а вот то что из мальчиков с тоненькими голосами вдруг получались басовитые дяденьки, эта вот перемена голосов с одних на другие, будто превращение в других людей, да еще такое стремительное превращение, угнетало Лену больше всего, поскольку Лена чувствовала, что и сама меняется, просто не замечает этого.

Владимир был не так уж и плох, но Лене казалось иногда, что в том, что они стали встречаться, было больше этих страхов, чем симпатии к нему. Ощущения, что она отбила у двоюродной сестры кого-то, не возникло. Владимир и Лене-то иногда казался придурковатым, а сестре бы показался

и подавно. Старше Лены на пять лет, он закончил Лестех, судя по всему, как бы резвяся и играя, пропрыгал до высокой должности в компании по производству шпал, да там с удовольствием и остановился, чувствуя себя, кажется, среди дерева и шпал так уютно, будто был среди себе подобных. Читать он любил, но только детективы и валом идущую с некоторого времени юмористическую фантастику, так что, вроде, и любовь к чтению имелась, но и чтением это назвать было нельзя. Лена же, которая некоторым образом чувствовала себя причастной к серьезной литературе, тем, что писала, а ведь то, за что могут посадить, не может быть несерьезным, – оскорблялась такой тратой времени больше, чем всем остальным: просмотром комедий, и зарубежных и отечественных, таскaнием по массовым мероприятиям, вроде дня города, запуском фейерверка в день рождения.

Такую же неприязнь к развлечениям сына испытывали и родители Владимира. Но это неприятие развлечений сына имело в виду не отношение к культуре, а больше склоняло его к тому, чтобы Владимир остепенился. Они считали, что взрослый человек должен уже делать что-то для создания собственной семьи, а там уже и садовый участок приобрести, и т.д, что-нибудь такое. Ленину попытку не палиться они приняли за необходимую для невесты серьезность. Их не отпугнуло даже то, что Лена не могла привезти мать из Тагила, чтобы познакомить с будущими родственниками. Более того, их не отпугнуло даже то, что вместо матери она познакомила их в итоге с дядей и сестрой. Дядя им понравился, а сестра так и вовсе пришлась по душе тем уже, что могла стать невесткой – и не стала.

К чести Владимира, предложение он сделал сам, причем всего через полгода встреч. Лена тоже не тянула его в брак, ее и так радовало, что к ней, кроме сестры, заходит кто-то, кроме сестры, звонит, узнает, как у нее дела (жива она или нет), поэтому его предложение стало сюрпризом настолько, что Владимиру и самому понравилось, что он Лену смог удивить, притом что просто ляпнул мимоходом, сунул коробочку с кольцом в карман ее пальто, а было ли кольцо куплено специально – Лена не стала допытываться. Она подозревала, что просто вышла в финал целого ряда свиданий с несколькими женщинами, которые Владимир не мог не проводить, будучи, пусть его родители так и не считали, вполне себе взрослым человеком.

Точнее, Лена его считала до какого-то времени взрослым человеком, а родители оказались правы, но до подтверждения их правоты прошла еще масса времени, вместившая много всего.

Были уже упомянутые выше знакомства. Когда родители Вовы узнали, что Лена – учитель, они невероятно умилились. «Они-то думали, я жену в сауне найду», – пояснил потом Владимир. В глазах их появилось сочувствие и к Лениной заработной плате, и к ее, ими придуманному, учительскому самопожертвованию. «И Вовка-то был – не сахар, а какие теперь дети, даже представить страшно», – сказала мать Владимира. Лена ответила, что ничего особенно плохого в нынешних детях нет, и тут же услышала несколько как бы душераздирающих историй из детства жениха про бутылки с карбидом, перестрелку снежками прямо в классе, поджог сухой травы возле садового товарищества, и это могло отпугнуть Лену, если бы ни у каждого в ее дворе, даже у нее, не было всех этих историй, этих взрывающихся бутылок, походов на стройки, пиромании разной степени интенсивности, лопающегося на огне шифера, смеси марганца и серебристой краски, паровой пушки, стреляющей картошкой или деревянными чопиками. Даже тихая Лена имела несколько шрамов, доставшихся ей от падений с высоты, ныряния в воду в непроверенных местах, от капнувшей на ногу плавящейся пластмассы. Этим можно было гордиться или правда предостерегать от знакомства с людьми, баловавшимися в раннем возрасте огнем либо еще чем-нибудь опасным для жизни, но у всех это было, а скука заключалась в том, что почти у всех было почти одно и то же.

Встреча Вовиных родителей с дядей и сестрой Лены прошла настолько не в пример интереснее, чем явление самой Лены, что можно было предположить, что Лену полюбили все же за фееричных родственников, один из которых прочитал китайскую часть инструкции к телевизору так, будто она была на русском (Лену, заглядывавшую через плечо сестры, слегка коробило то, что замечательные, аккуратные, состоявшие из тонких черт значки использовались таким вот бытовым образом). А затем дядя, приняв на грудь, загрустил и сказал, что он, конечно, рад, что у племянницы все хорошо, но его-то дочь какая-то странная. «По-моему, я вот этим своим воспитанием не знаю, кого вырастил. Похоже, она – лесбиянка». «Я уже и сама об этом думала, – ответила на это сестра, – но нет, к сожалению, а то было бы намного проще, знали бы вы: сколько там интересных людей». Родители Владимира стали уверять сестру, что сейчас уже многое принимается вполне терпимо, не то что раньше. В этой

показной, или даже и не показной толерантности было что-то забавное, все будто разом сговорились и стали спихивать сестру на порядком протоптанную за десять с лишним лет тропу гомосексуализма, хотя сестра этого совсем не хотела. «Не при Сталине, в конце концов, живем», – заметил очевидное Вовин отец, разговор при этом перескочил некую стрелку, вроде железнодорожной, и заговорили, почему-то, про «Архипелаг ГУЛАГ», про романы «Жизнь и судьба», «В окопах Сталинграда». Затем стали вспоминать, кого у кого посадили и расстреляли. Вова оказался из немцев Поволжья, поэтому и фамилия у него была такая – Кениг. Кениги сильно хапнули горя при перемещении из одного места на карте СССР в другое. Лене от родственников со стороны матери в этом плане не перепало ничего хорошего, ее предки сами кого-то раскулачивали, да так усердно, что двоюродного прадеда в итоге хлопнули из ружья прямо во время ужина через окно избы, а прадед до конца жизни, что называется, ходил и оглядывался. Дедушка – латинист, хотя и стоял едва ли не у истоков пионерского движения в Нижнем Тагиле, то есть что-то хорошее как бы делал, но тоже клеймил врагов Советской власти, где бы ни работал; до конца жизни (а под конец жизни особенно) очень жалел, что расстреляли не всех, кого надо было. Да и со стороны отца потомственные горные инженеры и горные же учителя довольно неприятно скатились в мелких активистов, стремившихся переименовывать все, до чего могли дотянуться: бригаду ли, еще что-нибудь, на что членились тогда рабочие коллективы, именем Павлика Морозова, убитого под Тавдой. Иногда Лене казалось, что Урал и существует только ради того, чтобы у страны был Бажов, Павлик Морозов и танки. Она подумывала, что если сейчас вырезать этот участок земли из страны и составить вместе половинки – страна не пострадает, а Транссибирская магистраль, к удовольствию едущих по ней, станет короче на целый часовой пояс.

Родители Вовы не поверили, что мама ее не желает ехать на свадьбу, они сначала решили, будто Лена просто обманывает их: говорит, что позвонила ей, а на самом деле даже и не собиралась звонить. Отец Владимира взял номер маминого телефона, в его, телефонном же, голосе звучало что-то такое: «Вот посмотришь, как все будет замечательно. Все же мы – взрослые люди, можем договориться друг с другом». Снова он позвонил вечером того же дня, причем, прежде чем сказать Лене, «Ну, это, конечно, да», – как-то сочувственно подышал. Лена поймала себя на том, что лицо ее при этих словах Вовиного отца сделалось снисходительным, с выражением подтвержденной правоты, походило, наверно, на лицо матери. Негде было выловить свое отражение от того места, где находился телефон, проверить: так ли это. Лена оскалилась, помяла пальцами кожу на лбу и веках, чтобы убрать эту самодовольную гримасу, в которой чувствовалось что-то новокаиновое, неудобное.

Свадьба была, и Лена боялась, что сестра и дядя, а также несколько приглашенных с ее работы людей будут чувствовать себя неловко среди многочисленной Вовиной родни. Дядя на самом деле казался стесняющимся, потому что он всегда и был таким, даже у себя дома: такой сомневающийся в собственных словах, извиняющийся при любой удобной возможности. Но не один там он был такой. Большинство появившихся Вовиных близких сами уже не видели друг друга много лет, многие даже и не были знакомы, пытались держаться поближе к тем, с кем приехали. Особенно грустно Лене было за родственников с какого-то полустанка за Ирбитом, за их костюмы тридцатилетней выдержки, за прически мужчин в виде челочки на почти выбритой голове, за яркие пластмассовые брошки на платьях женщин. Сестра же нигде не чувствовала себя неловко. Она организовала выкуп, нарисовала свадебные плакаты, пыталась похитить невесту. Благодаря своему росту, на пару голов превышающему средний рост гостей, поймала букет уверенной рукой. К сестре сразу прилипла девочка из будущих выпускниц, собиравшаяся поступать на иняз, с коленей сестры не слезал младший брат выпускницы, которого двоюродная сестра трепала за щеки, то и дело катала на шее, хотя и приложила однажды лбом об косяк двери, не прекратила катать, да и сам ребенок был не против, просто догадался предупреждать ее криком: «Дверь!» Две женщины и один мужчина из школы, конечно, несколько терялись на ее фоне, как и все остальные, но все-таки неплохо спели поздравительную песенку почти собственного сочинения, а точнее, «Издалека долго течет река Волга», переделанную в «Как молока пенка сбежит от нас Ленка».

Все в течение свадьбы потеряли степенный облик. Разрозненно люди выходили покурить, а возвращались уже вместе. Так были втянуты в общую пьянку и тамада, и живая музыка, и видеооператор. Два разнополых подростка любезничали друг с другом в уголке ресторанного зала, их влюбленность была прекрасна для них тем, что могла остаться только влюбленностью, а большего

им и не нужно было. В первый день свадьбы, когда жениху с невестой ни пить, ни есть не полагалось по какой-то традиции, в которую Лена решила не вмешиваться, происходящее виделось ей безобразием и пошлостью. Люди, с энтузиазмом кричавшие «Горько!», казалось, сами были готовы начать целоваться с первым попавшимся за столом.

Следующий день оказался повеселее. Лена сама не заметила, как уже курила в компании гостей, а потом решилась спеть «Where the wild roses grow», неизвестно как и откуда втравившуюся в память, тут же, как нельзя кстати, пришлась сестра с мальчиком на шее, потому что она своим низким голосом вполне себе могла исполнить партию Ника Кейва. Музыканты слабали «Звездочка моя ясная» с таким особенным похмельным надрывом, что Лена, всегда считавшая эту песню чересчур слащавой, ощутила подкатывающие слезы на «а-а-а-а-а улететь!».

Владимир на свадьбе не поддался веселью, только поглядывал на родителей с улыбкой, которая, видно, должна была означать: «Ну что? Добились, чего хотели? Поздравляю». Эта скромность объяснялась отчасти тем, что среди гостей был и начальник его, и пара подчиненных, Владимир берег лицо, но все же Лене было слегка обидно, что она обошла супруга в кураже. Лена мысленно называла «куражом» вот этот вот свой караоке-номер и курение, тогда как могла быть скромнее в определениях, потому что свадьба полнилась событиями и покуражистее, как то: потеря видеооператора, который выбрел из ресторана за сигаретами, потому что курил какие-то особенные, заблудился и попал на юбилей магазина парфюмерии, не заметил разницы и пару часов снимал чужой праздник; незаметно напившаяся до хулиганского состояния тринадцатилетняя родственница Владимира, временно оттеснившая музыкантов песнями собственного сочинения и исполнения, которые пришлось терпеливо слушать, хотя девочка порой фальшивила так, что Лене хотелось вырвать собственное сердце из груди (но при этом девчушка так хорошо смотрелась в коротком платье, с гитарой на шее, с накрашенными, обгрызенными ногтями, что Лена пожелала себе, что если у нее будет ребенок, то пускай получится такая вот дочь); была и супружеская пара еще каких-то Кенигов, не устававшая танцевать оба дня, танцевавшая так хорошо, что остальные, было видно, танцуя в их присутствии, ощущали неловкость.

Сестру Лена потом спросила: как так? Где была сестрина строгость, даже чопорность, куда она спрятала ее в эти дни? Сестра ответила: «А я людей люблю, в отличие от тебя. Почему никто не стесняется своих свадеб: ни немцы, ни японцы, ни кто бы то ни был, а я должна? Вот эти вот замечательные люди: то, как они одеваются, как себя ведут, именно это определенный образ создает неповторимый, который формируют не художники, не писатели, не режиссеры, а вот все мы живем вот так вот и формируем. Это удивительно. Как усредненный европейский образ с пиджачком, с галстучком растрясается в процессе алкоголизации до аутентичного. Причем так с любым весельем, с представителем любого народа. А если бы ты хотя бы раз с корейцами накатила, тебе бы “Особенности национальной охоты” казались бы просто бледной тенью того, что на самом деле бывает под мухой».

В школе, зная о свадьбе, обреченно стали ждать Лениной беременности. «Не сказать, что я недовольна, – обронила однажды директриса, – но все равно чувствуешь, что теряешь человека на три года, а то и навсегда, когда вот это вот получается. У меня ведь некоторое чувство собственника все равно имеется, глупо отрицать, и его в такие моменты коробит. Но я, конечно, понимаю, что жизнь – это не только школа. У самой двое. И сама тоже вот когда-то пришла сюда работать. И рада – и не рада. Ты, Лена, хорошо уже себя показала, кто на твое место придет – неизвестно, чтобы и с детьми конфликтов не было, чтобы и среди нас все спокойно. Иногда хорошо, когда у человека есть что-то, кроме работы, есть куда податься после рабочего дня и проверки домашних заданий. Я вот бегаю, но и то не всегда весь стресс выбегиваю. А у тебя даже не знаю что. У тебя такой характер, что кажется, будто после каждого дня у тебя есть в запасе еще один день, а кроме этого Екатеринбурга у тебя имеется еще один Екатеринбург, в котором ты и живешь. Это, конечно, удивительно». «Спасибо», – только и могла сказать Лена.

Подростковую дурость свою Владимир скрывал и все девять месяцев Лениной беременности. Наоборот даже, проявил удивительную заботу: его увлекло, что у них появятся близнецы, даже не показал, что огорчился или вовсе не огорчился, когда сказали, что это будут девочки. Хотя узнав про положительный тест, всячески примеривал на будущего ребенка мужские имена, а тогда уже поперла

мода на посконные, некие от сохи или из пьес про купечество. Владимир травил Лену, что пока она в роддоме, он сбегает в ЗАГС и назовет сына Поликарпом. «Будем звать его Полинькой», – пояснял он. «Довыделывался», – самокритично сказал он на УЗИ, чем на долю секунды опередил саркастическое высказывание Лены.

Не в пример лучше некоторых мужей показал себя Владимир, и когда Лена, будто репетируя будущие роды, лежала на сохранении. Он будто участвовал в негласном соревновании «Появляйся чаще всех, приноси больше всех продуктов» и все время выигрывал. В больничной палате, кроме Лены, было еще пятеро беременных, не все были рады тому, что у нее имеется такой прилипчивый в своей заботе муж. Одна из женщин, вредная или сама по себе или по причине беременности, не без сарказма интересовалась, почему этот щедрый мужчина не положил Лену в отдельную палату. А в отдельной палате Лена не оказалась, потому что сама этого не захотела.

Лена и сама не понимала, почему ее потянуло к людям. Часть ее интеллекта будто исчезла за ненадобностью, и произошло это не постепенно: просто однажды утром Лена обнаружила, что ее мышление погрузилось в некий туман, и в этот туман ушли, как посуда от Федоры, с двадцать или тридцать единиц ее IQ. На смену этому появился страх, что одна из девочек родится мертвой, либо что сама Лена не переживет роды, а Владимир останется вдовцом и будет неизвестно как мыкаться с двумя сиротками. С этой пустотой в голове и страхом Лена не могла оставаться одна.

Ни о каких стишках в таком состоянии не могло быть и речи, а первые месяцы беременности Лена боялась именно того, что может сорваться на сигареты или стихосложение. Сигареты достаточно было не покупать, это понятно. Бодрствуя, Лена тоже могла переупрямить свое желание ширнуться: неожиданно появившееся у нее чувство ответственности пересиливало баловство со словами, которые кружили в голове, чем-то похожие на акул возле тонущего корабля, ожидая, когда Лена ослабнет и уснет. Некая часть Лены знала, что сон – это сон, поэтому именно во сне Лена с облегчением закуривала, даже там не позволяла себе стихов; не боялась она, если во сне появлялся Снаруж и говорил: «Смотри, что у меня получилось». Даже во сне Снаруж совершенно не умел писать, начинал рассказывать одну длинную бессмысленную строку, так что начало ее терялась, терялся и сам Снаруж, потому что сон переносился в какое-нибудь другое место. А вот стоило только появиться Михаилу Никитычу – Лена с силой, с напряжением мышц шеи выдавливала себя в бодрствование, будто сквозь пластилин проталкивалась к бодрствованию.

Но со времени, когда мозг частично перестал служить Лене, призрак Михаила Никитовича тоже слегка поглупел, нес ту же совершенно ахинею, что и Снаруж.

Пока Лена лежала в больнице, Владимир сделал ремонт в ее квартире, где теперь они и жили. Владимир сначала намекал, что неплохо было бы переехать к нему, в центр, где тоже были школы, тоже можно было устроиться в такую, чтобы недалеко от дома. Лена с ожидаемым для себя и неожиданным для Владимира упрямством отказалась – это была небольшая война, где Владимир был мягок и настойчив, а Лена была еще мягче, но при этом еще настойчивее.

Владимир ожидал, что Лена обрадуется ремонту – новой белой ванне вместо желтоватой, новому цвету стен, подвесному потолку с множеством лампочек вместо светильников и люстры, гладкому полу, похожему на паркет, вместо покрашенных в рыжий цвет досок. Одну из трех комнат он переделал в детскую, полностью поменял мебель, а старую дел неизвестно куда. Лена разрыдалась, когда увидела все это: ей было обидно, что все это он сделал без ее ведома, будто все равно заставил переехать, что и дальше он будет поступать так же, не спрашивать, делать все по-своему в общих делах. Она подумала даже, что он и ремонт сделал не для того, чтобы стало уютнее и удобнее, а просто чтобы победить в их забытом уже состязании по переезду. Благо к тому времени появились уже сотовые телефоны, не у всех еще, но у Владимира появился, Лена могла выловить мужа в любом месте города, позлить его вопросами, что он делает, любит он ее или нет, будет ли он любить обеих дочерей одинаково, и когда Владимир начинал тосковать от разговора, принималась говорить, что ему с ней скучно, что ему нужна жена повеселее и поумнее. У Лены в те несколько месяцев, что она ходила уже с заметным животом и чувствовала себя больным тяжелым существом, обострилось чутье на вещи, которые выводили Владимира из себя, даже если он хорошо это скрывал. Он рассказывал потом, что она удивительным образом подгадывала момент любого звонка, она могла не звонить часами, потом вынырнуть в самый неподходящий момент, а услышав, что вот как

раз сейчас Владимиру разговаривать некогда, сообщить самым невыносимым, тоскливым голосом, что ему всегда некогда. «В такие мгновения хотелось прямо трубку загрызть, – поделился Владимир, – а еще был вопрос из самых адских, два точнее, один за другим: а почему ты мне не звонишь? Ты обо мне совсем не думаешь?»

Лена была готова к тому, какую больницу увидит, когда будет рожать: хватило и хождения в поликлинику, и госпитализации. Умом-то она понимала, что все не так плохо, если отрешиться от некого идеала, нарисованного в воображении, от того, как оно должно было быть (а должно было быть как в американском кино, где и декорации на высоте, а у каждой медсестры прическа и косметика). Но когда оказалась в родильном отделении, ей стало казаться, что окажись она где-нибудь в Мозамбике, среди других рожениц и врачей Армии Спасения, малярийных комаров и мух цеце – и то бы к ней относились внимательнее и добрее. Она потом пыталась понять, была ли та грубость медицинского персонала настоящей, или внезапно окружившие ее чужие люди казались грубыми по умолчанию, потому что интересовались не только ее состоянием, но и состояние других рожениц, были не очень красивы, шумны, суетливы и озабочены кем-то другим, а не Леной.

Смешно, однако ей даже на родах собственных детей не позволили присутствовать: дали наркоз, прокесарили, а потом выдали двух темноволосых страшноватых, бурых каких-то малюток, в которых человеческого было меньше, чем в кошке. Лица девочек, особенно веки, были опухшие, как после запоя. Лена знала, что другими дети и не рождаются, что во всех новорожденных есть что-то гигеровское, и все же знание это не давало ей почувствовать детей своими. Видя, как сюсюкаются с детьми другие матери, она тоже пыталась им подражать, пробовала ощутить к детям привязанность, как она себе представляла эту привязанность, и чувствовала, что у нее ничего не получается. Одна мысль то и дело возвращалась к ней, пригвождая ее к месту: «Это что же я такое натворила: замуж вышла неизвестно зачем, родила неизвестно зачем. Это ведь теперь на всю жизнь. Что я теперь всем буду делать?» Простая, но не менее тяжелая идея посетила ее, да так и не отставала несколько лет: у Лены была всего одна жизнь, прожить по-другому от окончания института до замужества было невозможно, все эти несколько лет просто ухнули куда-то совершенно бессмысленно в стишки, попытки скрыть тягу к стишкам, а Лена даже не могла придумать, куда бы она дела это время, если бы представился такой шанс.

Тяжело было в больнице, а еще тяжелее стало дома, когда и родители Владимира, и сам Владимир, и сестра с дядей принялись хороводиться вокруг Лены и девочек. Лена понимала, что девочки заслуживают заботы, но сама этой заботы считала себя недостойной.

Не было подростковой дурью, скорее легким припадком инфантилизма, предложение Владимира назвать дочерей Оля и Яло. Они с Владимиром остановились на именах Мария и Анна. «Прикольно, Маша, как в сказке», – заметил Владимир, хотя Лена думала почему-то про Антуанетту. Не родителей Владимира было дело, но имя Мария их не устроило категорически. «Дело ваше, но уже две Марии нам уже устроили», – сказала мама Владимира. «Ну, я так и думал», – усмехнулся Владимир, увидев гримасы родителей. «Еще одна была племяша моего подружка, которая кроме него еще с кем-то шашни водила, потом к себе в область укатила, когда залетела, а когда он за ней подался, с иностранцем связалась и усвистала. Он чуть не спился. Готов был чужого ребенка принять, а она ему такую свинью подложила», – сказал отец Владимира. «Так там вроде Марина была, а не Мария», – поправила его мама Владимира. «Один хер», – грубо отрезал свекор. «Давайте тогда Вира и Майна назовем, – сказал Владимир. – По-простому, по-рабочему». Родители Владимира хотели, почему-то, рифмованных имен, каких-нибудь Кира-Ира, Алина-Полина. «К вам деменция, что ли, подкрадывается, ни на что, кроме рифмы, надежды нет? – пошутил Владимир, но несколько раздраженно пошутил. – Вы их, я так понимаю, уже собрались в одинаковые платья наряжать и выгуливать, чтобы все удивлялись: какие похожие девочки!» Стали близнецы в итоге: Аня и Вера.

Лена не могла сказать, что ей не помогали. Все время почти готовы были прийти посидеть с двойняшками Вовины родители, дядя, сестра – все, когда выдавалась им свободное время, спешили понянчиться, иногда набивалась квартира заботливыми советчиками, готовыми к смене памперсов, купанию, укачиванию, так что Лена жалела даже, что не родила сразу четырех, чтобы руки каждого из гостей были заняты ребенком. Но помощь приходила волнами: то заваливались в гости сразу все, то не было никого, даже Владимира. Лена не представляла, как могла справляться с

близнецами, скажем, мать-одиночка, если, например, нужно было пойти в поликлинику, – сама она иногда приходила в отчаяние даже дома, пытаясь успокоить, понять, что нужно Ане и Вере, когда они кричали требовательными или отчаянными голосами (Вера выше и как-то противнее, Аня, почему-то, басом), порой готова была отдать их кому угодно, хоть волчице. А вот как мать-одиночка в маршрутке или троллейбусах везет детей сквозь жару или зиму на прививку, на обследование. Место, конечно, уступают, но как это вообще – тащить, переть их, не таких уж легких, и все более тяжелеющих с каждым днем, везти в здоровенной двойной коляске, когда и с одноместной-то не особо развернешься, – Лене даже подумать было страшно.

С молоком у Лены не задалось, поэтому девочки были искусственники, но это было и к лучшему, потому что после АКДС Вера покрылась нездоровым пятнистым румянцем, температура у нее поднялась до тридцати восьми с половиной, и Лена вместе с ней уехала на две недели в инфекционку, где оказалось, что виновата не прививка, а ОРЗ, которым больше никто в семье не заразился. Владимир же остался с Аней и молочной смесью, словно угадал тот момент, когда родители будут заняты огородом, сбором урожая, дядя будет занят на работе, а сестра уедет в командировку. Теперь уже он названивал Лене и страдал, надеялся, что Лена сможет успокоить дочь по телефону. По возвращении Лена застала мужа слегка позеленевшим от недосыпа, даже со слегка дрожащими руками, Аня за время отсутствия матери, как Лене показалось, потолстела, но Лену будто и не признала. Вера, попав домой, снова подхватила насморк и кашель.

Вере вообще не везло. У нее была дисплазия, недостаток веса, притом что ела она больше Ани, некоторое отставание в развитии. Родственники и врачи утешали, что это некритично, если замечено вовремя, что все постепенно утрясается если не к детскому саду, то к начальной школе, в основном доказывали это примерами различных недоношенных детей, которые потом начинали наверстывать отставание таким образом, что потом это наверстывание перерастало в акселерацию. Но Лена жила тогда настоящим, будто окопалась в том, что есть, а не в том, что будет потом, ей невыносимо было от того, что один ее ребенок не такой как надо, что у Вера покрывается струпьями после пюре из персиков, что начинает держать голову на полмесяца позже, чем сестра, да держит ее неуверенно, что почти не улыбается. До школы было еще далеко, а Лена уже очень боялась, что у Веры какое-нибудь повреждение мозга или изъян, который не позволит Вере учиться нормально, она уже заранее пугалась, что будет сидеть долгим вечером, переходящим в ночь, помогая дочери с уроками, а та ничего не будет понимать, но будет стараться, пытаясь перебороть свою глупость, начнет угадывать правильный ответ все более робеющим и усталым голосом.

Но даже сестра, далекая от материнства, несколько циничная по отношению к детям (назвала она Аню и Веру не иначе как Сцилла и Харибда, или Фобос и Деймос), находила в близняшках только что-то интересное. «Ты посмотри только, как они, не владея речью, умудряются нами крутить, – говорила она. – Да и не только речью. Они ни ходить не могут, ни вреда никакого принести, а уже понимают, что могут нами манипулировать, и пользуются этим в полной мере. Представляешь, что происходит, когда человек получает полный арсенал манипулирования. Любой политик, по сути, просит ему подгузник сменить, устранить некое неудобство, которое его не устраивает, а толпа за ним идет, потому что он более убедительный или обаятельный младенец, чем остальные кандидаты». «И ведь это эволюция сотворила, – сказала сестра. – Кто меньше орал кошачьим голосом, если у него живот болел, или чесалось где, или когда есть хотел, или слишком холодно или жарко – тот и погибал, у кого голос был менее невыносим, тот и не получал, чего хотел, и, соответственно, умирал. Так что имеем то, что имеем». Сестра совершенно не видела в девочках недостатков, «Мне что, – говорила она, – повозилась – и упорхала, вы-то иногда, может, и не замечаете, как они меняются, потому что они всегда на глазах, хотя тут трудно не замечать».

Больше всего Лену утешили не родственники, не врачи, а почему-то массажистка, приглашенная бороться с дисплазией и общей недоразвитостью Веры. Первые три раза из курса в пятнадцать массажей Лена едва не указала на порог пахшей табаком, несколько ленивой в движениях и речи девице, которая была, кажется, даже младше, чем сама Лена, только и закончила что школу для слабовидящих детей в Верхней Пышме да медицинское училище. Что она могла понимать? Когда массажистка принималась говорить что-нибудь, казалось, что паузы между словами, должно быть, вызваны тем, что массажистка вынуждена убирать из речи матерные слова. «Да она у вас спокойная,

да и все. Бывают и похуже случаи», – сказала массажистка после первого сеанса, и только эти вот слова, и то, что Вера только пискнула пару раз во время процедуры, помогли Лене смириться со вторым сеансом. После третьего сеанса Вера стала активнее хватать игрушки, и вообще, с большим любопытством смотреть по сторонам.

На четвертом посещении массажистки, когда Лена перестала беспокоиться, что девушка сослепу уронит Веру или покалечит, они разговорились. Узнав, что Лена – учитель математики, массажистка стала интересоваться, такая же ли она математичка, как Тамара Павловна из их пышминской школы, так же ли она зверствует по поводу домашних заданий и непонимания материала. «Да мне как-то везло, – внезапно стала вспоминать Лена. – Если уж ученики добрались до средней или старшей школы, с совсем уж отбитой головой мало кто бывает. Больше, мне кажется, от лени не хотят некоторые заниматься, или в семье что-нибудь». – «Вот и у нас Тамарка думала, что это все лень. Ну, хотя, наверно, и лень». Лена рассказала, как смотрела в ясные глаза ученика при разборе городской олимпиады, которую он провалил, потому что, в числе других, не смог решить задачу методом подбора, а задачу именно этого типа они, на всякий случай, смотрели буквально накануне, как ей хотелось одновременно обсмеять его глупость и придушить его за эту глупость, но она строила из себя серьезного педагога, а потом сама вспомнила, как ее учитель разбирал с ней проваленные Леной олимпиады, а она смотрела на него с этаким энтузиазмом, чтобы он не думал, что она совсем уж глупа, а дело в невнимательности. Рассказала Лена и про то, что курила до беременности, как повстречала физрука, который ее как бы разоблачил, но, судя по удивленным лицам учителей, приглашенных на свадьбу, ничего никому не разболтал.

Так дальнейшие встречи у них и прошли за разговорами: массажистка делала свою работу и попутно слушала или сама болтала о школе, об училище. Лена сама не ожидала, что за три с лишним года столько у нее накопилось всяких историй, которые интересно было вспомнить. Еще интереснее было ей слушать о как бы параллельном мире людей со слабым или вовсе отсутствующем зрением (таких на самом деле было совсем немного, чтобы уж совсем ничего не видели, даже те, кто ходили с тросточкой, подчас что-то различали, какие-то общие очертания или хотя бы свет и темноту).

Интересна была сама история зарождения школы, когда группа молодых ленинградских педагогов подалась на Урал да так тут и осталась, собирая и уча детей со всего СССР. Как первый директор школы умер от сердечного приступа, когда одна из школьниц случайно убилась на игровой площадке. Лена успела побывать в отдаленно похожей, но чем-то близкой ситуации: она подрабатывала в летнем школьном лагере, и один из учеников уже после лагеря отправился домой, стал кататься на велосипеде с горки на Замятина и въехал в припаркованный автомобиль, и хорошо, что все закончилось только небольшим сотрясением мозга и всякими царапинами, иначе Лена и правда могла заесть себя до смерти. Мать ученика стала оборачивать дело так, будто все произошло именно в школе, на глазах у охамевшей от безнаказанности Лены и других учителей, грозила судом, и пускай все потом разрешилось мирным образом, потому что женщина поняла, что никакой компенсации ей не светит, Лена успела понервничать. Физрук, кстати, махнул только рукой, увидев душевные Ленины терзания. Он сказал, что ей незнакомо чувство, когда только отвернулся, а потом уже видишь первоклассника на самом верху каната, хочешь невольно заорать от ужаса, но если заорешь – он брякнется, так что начинаешь разговаривать с ним как с самоубийцей на мосту или киношным психом, захватившим заложника, говоришь, как правильно спускаться, чтобы он не ободрал руки и ноги. Оба трудовика порознь утешали тогда Лену одинаковой радостью от того, что в прошлое ушли пионерские галстуки, так что прошлое ушло возможное совпадение галстука и сверлильного или токарного станка.

Лена радовалась за себя, что, как массажистка, не попала в интернат, даже такой хороший, как пышминский. Она не представляла, как выкручивалась бы, возникни такая же история, как в ее классе, а ведь нужно было жить с этими людьми круглые сутки, еще и вечером перед сном общаться со школьными красотками. Воспитатели там, конечно, имелись, в меру сил прерывали буйство старших школьников, но была и трава, привозимая учениками, жившими в Казахстане, находились способы пронести в школу алкоголь, имелся коридорчик, называемый школьниками «Аллея любви», где после отбоя парочки устраивали свидания.

«Да у нас там даже девочка была, которая стишки писала, – обыденно призналась массажистка. – Правда, я ее не застала, она до меня училась. Но стишки до сих пор остались. Их отбирают, конечно.

И все равно у кого-то они остаются, следующим передают. Там же и в голове их хранить можно, это ж не герыч, а из головы их не вытащишь», – и массажистка рассмеялась, радуясь чему-то своему. Лена делано ужаснулась, и все же не удержалась и спросила, как стихи действуют на совсем слепых – стишки же только в зрении что-то меняют. «Мне так рассказывали», – сказала Лена. «Нет, ну сны же все видят, – отвечала массажистка. – Так же и стишки, вроде сна, когда падаешь или взлетаешь. Да и звуки. Один звук выделяется из всех, или поток мимо идет из звуков. Я, честно говоря, не сильно интересовалась. Нам с девчонками больше как-то тайком покурить или выпить нравилось, даже бражку на конфетах ставили из новогодних подарков, возле батареи поставили бутылку, и вроде ничего нигде не протекало, а в спальне пахло, как на пивзаводе, спалили нас сразу, конечно. Еще “Рояль” был темой, из него неплохо можно было намешивать всякую бурду, так что потом в полном неадеквате сигаретку у Балана на крыльце начинаешь стрелять, или во время дискотеки начинаешь Нине Петровне (а это директор, между прочим) рассказывать, как хорошо у нас в школе, как нас тут заботой окружают, а тебя твои же подружки оттаскивают, чтобы ты контору не спалила, но так оттаскивают, что сами палятся, да и запах».

К тому времени, как девочкам исполнился год, Вера почти пришла в норму, была только чуть меньше, чем Аня, но притом более подвижная, так что Лена стала находить в этом признаки гиперактивности и опасаться уже этого. «Ну давайте ее поразминаем, – предложила массажистка во время очередного курса, когда услышала, что Аня вроде и здоровая, и развивается как положено, а все равно выглядит так, будто чем-то тайно больна, и даже игрушками занимается как-то минорно. – Сравняем их по темпераменту». «Спасибо, не надо, – решительно отказалась Лена. – Я уже заметила, что много себе придумываю, чтобы был повод порасстраиваться, но уж точно знаю, что с двумя бешеными ракетами мне не справиться, особенно когда они пойдут уже уверенно. Вера ведь себе на голову уже телефон роняла. Роняла-то на голову, а попало ей по загривку только, вскользь. А если бы сразу две такие были?»

Бессонные дни, когда близняшки соревновались, кто кого перекричит, кто проснется и безутешно замяукает от менее незначительного шума, незаметно сошли на нет, с детьми уже можно было почти полноценно общаться и играть, они могли играть и сами, могли смотреть телевизор (особенно им нравилась реклама), справили даже первый их день рождения, и дети радовались, подражая взрослым. Лена и Владимир за этот год так притерлись друг к другу, что когда Лена сравнивала то, как они общались во время свиданий, первые месяцы брака, во время ее беременности, и то, что было между ними после года с детьми, ей казалось, что до этого года были совершенно другие люди, только изображавшие близость, потому что так было нужно не столько им самим, сколько окружающим, желавшим в очередной раз посмотреть некую семейную мелодраму, где, несмотря на красивую картинку, уютный запах нагреваемого утюгом хлопка, доносившийся со сцены, было в положении молодых некое принуждение, похожее на сосуществование людей на плоту или небольшом необитаемом острове. Тяга к стишкам и сигаретам не без труда была вытиснута Леной из ее быта. Теперь можно было успокоиться и более-менее спокойно жить дальше.

И тут-то и оказалось, что Владимир – совершеннейший дурак, который уже много лет любил бывшую свою одноклассницу, та все не отвечала ему взаимностью, а тут внезапно решила ответить, согласилась принять Владимира после череды остальных претендентов на роль мужа и отчима ее дочери, которую она родила в десятом классе. У Лены не нашлось сил хотя бы на не очень масштабный скандал, когда Владимир заявил, что уходит, и стал собирать вещи. Такого внезапного дикого поступка она от него не ожидала. Из всех вопросов, как он теперь, как теперь дочери, как будет она без него, его заинтересовало только, чем она хуже этой его новой, точнее, старой подруги.

Лицо Владимира перекосило от досады, словно от постоянного вопроса, задаваемого изо дня в день, словно Лена только и делала, что задавала этот вопрос, и уже надоела этим своим любопытством. «Ну вот не начинай, пожалуйста, – сказал он. – Будто сама не знаешь». «Не знаю, –сказала Лена, – просвети уж, сделай милость». Владимир восторженно рассмеялся: «Какой тон! К доске, может, вызовешь? Не переживай, будут тебе алименты, и к Ане и Вере буду приходить». «Хорошо хоть так», – сказала Лена. Она вспомнила, что еще вчера они вместе смотрели фильм по телевизору, но уже не помнила какой, так ее рассудок помутился от внезапной новости, как смеялись, потому что это была комедия, как Владимир ее обнимал, а она приваливалась к нему. Между тем, как Владимир

играл эту вот свою привязанность к Лене, и настоящим его к ней чувством была такая пропасть, что у Лены даже слегка закружилась голова. Он ушел в прихожую, обулся, а потом вернулся, прямо в ботинках зашел в гостиную, где Лена так и осталась, подпирая лопатками стену, и сказал: «С первого взгляда. Ах, Леночка, Леночка! Такая-то она хорошая! Береги ее, другой такой больше не найдешь!» Он махнул рукой, не в силах объяснить, хлопнул дверью и двумя быстрыми движениями провернул ключ в замке.

Лена, кажется, правильно поняла его слова, потому что подумала: «Да вы, блин, издеваетесь», – имея в виду и мать, и примкнувшего к ней Владимира.

Глава 5.

Поэтому так неказисты окружающие предметы

Как они постепенно шли к речи, сначала пробовали звуки, особенно замечателен был горловой звук младенческой радости при узнавании или игре. Одинаково пользовались звуком: этаким слитным «н», «м», «у» с указанием на незнакомый им предмет, требовали многократного повторения, чтобы запомнить и уяснить себе что-то, были вроде первобытных людей, попавших из пещеры прямо в квартиру.

Сестра однажды, глядя на то, как близняшки что-то там калякают между собой, сказала: «Нужно их, как в учебниках. Сначала к университету отнести. Что это за здание? Университет. А это не университет? Нет, это универмаг. Что это за дерево? Это сакура. А это разве не сакура? Нет, это вовсе не сакура, это что-то там другое. Это – карта. Это – стол. Это – книга. Это книга господина Танака? Нет, это моя книга. Это – портфель, а там – журнал. Потом выяснить, кто какой национальности. Потом повести их в магазин, в магазин техники, в продуктовый. Потом в ресторан, попросить меню на английском, выяснить: кто где работает. Считай, уроков пять-шесть, и они уже слов двести знают, не считая всяких падежей». Когда Вера еще совсем не говорила, Аня уже уверенно знала слова «баба» и «дай».

И баба и дед с удовольствием бы дали Владимиру ремня, если бы могли. Лена смотрела на то, как они виноватятся вместо него – те, на кого он сам так походил, на обоих, с этим крупным носом и близко посаженными темными глазами, движениями, особенными нотками интонации в голосе, совершенно русскими, но чем-то похожими на все эти из кино про партизан реплики немецкоязычных персонажей, работающих переводчиками при допросах. Но это только когда все уже улеглось, и они заговорили более менее спокойно. В минуты же первого гнева, прилетев оба в опасении, может, что Лена сделает что-нибудь с детьми и собой после такого неожиданного фокуса в исполнении Владимира, они ругали его вполне себе по-русски, без малейшего акцента. «Я этого козла больше видеть не хочу, – сказал отец Владимира. – Вот был у меня сын, больше нету, все. Еще и Машей дочь хотел назвать».

Оказалось, что женщина, которую давно уже не любили родители Вовы и любил сам Вова, звали Мария. Родителями Владимира была преподнесена Лене более подробная история этих отношений, где Мария выставлялась этаким суккубом, а Владимир – бараном, который был готов прощать ей все что угодно, схлестывался с любым, на кого бы она ни показала, если ей казалось, что ее обидели. Тот парень, что сделал Марии ребенка, просто дружил с ней, пока она не заявила, что если он ее бросит, то будет иметь дело с Владимиром. «И ладно бы красавицей была, а то ведь полная такая, всегда была такая крупная, красилась ужасно, одевалась ужасно, потому что родители ее – какая-то алкашня, пахло от нее, в первых классах вечно от нее вшей все цепляли, – сказала мать Владимира. – Чем его поймала – неизвестно. Она ведь всем давала, кроме него. Она ему, наверно, и сейчас не дает, нисколько не удивлюсь, если это так».

За вычетом ненависти, что испытывала Лена к Владимиру примерно с неделю (но зато такой ненависти, что при мысли о нем застилалось зрение и она будто начинала падать в колодец Ньютона, состоявший из красного фона и черных фигур), и мимолетных приступов негодования, что она ощущала время от времени, это упорство в достижении любимой женщины, какой бы она ни была, при-

ятно Лену удивило. Ей жаль было, что это женщина – не она сама, но факт того, что Владимир, за всей своей игривостью и несерьезностью, прятал такое сильное и суровое чувство, был удивителен. Это чувство было вроде мощного стишка, который прошелся траками не только по читателю, но и по всей семье, повертелся, как «Тигр» на траншее с героическим пулеметчиком – и пошел себе дальше, движимый каким-то внутренним огнем. Постоянно ненавидеть Владимира она не могла, потому что ее дети были похожи на него, ненавидеть его означало ненавидеть и двух этих темненьких девочек, которые, став на толстенькие ножки, ходили в своих платьях с замаранными передниками, чем-то похожие на советских продавщиц из мясного отдела – такие же коренастые и громкие, и притом что в детстве именно такие продавщицы вызывали в Лене чувство испуга, даже воспоминание о них было теперь, благодаря Ане и Вере, каким-то юмористическим.

Привычных стадий горя Лена не проходила, или уход мужа к другой был для нее вовсе не горем. За гневом сразу пришло смирение и мысль, что вот он: прекрасный повод вернуться к стишкам. Идея эта была сразу же отвергнута, потому что пришла она Лене в голову ночью, после того как Лена, утихомирив близнецов и едва не утихомирив себя Успенским, по-тихому выдоила в себя полбутылки вина.

Зародившаяся идея насчет стишков, хотя без тяги к ним было так хорошо и свободно, то и дело точила ее от времени, как обе близняшки уверенно овладели несколькими словами из пары слогов, всякими там «ам-ам», «киса», «ав-ав», но и этого им пока хватало, как оказалось, чтобы полноценно общаться с матерью и родственниками. Владимир – большой любитель телевидения, еще до ухода провел в дом кабель с семьюдесятью каналами, и Лена не ожидала, что девочки, еще не могущие не поесть, чтобы не замараться, с такой удивительной скоростью разберутся с телевизионным пультом. Сначала они требовали канала с мультфильмами, как только поняли, что таковой существует и очень им нравится, затем, путем проб и ошибок, научились включать и выключать телевизор с помощью пульта, точнее, догадалась до всего Аня, Вера же признавала первенство и послушно ждала, глядя на Аню, как на волшебницу, затем Аня каким-то удивительным невербальным способом объяснила Вере что к чему, и та сначала поняла, как пользоваться круглой красной кнопкой, даже выполняла просьбу «Выключи телевизор», а затем доросла и до команд «Сделай тише», «Сделай громче». «Пинки и Брейн», – заметила сестра, оценив зрелище технически грамотных младенцев. Бабушка Ани и Веры каждый шутливо крестилась, видя манипуляции с телевизором.

Сестра первая подала идею, что Лене хватит сидеть дома, нужно иногда и прогуляться без детей куда-нибудь, хотя бы до пиццерии, иначе она уже выглядит не как прежняя Лена, а как замороченная мамашка, в которой уже и женского почти не осталось, а одна только материнская функция, которую, конечно, все одобряют, но если честно, выглядит это уже страшновато. Она спровадила Лену на пару часов, чтобы та развеялась, а сама за эти сто двадцать минут вбила в голову детям, что «ав-ав» – это «гоу», а «киса» – «мау». «Можно их с детства научить японскому или китайскому, сделать операцию на эпикантусе и заслать их потом шпионами», – пояснила сестра эту свою выходку. «Прямо даже и не знаю теперь, кто из вас более сумасшедший, – сказала Лена. – Ты или Володенька».

Сестра не одинока была в своем желании временно избавлять Лену от родительских обязанностей, мама и отец Владимира тоже были совсем не против посидеть с девочками и не видеть при этом несколько осунувшегося Лениного портрета. Подкапывались они под Лену не так решительно, как это сделала сестра, а путем аккуратных расспросов и разговоров, и сошлись на том, что Лена не только может, но и обязана хотя бы раз в неделю где-нибудь погулять, а не только торопливо оббегать продуктовые магазины и аптеки. Они объясняли это тем, что им уже неловко, когда их спрашивают: сидят они с внучками или нет, потому что то, что им достается – это вовсе не сидение с внучками, а сидение Лены с дочерьми и бабушкой с дедушкой, пришедшими в гости. «Скоро детский сад – и что? Когда еще? Надо успевать», – говорили они, и Лена хотела узнать, что они такое хотели успеть, и все не решалась спросить, пока свекровь однажды сама сказала, что Лена им не доверяет, что они – вовсе не Владимир, что у других бабушки и дедушки едва ли не живут на даче месяцами, а она ни разу не отпустила Аню и Веру с ними, хотя они и сами были уже родителями и вырастили «такого лба, как Вова». Под таким углом свое материнство Лена еще не рассматривала, не ожидала, что кто-то смотрит на нее вот так вот.

Лена отпустила девочек с бабушкой и дедушкой на один день. Настала такая тишина, что Лене казалось, что и ее самой нет дома, телевизор звучал как-то неправильно, если при этом не проигрывал фоном «Никелодеон» и «Дисней», все эти одни и те же мужские, женские, детские голоса, специально искажаемые, чтобы попасть в характер того или иного персонажа; эту нарочитую актерскую дикцию, будто более отчетливую, чем в обычных фильмах и передачах. С перепугу Лена не знала, чем себя занять и, кроме обычных дел, занялась только что чтением. «Совсем ты, Ленка, одичала, так нельзя, – сказала свекровь, когда Лена рассказала, как провела свободный от детей день. – Тебе же скоро на работу, нужно в себя приходить постепенно».

Позже Лена придумала для себя красивую теорию, что стихотворная речь, которую она временно забросила, считала так же, что когда Лена окунулась в нее, выбора уже не было, оставалось только ждать, когда речь приведет ее к нужному человеку, чтобы появиться в ее жизни снова, что речь, раз уж она и делает людей людьми, то и всецело властвует над ними – устраивает необыкновенные встречи, рифмует чем-то похожих людей друг с другом, заставляет их делать необыкновенные поступки, чем-то похожие на стихотворный приход, что каждый носит в себе это. Лена понимала, что это просто отговорка, потому что отдельные строчки стали появляться, накапливаться с того времени, как она слегка отошла от родов и первых месяцев родительства (от последнего она не столько отошла, сколько привыкла к тому, что уже является матерью, хотя, казалось бы, вот только что играла куклами, изображая семью, в общих чертах помнила, как она это делала, а тут уже родила детей, и они уже пошли, они уже сами, как могли, укутывали кукол в пеленки, и этот промежуток между ребенком – Леной и Леной взрослой, имеющей собственных детей, умещался для нее в короткий промежуток времени, вроде доли секунды, за которую всполох фотовспышки успевает окатить белизной фотографируемый класс).

Сидя на скамейке в парке за ДК «Эльмаш», либо добираясь до книжных магазинов в центре, а потом занимая край лавочки где-нибудь на остановке возле театра драмы или всунутого меж трамвайных путей бульвара на Ленина, она пыталась отвлечь себя чтением, тогда как стишки спокойно накапливались разрозненными строками. В этом не было отчаянной борьбы, как тогда, когда Лена, узнав, что беременна, порвала с ними, нет, они копились себе спокойно, как литры в наполняющейся ванне или задаче про бассейн с двумя трубами, знали, что Лена сорвется, а потом объяснит себе, что не могла не сорваться, ведь курить от того, что Владимир ее бросил, она не начала, а значит нужно было успокаивать себя каким-то другим образом, заводить же себе кого-то она не желала, успокаивать себя алкоголем тоже было не по ней. Кроме того, деньги из тех, что накопились у нее еще в Тагиле, заканчивались, тратя же алименты, пускай даже только на еду и на детей, она чувствовала, что тратит подачку от человека, который знал, что уходя может откупиться этими деньгами, что эти деньги дают некое успокоение его совести, если она у него, конечно, была.

Лена подрабатывала шитьем, благо швейную машинку перевезла из Тагила, а магазин тканей находился буквально в нескольких остановках от ее дома, так что, будучи еще одинокой, она баловалась с выкройками из журналов. Она обожала стук механизма, под который два куска ткани быстро срастались между собой по одному краю, да и в вычерчивании выкройки на материале, вырезании его было что-то от детских безобидных развлечений, что-то успокаивающее. Но заказов было немного, все они в основном приходили через свекровь, через ее знакомых, которым Лену рекомендовали: по соседству было два рынка одежды, не говоря уже о торговле вещами на трамвайном кольце – там можно было найти все что угодно, от трусов до свадебных нарядов. Больше Лене приходилось подгонять уже готовую вещь под нестандартную фигуру, укорачивать, удлинять. За все время всей этой подработки сшила Лена всего два платья, один костюм для очень толстого молодого человека, который собирался ходить в этом костюме на работу, а еще, первый раз в жизни, сшила пальто для покладистой клиентки, которой и нужно было, чтобы вещь была нужного ей цвета, с обширными карманами. «Но нигде такого, чтобы и цвет был такой, как я хотела, и карманы – нет», – призналась клиентка, у которой было необычное имя – Нюра. Женщина – ровесница Лены, была миниатюрна, худощава, при разговоре всегда смотрела куда-то вниз-в сторону и слегка улыбалась чему-то своему. Оказалось, что клиентка собирается носить пальто даже зимой. «Оно холодное для зимы», – предупредила Лена. «Это ничего», – ответила Нюра таким спокойным голосом, что Лена почувствовала в ее словах просьбу не лезть не в свое дело, но не обиделась, а ощутила мимолет-

ный страх, будто находилась наедине с абсолютно сумасшедшим, неконтролирующим себя человеком, который был готов сорваться с катушек от малейшего потрясения. «Она аутистка какая-то, или что?» – спросила Лена потом у свекрови. «Нет, тебе просто после Вовы и твоей сестрички все тихими кажутся», – объяснила мать Владимира. Вполне возможно, что свекровь была права, но Лена все равно ощутила тоску по тем временам, когда могла зарабатывать, пересекаясь только с Михаилом Никитовичем или со Снаружем, которые не были, конечно, образцами адекватности, но безумие их не было тихим безумием, а походило, скорее, на сильное увлечение, и не только стишками, а отчасти и Леной тоже.

В то время, когда Лена ставилась, если стишки не получались, то она могла наблюдать свое лицо в зеркале, эту непередаваемую для чуждых стишкам людей тоску отчаяния, застывающую на лице, похожую на последствия нисходящего скалама, но притом чуть более живую, слегка раздраженную как бы начинающейся мигренью. Такое же лицо она заприметила в скверике возле дворца Молодежи, куда легко было добраться на седьмом трамвае и уехать на нем же обратно.

Был теплый сентябрьский день, да еще и солнечный, трава была пострижена, но вовсю пока зеленела, люди были веселее и живее, чем летом в жару, понавысыпало отовсюду на дорожки школьников и студентов, и они добавляли звенящего дрожания в ясный осенний воздух, когда смеялись и говорили между собой, что-то веселое было даже в том, как били в землю колеса трамвая, когда наступали на стык рельсов, как трамваи лихо разворачивались после остановки или въезжая на нее, предупреждающе бренча сигналом, похожим на школьный звонок, как бросали солнечный блик на пешеходов поочередно из каждого своего окна. В центре всего этого веселья, но как бы в сторонке, сидел персонаж с банкой пива в руке и, кажется, пытался унять алкоголизацией совсем другую жажду. Непонятно, как остальные не замечали того, что он страдает, – Лене он бросился в глаза сразу же, она села чуть поодаль, поглядывая на него, зачем-то сначала надеясь, что он допьет пиво и уедет. Это был мужчина лет на десять старше Лены, одновременно похожий и на Козьму Пруткова, и на его персонажа из стихотворения «Когда в толпе ты встретишь человека», было в нем что-то от фавна с его крючковатым носом, пегой острой бородкой, крупными кудрями на тех местах головы, где не было залысин. Притом что мужчина был мелковат даже по сравнению с не очень крупной Леной, производил он впечатление некой руины. Неудобство отходняка от стишков у него находилось в той стадии, когда он мог только смотреть в одну точку, что мужчина и делал, не замечая внимания к нему Лены. Лена два раза прошла мимо него: туда и обратно, разглядывая бедолагу внимательнее. Костюмчик его, ботинки, курточка, галстук – все сидело на нем несколько кривовато вследствие легкого опьянения, но выглядело достаточно прилично, могло оказаться, что деньги на дозу у него были при себе.

Она не знала, как начать разговор: до этого обо все договаривались Михаил Никитович и Снаруж, а они как-то забыли поделиться тем, каким образом находили клиентов. Не придумав ничего умнее, она подсела к нему на скамейку и тихо спросила: «Болеете?» Он услышал ее, но не отвечал, только лицо его стало еще мрачнее. «А ты с какой целью интересуешься?» – спросил он, даже не глядя на Лену. «Деньги есть?» – прямо спросила Лена. Лицо его несколько закаменело, он медленно и неторопливо развернулся к Лене, затем некоторое время смотрел на нее, прежде чем сказать не без оскорбительной прямоты: «Надеюсь, ты мне предлагаешь то, что я думаю, а не себя». «Ну, то есть я не против совсем, – поправился он, – только не сейчас, не в этом состоянии, знаешь. Мне сейчас не до отжиманий». «Каких отжиманий, ты и онанируешь-то, наверно, с одышкой», – подумала Лена и сама не заметила, как произнесла это вслух. Лицо клиента стало еще более мрачным. «Вообще, кризис, да, – признался он. – Причем во всем сразу. Нет какого-то огонька». Как только он сказал это, Лена ощутила, как стишок положил руку ей на плечо, почти полностью готовый за вычетом нескольких деталей, которые можно было дорисовать уже в процессе. «Блокнот, ручка есть?» – спросила она. Мужчина недоверчиво хмыкнул и достал из нагрудного кармана драный блокнотик, большей частью исписанный, и сразу две шариковые ручки из прозрачного пластика, обе новые, будто купленные недавно.

Добираясь до чистых страниц, Лена невольно выхватила взглядом пару записей: «производственная космоопера», «оператор гомункула», «пенсионерка-попаданец», но тут же забыла про них. Как только она вписала в блокнот две строки:

Причем во всем сразу нет какого-то огонька,
Чтобы, знаешь, слегка сверкал, как сварка издалека –

речь, как длинный товарняк, заслонила от нее шум улицы и блеск трамвайных стекол, сидящего рядом мужчину, возможность того, что рядом будут проходить патрульные милиционеры и обратят внимание на строчащую в блокнотике Лену, заинтересуются: чем это она тут занята, все то, что может произойти потом – то, что даже страшно представить. Текст обрушился на нее, воткнул Лену в середину ночи, а рядом были только: блеск стекла, освещенного светом ночника в купе, слабое отражение в окне ситцевой шторки, подвешенной на шнурке, подстаканник с надписью «Ленинград», в котором действительно находился стакан из тонкого стекла с тонким ободком почти возле самого верха – красным днем и кажущимся совершенно черным ночью. Именно такая кухня была у родителей Владимира, так что если садился возле окна, то почему-то казалось, что ты в поезде: такая высота была у их кухонного окна, такой двор, чем-то похожий на полустанок, поэтому поздно вечером, казалось, что вот-вот заговорит неразборчивый громкоговоритель, затем прокатится по дому лязг тронутых с места, один за другим, вагонов, и двор за окном придет в движение. Закончила Лена сама не помнила как, но суть сводилась к тому, что крапива возле края перрона не похожа одна на другую, а эта та самая крапива и есть, просто она успевает перебежать от полустанка к полустанку, пока пассажир едет.

Справившись с головокружением, Лена заложила страницу со стишком ручкой и передала блокнот новому знакомому. Он прочитал, его заметно качнуло, он не с первого раза спрятал блокнот в карман, ручка выпала и покатилась по асфальту, но он не стал ее подбирать. «Да бог с ней, оставь себе», – сказал он Лене и показал свои дикие от прихода глаза. «Да! Очки, очки...», – сказал он торопливо и тут же вынул из другого кармана пиджака очки с темными стеклами. Оказалось, что он не выпускал пивной банки из левой своей руки, и когда пришел в себя – посидел, откинувшись на спинку скамейки, предложил Лене отхлебнуть, а именно: чуть приподняв банку и посмотрев на Лену, слегка потряс пивом, будто в шейкере его размешивал. «Под алкашку еще мощнее идет», – пояснил он.

«Деньги», – напомнила Лена.

Кошачья улыбка освещала лицо незнакомца, но ее можно было толковать двояко: и как предвестник оплаты за приход, и улыбка от удачно проведенного кидалова. Лена тоже улыбнулась. В случае чего, она теряла не так уж много, любитель же стишков мог остаться без новой дозы. «А мы с тобой еще увидимся? – спросил мужчина. – Просто я продам и притащу больше за этот. Пока больше пяти рублей дать не могу». Он вложил в ее руку пятитысячную купюру. Это было не много, но лучше, чем ничего.

Те еще из них были обоих конспираторы. Следующую встречу Лена и незнакомец договорились провести возле оперного театра, где, как им казалось, много людей, занятых больше своими визави, нежели тем, что происходит вокруг. Незнакомец был наркоман, но почему-то считал, что перейти в разряд барыги ему ничего не стоит, что дело это нехитрое, тем паче – торговля стишками как бы и не совсем была стилистически наркоторговлей, все его знакомые из потреблявших были культурные люди, порой даже не с одним высшим образованием.

Тем прекраснее было его появление возле оперного в таком виде, что Лена опознала нового знакомого только по курточке и ботинкам и голосу, когда он заговорил. Слова он произносил с трудом, потому что рот его был разбит, весь был какой-то залитый зеленкой, неряшливо заклеен слева вертикальной полоской пластыря, шевелившейся при беседе. Смотрел он на Лену тоже с трудом: ему мешал лиловый, по краям переходящий в желтоватый, отек на переносице и вокруг глаз, внешний край левой брови выглядел так, будто его терли мелкой теркой. Вообще, по тому, что лицо незнакомца было больше помято с левой стороны, можно было заключить, что бил его правша. Правая рука Лениного подельника была в гипсе. «Ты на лицо не смотри, – сразу же стал объяснять незнакомец, причем в голосе его было то покряхтывание, которое даже не близкой к делам насилия Лене указывало на то, что ее новому товарищу не только по голове настучали, но и намяли бока. – Оно к делу не относится. Это я просто с коллегами по цеху повздорил, скорыми на расправу».

«А вот это, – он поднял гипсовую руку и пошевелил отекшими пальцами, – а вот это да. Это вот отчасти плата за наивность». Лена не стала спрашивать, что случилось, потому что глупо

было интересоваться. Незнакомец являл собой наглядное пособие, иллюстрирующее, что нельзя распространять стишки на чьей-то территории, нельзя вот так взять – и начать конкурировать с людьми, которые уже занимались стихосложением и распространением стишков в Екатеринбурге.

«Я, главное, думал, что раз моего поставщика посадили, значит: все. Что хрен где теперь достанешь, и мы теперь с тобой будем звездами, какое-то время заработаем, пока у меня, тем более, кризис творческий, – сказал Ленин подельник. – Оказалось, что ни хрена подобного. Что мне не рады. И ведь продать дали, и вроде все свои, костюмчики, галстучки, слова благодарности, клятвы, что больше никому ни-ни. А тут идешь с пивком по Грибоедова, никого не трогаешь, а тебя закидывают в машину, а потом некий Доза с ...балом, как у Грибоедова, по улице чьего имени ты прогуливался, будто сам Грибоедов, из гроба восставший, в каком-то подвале со своими дружками тебе объясняет некрасивыми словами, что ты неправ».

Лена, еще работая в школе, услышав от физрука своеобразную сагу о том, как таксисты-узбеки интригами и битвами отвоевали себе точку на Таганской, между стадионом и милицейским общежитием, молча удивлялась: почему, собственно, за таксование происходят такие побоища с пробитыми головами, а за стишки – нет, хотя стишки – дело более денежное, а значит более, по идее, кровавое. А она, выходит, просто оказывалась связана с людьми, которые в этом деле уже были некими негласными величинами, пробравшимися на вершину пищевой пирамиды, чем-то нравилась им, и хорошо, что нравилась.

Подельник продолжил повествовать о своем приключении, была в его голосе некая уязвленность, окрашивавшая его рассказ сарказмом, похожим на саркастические нотки Жванецкого: «Спрашивают, откуда взял. А руку еще до этого трубой сломали, поэтому я уж не стал из себя разыгрывать комсомолку, которая плюет кровью в харю офицера вермахта, а потом гордо отворачивается. Тем более я про тебя правда ничего не знаю, что уж скрывать. Они стишок читают, чешут репу, звонят какому-то Феде. Федя появляется, а он еще хуже Дозы, бл.... Тоже очки блестят, и он при этом похож одновременно на Леннона и на Лаврентия Павловича, причем если бы только на Лаврентия Павловича смахивал, то выглядел бы добрее, чем так, потому что вот безуминка эта ленноновская. Смотрит так, будто будет скальпелем тебя полосовать, а сам при этом будет напевать вот этот вот, что-то: “Ю мэй сей айм э дример, что-то там нот онли уан”».

«Imagine», – догадалась Лена. Подельник, выдернутый из своего повествования, которое вел отчасти даже с мазохистским удовольствием, потому что, видно, это было приключение не из рядовых для него, но при этом перенесенный собственным рассказом снова в бандитский подвал и потому испытывающий негативные эмоции, которые пришлось ему там пережить, переживающий их заново, прерванный, замер, пытаясь вспомнить: о чем это он, о чем это Лена.

«А, ну да, Imagine, – подтвердил он и продолжил, выждав паузу, словно его отвлеченная память проехала требуемую остановку, и ей потребовалось время, чтобы вернуться на нужное место: – Федя, значит, смотрит в мой блокнотик, листает так, улыбается над заметками моими, хотя его совсем никто не просит в записи глядеть. И у него харя такая снобистская сама по себе, а с улыбкой – не приведи боже, ироничненький такой взгляд, с таким, наверно, критики очередной роман открывают. Потом до стишка твоего добирается, и что обидно, вот правда, сразу же серьезным становится. На вторую страницу даже не заглядывает, сразу же заявляет, что ты – некий Волоколамск. Ты из Волоколамска, что ли, приехала, родная?»

«Долгая история», – сказала Лена, покривившись от того, что кличка Снаружа так к ней прикипела.

«Но ты уж объяснись. Мне кажется, что я теперь имею право быть в курсе после того, как меня отметелили».

Лена стала объяснять про однокурсника, про стишок, но незнакомец догадался на лету, где-то на первой трети Лениного рассказа: «Так это из-за стишка. Я его помню, кстати, то есть конечно, так не помню, но помню, что читал такой. А про Лисью гору, извини за вопрос, тоже твое? Просто было бы забавно. Тогда целый пак текстов кто-то из нашей компашки нахоботал, было видно, что одного автора. Там и про Волоколамск было, и про Лисью гору. Твое?»

Лена кивнула, а незнакомец рассмеялся радостно. Это был такой смех, будто Лена играла в детстве в каком-нибудь фильме, популярном тогда и почти забытом, а собеседник узнал в ней ту

юную актрису. «Мое уважение, – сказал он. – Хорошо я тогда в компании ширялся, коротнуло меня так, что аж в больничку пришлось отъехать с подозрением на инфаркт. Оно, главное, такое, не только чисто приход, но еще с эстетической точки зрения мощное, притом что простое. Понятно, почему они все забегали, звонить стали, выяснять стали, как я с тобой познакомился, не поверили, что ты просто ко мне подошла, обещали вторую руку сломать. И тут, знаешь, приплывают Ройзмановские дельфинчики, некий Дюша-Сани – мордоворотина такая, глаза добрые-добрые, как у Ленина из анекдота про бритвочку, по второму разу выясняет у меня, что к чему. Я ему отвечаю, а сам думаю, вот неделю назад ведь смотрел сюжет, где этот Дюша какой-то репортаж о закрытии наркопритона освещал, а с ним и Ройзман бицепсами сверкал из свой футболочки. И они с совершенно серьезными лицами говорили, что стишков в городе не допустят, что сначала стишки, трава, а потом героин. А тут разговор идет в плоскости, что не стишки плохо, а договариваться надо, что без спросу можно тоже в сюжет местного ТВ попасть, где тебя за шкирку будут ребята в кожанках держать, а Шеремет будет описывать, какая ты бесполезная мразь, ох..евшая от безнаказанности, и сколько лет ты теперь проведешь за решеткой, если цыгане, или кто там крышует обычно, не занесут судье. А я...»

Незнакомец хлопнул себя по лбу и сказал, что в подвале ему в голову пришла очень смешная мысль, но он не засмеялся, и еще подумал, что надо ее не забыть, но, понятно, что тогда эта мысль вылетела у него из головы сразу же, потому что много было всего, что отвлекало: беседа с бандитами, побои, боль в руке, попытка ухватить больше деталей из происходившего спектакля. Эта мысль была, что вот, плохо сидеть на табуретке в углу, бояться того, что происходит, и того, что может произойти, но как бы ни жутки были бандиты и их чувство некой правоты в том, что они делали, насколько было бы беспокойнее ему, если бы это были не бандиты, а сотрудники милиции. Милиционеры так же могли сломать ему руку, даже грохнуть могли сгоряча во время допроса (такое ведь вполне случалось то и дело), но если бы не грохнули, то выйти на свободу Ленин подельник смог бы не очень скоро. «Такое чувство сопричастности. Как среди своих оказался. И вообще, –понял он, – кажется, это в подвале было очень смешно, хотя было совершенно не до смеха, а сейчас до смеха, но что-то уже как-то не передать это чувство. Будто шутку пытаешься пересказать, а она именно ко времени и месту привязана, так что нужно сразу и время и место объяснять, и видишь, как слушатель скучнеет на глазах, а потом вежливо подсмеивается. И еще ведь мысль была, что вот эти люди умеют изобразить, что занимаются важным, серьезным делом, менты могут изобразить, что таким делом занимаются, почему я не могу это показать? Почему я сам себе кажусь несерьезным? Чувствуют ли другие люди себя так же все время среди людей, занятых чем-то важным?»

Мелькнула в рассказе незнакомца кличка Снаруж, до которого дозвонились, прочли ему стишок, ждали его вердикта, договаривались о компенсации за работу на чужой земле, Снаруж, судя по разговору, выторговывал для Лены какие-то преференции и что-то обещал бандитам Екатеринбурга, уверил их, что сидящий у них в подвале дилер – надежный человек, раз уж Лена с ним связалась. «А они на меня смотрели, как Кузьменков на литературный процесс», – сказал незнакомец, так что Лена не утерпела и спросила наконец, как его зовут и чем он занимается.

Побитого подельника звали Дмитрием, он считал себя причастным к писательству, потому что давал на гора по нескольку фантастических произведений в год под разными именами: притом что истории про студентиков и студенток, которые попадали в космические и волшебные миры, а потом становились в этих мирах справедливыми императорами или просто героями, и тому подобное, он хотя и считал полноценной литературой, но ему все равно было неловко. «Тут дело такое, что даже и трудно объяснить, – сказал он и тут же, как полагается, принялся объяснять: – Ну, вот пишешь и понимаешь, что ты далеко не Федор Михайлович, не Иван Сергеевич, и на тебя в союзе писателей смотрят и говорят, что ты не Федор Михайлович. И все дело как бы в том, что тематика у тебя игривая. Вот, например, скандальная старушка околоподъездная, которая еще со времен Сталина мастерски гнобила соседей, так что они жрали друг друга поедом, когда оказывается неким образом в теле королевы темной империи, на которую уже крысят все окрестные государства, мастерски стравливает эльфов с гномами, эльфов с эльфами, гномов с гномами, а потом удовлетворенно наблюдает за результатом, а особенно ее радует масштаб происходящего – это несерьезно. Это, повторюсь, не Федор Михалыч. Но ведь и все остальные практически не Федор Михалычи у нас, и даже не Дмитрии Наркисовичи. Единственное, что они делают серьезно – это угрюмо следуют не-

кому канону, который как бы серьезная литература, или такая литература, которая как бы киношный артхаус, или Тарковский, в основном «Зеркало» Тарковского. Притом что Тарковский – это ведь наркомания чистой воды. Наверняка, папашка его, который, по слухам, всю Москву своими стишками завалил, вплоть до партработников, едва ли не за деньги, заработанные на наркоте, впихнул сынулю во ВГИК. Сдается мне, он с детства его своими стишками пичкал, и результат налицо. А они этому подражают. Долго описывать, как ветер гнет травку в поле, как коровка с рыжими и белыми пятнами стоит – это почему-то серьезно. Фигу власти показывать – серьезно. Это притом, что можно уже не фигу показывать, можно прямым текстом говорить – нет! будем показывать фигу, притом что власть просто видом своего финансового благополучия показывает не просто фигу, а х...ем водит в ответ по грустным мордам этих всех несчастных людей, и меня в том числе. Вот это серьезно, да. Еще краеведение серьезно».

Тогда Лена и выразила свою надежду, что она тоже литератор, потому что, пусть и странным образом, пусть и в малой форме, волнует людей так, что они готовы платить за стишки. Дмитрий, как мог своим побитым лицом, выказал молчаливое недоумение. «Ну, их тоже приходится писать, тоже придумывать, чтобы пробирало», – сказала она. «Так у литературы эстетическая задача, история какая-то. А у тебя пробирает, – сказал Дмитрий, – Если и относятся к литературе стишки, то разве что опосредованно. Часть приемов оттуда, не знаю. То, что их, вот, приходится действительно придумывать и записывать. Но на этом ведь все. Это как, знаешь или помнишь, в телевизоре советском был жанр каких-то художественных зарисовок, когда рекламы не было и всякой парашей время заполняли: природу, там, снимали, улицу. Или во время прогноза погоды пускали снятое в городах. Вот это вот стишки, извини. Это, повторюсь, разные жанры. Вот есть театр, есть кино, есть литература, есть стишки, которые не искусство вовсе, а просто умение копнуть в себе поглубже, так я понимаю, попытка понять и выразить словом то, как ощущает себя не разум, но психика, как она входящие сигналы принимает, как она себе это представляет, то, что вокруг творится».

Лена спросила, в чем разница между литературой и стишками. «Не знаю я, – честно сказал Дмитрий. – Так посмотреть, то, вроде, и разницы никакой нет. Даже рифма в прозе имеется, только другая, не через фонетику, а через какое-то изменение. Когда один и тот же персонаж встречается и видно его изменение, когда он в рифму с самим собой попадает, или с другими персонажами. Вот тот в том же Толкине, как кольцо рифмуется с другими героями, как все находятся друг с другом в постоянном взаимодействии. И только Гэндальф, как рояль в кустах вместе со стаей других роялей в кустах, т.е орлами, делает все это корявым и такой дискомфорт доставляет своим неправдоподобием: хотел автор, чтобы он был серым – был серым, захотел, чтобы стал белым – стал белым, вроде весь такой добро и нейтралитет, а от остальных все какие-то тайны нездоровые, загадочность напускная. Вроде хотел его сделать Толкин белым, а получился мутный какой-то хрен, вроде экстрасенсов, которые порчу снимают по фотографии. Тебе постоянно говорят, что он хороший, но это будто во время избирательной кампании про депутата».

Когда он отвлекся от своего монолога, то, наконец, увидел, что Елена всячески выражает вежливое молчаливое непонимание того, о чем он только что говорил. «Ты “Властелина Колец” не читала», – догадался он.

«И вот это сумасшествие скрытое в стихотворцах меня всегда напрягает, – продолжил он. – Прозаик-то, хочет не хочет, а все равно вывалит то, о чем думает, даже через второстепенного персонажа. А вот возьмем Жуковского, который стишки немцев на наш лад перекладывал. И если у немцев от стишков приход наступал, то зачем их на русскую почву тянуть, если от этого толку никакого нет? Смысл? Вот этот «Лесной царь» – это же без прихода совершенно бессмысленная вещь. Куда скачут, как при этом еще разговаривать умудряются при бешеной скачке? На хрена Лесному царю малютка? А затем еще его дневники читаешь, там фраза: «Я влюбился в ребенка». Ну, делаешь поправку на то время, на всякие ранние браки, ну, думаешь, лет пятнадцать, ну, четырнадцать, ну, если уж совсем с натяжкой – тринадцать».

Он только махнул рукой, будто сразу и на Жуковского, и на Лену, и на других стихотворцев с их сумраком в головах, непонятным ему до такой степени, что он даже не собирался его понимать, но почти тут же нашелся за что зацепиться, чем продолжить: «Если даже и спрыгивает кто с изготовления, все равно – след на всю жизнь. Салтыков-Щедрин вот со своей желчью, не меньшей

чем у Достоевского, и тоже ведь на Иван Сергеича не удержался и ядом покапал, как и Федор Михалыч. Ильенков наш, по которому видно, чем он баловался, пока не завязал, а все равно у него то там, то сям про стишки выплывает. Да ладно выплывает. У него ведь целый роман про то, что стишки – не наркотик, из-за этого местная элита не вставляется стишками, оргиями и т.д,, больше о бабле думает, и через это, неким логичным у него и трудно пересказуемым вкратце образом, в стране случается дефолт в девяносто восьмом году. Такая, вот, тоже фантастика с альтернативной реальностью. Хотя какие стишки? Какие оргии? Подозреваю, что элита, если копнуть, так же по синьке угорает в большинстве своем, потому что трудно трезвым взглядом глядеть на все, например, на то, что во главе области немец, а минздравом заведует бывший узник фашистского концлагеря, который с экрана не без удовольствия даже рассказывает о своем лагерном детстве, и, конечно, понимаешь, что радость его связана с тем, что он выжил, но при этом все равно возникает такая сложная ассоциация, которую трудно объяснить, что лагерь никуда не делся, просто перенесся в другое место со значительными послаблениями в режиме. Что-то такое вот, от чего бухать хочется».

Лена, притом что Дмитрий полностью отрицал ее причастность к литературе (она, в свою очередь, молчала о том, что, конечно, его фантастические писульки тоже с литературой мало общего имеют, несмотря на всю его словесную желчь и, отчасти, пафос) – поняла, что ощущает себя рядом с человеком, которому не все равно, как прикладываются друг другу слова, чего не было уже несколько лет. Это было похоже на компанию Михаила Никитовича и Снаружа, это было похоже на голод и другую какую-нибудь физиологическую неудовлетворенность. Так же совершенно Михаил Никитович забывал о повседневной какой-нибудь заботе, чтобы поговорить о том, кто как пишет и как это нужно делать, так что подчас откладывались любые, даже самые насущные дела, он порой даже рюмку забывал опрокинуть в течение пятнадцати минут, если на него находило. Под впечатлением этого родства Лена задала вопрос про холодок, на что Дмитрий с обидной уверенностью отмахнулся. «Это вот тоже для пущего эффекта, для готичности ремесла вашего больного, – пояснил он. – Даже знаю, откуда взялся этот миф, из какого ощущения читательского».

К тому времени, как пошел разговор о литературе, где-то на словах о Жуковском, Дмитрий, бессознательно чувствуя себя в родной атмосфере (и очевидно, родная его атмосфера заключалась в том, чтобы авторитетно разглагольствовать в компании развесившего уши собеседника), поменял положение своего тела: только придя, он расположился на уголке скамеечки, где уже сидела Лена, чем-то похожий на мужчину в детской поликлинике, ожидающего отпрыска, ушедшего в физкабинет, не знающего, куда себя деть, кроме как глядеть в пол, потому что разглядывать чужих детей и незнакомых женщин вроде как не совсем прилично, а свои для разглядывания и общения временно выпали из поля зрения. Заговорив о литературе, Дмитрий, в несколько неочевидных вниманию Елены приемов, расселся нога на ногу, локоть на спинку скамьи, но при всем при том в позе, видно что берегущей отбитые части тела, поэтому пусть и несколько развязной, но отчасти и жалкой тоже.

«Поясняю, – сказал Дмитрий. – Читателю в основном нравятся такие штуки, после которых будто у писателя и не было больше ничего, будто писатель выложился весь в роман, точку поставил – и помер. Пусть это не так, но ощущение, что весь в это отдаешься: в придумку, в детали, в какие-то наблюдения, чтобы казалось, будто ты за всю свою жизнь собрал самое интересное, что смог придумать, все самое такое, что тебя больше всего волновало, и про это написал. А потом все. Прекрасно, когда то и другое совпадает, как в «Швейке», но даже если коньки не отбросил, читатель все же ждет не того же самого писателя, которого уже читали, а как бы того, который написал свою штучку замечательную, сгорел, а потом, как Христос, знаешь, поднялся и с новым опытом пошел снова свое корябать с не меньшим усердием. Пусть даже не в хронологическом порядке, все равно хочет читатель каких-то видимых изменений, как бы хочет даже посмотреть с высоты позднего романа на ранний, как после «Бесов» «Бедных людей» читать впервые, или «Неточку Нежданову». Вот такое вот. Как бы ни был хорош «Золотой теленок», все равно не то, что «Двенадцать стульев», согласись, будто те Ильф и Петров умерли, а писали совсем другие люди. Поскольку стишки цепляют, кажется, что это не навык, а прямо вкладывание всего в эти едва ли двадцать строчек, и так раз за разом. Поэтому и придумалось, что находятся в итоге слова, которые вас приземляют навсегда.

Вообще, было бы неплохо, если бы проза так же перла, как трава или стишки. Не было бы всех этих споров, хорошо написал – плохо. Поперло – значит, хорошо. Не поперло – плохо».

Лена слушала, а сама думала до чего странно все это: вот сидит перед ней совершенно нелепый человек, возможно, совершавший нелепые поступки, не добившийся ничего, кроме того, что придуманные им сказки где-то там публикуют, причем и это даже не вызывает у человека удовольствия, потому что среди других сочинителей сказок он не самый известный, не самый успешный, он пьет, упарывается, что творится у него в семье и представить страшно, и неизвестно: есть ли у него семья-то. Почему это становится неважно, пока он несет вот эти вот слова про сочинителей других сказок разной степени правдоподобности? Почему кажется, что в эти минуты он лучше, чем если бы он не был сочинителем? Почему Михаил Никитович руины своей жизни и руины своего тела мог уверенно заслонить письмом в рифму и разговорах об этом письме? Как сама Елена заметила, что стала авторитетней в глазах выпускницы, когда безжалостно препарировала изначально мертвое поздравительное стихотворение, притом что такой разбор не мог вызвать ничего кроме обиды?

«Это просто легенда красивая. Страшилка, вроде пиковой дамы и черной простыни, – продолжал Дмитрий. – Слышал я, как все это собирается у вас. Тебе ли не знать. Иногда последние строчки ведь в первую очередь придумываются, а потом уже над ними все это растет, иногда кусками возникает. Так, чтобы писалось, писалось, а потом раз – и холодок – настолько маловероятно, что даже и невозможно. Да и наверняка матушка-природа не для того нас выводила, чтобы мы одной мыслью своей могли мозг отключать. Против – миллионы лет эволюции».

Тут Лена возразила, что не миллионы, а дай бог, хотя бы несколько сотен тысяч лет, когда языки появились как таковые. «И все равно, отрицательный отбор бы все похерил на корню», – безапелляционно заявил Дмитрий и даже усмехнулся одновременно обидно и страдальчески. Обидно – по форме, страдальчески – по состоянию здоровья.

«С другой стороны, идиотов тоже эволюция должна была вывести дустом, но, судя по мне, этого не случилось», – заметил Дмитрий и рассказал, что их прежняя схема торговли, как объяснили Дмитрию в подвале, была не совсем безопасна для Лены. «Они так и сказали, типа, ты-то хоть завтра пропади, зачем девку-то так подставлять? Покатается она пару раз с деньгами в кармане, а потом ее кто-нибудь отоварит трубой по пути до дома». Способ, предложенный бандитами, был куда безопаснее: стишки Лена могла надиктовывать Дмитрию по телефону, он должен был их распространять среди своих, а деньги складывать Лене на счет, который она могла открыть в любом банке. В случае шухера Дмитрий и Лена могли объяснить свои финансовые отношения чем-нибудь другим, нежели наркоторговля. «Но тут, опять же, все в доверие упирается. Ты же не знаешь, сколько я продам, насколько я честен. А с другой стороны, они твоего знакомого уверили, что все проконтролируют, но и я при этом в убытке не останусь».

На том и договорились. Каждый вечер субботы Лена занималась тем, что, уложив детей спать, звонила Дмитрию и шепотом диктовала ему написанное за неделю, затем они беседовали на разные отвлеченные темы.

Дмитрий, надо сказать, хотя и одобрял с определенной стороны творчество Лены, но и сам требовал одобрения: читал ей куски из своих прозаических штучек, обещал, что скоро появится у него такое, «что просто бомба», и ехидно смеялся, причем очевидно, что ехидство это не было направлено на Лену, а предназначалось людям, которые его не хвалили. Как ни странно, мнение Лены было для него важно каким-то образом. По его просьбе она купила три его книжки, каждая из которых, согласно аннотации, была чудом фантазии и остроумия, но в каждой из них имелись места, где путем адаптации к тамошним реалиям ненастоящего средневековья, космоса, альтернативной реальности прилажены были анекдоты советской поры, успевшие надоесть Лене еще в начальной школе. Страницы полны были чаплиновскими падениями, кувырками, бегом от врагов, которые, возможно, и приобрели бы смысл, если бы оказались перенесены со страниц на экран немого кино, но на бумаге эти трюки просто игнорировались во время чтения, так что взгляд просто находил в тексте то место, где герои очередной раз, целые или слегка раненые, добирались до безопасного места и принимались обсуждать только что произошедшее и дальнейшие планы. Диалоги тоже были не сильным местом Дмитрия, хотя, вполне вероятно, нравились читателю незамысловатой пафосной

парадоксальностью реплик; там было полно фраз вроде: «Как ты поймешь, что умер, если ты даже и не жил?» – и все в таком духе.

«Это все справедливо, что ты говоришь, – отвечал Дмитрий на Ленины замечания, – но ты "Похвалу глупости" Эразма Роттердамского прочитай и все поймешь. Людям загадки не нужны. Ни высоколобым, ни простым, ни школьникам, ни студентам. Им нужно, чтобы все было понятно и ясно от начала до конца. Что до этой фантастики, то в нее ведь погружаются, как в теплую ванну, в привычную среду, предсказуемую, понятную, где читатель даже обидится, если ты его ожидания обманешь. Да и в остальной у нас нынешней литературе так же. Преврати ты социальную сатиру в фантастический трешак, в би-муви, тебя же с говном сожрут. Даже стиль огромную роль играет. Под Платонова, под Набокова одни штучки можно писать, а другие не рекомендуется, под Тургенева – другие, если ты перепутаешь, то ты уже не тонкий стилист. Если ни на кого не похоже, то люди и теряются: не знают, чего ждать. А люди не любят непредсказуемости, то есть, конечно, любят, но в определенных культурных рамках, не любят в словарь лезть, если незнакомое слово встречают, не любят, если в словарь приходится лезть слишком часто и все такое».

Лена понимала, что слова Дмитрия – это слова оправдания, и не столько перед Леной, сколько перед собой самим. Она была уверена, что никакой такой «бомбы» у Дмитрия за пазухой нет, а есть некая идея, которую он все равно не сможет воплотить за недостатком не таланта даже, а самокритики: в его книжках попадались и неожиданно хорошие места, просто они тонули в том, что Дмитрий еще тянул в текст, а тащил он туда все подряд, жалея каждую украденную у телевизора или улицы репризу, анекдот, словцо, а все это было отчасти уральское, поэтому у Лены возникало невольное ощущение, что все, что происходило у него в книгах – происходило на Урале, что эльфы – это такие ребята, дети инженеров, уроженцы какого-нибудь заводского района, слегка отягощенные детскими походами в музыкальную школу, а гоблины и орки – жители в пятом поколении, скажем, станции Лая (которую Лена не видела нигде, кроме как на карте остановок пригородных поездов в одном из вагонов электрички – не видела нигде больше, не знала никого оттуда, но не сомневалась, что там все не слишком радужно).

Все эти десять месяцев письма на заказ, до того времени, пока девочкам пора уже было идти в садик, а Лене возвращаться на работу, она порой ловила себя на мысли, что сравнивает многословие Дмитрия и шумную, почти бессмысленную болтовню Ани и Веры, будто взвешивает их на двух чашах – взрослого и парочку ее детей, сравнивая как бы разумную речь Дмитрия и отчасти лесные – дикие, – о конкретных вещах, слова девочек. Слов у Ани и Веры становилось все больше, притом что встречаемые в дворовой песочнице или просто во дворе мальчики – ровесники близнецов – подчас молчали, являли эмоции только плачем, смехом, выражением лица. Другие девочки в этом возрасте были в смысле говорения вполне себе по росту ее детям, некоторые говорили даже отчетливее Ани (и уж тем более Веры). Они говорили, а мальчики молчали, в телефонных разговорах же в основном говорил Дмитрий, а Лена почти молчала. Эту неясную мысль, не имевшую отчетливых границ и формулировки, она попробовала стишком соединить с болтовней Михаила Никитыча о лесе стихосложения, но в итоге ничего не получилось, потому что строчки:

Удивительно, как не обратилась в лису,
Притом, что родилась в лесу и умру в лесу, –

казались Лене протезом, слепком с чужой руки (как если бы у стишков были руки и ноги), а без этих строк выходила какая-то бессмысленная мешанина.

Притом что Лена почти не разговаривала, Дмитрий успел выведать у нее, что она учитель математики, отчего он дико смеялся и все время об этом вспоминал, узнал, что у нее двое детей, что муж от нее ушел, так и не узнав, что она сидела на стишках – над этим он смеялся еще веселее, а потом объяснил, что его бывшая жена не стишки писала, а встречалась сразу с парой мужчин, так что Дмитрий ничего даже не замечал, а смех его этот в некотором смысле горек, как реплика Городничего из «Ревизора». «Но ее можно извинить, мужчина я не очень представительный, – оправдывал он бывшую супругу. – С другой стороны, она же буквально сразу видела, за кого замуж выходит: косметикой я не пользуюсь, под слоем штукатурки лицо не прячу и накладных мускулов

под одеждой не носил. Так что странно все это». Лена успела признаться Дмитрию, что неизвестно, чем руководствовалась жена Дмитрия, а сама Лена, кажется, вышла замуж и родила детей отчасти из страха умереть одной, если будет особо сильный приход. Дмитрий радостно обсмеял и это, но радостно же и заметил, что у женщин есть одно преимущество – родившиеся дети – это точно ИХ дети. «Мой же оболтус хрен знает от кого, но теперь уже как-то и все равно, а когда-то были дни сомнений и тягостных раздумий».

Сообщение, что она планирует перестать продавать, Дмитрий воспринял вполне себе радостно и признался, что его тоже уже начинает тяготить роль пушера, что раньше он вставлялся максимум раз в месяц, когда совсем уже было невмоготу, а после знакомства с Леной все время почти бродит, как во сне, и сердчишко начинает пошаливать, или это кажется, что оно пошаливает, потому что последние Ленины стихи были нисходящими скаламами, и оттуда же это чувство катящейся под откос жизни. «Ощущение катящейся под откос жизни – от самой твоей жизни, Дима», – хотелось сказать Лене, сдержалась она, потому что слова эти были бы проекцией на ее собственное не слишком веселое, без Владимира, существование.

Родственники и дети – это ведь было совсем не то, и дело было даже не в интиме, не в знаках внимания вроде цветов и нескольких побрякушек из драгметаллов. Не хватало Лене, и не то что даже не хватало, а тяготило то, что это пропало – такая, что ли, дружба, которой нигде не могло быть, кроме как в супружестве, между людьми, которым нечего уже было друг от друга скрывать, которые всякими уже друг друга видели, этот вот переход на множественное число в случае всяких болячек, пришедший настолько незаметно, что Лена просто сама себя однажды поймала на словах «у нас остеохондроз», имея в виду приступ остеохондроза у Владимира, а потом заметила и вспомнила, что Владимир естественно говорит: «У нас токсикоз, у нас авитаминоз». Пускай Владимир только изображал любовь, а держал в голове другую, но до чего хорошо у него получалось таскаться с Леной по магазинам, покорно, как осличек, но при этом с как бы затаенным страданием во вздохах. Как он, заранее подсмеиваясь тому, что сейчас прочитает вслух, шел к Лене из комнаты в комнату или, если они были рядом, оборачивался к ней всем телом, чтобы процитировать забавный момент из очередной своей книжки с яркой, как для дошкольников, обложкой. Иногда это действительно было что-то смешное, но чаще, конечно, нет, и тогда Лена просто улыбалась. Когда Лена пыталась подсунуть ему Блока, он только пожалел, что не было у него в тринадцать лет его книг, употребил слово «всеядный», и с тех пор слово «всеядный» употреблялось между ними только в таком приапическом ключе и вызывало веселье, даже если выходило из уст телевизионного Дроздова. Имелась и куча других совершенно их, личных шуток, зародившихся незнамо как, в бытовых соприкосновениях, более интимных, чем секс, потому что секс-то может быть и между совершенно чужими людьми, и даже незнакомыми, а ежедневное совместное собирание на работу с милой мелкой возней в желании ничего не забыть и попытках предотвратить возможную забывчивость другого человека, при этом все равно забывании чего-то нужного – такое за пару дней не получить.

Лену Владимир иногда звал Ленкюль Пуаро, потому что она сразу же угадывала убийцу в любом просматриваемом ими вечером триллере или детективе, если все подозреваемые и не подозреваемые были на виду, она же объясняла ему, как повернулся сюжет, если после титров, как подчас любят в остросюжетных фильмах, появлялись кадры с намеком, что все кончилось совсем не так, как показали в первом варианте финала. Он, быть может, и обиделся на нее отчасти потому, что думал, будто Лена могла свою дедукцию проявлять не только при просмотре фильмов, но и в жизни тоже, и не исключено, что делал какие-то знаки о своем будущем уходе, которые считал явными для нее, путая умение предугадывать сюжет с настоящим жизненным опытом, мог считать, что внезапный поступок ее матери уже наделил Лену осторожностью по отношению к близким, готовностью ожидать от них чего угодно.

Немного времени прошло, прежде чем Лена уже начала придумывать оправдания для Владимира. Принялась даже оправдывать Владимира перед его собственными родителями, говоря, что она сама виновата тем, что не слишком веселая, даже замкнутая (но не объясняла, что процентов семьдесят замкнутости – от стишков и всего, что с ними связано), что многим она кажется немного высокомерной. Они, конечно, разуверяли ее в этом, но, как и сестра, как дядя, впали слегка в ступор, когда она купила два садовых участка неподалеку от дома, в конце улицы Замятина, и начала там

капитальную стройку. Родителям мужа она объяснила, что это внезапно расщедрилась ее мать, узнав о внучках. «Если хотите, можете там жить, – сказала она родителям Вовы, – места всем хватит». Вовины родители вежливо поблагодарили, но, видно, было что-то пугающее в таком поступке Лены, в стремительности такого приобретения, потому что никогда ранее Лена не заикалась никому, что хочет дачу. Первое время никто из родственников не появлялся там, будто опасались, что Лена способна и на другие безумные поступки, что дача – ловушка для доверчивых гостей, а в подвале двухэтажного дома может стоять ванна с кислотой для бесследного растворения тел тех родственников, которые окажутся слишком доверчивыми.

Лена и сама не поняла, зачем ей эта дача, потащившая за собой столько вранья и неловкости, но первые годы без Владимира и так полны были неловкостью всех перед всеми: родителей Владимира – за то, что вырастили такого непостоянного (и в то же время – постоянного) сына, что скрывали от Лены его возможный выкрутас, Лены – за то, что не удержала мужа (глупо было так считать, а при всем при том Лена так считала), за вранье насчет денег, сестры – за то, что она свела Лену с Владимиром, дяди – за то, что он, позвонив матери Лены, узнал, что никаких денег она Лене не давала, а потом стеснялся спросить, откуда они на самом деле (хотя это не его забота была вовсе), Владимира – когда он забирал Аню и Веру для почти регулярного общения в компании с большой уже, лет тринадцати, девочкой, похожей на него если не характером, то внешностью точно (Лена видела ее в окно, когда Владимир уводил девочек и садил в машину). Он пытался шутить их семейными шуточками, будто ничего не произошло, и очевидно, что он искал, все же, какого-то прощения, одобрения, но очевидно, что от Лены он не мог их получить никоим образом, разве что без скандалов все обходилось, но в таком, со стороны Лены, молчании, что в молчание это можно было тыкать вольтметром.

Сначала девочки принимали свои походы в гости как должное, но с отцом им было, понятно, гораздо веселее, чем с матерью, хотя бы потому, что они не успевали надоесть друг другу за неполные сутки, всегда наполненные какими-то дошкольными развлечениями, так что, понятно, к трем годам уже начинали плакать, когда он уходил, особенно сильно плакала Вера. Она же и сказала однажды Лене во время одних из таких проводов отца уверенно и сердито: «Ты плохая!», так что у Лены наступил от этих слов короткий, но очень сильный прилив ярости, и она едва не треснула дочь; испугавшись самой себя, с трясущимися руками, бессильной икотой вместо плача, Лена убежала в гостиную, где стала убеждать себя, что дочь еще ничего не понимает, потому что та на самом деле не понимала. Просто язык, речь, которыми как бы овладевала Вера, на самом-то деле захватывал ее постепенно, так же, как захватывала ее и вся жизнь, не она баловалась словами, а они баловались ей – так можно было объяснить этот пришедший от нее Лене индивидуального действия нисходящий скалам, настолько чистый, без всякой побочной эйфории, привет из речевого зазеркалья, что переделай Лена его в стишок, с инфарктами бы полегла большая часть клиентуры Дмитрия, да и он сам тоже.

Когда Лена вернулась в школу, она была полна решимости изыскать альтернативу Владимиру, чтобы у дочерей была хотя бы какая-то эрзац-версия отца. Жизнь не подкинула ничего лучше школьного историка, который в свои сорок лет еще лелеял надежду попасть в большую науку, катался по раскопкам в свободное от работы время, лет десять уже писал кандидатскую по ханты и манси, ранним их сношениям со славянами, увлекался сигнуманистикой. Он был женат, но Лена подозревала, что приди домой другая женщина – он бы даже этого не заметил. Тем не менее неуклюжими намеками Лены он заинтересовался и даже пришел по предварительной договоренности в гости с вином и цветами в день, когда дети ночевали у бабушки с дедушкой. Историк и Лена слегка выпили и принялись говорить о работе, потому что это внезапно оказалось интереснее секса для них обоих, затем историк признался, что просто хотел попробовать: каково это – изменить жене, потому что много кто изменяет, а он среди всех как своеобразный девственник, может только подсмеиваться чужим байкам, что, возможно, выдает в нем подкаблучника и все такое. Тут же он подтвердил свои собственные подозрения в себе тем, что позвонил домой и сообщил жене, что собирается ей изменить, жена, по словам историка, сразу же собралась прийти и посмотреть «на эту идиотку». «С собой захвати только что-нибудь», – предупредил историк супругу.

Жена историка оказалась филологичкой из другой школы, и разговор о работе продолжился, только единожды съехав на тему правильного обольщения после того, как Лена рассказала, что у нее

случилось, про Вовин сюрприз, про попытку устранить одиночество. «Тебе, Лена, нужно было на себя какую-нибудь нашивку нацепить, какой у него еще нет, какой-нибудь знак различия зимбабвийской императорской пустынной полиции, не знаю». «Почему всем, кто мне попадается, нравится что-то другое? Почему так?» – спросила почти в отчаянии Лена, имея в виду и невысказанных Михаила Никитыча, Снаружа, повесившегося однокурсника, мать. «Да ну их на фиг, таких обожателей, – отвечала жена историка. – Был у меня по молодости обожатель, на мне зацикленный: я ему про книгу, а он о том, как я прекрасна, я ему про другое, а он опять о моей красоте, о ручках, о ножках, о носике, надо такого, чтобы было за что цепляться во время предменструального синдрома, потыкать, знаешь, носом. А такой идеалист, он ведь и новый идеал найдет и так же в него вцепится». «Так у меня ни такого нет, ни такого, – сказала Лена, – ни идеалиста, ни нумизмата. Может, со мной что-то не так?» «Ну так со всеми что-то не так, – уверенно заявила жена историка. – Именно что-то, а не все. Плюс в том, что ты уже знаешь, что не так с твоим бывшим. Ну, что он еще может сделать? перебежать к еще одной единственной любви всей своей жизни?»

Он-то и мог перебежать, Лена, оказывается, не могла. А поскольку она была ему не нужна, то и он ей был не нужен такой, а значит, никто ей не был нужен.

Глава 6.

Их тени, вещи без тени (трусы, подмышки)

Никогда нельзя было понять стишок до того, как что-то произошло. Всего-то нужна Лене была рифма к слову «пранк», которое она услышала от своей школоты незадолго до летних каникул, с удовольствием сунула в текст, затем прикинула его к словам «каперанг», «фанк», «фаланг» и остановила свой выбор на бумеранге.

Через неделю после стишка, переписываясь с Владимиром вконтакте, Лена узнала, что жена выперла Владимира из дома.

«Несколько сцен было таких драматических, – написал Владимир, – как вот тебе только объяснить, не знаю. Вот все что на пароходе в фильме “Жестокий романс” происходит в конце, вот все это было. Только в исполнении ее одной. Я уж всякое у нее наблюдал, но такое – впервые».

Длившаяся чуть ли не три года переписка не переставала Лену удивлять. По-прежнему она не могла разговаривать с Владимиром, если он появлялся на пороге. С ним и правда будто не о чем было беседовать совершенно, потому что он с ходу начинал все вот эти шуточки, похожие на игру в юмор, то есть он как бы шутил, девочки с готовностью смеялись над тем, что он сказал, но Лена, да и Владимир, само собой, знали, как дочери смеются, когда им действительно смешно. (Вера делала это особенно забавно, держась за грудь, с долгими паузами, будто играющий злодея оперный бас.) Но в чате бывший муж внезапно оказался гораздо интереснее, чем был в жизни, очевидно, потому что не видны были эти его ужимки, которыми он сопровождал исторгаемый из него юмор и остроумие. Во всем этом было что-то от телефонных разговоров с Михаилом Никитовичем, когда собеседник тем был приятнее, чем дальше находился.

«И что теперь? – не могла не поинтересоваться Лена. – Девочки на день рождения к твоему сыну собрались, Аня что-то там ему клеила в подарок, они карманные деньги ему на какой-то поющий автомобиль потратили».

«Так день рождения и не отменяется. Только я отменяюсь на этом дне рождения», –объяснил Владимир.

«Цирк какой-то, – не удержалась Лена. – Почему все, что с тобой связано, в цирк рано или поздно превращается, только нисколько не забавный?»

«Если ты про то, что одна моя бывшая жена, изображая радушие, а при этом чувствуя неизвестно что, будет возиться с детьми другой моей бывшей жены, которые придут на день рождения их сводного брата, то цирка не будет. Потому что там будет еще дочь бывшей жены от первого брака. А у нее и дочерей бывшей жены все хорошо, они друг друга обожают. Между ними черных кошек не пробегало».

Лена знала, про что он не удержится и добавит, Владимир действительно всунул этакий постскриптум к своей реплике, потому что не желал понять неприязни Лены к своему совсем еще маленькому сыну:

«Между Никитой и Леной тоже кошек не пробегало, но Лена, хоть и довольно здоровенная уже девочка, все продолжает дуться, будто Никита у нее совочек в песочнице отобрал, а могла бы, как все, пойти на праздник, посплетничали бы про меня, у вас, наверно, обеих накопилось».

«Вот только меня там и ждали», – ответила Лена.

Она сознательно не обращала внимания на упреки в том, что не любит сына Владимира и Марии. Ее со всех сторон обрабатывали многочисленными портретами растущего мальчика. Дочери издавали утробные звуки умиления, когда говорили про него. Сестра, когда заговаривали про Никиту, делала жест, будто тискала его перед собой. Родители Владимира окончательно помирились с ним, когда получили внука. Женщины на детской площадке просили сфотографироваться с Никитой на руках в то время, пока их собственные дети ходили и ползали неподалеку. «Это, главное, фотографией и видео не передать, – написал Владимир однажды, – это рядом надо быть. Удивление это, что у двух таких, в принципе, нас, что-то вот такое родилось. Знаешь, как когда “Сияние” смотришь, а там у Николсона и Дюваль вот такой сын, притом что они не крокодилы, конечно, однако их милыми обоих не назовешь, особенно в момент, когда Николсон дверь топором ломает. Вот и мы как бы два таких взрослых героя “Сияния”, а у нас такой прямо сын, будто не наш».

Лена ненавидела Никиту всеми силами своей души. Она укоряла себя за мимолетные злые мысли, что логичным концом всей этой младенческой красоты было бы упокоение среди белых кружавчиков детского гроба, причем она боялась не самих этих мыслей, а того, что такая злоба может обернуться против ее дочерей. Она ненавидела Никиту за то, что его долго и старательно выковыривали из небытия путем различных лечебных процедур, потому что погулявшая в свое время Мария не могла уже забеременеть обычным образом, а требовала витаминов, операций и ЭКО. Лену холодом охватывало от ненависти, когда она прикидывала, сколько терпения и любви было затрачено на то, чтобы этот блондинистый мальчик появился на свет, тех как раз терпения и любви, которых Владимиру не хватило, чтобы остаться с Леной. Если Аня или Вера совали ей под нос телефон с фотографией Никиты, Лена, конечно, не отворачивалась с отвращением, говорила, что да, да, милый, разумеется все так, но, скажем так, об упражнениях Веры на фортепьяно она отзывалась с большей приязнью.

У нее был снимок Никиты, который сестра кинула ей как-то во время переписки в wats-app, Лена хранила его в альбоме неизвестно для чего, будто просто для того, чтобы подпитывать свою нелюбовь к женщине – полной, темноволосой, возможно, сбривавшей темные усики, к мужчине, потяжелевшему в новом браке под стать жене, к этому ребенку с удивленным взглядом и приоткрытым ртом. Лена одна, похоже, замечала, что эта кукольность Никиты уродлива, но не при первом взгляде, а просто если прикинуть, что будет с этим личиком, будь нос, рот, глаза чуть крупнее или чуть меньше. Никита был почти уродлив, буквально самая малость отделяла его от уродства, и это подпитывало Ленино злорадство. Его челка была острижена над самыми бровями, ровно, как по линейке, это придавало всему его лицу что-то простодушное, невинное и совершенно тупое. Когда кто-нибудь из девочек говорил, что Никита похож на щенка золотистого ретривера, Лена одобрительно смеялась. Однажды, взглянув на его фотографию, она подумала: «*баный пастушок, что же ты натворил». Почему именно «пастушок», она не понимала. Лена потом пыталась оправдать эту абсолютно дикую мысль тем, что вставилась нисходящим скаламом, но это был тот как раз случай, когда ничем нельзя было оправдаться, можно было только констатировать, что она сама уже двинулась на почве ненависти, зашла уже настолько далеко в том, что стоило бы уже остановиться.

Ну, а все же, не существуй Никита, насколько все проще было бы. А так получалось, что даже если бы Владимир вернулся, то все равно его визиты к сыну или сына к нему пускай и не портили бы все окончательно, а все же. Эта возможная двойная тень Марии и Никиты на семье Лены совсем не радовала Лену.

«Ты бы лучше спросил, как там рука у Веры, – упрекнула Лена, – как она теперь играть будет».

«Пока никак не будет играть, – написал Владимир, – не фиг было со своим нудистом ездить как попало».

Тут имелась долгая история про знакомство Веры с мальчиком из соседнего дома, которому родители не разрешали сидеть за компьютером больше часа в день, а он прилепился к девочкам, потому что у Лены дома такого ограничения не существовало. Сначала это была дружба совершенно меркантильная, мальчик Женя приходил играть и удалялся, только когда его уже начинали искать родители, буквально выкорчевывали из чужой квартиры. Что в этой дружбе имелось для самой Веры, которая нашла себе такого дружка, Лена понять не могла. Затем Женя стал не только играть у девочек, но и есть, дома у него была налажена такая интересная система питания, связанная с лунными циклами и потоками праны, что родители то питались мясом, то не питались, то исключали приготовленные продукты, то ели почти все, не слишком изобретательная кухня Лены давала ему, казалось, ту стабильность, которую в родителях он найти не мог.

Затем выяснилось, что семья Жени – нудисты. Периодически они пропадали куда-то, а потом появлялись на пороге, светя одинаковыми голубыми глазами из темноты загара. Это Лену впечатлило, но не сильно. Она, конечно, не решилась бы прийти на такой пляж, не мылась с дочерями в одной ванне, однако не испытывала неприязни к тем, кто так делал. Все же то, что она вырастила дочерей до двенадцати лет, и большую часть времени пребывала под кайфом, примиряло ее с некоторыми причудами или альтернативными взглядами на воспитание. Даже пьющая соседка снизу, которая регулярно стреляла у Лены мелочь, обещала отдать потом и никогда не отдавала, не вызывала в Лене недовольства. Соседка, в конце концов, не жаловалась зато на музыкальные упражнения Веры, а это чего-то да стоило, имело, наверно, некую цену, и хорошо, что от претензий можно было откупиться так дешево. К большинству людей Лена относилась вполне себе благостно. Например, лицо этой вот соседки снизу, несколько искаженное употреблением алкоголя, казалось Лене порой лицом пожилой голливудской дивы, которая слишком увлекалась ботоксом и подтяжками. Когда Вера сказала про загар Жени: «Мама, он весь такой!», Лена даже не стала спрашивать, откуда же дочь почерпнула эти ценные сведения.

Так вот, не только компьютерными играми увлекался Женя, еще он любил свой телефон и социальные сети («Он как-то спал, так я залезла к нему на страничку, кучу левых каких-то мужиков поудаляла из друзей, каких-то детей с незаполненными профилями, все же надо следить иногда, хотя это и некрасиво», – призналась однажды мама Жени. «Ой, у меня немного проще, – отвечала на это Лена. – Мои, если что, друг на друга стучат»). Кроме всего этого, Женя еще любил плавать и кататься на велосипеде. Увлек он в эти прогулки и Веру, Лена сначала боялась, что с детьми может что-нибудь случиться в лесопарке, где они катались, но затем прогулялась вместе с ними и, во-первых, ей хватило этой четырехчасовой прогулки, где ни на секунду нельзя было остановиться, потому что комары, несмотря на репеллент, принимались лезть в волосы, нос и уши, а во-вторых, лесопарк был полон людьми, велосипедистами, бегунами, собаководами.

Из-за собаковода, собственно, Вера и сломала руку. Чей-то доберман с палкой в зубах сунул эту палку в спицы Вериного велосипеда и побежал дальше.

«В конце концов, это Вера, – написал тогда Владимир и повторил эту же фразу, когда они обсуждали грядущий день рождения, и добавил совершенно то же, что и тогда: – Если сравнивать вот с тем кошмаром, то все блекнет, как ни крути».

Им было с чем сравнивать, потому что пару лет назад Вера засобиралась в кино без сестры, поехала в центр, посеяла телефон и деньги и не придумала ничего лучше, чем стопануть машину. Разумеется, не было удивительно, что водитель довез ее до дома, потому что всяких психов, как ни крути, все же довольно низкий процент, и требуется, все же, роковой случай, чтобы с ними совпасть, но сама вероятность того, что Вера могла и не доехать, не то что ужасала, даже слова не было, чтобы описать этот взгляд на вероятную пустоту всего того, что могло произойти. На это примчался, бросив все дела, даже Владимир (в травматологию, например, он не стал спешно собираться, а только чуть позже заценил свеженький гипс), Владимир и Лена, сами себя накручивая, орали на воющую от страха Веру, пугая ее, может, почище, чем сделал бы это гипотетический маньяк, в подвале которого Вера могла оказаться.

Массажистка, которая появлялась каждые полгода, чтобы править появившийся у Веры сколиоз и как раз попавшая на то, что можно было назвать эхом этого скандала, с восхищением глядела на затылок массируемой девочки и смеялась. Впрочем, тогда, как бы устав уже ругаться, смеялись уже

все. «Если так все будут делать, халтуры не останется, – сказала массажистка. – Ты давай, Верка, осторожнее, рановато ты мужиков на тачках пытаешься склеить, хоть баллончик с собой бери, не знаю». Она же рассказала, как сын знакомой поехал на дачу к бабушке, что делал уже многократно, но так и не доехал, уже несколько лет так его никто и не видел. «Почему-то всегда что-то если происходит, то не там, откуда, вроде, должно прилететь, а вообще непредсказуемо, хотя потом думаешь, что именно там и не доглядели, – сказала массажистка. – Анька, ты-то как? Все такая же тихая и серьезная, или просто копишь, чтобы потом под конец школы выдать?»

Да, Аня. Володя как-то заметил: «Все Верка и Верка, она у нас себя не чувствует, как Лелишна из рассказов Зощенко? Не будет проглоченных металлических шариков в итоге?»

Лена не знала. Так и ответила. Вокруг Веры, правда, имелась всегда эта суета, беготня, связанная то с очередной какой-нибудь травмой, будь то ожог, сотрясение мозга, вывих, загноившаяся царапина, полученная от уличной кошки, то с музыкальной школой, с каким-нибудь очередным отчетным концертом или подготовкой к очередному школьному празднику, для которого Вера что-нибудь разучивала. Аня, с ее тихими увлечениями вроде посещения изостудии, вечерними зависаниями над альбомом в попытках перерисовать персонажей из мультфильмов и аниме как-то стушевывалась на фоне сестры. Видимо, двоюродная сестра Лены Ане очень нравилась, потому что Аня, подражая ей, решила учить какой-нибудь из восточных языков, хотя явно не без влияния аниме, решила она учить японский, но решительно отвергала все советы родных и близких заняться этим серьезно, т.е. пойти к репетитору, так что выглядело это просто как безобидное баловство, а не настоящие упражнения в японском. Лена знала, что сама была такой тихушницей, она видела, что Аня – проекция ее самой, поэтому подозревала в ней все эти завистливые мысли и некоторую враждебность к другим людям, которые посещали ее в детстве. Лене это совсем не нравилось в дочери. Она пыталась показать Ане, что любит ее, потому что на самом деле любила, просто возможностей показать ей, что так же, как к Вере, она может мчаться в больницу, так же, как Вере, может менять повязки, сидеть у ее постели, у Лены не было. Однажды, когда Вера лежала в больнице с аппендицитом, Лена посмотрела с Аней японский мультсериал про девочек-убийц. Единственное, на что хватило любви Лены к Ане – это не запретить дочери смотреть эти сериалы сразу же после того, как все эти нарисованные девочки, за вычетом одной (умершей по ходу сюжета), исполнили в конце «Оду радости» Баха. Лену отчего-то потрясло, что это была именно «Ода радости», она пробовала изобразить энтузиазм, когда дочь повернула к ней восторженное лицо, стала объяснять про начинающую и заканчивающую сериал музыкальные темы. Сама себе не в силах объяснить, почему увлечение дочери так ее оттолкнуло, Лена попробовала прикинуться заинтересованной, однако Аня все поняла и просто перестала смотреть аниме, если Лена была дома.

Это была такая растущая трещина между ними двумя. От Владимира Аня почему-то не требовала понимания, любила его и все, это чувствовалось по тому, как она постоянно лезла к нему на руки, по тому, что она с охотой кидала ему вконтакте фотографии своих рисунков, а Лене даже и не пыталась их показывать, когда заканчивала. «А всякими влюбленностями она с тобой делится?» – спросила она как-то Владимира. «Вот этим – нет, – ответил он, – нету у нее, походу, ни сенпая, ни куна, ни онии-чана, или есть, конечно, но где-нибудь в глубинах, так что она сама себе не признается». «Ну а Женька?» – «А что Женька? Мне кажется, какая-то загадка должна быть в том, кого в таком возрасте любишь, тем более Аньке загадка какая-то нужна, нужно и самой из себя тайну состроить, а тут, знаешь, приходит такая вот наглая харя, вроде кота, распинывает валяющиеся носки и трусы в комнате и садиться за комп, и очаровывай, не очаровывай его – без толку». «Не скажи, – ответила на это Лена, – у них с Верой бывают такие моменты борьбы, ну ты понимаешь, иногда даже неловко, потому что они думают, что ты не знаешь, к чему это, а ты знаешь. Причем Вера ведь это все начинает, лезет к нему. Ужас, короче, иногда, прямо порой прикрикнуть приходится, потому что по Жене видно, как это на него действует. Может, Аня ревнует, но по ней не поймешь. Тебе она никак не обмолвилась?» «Так она вся в тебя, хрен она обмолвится, – написал Владимир, – она ведь больше с Олькой секретничает. Тут тоже такой момент ревности имеется, не ты одна чувствуешь, что дочь с кем-то другим лучше общается, чем с тобой».

Благодаря тому, что Владимир ускакал к другой женщине, у близняшек появилась старшая сестра – дочка Марии от первого брака. Можно было по-всякому относиться к Марии, к Владимиру,

к Никите, но к Ольге – этой самой девочке – Лена пусть и хотела, но не могла ощущать злости. Ни почему, просто не могла и все. Даже в то время, когда все чувствовали эту напряженность, что возникла через поступок Владимира (а Ольге тогда было лет тринадцать), она одна, похоже, сохраняла рассудительность, большую, чем у Лены, Марии, Владимира и его родителей вместе взятых. Это вот умение принимать все, что произошло, без рефлексии, готовность жить с тем что есть, принимать всех, кто оказался рядом, без вражды, без подростковых заскоков, не демонстрируя эту рассудительность, а просто как-то успокаивая всех одним своим присутствием, вот что в ней было. Лена помнила, как готовилась к первой встрече с ней, представляла, как Оля будет демонстративно сюсюкаться с близнецами, показывая, какая она хорошая сестра, заранее Лена представляла отвращение от этого сюсюканья, проигрывала в голове варианты их возможного разговора, где Лена обязательно должна была спросить про учебу, а Оля засмущаться, а Владимир ответить за падчерицу, что учится она нормально. Вообще, придумывая все это, Лена не представляла, что это будет, она боялась сама начудить что-нибудь, ляпнуть что-нибудь злобное про Марию, чтобы Оля покраснела, придумав грубый ответ, но не решаясь произнести его вслух или запоминая эти злые слова про мать, чтобы передать ей эти слова позже (А Мария, услышав, заметила бы вполголоса: «Вот стерва» или «Вот ведь сука»).

Оля назвала Владимира папой, и сказать, что Лену это покоробило – это не сказать ничего. Но покоробило только единожды, при первом употреблении во время свидания в пиццерии. Оля так стремительно проломала лед между собой и Леной, что дальше это «папа» и «пап» казались уже естественными, потому что, ну, как иначе она могла его называть? Когда они сели за столик, Оля расположилась рядом с Леной, напротив Владимира, так что он даже заерзал, будто ожидал обратного, словно хотел совместно с Олей сверлить Лену в четыре глаза, смотреть, как она будет на это реагировать.

Возможно, симпатия к Оле возникла и из-за того, что Лена была учителем и прикинула Олю к классу, почему-то к боковому ряду, ко второй или третьей парте, и то, что она представила, Лене понравилось. Было видно, что Оля спокойная и при этом веселая девочка, из тех, у кого нет проблем со сверстниками, а если имеются неприятности дома, вроде тихого алкоголизма родителей, то об этом никак не догадаешься, пока такое не выплывет наружу, если вообще выплывет. Оля не влезала между Леной и дочерями, не пыталась первой вытереть из измазанные едой руки и лица, но когда все стали собираться, пока Лена одевала Веру, Оля деловито и быстро всунула в комбинезон Аню.

С тех пор, когда случался у Лены разговор с Владимиром по телефону, Оля всегда просила передать привет, иногда Лена просила.

Если близняшки росли с одной стороны незаметно для Лены, а с другой вмещаясь во все большие размеры одежды и обуви, Оля, не меняясь будто, оставаясь все той же девчушкой, стала водить машину, закончила университет, стала менеджером какой-то торговой сети, снимала квартиру, каталась по командировкам и, если верить ее словам, наводила ужас на филиалы в области. «Ох, елки-палки!» – восхищенно подумала Лена, когда Оля прислала ей фотографию с праздничного корпоратива, где макияж, облегающее длинное платье и серьезный молодой человек сбоку делали из Оли такую взрослую тетеньку со взрослыми делами. «С ума сойти, – написала Лена ей тогда. – Я тебя помню девочкой в болоньевой курточке, которая всегда волосы за ухо заправляла». «Ой, да, точно, я это делала, чтобы новые сережки все увидели. И неважно, что никто ничего не говорил, мне казалось, что вот увидят и подумают, до чего красивые сережки, мне этого хватало, этой мысли», – ответила Оля.

Являясь уже достаточно взрослой, но еще не настолько, чтобы отвлекаться на своего мужа и своих детей, периодически окунаться в предчувствия приближающейся старости – Оля была таким связным между Леной, Владимиром и близнецами. Насколько Лена могла понять, Ане было пока не до влюбленностей, по словам Оли, Аня пока находилась в состоянии поиска предмета для подражания и безоговорочного восхищения. Лена, очевидно, на эту роль не годилась никоим образом. Аню восхищали две женщины. Одна из них была двоюродной сестрой Лены, сестру эту закатило в итоге в Норвегию, где она помогала вербально сцепляться разноязычным торговым партнерам, была она уже и замужем, имелась у нее уже и пара разнополых погодков, и муж имелся из местных, норвежских. «Культурные барьеры – сила, – объяснила сестра свой выбор. – Родное посконное-то вот оно,

на виду, ты и сам в него слегка погружен, а тут любую выходку можно традицией объяснить. Это успокаивает».

Второй женщиной оказалась Ира, сестра Олега, подсадившего Лену на стишки. Ира осела в Германии, была не замужем, занималась архитектурой по работе, живописью для души, казалась цельной, достигшей всего, чего хотела, но при всем этом первой нашла Лену и попросилась к ней в друзья, через нее же подружилась вконтакте и с Владимиром, и с девочками, и с Лениной сестрой. Живость и уверенность в себе сестры Лены не шли ни в какой сравнение с уверенностью и живостью Иры, которая не ленилась, прилетев, допустим, по делам в Москву или Петербург, заскочить на несколько часов и в Екатеринбург и даже Тагил (и передала привет от Олега, и подружила с Олегом в сети, но он особым поклонником интернет-общения не был, кажется, его больше прельщал «Мир танков»), постоянно созваниваясь и чатясь со всевозможными друзьями, до которых не могла дотянуться рукой или голосом.

Лена не желала ехать к Ирине в гости, потому что это было или долго (поездом), или страшно (самолетом), это не помешало Ире вытащить к себе пару раз близняшек и Ольгу, там она затянула их в такой вихрь поездок и экскурсий, что даже Вера, когда они вернулись, отсыпалась почти сутки. Кажется, Аню зацепило в Ире именно это: даже занимаясь рисованием, быть как Вера, просто не знала, где этому научиться. «Тетя Лена, если вас это утешит, то ведь она на меня тоже не особо равняется, – ответила Ольга в ответ на грустные реплики Лены. – Но мне самой интересно, как у нее это все будет. Если у нее хватит наивности мне сообщить, я и папу введу в курс дела, и вас». «Сама-то как?» – спросила Лена. «Ой, да есть один, но там все сложно», – отвечала Ольга.

«Интересно, что это будет, – написал Владимир за сутки до дня рождения Никиты. – Даже Ольга не знает, наверно. Скажи ты ей, а?» «Мне это все вечером встречать, – пояснила Лена. – Давай уж как-нибудь сам. Ты довольно решительный был, когда уходил, не сильно стеснялся в выражениях». – «Вот злопамятная ты, Лена, правда, ну что это? Когда это было-то? Мало ли что Маша учудит? Она может. А если отменить?» – «За что она тебя выгнала, Вова? За трусость?» – спросила Лена.

Владимир, судя по всему, несколько раз набирал и стирал ответ, затем все же отправил: «Не поверишь. Просто так. Говорила, что надоел. Что не хочет со мной стареть. Что со мной неинтересно. Что когда видит меня такого неинтересного и разваливающегося, ей самой кажется, что она неинтересная и разваливающаяся. Я ей, какая скука после десяти с лишним лет, не о скуке уже нужно думать, а чтобы просто жить. Ну, короче, лучше бы я этого не говорил, потому что она еще сильнее взвилась. Там, что бы я ни говорил, все против меня повертывалось. После этих вот слов она докопалась, что я ее в старухи записываю раньше времени, а она еще ого-го, что на работе ей не устают комплименты делать. Когда после этих слов я сказал, что не сомневаюсь, что делают комплименты, ей сарказм послышался в голосе, все по-новой закрутилось».

«Я уж ее спросил, – добавил Владимир, – давай, какой я тебе нужен, давай, попробую измениться. А она, типа, мне нужен не ты – и все. И стала по нарастающей кричать: “Не ты, не ты, не ты”. Затем мне по морде залепила. Ну, я понял, что тут как бы слова бесполезны. Тут как бы или по старинке оглоблей ее погонять вокруг дома, пытаясь доказать, что в этой пещере я главный неандерталец, ну, или по-современному, без насилия сваливать, пока она сама себе не навредила».

Лена не ощутила радости от такого конца очередного брака Владимира, но все же не смогла не ответить:

«Зато как весело, обрати внимание. Со мной же, насколько помню, тебе скучно было».

«Лена, ну не в этом дело, – набрал Владимир. – Ну в другом причина совершенно. Люблю я ее, понимаешь ты это? Ты же кого-то любила? Не меня – это точно. Но кого-то же».

Владимир был прав, но это было обидно, поэтому часть правоты этого высказывания можно было проигнорировать.

«С чего ты взял, что не тебя?» – спросила она.

«По-другому все это выглядит, Лена, – ответил Владимир. – У меня же было ощущение, что я только с частью тебя живу, а есть еще одна Лена, у которой неизвестно что творится. Будто у тебя вторая жизнь есть, более интересная, но ты мне ее не показываешь. Да хоть бы раз ты сказала, что некоторые книжки, которые я читаю – параша полная, а ты вот с этой вежливой миной слушала меня, ну, это ни в какие ворота». «То есть, я еще и виновата, что ты читал всякую муру?» – удивилась Лена.

«Я и сейчас ее читаю, неважно. Дело в отношении. Дело в том, чтобы просто сказать, что думаешь, а не таить, не кроить физиономию сноба, когда тебе что-нибудь говорят, и при этом молчать или вежливо смеяться, как над слабоумным. У меня ведь, Лена, на самом деле не выявлено задержек в развитии, я ведь, Лена, руковожу людьми, как-то они меня ухитряются уважать за что-то. Ты же холодная была, даже непонятно было, зачем ты согласилась на это замужество, ну, правда».

«Так вышло просто, – ответила Лена. – Много всего совпало. Дура была – раз, поэтому почему-то боялась умереть в одиночестве, у меня просто знакомого в Тагиле только спустя несколько дней в квартире нашли, не хотела так. Плюс еще мама номер отколола, так что до сих пор не понимаю, что это вообще».

«Мама у тебя, конечно, да», – после долгой паузы ответил Владимир.

«А затем ты то же самое, в принципе, устроил, что и мама, – поддела Лена. – Теперь хотя бы знаешь, каково это. Теперь можем на равных разговаривать».

Он послал ей сначала смеющийся до слез смайл, а затем эмоджи в виде аплодирующего котика, а потом добавил: «Туше».

По словам Владимира, в первый вечер разлуки с женой он просто напился коньяка и отрубился с мыслью, что Мария одумается. Во второй вечер, когда выяснилось, что Мария никак не поменяла своего настроя, Владимир снова напился все той же бутылкой коньяка, второй ее половиной. Когда на третий день стало ясно, что все серьезно и неотвратимо, Владимир понял, что никакой печени не хватит ему так переживать, что алкоголя он уже не хочет. Наступил у него период листания телеканалов, но и это надоело, тогда он, возвращаясь с работы в свою, купленную еще до брака с Леной квартиру, ложился на кровать, глядел в потолок и сидел в интернете с телефона, лайкая все, до чего мог добраться, ввязываясь в политические споры, так что лишился нескольких друзей и со стороны патриотического лагеря, и со стороны либерального.

«И сколько это вообще длится-то у тебя?» – не удержалась Лена, потому что кризис Владимира показался Лене многомесячным.

«Шесть дней» – ответил Владимир. – Но вот мысль, что многие люди путают свою мизантропию со своими политическими убеждениями – это ведь не от депрессняка. Сейчас думаю, может, ММО какую поставить, один хрен по вечерам делать нечего, а там такие же, как я, сидят небось под пиво, вступлю в какой-нибудь клан, буду за жизнь тереть с другими пузатиками».

«Тебя и оттуда попрут», – предрекла Лена.

«А ты как справлялась?»

«Прекрасный вопрос! – ответила Лена. – Когда школьные дела, то бегаю вся в мыле, так что особо не до рефлексии, а когда совсем тяжко, стишками ставлюсь».

Она сама не поняла, зачем это написала, только в момент, когда сарказм таким вот образом разыгрался, она уже не могла остановиться. Это была такая попытка сказать хоть кому-нибудь правду, не опасаясь, что подобное выльется в разборки, что в такое Владимир поверит. Он и не поверил:

«Ага, ага. Еще скажи герычем. На учительскую зарплату. Ну, серьезно».

«Нет, давай уж сам», – ответила Лена.

Стишки не были заброшены вместе с окончанием торговли ими. Иногда Лена ненавидела себя, когда отвлекалась на их сочинение, в то время как дочкам требовалась помощь, когда становилась рассеянной в поиске слова вместо того, чтобы проявить участие. Когда с нетерпением ждала, чтобы дочери уснули или ушли, чтобы продолжить сочинять, или ненавидела учеников и свою работу, потому что они отвлекали от очередного текста, когда нужно было заниматься школьными бумажками, проверкой уроков, курсами подготовки к ЕГЭ, ловить поэтому текст буквально в воздухе по пути до магазина и дома. Никакой речи о попытке поймать свою «Рождественскую звезду» не было уже. Появился просто навык для обычного прихода, когда сам стишок не нужно было даже записывать куда-то, обычное какое-нибудь восьмистишие. Имелась у нее папка в запароленном ноутбуке, куда она сбрасывала в один документ то, что казалось ей если не многообещающим, то хотя бы не безнадежным для поисков в периоды, когда реальность не отзывалась ни одним интересным словосочетанием, была молчаливой, как для остальных. Там же порой оседали готовые тексты.

Речь пыталась зацепить как-нибудь Аню и Веру, затащить к себе, внутрь хотя бы одной вещи. Неизвестно зачем это было нужно речи, но Лена раскусывала эти попытки своей стиховой спо-

собности и пресекала их даже во время сильной ломки. Любые намеки на что-то двойное, намек на знак зодиака, каре Веры или косу Ани, на их увлечения, на музыку, которую играла Вера (Лист был исключен из текста), акварелям и карандашам было запрещено появляться в стишках, но все это пыталось быть использовано речью, иногда даже с иллюзией безальтернативности, как бы с насмешкой, что другие слова здесь не встанут, а если встанут, то прихода не будет. Отражения и двойники, параллели и отпечатки. Лена не понимала точно – суеверие ли это, придуманное ей самой на основании пережитых впечатлений, либо уже тихое безумие, просто у Блока она не встречала в романах этой приметы, его герои тащили все в койку и в стихи, вообще не сомневаясь, что у подобного могут иметься какие-то последствия. В романах никаких последствий и не наблюдалось, за исключением совсем обыденных, вроде попытки прочесть свеженькое городовому и отсыхания в участке, накуривания стишком племянника и дальнейших скандалов с родственниками.

«А вообще, Ленка, интересно у нас получилось, – отозвался Владимир примирительно, – люди обычно же как-то сначала дружат, затем влюбляются, потом женятся, затем друг друга ненавидеть начинают, потом разводятся, а там, если повезет, снова дружат хотя бы. А мы сначала расписались, детей завели, затем стали неприязнь испытывать, а теперь дружим. Сильно странно все это, согласись».

«Про неприязнь ты это смягчил, конечно. Я тебя на самом деле ненавидела, да и сейчас иногда накатывает, когда ты там милуешься со своим чадом, но в целом, да, забавно у нас вышло, интересно даже, чем это все закончится».

После этой его реплики они замолкли на сутки друг для друга, такой режим радиомолчания у них наступил меж двумя аккаунтами.

«Мама, поехали с нами», – предложила Вера, заметив, что озабоченность матери выше той, которая сопровождает обычно собирание в гости, всю эту возню с прическами и одеждой. «Молчи вообще, ужасная девочка», – отшутилась Лена. За несколько дней, что прошли с момента перелома, Веруня ужасно уделала гипс: он был серый и напоминал уже какую-то просто половую тряпку, намотанную на руку. Как-то сама собой, не высказанная никем, возникла мысль обновить гипс бинтом поверх, бинта на даче не оказалось, посланы были за ним одновременно Аня и Женя, точнее, послана была Аня, а Женя, раз уж все равно крутился тут чуть ли ни с девяти утра, послан был тоже. Оба сгинули на час, при десяти-то минутах езды на велосипедах туда и обратно. Лена звонила Ане, Аня говорила, что едет, но все, вот, никак не приезжала.

Неторопливо оба гонца зарулили в калитку, вид у них был такой, будто они поймали и загрызли осьминога или каракатицу. «Вы черемуху ели, что ли, возле дороги? – догадалась Лена. – Молодцы, че, ничего не скажешь». И добавила с медоточивым сарказмом, какой выработался у нее как-то сам собой за годы родительства и работы: «Может, ты, Женечка, уже проголодался с дороги, может, тебе еще раз борща налить?»

Затем постепенно все более-менее улеглось, Веру сунули на веранду, запретив двигаться с места, заново собранная Аня усажена была перед телевизором, к Ане был подсажен Женя, но ненадолго, потому что Лена, пытаясь закончить стишок у себя в комнате, увидела Женю сначала на велосипеде, едущим по садовой дорожке, затем, хватившись, что в доме возникла подозрительная тишина, обнаружила его на крыльце, играющим в «Хартстоун» на телефоне, а после, встревоженная перекрикиваниями между Женей и дочерями, увидела, что он несет коробку сока с трубочкой, направляясь к веранде. Вера прикрикнула нагло, как чайка, и Женя без раздражения ускорился. «Господи, они будто уже расписаны, у них уже будто трое детей и общая ипотека», – подумала Лена, но прикинула, как бы не забыть и выговорить Вере, что такое змеиное поведение никуда не годится.

Отвлеченная писаниной, Лена пропустила приезд Ольги, только запоздало отметила, что да, характерно хрустели под шинами камешки подъездной дорожки, а по окну скользнуло пятно солнечного света, отраженного от автомобильного стекла. Лена вышла в пытающуюся не стать суетой суету окончательных сборов на праздник. Женя уже тащил коробку с подарком, переступая через Анины подножки, Вера шла к Ольге характерной своей слегка подпрыгивающей походкой, вместе с каждым шагом на ее плечах подпрыгивали лямки сарафана, а волосы на затылке мотались влево-вправо. Каждый раз видя, как ведет себя это каре, когда Вера куда-нибудь движется, Лена непроизвольно думала: «Хоп-хоп, хоп-хоп». Свободная от гипса рука была занята зато телефоном.

Ольга уже курила какую-то сигарету из тонких, улыбнулась Лене и радостно поздоровалась с ней, при этом успела поймать Женю одной рукой и как-то там потрепала ему то ли нос, то ли щеку, потом последовали обоюдно однорукие объятия с Верой, поцелуй почти без наклона старшей к младшей, по той причине, что близняшки были рослые и очень быстро догоняли как бы сводную сестру в росте, обнимашки с Аней и поцелуй, который, как показалось Лене, мог быть и покороче. Аня еще утром надела джинсы, да так их не сняла – начала стесняться своего тела, хотя еще и тела никакого не было, стыд перед возможными изменениями пришел к ней раньше, чем сами изменения, настолько вот она была предусмотрительная.

Женя, с приятной Лене деликатностью, попробовал незаметно уйти к выходу и пропасть, а Ольга весело предложила ему закинуть велосипед в багажник и проехаться с ними до его дома, Женя вроде бы заотнекивался, но сразу было понятно, что согласится – тотчас как Ольга к нему обратилась, в глазах его промелькнула радость или что-то вроде любопытства. Словно ища одобрения или подтверждения некой своей невысказанной мысли, Ольга взглянула в сторону Лены, так по-доброму широко улыбалась при этом, что Лена поняла – Ольга ничего не знает, и будет очень нехорошо, когда узнает, а еще хуже, когда Володя проболтается, что Лена знала обо всем очень давно. Терять именно это утро, этот день, не хотелось, не хотелось и портить праздник своим девочкам, хотя бы его начало, поэтому она улыбнулась тоже и только махнула рукой: «Езжайте уже, господи».

Стишок в голову не шел, к ноутбуку совершенно не было смысла даже подходить, первое, что сделала Лена, когда осталась одна – написала Владимиру, какая же он скотина, Владимир не ответил, его даже в сети не было, сгоряча Лена набрала его номер, но абонент предусмотрительно был вне зоны доступа, так что высказать ему, чтобы он поменьше распускал язык, было невозможно. В ярости Лена принялась убираться, начав спальней близняшек, где они как бы поддерживали порядок сами, но все равно стояла на подоконнике литровая банка с позеленевшей водой и высохшим до состояния какого-то ведьмовского снадобья букетом, пыльно было под кроватью Веры, фантики лежали возле компьютерной клавиатуры, и две пустые бутылочки из-под «Пепси» прятались за монитором. В складки кресла был засунут дырявый носок Жени с узором из перемежающихся черепов и костей, туда же куда-то был засунут изрисованный и забытый скетчбук (а на деле что-то среднее между блокнотом и альбомом, просто чуть дороже, чем блокнот или альбом). На кухне тоже творилось что-то не совсем ужасное, но знаковое, так, например, из трех тарелок после завтрака вымыта была только одна, и, скорее всего, вымыл ее за собой Женя, была вымыта и его кружка. К счастью, мусорное ведро никто не догадался выбросить, и Лена отвлекла себя от мыслей о дне рождения походом до садовой свалки, а там и разговор с соседкой состоялся через сетчатый забор, говорить было не о чем, поэтому поговорили о погоде, о том, что жара стоит невыносимая, но хорошо, что с дождями каждые четыре дня, и встретились еще родители одного из выпускников, безуспешно пытаясь всучить миску садовой земляники за высокий балл ЕГЭ, а на свалке Лена увидела ржавый коленвал, как-то еще не подобранный никем на цветмет, и текст попытался связать сравнение его с челюстью, с прикусом (слово прикус понравилось ей особенно) и недавно подобранный где-то неуверенный факт, что просодией назывался когда-то танец, сопровождавший стихотворение. Ничем это, впрочем, не кончилось, только переусложнило и без того переусложненный до состояния лабиринта черновик, но, хотя бы, отвлекло Лену на какое-то время, и теперь не только к Владимиру она чувствовала неприязнь, но и к себе – за ужесточающуюся ломку и невозможность сочинить выход из этой ломки. Все более сердясь, она прошла с пылесосом по двум этажам дома, психуя от того, что на самом деле-то оказалось, что большая часть комнат не используются вовсе, что когда-то жадно погорячилась, придумав каких-то многочисленных, постоянно гостящих на даче друзей, которые должны были появиться со временем, а так и не появились. Приезжали иногда родители Владимира, будто отрываясь сердцем от собственного сада, дядю приходилось вытаскивать в гости, постоянно разубеждая его, что храпит он не настолько сильно, чтобы слышно его было во всех частях дома, плюс, если он приезжал и был алкоголь, то дядю сильно после пары бокалов тянуло на исповеди и покаяния, а его особенно любимой темой было то, что ближе к смерти жены он чувствовал уже усталость от нее, больной, и к горю его примешивалось еще и облегчение, когда она все же умерла. Как ни странно, каждый раз слыша эту историю, Лена вовсе не раздражалась, а чувствовала, что ее встряхивают для чего-то, как бы напоминают, что когда-нибудь этакое может

произойти и с ней, да что когда-нибудь? такое могло произойти в различных вариациях в любой момент, с кем угодно вокруг, и с ней тоже, поэтому она чувствовала к дяде с каждым разом все больше жалости, раз он пытался выговориться много лет подряд про этот случай, а все никак не мог. Прямо Лена о жалости не говорила, боясь его как-нибудь обидеть, надеялась, что дядя сам все понимает, раз она не перебивает его и не отвлекается.

Думая, что отчасти дело в другом напряжении, а не только в стишке, Лена полезла в душ, потратила всю горячую воду нагревателя на фантазию, почему-то с Олегом, так что в конце мелькнула даже мысль: «Блин, какой бред!», не выходила из-под холодной воды, в надежде, что озноб притупит желание стишка, но это работало не сильнее, чем зажевывание «Орбитом» тяги к сигаретам. «Они придут радостные или не радостные, а я их жрать начну, вместо веселья или утешения», – в самораскаянии подумала Лена. Не без отчаянья стала она смотреть свои старые записи с готовым, но там ничего не пробирало, из-за того что по весне тоже было такое затишье в стихах, и все было затрачено на ежедневное небережливое перечитывание, через это как-то само собой организовались – почти ненужная стирка, а там и дел было – несколько раз бросить вещи в машину и готовка ужина, притом что в холодильнике еще стояли картофельная запеканка и суп, не считая всякой мелочи для перекуса в виде кисломолочных продуктов, яблок и арбузной половины, запеленатой в пищевую пленку. «Спагетти с сыром», – поняла Лена, потому что запеканка была одним из любимых блюд Веры, а она сейчас как бы болела, борщ не был любимым блюдом ни одной из девочек, а макароны любила Аня, но люто ненавидела Вера («Будто кишки на вилке вертишь», – поясняла она неизменно).

В «Пятерочке» недалеко от сада сыра не было, то есть, в принципе, был, но уже в каком-то сомнительном состоянии, такой как бы уже немного адыгейский, только «Российский» выглядел туда-сюда, в макароны бы он сгодился, но в нем Лену выводило из себя его непредсказуемое, очень варьирующееся от раза к разу количество соли. «Кировский» чуть подальше выглядел более замызганным магазином, но уже лучше, чем когда там стояла витрина для готовящейся тут же курицы-гриль и висел ценник, где курица-гриль именовалась курой. Царил в магазине этакий советский торговый мрак, серый каменный пол лежал еще с тех времен, но с продуктами было получше, чем в «Пятерке». По пути в сырный отдел Лена отвлеклась на двух мальчиков, вынутых будто из детского фильма пятидесятых, таких с чубчиками, в каких-то непонятных вельветовых штанах, у одного на голове была даже тюбетейка, они стояли, наклонившись в открытый холодильник с мороженым, и ничего не собирались, кажется, покупать, а просто освежались, на обратном же пути, именно из-за них, минут на десять застряла у кассы, где они выбирали чупа-чупс и все не могли определиться, какой им купить, от финансовой помощи все удлиняющейся очереди они гордо отказывались, завуалированные угрозы и открытое раздражение нетрезвого мужчины с корзинкой «Охоты крепкой» – игнорировали. «У меня трое у самой, – громко сказала женщина-кассир, когда дети ушли, – вроде всегда этот цирк на глазах, но все равно никогда не надоедает».

Солнце показалось особенно тяжелым после кондиционеров магазина, Лена шла так неторопливо, что ротвейлер на поводке успел неспешно сунуть свою харю в намордник в ее пакет, но и раздражение от задержки в очереди, включившееся с опозданием, не успело выплеснуться на собаковода и утянутого в сторону пса, нисколько не застеснявшегося упреков хозяина. Придумалось, потому что ритм совпадал с черновиком:

У меня трое у самой, вроде бы всегда этот цирк на глазах,
Но все равно никогда не надоедает:
Темнота, в которой лежат «Нестле», «Экзо», «Русский размах»,
В которой сонаправленны died и diet –
Все там лежит и направлением совпадает;

Обслуга Киплинга, чопорная, но подвижная, как Маршак,
С английским прикусом и привкусом некой желчи,
Что объяснимо возрастом и фразами «как ишак»,
Междометьями, другими частями речи.

Однако и из этого ничего не получилось, зря только обгрызла маникюр, так что пришлось обстригать и остальные ногти, все уперлось в ржавый коленвал просодии, который должен двигаться, но лежит, но при этом движет словом, в какую-то воронку логического вывода все устремлялось, утекало, как из математического бассейна, но и наполнялось из другой трубы, поэтому текст никак не заканчивался, а только разрастался совершенно бессмысленно.

Духота была такая, что даже открытое окно не помогало, когда кипящая в кастрюльке вода превратила кухню в сауну. «Фу, как тут жарко», – сказала Вера, с ходу определив, где находится мать, закончив у холодильника свое слитное движение по дому, начавшееся ударом всего тела в тяжелую для нее входную дверь и особым легким грохотом сбрасываемых кроссовок. «Фу, какая ты скользкая!» – сказала Вера, проведя пальцем по Лениной руке, Лена покосилась в сторону прикосновения и увидела сухую дорожку на своем предплечье. Лена вздохнула: «Да уж».

«А папы не было, – сказала Вера, будто отвечая на вопрос, – кажется, его тетя Маша выгнала». На эти слова Лена ответила неопределенным выражением лица, с таким говорят не очень удивленное «Ну надо же!» на какое-нибудь исчисляемое знание, почерпнутое из детской энциклопедии, вроде расстояния от Земли до Луны или количества населения в той или иной стране. «Но так-то все нормально прошло, весело было?» – поинтересовалась Лена без любопытства, а поскольку топила в это время спагетти в кипятке, то дождалась только ответа: «Фу, макароны опять», – и один близнец сменился другим. «Оля с тобой хочет поговорить», – сказала Аня. «Передай ей, что сейчас доделаю и приду, недолго уже осталось тут париться». Накатила закономерная тоска, о какой Лена целый день не задумывалась, а именно, что сейчас будут давать советы, либо просить советов, либо желать некого хотя бы обсуждения того, что случилось. Не хотелось опрометчиво нагрубить Ольге, а вместе с этим было желание сказать кому-нибудь что-нибудь резкое, сорвать на живом свою копящуюся досаду и литературную скуку. «Кота завести, чтобы в случае чего “пшть” – и он бежал, уши прижав», – придумалось ей, и стало чуть легче, будто действительно имелось в доме животное и Лена его шуганула.

Разговор стал бы проще, кабы не Вера, висевшая на сидящей Ольге, как холщовая сумка через плечо, не Аня, приведшая Лену в беседку под локоток прохладной мягкой рукой, да так и оставшаяся рядом, а причину, по которой девочки должны были уйти, Лена придумывать не желала; да, это было как бы не их дело, но как опять же не их?

«У мамы опять начался этот дикий период, когда никто ей не нравится, а особенно ей не нравятся нормальные мужчины, а хороши только фрики всякие, от которых мороз по коже, да алкоголики. Еще кажется по наркоману было, один травокур был, другой вроде как кололся, но он сам ушел, хотя мама за него цеплялась не знаю как. Не как за папу, короче».

«О, так это такой разговор, из тех, когда можно вот так вот руку на стол положить и слушать, даже не особо его поддерживать», – догадалась Лена.

«Я понимаю, тетя Лена, что это вас злит немного, а может и сильно злит, потому что воображение у меня есть, и чувство вины частично за то, что мы с мамой натворили, тоже, конечно, есть. Просто раньше поводов об этом поговорить не было».

За злость Лены на нее лично, Ольга, очевидно, приняла то, что Лена, пока Ольга говорила, барабанила пальцами по столу, Лена же убеждалась, насколько укороченные ногти удобнее, как приятно ими стучать.

«Понимаете, она, что называется, сложный человек, – продолжила Ольга, – это такое название корректное для бабы, на самом деле, не знаю, которая постоянно погружена в свои фантазии о каком-то волшебном мужчине, который не обязательно должен быть хорош для окружающих, лишь бы для нее был любимым таким. А чего она хочет, она сама не знает, кого она может полюбить, кроме себя самой – неизвестно. Она ведь заводит мужчину, а сама при этом может шлындать в поисках нового, в поисках идеального варианта, а что там дома происходит – ей пофиг совершенно. Героиновый вот этот наркоман, как ни странно, который от нее сбежал (что не странно вовсе), он еду домой носил, понимаете, тетя Лена, ужин готовил, пока ее дома не было ни вечером, ни ночью, ни с утра, какой-то завтрак мне собирал. Она при этом еще переписывалась с каким-то мужиком из Сочи, потому что всегда мечтала жить на берегу моря, не знаю, или чтобы вид лыжного курорта из окна открывался, и вот этот постоянный конвейер мужиков, вечных каких-то холостяков, странных

каких-то типов, иногда до жути безобидных скромняшек таких между сорока и пятьюдесятью. Раз в неделю очередной хахаль с утра здоровался на кухне или пытался по-тихому с утра свинтить. Не хочу, чтобы это было у Никитки. Понимаете?»

«Так Вова никуда ведь не делся, – отвечала на это Лена, – не думаю, что он тебя бросит, девочек, Никиту, если уж ты так беспокоишься. Сомневаюсь, что Никиту он бросит».

«Она может до такого отчаяния довести, что даже папа может бросить. Он уже, как видите, бросил, ушел, потому что не смог вынести ее фокусов. Вы не представляете, какие люди от нее сбегали. Которым даже идти некуда было, как одному с зоны мужику, который после очередного ее скандала сказал, что из-за бабы больше не сядет, и только дверью хлопнул посильнее, а потом еще под окном крикнул: “Дура!”».

Лена зачем-то представила на месте Ольги кого-нибудь из близнецов, попыталась придумать, что бы они говорили на ее месте, какими словами описывали бы причины Вовиного ухода. В голову ей почему-то пришло только слово «рефрижератор». «Только холодом наружу, вывернутый наизнанку», – она задавила смешок и наткнулась на взгляд Веры, в котором было ожидание ответа. Воображение немедленно вкинуло обрезанный с обеих сторон фрагмент некого действа с цветной картинкой и звуком, но почти без смысла, как бывает при перелистывании телеканалов, в этом отрывке Вера, гневно жестикулируя, говорила прямо в зрителя: «И она никогда почти не слушала, только “угу-угу”, специально нужно было тормошить, и необязательно, если растормошишь, чего-то добьешься, потому что у нее несколько уровней неслушания: очевидный, потом: ой, да, ты что-то такое говорила, потом: сама виновата, нужно было напомнить, и так постоянно, кого угодно это могло задолбать, такое равнодушие!»

Вера продолжала требовательно смотреть, и Лена, отчасти уже злая на нее за этот взгляд, за придуманные ею же самой и приделанные Вере слова, за свою растерянность, потому что до сих пор не поняла, чего хочет от нее Ольга, спросила: «А от меня-то что нужно? Я должна твою маму пойти и переубедить взять Вову обратно? Как-то слабо я это себе, честно говоря, представляю и, честно говоря, не хочу этого делать совсем». А сама подумала, глядя на Ольгу: «Господи, как она все же хороша в этом зелененьком платье, хотя платье так себе, да еще и рукава летом, капец». И следом: «Так, а слово “капец” откуда взялось? Не хватало еще вслух произнести».

Ольга смешалась, явно она готовила убедительную речь по дороге до Лены, или, скорее, не речь, а свои реплики в ответ на возможные слова Лены, а теперь забыла, что должна говорить, если беседа пойдет именно таким путем. Лена, видимо, должна была что-то понять из уже сказанного и сделать какой-то вывод, а поскольку не сделала, то поставила Ольгу в такое положение, в котором лицо ее из-за усилий определиться, что же она теперь должна отвечать, стало таким беспомощным, что казалось более детским, чем серьезное лицо Веры. (Хотя казаться ребенком рядом с Верой было нетрудно, у Веры часто было такое выражение, будто за плечами у нее было две ходки.)

«Нет, ну правда, – Лена попыталась помочь, – у меня у последней нужно спрашивать, как удержать мужа». «Тем более не особо я его и держала. За ботинки, скажем так, не хваталась», – зачем-то юмористически подумала она, и лицо Веры стало сердитее, потому что она увидела этот мимический фокус на лице матери, как бы за секунду до шутки, но без самой шутки, угадала мысль матери, но трактовала ее как-то по-своему – не так, видно, смешно, как сама Лена.

«Нет, я о другом хотела, – ответила Ольга, – мама все же не такая ужасная, как это можно подумать после того, что я до этого сказала. Она меня ни разу не ударила, не особо и ругалась. Никите, если разобраться, сейчас вообще все равно, кто там возле него крутится. Я не об этом беспокоюсь».

«Я больше за папу переживаю, – сказала Ольга, выждав паузу, во время которой Лена должна была, видимо, что-то сказать, спросить, наверно: о чем же там Ольга беспокоится. Хотя весьма интересно получилось. Что бы такое Лена ни сказала, или вот вовсе промолчала, любые слова Лены, кроме совсем грубости или ухода, вели к тому, что Ольга могла продолжать, как придумала, либо придумывала на ходу. «Мне кажется, ему очень тяжело сейчас, – сказала Ольга и прихлопнула комара на щеке, что слегка снизило проникновенность слова “очень”, – он столько всего вложил, столько сил в семью, сами знаете, что он натворил, и так вот его выставили. Мне страшно, что он решит, что никому совсем не нужен, что... глупость какую-нибудь сделает, потому что в этой пустоте оказался, такой подвешенный. Ни туда ни сюда».

Было это так наивно, и глупо так, но так мило, что Лена не понимала, куда себя деть в эпицентре неожиданно накатившей нежности к этой девочке: «Оль, ну что ты такое говоришь».

Лена встречала в своей жизни самоубийц, того же, например, однокурсника. Три ученицы ее школы травили себя таблетками: одна по беременности, две – по причине романтических отношений (одна из этих двух, причем, потому что отношения были идеальные, и она боялась, что это когда-нибудь закончится). Благоверный учительницы музыки задушил себя выхлопными газами в гараже, потому что разрывался между женой и любовницей. Владимир не подпадал ни под один из этих случаев, особенно под последний не подпадал, даже показал, что из такой ситуации есть вполне себе выход и без суицида, и как оказалось, можно спокойно жить дальше, если и маясь, то явно не на людях. Вот эдак, примерно, и высказалась Лена, и Ольга, видно было, что отчасти успокоенная, попросила все же позвонить ему на всякий случай. Лена чуть не ляпнула, что Владимир не берет трубку, Ольга ее, к счастью, и перебила, поясняя, что тоже пересекалась с такими людьми, и вот папа как раз и может сглупить, поскольку он такой бодрячок, а они вот бодрятся, бодрятся, а потом все глядят друг на друга на похоронах и удивляются: почему так получилось, ничего же не предвещало, – и сама затем поведала историю, когда хулиган, жизни не дававший местному ботанику, сиганул с крыши, а ботаник ниоткуда не сиганул, хотя маме и папе все время обещал, что чуть ли не на кубики себя порежет, если к нему не перестанут плохо относиться. «Это по-разному бывает у всех, и это-то и страшно, по-моему, – заключила Ольга, – мама вон тоже травилась пару раз, но всегда очень предусмотрительно, чтобы вокруг люди были. Понятно, что это тоже риск, такая демонстрация отчаяния, и все-таки между тем, как человек тихо глотает там что-нибудь, и тем, что он выходит посреди празднования своего дня рождения и говорит людям за столом, что выпил пять пачек снотворного, есть такая очень огромная разница, по-моему. И у меня симпатии почему-то на стороне первых, хотя жутко так говорить. И еще мне кажется, что папа из первых и есть».

«Он трубку не берет», – сказала Вера, успевшая уже набрать отца.

«Может, съездить к нему? – предложила Ольга. – Я сразу хотела поехать, но тоже ведь неловко, действительно. Ему и так невесело, а тут мы сообщим с улыбками, что считаем его такой мнительной штучкой. Сомневаюсь, что кому-нибудь это понравится, а уж тем более ему».

Тревога проснулась в Лене только ночью. До того, во время беседы, затянувшейся в силу некого, все же, умиротворения, овладевшего всеми, Лена заварила чай, Аня отыскала несколько одинаковых с виду, но различных по плеску, если трясти, баллончиков репеллента, и все стали одинаково пахнуть лимоном, девочки изредка звонили отцу, ничуть не беспокоясь будто, а скорее, соревнуясь. Аня незаметно исчезла для того, чтобы так же возникнуть из темноты и поставить на стол банку с малиной, которую насобирала с кустов, пролезавших из соседнего участка, исчезла опять и включила свет в беседке. Говорили о кино, между делом Ольга, помимо всяких драм, навяливала Лене парочку комедийных сериалов, но Лена, с удовольствием несколько раз отсмотрев «Друзей», которых купила еще на дисках, отказывалась, и всячески выражала скепсис, когда Ольга хвалила дубляж Дениса Колесникова. «А вот мультфильм про ежика в тумане, – сказала Ольга, когда на стол упал мясистый серый мотылек, бархатистый и уютный с виду, но необъяснимо мерзкий своим трепыханием, – там сказки-то, по которой мультфильм, страницы на полторы – две, а столько всего наворочено. Обычно наоборот бывает, обычно в книгах как-то ярче все, а потом в кино многое не попадает». Ненадолго переключились на книги, затем на истории из жизни, которые походили на плохую литературу (случайные встречи, везение, совпадения) больше, чем сама литература, а следом за тем Ольга, неверно, что понятно, истолковав нервозность Лены, засобиралась домой. «Я обязательно к папе заеду и отзвонюсь», – пообещала Ольга, втягивая вторую ногу в автомобиль. Слово «отзвонюсь» она очень смешно сопроводила жестом, как если бы у Лены были проблемы со слухом или она стояла очень далеко. Улыбку Лены в ответ на этот сурдоперевод Ольга, видно, приняла за одобрительную, потому что перезвонила через час с лишним и доложила, что свет у Владимира в квартире горит, но сам он не отзывается на домофонные гудки, а внутрь подъезда попасть невозможно по той причине, что даже во двор не зайти, поскольку поздно уже и никто не ходит ни туда ни обратно, не открывает калитку.

Проснувшаяся ближе к трем Лена с трудом сдержалась, чтобы не вызвать такси, когда набрала Владимира и услышала длинные гудки, а потом набрала еще и еще, не получив ничего в ответ кроме

гудков, и снова набрала, а аппарат абонента был выключен или находился вне зоны действия сети. «В конце концов я могла его просто задолбать звонками среди ночи», – попробовала она успокоить себя и наоборот расстроила еще больше, когда придумала, что Владимиру звонили все родные и близкие, и телефон, лежавший неподалеку от хладного трупа бывшего мужа, разрядился. От мысли о хладном трупе Лене самой стало холодно, она едва не принялась звонить родителям Владимира, и неизвестно, сколько, одного или двух пациентов неврологического или сердечно-сосудистого отделения разом бы получила двадцать третья больница, если бы Лена себя не сдержала.

Неизвестно откуда подкатили слезы. В один момент просто Лена неосторожно пошевелилась, будто нерв какой-то задела в шее, и они обильно полились сами собой. «Господи, господи, господи, – подумала она, не зная уже, что делать, кроме какой-нибудь глупости, лишь бы скорее это все разрешилось благополучно, – если сделаешь, чтобы с ним все хорошо было, никаких больше, ни строчки не напишу, не знаю, блин, его долбанного ребенка приму как своего, баюкать буду, песенки ему буду петь, не знаю, что там еще нужно сделать, только пускай Вова будет живой». Подумав, что в последний день жизни Владимира она занималась стишком вместо того, чтобы поехать к нему еще днем, как-нибудь задержать его в этой жизни, Лена ощутила одновременно стыд и ужас. «“Ежика в тумане” обсуждали, чай пили, капец, капец».

Не зная, как себя занять до утра, не желая будить и пугать дочерей, и в незнании этом сначала походив по комнате, постояв руками в холодной воде над раковиной в ванной, вдоволь наглядевшись на себя, страшную от недосыпа и внезапной бессонницы, в зеркало над полочкой с зубной пастой и зубными щетками, Лена внезапно успокоилась. Ужас выключился сам по себе, осталась только ночная вот эта бодрость, которую нужно было куда-то деть до того времени хотя бы, когда все разрешится.

«Про кого там Оля говорила?» – вспомнилось Лене, когда она прикинула, что в домике нет алкоголя и снотворного. Она вернулась к ноутбуку и полезла по торрент-трекерам. Первый в поиске «Яндекса» до одури напугал антивирус, так что несколько минут подряд лезли на экран сообщения о бог знает каких угрозах. «Давай, заплачь еще», – прошептала Лена антивирусу не без скепсиса и все же поймала себя на том, что иногда вздыхает, как от сильного волнения.

Начало сериала, пущенного сначала на полной громкости, с последующим торопливым стуком в несрабатывающую, как на грех, кнопку пробела, удушением динамика до предсмертного шепота, Лену слегка разочаровало. Два тридцатилетних мужика пришли сдавать сперму и застеснялись, затем один из этой парочки, напоминающий недоделанную копию Владимира, повстречал соседку по этажу. «И все заверте... – мелькнуло у Лены. – Сейчас будут обхаживать друг друга десять сезонов, пока не затрахают и себя, и зрителя. Понятно, в первом сезоне жениться не комильфо, но во втором можно, а потом жить себе, блин, спокойно».

На третьей серии ноутбуку пришлось добавить громкости, потому что птицы – не вороны, не сороки, не воробьи, а какие-то загадочные утренние птицы, которых Лена никогда не видела, а видела только ворон, сорок и воробьев – начали заглушать актера дубляжа, говорившего за всех персонажей на разные голоса. Позвонил Владимир, и Лена с облегчением взяла трубку.

«Чего хотела?» – поинтересовался Вова как бы даже игриво.

Почему-то даже накричать на него не хотелось, вообще не интересно стало: есть такой человек, нет, умер или живет где-то. «Да просто на телефоне уснула, случайно набрала», – сказала Лена, спеша закончить разговор, но Владимир успел вставить: «Думал, Маша позвонила, а потом с досады выронил телефон на стену случайно, пока старый нашел в шкафу, то да се».

«Ну, молодец», – равнодушно похвалила Лена, сбросила звонок, сходила на кухню, вскипятила воду, сделала себе кофе, закрыла проигрыватель и открыла «Word».

Глава 7.

Поэтому так некрасивы праздники и приметы

Ну, то, что получилось с мамой, было закономерно, что уж тут. Лена в общих чертах понимала, чем все закончиться, еще за несколько лет до того. Еще когда позвонил новый мамин родственник, вроде как великовозрастный пасынок, и сообщил, что мама серьезно больна. «На голову?» – не

смогла удержаться Лена, и у раздражения ее была причина в тот момент, что-то бытовое, неимоверно раздражающее за короткое время, но и тут же забывающееся, да и в целом Лена считала, что имеет право на такой вопрос после всего. Со стороны собеседника послышалось осуждение, в ход пошли фразы «рожала в муках», «все-таки мать – это святое», «даже совсем отморозки, и те», «бывает, детдомовцы находят маму и помогают», «ночей не спала», «попросить прощения». Лена так поняла, что должна извиниться перед матерью, поэтому спросила, как зовут звонившего, звали его Николай. «Коля, идите, пожалуйста, лесом, – попросила Лена, – вы, очевидно, совершенно ничего не знаете». В оставшийся отрывок разговора Николай успел вставить слово «неблагодарность».

На следующий день Лене позвонила женщина, мамина падчерица и, в той или иной вариациях, повторила те же фразы, что говорил Николай, только если мужчина произносил их сурово, как некую выстраданную по лесоповалам правду, то женщина оскальзывалась в умилительные и слезливые интонации, отвращавшие Лену от матери еще больше. «Мама одна!» – сказала женщина, на что Лена не могла не ответить: «Логично».

Почему сразу не позвонил убедительный новый мамин муж – непонятно, может, взрослые посчитали, что дети должны разобраться друг с другом сами, как-то познакомиться и подружиться, вроде как в песочнице, но у Петра Сергеевича, так он представился, почти сразу же нашлись нужные для Лены слова, когда она вспылила на очередной звонок очередного маминого миньона. А возможно, и не слова были так уж верны, сколько спокойный голос, очень усталый и добрый, какой бывал у отца, каким Лена его себе помнила, или представляла, что помнила. «Да все я понимаю, – сказал он, – вы обе очень сильные, вот и вся недолга. Нашла коса на камень. Она сама и не хочет тебя видеть, честно говоря, это уж с моей стороны хулиганский поступок такой. Как-то не хочется, чтобы вы до конца ее жизни грызлись, или чтобы она вот так тебя не принимала почему-то. Очень уж резко у нее все получилось. Она, по-моему, боялась, что я на тебя западу, не хотела конкуренции, господи, глупость какая. А когда смотрел, как она с нашими внуками возилась, думал, ну ведь еще есть внуки, зачем себя радости лишать? Ну, вот так как-то и получилось все глупо. А теперь – вот».

«Я не верю, что получится», – ответила Лена. «Так и я не особо верю, – сказал Петр Сергеевич, – ну вот бывают такие моменты, когда делаешь все зря, а все равно делаешь, для собственного спокойствия хотя бы. Не мне бы, правда, советы давать, тоже, знаешь, если бы сам себе сейчас позвонил в прошлое, то там очень сомневаюсь, что какое-то понимание встретил бы. Так я и сейчас в прошлое как бы звоню в данный момент, замаливаю грешки, и у меня, причем, не было тех причин для того, чтобы горячиться, а у тебя есть. Как ты справилась-то вообще?»

«Сейчас вроде бы и не кажется, что как-то справлялась. Больше такая проекция, попытка посмотреть, что было бы, если бы так же с дочерями своими поступила. Как они жили бы без меня, как я без них. Ну, во-первых, не смогла бы без них. И ужасаюсь, потому что они скоро все равно съедут, уже осталось-то несколько лет буквально до того, как они ручкой помашут, не знаю, как буду сидеть одна в квартире. Раньше, вот, удивлялась, почему женщины терпят тирана какого-нибудь совершенно поехавшего, а сейчас думаю, что это предусмотрительно. Вообще, столько усилий, оказывается, нужно прилагать, чтобы в одиночестве не остаться, а иногда и этих усилий не хватает. Раньше, знаете, забавной казалась сценка из «Любовь и голуби», где Василий Раисе Захаровне говорит: “Да какая судьба? По пьянке закрутилось и не выберешься”, так вот, сейчас вообще не смешно».

«Ну да, понимаю», – сказал Петр Сергеевич.

«А сама идея, что я своих могу вот так вот оставить, потому что они мне мать мою напоминают (хотя они не напоминают, но даже если бы напоминали). Как это все у нее работало в голове? Как это, вообще, сложилось? Просто не представляю, какой надо быть».

«Ну вот бывает так, что», – когда Лена замерла, слегка парализованная своим возмущением. «Знаешь, вот, когда с любимым человеком находишься. Допустим, с женой, в твоем случае – с мужем. И вот так вот вам двоим хорошо, на кухне, допустим, а тут еще ребенок вбегает, и ребенок тоже любимый, но вот в этот вот момент, когда вы сидите, он – лишний, и вообще, любой человек в этот момент – чужой, так вам вдвоем хорошо. Не хочется никого больше. Можно было вдвоем на острове на каком-нибудь жить, и не наскучили бы друг другу никогда. У нас с твоей мамой не так, у нас и не вышло такого, что было у меня с бывшей моей супругой и у нее с твоим папой. Не получилось. Мы хорошо живем, но вот именно такого не было. А с твоим отцом у нее было, видимо. Всегда. По-

нимаешь? Они как бы всегда на этой кухне сидели, и все были им в тягость. А когда его не стало, то выросло, что выросло. Дальше уже покатилось все само собой».

«Не понимаю я этого, – сказала Лена, – глупость какая, кухня, блин».

«Ну вот такой вот блин, да», – сочувственно вздохнул Петр Сергеевич, и Лена внезапно поняла, что у нее такие отношения не с живым человеком вовсе, а со стишками ее собственными, которые – химера, собранная из повсюду мимоходом украденных предметов, бледно или ярко подсвеченных прилагательными. И что стань речь живым человеком, или дари ей хотя бы один живой человек хотя бы половину того, что давали ей стишки, его смерти она бы не перенесла.

Лену в Тагиле должен был встречать сын Петра Сергеевича – уже знакомый ей Николай, он и встретил. Вел он себя как только что оштрафованный таксист – медленно моргал в зеркальце заднего вида, был вял от презрения и немногословен, точнее молчалив. Разве что телефону сказал скучным голосом: «Да, везу», а больше Лена от него ничего не услышала. Голос его в динамике был тяжелее, чем сам Николай – Лена представляла его таким крепышом, а он был вроде тростинки на ветру, худющий такой баскетболист, блондинистый, с уклоном в рыжину. Такой же оказалась и его сестра. Лена сама была не коротышка, но они посмотрели на нее сверху вниз и в прямом и в метафорическом смысле, когда она сняла обувь в прихожей частного домика на УВЗ и выпрямилась.

Это был то ли октябрь, то ли ноябрь, Лена потом не могла вспомнить, в пробел между почти запахнутыми шторами было видно, что снег налипает на лысые ветки неизвестно какого куста в палисаднике, а затем она увидела фотографию мамы в рамочке на стене и сначала даже не узнала ее, улыбающуюся, окруженную пятью чужими разновозрастными рыжими детьми, настолько непохожую на всех остальных, что казалось, ее вырезали и вклеили из совсем другой фотографии, она была вроде англичанки начала прошлого века, затесавшейся в ряды ирландцев с какой-нибудь миссией, образовательной ли, религиозной, она была неуместной, бледной среди этих ярких волос и щедро покрытых веснушками лиц, несколько даже фальшивой, но при этом совершенно, кажется, была счастлива в тот момент времени, когда ее фотографировали.

«Где она?» – спросила Лена, оглядывая примыкавшие к гостиной двери.

«Папа повез тетю Вику на процедуры», – ответила женщина, и в этом было много недоговоренного, как бы удержанного в себе, что-то вроде «хотя вы могли бы за мамой ухаживать», «вот как мы к ней относимся, не то что вы», невысказанного, но вместе с тем понятного и так.

Что ни говори, а Лена все же волновалась, да так, что не стала даже пить чай в опасении, как бы ее не стошнило, что до самодельного печенья, похожего на магазинное овсяное, только больше и как будто суше, то от одного вида его у Лены запершило в горле, будто она уже проталкивала его крошки по пищеводу.

Пока женщина рассказывала, что прогноз оптимистический, и вообще, мама у Лены еще поборется, что всегда, в кино даже, звучало как приговор, Лена смотрела на коробки из-под обуви и бытовой техники, спрятанные на шкаф, на пару круглых лоскутных половичков, макраме, оплетавшее овальное зеркало и горшок с каким-то цветком, стопку газет, убранных с журнального столика на пустовавшее кресло, и ей становилось душно, как от астмы.

«Ну а у вас как дела? – спросила женщина, – где-то работаете? Детки есть?»

Лена подумала, что любой ответ прозвучит как оправдание, но все-таки пошутила: «Двое своих, один приблудный и еще шестнадцать – по работе», и почему-то вспомнила, как у Жени возник удивительный момент тупости в математике, классе в третьем внезапно у него потерялось, будто из кармана вывалилось, умение делить и умножать столбиком, и Лену привлекли, типа, профессионала, и Женя, раз за разом деля и умножая и забывая перенести сотни или десятки в сотни или десятки, поднимал на нее честные глаза, спрашивал: «Правильно?», и Лене хотелось наорать на него, как на родного.

Кажется, женщина испытала разочарование, когда узнала, что Лена – учитель в школе. Неизвестно, что про нее рассказывала мать, но ожидалось, видимо, что это что-то такое неопределенное, что Лена, возможно, существует на алименты, которые вытрясла из мужа.

Лену обхаживала только мамина падчерица, пасынок караулил где-то за кулисами. Неизвестно, чего он боялся, Ленина аура действовала на него отталкивающе, что ли. К моменту приезда Петра Сергеевича и мамы он оказался аж на улице, потому что именно со двора Лена услышала радост-

ный мамин голос, от которого ее почему-то холодом пробрало. «Ой, Коленька, здравствуй, какой сюрприз!» – воскликнула мама.

Лена не заметила, как сказала вслух: «Сюрприз, да», наткнулась на слегка испуганный взгляд женщины, которая сразу же извинилась и вышла по направлению кухни, за поворот, откуда тащила до этого чай и печенье.

После приглушенного шевеления мужских и женского голосов, слов в котором было не расслышать, только интонации, сердитая – мамина, сочувственная – Николая и усталая – Петра Сергеевича (единожды мама выступила со словами: «Это просто бред!), мама появилась на пороге комнаты, неожиданно резвая, румяная и бодрая от злости. Лена, ожидавшая по тому, что ей расписали, чуть ли не что-то такое, что ассоциировалось у нее со словом «хоспис», откинулась в кресле, хотя до этого все-таки думала, что подойдет и попытается сочувственно обнять: какое-никакое сопереживание у нее-таки имелось. Все это время она совсем не представляла, как приступить к этому разговору, потому что он не был нужен ни ей, ни матери, но если бы мама вошла, опираясь на тросточку или держась за косяки или стенку, можно было хотя бы спросить «как ты?».

«Я так смотрю, ты меня уже похоронила, – сказала мама, – нужно что-то? Позлорадствовать приехала?»

Лена только и смогла что вздохнуть, давя в себе раздражение, которое могло вылиться неизвестно в какую внезапную грубость: «Мам, ну может хватить. Давай посидим, поговорим, давно же не виделись. За столько лет можно было уже перестать беситься».

Мама послушно сняла пальто и размотала с шеи косынку, чуть поморщившись села в кресло рядом и сказала, а начало ее слов было такое нарочито проникновенное, каким начинала она обычно такую продуманную ругань с последующим бесконтрольным битьем, когда Лена была еще ребенком: «Хорошо, Леночка, давай поговорим, конечно. Конечно, давай поговорим, солнышко. Что ты мне хочешь сказать? Ну?»

Лена промолчала, одновременно ужасаясь тому, что может наговорить сгоряча, и восхищаясь той приторной ненависти, которую источала мать, той ненависти, которая до сих пор оглушала Лену, уже взрослую, ненависти, источник которой не иссякал у матери столько уже лет.

«Помнишь, о чем мы тогда говорили, когда я уходила? Помнишь? – сказала мама. – Что мне нужно отдохнуть от тебя. Помнишь, Леночка? Скажи, помнишь или нет?»

«Так вот, –торжествующим шепотом сказала мама, не дождавшись ответа, – я еще не отдохнула! Как это тебе объяснить, чтобы ты больше не появлялась?»

Она замолчала, тяжело дыша, но продолжала смотреть на Лену бешеными старушечьими глазами.

«Неужели совсем не интересно, как я жила?» – спросила Лена.

«Совсем нет. Ни то, сколько ...барей у тебя было, ни сколько выбл...дков ты нарожала. Вот, не поверишь – совсем. Просто не лезь ко мне – и все».

Как ни отнекивалась Лена, а обратно до вокзала ее повез Петр Сергеевич. На возражения матери он твердо возразил: «Это у тебя с Еленой терки, а со мной у нее этих терок нету». Именно он цыкнул на дочь, когда она сказала вместо «до свидания», соболезнующим почти тоном: «Это ж надо было так мать довести, чтобы она до сих пор». «Верка, – сказал Петр Сергеевич, – сороковник с лишним ты уже переступила, язва такая, а ума все так и не набралась!» Больше Лену зацепило не то, что сказала мамина падчерица, а то, что звали ее, как близняшку.

«Нервы у тебя, конечно, да, – похвалил Петр Сергеевич, ежась. – Не представляю, как ты это. Извини, слушай, правда. Втравил тебя. Но была такая надежда, знаешь, все равно же люди меняются иногда, делают какие-то выводы». Был он тоже, как и его дети, высокий, только более массивный, из таких бодрящихся пожилых мужчин, которым есть еще чем бодриться, с ясным еще взглядом и благородной лысиной, похожей на короткую стрижку. «Чего с ним мама раньше не связалась? Он бы урезонил бабулю», – подумала Лена и сказала, хотя особой благодарности и не чувствовала, больше из симпатии к этому своему несостоявшемуся отцу: «Все равно спасибо. Нужно было попробовать, чтобы, правда, не маяться потом, если все пойдет плохо». Он согласно кивал.

«Так-то она хороший человек, с плохим бы я и не жил, – вздохнул Петр Сергеевич, помолчав. – Вот просто бывает так иногда. Всех мы любить не можем, выпадает, знаешь, как на рулетке, что кого-

то не любим, даже прямо трясет от неприязни, хотя поводов никаких вроде и нет, да и с дружескими чувствами, и с любовью так же, другой человек чуть ли не в глаза тебе плюет всю жизнь, а ты все равно ему все прощаешь, и все тебе говорят, че ты связался, че ты с этим возишься, а бесполезно. У меня вон отец с войны не вернулся, а мать за другого вышла, так сколько я и матери и ему крови выпил, сучонок мелкий, он иногда аж бледнел от того, что я ему говорил. Вроде и советское время было, уважение к тем, кто воевал, а я ему про то, что орден Красной Звезды – говно, не то что звезда Героя Советского Союза. Как язык повернулся. Брата младшего обижал, потому что мать его как бы нагуляла с ним. Такое, знаешь, даже и не замолить, это по мне так даже хуже, чем хату со своей семьей спалить живьем. Но вот так вот иногда складывается. Может, она тоже жалеет, но так уже заигралась, как ребенок, в эту злобу, что она уже часть ее. Тебе такой сектор на барабане выпал».

«Да это все правильно, что вы говорите, – согласилась Лена. – Только вокруг меня ведь все правильные вещи говорят. Все как-то обоснованно от меня уходят, что мама, что муж, и дочери как-нибудь обоснуют логично, правильно, с примерами из жизни, а я одна опять остаюсь».

«Ну, если есть кому уходить, – усмехнулся Петр Сергеевич, – то пока не одна. А пока те соберутся, может, новый кто появится».

Со стороны эти несколько лет болезни матери напоминали некий чемпионат или олимпиаду, где мама должна была победить. Петр Сергеевич стохастически звонил, то несколько раз в месяц, то раз в несколько месяцев, и сообщал об итогах лечения, будто и сам внезапно вспоминал о Лене, как она порой вспоминала, что у нее есть еще родственники, хвалил маму за терпение и упорство, врачей за заботу и профессионализм. В его голосе, полном уверенности, потому что они все делали, как надо, угадывались, конечно, тревога и страх, что все это они делают впустую. Была химиотерапия, которую мама стойко, разумеется, выдержала, и которая вроде бы сильно помогла, после которой мама быстро пришла в себя. Затем понадобилась операция и еще химиотерапия, после чего был новогодний звонок Петра Сергеевича, и он поздравил Лену и девочек с Новым годом, сказал, что, скорее всего, звонить по поводу болезни больше не будет, разве что без причины, просто поговорить. Лена не слышала его полгода где-то, пока он не возник снова и не сообщил все так же уверенно, что все вернулось, но, кажется, достаточно небольшого курса, чтобы одолеть и это. Закончив беседу, Лена поймала себя на том, что с начала этого разговора до самого его конца ей мерещилось что-то вроде бесконечной виолончельной басовой ноты, какой в триллерах нагнетают мрака в мрак на экране.

Каждый раз, когда звонок из Тагила прекращался, Лена вспоминала, что неплохо было бы спросить, наконец, откуда Петр Сергеевич взял ее номер, и снова забыла, когда опять позвонили насчет мамы и сказали, что не все потеряно, есть еще замечательный мануальный терапевт, который берет дорого, но результаты у него лучше, чем у докторов с дипломом. «Вот и все», – догадалась Лена, однако это «все» растянулось еще где-то на год бабок-шептуний, экстрасенсов и бог знает еще кого.

Дядя дал телефон Лены Петру Сергеевичу и его детям, он сам выболтал это во время покаянной своей обычной болтовни, когда пришел в гости. «Не нужно было?» – спросил он виновато. «Да, наверно, все-таки нужно», – ответила ему Лена.

В смертях дяди и мамы Лене померещился сначала даже некий умысел. Мама долго болела, словно не время ей было умирать раньше деверя, а дядя набирался холестерином и в целом не следил за своим здоровьем, чтобы мама Лены его не опередила. Как раз в дикие совершенно морозы, когда отменили занятия для младших классов, а Лена каждый день бежала до школы и радовалась, что работает все же очень близко от дома, с небольшой разницей, минут в семь, позвонили: сестра, и убитым голосом спросила у Лены, знает ли она уже про дядю, а потом Петр Сергеевич, который ничего не мог сказать, а только рыдал. «Да вы издеваетесь оба», – слегка рассердилась Лена и на двух покойных, и на двух гонцов, потому что сама скорбь еще не догнала новость, имелось еще только некое недоумение, как от хлопка петарды рядом, только не мимолетное, как от петарды, а вот то же совершенно недоумение, только растянутое по времени.

Лена перезвонила сначала сестре, спросила, нужно ли чем-нибудь помочь, а попутно сообщила новость про маму. Сестра сказала, что ничего не нужно, завод, ко всему уже подключились какие-то известные только сестре родственники и завод, где ее отец работал. «Я его ведь пыталась к нам перевезти, он отказывался. Вот и допрыгался!» – сестра неожиданно расплакалась невыносимым басом. Петр Сергеевич тоже отказался от помощи, пусть только Лена приедет, больше ничего не нужно.

«Веселый будет денек!» – решила Лена с горечью, не догадываясь, впрочем, насколько этот день будет весел на самом деле.

С работы Лену отпустили без разговоров, не отпустили даже, а как бы выпихнули оттуда, когда узнали, в чем дело. Лена предложила девочкам выходной, но обе – серьезные и осторожные, сказали, что лучше пойдут в школу, а к дяде съездят, раз уж к бабушке Лена не желает брать их категорически.

Хорошо, что сами похороны не совпадали по времени. Мамины были ближе к одиннадцати, дядины назначены на три, Лена прикинула, что при некотором везении успеет и туда – и туда, а еще, пусть и не встретит, зато сможет проводить сестру в аэропорт, на обратный рейс. Накануне Лениного метания между двумя городами, ближе к ночи, или перепутав часовые пояса, или просто, как только узнала обо всем, позвонила Ольга, посочувствовала, но и похвасталась, что ее откомандировали куда-то в пригороды Петербурга; пусть ее и не просили, но рассказала и про Владимира, которого тоже сунули несколько дней назад в командировку, куда-то за Тюменскую область, в какое-то совсем дикое ответвление Транссиба. «И еще мамин брат в зимний поход ушел, – начала Ольга, чтобы закончить не совсем уместной шуткой: – так что ждите Никиту и маму в гости, им теперь скучно одним в городе». «Спасибо, Оля!» – с чувством отозвалась Лена, вроде бы и саркастируя, и чувствуя какое-то кратковременное веселье на душе.

Ночью Лена думала, что поспит в маршрутке, а в маршрутке думала, что поспит на обратном пути. От вида Петра Сергеевича, похожего в этот день на какой-то крупный могильный памятник, Лена едва не расплакалась, не из горя по матери, а от сочувствия к этому большому, но беспомощному человеку. И повод полить слезы очевидно был, однако Лена видела внимательные взгляды окружавших ее рыжих людей, и сообразив, что они могут принять ее плач за спохватившееся раскаяние, не стала давать себе волю, и вот как раз когда она делала это усилие, удерживая слезы, кто-то в крематории шепнул сбоку: «Так похожа!», Лена посмотрела в сторону, откуда шептали, но увидела только потупившихся чужих людей.

Мама лежала в гробу маленькая и зелененькая, похожая на какого-то из гоблинов в «Мишках Гамми», так же у нее выдавался кончик носа, такой же у нее был большой рот в складках. Глядя на нее, стиснутая за плечи внезапно подошедшим Петром Сергеевичем, от которого пахло валокордином так, точно он побрызгался им, как одеколоном, Лена вдруг поняла, что жалеет только об одном и что боится только одного. Жалела она о том, что не попала на похороны Михаила Никитовича, даже к гробу не смогла прикоснуться, да и на могиле ни разу не была. А боится – что не успеет попрощаться с дядей, она все же не такой близкой родственницей была, чтобы ее ждали. Она хотела увидеть его в последний раз, каким бы его не сделала смерть, в какую бы жутковатую куклу не превратила, хотела в последний раз тронуть его за плечо и шепотом сказать ему: «Ну, ладно», как он всегда говорил вместо прощания. «Фур-фур», – сморкались по сторонам в платочки.

Она и с поминок поэтому хотела уйти пораньше, улизнуть от поникшего Петра Сергеевича, который все время был рядом, вроде бы и пытаясь утешить, но сам будто пытался утешиться присутствием Лены, считая почему-то, что как никто Лена разделяет его скорбь. Да и повод сбежать, в общем-то, был: женский голос, неудачно попав в скобки тишины в поминальном столовском многоголосье, категорически заявил: «И еще совести хватило бесстыжие свои глаза здесь показывать», но в этих словах было не больше глупости, чем в ночной фантазии Лены, похожей на озарение, что, возможно, мама вела себя так специально, чтобы Лена не расстраивалась, и в конце всей этой встречи Петр Сергеевич передаст ей конверт, а в нем будет письмо, где все прояснится, душевное такое послание, начинающееся: «Дорогая Лена» и т.д. Тогда Лена подумала: «Вот дура, спи!», а на поминках, поняв, что действительно – дура, потому хотя бы, что знала, куда едет и как к ней будут относиться, а согласившись и приехав в этот как бы рассказ Конан Дойля, не стоит уже дергаться.

Минут сорок ушло у Лены, чтобы решиться оторвать от себя Петра Сергеевича и уйти в туалет, а на деле проскользнуть в гардероб, затем на крыльцо и сесть на трамвай (а у Петра Сергеевича именно и были подозрения, что Лена уйдет не в туалет, а в гардероб, на крыльцо, на трамвай, и он просил посидеть еще немного, и несколько раз Лена оставалась, поддавшись его грусти), уже было полвторого, когда Лена добралась до очереди в кассу, и тут ей даже слегка повезло, когда билет оказался на автобус, что стоял уже в ожидании оставшихся пассажиров.

Оставалась еще надежда успеть, слегка опоздав, но еще по пути из Тагила, буквально на выезде с площадки автовокзала, автобус попал в пробку, сделанную из трех машин, попавших в ДТП, и пристроившихся к ним легковушек, фуры и нескольких трамваев. Когда через промежуток между двумя сиденьями спереди и через переднее стекло автобуса Лена обнаружила все это мрачное великолепие понурой механики, обдуваемой сухим снежком, она немедленно позвонила Ане и мрачно сообщила, что совершенно точно опоздает. «Пробка в Тагиле?» – не поверила Аня, хотя никогда в Тагиле не была. Зимнее солнце, так и не поднявшись как следует, светило откуда-то от горизонта закатным светом, и пусть на часах не было и двух, однако, наблюдая длинные тени, Лена отчасти не верила часам и психовала, но спустя час, когда автобус тормознули полицейские и долго сначала выясняли что-то у водителя, пока он сидел на своем месте, переговариваясь с ними через окно, и совал им туда свои водительские бумажки, а затем еще и пригласили его для разговора в свою машину и долго сидели и там, может, вовсе не разговаривая, может, просто засекли время, сказав друг другу: «А давайте здесь десять минут поторчим просто так, радио послушаем, то да се, пускай там баба эта побесится», Лена вдруг поняла, что впала в состояние, которое считала медитативным.

Не получилось и не получилось, что поделать. Многочисленные друзья дяди, конечно, удлинили прощание (Лена узнала это, снова позвонив Ане, на этот раз не говорящей в полный голос, а шепчущей), и Лена оказалась так удалена от места очередного прощания и очередных поминок по месту и по времени, что прощаться с дядей ехать было уже поздно, даже на такси, а на поминки – рановато, даже на метро и троллейбусе. Прогуляться же не позволяла погода. «Как в чужом городе, – подумалось ей, – так оно, наверно, когда-нибудь будет. Замечательно».

Самоуничижение охотно разлилось по ее телу, как приход, она шла еще до метро, готовя себя ко второму сеансу грусти, когда позвонила сестра, и не скорбным таким голосом вовсе, а в равных пропорциях намешав с ходу требовательность, упрек и вину, накинулась на Лену: «Ты уже в Екб? Так давай сюда. Мы тут других людей тесним, но их немного, человека три, а нас тут полный этот зал, уже даже отстегнули им, чтобы скрасить ожидание. Ты извини, что я с тобой не поехала в Тагил, но просто не успевала. Мне кажется, тебе хочется с папой попрощаться, вы как-то все же дружили. Ты с ним ближе была в последнее время, чем я. Да он, считай, Аньку с Веркой больше знал, чем моих».

Лена принялась вызывать такси. Как на грех, первый таксист, находясь минутах в четырех от Лены, замер, кажется, припарковался просто на Челюскинцев, сразу после моста и принялся ожидать неизвестно чего – повышения тарифа, что ли, на него Лена потратила с десять минут, пока не отменила заказ, видя, что водитель точно никуда не собирается. Второй приехал довольно быстро, но тоже включил дурака, припарковавшись на другой стороне дороги, по его замыслу Лена должна была нажать «уже выхожу», потом дойти до подземного перехода, пересечь таким образом Челюскинцев, Свердлова, пока шоферу капали деньги за ожидание. Он появился стремительно, как только Лена звякнула ему и наорала, что ей некогда играть в эту херню ради того, чтобы он заработал лишние пятнадцать рублей. Лена еще не успокоилась, когда села в машину и педагогическим своим голосом продолжила его отчитывать, пока он мрачно молчал. «Вот же! – она даже постучала ногтем по навигатору, – тут отметка, специально ставила, где я нахожусь. Холодища на улице. Вы озверели совсем, что ли?» «Навигатор глючит иногда», – буркнул таксист, хмуро глядя на дорогу. «Я на похороны еду, понимаете? Вам специально в примечаниях нужно было это написать, чтобы у вас что-нибудь взыграло в душе человеческое?» В ответ на это водитель только скептически шевелил челюстью, будто гонял по рту остатки карамельки. Лена чуть не сказала ему в конце своего сердитого монолога «пидор, бл..дь», как сгоряча сделала, увидев в телефоне, где он остановился, чтобы ее поджидать.

Вынужденный таким образом таксист, хотя и выглядел так, словно готов был высадить Лену на каждом из светофоров, что им попался, но довез ее буквально к самому входу в крематорий, и было похоже, что даже внутрь готов был заехать, если бы не мешали курящие на крыльце люди.

Лена еще и выбраться толком на улицу не успела, как к ней бросились незнакомые ей люди, которые очевидно ее откуда-то знали, среди тех, кто спешно вел ее через холл, она с удивлением увидела даже телеведущего местного канала, он, что интересно, был в такой кофточке с черными и белыми ромбами, какой мелькал в передачах. Лена отыскала в толпе у гроба сестру, и та ей благодарно кивнула, попыталась найти девочек, но уже стояла возле дяди и оглядываться было

уже неловко. Разумеется, дядя лежал чужой и жутковатый, с этим ничего нельзя было поделать, как Лена ни старалась, и все же как легко сделалось Лене, когда не нужно было оттягивать слезы на потом. Сразу и просто вспомнилось, как дядя слушал Веру или Аню, когда они что-нибудь ему рассказывали маленькие, чуть наклонившись вперед, еще и голову наклонял по-собачьи так и делал заинтересованное лицо, или рассказывал, как Лена с сестрой носились по дому, даже в школу они тогда еще не ходили, сидели, что-то там делали, а у них колготки у обеих были велики им, что ли, и на ногах получались такие, как у средневековых шутов, болтающиеся носки. «Так и хотелось на вас еще колпаки с бубенчиками надеть». Как рассказал, что перестал встречаться с одной женщиной, потому что она сразу же, как появилась в доме, раздраженно что-то рыкнула на сестру, и он подумал, что же будет, если уже сейчас так. Он и к причудам Лениной матери иронически относился, не раз даже сказал, что она и «при Викторе была такая немножко язва, немножко даже сибирская». И как однажды разродился тихим своим спокойным спичем, не покаянным, как обычно, а таким насмешливым, что ли, про то, что Ленино и сестры поколение только пожалеть можно, потому что им пришлось стараться быть лучше родителей, а родители такие уверенные всегда были с их точным знанием «как надо», то есть вот пойдешь работать туда, план будешь выполнять и перевыполнять, куда бы ни пошел, даже если кофемолок клепаешь под сколько в Союзе и кофе-то не наберется, или там чай собираешь у себя в горах как попало, лишь бы быстрее и больше, то будет тебе стаж и пенсия и всеобщее уважение, с этим вот «меня отец лупил как сидорову козу, зато я теперь ему благодарен, потому что если бы не он», внезапно оказались неправы, тем хотя бы, что если бы правы были, то все не накрылось бы медным тазом, и можно сейчас сколько угодно на «Горбача, который все развалил», кивать, но самого факта это не отменяет. «И местами, конечно, чистый ад творится, но вот смотрю на вас – на двух моих родных девок, и ведь получилось у вас у обеих!» – закончил он тогда и чему-то радостно рассмеялся, хотя что там получилось, если разобраться? жизнь – и жизнь.

Плача, она положила руку ему на плечо и подумала, что за все эти десять, да какие десять, двадцать почти лет, они ни разу не дотронулись друг до друга, не обнимались, руки друг другу не пожимали, так только «привет – привет», а Лена и не замечала этого, потому что его слова иногда казались объятиями, радостными, утешающими, да сам чаще всего был как такое объятие сам по себе. И только вот ей пришло это в голову, как девочки, подойдя сзади, молча обняли ее слева и справа и больше уже не отходили, ни когда гроб самоутапливался в металлическом основании под печальную музыку под печальным барельефом на стене, изображавшим некую бессистемную цепь жизни из разновозрастных людей разной степени одетости, а то и вовсе голых, ни когда все двинулись к автобусам, ни в самом автобусе.

«Ничего себе вымахали вы, – сказала сестра, устроившись на сиденье позади, – это сколько вам сейчас, а то я путаюсь». «Неприлично спрашивать», – надерзила Вера, поддавшись общему настроению на пути с кладбища, когда все скорбящие словно выдохнули разом и заговорили каждый о своем. Видимо, они ощутили то же, чем и Лена внезапно прониклась, когда гроб скрылся с глаз – такое светлое чувство, гордость за дядю, что ли, что он до конца прожил достойно, надежду, что подобное что-то будет и с ней, только не очень скоро. «Я про своих-то забываю, понадобилось сказать, в каком они классе, так наугад ляпнула, потом оказалось, что правильно», – сказала сестра. «Нам скоро по шестнадцать», – опередила Аня Веру. «С ума сойти, – изумилась та, удивляясь не их возрасту, а, как и Лена, тому, что она и сама недавно совсем когда-то была вот такой же школьницей – Можно будет в кино ходить, на любой сеанс. Я еще в четырнадцать накрасилась и прошла, только не помню, на какой фильм, только помню, что потом удивлялась, что там криминального такого». «А мне не пришлось проникать, – тоже вспомнила Лена. – Там уже такое время пошло, что всех пускали без разбору». «Буквально да, такой пробел в года два-три, что совсем все поменялось, – сказала сестра, – ну, вроде, не как у вас сейчас. Женя-то, судя по “контакту”, не перебежал к другой». «Попробовал бы, – сказала Вера, – фальцетом бы потом в караоке пел. Он и сейчас здесь, только в другом автобусе».

«Так это вот этот вот шкаф, который возле тебя терся – это Женя, что ли? Я просто по фотографиям не замечала, вы там все сидите как-то нейтрально, – сестра даже закрыла нос и рот на секунду лодочкой из ладоней, настолько восхитилась, кажется. – Это ж надо, какой слонина вырос из такого, помнишь, Лена?»

Лене оставалось только кивнуть, а сестра продолжила: «Он, по-моему, все детство на лесбиянку походил (Аня фыркнула) стереотипную такую, типа “Ночных снайперов”, стрижка такая аккуратная, но с лохматостью специальной, футболки все эти яркие и необычные». «Я ему передам», – пообещала Вера.

Все они тактично замолкли, потому что одновременно вспомнили недавний семейный скандал, когда Вера с боем вырывалась на совместный пляжный отдых с Женей и его родителями куда-то на юг России, а Лена, у которой почему-то разом выключило всяческую толерантность, беспричинно отказывала, потому что даже сама себе не могла объяснить, в чем проблема, а оперировать понятиями «нагота» и «секс» могла у себя в голове, но высказывать это казалось Лене чересчур патриархально, даже, можно сказать, домостройно. Спасали только переписки с Ирой и сестрой, где она отрывалась на всю катушку, сестре писала и Вера, а затем оказалось, что ради мира в семье сестра вела себя совершенно по-иезуитски, а именно: уговаривала Лену отпустить Веру с богом, а Веру убеждала никуда не ехать. Ирина же больше давила на то, что Лена или доверяет своей дочери – или нет. «Тебе легко говорить такое, – хотелось написать в ответ, – у тебя нет никакой причины для беспокойства». Неизвестно, чем бы все закончилось, потому что Лена в какой-то из витков этого конфликта совершенно серьезно сожалела, что сейчас не такое время, чтобы можно было заточить дочь в монастыре. А решила все мама Жени, пришла в гости, сказала, что проследит, всего-то дел, и за это Вере тоже, конечно, влетело, потому что сразу можно было догадаться подключить именно Женину маму, а не самого Женю, тупящего глазки, потенциального, ну, не насильника, обольстителя, хотя какого там обольстителя, просто раздолбая, который мог натворить дел под неумелым Вериным руководством, если бы дошло до чего-то такого. В горячке зато Вера и Лена наговорили много забавного, что можно было вспоминать не без удовольствия даже, но в момент, когда они ругались, то было не до смеха, но Аня все же смеялась, да и Вера тоже, если звучали, так сказать, перлы. Было сказано Верой с пафосом: «У тебя полка Блоком заставлена, а сама ты закостенелая, как Кабаниха!», после этих слов Аня просто выползла на четвереньках из комнаты, рыдая от смеха и говоря: «Вспомнила наконец!», потому что в Верином сочинении про «Грозу» лучу света в темном царстве противостояла, каким-то образом, Салтычиха. Или вот, объясняя невозможность Вериных с Женей близких отношений, Лена стала серьезно объяснять, и долго ведь объясняла, что при инцесте велик риск больного ребенка, и Вера даже сначала серьезно слушала со скептической миной, пока не поняла, в чем дело. «Да что я сделаю, если он тут корни просто пустил, если я дня не помню за столько лет, чтобы он тут не мелькал!» – все еще кипятясь и не желая признавать неправоту, воскликнула Лена, а девочки чуть не плакали.

«Хорошо, что ты все же появилась, папа рад был бы очень», – сказала сестра в уже пустеющей после поминок столовой, где оставались уже совсем лирически настроенные к дяде друзья и близкие. Лена и сестра не пили, но прониклись общим настроением слегка наклюкавшихся людей вокруг. «Хорошо, что ТЫ приехала, – ответила на это Лена, – он ведь очень все переживал, что на похороны матери тебя взял и не хотел тебя беспокоить, когда умрет, он бы понял, если бы ты не приехала. Но хорошо, что ты все-таки здесь появилась. Ты все же почаще сюда приезжай, и не только по таким поводам, знаешь». «На свадьбу приеду», – решила сестра.

«Дико прозвучит, – заметила сестра уже в пути до Кольцово, – но на удивление хороший день получился. Какой папа был, такой и день». «У меня пятьдесят на пятьдесят, – призналась Лена. – Я, наверно, все же напьюсь сегодня, чтобы залить воспоминания о маминых похоронах, пускай завтра и рабочий день. Буду как другая Елена из нашей школы, пыхать на деток и хмурой сидеть». Сестра, что была уже наслышана о всем, что было в Тагиле, сказала: «Да уж, – и продолжила, объединив по какому-то неуловимому признаку своего отца и Лену: – Это как у Достоевского где-то про страдания за будущий грех, или за потаенный грех». – «Это в “Идоле” у него, что маньячина не потому маньячина, что в детстве страдал, а в детстве страдал, потому что маньячина». – «Вот, да, почему так папа прожил? Непонятно», – сказала сестра с тоской. «Так это Федор Михалыч же, у него тогда был отходняк между казино и стишками. И в квартал красных фонарей он заходил “просто посмотреть”, и на рулетку тоже».

Покуда Лена умничала насчет Достоевского, утешая развернутую к ней с переднего сиденья сестру, что «идолом» раньше называли стиховой приход, который после стали называть «буддой»,

такая вот восточная экспансия, и наверняка Федор Михайлович неспроста назвал так роман, хотя и другими мотивами объяснял это все, бог знает, что у него вообще в голове творилось, поэтому не каждое слово, что он написал, нужно принимать со звериной серьезностью, Аня и Вера, все так же сидевшие по бокам Лены, отвлеклись на свои телефоны. Вера держала свой телефон как бутерброд, будто готовясь пожрать собеседника, и давала обещания, что тоже пойдет, если и у него что-то такое случится, Аню скрючило возле двери, и она только отвечала тихо: «Да, да, сейчас».

«Так эта дилогия эта его в целом дебильная, как на спидах написанная, действительно, – согласилась в итоге сестра. – Но, почему-то, ее, по-моему, больше всего на Западе и экранизировали, не знаю, чего уж так прямо прет с нее там, одни только поляки раза два, и вот эта вот последняя, недавняя экранизация – самое то. Они все же проникнуты вот этой славянской помятостью. Не как у американцев, когда Россию показывают, в две крайности впадание такое. Или все причесанное, как в "Докторе Живаго", тулупчики такие постиранные, ну, спектакль – и спектакль, или кругом какие-то жуткие морды, газеты летают по пустым улицам, бомжи в бочках огонь жгут, и дети бегают оборванные, с лицами в саже, и все это – как бы в центре Москвы, в две тыщи пятом году, так что аж страшно представить, как в остальных местах, раз такое в столице творится».

Перейденная двойная сплошная погребения расслабила Лену, она понимала – слова про алкоголь – такая бравада, не настолько ужасный день получился, как представлялось, Лена так устала, что понимала, насколько хватит ей просто упасть на кровать и включить телевизор в комнате, уснуть под его первый попавшийся говор. В сравнении с тем, что сестре еще предстояло сначала добираться до дома по воздуху, а затем еще куда-то ехать, чувство близкой постели грело особенно. Аня осторожно прикоснулась к локтю Лены: «Мама, тетя Маша в больнице. Попала в аварию».

Голова Лена постепенно вникла в то, что дочь говорит о жене Владимира. «Ты папе уже сообщила?» – спросила у нее Лена, Анюта не успела ответить, потому что в Ленином телефоне вовсю уже маячила Ольга. Сестра умолкла, и хотя лицо ее было еще благостное такое от усталости и разговора, но глаза стали тревожными.

«Теть Лен, здравствуйте, тут кошмар такой совсем! – вклинилась она своим голосом в реплики близняшек, наклонившихся друг к другу через колени Лены и говоривших почти то же, что говорила Ольга, только своими словами. – Мама в столб въехала, что ли, я не поняла толком. Поняла только, что врезалась и сейчас в больнице. С ней сейчас Никита, он тоже ехал, но, слава богу, целый совсем остался. А забрать его некому. Папа даже если и выберется немедленно, то ему до ближайшего аэропорта сутки ехать. А у меня самолет только завтра утром. А дядя вообще вне дозвона в лесу где-то».

Лена так и замерла с трубкой в руках, впав в оцепенение, слово «блиииин» длило свое «и» у нее в голове и не желало прекращаться, она сама успела пожалеть, что находится в Екатеринбурге, а не войдет в приближающееся здание аэропорта, окруженное снегом и огнями, не сядет в самолет и не разобьется где-нибудь по пути. Конечно, и речи быть не могло, чтобы бросить ребенка на чужих людей, но Лене не особо и дали предаться душевным метаниям, решиться, так сказать, создать паузу, во время которой все бы сидели и ждали, что Лена решит. Решал скорее таксист. Из слов пассажиров он уже сделал некие выводы, но на всякий случай уточнил: «Вы с поминок едете? А вы со вторых поминок едете? А теперь еще в больницу нужно?» – после чего пообещал, что освятит машину, когда освободится, но при этом отменил заказ, который поспешно взял во время болтовни о Достоевском, и взялся рискнуть жизнью в совместной поездке до медгородка.

«Ты уж сообщи, не забудь, как все. Хотя все равно забудешь, я сама тебе. Давайте, девочки, чтобы все нормально», – поспешно попрощалась сестра и только что не подтолкнула машину, чтобы они ехали. Девочки и Лена что-то вякали ей насчет удачного полета, махали ей в заднее стекло, а она не махала в ответ, а как будто отмахивалась.

Водитель, понаблюдав за лицом Лены, видно, решил разрядить возникшее нездоровое молчание, которое задавливало даже бодрую песню про лагеря и воровскую долю: «Что-то вы сердитесь, мне кажется, а не расстраиваетесь, – сказал он. «Конечно, я сержусь, – согласилась Лена, – мы сейчас едем к бывшей жене моего бывшего мужа, который ушел от меня к ней, и можно понять, что это за человек, если из близких ей людей, которым она может доверить своего сына от моего бывшего мужа, в городе только вот эти – и я».

«Как все сложно», – с удовольствием сказал водитель, у Лены возникло ощущение, что он, словно купюру, складывает всю эту их историю пополам и убирает в кармашек своей памяти, они в целом так заинтересовали таксиста своей историей, что он даже предложил их дождаться, а Лена и не стала отказываться и даже поблагодарила на тот случай, если любопытство таксиста было не любопытством вовсе, а сочувствием.

«Родные места!» – хотелось воскликнуть Лене, когда она учуяла запах хирургического отделения, и не только она, очевидно, прониклась этим невольным чувством. Вера мимоходом поздоровалась с врачом, а тот так же мимоходом рассеянно ответил: «Здравствуй, Вера», оба спохватились, что знакомы, зацепились тут же, выясняя, какими судьбами, Лена пыталась утащить Веру, а доктор уже сам волок их к нужной палате, попутно поясняя свой не слишком витиеватый маршрут от студенческой скамьи до этого дежурства, которое позволило им увидеться еще раз. Он довел их нужной палаты и показал: «Вот она – живая реклама детского кресла!»

Никита сидел на стуле между двумя койками, обложенный конфетами и другими гостинцами, как могилка. Обе женщины, и слева и справа от него, были брюнетками с полными лицами, у каждой была нога на вытяжке, у обеих были сломаны носы, и такое соседство Никиту, кажется, пугало, а особенно его, очевидно, ужасало изменившееся лицо матери, поскольку, когда она (с койки слева от него) сказала: «Ты уж извини, что так получилось», – то даже Лена, которая старалась не смотреть на мальчика, чтобы он не увидел ее злости, держала его в поле зрения в виде разноцветного близорукого пятна, заметила, как он шарахнулся.

Она поговорила с Марией, и взаимная неприязнь этого разговора скрашивалась самими причинами произошедшего, беспомощным видом Марии и тем, что старая любовь Владимира была донельзя обколота обезболивающими и пребывала в таком умиротворении, которое не позволило возникнуть колкостям в сторону Лены, если таковые она когда-то для Лены припасала. Одно чувство, впрочем, продавилось через морфий, или что там бежало у Марии по венам вместе с кровью: «Чуть своего ребенка не угробила, представляешь, ужас какой», – и Лена, увидев ее слезы, едва не кинулась обнимать Марию, только не знала, с какой стороны подступиться с объятиями, потому что по ту сторону, где она могла подойти, была загипсованная рука, а с другой стороны кровати – стена. Никита тоже не особо нарывался на прощальные объятия матери, и Лена представляла почему – она близняшек однажды слегка напугала, когда сменила прическу на покороче, что уж тут говорить о совсем разбитом лице.

Но, хотела того или нет, Лена растрогалась до вопроса, что завтра принести Марии в больницу или что можно сейчас купить и принести, если нужно, а Мария несколько раз назвала Лену Леночкой, пока отказывалась.

Аня и Вера сменили объект конвоирования, переключились с Лены на младшего брата, повели его, каждая держа за руку, для чего Вере пришлось даже унять свои ежешажные прыжки. Лена же двигалась позади, смотрела на светлую голову мальчика и переживала отвращение к его светлой голове, покрытой не волосами будто, а таким длинным пухом, какой бывает у щенков, прежде чем появится шерсть. Когда Никита, чувствуя ее взгляд, пытался обернуться и даже оборачивался, Лена отводила взгляд. «Да я еще почище своей маман!» – невольно восхищаясь, обличала себя Лена, глядя на себя со стороны с тем же чувством брезгливости, с каким смотрела и не могла оторваться на макушку Никиты, в которой просвечивала бледная кожа на его черепе.

«Не долго вы, я смотрю», – весело заметил таксист. Он догадался установить детское кресло, но делано удивился, что его не предупредили – ведь совсем взрослый парень едет, случайно наткнулся после этой шутки на взгляд Лены и почти испуганно отвел глаза. Лене казалось, что она уже двое суток на ногах, что уже глубокая ночь, но, когда посмотрела в телефон, оказалось, что еще и восьми вечера нет. Она поняла, что фраза насчет напиться была вовсе не хохмой, желание затупить мозг при помощи алкогольного отравления было нестерпимо.

Оставив детей дома, она спешно двинулась в супермаркет, где к заказанной у двери подъезда продуктовой мелочи решила закупиться какой-нибудь дрянью сомнительного разлива, каким-нибудь алкогольным эквивалентом «Доширака». Ее выбор пал на коробочный винный напиток, которого она от жадности и жажды не взяла чуть два литра, потому что была скидка, ее сдержало лишь то, что на День учителя красное полусладкое («сладкое полукрасное», зачем-то придумала она

на ходу) с именно этим названием напрочь выстегнуло здоровенного мужа биологички, а выпил он всего-то грамм шестьсот.

Дома была напряженная тишина, робко показывал мультфильмы телевизор в гостиной, но близнецы и Никита сидели на кухне, причем Никита пил чай из Жениной кружки, замер, глаза из-за края, когда Лена вошла, но и Лена зачем-то замерла на секунду, потому что на нее с ожиданием смотрели сразу трое. «Быстро вы Женю уволили», – попробовала пошутить Лена, имея в виду, что пуховик Никиты с торчавшим из рукава шарфом висел на той вешалке с краю, куда обычно совал свою куртку Женя. «Не облезет», – ответила на это Вера.

«Мама, завтра кому-то в школу нельзя идти, – сказала Аня, – но у меня завтра весь день занят, я сегодня отодвинула». «У меня тоже», – быстро влезла Вера. Лена снова замерла, на этот раз боком к ним, потому что разбирала пакет. Девочки знали это замирание, поскольку после него следовало Ленино беспомощное, но при этом агрессивное рявканье, когда оказывалось, что к завтрашнему дню нужна какая-то сложная поделка, зашитое платье, новогодний костюм, а позже – наличка на экскурсию, сбор на которую в полвосьмого, а на часах уже одиннадцать, а все деньги на карте.

Лена сделала долгий выдох сквозь сжатые губы. Как бы ни замирала Лена, дети замерли еще сильнее. «Ну, я могу отпроситься...» – неопределенно высказалась Аня таким тихим голосом, будто внутри Лены была бомба, реагирующая на громкие звуки.

«Давайте, как пойдет, так пойдет, – предложила Лена, – я в ванную пока, и вообще сильно сегодня чего-то устала, голова совсем не работает. Столько всего. Завтра и решим как-нибудь с утра. А вы пока не обижайте гостя. И допоздна не засиживайтесь. И...» – она хотела продолжить инструкции, а голова и правда уже не работала. «Хорошо еще не ломает, – подумала Лена, – а то совсем было бы».

Под пленкой воды, льющейся из душа, Лена ощутила себя, почему-то, курицей, запаянной в пластиковую упаковку, но после ванной стало немного легче, не настолько, впрочем, чтобы не пить. «М-м, это просто какой-то виноградный сочок, не знаю, чего его так вырубило», – решила Лена, пригубив прямо из коробки. Есть она не хотела – двух поминок хватило.

Сначала казалось, что винный напиток не действует, затем невнятный российский фильм на втором канале вызвал у Лены внезапный приступ умиления, и она принялась сопереживать одному из персонажей, совсем не положительному, зато симпатичному, который гнобил положительную, но невзрачную героиню и еще ходил налево, тратя ее деньги. Когда его интригам настал закономерный конец, Лена едва не бросила полупустую коробку в телевизор.

В этом-то забавном расслабленном состоянии и настигла ее сестра. «О, так ты все же решила, – угадала она по одному только Лениному “привет”. – Как дела у вас там?» «Я на девчонок сплавила все, – повинилась Лена. – Они его накормили, обогрели, утешили, не исключено, что даже и выкупали. А хорошо, слушай, когда у тебя дочки!» – «А с женой Вовы-то как? Не стали есть друг друга?» – «Это был сложный момент, но мы его преодолели, – призналась Лена. – Не знаю, как дальше пойдет, но в тот момент мы смотрелись очень хорошо. В конце концов, знаешь, не мне объяснять соседкам по палате, кому я своего ребенка отдала, какие нас связывают связи, откуда это все пошло и куда идет. Это меня очень примирило. Сама-то как?» – «Пару раз еще всплакнула в самолете, конечно. Ну тут уж что поделать? Ничего».

В сон Лену не клонило ничуть. Она успела увлечься еще и детективом начала двухтысячных на «НТВ», но больше по интерьерам смотрела и по косметике с прическами, чем на сюжет, и только тогда в итоге вырубилась. Но такое бывает, что после чудовищного алкоголя просыпаешься снова спустя часа два, свежий, как маргаритка, с бодрящей головной болью, не дающей усидеть на месте, будто не организмом порожденной, а исходящей откуда-то извне, вроде благодати с отрицательным знаком, у Лены к этому примешивалось еще чувство, что в желудке у нее скомканная бумажка, которая расправляется, расправляется, но все не может расправиться до такой степени, чтобы вызвать нормальную тошноту. Не глядя на часы, чтобы не расстраивать себя, она помаялась какое-то время, вытирая нездоровый пот со лба углом одеяла. Не покупать вторую коробку, без сомнения, было хорошей идеей. Пытаясь быть осторожной, Лена распотрошила аптечку в гостиной, пробралась на кухню, чтобы запить спазган и парацетомол соком из холодильника, сразу не полегчало, разве что на душе – от как бы обещания двух лекарств расправиться с болью. Лена еще постояла возле открытой дверцы, вдыхая пахший льдом свежий воздух, и придумала открыть окно в своей комнате

пошире. Закрыв дверцу, она внезапно обнаружила, что Никита стоит рядом. Он словно поджидал, когда Лена его увидит, поскольку, когда она, дернувшись с тихим восклицанием «ух, е!», стала подыскивать еще какие-нибудь подходящие для такого случая слова, Никита втянул сопли носом (это был такой долгий звук, точно у него был хобот), а затем из горла у него вырвался тонкий звук медленно-медленно открывающейся двери. Лена знала, каким ревом заканчиваются такие дверные ноты, а сделать ничего не успела, он уткнулся лицом ей в живот, тепло выдохнул в ткань ночнушки, опять всхлипнул и снова издал дверной звук, только на этот раз несколько более громкий. Плач этот буквально вычел Лену из самой Лены, миг, и она уже обнимала Никиту, придерживая его затылок, для того будто, чтобы ему удобнее было мокрить ей плечо, и похлопывая его по спине со словами: «Ну что ты, что? Тихотихотихо, тш-ш-ш», а сама смотрела вверх, чтобы не залить Никиту собственными слезами, не понимая совершенно, что происходит. Еще миг, и она уже аккуратно таскала его по кухне, укачивая, причем, когда поднимала, невольно вздохнула от удовольствия, потому что давно уже не брала на руки никого такого легкого и тяжелого одновременно, не садила себе в локтевой сгиб, не подхватывала под колени, не бормотала, дотрагиваясь губами до как бы безутешного маленького виска, всякие успокаивающие тихие слова, сами собой идущие одно за другим.

Он вроде и задремал, но попытка выложить его под бок спящей Ане закончилась тем, что руки Никиты обрели неожиданную цепкость и не ослабли до тех пор, пока Лена не показала, что не собирается его отпускать. Это была такая молчаливая двухсекундная схватка, окончанием которой стал тихий смех Лены. Оказавшись у Лены в кровати, он укрылся Лениной рукой, придерживая ее руку локтем, а для надежности сомкнул замок из пальцев на ее мизинце, безымянном и среднем, и только тогда глубоко вздохнул и замер, боясь нарушить любым движением полученное телесное спокойствие, которое пока означало для него спокойствие вообще.

Телевизор продолжал свою почти молчаливую работу и демонстрировал то серьезного, то смеющегося Градского, и Лена, как всегда при виде Градского, вспомнила, как папа однажды, укладывая ее спать, пел ей «В полях под снегом и дождем», а мама с легким осуждением заметила, что это их, только их песня, и в качестве итога Лениного любопытства, шуток родителей, Лениного детского непонимания была принесена в детский сад новость, что папа и мама придумали песню, которую записали на пластинку, и ее поет настоящий артист. Мама пела эту песню и потом, одна, Лене ее исполнение нравилось больше, чем оригинальное, было оно ниже, медленнее, такое и вправду как после дороги, которая привела первую строку под снег и дождь. Она вполголоса проверила, как у нее получится песня, помнит ли она ее всю, вроде бы и задремала, пока приценивалась к возникшей печали. Никита шепнул что-то, и Лена спросила: «Да, Никита?» «Еще про плащ», – попросил он и сонно дрогнул где-то на середине по второму разу пущенной песни.

«Бедная ты, бедная, – подумала Лена не словами, а невыразимым отчаянным чувством, от какого зажмурилась даже, – сломанная ты моя старая кукла, порванный ты плюшевый медведь, удивительно, что ты только меня ненавидела, а не вообще весь белый свет».

И совершенно просто оказалось оставить в доме и Никиту и Ольгу, когда она приехала на следующий день. Это было даже не просто, а естественно. Так же естественно было ежедневно возить Никиту навещать мать вместе с Ольгой и девочками, хотя и среди больных, и среди педсостава прозвучало и было услышано: «Или дура, или блаженная». Всегда в квартире и так хватало людей, тут их стало еще больше, а Лена аккумулировала на будущее это вечернее присутствие повсюду, куда не ткнись. Ей приятно было наблюдать возню Жени с Никитой, потому что мальчик, почуяв тестостерон, бессознательно полез в щенячье такое противостояние; возню Никиты и девочек, потому что они, не чуя исходившего от него тестостерона, почти и не осознавая, вели себя едва ли не по-матерински – в обоих случаях дома становилось одновременно дико и спокойно. Лена буквально балдела, когда, вроде бы и сидя рядом с Никитой, он знал о ее присутствии, но при этом все равно подглядывая за тем, как он смотрит, к примеру, мультфильм, сравнивала его с дочками, когда они были в его возрасте. Вера всегда смотрела фильмы очень экспрессивно, прыгая и сжав кулаки, если происходило что-то эмоциональное на экране, громко смеялась любой шутке и сразу же принималась ее пересказывать сидящим рядом. Анюта забивалась в угол дивана с ногами – ее или колотило от беззвучного смеха, такой виброрежим, или в полном молчании она принималась шмыгать носом и вытирать глаза. Никита напоминал кота, из тех, что уже назабавлялись какой-нибудь игрушкой,

но все равно прибегают на ее шум, затаиваются и без конца водят головой с прижатыми ушами и увеличенными зрачками. Им троим: Марии, Никите, Лене стало легче, когда с лица Марии спал отек, и Никита мог относиться к матери без подозрения, сел к ней на койку и даже затесался между ее загипсованной рукой и туловищем, от чего она охнула, но тут же сказала, дескать, пустяки, ладно.

Возить Никиту в детский сад, который находился в центре города было глупо, посему Лена таскала его с собой на работу, девчонки, когда освобождались, волокли его домой, Никита не уставал, потому что все это было ему внове, кроме того, он, кажется, наслаждался вниманием школьниц в классе, но особо не мешал, много развлекательных вещей появилось с той поры, когда Лена последний раз видела детсадовца в школе (а было это, когда она сама училась, и одна из одноклассниц приводила своего брата, у которого был карантин), один только телефон с наушниками кратковременно решал массу игровых проблем, плюс имелся ручной физрук, который помогал справиться с двигательной активностью Никиты, погоняв его вместе с кем-нибудь из своего потока учеников.

О Владимире, зависшем далеко на северо-востоке из-за плохой погоды, она и думать забыла за те пять дней, что он стремился в Екатеринбург, а если и вспоминала, то без волнения, даже без чувства, что думает о бывшем своем. Он позвонил загодя, еще находясь где-то на границе области, появился поздно вечером, после сделанных уже дел, после поездки в больницу близнецов, Никиты, Ольги, перекатил через порог свой чемодан на колесиках и, не расстегивая пальто, через плечо открывшей ему Лены попросил собрать ему сына. Он так и сказал, словно о конструкторе, разбросанному по квартире: «Так, собирайте Никиту! – а потом обратился к сыну, заглянувшему в прихожую, опять же, как к самосборному конструктору какому-то: Так, Никита, собирайся!» «Я не хочу, – ответил Никита с жестокой, не подозревающей о своей жестокости детской честностью в голосе, – у тебя скучно, ты один, а тут Анюта, Вера, Оля и тетя Лена, и Женя, но он уже ушел».

Всего несколько дней назад Лена многое отдала за то, чтобы увидеть, как лицо Владимира, на ее памяти всегда освещенное иронической улыбкой, становится беспомощным, затем злым, а из злого снова беспомощным, а теперь готова было многое отдать за то, чтобы забыть, что она увидела. «Давай, отшутись как-нибудь», – подумала она спокойно, причем это было не злорадство, а мысленная просьба. «Быстро собирайся! – сказал Владимир с тяжестью в голосе, – а то сейчас по жопе получишь».

«Не пойду», – спокойно сказал Никита.

«Со-би-рай-ся», – приказал Владимир таким тихим, но грозным голосом, что даже у Лены холод пробежал по спине, а Никита даже не моргнул.

«Нет, – сказал он. – Отстань». И ушел сквозь собравшихся тут же девочек куда-то вглубь квартиры. Девочки смотрели не на то, что дальше будет делать отец, а на Лену. «Так, – сказала она, не веря самой себе, не веря, конечно, Владимиру, поэтому стараясь не смотреть на него, глядя в пол, – все за эти дни набегались, наездились, с днем святого Валентина тебя, кстати, что там еще? М-м, не будем пока воевать, выяснять, кому куда опять бежать и ехать на ночь глядя, завтра, может, повыясняем, все такое, а пока просто не трепли нервы, разуйся, разденься и живи пока здесь, раз уж так получилось. Не знаю, что еще сказать. А, вот: спасибо маме, папе, режиссеру и всей киноакадемии. Просто пройди отсюда, – она показала двумя руками на место, где он стоял, – вот сюда, – она показала опять же двумя руками в сторону гостиной, – ничего сложного нет».

Лицо у Ани было совсем белое, а Вера медленно скользнула куда-то вбок, и оттуда, куда она исчезла, послышался задушенный подушкой, радостный ее визг.

Глава 8.

Рождественская звезда бутылочной крышки

«Я не гетеросексуалка, я – гитаросексуалка», – заявила Вера. Именно эта фраза почему-то примирила Лену с поездкой в Тагил – на встречу одногруппниц, до этого она уклонялась, тем более с той стороны, хихикая, намекали на некий «сюрприз». А какой там мог быть сюрприз, кроме Сережи, бывшего ухажера? Никакого. Но сутки не слышать песен Веры, написанных ею на собственные слова – многого стоило. Лена очень любила дочь, обожала, как она поет, только если

это были чужие песни. А в песнях Веры Лена вместо слов слышала: «Я ничего не читала, даже из школьной программы, я путаю одеть-надеть, я ставлю ударения, как мне удобнее, господи, я слегка переделала “Лавину” Коэна, но никто этого не заметит, потому что у него песня печальная, а у меня слегка в мажоре и гораздо выше, у меня очень маленький словарный запас, но зато я пою с душой и про любовь, а чтобы никто не забыл, что я пою с душой и про любовь, у меня в каждой песне буквально все утыкано словами “душа” и “любовь”». Кроме всего этого, Лену выводил из себя контраст между настоящей веселой Верой и тем убожеством, с некими такими даже проблемами с головным мозгом, какой очерчивался в песнях. Вера оставляла за собой такой текстовый след, будто была воздушной девушкой, слушающей исключительно Гайдна, потому что когда-то в детстве ударилась головой под звуки «Песни Радости». А меж тем как прекрасно было ее исполнение «Одна посреди зоопарка» «Соломенных енотов», хорошее тем, что было очень похоже на оригинал, или, вот, песня Псоя Короленко, от которой хотелось одновременно жить и повеситься – «Держи ум твой во аде». Вере нравились эти песни, она, по идее, должна была подражать чему-то такому, а вот не подражала.

Владимира песни Веры не беспокоили никоим образом, в смысле предвзятости к любому встречающемуся тексту он был не слишком требователен, а вот Женя слушал, хвалил, хотя и невозможно было не заметить, что он удивляется не меньше Лены такой разнице между настоящим содержанием Веры и тем, какое она транслировала при помощи голоса и гитары. Он почти никак не выдавал себя, но как-то весь подбирался, прижимал замок из пальцев к губам, словно силясь не закричать от боли, когда Вера принималась петь свое, а когда она прекращала и возвращалась к исполнению других песен, расслабленно разваливался. Если учесть, что именно Женя являлся основным читателем, помимо Лены, Лениной книжной полки, его чувства можно было понять. Лена их понимала и разделяла. Начав читать Блока лет в двенадцать с понятным интересом, и потому тайком, Женя постепенно дорос до того, чтобы полюбить Платонова целиком, а Достоевского вовсе не за разговоры персонажей друг с другом, а за то, что происходило между этими разговорами в самом воздухе текста. Сам Женя тихушничал на манер Анюты, так, в разговоре, из него не особо можно было вытащить слов, но его учитель по литературе, чуть не плача от восторга, принесла в учительскую его сочинение по «Преступлению и наказанию», где само по себе было очень хорошо, но особенно выделялась фраза, которой все начиналось: «Герои Федора Михайловича всегда будто колючие кофты или целые купальные костюмы из свежей крапивы носят вместо нижнего белья, и нет ни одного без этой кофты, без этого купального костюма, кроме разве что Фальстафа и другой собаки, в которую бросают кирпичиком». «Ах, вот ты, значит, какой!» – с удовольствием подумала Лена, словно разом поняв все про этого мальчика, но была еще больше удивлена, когда чуть позже нашла в томах Блока закладки, спрятанные будто для нее только (а для кого еще?). На первой, которая ей попалось, было написано карандашом «Никита», на тех двух страницах, которые могла подразумевать закладка, было описание пожилого мужчины: «Он был вроде кота, что как ни ляжет, ни сядет – все было так, будто так и должно располагаться человеку, на ярком свету он не щурился, а только слегка прикрывал глаза, словно переживая некую мяту, или некую не чрезмерную сладость во рту, в чем тоже было что-то кошачье. Смотрел он всегда очень серьезно, так, верно, смотрит на неосторожного поэта холодок, такой же серо-зеленый взгляд выступает из темноты текста, то и дело заслоняемой поблескивающим маятником дактиля или амфибрахия. Не портил его лицо и нервный тик – едва заметное (но заметное таки) подергивание кончика левого уса, что, впрочем, никак не имело связи с душевным его состоянием в любой из моментов времени, а было следствием телесного увечья в детские годы». Эти внешние приметы, исключая возраст, усы, но включая тик, появившийся после аварии, цвет глаз, ощущение от Никитиного взгляда, совпадали полностью. Лена принялась шарить по другим книгам, в поисках этаких внутрисемейных пасхалок, и следующей обнаружила закладку с именем Вера. Кажется, тут Женя имел в виду фрагмент про племянника «С глазами, как можжевеловые ягоды», подвижного, быстрого, безжалостного, «чем-то этим схожего с персидским огнем», но «ни на чью более наготу он не мог смотреть без отвращения, даже если это были просто руки без перчаток, ноги без обуви, словно их тем только, что обнажили, уже совали ему в беспомощное лицо, но ладони Саши, ноги в чулках – и без, весь жар его тела, такой разный – от мизинца до плеча, от крестца до ахилловых сухожилий, от фильтрума до коленей, даже при воспоминании об этом огне, всячески полыхающем во всех частях его подвижного тела, с угля самого Н., что называ-

ется, сбрасывало пепел, и он, сей уголь, если и не светился в полную силу, то хотя бы начинал тлеть с светом, похожим на цвет гранита».

«Угадал про меня, или нет?» – мелькнуло у Лены, но сразу проверять не стала, хотя и помнила том и страницу, где был словно с нее написанный абзац. Третьей она отыскала Ольгу: «подобие русской дриады, и, да, это звучит пошло, мой друг, но Вы ведь не видели за всю свою жизнь деревьев кроме как в Летнем саду и печке. Представьте себе непроходимый березняк, а таковые существуют, уверяю Вас. Этот ужас леса, видного едва ли не насквозь, но притом непролазного совершенно. Вы можете возразить, что все женщины сложны, ну так все сложны в частном и общем, но не в той степени, в какой настоящую бездну представляют подобные особы, как бы пронизанные светом, и притом... словом, это нужно испытать на себе, она думает, что знает, чего хочет, но если Вы дадите это ей, то она Вас возненавидит, она сама и Анна, и паровоз, и Вронский, и Каренин, и Сережа, и даже Фруфру, все вот то, что описал Лев Толстой – это малая часть того, что происходит у нее в душе в какие-нибудь полдня, если день этот не задался». Владимир (отмеченный Женей «д. Вова») удостоился описания отставного капитана, «доброго больше не по природе, а от усталости, но до такой степени, что усталость эта стоила не доброты даже, а самой добродетели». Лена ревниво подумала: «Ну, то, что вы, ребята, в “Икс-ком” наперегонки играли, ничего еще не значит», – и полезла смотреть про себя, подозревая, где, заранее пугаясь, что Женя мог ее разгадать.

Копаясь, нашла еще две закладки с именем Вера. «Она откинулась назад и рассмеялась весело и зло, затем уронила голову на вытянутую руку и сказала с жалостью почти: “С каждым днем все, что тебе во мне нравится (а тебе, ты говоришь, нравится каждая часть моего тела, и даже слизистые внутри меня), будет постепенно истаивать, каждая часть выгорает, вроде свечки прямо сейчас, а ты будешь помнить меня такую, пока мы не встретимся лет эдак через двадцать, так что ты подступишь со своей нежностью лишь к тени меня, и тень – лучшее, что от меня к тому времени останется”. “Но у тебя будет хотя бы тень, – не мог не ответить Аркадий. – Мужчины же, по Чарльзу Дарвину почти, переходят из одного тела обезьяны в другое, в детстве – макаки, в юности – павианы, позже орангутаны либо гориллы, а в старости – снова макаки, только седые и малоподвижные, так я это вижу”. “Я вижу это не так”, – отвечала она, но как видит, не сказала». И еще: «Находились они в том отрывке отношений, когда как бы она к нему ни прикасалась – за руку ли брала, проводила ли пальцем по щеке, приваливалась ли сбоку, сжимая его локоть, – все ему казалось, что все эти прикосновения относятся к его члену, даже и не совсем так, все ее движения вообще – от перелистывания страниц до задумчивого верчения волос, от постукивания пальцами по диванной подушке до катания яблоком по скатерти – от руки к руке, – все, все без исключения относилось к члену, только к нему – и ни к чему более, но необходимо было делать мину, что все обстоит не подобным образом».

К счастью, нет, ничего он не угадал. Пусто от закладок было в том месте, где имелись слова: «Кажется и внутренняя уверенность ее, так заметная всем, была порождена точным знанием, что никто не разоблачит в ней, вышедшей из Бог знает какого подвального чада, увешанного поперек бельем тяти и младших детей, ее собственными тряпочками, ту, что могла напитать чернилами до костей. Настолько несопоставимы были два разных мира: тряпочек и слов, блестящих, как хирургические приборы, что казалось – они вовсе не могут пересечься; а ведь именно из унижения, боли, грязи и семени пробившееся слово было особенно сильно, поскольку опиралось на то, на чем держалось все на свете». Вместо этого фрагмента Женя выбрал страничку из конца романа, с той страницы, что предваряла примечания. Там и слов-то было всего ничего, это и роман-то был не ахти какой, поскольку оставил Лену в недоумении, и каждый раз оставлял, когда она его перечитывала (точнее, перечитала, потому что после недоумения и перечитывания третий раз она возвращаться к нему не захотела). Слова, что Женя выделил ей, были такие: «...все они единственно верные». Лена решила: «Нужно будет прижать его – и выспросить», – а затем принялась искать закладку про Аню, которую так и не обнаружила, пока шерстила книги в поисках себя любимой.

Последовавший за тем допрос Жени показал, что закладка была: так они с Верочкой развлекались, но Лену решили не задевать, потому что она могла рассердиться, потому что Анюта рассердилась словам про нее, и неизвестно, что это были за слова (в процессе выяснилось, что Аню очень зацепило единственное слово «улиточка», да так, что от Жени только клочья полетели), впрочем, неважно. Между Аней и Леной был поставлен знак равенства, Анютина реакция на цитаты была приравнена к

таковой возможной реакции Лены. Несправедливо было рассудить так, поскольку Лена успокоилась как будто, Анюта же переняла у нее эстафету беспокойства и холодной раздражительности.

Где-то за год до того вечера, когда все разрешилось и Лена собралась ехать в Тагил к институтским подружкам и сюрпризу, тоже, получается, зимой, перед Новым годом, Владимир стал безобидно опрашивать всех в доме, кто что хочет получить под елку, совершенно неважно, кто там чего хотел, потому что сразу после вопроса Лене Владимир, как оказалось, очень неосторожно подался в сторону Ани, а та ответила, что ничего не нужно, все у нее есть, Владимир настаивал, Аня ровным и спокойным голосом отвечала, даже отшучивалась, мол, папа, нарядись Дедом Морозом, было бы классно (Вера ее поддержала). Володя принял предложение, но это был нематериальный подарок, а он хотел подарить что-нибудь интересное, желал хотя бы понять, в каком направлении выбрать что-нибудь такое, что удивило бы дочь. Он пошутил: «Давай привезу тебе цветочек аленькой».

«Это, я так понимаю, – опять же спокойно заявила Аня, – намек на то, что у меня никого нет».

Тогда Владимир издал тот невероятный звук, которого Лена от него не слышала никогда ни за месяцы знакомства, ни за то время, когда они жили вместе, он как бы пустил готовый ответ через голосовые связки, но слов для этого ответа не нашлось, хотя всегда слова находились до этого, так что уже выработался рефлекс соединять вместе юмористический тон и голос, получилось у Владимира такое веселое кряхтение с задавленным удивленным смешком. «Ты понимаешь, – пояснил он потом, – я же как-то привык что-то похожее от тебя слышать, или от Маши, всякие язвительности эти, всегда так, знаешь, подобран, сгруппирован».

«Знаешь, папа, ты прав, – сказала Аня. – Да. Подари мне вибратор, вот что. Раз уж вам не дает покоя, что никого нет, кто потенциально может во мне оказаться. Я его буду в бантики наряжать, в гости водить, знакомить со всеми. Куча плюсов: с родителями знакомить не надо! не залечу! что там еще? поедет со мной, куда бы я не собралась, не будет спорить, не будет пить, не будет изменять, к другой не убежит! Будет у нас гармония!»

Слова «Ань, ты что?» – Владимира и «Аня, ты с ума сошла!» – Лены прозвучали одновременно, и Анюта выкрикнула родителям по очереди: «Ничего!!! Да, сошла!!!» – и судя по донесшемуся до Лены звуку, кинула в стену карандаши, а затем упала на кровать. «Отстань!» – рявкнула она на отца, который видно решил ее утешить прикосновением. Владимир покинул комнату девочек с застывшим в недоумении и растерянности лицом. Лена с готовностью сменила его, и хотя подозревала, что все дело в Жене, которого не имелось в количестве двух одинаковых копий, строго потребовала объяснить эту сцену, она так и сказала: «Аня, объясни, пожалуйста, что это только что было?» Аня молчала, свирепо дыша. «Как бы ни было плохо тебе, во-первых, скажи, в чем дело, а во-вторых, никак ты не могла так отвечать отцу. Он тебе ничего плохого не говорил, чтобы такие вещи ему отвечать. Он не твой одноклассник, да если бы и был. Даже я с ним, когда ссорюсь, таких слов не допускаю, если ты не заметила. Как бы мы в пылу не поносили друг друга, до такого не доходит».

«Ненавижу вас всех», – сказала Анюта с пугающей искренностью.

«За что?» – поинтересовалась Лена.

«За все», – ответила Аня.

Это был тот момент, когда лучше было не трогать. Когда каждое слово, будь то требование или ласковая просьба, только ухудшали бы все. Вообще, Лена обнаружила вдруг, когда девочки перешагнули некий порог взросления, что она хуже, чем они, то есть была хуже и скучнее в их возрасте, чем каждая из них в отдельности, и тем более их обеих вместе. Отчасти она ощущала даже такое третирование, какое имелось в ее классе, когда она не учила, а училась. Какой была она в шестнадцать? Девочкой, которая думает, что соображает в математике получше остальных; они же пели, играли на музыкальных инструментах, прекрасно рисовали, Аня смотрела англоязычные сериалы без перевода и без субтитров, и пускай в репетиторов были вложены их с Владимиром деньги, это никак не отменяло того, что Аня знала английский, а Лена и Владимир – нет. Они были лучше, тем, что могли стать лет через десять неизвестно кем, да кем угодно, не инженером и учителем, а кем-то другим, кем в их семье еще никто не становился, и вот эта возможная перспектива чего-то необычного невольно принижала Лену в собственных глазах, не давала ей отстраниться, как в школе, просто перечеркивала все ее педагогическое образование и опыт. Она не придумала ничего

лучше, чем отстраниться на время и подождать чего-то, что, возможно, должно было найти выход само собой.

Вторая ссора, и опять же воспалившаяся от отца, произошла весной. Владимир, растерявший осторожность после Аниных извинений и совместных посиделок, да в целом в силу протекших нескольких месяцев, когда все шло мирно между ним и дочерью, даже в таком умилительном ключе, так что нередка была вечерняя пирамидка из Владимира и все выше сидящих на его коленях Ани, свесившей босые ножки (не переставшие для Лены быть ножками, хотя размер обуви у Лены и Ани уже совпадал), и сидящего на коленях Ани Никиты, тоже свесившего босые ножки, такое, несколько задушенное дыхание Владимира при этом казалось вздохами нежности.

В принципе, в эту ловушку мог попасться кто угодно, просто бог, что называется, уберег каждого из остальных в семье. Лежал забытый на журнальном столике скетчбук, сама же Аня его там и оставила, ей об этом и было сказано в ссоре, на что она выкрикнула: «А если я телефон забываю, вы тоже в него лезете?», и поскольку выпад этот был в сторону Владимира, а он лез, да, то просто в статую в тот момент обратился, избегая требовательного Анютиного взгляда и похожий в тот момент на мальчика из «Меркурий в опасности».

А всего-то Владимир глянул на пару страниц и сказал, привлекая внимание: «Аня, слушай, красиво!», как она тут же вывалилась, будто из портала в ад, выхватила у отца из рук свои бумажки и стала мять их и рвать прямо на полу, рыдая, как от унижения. Владимир, не поняв еще, что в очередной раз началось, сел тут же и попытался унять дочку, так она, едва ли ни с пеной у рта, приблизила свое лицо к его, протянула ему низким от непонятной ненависти и дрожащим от плача голосом: «Уйдиииииии!» Отчасти Лена понимала, почему Аня так. Если бы Владимир влез в ее ноутбук и стал хвалить, тоже бы наверняка не дождался от Лены участия и ответной ласки. Но тут случай был все же попроще, как ни крути, Аня сама разбросала рисунки, это было почти как если бы она развесила их по стенам и отвечала истерикой на то, что кто-то на эти рисунки смотрит. Именно давя на это, да еще срезая некоторые возражения буквально на взлете своим учительским голосом, Лена подавила очередной бунт, сознательно довела Аню до таких бессильных слез, что отцовские обнимашки и усиливали их и утешались ими. Но поведение Ани настолько впечатлило Лену, что, видя после какую-нибудь брошенную Аней вещь, Лена не удержалась несколько раз от одной и той же язвительной шутки: «Это не предмет искусства? Может, уберешь?»

Казалось бы: чего проще, спроси у другой дочери, раз у тебя их две, вторая хотя бы в общих чертах должна представлять, что творится с первой. Но нет. Вера была в полном недоумении. И это было не то наигранное недоумение, когда широко открываются для наигранной честности глаза, руки прикладываются к груди. «Мама, я не знаю», – просто отвечала Вера с какой-то усталостью, что после первой ссоры, что после второй. После второй добавила: «Мне легче было бы, если Женька начал бы чудить вот так. Я бы знала, что он о другой там думает, или я ему надоела, что-нибудь такое, короче, а сейчас она просто чужая становится иногда, какие-то у нее секреты, о которых она говорить не хочет, это обидно. У нас до сих пор есть такие обоюдные тайны, про которые ты не знаешь, они уже такие забавные, но хотя бы какой-то... клей между нами».

Опрос учителей показал, что в школе у Ани все в порядке, потому что травля исключалась и по той причине, что Аня сама по себе, вне семьи, была веселой, шутливой, с ней было очень легко, всегда она была готова помочь и на контрольной и с домашней работой, и могла нарисовать что-нибудь, да и Вера не допустила бы никаких шуток в ее адрес. Парочка парней по Ане даже как бы сохла, один ходил с ней в одну изостудию, больше для того, чтобы провожать. Валентинок она получила восемь штук, а это что-нибудь да значило.

Женя что-то знал, но сказал: «Я не уверен». «Да ты хотя бы скажи, в чем ты не уверен, Женечка», – взмолилась Лена, когда воспоминания о прошедших скандалах были еще свежи и очень не хотелось новых. «Это совсем глупо будет, если ошибаюсь, поэтому лучше не надо, – попросил Женя, – но она не беременная – это точно, не переживайте». «Да уж лучше бы!» – воскликнула тогда Лена.

Разговоры с Ольгой тоже ничего не дали. Отчасти она переняла материнскую прямоту, поэтому попробовала объяснить все через ПМС. «И даже не близко!» – возразила Лена. «Тетя Лена, совсем не понимаю, чем вы можете быть недовольны, – ответила тогда Ольга, – ну, мало ли, чем она сейчас

одержима. Я в ее возрасте одержима была каким-то рэпером, и от его карьерных поворотов и всяких слов в его интервью и текстах бесилась или радовалась, потому что мне казалось, что они то приближают его ко мне, то от меня отдаляют. А сейчас даже вспомнить не могу, как его звали, блин! А ведь вся стена плакатами была увешана и журнальными вырезками, и в тетрадку были переписаны все песни. Бред какой, хотелось почувствовать, как-то поучаствовать в том, что он делает, а когда от руки пишешь, получается, будто сама это делаешь».

«В этих словах есть резон, – заметил Владимир, когда Лена передала ему Ольгины слова, – когда дуэт "Кар-Мэн" распался, я неделю чуть не в трауре ходил, песни переслушивал. Встал на сторону Лемоха, как сейчас помню, хотя не помню – почему, собственно. Кажется, впечатлился тем, что он головой на кирпиче спит, чтобы прическу перед концертом не испортить. А сейчас ей вполне может какой-нибудь ютубер нервы мотать. Надеюсь, она не в Хованского или не в Маргинала втюхалась, потому что это был бы прямо конец от гиеньего смеха и того, и другого в случае возможного успеха. Мэд еще туда-сюда, на Корморана Страйка из сериала похож, Зулин, вот – просто идеал, так и вижу их вместе лет через пять. Но идеальнее всего – Кристофер Одд, но это очень маловероятно по многим причинам». «С тобой невозможно серьезно разговаривать», – сказала Лена. «Отож», – сказал Владимир.

Впрочем, проблема исчезла на время будто сама собой, как Лена и надеялась. В какой-то момент Аня была замечена за нежной перепиской в телефоне, да еще с таким уютным хихиканьем при каждом ответном сообщении, даже не окрысилась на Владимира, когда он рискнул спросить, с кем это она так, получил такой же, как у Веры, ответ: «Ни с кем». (Вера так отвечала, даже если переписывалась с Женей.) В день города она ушла гулять отдельно от всех тех близких, кто собирался шлындать по центру, то есть Веры, Жени и Вовы, а Лена этих скоплений не любила. Заранее строго было оговорено на тайном семейном совете, что никто за Аней не следит, пусть все будет как будет. «Мне трудно будет от этого удержаться! – признался Владимир. – Как бы на горизонте моего отцовского воображения, как ни крути, а все же маячит такой обаятельный Гумберт, искусствовед почему-то, или художник по декорациями в оперном театре, такой, значит, с кашне, как петля, и, в целом, в прикиде таком хипстерском, хотя у него у самого трое детей, моих ровесников. Вот такая картинка вырисовывается у меня».

Анютины ночные чаты, вообще, все ее такое приподнятое настроение, когда она весело вваливалась в квартиру, не прекращая смотреть в телефон, где часто отзывались одинаковым звоночком догоняющие друг друга послания, непрерывное ее рассеянно-веселое «ага-ага» в ответ на любые вопросы, прекратились в конце ноября, и тогда же Анюта впала в совсем черную меланхолию. Она была полна такой тоски, что даже не скандалила. В школу она ходила как автомат. На все вопросы Лены, Владимира и Веры спокойно отвечала: «Ничего», но за те несколько недель, что длилась у нее эта печаль, она успела сильно утомить Никиту тем, что как только он появлялся в доме, хватала его поперек живота и тащила к себе на колени при любом удобном случае. Он, кажется, стал ее избегать, спасаясь на руках других людей.

Между вечерними уроками и сном она просто лежала на кровати и слушала музыку в наушниках, словно что-то сильно обдумывала, и вот эта вот именно задумчивость очень тревожила Лену, очень уж решительным становился подбородок Ани, когда она лежала, скрестив ноги и сложив руки на груди – это походило на планирование чего-то, потому что походило на шевеление нижней челюсти спортсменами перед прыжком через планку.

«Может, пришло уже время поделиться своими подозрениями?» – взъелась на Женю Лена. «Это не то, – сказал Женя, смущаясь, – я думал, она в интернет-конкурсе участвует, но он уже давно прошел, а она туда свои работы посылала, но даже в финал не попала. Но это еще летом было. Это явно не то». «Это, Женечка, явно не то! – объяснила Лена. – Тут не надо быть особо умным, чтобы понять, что ее кто-то бросил. Или, там, разрыв произошел! Меня просто интересует: кто, когда, что и как». Этот шипящий разговор происходил на кухне, в ожидании Никиты и Владимира, как раз после того, как Лена решилась на поездку и даже перезвонила институтской подруге, которая успела поделиться тем, что у нее четверо и что она ни дня в школе не проработала. Завершив беседу, Лена еще заглянула к Ане, чем расстроила себя, и решила вцепиться в Женю. В такой последовательности это происходило.

«Он не знает, – таким же шепотом, как и остальные, заявила Вера, – и я не знаю. И вообще, давайте я тоже после каждой ссоры с Женечкой тоже буду вот так падать и слушать что-нибудь. Это уже не смешно. Она и мне отвечает “ничего”. Прямо бесит уже».

Теснимые с одной стороны Аней, а с другой – Леной, Вера и Женя выбрали сначала путь непротивления злу насилием и пытались игнорировать то, что происходило, Вера сама пробовала давить на сестру своим весельем, по большей части наигранным, когда это не сработало, Женя с Верой придумали чаще пропадать где-нибудь, постепенно расширяя культурную программу своих похождений от пиццерий, кино до прогулок в театры и музеи, потому что зависать на даче им запретили, а так бы они там и сидели, тратя время на поцелуи. На этот раз никакой цели у их прогулки не было, идея прошвырнуться была вызвана давлением Лены, и сразу, всячески отшипевшись на разные голоса, они засобирались, Женя просто оделся, а Вера так, чтобы слышно было, что она раздражена. Лена боялась, что Анюта будет длить свою хандру настолько, что все это перестанут замечать, будут вести себя так, будто нет ее дома – и все. Это был один из двух самых плохих исходов. Пока Вера бесилась – все было относительно в порядке, так что можно было даже спросить без раздражения, не забыла ли она телефон и когда планирует вернуться. Вера выразила надежду, что никогда, что по пути их украдут пришельцы, и хотя вертелась у Лены на языке шутка про песни Веры, которые помогли бы освободиться из любого плена, высказывать ее Лена не стала.

«Вот так оно и будет», – подумала Лена, когда дверь за детьми закрылась и наступила полная тишина, то есть не полная – из соседней комнаты слышны были ударные в наушниках Ани, но звуки эти походили на неразборчивый гул не слишком громко включенной музыки в соседней квартире, что лишь усугубляло репетицию грядущего одиночества. Кинематографические, очень убедительные врезки этого будущего она получала почти ежедневно, когда ходила в магазин или еще куда, когда видела пожилых людей, одних и парами, и пары цеплялись друг за друга, будто были единственными двумя людьми на некоем острове, полном молодых бодрых животных, но не людей, не таких, как они, существ, из брюзгливого от отчаяния переругивания всегда торчала претензия на то, что кто-то умрет первым. Одинокие же старики и старушки вообще передвигались по городу, по магазину, как по лесу, как по тропинке среди деревьев и кустов, их, кажется, удивляло, что на кассе с ними заговаривают, а на остановках пробуют помочь с посадкой. Это вздрагивание, как после дремоты, что-то скручивало внутри Лены каждый раз, когда она это видела.

Чувство грядущего одиночество усугублялось еще и тем, что она до сих пор многого так и не поняла, и подозревала, что и не поймет вовсе. Все время находилось что-то такое, к чему не находилось опыта. Разница между шестым, седьмым, восьмым, девятым, и далее, классами, была чуть ли не разницей поколений. Лена слыла умелым педагогом, но ей и до сих пор казалось, что это не в ее педагогических каких-то умениях дело, а в ее умелой актерской игре, способной скрывать вопиющие: незнание и непрофессионализм. О какой, вообще, педагогике могла идти речь, если она удивлялась дочерям, еще тогда постоянно крутящимся перед глазами, когда она знала, что они смотрят, какие сказки любят, какие уже слышали, какие – нет, во что играют, что любят из еды. Оба этих вроде бы досконально известных существа исхитрялись удивить ее каким-нибудь рассуждением, да обычным словом, переделанным, чтобы удобнее было произносить. Что говорить о том, что происходило дальше.

Аня и Вера смотрели на Лену как на человека, обладающего неким жизненным опытом, была же она их родителем, в конце-то концов, большинство их обид и были из-за того, что она как бы должна была понимать, что именно они переживают, понимать некие намеки, чуть не мысли должна была читать с высоты своего жизненного и родительского опыта, и не делала этого. А она была первый и единственный раз матерью вот этих вот близняшек, первый и единственный раз матерью именно этих близняшек-дошкольников, младших школьников, учениц средней школы. То, что переживали в первый раз они, она и сама переживала в качестве матери впервые, это было не повторение, а продолжение жизни, и все в этой жизни было первым и неповторимым переживанием. Все эти «я взрослая, я вас кормлю, я лучше знаю» она почти и не пыталась использовать, а если и произносила что-то подобное, то и сама себе не верила – сколько было вокруг примеров того, что это работает как-то не так вовсе, и уж тем более в России, где чуть ли не каждые пять лет происходило что-то вроде отмены крепостного права, так что всю страну этак перетряхивало, как в решете.

Был у Лены ученик, который приходил в школу, учился и уходил после занятий, нигде не участвовал, ни в каких праздниках. Ни с кем не дружил, но и не конфликтовал, затем просто родители его перевезли куда-то, он как появился, так и пропал. Лена порой думала, что о своих дочерях знает едва ли больше, чем об этом ученике: такие же были у них черные ящики в головах, которые получали некую внешнюю информацию и переваривали ее каждый по-своему, совершенно бесконтрольно и непредсказуемо, те знания о Вере и Ане, которые Лена приобрела, живя с ними, как бы воспитывая их, никак не помогали в том, чтобы понять их.

И тут позвонил запыхавшийся Владимир, было слышно, как он четырехного и двухголосо идет по ступеням подъезда – Никитины шаги и голосок вторили ему тяжелым детским топотом и какой-то песенкой.

«Лена! – почти смеясь заявил Владимир. – Наша дочь – дура!» «Какая из?» – поинтересовалась Лена, заранее чувствуя облегчение от волочившихся уж какой день страданий. «Сейчас объясню, – сказал Владимир и заскрежетал ключом в замке. «Неудачного ты себе исповедничка нашла, Анюта!» – крикнул Владимир от порога, прямо в распахнувшуюся дверь. «В наушниках, – напомнила ему Лена. – В чем дело-то, блин?» «Ну, короче, – сказал Владимир почти радостно, – Аня больше по девушкам. Все. В этом весь, блин, сюрприз. Этому вон, – мотнул он головой, сдергивая шапку с Никиты, – проболталась, нашла, что называется, кому. Пойду к ней».

Эта готовность сразу подставиться под возможные истерику и гнев не сказать что не обрадовала Лену. Если бы ей сразу вот так сообщили и заставили говорить какие-то слова, то не обошлось бы без неловких оговорок, ей и сразу-то пришло в голову словосочетание «тоже люди», и выскажи она его да хоть кому, самой было бы неловко. Или, например, «ну, бывает» таким смиренным голосом с ноткой тоскливости, совсем не такое, наверно, требовалось Ане.

«И что?! – донесся до Лены возглас Владимира. – Мы-то всегда с тобой, тупое ты создание! Как так можно-то, вообще?» Судя по тому, что Аня не кричала в ответ, крик Владимира был позитивным взрывом в их споре. «Ну да, мы и узнали почти первые, но какой ценой! – опять вспыхнул Владимир. – Мы по ауре, знаешь, угадывать не умеем, кто какой ориентации! Должны бы, да! Но нет, представь себе!»

Вынутый из верхней одежды Никита с готовностью убежал к отцу, Лена, привыкшая уже тискать его при появлении, испытывающая даже некоторую потребность в этом, только и успела, что слегка поймать его за лицо и провести рукой под теплым его подбородком и по холодной щеке. Они опять перешли в такое воркование, так что Лена присоединилась к ним и застала конец фразы Владимира: «...тем более нужно было хотя бы выяснить, хотя бы из любопытства, как все отреагируют, чтобы знать, как себя вести: превращаться в такую юную бунтарку, как в кино, чтобы родители за сердце хватались от выходок, пытались в церковь отвести, чтобы наставить на истинный путь. Или не превращаться, если все норм. Так как-то думаю».

«Вот-вот, – подтвердила Лена, – у меня, только в школу пришла, в классе был ученик, как раз бунтарь, видимо поэтому. Потому что недавно фотографии прислал, где с мужем и детьми».

Аня слушала, потупясь.

«Да толку-то сейчас советы давать, как надо было, – вздохнула Лена. – Сказала бы Вере, да и все. Или Женьке, они бы уж и придумали, как нам об этом сообщить. Да нам бы просто сказала».

«Я уже поудивлялся на это», – заметил Владимир.

«Я Жене сказала, – шепнула Анюта, – когда оказалось, ну, когда я ее попыталась поцеловать, а вышло, что зря. Все ему и рассказала, но попросила никому не говорить. А он и никому и не рассказал. И она никому не рассказала».

«А я рассказал!» – сообщил Никита, весело оглядываясь на Лену, и, казалось, сиял от радости, как звездочка. Аня, смеясь и плача заграбастала Никиту и, вздыхая от приступа любви, стала его мучить.

«Женька хорош, конечно, тоже, – пошутил Владимир, – как в рассказе про честное слово. Если Верочка узнает, что он знал – ему кранты». «Так жук такой, вот только что, буквально в глаза мне глядя, какой-то конкурс приплел! – восхитилась Лена. – Хоть бы моргнул».

Когда они остались вдвоем, само как-то так получилось, то долго молчали, затем Лена обняла Аню и все подыскивала и никак не могла подыскать слова, которые должны были утешить Аню раз

и навсегда. Понятно, что не было таких слов, поэтому найти их было невозможно, были только старые слова, которые нужно было повторять, иначе они блекли со временем. «Я знаю, почему ты так, – сказала Лена, – потому что кажется, что ты не такая, раз больше возни с Верой, а тут еще ты в себе открыла эту штуку с влечением. Даже страшно представить, как долго ты себя сначала обманывала, что все не так. Я не знаю, как это происходит. Только по словам тети Иры».

«Так и происходит», – сказала Аня еле слышно.

«Вот ей бы могла еще написать и посоветоваться. Не убили же ее родители, а там люди еще советской закалки. Был шанс, что начнут с вилами и факелами бегать».

То, как Аня затихла под ее рукой, наталкивало на некий вывод. «Она тоже знает, –угадала Лена. – Это просто прекрасно, конечно, и...»

«Да», – на этот раз Аня угадала.

«А им что мешало нам рассказать? Вот тетя Ира как объяснила, что ничего не хочет говорить?»

«Я должна была сама», – ответила Аня.

«А норвежская наша лыжница...?»

«Она подумала, что это розыгрыш какой-то. Я как раз в апреле им. А когда позже, там такая переписка возникла, она очень засомневалась, еще какая-то ссора была, из которой она решила, что я внимание к себе привлекаю так вот неизвестно по какой причине. Вот так как-то».

«В целом ситуация очень смешная, не находишь? Все вокруг знают, кроме меня, папы и Веры. Даже, считай, мелкий и Женя в курсе, уж куда смешнее. Особенно Женя. Выкручивался, как уж. – Лена рассмеялась, вспоминая, затрясло от тихого смеха и Аню. – Вот бедолага».

«Я тебя так же, как Веру люблю, правда, можешь в это даже не верить, – сказала Лена. – Не забывай, что так оно и есть. Конечно, я не умею, как папа, прямо громко об этом сообщать все время, на руки хватать, кружить, чтобы такой фейерверк, шутихи, хлопушки, конфетти. Хотела бы, да не умею. Но люблю. Но и Вера тебя любит как никого. Можно было совсем никому не говорить, но ей сказать, ты же ее знаешь, сколько вы, вон, секретов от меня таите, про некоторые я уже и сама догадалась. Этот несчастный вот приз от школы, ваза эта, по-тихому пропавшая из дома, лет восемь уже как ее наверняка грохнули, не сказать что такая тайна, а, однако, тишина, никто ничего не сболтнул, никто ни на кого не показал. Пойдем посидим со всеми».

Женя, словно чуя паленое, проводил Веру до квартиры – и только, к чести его стоит заметить, что время было уже позднее, имелась причина не засиживаться, и все же Лена успела переглянуться с ним многозначительно, пока закрывалась дверь, а он бесшумно успел показать, что выдыхает с облегчением. Аня очень волновалась перед ее приходом, сказала даже слово «признаться». На что Владимир сказал, слегка кипятясь: «Что значит “признаться”? Ты украла у нее что-то, что ли? Да все больше бы переживали, если бы ты в нашисты пошла или, как это сейчас называется, в юнармию, там, вот уж по какому поводу стоило бы переживать. А тут, господи, ну, лесбиянка и лесбиянка, ты же не назло ей лесбиянка, скорее себе самой назло, когда так подставилась. Вообще, просто извинись перед ней за эти “ничего”, что ты говорила, это больше всего и обидно было. А больше тебе не за что извиняться, вроде бы. Ну, еще то, что ты от нее утаила. Это тоже край, и совсем некрасиво было. Она-то тебе все рассказывает из того, что ты нам не рассказываешь. Ох, жалко, что сейчас вы дневники не ведете. Такие в тетрадках в клеточку. В общих. Насколько проще было бы найти такую и подло читать».

«Я не подставилась, – сказала Аня, – человека я угадала, что хороший, только не угадала, что она ко мне ничего не испытывает, кроме дружбы. Я думала, что у меня есть радар, ну, как в кино. (Правда, по нему выходило, что чуть ли ни треть школы можно... склеить.) Решила не в школе знакомиться, а в студии. Ну, вот, так и получилось, что я дружбу за любовь приняла, а потом еще плохо думала о ней, решила, что она все разболтает, а когда не разболтала, стало еще хуже, потому что с таким человеком, правда, хочется все время быть, никогда не устанешь, и как можно найти другого такого, только, чтобы он тебя любил, а не дружил с тобой – непонятно. И еще я ее напугала все же, потому что она такая же, как я, ну... мы почти близнецы, только не внешне, а внутри».

«Блин, хоть бы ты хуже училась, что ли, – пожалел Владимир, – можно было начать наезжать, что об учебе нужно думать, а не о шашнях. Или чтобы у меня, когда я учился, был бы какой беспросвет, чтобы так, знаешь, заметить, дескать, мне бы твои проблемы тогда, а то там жрать было нечего, три года в одном костюме ходил с заплатками, попутно еще вагоны разгружал. Так ведь нет».

«А я ведь такой твоей подругой и была, – догадалась Лена, – мне потом Ира выложила некоторые свои откровения, но, как видишь, дружим, с удовольствием даже. Говорить “не переживай” без толку, все равно ведь будешь переживать, но все равно не переживай, мне кажется, все равно найдешь кого-нибудь, почти все рано или поздно находят. Или ты действительно рано начала искать. В школе не каждый начинает встречаться с кем-то, согласись. Ну, вот сколько пар у вас в классе? Пара штук, насколько знаю, да и те распадутся, когда до вуза дойдет, все равно нужно какое-то равновесие для этого всего, знать, чем человек собирается заниматься дальше, что он на самом деле за воротами школы, за скобками оценок в дневнике и похвал учителей. Какая-то самостоятельность нужна, нужно видеть, насколько человек действительно решает что-то. Так мне кажется». Владимир кивал, кивала и Аня, Никита не кивал, потому что давно уже незаметно отключился сам и был вынесен за кулисы, на кресло-кровать в спальне Владимира и Лены.

«Еще я не знаю, как бабушка с дедушкой, – призналась Аня. – Им трудно будет объяснить».

«Анечка! Они после войны родились, не знаю, что им там трудно будет объяснить. Они такие вещи видели, такое переживали, что это просто смешно даже переживать за такое, – проникновенно сказал Владимир. – Что уж более дикое может быть, чем кукурузу на Урале пытаться выращивать? А они выращивали. И ветвистую пшеницу пытались выращивать. И это только в пионерском возрасте, не говоря уже о том, что во взрослой жизни. Они столько видели, что сомневаюсь: не то что на их сильное удивление, просто на их удивление не рассчитываю, честно говоря».

Веру Аня тоже не очень всполошила, не было ни паузы во время развязывания шнурков, ни какого-то обдумывания, когда после слов Ани Вера молниеносно выдала сварливым голосом: «Я тоже лесбиянка. Потому что мужиком Женечку назвать никак нельзя. Он от “Лунной сонаты” и “Зеленых рукавов” носом шмыгать начинает, не знаю, какие у него картины там перед глазами во время этого. Кто она хоть?» Аня объяснила, и Вера, снова совершенно не думая, предложила: «Давай махнемся». Всегда, если Верочка принималась разбрасываться такими словами, Владимир и Лена бросались упрекать ее в безоглядной черствости, потому что за все эти годы как-то прониклись Женей и, несмотря на все слова про будущее, которое рушит школьные парочки, школьную дружбу и все такое, не сговариваясь даже друг с другом, надеялись, что наблюдают будущего зятя в лице Жени – к нему не нужно было привыкать, не нужно было знакомиться и привыкать к его родителям тоже, было, тем более, сами собой как-то прошли несколько совместных посиделок. В любом случае, спор с Верой заканчивался тем, что аргументы Владимира и Лены упирались в то, что у Жени может закончиться терпение, на что Вера всегда отвечала: «Ну и на кой он тогда нужен с таким маленьким запасом терпения, когда еще ни до свадьбы, ни до детей не дошло? И он, кстати, тоже не подарочек».

Оставаться в гостиной, пока девочки шушукались у себя, оказалось почему-то неловко, Владимир, конечно, ходил туда-сюда, то вроде как в туалет, то за кофе, то еще что-то там себе придумывал, чтобы перехватить обрывок разговора. То, что его беспокоило, он все же выдал Лене: «А может, правда внимание к себе привлекает, просто сама еще этого не понимает, может, ей так проще, чтобы не спрашивали, когда мальчик появится, все такое?» «Так тяжело, что ли, принять? – слегка удивилась Лена. «Пытаюсь рассмотреть все варианты. Все равно же соперничество между ними есть как-никак. Она, может, и не осознает этого. Какой только ведь фигни не бывает. Насмотрелась, там, чего, решила так пострадать. Я принимаю, просто боюсь, а вдруг она сама себя обманывает, из-за того что, ну, всяко ее задвигали всю жизнь. А она у нас очень упрямая, она всю жизнь так может прожить из-за своего упрямства. Сколько, вот, женщин наоборот живут с мужем, хотя на самом деле не должны, тоже, вот, из упрямства этого, чтобы казаться всем такой хозяюшкой, а сейчас в другую сторону мода пошла». «Мода, блин», – только и могла сказать Лена, чтобы Владимир озадаченно притих.

Лена так привыкла сама хранить свою тайну, настолько естественно, казалось Лене, было с ней жить Владимиру, который всегда знал ее, хранящую свой секрет, поэтому не замечал, что с ней что-то не так, девочки, которые всю свою жизнь видели эти перепады Лениного настроения, от суетливой раздраженности до благостного спокойствия, в упор не видели очевидного, так привыкла Лена, что ей казалось, будто и тайны-то никакой нет. Несколько раз в этот вечер, когда укоряла Аню, что, ну, от своих-то как можно таить, слегка столбенела: «А сама-то». Поглядывая на Владимира, что устроился, поблескивая очками, смотреть телевизор, такой одновременно уверенный, что все знает, и от этого путающийся в этом знании, предполагающий то одно, то другое, Лена пыталась

представить, что было бы, если б она ему открылась. Насколько проще все бы стало, право слово. Лена сама не понимала, что ее останавливает после всего, что было между ними, это бы даже как-то уравновесило вину Владимира, которую он, кажется, испытывал до сих пор, она даже и усилилась, когда Лена прониклась Никитой, и когда Лена говорила, допустим: «Господи, он с мороза заходит, и пахнет одновременно ребеночком и холодом, это как, знаешь, со своими не наигралась будто, но в это и невозможно наиграться», – она видела эту вину в его глазах. Но зато во время ссор чуть ли не (да не чуть ли, а на полную катушку) наслаждалась этой виной, когда могла сказать: «Десять с лишним лет ты! Вот это все, что у нас сейчас, все это могло быть десять с лишним лет!», – а он не знал, что ответить.

«Прискребусь-ка я к Иринке, если она не занята», – с удовольствием сказала Лена, чтобы перебить желание сболтнуть на волне вечерних откровений еще и про себя. Владимир оживился очередным развлечением.

Ира охотно ответила, что рада за Аню, это наверняка было непросто, ее-то родители до сих пор думают, что она придуривается, чтобы от мужика к мужику скакать и ничем себя не связывать. «Сами-то как?» – спросила Ира. «Могла бы все же нам и сообщить», –ответила Лена. «Если честно, то я и сама не лучше своих родителей, – отвечала Ира. – Я в свою очередь тоже думала, что Аня фигней страдает. Это все же не так работает, что я так и стремлюсь новых адептов в свой лагерь затащить. Я больше Верочке бы поверила, если бы она мне такое поведала, и то – пятьдесят на пятьдесят. Я ведь тоже человек советской формации, как ни крути, меня тоже такие вещи в тупик ставят, не так сильно, как если бы я была такой на всю голову религиозной, но все же. Если бы мне сын что-то такое сказал, я бы подумала, что он мне назло так делает, тем более причин масса».

«Про сына ты как-то ни разу не упоминала», – заметила Лена.

«И поэтому ты, когда это прочитала, в стенку смотрела пустыми глазами», – угадала Ирина.

«Да», – призналась Лена.

«Вот, когда мне Анютка написала, я тоже вот так вот в стенку уткнулась и смотрела, не зная, что делать. А вообще, сына я упоминала, Михель же, ему уже двадцать с лишним, поэтому, может, и подумали, что это дружок какой-то. Немецкий Михель, только без колпака. А я думала, так поймете. Там просто все сложно и с отцом его, и с ним, и с родителями его отца, всякие сцены происходили, с криками “такая-сякая”, только на немецком».

«Вот как раз об этом хотела спросить, как ей можно помочь, и можно ли, совет какой-нибудь дать, как не обидеть ненароком?»

«О, господи! Лена! – только и ответила Ирина и долго собиралась с мыслями. – Мы женщины же. Сама объяснишь, все так же и работает, как в любых отношениях. Что ты – не поймешь, хорошая у нее подружка или свинья какая? Чему тут удивляться-то? У нас еще во дворе две женщины пацана растили, он их обеих мамами называл, ничего, никто не развалился от этого. У нас даже проще, особенно если Россию брать. Это мужчина, если к тридцати одинокий – это прямо приговор, соседи начинают коситься – а вдруг с ним что не так? А что это вы один? Вот уж где, наверно, ад. Все совершенно у взрослых людей одинаково, и ошибки эти – такие же. Один знакомый у меня тоже караулил свою возлюбленную, ночами под балконом с цветами стоял, всякие еще штуки выделывал, чтобы ей понравиться, а бесполезно, потому что ее мужчины, как оказалось, не интересовали. Все относительно очень, и везде можно подорваться, на каждом шагу, это взрослая жизнь, тут, помимо таких ошибок, есть еще уйма способов ошибиться. Так же можно и на алкоголика нарваться, и на того, кто кулаками будет махать».

«А радар?»

«Опять же, о, господи, Лена», – сначала натыкав одного и того же сердитого смайлика, ответила Ирина. – Этот радар как появился в серии “Друзей”, так и не исчезает. Все люди совсем разные. Через ошибки ищешь того самого человека, и он тебя ищет, и вы встречаетесь или не встречаетесь в итоге, а ищете друг друга всю жизнь – и облом, как у меня».

«В случае Ани, так думаю, – пришел от нее еще один ответ, – рано ей еще об этом переживать, честно говоря, о другом нужно думать, рисует пускай, чем больше, тем лучше, пусть лучше свое либидо на рисование торсов и бошек тратит, на носу экзамены у нее там, никуда не нужно торопиться, все должно само выйти, сама знаешь. Понятно, у нее там перед носом вертится эта парочка. Пу-

скай мне напишет, может, помогу ей как-нибудь. Все же от меня убедительнее это будет звучать как будто. Тут авторитет по ориентации, думаю, сработает. Или будем надеяться, что сработает. А что ее кто-то кинул там – фигня на самом деле. Я вон по тебе вздыхала и еще по нескольким кандидатурам, но это мне что-то не помешало поступать, а тут вон даже до поцелуя дошло, пускай этим довольствуется. А если будет опять дурковать, приеду и уши ей надеру».

И вот все улеглось в доме, и только одна неопределенная мысль не давала Лене покоя, пока не оформилась в тот момент, когда они с Владимиром дремали уже.

«Слушай», – сказала Лена.

«М?» – спросил Владимир с некоторым недовольством, потому что решил, будто Лену внезапно озарило каким-то делом, которое потребует встать из постели.

«А как он тебе это рассказал? – спросила Лена. – Ну, не словом же “лесбиянка” он оперировал, да и даже вот сказала бы Аня ему: “Я – лесбиянка”, он бы даже не понял, тут же бы, может, и забыл, и не вспомнил бы».

«О! – зашевелился Владимир. – Очень смешно было. То есть на тот момент смешно. Едем такие, везу его, он что-то там про детский сад, эту песню про медведя, который домой шел и на хвост лисы наступил, и тут сразу, без перехода, главное, там вот это, “на сосне веселый дятел белке домик конопатил”, спрашивает, бывает ли так, что девочка женится на девочке, а я весь в прострации. Когда уходил-то, такая готическая обстановочка в доме была, ну и отвечаю рассеянно, что какой только фигни не бывает, люди, вон, дома и миллионы своим кошкам в наследство оставляют, собаки становятся мэрами городов, а уж то, что девочка на девочке женится – такое вообще – сплошь и рядом. И тут он говорит, что Аня полюбила другую девочку, а оказалось, что ничего не получается, потому что та девочка ее не любит».

Он вздохнул: «И после всего, что вот было тут, когда из дому было страшно выйти от страха, что она сделает что-нибудь с собой, так отпустило, что просто не передать. Тебя ведь тоже?»

«Не то слово, – подтвердила Лена. – Особенно меня порадовало, что она куче людей разболтала, что с ней, это очень хорошо на самом деле». Трем вещам удивлялась Лена: как она не спалилась, как она боится одиночества, и тому, каких невероятных усилий, оказалось, стоило не вырастить из дочерей подобие себя самой.

Глава 9.

Вдавленная в тротуар, останется здесь до лета

Вика и Саша как были красавицами, так и остались, Саша разве что довольно-таки сильно располнела, но ей это каким-то образом шло, и остальные выглядели так хорошо, что Лена, почувствовав, что пообтрепалась в поездке, объятиях и поцелуях, сходила в туалет ресторанчика и торопливо поштукатурила там себя, чтобы не выглядеть облезлой не столько на встрече, сколько на фотографиях.

И Сергей был здесь, и первым делом упрекнул Лену в том, что она не принимает его вконтактовскую дружбу. Это был такой покровительственно-солидный упрек, потому что Сережа работал в правительстве города, и видно, что не без охоты, покрылся административной патиной, он же взял на себя роль неназванного руководителя вечеринки. На вопросы, чем он занимается на работе, отвечал уклончиво, загадочно, но с оттенком гордости: «Туризмом». И мысленное «бля» вырвалось у Лены, когда она увидела гитару в чехле, припертую к стенке рядом с их столиком: «Об этом я как-то не подумала». Лицо и руки у него были настолько загорелые, что казались автозагаром. Глядя на него, Лена ощущала незавершенность Сережиного образа – там, где на лацкане его пиджака должен был поблескивать значок «ЕДРа» – было пусто. Он был подтянут и даже накачан, не в пример мужу, но чувствовалось, что, если бы дошло до махача, Вова переехал бы Сережу, как автомобиль.

Коротко взгрустнули, что не все дожили до этой встречи и что кто-то не смог приехать, но все это было формальным преддверием к тому, чтобы начать настоящее веселье с тостами и прогулками на уличные перекуры даже тех, кто не курил. «А что за сюрприз-то? Сергей? Так на фиг такие

сюрпризы!» – спросила Лена у Вики, пока та делала страшные глаза на последних словах, потому что сам Сергей крутился рядом и делал вид, что ничего не слышит. «Нет, нет, увидишь!» – ответила Вика.

Так или иначе, все друг о друге уже знали, видели и мужей, и детей, и дачи, и фотографии из отпусков. Сережа, разве что, развлек ненадолго свежими селфи с местными и заезжими звездами (так она опять увидела дядиного родственника-телеведущего в кофте с ромбами). Подвыпив, компания распалась на несколько отдельных компашек, в одной из которых обсуждали вред вайфая и пользу здорового образа жизни, в другой говорили о школе, в третьей – об интрижках, в четвертой обсуждали семью. Но не постоянно каждая кучка обсуждала одно и то же, сохранялось такое равновесие, как только одной группе девчонок наскучивал разговор о диетах и физкультуре, это начинали обсуждать другие, а те, что забросили разговор о здоровье и как его поддерживать, принимались болтать, например, о семье. «У меня в этом году фарфоровая свадьба, – встрял Сергей. – Двадцать лет – как один день». «Сережка, ну, хватит, ну, наслышаны о твоей любвеобильности все или почти все, кроме твоей бедной жены», – сказал кто-то. «Это помогает поддерживать прочность брака, она прекрасно все знает и понимает, – уверенно возразил Сергей. – Мужчина по природе не моногамен. Все изменяют».

«Я своему тоже, вот на этих словах основываясь, плешь проедаю, – сказала одна из одногруппниц, – хотя он мне говорит, что после сорока уже, когда в командировку отправляешься, тебе уже не нужно ни пьянок, ни женщин, ничего уже не нужно, потому что дома, даже если ты человек не семейный, никого если у тебя нет, все равно от тебя всем что-то нужно, а если семейный, то это ведь постоянное: одному – одно, другому – другое, третьему – третье, мне что-то нужно, соседка скребется, потому что ей лампочку нужно поменять или газ она в духовке зажечь не может, хотя уже почти семьдесят лет на свете прожила, а потом возвращается, а я еще подкалываю этим, и это смешно, да, что я могу ревновать или делать вид, что ревную, и отвечает шуткой на шутку, а сам уже готов в окно выскочить, потому что у собаки внезапно понос, и все бегают с тряпкой за ней, или кот зацепился когтем и заорал, или дочерям что-нибудь нужно, какую-нибудь фигню, и все это происходит минуты за две, вот это все и даже еще что-нибудь может происходить, и это годами длится. Зато вот в момент, когда в гостинице вечером оказываешься, или уже в самолет сел, или в поезд, ты ничей становишься. И вот это вываливание за скобки, господи, когда ничего тебе уже не нужно, кроме тишины, когда просто можешь пялиться в одну точку, это просто невероятное что-то».

«Скучный у тебя муж, то-то и всего, – сказал Сергей, – а если бы пошел налево, освежил бы отношения, ты бы его не узнала. Нужно иногда пар выпустить». «Сереженька, ну какой у тебя пар?» – спросила Саша. «У меня очень сложная работа и ответственная должность, между прочим, – напомнил Сергей. – Очень большой прессинг со всех сторон. А с женой у меня прекрасные отношения и полное взаимопонимание, она просто закрывает глаза на некоторые вещи, потому что мы оба – взрослые люди». «А если она тебе?» – спросили его. «Ну, у женщин, вы сами знаете, потребности не так высоки, а я ее полностью удовлетворяю в этом вопросе, не переживайте за нее». «Уберег же бог», – подумала Лена.

«А если жених твоей дочки вот так начнет гулять?» – продолжали наседать на Сергея, но Лена не в силах уже была слушать его ответ, который он начал уже высказывать уверенным голосом, и выскользнула на улицу. «Убила бы, – сказала ей там Вика, куря в жадный затяг. – Жаль тут еще наших парней не хватает. Или мужей надо было все же взять. А то он тут как звезда. Тебе, наверно, особенно тяжко все это слушать. Я в курсе, что у тебя было. Как ты его, вообще, обратно пустила – непонятно». – «Да как-то само получилось», – ответила Лена. «Ты на вино не налегай, а то я твоему сюрпризу пообещала, что ты будешь в кондиции», – попросила Вика. Лена спросила, как у нее дела у самой, Вика охотно рассказала про два своих брака – бывший и длящийся до сих пор. «Вот так вот сначала за папика выскочила за такого же, – сказала она. – И это объяснимо отчасти для меня той. Казалось, что наши-то такие, только кажутся серьезными, а тут солидный человек. Отсюда видно, чего это солидность стоит. Тоже был такой бодрячок». Невозможно было долго стоять на холоде, они вернулись, чтобы застать в самом разгаре уже гитарный концерт, вспомнила, как, наткнувшись на интервью местного телеканала, где присутствовал Сергей и ведущий с ромбами, удивлялась, что никто из них двоих не мог назвать Высоцкого Высоцким, оба называли его Владимиром Семеновичем, пользуя при проговаривании имени и отчества одну и ту же трепетную интонацию, а про

Визбора говорили просто: «Визбор». Но и здесь Лена ощутила внезапную жалость – то, какие Сергей пел песни (а все они были те же, что и раньше), то, как он сказал: «А вот теперь нашу», и в ход пошли охота и утки, было видно, как он цепляется за то время, когда был школьником и студентом, как взбадривает себя прежними песнями, чтобы поддержать иллюзию того, что он остался тем самым, когда учился еще, и, может, и не осознает этого, и так же, как и остальные прикидывает, что до шестидесяти-семидесяти лет уже гораздо ближе, чем раньше, и расстояние это сокращается довольно быстро, и что любое колотье в левой половине туловища тревожит уже не так, как раньше, а гораздо сильнее. «Интересно, как это у мужчин – воспоминания о том, что было и уже не отнять, или сожаление о том, чего не будет? Надо у Вовы спросить, – подумала Лена, к авторитету Блока в этом вопросе обращаться было бесполезно, потому что она уже была старше умершего в сорок один год Александра Александровича. – Сергею, наверно, придется особенно тяжело. Ему, наверняка уже тяжело, любую слабость принимает за окончательное фиаско». Буквально днем ранее Лена и Владимир воспользовались тем, что все дети ушли, наконец, куда-то все вместе (при этом собирались сто лет, и Лене большого труда стоило не выпихнуть их на лестничную площадку), и лишь дверь за ними закрылась, обоюдно устроили настоящий карнавал с проходом в спальню и попутным разбрасыванием вещей друг с друга, и сначала укрылись одеялом, потому что в комнате было свежо, окно было открыто, а закрывать его было некогда, в конце же – с отпыхиванием, как после забега, взаимным жаром, одеялом на полу и недоумением, как так получилось на этот раз и почему так не может получаться все время.

Охваченная жалостью, Лена выцепила в итоге Сергея, несколько очеловечившегося от алкоголя и пения, и спросила, как он вообще. Сергей совершенно точно понял вопрос с первого раза, но не сразу, а как-то в процессе, пока тянул к Лениной руке свою, и начинал протягивать еще такой благодушный и пьяненький, готовый исполнить что-нибудь на бис, а сообразив, о чем это Лена, устало навалился на стол и стал шарить глазами по столу в поисках ближайшей рюмки. «Это не здесь надо, и не так», – негромко ответил он. Выпить ему больше не дали – утащили танцевать медленные танцы с желающими.

Будто почуяв тоску Лены и желание уйти, позвонил Владимир и спросил, как дела, встретила ли она бывшего, пошутил насчет старой любви, которая не стареет. «Стареет», – сказала Лена и заметила, что многие уже говорят по телефону, и некоторые так же нежно, как она сама, наклонены к трубке. «Нет, нет, через пару часов еще, или я сама на такси, или мне вызовут, – услышала она. – Как там у тебя?»

«Так, Лена, – угадал Владимир. – У тебя сейчас эта как раз фаза, когда ты хочешь уйти, когда тебе кажется, что ты никому не нужна в том помещении, где ты сейчас находишься».

«Вооова, – жалобно протянула она, – ну, тут правда такой гул уже, обо всем уже переговорили, да и смысл, если списаться можно, а все равно все болтают, еще такое помещение, все в бомбошках: шторки, скатерти, с сидений у стульев свисают, я хожу, цепляюсь сумочкой за бомбошки, самое интересное всегда на улице обсуждают курильщики, а с ними холодно стоять, приезжай сюда. Тут в одну сторону сунешься – педсовет, там – ЗОЖ, уже сериалы начали обсуждать, и я уже знаю, чем все сейчас закончится, сейчас все начнут друг другу ролики в интернете показывать с кошками, детьми, собаками, я и сама желание испытываю чихающую панду показать, потому что про нее все забыли и с удовольствием снова посмотрят. Может, не надо? Может, поеду я уже?»

«Ну-ка, ну-ка! Куда засобиралась? – подхватила ее Вика, филигранно изъяла у Лены телефон и попрощалась с Владимиром, уверив его, что все в порядке и под контролем. – Она в надежных руках!» – и вернула телефон обратно Лене.

Лена была посажена в уголок и стала терпеливо ждать, а вернее, засекла время и решила, что через сорок пять минут ничто ее не остановит от того, чтобы уйти и успеть на предпредпоследнюю маршрутку до Екатеринбурга. Несколько девчонок ушли под разными предлогами, каждую провожали и напутствовали оставшиеся – своеобразный актив из девяти женщин и Владимира, эти, кажется, собирались сидеть до упора и вытащили даже из соседнего зала трех незнакомых мужчин, как Лена поняла из контекста – друзей какого-то юбиляра, который был уже отправлен домой по причине полной невменяемости. Все были настроены настолько игриво, что шутка от нового гостя: «Вы педагоги, правда? А вы можете научить меня плохому?» была встречена смехом, только

Вика ходила по ресторану и ругалась в телефон: «У всех семья! Ты должен был полтора часа назад приехать! Что это такое? Кто так делает?»

Затем внезапно всем наскучило танцевать, и наступила застольная фаза своеобразной игры в «А вы помните вот это? А вы помните, как мы?.. А вот еще, помните, вот такое?». У Сергея лучше всего получалось вплести воспоминания в тост, он говорил: «Ну, ребята, чтобы мечталось, как Вадику Пирогову, а сбывалось, как у Светки Мережниковой!» И все начинали перебирать в памяти, о чем так мечтал Вадик, а что получилось у Светки, или «Чтоб нашим врагам жилось, как перед зачетом у Владимира Петровича, царство ему небесное», и так далее. Не прошло и двадцати минут в чередовании таких тостов, а набравшийся новых сил Сергей пел: «Ну, что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись!» И как бы иллюстрируя слова песни, подсел к ним какой-то молодой человек из чужой компании, по-бродяжьи, очевидно, проследовав из зала в зал, ища себе развлечения по душе. Он, улыбаясь, очень внимательно смотрел на Лену. Сначала Лена приняла его внимание за случайное и думала, что он прекратит смотреть, что столкновение их взглядов произошло по недоразумению, но поглядела раз, второй, третий, а он все пялился и улыбался все шире с каждым разом, как Лена с ним переглядывалась.

Это был такой довольно мелковатый мужчина, лет тридцати с лишком, женатый, если верить кольцу. С прямым ртом, прямым крупным носом и прямым пытливым взглядом. Темная его бородка и усы, тщательно обритые вокруг, образовывали аккуратный овал на его лице. Сидел он наклонившись вперед, уперев локти в колени, сцепив кисти рук, так что складки на его брюках и рукавах расстегнутого пиджака были как некие радиальные кривые, что вещественно продолжали невидимые линии, начинавшиеся от его живота, которого у мужчины, что называется, не было. Конечно, слабая волна узнавания пробежала в памяти Лены, однако мозг смутили татуированные языки пламени, что выглядывали сбоку над воротником его рубашки (этого раньше, разумеется, не имелось) и довольно-таки волосатые руки. Но вот сложились разом такие, буквально втравленные в память детали как: большие темные часы на его довольно тонком запястье, челка над бровями, до сих пор лежащая так же. Это произошло, когда Лена сделала строгое лицо и готовилась поинтересоваться, чем объяснить такой к ней интерес, не знакомы ли они часом, а такое могло быть, конечно, поэтому она сначала перебирала в уме бывших выпускников, прежде чем понять, в чем дело. «Стоит на пять секунд отбежать!» – пожаловалась Вика, возникнув за спиной молодого человека и положив руки и ему на плечи. Замолчав, она продолжала тяжело дышать через нос, видимо, спешила к месту встречи. «А я специально наблюдаю и ничего не говорю, – сказала Саша, – обожаю такие моменты. Жду, когда до нее дойдет, а до нее вот только сейчас дошло, ты ничего не упустила, не переживай».

«Славик. Снаружев», – сказала Лена, он скромно закивал, а она, с трудом сдерживая себя, чтобы не закричать от радости, прижала обе ладони к лицу, ей приятно было не то, что она его вспомнила, а что он помнил ее до сих пор и решил встретиться. Как-то угадывалось, что не со всеми знакомыми отца он был встретиться с такой готовностью, что тут есть что-то еще, некое чувство, которое, даже утаиваемое Славой, тепло раскрылось у Лены внутри чем-то теплым и светлым. Чуткий к авторитетным тагильским фамилиям (типа Каро и Диденко), Сергей прервал тихое вокальное волочение плота, сшитого из песен и слов, и не мог не спросить, не сын ли того самого Снаружева, который. «Любопытные у вас знакомства, девочки», – сказал он, получив утвердительный ответ.

Лена бросилась обнимать Вику и Сашу, по Вике даже постучала кулачком, упрекая ее в ненужной таинственности, Слава смотрел на это, смущенно улыбаясь, затем встал, когда заметил, что Лена направлена в его сторону, а она обняла его, попробовала даже покачать влево-вправо от избытка чувств, как делала с девочками и Никитой. «Я надеялся, что так будет и приготовился», – сказал он. «Ой, да ты не картавишь!» – изумилась Лена, словно с последней их встречи прошла неделя. «Ой, девочки, девочки, девочки, ой, спасибо, спасибо, спасибо!» – говорила она истончившимся от нежности голосом, отстраняя Славу, для того чтобы еще раз взглянуть на него, и снова обнимая.

«Я похищаю ее у вас, вы не против?» – мягко спросил Слава, поочередно взглянув на Вику и Сашу.

«Ой, да летите уже, голубки!» – махнули на него обе.

Конечно, отыскать его в социальных сетях было вовсе не проблемой, фамилия у Славы была не из самых распространенных, но Лена считала, что вылезет вот такая тетя, начнет вызвать в

нем некие воспоминания из детства, к какому неизвестно отношение, может, вовсе не радужно вспоминались ему, она думала, все эти поездки с отцом по Тагилу. Понятно же, что много людей Слава невольно знал, невольно забыл, а обстоятельства, через которые они знали друг друга, не у любого человека могли вызывать ностальгию. Еще она очень боялась, что увидит совсем не то, что покинула когда-то, что Тагил выйдет боком и покажет ей какого-нибудь зека, пошедшего по стопам отца, наркомана или алкоголика, а она начнет его осуждать, переживать, что было бы, если не имелось в его жизни таких, как Лена, знакомых, поэтому она даже из любопытства не то что не пыталась связаться, но и разыскать его не пробовала, чтобы влезть в открытый фотоальбом. Да и все же Тагил она забыла, чего уж там, идея узнать и боязнь узнать, что там творится в чужой семье, не постоянно преследовала ее, а возникала только в виде сразу исчезающей мысли посреди тишины контрольной, когда она листала ленту, поглядывая исподлобья на класс, во время конструирования стишка, или где-нибудь дома, когда кто-нибудь использовал слово «снаружи», да и то не всегда.

«Отчасти все же зацепило меня то, что вы с папой делали, – признался он, пока они ожидали такси на улице, где он торопливо курил, поскольку машина ожидалась через две минуты. – Я теперь филолог, гоняю студентов по современной литературе».

«Господи, как хорошо, Славка, что ты такой, – не стала врать Лена. – Больше всего боялась, что тебя в жуткую какую-нибудь сторону повернет, с таким-то детством. И из-за меня тоже».

«Я слышал, вы и в Екб успели побанчить тауматропами? – улыбаясь тлеющему табаку, спросил он. – Папа тогда чуть с ума не сошел от радости, что вы не пропали никуда, хотя бы вот так, через новые тексты с вами свидеться. Сам он не хотел вам жизнь портить».

«А у меня резистентность к чернилам», – признался он с оттенком гордости, будто в этом была его выстраданная заслуга и, как в детстве, посмотрел на Лену исподлобья, оценивая, как она отреагирует. Лена никак не отреагировала, потому что не могла перестать смотреть на Славу и радостно улыбаться при этом.

«Я слышала, папа умер у тебя, – сказала она, с трудом задавив радость на лице. – В новостях говорили местных».

Кажется, легкая улыбка была постоянным выражением лица Славы, потому что он, все так же улыбаясь, исхитрился изобразить должную скорбь.

«Неоднозначная фигура уральского криминального мира. Так, вроде? – сказал он. – Да. Вот уж несчастный человек».

Такси на двадцать минут прервало их беседу, но зато о наркотиках заговорил сам таксист, охотно травя водительские байки про то, как возил наркоманов по закладкам, как в сорокаградусный мороз парень с девушкой в легких курточках и штанишках выпросили саперную лопатку и чуть не час ковырялись в сугробе при проселочной дороге возле Балакино. «Прямо смотрел на них, и сердце кровью обливалось, какие они были несчастные. Но это нормальные еще попались. Бывало, и кинуть пробовали, но я же еще на маршрутке работал в девяностые, еще тогда вывозил особо буйных на окраину: учил правильно дверь “Газели” закрывать». В монолог шофера встрял Владимир, любопытствуя, переменилось ли у Лены настроение, и куда она теперь, едет ли обратно, оба – и таксист, и Слава с пассажирского сиденья – благодушно слушали, как Лена поинтересовалась в ответ, все ли в порядке дома, и точно ли дома все в порядке, а потом ее объяснения, что вот вырос у старого ее друга сын, сам друг умер, а она едет теперь в гости к этому сыну, поговорить, повспоминать. Как только разговор закончился, таксист сказал: «А вот у меня тоже друг был...» – и пошел чесать до самого УВЗ, так что Лена не успела даже заметить, как они проехали дом Петра Сергеевича, чтобы успеть взглянуть – горит у него свет в окне, может, что мелькнет еще. Просто со дня похорон мамы он так ни разу не позвонил, а на звонки Лены не отвечал.

«Чай, кофе, валерьянки?» – спросил Слава уже у него дома, в трехэтажной или четырехэтажной сталинке (Лена не успела разглядеть, потому как подъехали прямо к крыльцу и быстро зашли, торопясь взбежали по ступеням, точно таксист мог погнаться за ними, продолжая: «А я вот в сталинке жил, и у меня...»). И когда закрыли за собой дверь квартиры, то рассмеялись. «Жена, конечно, бесилась, когда я всю эту встречу планировал, но все же поняла, что нам нужно тут поговорить, – сказал он, заметно суетясь, – отправил всех к ее родителям. Хотел на папину и мамину

дачу вас отвезти, но там сейчас не топлено, да и в целом, может, и дорога не чищена. Алкоголь? Нормальной еды? Давайте на кухне посидим, как я тогда у вас дома».

Лена не помнила, чтобы Слава сидел у нее на кухне, но прошла туда, откуда раздавался его голос и бряканье торопливо отмываемых тарелок, как минимум двух, потому что там фаянсово что-то звенело друг об друга, но от чая, кофе, алкоголя и еды отказалась.

«Так забавно. Я закурю? – получив разрешение, Слава встал возле окна и принялся стряхивать пепел, суя вытянутую руку на улицу. – Забавно, да. Когда я вас видел, ну, тогда, вы казались похожи на девочку из "Чужих", меня это тогда очаровывало до невозможности, даже дыхание перехватывало, такие тоже кудряшки. А сейчас вы больше на Сигурни похожи, если понимаете, о чем я, вообще, говорю, господи, какие "Чужие"».

Он потерял куда-то пиджак по пути от прихожей до кухни и, волнуясь, трогал зачем-то узел галстука.

«Ну, ты тоже, Слава, изменился слегка».

Он охотно согласился с этими словами.

«Как ты это устроил?» – спросила его Лена, не в силах не смотреть на него почти с родительским теплом, которое он чувствовал и продолжал смущаться.

«Слегка пришлось поманипулировать людьми, когда узнал, но в целом все спонтанно получилось на самом деле. Я ведь к вам на страничку заходил, когда узнал, какая у вас новая фамилия, но вы ведь там ничего не пишете почти. Все не решался написать в личку. Так думал, сейчас полезу, а она меня, может, и знать не знает, мало ли. Может, для вас это прошлое не в радость, и люди из прошлого – тоже. А потом услышал про эту встречу, там ваша старая фамилия мелькала у Виктории Николаевны, втерся, так сказать, в доверие, сказал, что очень дружны были с вами. И сегодня, пока отвозил своих, уверял, что ничего не будет, что это не старая любовь (хотя отчасти это ложь, конечно, но ведь вы, ведь между нами на самом-то деле что-то, если и любовь, то не в том понимании, в каком жена это все мне представила), ну, словом, вот так вот все вышло».

«Хорошо получилось».

«Да, неплохо, – сказал Слава и рассмеялся. – Даже лучше, чем я ожидал. Только я теперь не знаю, о чем говорить. Я с вами уже столько мысленно переговорил, что, кажется, больше и не о чем, что вы и так все знаете».

«Ну, давай о себе, сперва о себе, а не об отце, о нем позже, что там произошло тогда, когда я уехала бог знает сколько лет назад».

«Ну, все и произошло, как вы тогда говорили, – сказал Слава, глядя в пол. – Отца правда выпустили к юбилею. Я тогда еще слегка удивился вашему такому пророчеству. (Сейчас забавно.) Затем велосипед, мотороллер, мотоцикл. Еще меня отец пытался за границу отправить учиться, но, к счастью, ничего у него не получилось, так я думаю. Особых способностей к иностранным языкам у меня нет, понятно, что особых способностей и не нужно, если их в итоге каждый младенец выучивает, когда в среду попадает языковую, это все отговорки. Но вот эта движуха псевдолитературная меня в итоге захватила. Я ведь все ваше прочитал в итоге, и не только ваше. Знали бы вы: насколько это подчас прекрасно и без наркотического эффекта. Но в тот момент это все же такой движ был криминальный, но, понятно, что к нему я не был приспособлен. В химии карьера барыги рушится, если он сам начинает ставиться, а тут наоборот, если не чувствуешь ничего и не ставишься – как определять стишок от слов в столбик? Отец, честно говоря, возликовал, когда я ему признался, что пробовал – и ничего. Он считал, что очень смешно, когда династия вымирает таким образом – один не может ничего написать, а его сын уже ничего не чувствует. Но я как-то пытался вывести формулу того, вставляет или нет, чтобы по чисто теоретическим выкладкам понять, как это все работает, ну и, понятно, за труды Лотмана зацепился, потому что у него такая же проблема была в отличие от многих других. И универ, а затем вот просыпаюсь, а я уже весь женатый, отец семейства, и надо идти на заседание кафедры, что-то там умничать, а затем принимать зачеты, и это настолько дико вдруг внезапно показалось, потому что я, кажется, не мог вырасти из себя такого, какой я был. Насколько помню, мне комиксы "Утиные истории" нравились в то время, когда кто-то уже классикой проникался, еще "Медвежонок Бамси" какой-то, сейчас даже вспомнить не могу, что у него там было. Не уравновешивается это как-то, то, кем я был, и то, во что превратился, причем в классике же,

как правило, есть такой переходный момент от одного человека до того, в кого превращается этот человек в конце. Я совершенно не помню. Настолько плавно я в это въехал все».

Он вздохнул и торопливо закурил снова: «Только сейчас понял, что о себе не умею рассказывать, что хотел задвинуть про то, как все настроены изначально на что-то. Что кому-то и выбирать не приходится, потому что его мозг изначально чувствует эйфорию от насилия, допустим, от отжимания мобилок, а от литературы – нет. Что все это удивление: как это – вырасти в криминальной среде и не "погибнуть", оно ничего не стоит. Так же и удивление от того, что отец в торговлю литрой подался, а не в то, чем его родители занимались. А чем они там занимались? Горбатились, как проклятые, в деревне почти за спасибо, особенно когда трудодни еще были. Как его вывело на эту дорожку, так будто и не могло не вывести. Какой-то птушник из города привез что-то, и отец вдруг увидел, что все вокруг прекрасно не только потому, что привычно, не только потому, что ничего другого он и не видел тогда, кроме Ирбита, а прекрасно само по себе, эти две улочки, эта река с илистым дном, до которой иногда через камыши нужно еще и добраться, бледный автобус, добирающий пассажиров от села к селу и катящий в поднятой пыли. Он вот захотел вернуть это чувство, и так у него и пошло от срока к сроку, никак он не мог насытиться этим как бы выдуманным миром. Ну так мир и есть выдуманный. Мы и здесь не особо вольны выбирать наше к нему отношение. Какую мозг тебе дает картинку, как подскажет отношение к этой картинке, так ты все и воспринимаешь. Щелкнет тумблер – и вот уже все населено розовыми слонами, щелкнет по-другому – и все кругом враги, которые что-то против тебя замышляют, и только медикаментозно это можно как-то поправить. Вот он, можно сказать, медикаментозно все и поправлял».

«Нет, для него это не медикамент был, – не смогла не возразить Лена. – Он как к чему-то живому относился к ним, к стишкам, к литре. Такой немножко мистический взгляд на это был у него. Все он меня подначивал на разговоры о незримой связи между текстами и тем, как они на жизнь влияют, что сама речь живет самостоятельно, что там некие глубинные процессы протекают, невидимые одномоментно. Он вообще речь считал одним таким большим существом, по-моему».

«Я как раз так и защитился, – сказал Слава с оттенком хвастовства, – "Мифология псевдолитературного процесса". Хотя если с точки зрения отца смотреть, то в чем он, собственно, не прав? Язык старше каждого отдельного человека? Старше. Находимся мы непрерывно в этаком семиотическом поле с довольно сложными, почти физическими законами? Находимся. Язык меняется не по нашей воле, а по собственной? Меняется. Даже болевые, мутагенные точки определенные имеются, вроде кофе и одеть-надеть, и тут дело ведь не только в безграмотности множества людей, а в своеобразном нервном напряжении речи в этих ее местах, нарушении некой логики самого человеческого мышления, когда человек пользуется этими словами».

«И это не ведь не умозрительный такой мистицизм, это, в принципе, почти религия, отчасти даже государственная. Не знаю, как это в целом, у меня выхода на высшие эшелоны нету, но гнобление литры, оно ведь документально подтверждено. Как и то, что после накопления определенного ядра псевдостихотворных текстов следует некий социальный взрыв, как правило, отрицательный. Это давно замечено. И не мной. Не стишки становятся более забористыми в тяжелые времена, тяжелые времена порождаются забористыми стишками. Проходили же вы в институте, как это все Достоевский в "Бесах" проиллюстрировал, как случайные, в общем, люди уродуются кривой литрой Лебядкина, так что весь город встает на уши, все начинают творить какой-то просто бред, как его чернила определяют не только цепочку следующих событий, но и в прошлое просачиваются с характерным для Федора Михайловича... м-м, не могу подобрать слово. Вы не могли этого не замечать, когда сами. Если даже не то что сказанное, некая мысль, даже не превращенная в текст, порой возвращается в виде энкаунтера, что уж говорить о полностью слепленном тексте».

Он лукаво посмотрел на Лену: «Да и вообще, с кем я сейчас разговариваю? С той ли самой Еленой или с литрой? Насколько живущие внутри вас тексты заменили вас саму за это время? Если принимать каждый прочитанный и сочиненный текст за некое существо, вы же ими полнитесь, они за вас, может, и отвечают даже. В этом плане высказывание Умара ибн аль-Хаттаба не столько уж неверно. Или как там у Блока в романе его, из которого папа пробовал вычленить стишок по размытым описаниям, очень смешно и грустно, что у него получилось, но все равно не получилось: «Девочка в церковном хоре пела, о том, кто голоден и одинок, кто по дороге идет несмело, потому что очень уж занемог».

Плюс в книге-то про концовку стишка совсем ничего не сказано, кроме того что Георгия охватило удивительное, как луч, отчаяние, вроде бы восходящего скалама, но в умозрительном луче этом, казалось, можно было разглядеть пылинки, и ни одна из них не стремилась вверх – все они оседали. Папа из этого сотворил такую драматическую концовку: “Дом его станет серым, стекло треснет и разобьется, потому что назад никто не вернется”. Так вот, в романе, в конце, говорится про тексты, которые буквально линзы образуют перед глазами стихотворца, такую оптическую иллюзию создают, дескать, какая разница, какое на самом деле настоящее, да и что такое настоящее, что-то такое, в общем. А затем, что без текстов человек будто и не человек вовсе. Как вы? Наверно, семья постепенно вытеснила это все, такое у многих бывает».

«Не вытеснила, – призналась Лена, и брови у Славы дрогнули удивленно. – Совестно, больше семья теснится сбоку от текстов порой, но не замечает этого. Дети буквально выросли по соседству со стишками, они и ломки мои принимают больше за издержки профессии, и все такое. Муж и тот не знает».

«Так это очень сложно, – сказал Слава. – Отец говорил, и во многих вещах не совсем разделяю его взгляды, но тут верю его опыту. Это совмещение в быту – очень зыбкая конструкция. Он говорил, что одно дело, когда где-нибудь, грубо говоря, на лесоповале, те несколько текстов, что ты знаешь, буквально на плаву тебя держат, напоминают, кем ты все же являешься, что от тебя осталось, что тебя определяет в итоге, а другое – быт, когда все прекрасно, и незачем, казалось бы, вот так вот сгущаться вокруг своего своеобразного ядра, тут, вроде бы, и так вокруг твое ядро повсюду, каждая вещь в доме говорит о тебе, там твои записи, сям, вот твое одеяло, которое ты сам себе выбрал, вот обои, которые ты захотел поклеить – и поклеил, тут мебель, которую тоже, вроде, сам выбрал или поучаствовал в выборе. Тут работа, которую поискал, поискал на свой вкус, но тоже не палками тебя загоняли, тут люди, с какими дружишь или не дружишь – и твой выбор, и обстоятельств, но отчасти-то – твой. И вот так это все растекается по вещам, по знакомым и друзьям, по прогулкам, по телевизору, по семейным всяким штукам, когда нежность, гнев, отвращение, радость – все не в текст концентрируется, а распыляется уже и на людей тоже. Это очень, очень сложно, как вы ухитряетесь – не понимаю».

«Тут все просто, – ответила Лена. – До невозможности просто. Просто просто до невозможности. Не очень хорошо так говорить, это цинично очень. Но меня впечатлила в юности одна смерть. Я так не хочу. Если холодок, не дай бог, цапану, не очень хочется, чтобы тело мое потом неделю валялось в квартире, пока по запаху не поймут. Эта вот смерть не от холодка произошла, а от сердечного приступа, но вот и сердечный приступ, мало ли. Как бы возраст уже позволяет и от инфаркта умереть, и тоже не хочется быть одной в этот момент».

Слава кивал, понимая и будто бы соглашаясь, но следом за Лениными словами спешно возразил: «Инфаркт – да, серьезная штука. А вот холодок – нет. Он вам не грозит, не переживайте».

«Так это правда миф – и только? Точно?»

Слава и так все время слегка улыбался, но, угадав ее разочарование, улыбнулся чуть сильнее.

«Не в этом дело, – сказал он. – Только для того, чтобы холодок схватить, нужно чуть больше, чем вы делаете сейчас. Не знаю, как это все работает. Дело, видимо, в определенном служении. Несколько мистических теорий существует, да вы и у Блока видели. Основная теория в том, что речь при стихосложении как бы показывает отчасти свою изнанку, а при долгом служении вся полностью поворачивается внезапно к стихотворцу, оставляет стихотворца у себя: все, что он думает, чувствует, все оказывается речью, так что возвращаться обратно оттуда – нет смысла. Но необходимое условие для этого при всех известных случаях холодка одно – нужно заниматься только стишками, только литрой, это в такой степени должно быть “только”, что не стишки должны быть приложением к семье, работе, жизни в целом, а наоборот, жизнь должна быть привязана к стишкам. Понимаете? Это тем более правда, что отец был просто одержим этим, он считал, что как-то все же достоин поймать холодок, потому что всю жизнь над литрой корпел и собирал эти вот черновики с предположительным холодком, типа, если не сам, то с помощью других пытался. Зощенко ведь знаете? Он как подсел на нисходящие скаламы одного стихотворца, так с них и не мог слезть, до того себя довел, что просто страх. Ну, вы сами в курсе. Так вот, когда этого стихотворца упрятали, он даже понесся к нему с передачкой, настолько проникнут был его стишками. Неизвестно, что стало с этим бедолагой, но Михаил

Михайлович потом еще нашел себе какого-то похожего автора, никак не мог слезть с нисходящих скаламов, словом, как-то это поддерживало и одновременно топило в советской действительности, видно, не хватало ему для депрессивных состояний того, что с ним происходило помимо. Так вот, этот вот второй стихотворец в итоге явно погиб от холодка. Но об этом позже. Потому что тут как бы речь об отце нужно начинать, о его таком неудачном поиске своей смерти.

Если говорить о чуть более поздних случаях, то еще один был довольно шустрый поэт, успевший шороху наделать, пока его не приземлило в Канаде. Он, знаете, был вроде того Алкивиада, про которого говорили, что двух таких Греция не выдержит. Он со своим товарищем подбил одного летчика на то, чтобы сбежать в Турцию на самолете, из Турции его занесло в Израиль, где он почти сразу не прижился, потому что принялся стишки толкать среди бывших советских, оттуда в США проскользнул, а там он уже в полную силу развернулся, и хотя стихотворцев там ловили, как англоязычных, как испаноязычных, как франкоязычных, как всех, короче, так и русскоязычных тоже, он там довольно широкую деятельность развернул, пока его хватились. Он довольно мощно писал, ему много кого из инфарктников приписывают, на его совесть, самый известный из них – Довлатов, которому не стоило, все же, алкоголь с литрой мешать, это никому не рекомендуется. Когда все открылось, он в Мексику сбежал, но там ему не слишком понравилось, судя по всему, по почте стишками торговать, он рискнул смотаться сначала в Европу, надеясь на уйму границ и эмигрантских всяких кружков, а когда его и там прижали – в Канаду сбежал. Вроде бы надеялся на то, чтобы дожить остатки дней в глуши с накопленными деньгами, таком домике патриархальном вдали от всех, среди снегов и елей. Но тут как раз Рейган выплыл, все давай вдвойне бороться с красной угрозой, щемить комми по всему капиталистическому миру, и временно возник лозунг "Вернем красную чуму красным", вроде как, поскольку он был таким разлагающим элементом, наркоторговцем и изготовителем наркотиков, то его должны были демонстративно вернуть в СССР с таким жестом – забирайте, нам такое даром не нужно, пусть он у вас там людей травит. Ну и когда канадские полицейские пробрались к его домику вместе с американскими товарищами, перестрелка завязалась, так что даже кого-то ранили или убили даже, но там до сих пор все очень неоднозначно, потому что было темно, суетливо, одни на французском говорили, другие на английском. Если верить "Дискавери", то этот стихотворец, прямо-таки снайпер, пару человек положил на подходах, умудряясь бегать из одного конца избушки в другой, и при этом еще стишок писал, который при нем и нашли незаконченный. Когда в дом ворвались, он был уже мертвый, и там все, кто об этой операции вспоминают, все так обстоятельно описывают, со схемами и картами, даже там такие художественные вставки с актерами. Но в художественных вставках у него там чуть ли не лампочка горит и в печурке огонь бьется, а на фотографиях с места видно, что все во льду, даже его труп с листочком за столом. Там дверь даже незакрыта была и снегу намело, так что полицейские сфотографированы местами по колено в таком сугробе от двери».

«Но такие вещи уже в прошлом, если вы не в курсе, – продолжал он. – Вы ведь не торгуете уже, так понимаю?»

«Не торгую».

«И не смогли бы, даже если бы попытались. Вы не представляете, что интернет в итоге сделал с карьерой отца, а с другой стороны, дал ему то, чего он хотел всю жизнь. То есть доступ к литре совершенно безвозмездный и практически бесконечный. Сначала площадки со стихами находились в открытом доступе, их закрывали, чтобы они открылись в другом месте, а с появлением всяких скрытосетей он только и делал, что сидел там, ресурсу, там, стихиру лет, наверно, уже десять, как ни больше, и там подборок советских, эмигрантов, нынешних – просто завались, не разгрести за всю жизнь. Ну, просто представьте текстовый документ в двести мегабайт, в котором одни только стишки. А люди продолжают пополнять ресурс своими стишками почти ежедневно. И, казалось бы, никакой выгоды в этом нет, а люди все равно добровольно несут это в сеть ради того только, чтобы получить какие-то комплименты о том, кого как вставило. Это что-то невероятное. Но и отношение к этому всему поменялось. Нынешний читатель стишков, он ведь еще и предъявы кидает, что стишок слабоват, что должен торкать сильнее, что только время зря потрачено, потому что люди почему-то относятся более критически к тому, что досталось бесплатно, чем к тому, за что заплатили – это уже такой известный феномен консьюмеризма. Но даже и такое отношение новых авторов не

останавливает, то есть даже почти полная анонимность, когда ничего, кроме ника, не известно, определенная предвзятость, то, что если ты в какой-то момент пропадешь, о тебе никто и не вспомнит, потому что память о тебе буквально смоет волной новых авторов. Это удивительно и необъяснимо. Нет, то есть, конечно, объяснимо вполне себе через человеческое тщеславие, просто ежедневный объем текстов поражает, у нас в стране и за рубежом сотни, тысячи поэтов, вся их деятельность похожа на строительство муравейника или, не знаю, раз за разом неостановимое строительство Вавилонской башни (потому что уже эти поэты разбиты на множество предпочитаемых языков, притом что каждый из этих языков – русский). Каждый раз, когда туда захожу, чувствую, почему-то, что-то вроде мистического ужаса, порой кажется, что никакие это уже не люди, а сам язык живет на этом ресурсе и клепает текст за текстом специально для меня, но неизвестно зачем. Отца-то уже нет, можно остановиться».

Он опять улыбнулся чуть сильнее.

«Отец очень увлекся этим, когда узнал. Авторы советской поры доходили до него фрагментами, а тут он мог черпать их сколько хотел, мог видеть, упорядочивать тексты по времени, это его почему-то сильно волновало. Особенно его, конечно, трогали авторы, которые, по слухам, закончили холодком. Отец считал, что дело в такой эволюции до холодка, что можно постичь это все, проходя от первых текстов к последнему. Там даже на форуме есть специальный раздел «Холодок». Очень смешно, на самом деле. Это бессмысленный раздел. По идее, те, кто могут разгадать, что там дальше в последних строчках – мертвы. Это как в “Что? Где? Когда?” самые идиотские вопросы как раз про хайку или стихотворение, типа, о чем хайку или стихотворение? Первым делом он вцепился в одного эмигранта и все твердил первые строчки, все пытался завершить, ох: “Все было в России, на юге, в июле, и раненый бился в горячем вагоне, и в поле нашла ты две светлые пули, как желуди, ты их несла на ладони”. А заканчивалось оно словами: “Но, если случайно, сквозь тень и прохладу, два желудя” – и все. Сколько он сил и нервов убил себе этими желудями – не пересказать, а помимо всего прочего, он же и так еще вставлялся. С какого-то времени я его просто перестал видеть необдолбанным, мама вся на слезы изошла, хотя к тому времени уже развелась с ним и до сих пор живет с другим человеком. И, конечно, несколько сердечных приступов он уже хватанул – и возраст, и стишки, уже и непонятно, что там было больше – возраста или стишков. Я уже шнур от компьютера у него забирал, как он у меня когда-то, смешно, право слово. И все распечатки в унитазе топил, как мы с ним ссорились – не передать. Он меня все упрекал, что раз дал мне жить, как я хочу, пускай я дам ему умереть, как хочет он. Разумеется, в горячке было мной сказано пару раз лишнее, что, вроде как, скорее бы уже, потому что это невозможно, что давно мог бы уже спрыгнуть с этого всего, если бы на самом деле любил семью, как говорил, что силенок не хватит повторить талантливых авторов. Вот это вот последнее я еще так язвительно произнес».

«И чтобы рассказать именно вот это про себя, ты меня и позвал», – поняла Лена, но промолчала.

«Это самое чудовищное, что я мог ему сказать. И я это сказал. И самое ужасное, что я продолжаю так думать. Что продолжаю иногда невольно подсмеиваться над ним, вы уже заметили, наверно. Нисколько себя не оправдываю, только это надо было видеть все же. Все эти груды бумаг с подчеркиваниями важных мест, сотни попыток закончить начатое другим, то, как он не разрешал сжигать все свои черновички, как они стопками лежали повсюду, перетянутые веревочками, все эти папки, блокноты, карандаши, и все зря, зря, зря».

Он налил воды из-под крана дрожащей от волнения рукой и выпил.

«А если так разобраться, что зря, а что – нет? – спросил он у Лены, будто она могла ответить. – Но вот тогда именно это и раздражало больше всего. В итоге, вместе с очередным приходом, он хватанул не холодок, а инсульт, и начали мы его ставить на ноги, бегали с памперсами, между нашей дочкой и отцом. Это не ахти как радует, что скрывать. Это совсем не то, как ты представляешь себе свою жизнь. И даже эта беготня не гарантирует того, что когда с тобой что-то такое случится, к тебе будет то же отношение, но все равно ожесточенно бегаешь и заботишься. И вообразите наше состояние, когда он, как только оклемался, снова полез за стишками, снова стал их собирать, но писать рукой уже не мог и принялся на клавиатуре настукивать, и все так же, что и требовалось доказать – безрезультатно. Мы, честно говоря, надеялись, что после инсульта он больше не вернется к литре. Люди довольно сильно иногда меняются после таких болячек, вплоть до сильных перемен

в характере. Но это не с нашим счастьем. Он наоборот – сконцентрировался, сгустился вокруг этой ерунды, я ему про здоровье и прогулки, он мне про то, что умрет не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Таким черепашьим усталым голосом, едва разборчиво, пахнущий уже одними только лекарствами, не способный сам до магазина сходить, забывающий штаны застегнуть, прости господи. Я тогда все сжег у него и компьютер забрал, оставил только телевизор и нормальные книги. А он у себя вечером свет выключал в комнате и все пытался закончить два стишка, что помнил уже давно наизусть, как и кучу всего. Он как-то в ссоре, когда было сказано про старого, упертого маразматика, шесть часов подряд читал стихи и ни разу не повторился, пока мы чуть ли не на коленях уже у него прощения просили. Вот, значит, запирался он у себя и бубнил два своих любимых выхода на холодок. Все ему казалось, что близкие ему тексты, поэтому есть шанс, что он угадает, чем они заканчиваются. Первый это, по идее, нисходящий скалам от того стихотворца, что Зощенко нравился. Отец говорил, что у него самого в жизни похожий эпизод был. Хотите посмотреть?»

«Почему бы и нет?» – легко согласилась Лена.

«Неужели не боитесь? Все же у вас семья, дети, вас ждут».

«Ну, ты же сам сказал, что никаких шансов у меня нет».

«Да. Никаких, – сказал Слава и принес Лене пару листков, положил перед ней на стол. – Вот это вот первое, про которое он говорил, что такое с ним самим было. В целом похоже на то, что он не сильно преувеличил, потому что такое много у кого так или иначе было, если глядеть метафорически».

Он усмехнулся и встал у Лены за спиной, заглядывая ей через плечо. Когда Лена посмотрела на бумагу, ее охватило совершенно то же чувство, что она помнила еще со времени, когда прочитала «Рождественскую звезду» и которое не испытывала с тех пор ни разу, это было чувство, что речь движется как непрерывный сильный ветер, пробирая холодом и заглушая все остальные звуки вокруг, начиналось стихотворение так:

Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.

Накрыло Лену еще до того, как стишок оборвался строчками: «В этой грустной своей и возвышенно чистой поэме». Еще на словах:

И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.

И не на них даже, а чуть раньше она ощутила крик труб, и осыпание звезд, и гром, а то, что слова про гром, трубы и звезды точно пересказывали эффект от слов, уже прочитанных до этого, будто удвоило силу прихода, Лена почувствовала, что ее душу ее, такую уже устоявшуюся, где все давно лежало на своих местах: стыд – вот тут, страх – здесь, ликование – вон там, – одним движением речи вдруг перемешало и закрутило невероятно, похоже по ощущениям на детское чувство пустоты в животе, если дворовую карусель раскручивали слишком быстро.

«Я не знаю, что тут можно еще добавить, – сказала Лена, отдышавшись. – Тут и так все на месте, я не знаю, что тут может быть еще более сильное, как тут еще может закрутить и выбросить».

«Но вот автора выбросило, говорят. Скатило по лестнице в самую что ни есть тьму».

«Второй стишок не так эффектно работает, – сказал Слава. – Можете даже сейчас его прочитать. Его папа брал, потому что с легкостью мог воспроизвести обстановку того, что там происходит, так про комнату, про темноту, но в целом непонятно, к чему автор ведет. На папу стишок никак не действовал, там, видимо, дело в эффектном финале. Автор как раз этот авантюрист, про которого я рассказывал, это как раз этот стишок по слухам, который у него нашли, когда к нему вломились. А может, чья-то мистификация, кто-нибудь за него написал и выдал за такую загадку, у которой

нет на самом деле ответа». Лена с любопытством глянула в очередной листок. Там были мытарства человека, запершегося в темноте и размышляющего о том, о сем, в стишке не хватало двух строчек, и, видно, или действительно в них было дело, либо не было никаких строк, так, возможно, все и заканчивалось безымянным поэтом. Походило на то, что кто-то пытался выдать обыкновенное стихотворение за литру.

«Есть варианты? – спросил Слава, устраивая на столе чай для себя и Лены, так что ей пришлось подвинуть в сторону листочки.

«Нету, – сказала она. – Мне кажется, что это, да, подделка».

«А папа очень серьезно отнесся, – сказал Слава. – Каждый вечер запирался, шум моря себе в наушниках включал и сидел так в полной темноте, все повторял, повторял. Сначала это раздражало, а потом дочка даже засыпать стала под этот его бубнеж, как под колыбельную, хорошо, что она еще тогда не говорила и не особо что-то понимала, потому что там есть пара сомнительных мест, согласитесь. Ну а потом он, видимо, вспомнил или другой какой стишок, или еще что. И нашли мы его уже утром, на полу, рядом с разбитыми очками, а в наушниках так море и шумело. Доигрался он в эти свои игры. И, конечно, вот эти вот деньги, что он зашибал, торгуя, они сделали мое детство совершенно незабываемым и безбедным, но лучше бы это было как-нибудь по-другому сделано. Я как представлю, сколько людей оказались тоже с инсультами и инфарктами, сколько кто-то другой не получил, когда был ребенком, потому что его отец или мать покупали вот эту дрянь, не знаю. Хорошо, что сейчас так, хорошо, что все наркоманы переместились в интернет, пусть лучше будет, как сейчас. Мама говорит, что наркоманы все равно бы нашли, куда деньги потратить, что пора бы взрослеть, а не маяться дурью, что те люди нашли бы, как себя развлечь, раз уж решили вставиться, или за спиртом бы побежали, или за герычем, и неизвестно, что хуже – стишки, или героин».

«Нет, ну стишки стерильнее, в любом случае, и разбодяжить их невозможно никаким образом», пошутила Лена.

«Есть такое, да, – согласился Слава. – И еще, говорят, они отпускают иногда сами. Просто уходят без следа, как бы из жалости. Или с ума сводят, как Блока, например».

«Блок умер от воспаления сердечных клапанов, стыдно не знать, – уколола его Лена. – Правда, не представляю с какой интенсивностью он писал, чтобы до такого себя довести. Мне, вот, регулярно приходится обследования проходить, такого все же нет. Полагаю, что это оттого, что я совершенно очевидно – не Блок».

«Я сказал однажды отцу, что он холодок не узнает, если даже тот воплотится в живого человека и перед ним будет ходить туда-сюда, что уж о тексте говорить», – продолжил каяться Слава, глядя на то, как гостья смотрит на него, пытаясь понять, насколько отвратителен он в ее глазах этими признаниями, но она не могла относиться к Славе с осуждением. Столько ей самой было сказано в сердцах такого, чего она порой и не думала вовсе, а просто ляпнула из природной своей злокозненности, в тот момент скандала, когда интереснее уязвить, чем сказать что-нибудь другое, когда из обидных тропов выбиралась сама собой гипербола. Столько о самой себе подумано было вечерами, когда в доведении самой себя упреками до отчаянного сердечного боя имелась даже своеобразная радость.

«Слава, хорош себя драконить, – сказала Лена поэтому. – Что было – то было. Мало ли что было сказано. Ты, в конце концов, не на помойку отца выбросил».

«Дело не в том, что было сказано, – устало отвечал Слава. – Хуже, что многое не сказано было в каком-то стеснении. Хорошее, почему-то, труднее говорить, чем плохое, плохое как-то само вылетает. И подумать не успел – вот оно. Я к чему? На похороны его столько людей собралось, и не все бандиты и наркоманы, как ни странно. Не только любопытные, хотя и таких хватало. Отец еще до болячек успел ведь еще и архивы полурелигиозных текстов собрать и подарить, кому надо, причем не только местную епархию порадовал, там представители нескольких крупных конфессий присутствовали, притом что сам он был не ахти какой верующий, если уж во что верил, то в силу, так сказать, художественного слова. К тому еще пришли и неизвестные люди, которым он когда-то помог материально и морально. Те, кого он закопал, когда его пытались кинуть, понятно, не пришли, к ним он и присоединился, потому что кинул сам себя в итоге, так получается? И меня беспокоит, ну, вот, эгоистично так говорить, насколько я – это он, насколько я уперт в том, чем занимаюсь, и насколько обманываю себя, занимаясь именно этим?»

Отвечая на этот вопрос, Лена каким-то образом перешла к рассказам о дочерях и муже, Слава тоже включился, перейдя от сложных морально-этических своих заскоков к рассказам о том, как они пытаются научить читать свою четырехлетнюю дочь, особенно как усердствует жена, которая научилась читать очень рано, едва ли не в три года, и дочь при виде любой книги говорит скептически «о-о, опять». «В нашем случае как бы лучше отвратить ее от литературы как можно раньше! – рассмеялся Слава. – От любой вообще! А если жена сердится, то говорю ей, что вот научилась ты читать в три. Ты, может, университет закончила в десять лет? Нет ведь, отучилась, как все, в общеобразовательной школе, и не сказать, что сильно успешно. Максимум, чего она достигла – это стала биологичкой для студентов, как я учитель литературы для них же, если так разобраться. Да, это не школьники, но и не совсем не школьники еще!»

«Тем удивительнее, что ты обращаешься ко мне как к авторитету, я-то вообще училка такая классическая, с выпускниками и кличкой “Индезит”», – не могла не рассмеяться Лена.

«Это от общего впечатления, от вас оставшегося, – сказал Слава. – Я даже на ты с вами не могу разговаривать, если даже попросите».

Утешая Славу, Лена выдала корпус историй о близняшках, пользуясь тем, что не было возможности повториться: среди знакомых она стеснялась что-нибудь рассказывать, сомневаясь, что рассказывает одно и то же. Насколько Лена поняла, Слава руководствовался тем же, потому что у него накопилось достаточно впечатлений от семейной жизни и родительства. Так, смеясь, просидели они до такого времени, когда смысла уже не было ложиться спать, а подошло время первого транспорта до Екатеринбурга. Слава засуетился, желая проводить Лену до автобуса, она не стала спорить, почему-то для эту встречу, словно она была последней в их жизни.

Они потихоньку выползли на еще темную улицу, в, как оказалось, махонький дворик, обнесенный мелкой рабицей, плотно обсаженной снегом сверху и в каждой ячейке. Четыре фонаря светили, освещая не двор будто, а каток (хотя и каток был, но стоял сбоку, в темноте, из темноты же клонились большие деревья, вставленные в воздух редкими фрагментами белизны). «Вот где холодок», – сказала Лена: действительно стоял довольно сильный мороз, поэтому такси подъехало, характерно скрипя одеревеневшими шинами в нетающем снегу, а бородку Славы, пока они ждали, слегка прихватило ледком. Когда Лена и Слава, довольно пыхтя, забрались внутрь теплой машины и почти одновременно захлопнули за собой двери, от них разом отрезало звук утреннего трамвая, что давал железного ходу с улицы неподалеку. Лена незаметно миновала ту часть бессонной ночи, когда желание уснуть становится невыносимым, и была взбодрена этим, как кофе, притом что и кофе был, но мозг уже укутывало, словно одеялом, даже качание машины, довольно заметное в некоторых местах пути, казалось усыпляющим. Чтобы не выключиться, она снова заговорила со Славой, удивляясь, что как ни приедет, а все кажется, что Тагил никак не меняется, вот даже «Эко-радио» до сих пор, только говорит другим голосом, старые голоса она и не помнила теперь, но все-таки знала, что эти – не те, что были раньше. Но вот все равно «Эко-радио». И кинотеатр она видела по дороге, с фасада которого когда-то неизвестные поклонники попятили афишу одного из «Гарри Поттеров» размером два на три метра. «Это что, – сказал Слава. – Даже тот дом, где вы жили, и тот не изменился, разве что пластик туда воткнули. Я это знаю, потому что пришел однажды к вам в гости, а там другие люди живут, и если мимо прохожу, у меня родители жены там неподалеку, всегда на окошко смотрю, на этот второй этаж в тополиных листьях. Если летом, то, знаете, ностальгия так и прет. Удивительное все же время было, мне до сих пор кажется, что тогда между нами было что-то такое, чего я даже влюбившись не переживал, даже с друзьями, если объяснять все дружбой, нет – не дружба, то, из-за чего вы до сих пор меня видите отчасти ребенком, а я вас той девушкой, похожей на девочку из “Чужих”, и как бы много времени не прошло после сегодня, мы опять встретимся, и все так же будет, снова мы будем эти листья помнить, только я с одной стороны этот тополь в памяти вижу, а вы – с другой, и снова мы будем этими вот детьми, вы ведь, если так разобраться, тоже ребенком тогда были». «Как хорошо, что ты такой, Слава», – сказала Лена, беря его за руку, не в силах сдержаться, чтобы не взять, потому что вспомнила кружение одного из приходов за своим столом, в своем тогдашнем доме, когда листья проступали сквозь окно. Чтобы погасить смущение, Слава принялся говорить про то, что на самом деле многое меняется. Вот, мэр – женщина, газета «Правоплюс» перестала быть такой острой, потому что ее переформатировали в полуразвлекательную (он

рассмеялся), Костик из «Пестрого зонтика» в Москву подался, торговые центры открываются, но это днем нужно тусить, а не как они сейчас.

«Когда маленькая была, видела экранизацию Брэдбери про электронную бабушку, что ли, и там была такая широкая заводская труба, в телеспектакле сказали, что это фабрика облаков. Так вот, я вижу эту трубу в Тагиле, и для меня это до сих пор – фабрика облаков, даже не интересовалась, что это на самом деле. И со всем городом так. На таком тагильском скелете прежнего города все по-прежнему у меня в памяти насажено, до сих пор на углу Мира и Ленина вижу призрак той женщины, что беляшами торговала из металлического ящика».

«И автовокзал совсем другой, а, кажется, что тот самый, – сказала она, купив билет и будто опомнившись, что нужно говорить. «Когда с мамой ездили в Свердловск к дяде, тут на стене такая электронная карта была, а здесь, слева от дверей два автомата для газированной воды стояли. А затем поехали к подруге в Камышлов, а тут такой буквально филиал ада был с мутными стеклами, какими-то сомнительными людьми, сыростью, даже зимой, и какими-то портянками пахло, разве что не ходили люди в зипунах, не искали с чайником, где бы кипяточком запастись. Нет, этот взгляд, мне кажется, никакими линзами текстов не исказить, что-то есть в сердцевине взгляда. И ты тоже там с этими здоровенными черными электронными часами на руке».

«Я их утопил чуть ли не вместе с собой, когда на пруду плавали, и ребята лодку перевернули», – сказал Слава.

Она с удовольствием померзла еще, постояв со Славой на площадке для курильщиков, после чего, когда наступило время посадки, они стали торопливо обмениваться номерами телефонов, не сообразив в этой суете, что без проблем найдут друг друга в интернете, потому что выглядело это как прощание, что чуть ли не в другую страну отправлялась Лена или чуть ли не в какой-то дикой стране оставался Слава. «Обязательно надо тебя с Володей познакомить и с девочками, приезжай обязательно со своими», – почти приказывала Лена в укорачивающейся до билетного контролера очереди.

«Я с удовольствием, но как вы им объясните наше знакомство?» – спросил Слава.

«Как-нибудь объясню», – сказала Лена.

«Как все же здорово про них сказано у авантюриста», – подумала она, засыпая в автобусе, а затем, проснувшись уже и угадывая приметы приближающегося Екатеринбурга, крутила в голове эти две строчки, что запали ей в память из стишков со второго листка, который дал ей Слава. Лене потом казалось, что именно эти две строки подтолкнули ее к тому, чтобы первым делом заявить Владимиру, как только они оказались вместе этим утром, что она, кажется, знает, с кем свести по-прежнему одинокую Машу, чтобы ей не было скучно, хотя знакомство будет крайне сомнительным.

А затем она рассказала ему все. И про летнюю ночь, и про первую строку о воздухе и поезде, даже не представляя, что помнит едва ли не весь текст, и от этой первой строки довела свой рассказ до случая, что произошел буквально на днях, а Владимир сидел и слушал, чтобы сказать затем: «Если они помогли сделать так, как это сейчас у нас все, то я даже не знаю, от меня раздаваться может в ответ только благодарность. Что тут еще скажешь?» «Помоги мне Вова», – сказала Лена. Ей казалось, что так подействовала эта медленная инъекция из двух строк умершего в канадской избушке стихотворца: «Что готический стиль победит, как школа, Как возможность торчать, избежав укола», ей казалось, что именно этот укол и добил в итоге Снаружа, и она не хотела так. То есть вряд ли могла, но все равно не хотела.

Глава 10.

И это тоже к чему-нибудь, да примета

Когда Лена общалась с Дмитрием по телефону, то совершенно не понимала, за что он может быть бит в компании творческих собутыльников, она подозревала, что Дмитрий сильно привирает насчет своей неуживчивости и длинного языка. Ей казалось, что Дмитрий вошел в роль жертвы с тех самых пор, как они повстречались возле оперного театра, да так из этой роли и не выходит, бесцельно рисуясь перед ней одной, потому что больше не перед кем, а в компании окажется

застенчивым автором туповатых произведений, мнущимся от вопросов о следующей книге. А он, узнав, что вот мальчику, который носится сейчас возле дома, через неделю идти в школу, первый раз в первый класс, сказал, зачем-то ища одобрения у Владимира: «Это ведь по идее бегает сейчас труп. Практически зомби, которому жить осталось семь дней». Лена заметила, что Владимир очень сдержался, чтобы не засветить гостю сразу, и слегка повисла у мужа на руке, чтобы дать Дмитрию объясниться. А тот продолжил как ни в чем не бывало: «Можно отрицать, но против правды не попрешь. Вот этот беззаботный дошкольник с первого числа следующего месяца будет никому не нужен со своей непоседливостью, и что там еще есть у дошкольников? Нужен совсем другой человек, который будет слушать, что ему говорят, а затем еще уроки должен будет делать, а если продолжит свою непоседливость тянуть, год за годом скакать и веселиться продолжит, то его так или иначе все равно ведь убьют. Или препаратами задавят эту веселую личность, или еще как. Это так агукающий младенец. Никого не умиляет, если это уже лет пять-шесть младенец, если он ничего не говорит и не ходит, многих это зрелище ужасает, как вид трупа, что уж скрывать».

«И вот его ты предлагаешь на роль... альтернативного отца?» – делано ужасаясь, спросил Вова, когда Дмитрий, осведомившись, где бы пописать (именно так он сказал, не про туалет, не где бы руки помыть), удалился. «Не скажу, что он совсем не прав был, –сказал Владимир, – но это же такая отмороженная правота, о которой в данный момент никто не просил. Обычно беседы завязывают, вроде как, что сегодня будете пить? Погода там. Ой, у вас растет малина, а у меня никак не приживется, ну и все такое. Да он сам как бы труп ходячий уже, сколько ему? Ему бы среди внуков уже тусить, а не искать себе приключений». – «Тебе же за такое его книжки и нравились, за эти провокационные штучки». – «Блин, одно – читать эти провокационные штучки. А другое – слышать вместо “здравствуйте”. Он же от Маши может в итоге уйти с выцарапанными глазками своими хитренькими, если так при ней пошутит».

А вообще, все были собраны под три предлога: просто так, посидеть; школа Никиты; поступление девочек и Жени. Третья причина для Лены была настоящая, а остальные надуманные, ей очень хотелось развеять среди пришедших людей всю ту нервозность, что накопилась за время экзаменов, и при этом поделиться радостью, что все так получилось, кончились забеги по репетиторам, ночи перед экзаменами, вечера после экзаменов, баллы, рейтинги. В рейтингах поступавших печальнее всего было смотреть оценки тех, кого Вера самоуверенно называла сельскими медалистами, когда наверху более чем посредственных результатов ЕГЭ торчали три балла за золотую медаль. Лене очень не нравились слова Веры, Лена, во-первых, остро представляла некую деревеньку, откуда не было выхода ни на хорошую школу, ни к хорошему репетитору любого из предметов, она воочию воображала старенькое здание с белыми занавесками, скрипучими полами, старыми деревянными рамами, пришкольным огородиком и туалетом на улице, во-вторых, Вера и сама-то попала на бюджет в консерваторию только чудом творческого испытания, а в-третьих, Аня на бюджет не поступила, и Лене казалось, что Верины слова задевают Аню тоже. Но нервировать Веру Лена не спешила, потому что отчасти Верина злость объяснялась тем, что Женя подал документы в СПбГУ, и парочке, наконец, предстояло настоящее испытание, когда всякие правильные слова верности можно было говорить сколько угодно, однако что будет дальше – не знал никто из них двоих.

Представляя эту вечеринку, Лена отчего-то была уверена, что будет хорошая погода, желтый свет заходящего солнца, чешуйки растущей на участке сосны в стаканчиках с вином, ос, лезущих к мясу, но прямо с утра пошел угрюмый в своем упорстве не ливень, а такой дождик, вроде как из распылителя, почти незаметно намочивший все вокруг, наполнивший лужу на въезде в участок и еще несколько луж во дворе, из водосточной трубы торчал одним углом к низу треугольник воды. «Ну, будем в доме, господи», – миролюбиво сказал Владимир, прежде чем разжигать уголь на мангале в беседке, но все постепенно подходившие и приезжавшие тянулись к этому мангалу, ненавязчиво напиваясь вокруг дыма древесного и внутри дыма водяного.

Сначала появился из такси Дмитрий – сильно облезший и поседевший от времени, но в целом какой-то более облагороженный длинным плащом, выбритостью, прямоугольными очками, толстой деревянной тростью. Именно тогда состоялся разговор о мертвом Никите.

Затем самоходно пришел физрук с женой и внучкой, лет девяти, на которую тут же спихнули Никиту, или она сама с готовностью им занялась, как только его увидела. Физрук и Дмитрий почти

сразу же обнаружили общих знакомых и принялись выяснять, кто, как и где теперь. «Ты же тот фантаст, да? – спросил физрук, сориентировавшись, – который теперь всякую либероту пишет?» «Ой, я вас умоляю, – отвечал Дмитрий. – Хватит тут линии партии прослеживать без самой партии. Так сложно все стало. При СССР и то проще, вот тебе диссиденты, вот тебе соцреализм, а тут, куда ни сунься, все какие-то недовольные, сорок восемь сортов диссидентства, да верующих, которых не задень, да по способам секса и еды сорта людей. Тут, слыхали, один придурок стишок написал, сел сразу по двум статьям: и за наркоту, и за экстремизм. Если еще не сижу и не за границей, как Вован, что против третьего Мишкиного срока все сопротивляется, значит не такой я еще и либерал». За это, почему-то, мужчины дружно выпили, так и не сформулировав тост.

Аня нарисовалась будто специально, чтобы застать самый жар политического спора физрука и Дмитрия, когда Вова, образовав собой букву «Т», не сказать что силой удерживал, но слегка приостанавливал встречное движение спорщиков друг к другу, которое, Лена знала, чем закончилось бы, так же бы получилось, как когда в школу, оттолкнув охрану в лице пенсионера в униформе, завалился чей-то пьяный отец, физрук тогда никакой злобы не проявил, просто появился перед матерящимся дяденькой, аккуратно тюкнул его в челюсть движением, похожим на то, каким обычно разочарованно захлопывают холодильник, поймал в падении до пола, какое-то время держал, как принцессу, спасенную из лап дракона, а затем бережно положил побежденного на широкий школьный подоконник. Тот пьяный был здоровее Дмитрия и моложе, так что никакого поединка бы не получилось, и многажды, по его словам, битый, Дмитрий не мог не замечать очевидного, но пробовал сблизиться со словами: «Имел я эти путевки, да я их в глаза ни разу не видел, у меня мать чертежница была, как бы не гегемон, я кроме занюханных пионерлагерей и не видел ни хера, а спортсменам и тогда было зашибись, и сейчас, потому что рекорд неправильно поставить нельзя, так, чтобы на тебя после рекорда дело завели. Неплохо вы ребята, устроились, ничего не скажешь!»

«Вот ведь зараза едкая», – невольно думала Лена, наблюдая, как физрук отбрехивается потом, кровью и усердным трудом, а Дмитрий отвечает, что везде пот, кровь и усердный труд, и даже незаслуженное забвение везде, что оглянись кругом – все результат упорного труда и забвения, куда ни сунься.

Аня изящно и незаметно присоединилась к матери и гостье, столом отгороженных от спора, молча пролезла Лене под руку и некоторое время вздыхала под мокрой курточкой, а жена физрука, чтобы как-то себя занять, принялась выспрашивать у Ани про экзамены, и случайно пошел тихий разговор на фоне громкого, в какой включилась и Лена, и оказалось, что уже она говорит, а другие слушают про школьную карусель, которая повторяется до умопомрачения, когда несколько классов подряд учишь детей, по сути, разгадывать одну и ту же головоломку – находить там и сям формулы сокращенного умножения на фоне различных условий, показываешь пару хитростей, вроде самоуничтожающейся единицы в разных частях уравнения, и опять же единицы, но мнимой. Но и в это дети не могут вникнуть порой годами, хотя чувствуешь уже даже уколы совести, что трюки-то довольно просты, ощущаешь себя фокусником, который все время распиливает девушку на арене, все время показывает, в чем секрет, а зритель, который видел и трюк и объяснение его десятки раз, каждый раз удивляется, как в первый, и те даже, которые умны, и те внезапно обнаруживают себя посреди контрольной, будто пораженные внезапным приступом амнезии, и кажется, что все это впустую. И ведь в большинстве случаев это и правда впустую совершенно. У Лены у самой была химия когда-то, которую она полностью забывала, как только закрывала учебник, и если после биологии, например, еще оставалась некая связь между словами и реальностью, ну, вроде как, хордовые – это с позвоночником, вакуоли – это такие полости внутри клетки, камбий – это в коре, образует кольца, то с химией были настолько сложные отношения, что слово, допустим, изобутан не говорило Лене совсем ничего, она только и знала, что такое слово существует, не более того, каким-то невероятным образом движение внутри алгебраических уравнений ей представлялось более явственно и казалось ей более реальным, чем пляска между валентностями атомов.

«Так эта рутина у всех, – и поддерживая Лену и как бы споря, включился Владимир, – когда кажется, что любой на твоем месте бы справился, и ты как бы не при делах, а на самом деле это вовсе не так, я вообще не представляю, как вы, ребята, с детьми, у меня самого детский сад, хотя и со взрослыми людьми работаю, такое чувство иногда, что я просто во дворце пионеров руководитель

такого кружка по пилению деревьев с выездами на места и организацией таких кружков в других населенных пунктах».

«А ты на кого будешь учиться?» – спросила Аню жена физрука.

«Анимация и компьютерная графика, – сказала Аня с готовностью. – Это мультфильмы и всякие компьютерные художественные штуки, ну, вот заставки различные».

«Блин, надеюсь, это у тебя все в коллективе будет происходить, этот процесс анимации и компьютерной графики, – встрял Дмитрий, грея руки над углями. – Потому что так иногда бывает невесело, когда не прет, кажется, что у диспетчера, который вызовы от застрявших в лифте людей принимает, и то работа веселее, или у охранника с его сканвордами и какой-то движухой, там где он сидит, или вот в метро женщины, которые контролируют эскалаторы – вот также порой сидишь и ждешь».

«А вот не надо было переставать писать то, что писал, там у тебя бодро получалось», – сказал Владимир.

«Так я и сейчас фэнтези пишу, – совершенно честным голосом сказал Дмитрий. – Просто читал однажды кого-то из современных классиков и вдруг понял, что они, как и я, пишут фэнтези. Только жанр еще не назван, я его для себя называю “совпанк”, то есть, вот, есть киберпанк, стимпанк, а в России появился жанр совпанка, да и не только в России, есть светлый совпанк, такой, полностью позаимствованная стилистика Одесской киностудии в нем присутствует, есть темный совпанк, и он преобладает, и на его почве масса всего существует, какой-нибудь подлючий политрук всячески преследует дамочку, гнобя ее семью одного за другим, а затем наступает час расплаты, или инженера гнобит из зависти, что-нибудь там такое творит, ав-ав-ав гулаговские овчарки, вышки в снегу, фонари. Люди уже героев в готовые декорации и сюжеты вставляют, двигают между лагерем, заводом, (или какое там место работы выбрано у главного героя), коммуналкой и партсобранием, такая бесконечная настольная игра, когда уже не знаешь, какую ты книгу читал, потому что это как серия про Конана, которому хренову гору продолжений наклепали, и ты ходишь посреди этого всего будто в летней рубашке апаш, и тебе, одним словом, будто все время жарко. (Он засмеялся этим последним словам, точно некой шутке.) Много подвидов, мягкий совпанк без лагерей, но с метаниями интеллигентного кого-нибудь, а вокруг такие рыла, такие рыла!»

«Вообще, это было на самом деле, – сказал Владимир. – У меня бабушки и дедушки через такое прошли».

«У меня тоже, – сказал Дмитрий. – Но знаешь, что я вижу, когда читаю и смотрю иногда вот это? Вот этот европейский жанр кино и литературы про Вторую мировую. Где такой рефлексирующий немец присутствует. Он ужасается, до чего довели народ, до какой жестокости, или ужасается и старается не выдать своих чувств, одно прочитаешь, другое, посмотришь, такое впечатление, что все только и делали, что рефлексировали, и при этом таких дел нах...евертили, пардон, все поголовно любители классической музыки и глубокие знатоки литературы. И вот точно так же, такое же отношение у многих наших авторов к нашему прошлому, такое немного в пробковом шлеме, не знаю, как объяснить, то есть если брать крайние точки, то, с одной стороны, непонятно, как же все развалилось, если все было так хорошо, а с другой – как это вообще до восьмидесятых продержалось, когда столько подонков, стукачей, хапуг, насильников и хамов вокруг, как, вообще, сам автор и его светлые родственники и светлые их друзья остались живы в такой мясорубке, что просто и не передать».

Потихоньку, рука об руку, явились родители Жени и стали удивляться, что их сына и Веры до сих пор нет, специально же договорились о времени, чтобы не было неловко, но тут и потерянные дети подоспели, и Женя оттянул на себя внимание, когда стал, краснея, принимать поздравления. Физрук, узнав про философский факультет, пошутил: «А ведь так бегал и прыгал хорошо, Женька, ну, что ты? Мог бы человеком стать, эх». Почему-то после этой фразы у жены физрука возникла мысль обсудить предрассудок насчет того, что физруки – это вроде католических священников, только с уклоном на старшеклассниц.

«Вот да, кстати, – удивился физрук. – Особо не замечал среди друзей, потому что в тыкву могу дать, но какие-то шутки действительно прослеживаются, что-то там про цветники всплывает иногда, но мимоходом. Надо будет ухо повострее держать. А еще можно ведь сказать, что у трудовиков слава католических священников, только с уклоном на портвейн».

Лена ненадолго ушла в дом, чтобы нарезать овощи, мельком увидела Никиту и внучку физрука в гостиной – они тихо сидели на полу по разные стороны игрового поля, двух кубиков и нескольких цветных фишек и тоже мельком увидели ее в щели приоткрытой двери в прихожую. На обратном пути Лена их уже не застала, потому что все уже были на улице. Никита крутился возле матери, внучка физрука возле своей бабушки и жарила зефир на палочке, Ольга задумчиво курила возле автомобиля, полусидя на капоте, к ней перебралась Аня и вся остальная молодежь. Мужчины уже перешли на анекдоты – и выдуманные, и те, что накопились у них на работе и в жизни, уютненько так перебалтывались низкими голосами. И физрук, и Дмитрий сидели, успокоившись, рядом, тюкались стаканчиками, но больше тюкались, чем пили. Ненадолго возвысился строгий голос жены физрука над остальными голосами, когда она обнаружила, листая фотографии во внучкином телефоне, а затем и просто ковыряясь в приложениях, что внучка завела аккаунт вконтакте. «Это только для игр», – объяснила внучка, и снова все утихомирилось, ненадолго, впрочем, поскольку на слова о мобильнике откликнулась Маша и стала спрашивать, не рано ли первокласснику покупать такую штуку, а то он просит, Никита же, прильнув к матери, смотрел на всех умоляюще в молчаливой мольбе подтвердить то, что школьникам поголовно требуются мобильные телефоны. Он и Владимира обрабатывал в эту сторону, и Вова склонялся к покупке, конечно, но сомнения у него были, он сначала хотел посмотреть, как там у других детей будет. «У нас три штуки погибли уже в неравном бою со школой – сказала жена физрука. – Так что сильно с наворотами уж не покупайте, а так, да, самим же спокойнее будет. Только если собрались покупать, лучше до начала учебного года это сделайте, чтобы он за эти дни успел на телефон налюбоваться, еще можно отслеживание включить, как опцию, даже польза некая во всем этом будет, если интернет урезать до нескольких сайтов».

«А как же излучение? – спросил Дмитрий. – Помните, как еще телевизором нас стращали, что его слишком близко смотреть нельзя? А как кактусы ставили перед компьютером? Сейчас вайфаем стращают, что он до фига вредный».

«Я понимаю, жителей байкальского края стращать какими-то экологическими вещами, но мы же на Урале живем, да тут вон на горку забраться в лесопарке, оттуда УГМК видно, да и у нас тут иногда попахивает даже и не знаю чем», – произнес физрук, метя очевидно в приблизившихся родителей Жени, потому что был в курсе их заморочек. Они ласково смотрели на него и ничего не отвечали, затем Женин папа незаметно присоединился к мужчинам в их алкоголизации и поедании мяса, то же сделала и Женина мама, только в направлении женской компании. «А как же, вот, строгий запрет на поедание продуктов эксплуатации животных?» – не смог не подколоть физрук в процессе уже развернувшейся беседы, попеременно разбивавшейся на пары и тройки. «Если разобраться, то продукты эксплуатации крестьян должно быть совестно потреблять вообще все, – молниеносно нашелся Женин папа. – Тогда и кофе не пить, и шоколад не есть, я не говорю уже про чай, над которым неизвестно как там горбатятся местные жители под палящим солнцем, неизвестно за какие деньги. Если уж совсем с чистой совестью прожить, нужно в глубокий дауншифтинг уходить, а мы к этому пока не готовы».

«Какой у вас все же хороший мальчик», – не смогла удержаться Лена. А Женин отец весело посмотрел на Лену Жениными глазами и ответил: «Если посчитать по времени, где он больше обретался, то неизвестно: у нас это хороший мальчик, или у вас». Лена, Владимир и родители Жени стали топить друг друга и своих детей во взаимных комплиментах, пока Дмитрий не понял, что к чему, кто кому кем приходится и что происходит, как только он сообразил, сразу же сказал: «Не, ну тут без шансов, ребята. Можно много чего говорить, но разные коллективы, разные города. Это печально совсем. У меня так было, у друга моего, у еще одного друга». «У нас так было», – почти хором сказали родители Жени, одинаково наклоняясь в сторону Дмитрия, словно этот наклон делал их слова убедительнее.

Дети переместились на веранду, негромко переговариваясь под вполголоса пущенного Александра Васильева, Лена сначала сходила к ним на разведку, спросила, может, что нужно, Аня помогла ей принести на перила веранды тарелки и коробки. Это движение между двумя застольями приметил Никита и, поначалу влезший по сиденью веранды отцу на шею и буквально евший там, роняя хлебные крошки за шиворот отцу, спустился и стал приставать к Жене с просьбой «покрутить»,

Женя покладисто взял его за руки и покрутил вокруг себя на поляне возле дома, «Еще», – сказал Никита, Женя покрутил еще. Так повторилось несколько раз, так что внучка физрука, под неким очарованием этого развлечения, откололась от бока бабушки, приблизилась к Жене и Никите и стала пристально смотреть на верчение так, чтобы видно было, что она смотрит, что она тоже не прочь повертеться. «Эй, вы так философа загоняете, вы что! – прикрикнул на них физрук, когда Женя, не споря, начал вертеть то одного, то другого по очереди, а они еще спорили между собой – хватит или нет, словно Женя был такой бессловесным аттракционом. – У него спина не железная, ребятки!» Сам физрук уже пошел к ним, обещая показать самолет, и, ухватив внучку за руку и за ногу, принялся кружить ее, то поднимая выше, то опуская к самой земле, изображая при этом звук самолета, заходящего в пике, Лена делала вид, что наблюдает за этой дурацкой возней старых и малых, а сама то и дело поглядывала на то, как идут дела у Маши и Дмитрия.

Машу они не предупредили, имелось просто приглашение на почти семейную вечеринку с несколькими друзьями, но Маша на то и была Маша, не каждой удавалось пережить такое детство, как ей, и остаться почти адекватной, точнее остаться адекватной наравне со всеми, потому что, что скрывать, чудачества все имели, но не иметь чудачеств сверх остальных после всего, что она пережила ребенком – действительно был труд не из самых элементарных. Она, кажется, не выходила на улицу, позволив себе расслабиться, напялить на себя какую-нибудь ветровку, какие-нибудь кроссовки и быстренько слетать до магазина, нет, одевалась она всегда так, будто по пути могла умереть и опасалась, что любой предмет одежды на ее трупе может быть обсмеян в случае чего. На прикинутых в основном в такое походное, спортивное, под запах дыма, она отбрасывала парадоксальную тень свадьбы или новогоднего корпоратива своим светлым брючным костюмом кремового цвета со свободными рукавами и фалдами пиджака, на ногах у нее были босоножки под цвет костюма. Да, она была несколько полнее, чем остальные женщины вокруг, но это уже не той полнотой являлось, как когда Маша только выкинула Вову, это уже была такая полнота с явными признаками бега по утрам или еще чего такого усердного.

Именно в беседке Лена внезапно поняла, что ни разу, кроме того времени в больнице, не видела Машу не накрашенной, и в тех случаях, когда они с Вовой забирали Никиту с утра, когда обыкновенно было бы видеть ее в халате, зевающей и помятой, она всегда была полностью уже полностью упакована в платье, тональник, помаду. Она исхитрилась не загореть за лето, но руки и лицо ее были приятного такого оттенка между персиковым и бежевым. «Ох и лахудра я, наверно, по сравнению с ней», – подумала Лена несколько раз, потому что сама была вроде Беатрикс Киддо аккурат в момент выхода из комы.

Дмитрий тоже не был предупрежден, что это как бы ему предназначается знакомство, но он не мог то и дело постреливать в нее глазами одобрительно, когда он так делал, Лена и Владимир со значением переглядывались. «Какая у вас замечательная трость», – первой начала Маша. – «Так спина уже от сидячей работы, как ни парадоксально, отваливается». Еще несколько вопросов, и Маша уже знала, что Дмитрий написал несколько книг (так он сказал, заметно рисуясь, и Владимир, видя все это, дождался, когда все, кроме Лены отвлекутся, и показал, что душит Дмитрия за эту позу, за выделывание на пустом месте).

«И как это происходит, придумывание, это очень сложно?»

Тут Лена поняла, что Слава и Дмитрий прочитали, видимо, какую-то одну и ту же книгу или посмотрели один и тот же документальный фильм, потому что Дмитрий, как и Слава в Тагиле, тоже начал затирать про безвыходность, про невозможность отойти от того, что диктует мозг. «Это же голова придумывает, не я, – сказал Дмитрий. – Мое дело только отобрать, отделить хорошую идею от плохой, но ведь то, хорошая идея или плохая – тоже мозг решает, не я, такой замкнутый круг получается, поэтому не знаю, насколько именно я, а не какие-то глубинные процессы на это влияют. Просто каждый день садишься за клавиатуру и как бы говоришь голове: “Давай!”, а она такая: “А давай без давай! Лучше новостные ленты полистай, мало ли что интересное в мире произошло, что и тебя касается. О! Гляди вот, кто-то опять помер, тут вон пожар, госдума что-то там. Давай еще заглянем во всякие паблики, комменты почитаем по поводу этих новостей, может, и сами чего еще шутканем”. А ты: “Ну-ка, быстро в текст”. А голова: “Да ну, еще на 9gag надо заглянуть кровь из носу”. Ты: “Потом заглянем”. И так добрались до “Ворда”, а там снова начинается, голова такая: “Вот такое

тебе подойдет, доволен?" А ты недоволен. "Ну, на тебе еще, уже выдавила, не знаю, последнее". А ты знаешь, что голова может лучше, и так с ней борешься, а затем очухиваешься с бухающим сердцем, потому что, какая бы ерунда внутри книжки ни творилась, даже если что-то спокойное, ощущение, что вытащил себя с какой-то вечеринки, полной огней и красок, все еще взбудораженный. Вот так как-то».

Дмитрий и Лена обменялись долгим взглядом, не столько он смотрел на нее, сколько она сама переживала то, что он описал, только у нее к борьбе между ней и головой причастна была еще ломка, которая не давала отойти от текста просто так, отмахнуться от этой пустоты, которая требовала заполнить себя чем-нибудь.

«А про что вы пишете?» – спросила Маша, неизвестно на какой ответ надеясь. Еще в телефонных разговорах десяти с лишним летней давности Дмитрий бесился с чьего-то интервью с этим вопросом: «Как на это можно ответить? Про производство, про недостатки в некоторых сферах промышленности? Про конфликты в современной семье? Я так понимаю, что дамочка, которая вопрос задавала, она ждала ответа, что про любовь автор пишет, или про войну, такое что-то простое, что можно сразу объять мозгом ее, как на торрентах такие разделы: драма, комедия, ужасы, детектив, романтическая комедия». И на этот раз сдерживаемое раздражение отразилось на мимике Дмитрия.

«Да я всякую байду пишу, про все подряд, все равно про жизнь выходит, которая сейчас», – сказал Дмитрий.

«Ну, вот, сюжет хотя бы одной книги можете коротко рассказать?» – не замечая мук Дмитрия, спросила Маша.

«У меня в одной книге ученые открывают, что вселенная на самом деле коллапсирует сразу же, как только возникает, а мгновения человеческой жизни, да и жизни вообще, да и вообще всего – это такие фрагменты совершенно случайные, просто мы переживаем их как нечто упорядоченное, а там между одним осмысленным обрывком и другим – триллионы других коллапсов, что каждый миг нашей вселенной не всегда даже и по порядку и составлен, но поскольку имеется некое абсолютное время, которое существует сразу целиком, мы живем в этом и даже не замечаем, что живем случайным образом и гибнем каждую секунду, даже не секунду, а каждую долю секунды».

Дмитрий замолк на полуслове, потому что хотел продолжить, но заметил разочарование Маши и рассмеялся: «Там еще все скучнее, потому что растянуто на пятьсот страниц. Ну а чего вы ждали? Что я пишу истории о том, как девушка из провинции познакомилось с красавцем олигархом из латиноамериканской страны, он оказывается связан с наркомафией, и ей приходится спасаться и от колумбийских головорезов и ждать его из российской тюрьмы, чтобы потом воссоединиться на яхте в Тихом океане?»

«Нет, я все же не такая идиотка, – тонко улыбнулась Маша, почуяв издевку. – Я ожидала ответа, что вы пишете про жизнь, что-нибудь такое».

«Ну, понятно, что я пишу про жизнь, – слегка кипятясь, заметил Дмитрий. – Покажите мне хотя бы одного автора, который про жизнь не пишет или не писал, вот был бы номер на самом деле».

Лена боялась, что Маша начнет говорить, будто ее жизнь достойна романа, вот уж где было много приключений, Дмитрий из шкуры начинал лезть, рассказывая Лене, как случайные собеседники, узнав про его писательство, говорили, что книги – ерунда, вот то, что они пережили – это да! это достойно двухтомника, а потом следовала история про армию и развод с заметной ретушью в сомнительных местах, про какую-нибудь особо умную собаку, которая только что не говорила. «Однажды только встретил рассказчика, который из всего делал эпос, у него поход за пивом превращался во что-то такое гомеровское, банальное перечисление того, как он проснулся, морду бритвой поскоблил, стал подходящие носки, а потом кроссовки выбирать – все развертывалось в такие истории и описания, но тут мне просто шляпу хотелось снять, настолько это было великолепно, человек всю жизнь прожил и даже не понял, что мог книги писать великолепные, вот буквально включал бы диктофон, говорил, ходя до магаза и обратно – все! И я ему это сказал, но он даже не понял: о чем это».

У них в школе биологичка была такая, когда она заговаривала, не пытаясь шутить совсем, то все, о чем бы ни шла речь, казалось очень смешным, хотя она сердилась, когда другие начинали смеяться над похоронами кота, ссорой с мужем, ей казалось, что люди издеваются и не сочувствуют,

но сама же была виновата, когда говорила, что лом высек искру в мерзлой земле кошачьей могилы, и она вспомнила, что читала сказку «Огниво» дочери, когда кот был еще молодой, шерсть тогда так своеобразно лежала у кота на морде, что он, несмотря на юный возраст, казался Максимом Горьким.

Маша, к чести ее, не стала отрекомендовывать себя как гипотетическую героиню романа, а уточнила имя и фамилию писателя и полезла в телефон. «Так нечестно, – возмутился Дмитрий, – выходит, вы сейчас все обо мне вызнаете, а я про вас ничего». – «А я сейчас к вам в друзья попрошусь, вы ведь где-нибудь есть?»

На поляне возле дома тем временем начался обряд фотографирования, пока не стемнело. Владимир приволок из дома фотоаппарат, был парадоксально обозван Матроскиным за это и принялся щелкать, составляя всех так и эдак. Потом, в течение часа, ушли сначала родители Жени и сам Женя, физрук, его жена и их внучка. Дмитрий крякнул, поблагодарил и стал вызывать такси, интересуясь мимоходом, не по пути ли кому с ним, но тут оказалось, что Ольге как раз по пути завезти его на Юго-Запад вместе с Машей и Никитой, и он обрадованно отказался от заказа, и все они, помахивая руками сквозь мокрые стекла, скрылись.

«Как же хорошо!» – подумала Лена, хотя впереди была еще уборка посуды, всякая домашняя возня, Владимир тоже выглядел довольным. «Все-таки Маша заметно постарела», – сказала Владимиру Лена, суя стаканчик в стаканчик, складывая тарелочку в тарелочку, пока Владимир ждал с большим черным мусорным мешком наготове, с неизвестной целью подвернув его края, как штанину или рукав.

«Мы и переживали, что поздно это все, – сказал Владимир. – Только и успокаивало, что в случае чего много кого вокруг, в том числе и ты с девочками. Даже до всего примирения этого». Лена только и могла что усмехнуться, заново переживая все, что произошло, прибавив только что услышанную новость о том, что в ней, в Лене, были уверены, даже ее не спросив. «И даже теперь уверен?» – спросила она. «А разница?» – коротко ответствовал Владимир, подразумевая, что если она и до этого растила детей, пребывая в разных психоделических состояниях, то что это должно было изменить теперь. «Мне самому страшно, что как-нибудь все пойдет не так, – признался Владимир. – Мужики, знаешь, чаще внезапно крякают, да и раньше гораздо, а так хочется посмотреть, еще раз отправить кого-нибудь в институт, или как уж он там будет учиться. Ты-то, вообще, как? Слышал тут, оно на сердце мощно отдает».

«Я не такой стихотворец, чтобы сильно отдавало, сколько раз говорить».

Тут девочки спохватились, что могут помочь, и пришли обе, уверенные, быстрые, тонкие, красивые, действительно как деревца, как ни пошло это звучало для Лены, и сравнивая их с деревцами, она мысленно морщилась от расхожести этого сравнения, и не могла перестать сравнивать. Лене и Владимиру пришлось замолкнуть насчет стишков, но тут Вера сама вспомнила, как Дмитрий, дурачась, напевал какое-то время за столом на мелодию «Незнайки из нашего двора»:

Мы бросаем скуке смузи,
Потому что потому
Жить на свете без аллюзий
Невозможно никому.

«Мне кажется, вы его с тетей Машей пытались познакомить», – угадала Аня.

«Он совсем старый, по-моему, для нее», – произнесла Вера.

«Блин, Верочка, спасибо огромное, – сказал Владимир. – Он меня лет на пять старше всего, – и вдруг вспомнил: – Блин, вроде бы совсем недавно было, когда друг ко мне в гости пришел и такой: “Можно у тебя посидеть, а то к моим родакам гости приехали, и они сейчас поют это стариковское говно”, и еще передразнил: “Как молоды мы были...”»

«Так и я, вроде бы, совсем недавно сама вот поступила, пришла домой, а там мама с бабушкой отжигают, как могут. Так были рады, что я в институте, будто если бы нет – то стройбат, – засмеялась Лена. – И вот теперь стою и удивляюсь, как это все быстро замкнулось, и вот я уже по другую сторону родительства радуюсь, до сих пор не могу нарадоваться на ваше поступление, будто сама это все учила и сдавала».

«Ой, а что у меня было тогда, не передать, – тоже вспомнил Владимир. – Со мной же мужики во дворе стали совсем по-другому здороваться, уважительно, прикинь? Такой еще трепет у пожилых людей сохранялся перед высшим образованием. Сейчас так подумаешь: с чего бы, да? А они такие: “Здорово, студент”, подкалывая, но все равно чувствовалось, что это такое доброе подначивание, с одобрением. Как давно это было, ужас, даже считать страшно, столько не живут».

За разговором они переместились в дом. На какое-то время Вера забросила писать песни, потому что Лена, не выдержав однажды всей этой фальши, не музыкальной, а словесной, рискуя себя раскрыть, совершила яростный разбор Вериных песен, долго и страстно говорила, что любовь должна чувствоваться между словами, что если пишешь про любовь, то не нужно все время использовать это слово, в этом и смысл текста, чтобы получить эстетическое переживание, угадав даже в простом тексте (даже совершая незначительное умственное усилие, но все равно совершая же) – про что, собственно, текст. Вот «Мое сердце остановилось» как пример, там нигде ни слова про любовь, или вот «Колыбельная» Вериного любимого «Аффинажа». Где там есть хоть одно слово «любовь»? Но понятно же, что про любовь эти песни и есть. А так получается, что слово «любовь» есть, а самой любви в тексте – ноль. «Что хотел сказать автор, – скептически, но неуверенно ответила на это Вера, подразумевая слова учителя литературы. – Представь себе, но автор правда хочет что-то сказать, иначе бы не говорил».

Буквально перед экзаменами или даже в самый разгар их Вера вдруг выкатила две песни. Одна исполнялась под беззастенчиво украденную мелодию «Песни о друге».

Спой же мне песенку, лошадь моя,
Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
Спой же мне песенку про моря...

В середине этой песни был забавный фрагмент:

Вокруг нас акулы давали круги,
Иго-го, иги-ги,
И мы им скормили свои сапоги
И подкову с задней ноги.

Еще одна песня была про Женю, что-то в ней было реггийное такое:

Женя, Женя, ты признал пораженье,
И теперь лежишь без движенья, Женя,
Лежишь без движенья.

Это был, похоже, некий вызов, потому что Лена догадывалась, после чего Женя мог лежать без движенья и как могла возникнуть эта импровизация, но саму песню можно было слушать, наконец, без мук.

Было тепло, в принципе, но Вова затопил печь («Для потрескивания и хлопков», – пояснил он), Вера с удовольствием начала с двух своих песен, затем пошли неспешные заказы от желающих. Опережая Ленину просьбу, Вера сыграла одну за другой «Until» Стинга, от одних начальных таких вальсовых аккордов которой, еще до самого начала песни, Лена чувствовала, что тает, и «I mad about you» его же. Аня заметно морщилась от произношения Веры, на словах «хаургласс» и «мун» ее особенно перекосило, но также перекашивало и Веру, когда Аня пыталась петь или даже подпевала.

От Владимира Вера получила просьбу на исполнение «Wat Zullen We Drinken» и «Johnny I Hardly Knew Ye», под которые продолжил бодрую алкоголизацию, успевая подпевать во фрагментарно знакомых местах. Аня получила «Zapachnialo jesienia» из экранизации «Ведьмака» и несколько песен из «Снежной королевы», две из которых, а именно «Где же сказка, где же чудо», «И в сказках наступает ночь», и Лену очень трогали, она чувствовала, что, вот, совершенно близко это к стишку, это сочетание музыки и слов, эти песни работали для нее почти как стишки, особенно когда вокруг было

то, что Аня называла «Последним вечером», весь этот полумрак, это общее сидение, какое-никакое пение, а в особенности тишину после всего этого пения, когда в голову уже ничего не приходило, и Вера сидела, задумчиво и тихо наигрывая что-то, будто в поиске нужной мелодии, или только молчаливое переживание после любого из праздников, когда и надо бы уже собираться спать, но никому спать еще не хочется. Когда Лена услышала про последний вечер, то немедленно спросила почему, поскольку такое сочетание слов ее слегка пугало суеверным таким страхом. «Если бы метеорит упал, то идеальный конец книги бы получился, если бы такая была», – ответила Аня.

Эта Анина меланхолия на деле была скорее наиграна, чем имела место, даже и во время того как были придуманы эти слова – никуда исчезать, тем более внезапно, Аня совсем не собиралась, а наоборот, постепенно входила во взрослую жизнь, все более ей увлекаясь, только черпала взросление и общение не так увлеченно, как Вера. Еще тогда, несколько лет назад, она, уже зная о себе все, присматривалась, пробовала понять, что ей со всем этим делать во всей этой сложившейся истории, и вариант пропасть совсем ей не рассматривался вовсе. Она рассказала Лене, как внезапно поняла, что обманывает себя, рисуя в голове некую семейную идиллию, но с неким трудноразличимым партнером, резкость на которого стеснялась навести, а вернее, на себя боясь навести резкость, потому что признать в себе было не сказать что трудно, только до некоторого возраста совершенно невозможно.

Первый отказ в итоге завел в ней такой упорный моторчик, совсем не вовремя, правда, и направленный совсем не в сторону учебы. «Я не знаю, сколько в этом зависти, но это будто рядом сразу несколько человек выиграли в лотерею», – сказала она Лене. «Это, Анюта, такая лотерея, которая неизвестно еще, чем закончится, если ты про меня и папу или про Веру и Женю», – не могла не возразить Лена, но только еще больше подтолкнула ее к тому, чтобы не отставать от подружки, той самой, что не ответила ей взаимностью, каким-то образом снова прокопалась к тому, чтобы вернуть былую дружбу, прежние бесконечные чаты, прогулки. «Кто она еще, мама? – объясняла она Лене. – Ну кто? Сама посуди. Мальчика нет и не было, и попыток тоже, тех, что за ней пытались ухаживать, отшивала». На возражения, что это вполне похоже на сознательность, на целеустремленность, либо это комплексами какими-нибудь можно объяснить, Аня только закатывала глаза, потому что хотела именно одного объяснения всему. А на пример, что Лена сама была такой в семнадцать лет, как эта подружка, Аня выдала, что именно поэтому-то было некое двусмысленное между Ирой и Леной по вине самой Лены. Конечно, Лене хотелось, чтобы дочь зациклилась на чем-нибудь более полезном, но сама и понимала, что не ей судить, что полезно, а что не совсем, а что совсем не полезно. Она знала, что Аня, еще совсем не понимая того, заполняет этот небольшой подвал юношеской страсти, о каком будет то и дело вспоминать на протяжении всей жизни, с нежностью разглядывать потом, вытаскивая из паутины невероятно дорогой сердцу хлам. В этом возрасте Аня ничего не теряла, даже если ничего с подругой и не вышло бы, настолько в этом только что окончившемся детстве взаимность и ее отсутствие одинаково двигало ей и заставляло все это переживать, радостно страдать, отчасти упиваться своим несчастьем, как делала это и Вера порой, не потому что Женя хотел ее обидеть, а потому только, что вот в какое-то мгновение ей захотелось обидеться, и она вытаскивала свою обиду и страдание за эту обиду буквально из ниоткуда. И это было так же невыразимо мило, как многое, что они делали в детстве, даже если дело было в запоре и связано с занятым унитазом, то есть мило безо всякой причины на то.

Это было так же мило, как и какие-то Вовины штуки, которого Лена ребенком совсем не знала, и причин для умиления его храпом у нее не было, но в те моменты, когда храп этот ее не бесил, он ее умилял. Сочетание его волосатости и то, как он справлялся с бритьем, и яркий баллончик, и вкусный с виду крем, и блестящие железки – все это составляло детали процесса, похожего на игру, казалось, что не имейся этих атрибутов у бритья, Владимир бы и вовсе не брился, настолько ему очевидно до сих пор нравилось прочерчивать дорожку в пене, наляпанной на лицо в виде бутафорских бороды и усов. И как он, дурачась, затягивал галстук перед зеркалом и на какой-то миг становился серьезным, вглядываясь в отражение и сравнивая его с неким образцом в голове, а затем снова продолжал дурачиться. Или его любовь к «Симпсонам», которую он объяснил однажды тем, что начались они, когда ему было четырнадцать, и до сих пор идут, и за это время никто из героев не постарел ни на год, и ему самому кажется, что все так же, что Гомер по-прежнему старше него. То, как он переживал

за цифровых куколок «Икскома» во время любого из выстрелов, не поддавалось описанию, он еще и назвал каждого именами и фамилиями людей на работе, а снайперше дал имя Елена Кениг, говорил: «Ну, давай, Ленусик, на тебя вся надежда, – и даже не замечал этого, еще иногда упрекал: – Эх, Лена, Лена, подвела ты нас совсем не вовремя!», а Лена в этот время давилась смехом за книгой или проверкой уроков.

Незаметно Лена осталась одна в гостиной, Владимир покинул комнату первый, заявил, что пойдет подремлет, да так и пропал, тогда Лена и девочки устроили небольшую чайную церемонию, а когда и Аня с Верой попеременно посетили ванную и ушли к себе, Лена от скуки сходила посидеть в беседке, наслаждаясь густой августовской темнотой и шумом воды вокруг, надеясь, что так потянет в сон, но на улице было заметнее холодней, чем днем, и на долгое сидение Лены не хватило. Она вернулась в дом, стараясь не шуметь, помылась, почистила зубы, полежала в обнимку с Владимиром, почитала книгу с тумбочки возле кровати, затосковав, что это Салтыков-Щедрин в самом его грустном воплощении, а именно – Салтыков-Щедрин рассуждающий о чем-то уже совсем незнакомом ей без сносок, но рассуждающий бодро и неснотворно, Лена угадала среди предметов в комнате, прикрытых полумраком, фотоаппарат, цапнула его и принялась пролистывать фотографии с прошедшего вечера.

Имелся ряд снимков, похожих одни на другой, с той лишь разницей, что на части из них имелась Лена, а на другой части – Владимир: они менялись при фотографировании всех собравшихся, замиравших с улыбками, но людей было так много, что кто-нибудь да ухитрялся моргнуть или отвернуться на что-нибудь. Аня и Вера на этих снимках были такими скобками компании, которые замыкали фотографируемых слева и справа. Если на фотографию попадал Владимир, то занимал место в центре, рядом с высоким физруком, Лена занимала место поближе к Ане, вклиниваясь между Машей и Ольгой или Машей и женой физрука, Женя, разумеется, находился рядом с Верой, тесня в середину своих родителей и создавая своим ростом ассиметричный зубец. Если внучка физрука клонилась то на бабушку, то на дедушку, то Никита перемещался с каждым снимком к каждому из взрослых. И Дмитрию все не находилось места, если его ставили вперед, он кого-нибудь слишком заслонял, а за спинами других от него не было видно ничего, кроме части головы с ехидными глазами, потому что именно ко времени съемки он решил рассказать, что, вероятнее всего, экономика и товарно-денежные отношения возникли в результате детской игры, когда приползший с поля землепашец увидел, как его дети, у которых еще хватало сил на какие-то забавы, балуются, изображая одинаковыми камушками, или костями, или что там у них было, натуральный обмен «я меняю лошадь на кучу зерна, а я кучу зерна на пять овечек», и земледелец смотрел, смотрел на это все, на движение камушков или костей, и в голове у него что-то щелкнуло – и понеслось.

Еле его вытеснили обратно в беседку с этим разговором, в какой он втянул и физрука, и Машу, да и то вытеснили с уступкой, что фотографирование продолжат на фоне продуктов и снимут его несколько раз с тростью в разных красивых позах, затем чокающимся с физруком, чокающимся с Владимиром. Так и получился он оттаскивающим кадры на себя всей своей неказистостью, пусть и задрапированной, но лезущей в глаза и там, где был запечатлен с Владимиром, здоровым в высоту, и там, где его фотографировали с физруком – довольно высоким и довольно широким, в каком-то сложно-спортивном темном выходном костюме, похожем на бархатный, с короной на левой стороне груди и двумя латинскими «Б» в этой короне. На кадрах с Владимиром Дмитрий делал серьезное лицо классика, как он сам это называл, и вне кадра, вживую не было заметно, что это на что-то влияет, но за просмотром снимков Лена увидела, как проникновенно обращено к объективу это очень некрасивое лицо, и будь фотография не цифровой, а пленочной – эффект был бы невообразимый. В паре с физруком Дмитрий изображал знаменитую фотографию Эйнштейна, ту, где Альберт высовывает язык, и получилось очень похоже. Еще Дмитрий упросил снять его с Марией, она для вида пококетничала и стала выяснять в процессе, как вообще Лена познакомилась с ним, потому что от Владимира ни о каком писателе не слышала. «Да кто о нем слышал?» – вставил свои пять копеек физрук. Дмитрий притворился оскорбленным: «Но-но-но, попрошу». Маша настаивала, и Дмитрий с ходу придумал их с Леной знакомство из долгого ожидания транспорта на морозе и совместной ловли бомбилы на пустой улице. И Никита вклинился в Дмитрия с Марией снимок, причем на фотографию попало то, что Лена не заметила, когда происходила вся это возня Владимира вокруг стоящих так и эдак людей, но то, что происходило всегда на всех снимках, где

имелся Никита – Дмитрий успел положить руку на его светлую головушку, как сделали это (Лена даже специально пролистала назад, проверяя) физрук, жена физрука, если их руки не были заняты внучкой, Аня, Вера, Маша, Ольга, Женя, каждый из родителей Жени, Владимир и сама Лена, хотя и не помнила этого. «Это какое-то очень сложное колдунство», – решила Лена, улыбаясь про себя и наметила рассказать об этом утром Владимиру.

Насколько Лена помнила, временно увлеченный еще какой-то беседой Владимир передал фотоаппарат в руки Ане, именно из этого промежутка были близкие снимки мокрых листиков малины, паутины в каплях воды, Аниных кроссовок, репортажная вереница кадров с беседующими взрослыми и Жени с Верой, не замечавших фотографа, еще Никита выпрашивал фотоаппарат, и, видно, выпросил ненадолго, именно тогда появились несколько смазанных кадров со стремительными серыми и зелеными полосами, потому что он несколько раз нажал на спуск, пока собирался поймать в видоискатель внучку физрука и саму Аню, которая, заметно было на последнем снимке с низкого ракурса, просила отдать фотоаппарат обратно.

О футболе говорили мужчины, вот о чем, но физрук посреди этого разговора вспомнил, что нашел среди спортивных каналов англоязычный о бейсболе, разобрался в правилах не без помощи интернета и не мог больше оторваться, а Дмитрий признался, что смотрит крикет, потому что привычное катание мячика по полю, и даже бросание в корзину, и мяч со строгим пасом только назад ему надоели до чертиков, а глядеть мордобои его совсем не радовало с его высоким уровнем эмпатии и знанием на себе, чем заканчиваются пинки по печени и всякие другие удары по туловищу, ногам и в голову.

И вот тогда-то заскучавший Владимир оттянул Ольгу и Машу для отдельных снимков, Женя как раз отошел, и Вера попала на эти семейные фотографии, и Владимир оказался среди двух дочерей, сына, падчерицы и бывшей жены, и тогда у Лены, державшей фотоаппарат, мелькнула эта мысль, которую она решила не забыть и тут же забыла, а теперь вспомнила и поежилась под одеялом, слегка сжалась, словно снова падая в это воспоминание, в эту мысль, что теперь она запомнит их такими, именно такими и запомнит, что бы ни произошло, как бы они ни разъехались, как бы ни жили. Это был такой момент, когда голова фотографирует тоже, как фотоаппарат, но лучше, потому что фотография не передает, кто кому кто, что свело этих людей в кадр, а голова передает, и теперь всегда будет показывать их именно вот этих, не меняющихся с годами, будет вставлять в сон именно людьми из этого вечера, вопреки тому, что будет происходить на самом деле, вопреки, не дай бог, смерти даже. И Лена во сне будет именно этой Леной, накрытой пару дней ранее восходящим скаламом, той, что стояла и думала, что всю свою жизнь и ощущение от нее, все свои страхи, включая страх за дочерей и, как оказалось, беспочвенную боязнь холодка, это вот сходство с Вовой неродных ему людей и совершеннейшая непохожесть Володиного сына на Володю может уложиться в три или даже два четверостишия. Это было бессмысленно и забавно, больше, конечно, забавно. А то, что близнецы были попеременно, как восходящий и нисходящий скалам, Никита как ривер, Ольга и Маша как будда, а Вова как тауматроп, было даже смешно. Лена попыталась вспомнить, как там было у Блока, что-то вроде: «Впрочем, что безумие? Род человеческий – яма, полная нелепостей и гибели; пускай пьяная блядь, серая, как подушка, бредет, поминутно спотыкаясь, по деревянному тротуару улицы, где блевотины и грязи больше, чем мостовой. Если ты видишь ее бледной незнакомкой, то есть ли разница: какова она на самом деле, если для тебя она именно такая? Да, такой взгляд неумен, но мы и не об уме сейчас, право слово. Вот живет человек без того, без этих строчек: по четыре, по шесть, по восемь, и живет прекрасно, однако стоит ему узнать, что имеется вот такой вот стишок, не другой какой-то, каких много, а именно вот такой, который все в нем внезапно переворачивает, и человек удивляется: как я жил без него? что я без него был? был бы я – я без него. Такой, как я есть теперь?

Условие задачи: имеется некая персона и некое слово. Что удивительно: решений бессчетное количество, и все они единственно верные».

Ольга БРАГИНА

***

говорит и лучшие не вернутся с этой войны рано темнело тогда детское время
нет никакой справедливости высшей не верить что всё пройдет любить шоколад с вишней
ни одной буковки лишней не выбрасывать она тебе не нужна эта свобода
ответственности много такое ли уж это благо темные коридоры
мы изучали перспективу думали как придать картине больше простора
очередность не соблюдая пока свыкается плоть с помещением
ищет выключатель розетку говорит еще одну серию и ложится спать дети
досматривают десятый сон там все счастливы и юны
все вернулись да и не было там никакой войны
просто нашли парк заброшенной культуры забытого отдыха ото сна
забыли как земля поглощает кровь как кожа тесна
как она просила не оглядываться дурная примета но мы не верим в приметы
всё когда-нибудь станет понятно только не здесь в другой истории где-то
так они были полны надежд на лучшее будущее нам не хватает понимания
вишня в спирту формалиновый привкус любви дома из саманной глины
пройди по этим клеточкам постарайся не наступать на мины
не думать ни о чем памятным значком уколоть подушечку пальца
там туннель за углом где свет пока нельзя просыпаться

***

говорит знаете Иосиф не платит по счетчику за воду не бережет родную природу
погружен в метафизику сплетен вообще как-то бесцветен
и английский у него на самом деле знаете беден
пьет кофе курит по утрам не любит героев драм
говорит насмотрелся такого может их сочинять сам
осколки венецианского стекла перья двуглавого орла
родина бьет но любит поэтому нам так мила
только у портных заметно отсутствие вкуса у прочих его и нет
но жизнь коротка и печальна
знаете говорит когда ничего не болит
не хочется придумывать строки думать об Ахматовой и Блоке
о счетах за электричество подарках на Рождество
детской железной дороге коготке в табакерке
имело ли всё это смысл теперь попробуй проверь-ка
значит надо было чтобы всё было так не иначе а так вот просто
у каждого будет своя Венеция свой Васильевский остров

Ольга Брагина – поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Киеве. Автор книг «Аппликации» (2011), «Неймдроппинг» (2012), «Фоновый свет» (2018). Публиковалась в журналах «Воздух», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер» и др. Публикация в «Волге» в 2015 году (№ 11-12).

капители колонн мрамор белого лба Финский залив
несколько капель чернил на белый снег не разлив

***

девочка-девочка посмотри что у этой страны внутри
виниловые пластинки со вкусом мяты поезда отправляющиеся куда-то
мертвая рыба в искусственном льду должен быть выход но если найду слово
которое всё это опишет заново воссоздаст
нашей истории мусорный пластик последний пласт
должен быть выход несмотря на «выхода нет» из смыслового ряда
что у нее внутри но нам уже ничего от нее на надо
сердце как стружка мятные поезда на запасном пути старый путеводитель
как изменилось всё с тех пор в лучшую сторону посмотрите
девочка-девочка не бойся подойди поближе может она еще дышит
никакой печали о детях своих обменять картошку на казакин дожить до седин
мы это всё съедим дальше молча сидим потом играем в шарады
от плоти и крови чужой любви нам не надо
как мысли о том что пройдет и она и станет отсюда не видна
потому лучше размешать набирать гущу со дна
я не грущу о том чего нет что представить нельзя
хранить в кармане забыть на несколько лет
беспредметную живопись точный набор размытых примет
жаль горячего воздуха беззвездного неба над головой
этой повышенной скорости чтобы представить себя живой
и не запомнить номер быстрого набора в какой руке угадай для тебя конфета
тут и угадывать нечего впрочем не очень мы сладкое любим и тает в руках
погляди как она бледна каждая жилка на висках видна
куда нам деть наше счастье как ужиться с ним чужеродным неродным
под дождевой водой срывает датчики дым

***

рекламируют пирожные обещают написать про хорошую доставку веганских блюд
если не открывать сегодня новости никого не убьют
ничья фотография не будет висеть на главной площади города у горсовета
цвета крови клюквенный мусс прекрасно смотрится в кадре простить за это
можно себя человеку свойственно есть красоту
удачно выставленный кадр красные отпечатки
завтра мы расскажем вам как правильно смешивать цвета для создания шедевра из пятен
мир и раньше был плох а теперь становится неопрятен
что вы можете сделать с собой оставить холст в передней на юбилей свернуть
что вы можете сделать с собой если вы нам такой не нужен
искусство все-таки смерть а не собрание лайфхаков или отдушин
самая лучшая доставка в этом городе круглосуточное внимание и уют
просто не открывай сегодня новости никого не убьют
это ведь просто выйди из комнаты дочитай недочитанное из списка «100 величайших книг»
что-то полезное для себя почерпни наконец из них
посмотри фото пирожных с муссом начало красной строкой
узнайте секрет как в домашних условиях приготовить такой

***

говорит зачем мы пишем непонятные знаки хотим создать новый мир из глины и льда
красный кумач гашетка перфорированная бумага
комнатные растения тянутся к солнцу комнатная температура
читает в толстом журнале М. не любила Ирину потом очень любила Мура
знания умножают скорбь где бы мы были сейчас если бы не эти незнакомые люди
размешивает в молоке жир советуют очень действенно при простуде
простим говорит себе мелкие слабости комки светодиодные лампы
бесконечные споры о том что делать с политикой Трампа разговоры в курилке пластиковые вилки
используемые несколько раз больше некуда деться дополнительных жизней не осталось у нас
словно любил этот салат из морской капусты и корейской моркови
словно верила моде делала начесы на брови
заговаривать боль нужно словно она часть тебя лучшая часть возможно
без нее кости не срастись всю жизнь строили планы перестраивали стены
частная собственность спичечные коробки долго ли коротко ли речь ведется
от первого лица нет ответа до самого конца все личные местоимения вычеркнуть
что бы делал тут без себя песчаный берег теплая вода инфраструктура

***

говорит дело не в тебе дело во мне
сейчас люди слишком часто погибают на войне
под колесами автомобилей летящих на красный
или в какой-нибудь туристической чаще тонут в пруду
если я тебя полюблю а потом нигде не найду
страшно привязываться к человеку на несколько дней
становиться жизнью своей бедней
люди меняются быстро если вообще ты что-то о них знал
говорит девушка снимала комнату получала золотые цепочки
подарки от жениха потом привезли в закрытом
это вообще не страна что хорошего быть за эту страну убитым
знакомая попросила отксерить документы
едет официанткой на Кипр
потом молчим допиваем свои напитки шмель к клеенке прилип
говорит ну зачем я тебе нужен
вокруг такие хорошие люди живые не то что мы
не чувствующие тяжести не видящие стен нашей тюрьмы
обсуждающие синглы малоизвестных групп
верящие что народ добрый но глуп
и прогресс возможен и агитация не с помощью круп
и любовь и поддержка и сангрия на летней веранде
пока не придет уборщица и не скажет
время выходит встаньте
здесь нужно подмести поставить стулья как было до нас
говорит дело не в тебе дело во мне но дело ни в чем
мы идем по летнему Подолу делаем вид что еще вдвоем
обсуждаем города в которых уже не побываем вместе
идем к окошку в метро достаем для размена двести
и не знаем что еще сказать

***

Люба лечится от чахотки Станкевич покупает в Италии антикварные четки не шлет писем
так ли от реальности мы зависим редко пишет почерк испорчен любовь глупа
для истины надо коснуться дна как молитвенной бледности мрамора лба мутной воды пруда
нож для разрезания бумаги скользкую чешую карпа Люба говорит нет вы не такой как папа
не разводите тонкорунных овец никак не зовете под венец где же ваша всемирная отзывчивость
нет никак тут не складывается пасьянс когда только тени останутся от нас
приукрашенные портреты ретушь и уже за себя не ответишь что там ты загадывал в фанты
куда спрятал платок кровавые следы на столе мало нас учили взаимопомощи
плохо нас учили нарезать соломкою овощи
консервировать соления проверять зрение смотреть на закат это японская методика говорят
помогает
мало нас учили отчаянью когда оно приходит никто не готов говорили человек рожден для счастья иначе отбраковка материала
нет этого на платье мало кремплена всё сойдет как пена с волос богини девушки с веслом
все эти дома приготовленные на слом все эти яблони айва потерянные права
слабая уверенность что остается что-то жива плоская земля твоих детских картин на темы
детских суеверий
почему он не пишет никак мало нас учили письму говорили всё пройдет зачем держаться
за то что удержать нельзя
отпустить проще открытки березовые рощи но все хотят в Италию
разве жизнь проходит так как хотелось бы и мне вот редко отвечает
но разве жизнь проходит как хотелось бы и мне не отвечает совсем или разучились мы
понимать ее язык
Люба говорит вот твоя земля твоя роща твой вишневый сад твой но твой на самом деле
и ты себе не принадлежишь так о чем тут рассуждать можно на самом деле
ты себе не принадлежишь но открытки подписываешь исправно
на тезоименитство выпила немного мёда Люба умирает и спит
из нее делают новый гобелен ручной работы сворачивают в рулон отправляют в Равенну
правильно воспитанные девушки знают свой долг не страдают горлом

***

сложные вещи никогда на станут простыми
ты ходишь на лекции о кубизме пьешь мате говоришь с другими
о чем-то о чем сказать нельзя мне но я не могу представить
намеки краски голоса как переплавляет в память
как дым отечества в шашлычных любовь невозможно взвесить
и легкой найти но ты уходишь по этой алее, вместе
художники прежних времен рисовали так неохотно
фигурки бедных людей бросали в камин полотна
так они тлели пока любовь обретала речь и систему
ты достаешь с верхней полки альбом наверное спрашивать где мы
в этом лесу потерявшись средь фалафельных и кофеен
будет бессмысленно этот вопрос слишком самонадеян
дети которым мир бросал к ногам пластик и злато
заблудились в лесу нить выводит канву их заводит куда-то
светится вдали знак метро или вывеска общепита
не отвечает на твои сообщения никто в небе гуашь разлита

***

даже лучшие из нас так себе ретрансляторы плохие друзья дети в старой советской форме
под этим знаком останавливаться нельзя смотреть по сторонам нельзя где вы так локти протерли
нечем скуку смягчить так жмет воротник в супермаркетах распродажи рубашки-поло
что вы всё ходите строем здесь какое счастье ни есть словно сердце никогда не кололо
расходитесь займите этот город по одному одиночную камеру тюрьму по всей строгости режима
что мы слышим здесь я наверное уже никогда не пойму вся эта семантика вряд ли непогрешима
что тебе говорят здесь вы сохраните чек заламинируйте чтобы точно не потерялся
под этим знаком останавливаться нельзя смотреть из-под усталых век новый ролик
о колонизации Марса
даже лучшие из нас так себе друзья так себе покупатели любители-астрономы
чек не теряется но вернуть его всё равно нельзя всё стирается снова улицы незнакомы

***

она: так мы не доберемся до самого дна не доедем до границы столько дней едем
татуировку с jedem das seine новшества в котельном дизайне
новые города вместо тех выгоревших на солнце дотла
где я такую надежду взяла что всё как-то само возможно
просто понятно город у моря по утрам круассан и вино
в друзьях «Ирина Стеклопакеты» в закладках рецепты ореховой диеты
новокаиновой блокады ста двадцати могли быть уже не рады
но тот кто выставляет нам свет говорит здесь поворота нет
здесь нет объезда висит кирпич но всё как бы

он: мы сейчас проезжаем район Катовице где племянник герцога Казимира подарил
деревню любовнице
посмотрите в окно самое выгодное вложение в тело земли
чтобы потом тебя никогда не нашли между гравюр in quatro
открыток «Высокие Татры» детских фото в распашонке с недоуменным выражением лица
у некоторых здесь аллергия пыльца повсюду закрыть форточку
местные жители чего не видели только но одно ничто утешает зимними вечерами
ожидание стука в дверь опять пришли не за нами

она: если не смотреть по сторонам не думать что природа это храм
фасад реклама детского питания вся Дания тюрьма теплые терема
жизнь проходит как-нибудь заканчивается сама
если не думать не просыпаться жаворонком не обманывать биоритмы совой
быть еще кем-то но не собой быть никем стулья из «Икеи» под дождем не жалея
все эти холодные звонки одинаковые вечера словно потоп этот был вчера
который на нашей памяти контуры не исправите

неожиданно врезаются в столб пакетики растворимого супа
старый айпод где любимая группа смешалась до степени тождественности с другими
мы обязательно вырастем большими поймем зачем это всё было нужно
будем ходить по улицам безоружны
ходить кругами думать здесь есть исторический центр
теплая вода наша архитектура

***

Лотреамон живет на чердаке или в подвале говорит давно здесь окна не открывали
не проветривали ну и как мы можем быть такими приветливыми
простыми людьми в твиде и кашемире распоряжаться суммами небольшими
изобретать свою смерть на несколько ладов думать что тебе не живется небо муслин
масло сливочное желтое наградное пусть этот воздух оставит меня в покое
пусть будет ими полна земля раз по-другому уже нельзя настоящими из плоти и воска
одевающимися неброско верящими в смысл
мы для нее вредны для этой игрушечной страны
удобные велодорожки плакаты с кандидатами уличная еда и не закончится никогда
это счастье отчаянья клеточки для букв которые ты не помнишь
и то лишь до поры терпят тебя в этом углу придет же такое в голову человеку
и нет реки в которую можно верить на ощупь

***

волнуюсь из-за переэкзаменовки Керенский ездит по фронтам расцветает красным бантом на груди
свобода лучше чем несвобода пока учусь кипятить бигуди
четыре арифметических действия повторяю всё время свобода слишком тяжкое бремя
на тротуаре семечек шелуха конские кости люди с опаскою ходят в гости
пьют пустой чай трамвай дорожает спотыкаюсь о чье-то плечо рукам горячо
но здесь темно как в синематографе
я буду любить тебя всегда говорит и даже иприт и вся эта европейская ночь
политика отсутствия плохие дороги пьяные дворники
даже всё это нас не разлучит места в первом ряду были бы лучше
пьют пустой чай соприкасаются рукавами невзначай говорит нет не встречай меня после курсов
пули не заметней комариных укусов у болота морошка
мы все лежим в одной воде понарошку
сейчас пойдем сдавать сочинение на свободную тему
может быть нас переведут в следующий класс не маячить долой с глаз
или оставят здесь на второй год каждый день смотрим одну и ту же фильму
удивляемся что за жизнь была бы если бы не вода в области горла если бы не снег на груди
теперь бигуди пожалуй продам кому они понужнее остригусь стану читать газеты
в духовке румянится гусь так долго из ложной любви или чувства долга
держу твое сердце в духовом шкафу пепел тлеет на берегу
вспоминаю вычитание потом забыть не могу

***

нет говорит не заказывайте мне постное и ест котлеты
Дмитрий и Зинаида вызывают из Англии спирита дарят ему золотую тесьму
нет говорят не может быть что весь я умру
барышни прячутся под сводом Казанского собора
Дягилев не может выбрать фасон головного убора
колеблется между канотье и гоголем кровь каплет в траву меж камней
нет с этой жизнью сладу как разобраться с ней
барышень опознают по названию шляпной мастерской
Дягилев идет по Большой Морской

думает что Венеция сейчас тепла
вся эта подводная водоросль расцвела
идет мимо императорских театров мимо казаков с нагайками
что нам дала красота чувствуем себя пустыми и жалкими
Дмитрий и Зинаида покупают красный атлас хлеб соль виноград
надевают чистое столько в очередях еще доводилось выстоять
чтобы дождаться ответа есть ли смысл но не открылся никому
спрашивают последний раз мир наполняет свою тюрьму
костьми лебедкой молитвой кроткой лентами
будьте как дети сортируйте хлам
пластик от дерева здесь не отделится сам
если ты не интересуешься политикой нет говорит унесите заказ
долою с глаз она тобой тоже не интересуется
на улице кого-то бьют Дягилев пьет брют
Дмитрий и Зинаида спрашивают у крайнего что дают

***

стресс избывает депрессию говорит диктор последних новостей Ольга не понимает
что происходит с ней
теплый осколок мины вырыл в груди борозду мне бы корочку хлеба размочить в луже
но диетолог сказал от этого только хуже
записалась ли ты в добровольцы смотрела ли что за пути от околицы мы учимся водить автомобиль
учимся плутать по этим закоулкам страны странные без прописки
сказать что здесь родилась ела ту же безвкусную грязь
вытирала ее по щекам спрашивала у женщин в какую сторону храм
ни у кого не бывает депрессии во время войны не стойте с той стороны
сердце убывает прежде раскаяния рассеяния но воздух тут свеж
Ольга думает что ей идет по-прежнему беж пишет стихи о доме лежит заутреню в коме
ей сулят новую черно-бурую страну в которой тепло и это забвение помогло
и греется и можно надеяться что снаряд не столь бывает точен как в сводках о том говорят
но когда же я куплю себе новое платье ничто не шелохнется внутри нет здесь жмет в плечах
пока не смотри
но когда же я куплю себе новое платье буду везти санки эти по полу купите говорит мёд
внутри корки сахара так долго живет никуда не идет
но когда же я расцвету говорит превращусь в цветок медуницу
когда же я смогу влюбиться оказаться за линией фронта не буду просить о ком-то как о себе
ходить по тонкому льду
смотреть что под ним как о живых мы здесь больше не говорим

***

расскажи где находится аварийный выход седьмая печать сигнализация которую непременно
отключат
за вычетом выживших титрами молитв тенью провожатых
расскажи куда движется текст должен он отвести куда-то
но нет никакого тепла ни от живых ни от мертвых никакой искренности молчания
жесткая скамейка на которой они тут лежат в ряд
за окном строители забивают весенние сваи привычно по металлу стучат лениво перекрикиваясь

но нет здесь выхода никуда стынет металл закипает вода
нет здесь выхода никуда только если остаться на месте написать в школьный чат что мы
по-прежнему вместе
что бы ни случилось хоть время остановилось расплавилось за финальный титр закатилось
закадровой песней прости меня прости но нет слов для этой памяти
и снова олово при такой температуре вы плавите олово и пластик
все тугоплавкие части этого мира скорее пройти мимо
несущие конструкции несуществующих вещей
расскажи где находится выход здесь он сказали где-то рядом где темно и светится слово «Выход»
здесь он сказали но в то же время весенние сваи хрупкие конструкции живая вода мертвая вода
мертвая вода слова ведущие не туда живая вода никто не включает свет
титры заканчиваются снова идут сначала

***

так приди на Васильевский остров он говорит уже ничего не болит снег избывает стыд
существования в пепле домов несчастных любовей выпавшей буквы в слове «Хлеб и вино»
прочитавшему всё равно вывески эти республики пятой свобода проходит и лжет
за руку нежно берет в кинематографе перья и пыль шелуха
кровь черно-белая копоть на стенах и дым из подъезда
теперь для живых неизвестно кто пишет эти реплики повторяя их по несколько раз нет говорит
ты меня не любишь
если бы любил купил бы мне новую подставку под горячее или ухват
непричастные вещи отчаянья теплые крошки асфальта
нет говорит ты меня не любишь иначе отринул бы весь этот островной быт жил бы дальше
переписывал бы от руки чужие перечни слов которые не спасут и не укажут как надо
никого не спасут ничего не укажут
люди говорит слепы как последыши свинки Пеппы искусственные цветы в переходе
гендерно окрашенный ад
сюда тебя не берут постой тут со своим талончиком
гречневая крупа молода и жизнь не закончится никогда и майские пещи прощения и хоровод
не держись за него так твое от тебя никуда не уйдет
гадательные книги сонники хиромантия для чайников физиогномика
никуда не выходи из своего домика кури самые дешевые сигареты смотри по какой погоде
люди сегодня одеты
запекшаяся кровь под ногтями зимняя бледность юга нехватка света хлорофиллы пластика
цветение сада
не держись за него так скорее всего уже ничего не надо
так приди на Васильевский что ли твердит как не чувствует боли осадка и галс как не чувствует
ничего из перечисленного но существуя
чем-то существенным по-прежнему здесь рискуя
рисует новую вывеску «Хлеб и вино» кубок с фальшивыми рубинами змею и виноград
такую определенно должны одобрить

***

делать кораблики из книг пусть плывут до Финского залива воспоминание некрасиво
безглазые дома три четверти пол-оборота наверное потом их прочитает кто-то
плыви-плыви на восток дворник убрал мосток руки опустил в гречневую крупу

там согрел их жизнь всё равно не грех кровь поднимается вверх по жилам фонтаном бьет
из мрамора милым
тут не житье заколочен первый этаж
не вынести вещи и с кушеткою не продашь
не кормить гуппи не искать ости в супе
не разговаривать с незнакомыми снег падает в кружку хлопьями комьями
каналы северных столиц собирать чугун и тряпье
разбирать по буквам потом опять собирать имя ее
через две тысячи лет здесь будет столица империи монеты на веки камушки в рот
указатель надворный советник здесь прежде жил и ныне живет
у тебя не останется выхода только идти никуда не сворачивать пройти несколько кварталов
редакция не несет ответственности за содержание переписка запрещена

***

словно жена Лотова у лотка с яблоками и уксусом говорит да не боюсь я их ничего не забыли
не научились ничему
на крапивной площади построить гастроном и тюрьму
немудрено выкликать по имени вы вернитесь живыми мне
зрачки не реагируют на свет не осталось которым можно верить примет
три раза обойти вокруг города доверять упаковке что кофе молотый
где север где мох какой по порядку слог не помнить посмотри что там осталось кроме пепла
и кофемолки
когда раны асфальта затянутся осколки витрин вернутся по рисунку разреза
земля вернет этот поселок из войлока и костей
прижаться к холодной поверхности говорить о ненужном с ней
нет говорит просто усталость накопилась просто плохое снилось
ничего не случилось тут ничего не случается
от рождества смотрим в окно на крещение пьем из вишневых косточек вино
нужно поехать куда-то но зачем никогда не оборачивайся
впереди стена местные острословы пишут на ней «выход» разные там слова
никогда не оборачивайся простые вещи сложны остальные без надобности здесь
говорит забирай свой уксус иди вон туда где море

***

Врубель устроился на вредное производство иногда пьет
жена по праздникам прячет вилки в комод
прячет в подушку лицо цвета спелого аспирина
в подъезде висит календарь на котором чья-то картина
краем глаза видна да разве можно так ну к чему эти квадраты
горячится но в типографии «Красный рабочий» тоже не виноваты
или от крови в глазах рябит или рыбий жир останется на манжетах
тлеет «Физика твердых тел» в ребусах и ответах
чем-то ведь нужно себя согреть кроме надежды что всё проходит
в пещи чадит медальонов медь спектограф на развороте
нужно ли запомнить себя дотла растереть щепоткой расплавить
прядь в угольках так была светла никуда не заводит память
на храмовые праздники покупает сирень считает соцветия каждый день

должна быть какая-то тайна раскрыта жена просеивает пепел сквозь сито
но там ничего нет луна светит в затылок
сквозь шнуровку портьер в теплой воде обмылок

***

откусили мишке Паддингтону лапу уронили сердце пряничное на пол
сердце не камень не камушек сладкий цветной
несет меня лиса за поросшие рекламой здорового сна берега
за косицу щелкунчикового племени нежелание нервы лечить пельменями
удачно выйти замуж и столь же выгодно развестись
нет лиса бархатная шкурка остановись
здесь идет большая врезка о вреде социальных связей
реклама крема для похудения и февральской целебной грязи
твое одиночество лучше тебя знает кому вцепиться в загривок
кому рассказывать что там за поворотом
выезд на встречную остановка в снегу
за поворотом ничего нет
разве собирался жить так как оно случилось
завязывать узелки на память придумывать памятные даты
доказывать свою необходимость каждому поперечному столбу линии ЛЭП
продавцам пряностей
серьезным разговорам ни о чем собирательным образам собраний сочинений
утешать себя разве кто-то мог притворяться лучше
в ситуации когда линия ЛЭП слепа лиса кусает свой хвост
линия тропы рисует ромбики рамы рано сердце подсказало что здесь
твоя остановка ни одно окно не светится
у консьержки пасьянс потрепанная Донцова
всё говорит о том что нужно всё начинать снова
через пустые поля клеточки неровные линии льна
где они сойдутся теперь под равнодушным глазом

***

мой дядя Курчатов работает в KFC говорит «свободная касса» крылышки соус из кетчупа
соус из майонеза
дети приходят держат его за бороду делают селфи в красном уголке ищут иголки в стогу
он говорит: «ну что я вам хорошего сделаю чем вам ребятушки помогу»
мы замерзли в пути возьмите вот эти размороженные мюсли
не так уж они плохи как может показаться на вкус или не берите враги окопаются в общепите
так и разрушают страну самую лучшую страну это у них мир означает войну
а у нас яблочки пчелки на полу разводы карболки
песья голова на плечах первой красавицы бель эпок
ну а что вы хотели ученый всегда жесток
это подарочный бургер в нем бомба и робот со вкусом инжира
не выходи на улицу на улице кровь в желобах на улице ничего нет
мой дядя Курчатов говорит что мясо это зайчата поросший мхом специальный дом
сиречь в подкорку тебе впечатали ад но даже от ада не будет толку
толкаются хватают грязными руками быстро едят

кто вывел эти атомы этих упитанных октябрят
этой октябрьской звезды во лбу неугасимое пламя
кто по громкой связи сейчас обещал вот вернутся в класс
и не толкаться светлое будущее одно на всех толкаться огромный грех
главное взаимопомощь твердая вера в успех
через двести лет здесь будет город-сад и теплая свалка
поэтому никого никогда никого не жалко
картофель фри хрустит в руках словно кости перемелются будет хлеб
теплый хлеб теплый картофель фри теплая кола
карта родины золото из распоротого подола
вот на нем пыль вот на нем кетчуп и сок
и впереди никого а теперь кого подразумевал Блок три варианта

***

чтобы выйти из полноэкранного режима, нажмите «escape»
не разливайте масло подсолнуха, не ешьте пережаренный хлеб
не разговаривайте с незнакомцами в пустых и людных местах
не излучайте уверенность, неуверенность или страх
соблюдайте все диеты, предписания и посты
на каждых дверях рисуйте колокольчики и кресты
ждите за вами выедут, нам всем еще позвонят
ну а пока запомните холестерин – это яд
дерево – это дуб, а Каспий – это вода
может быть мы теперь не окажемся никогда
в теплой распаренной кухне над сахарной головой
с пережаренным хлебом и водой неживой
словно свобода воли полноэкранный режим
куда от этого крестика в правом углу сбежим
перелистывая титры, масло сливая в жим
словно мир еще есть, но мы им не дорожим

***

девочки-девочки за сколько нужно записываться на маникюр укладку
какую лучше помадку в торты класть
уже изобретена водородная бомба вирус Эбола вирус который проникнет на жесткий диск
какую помадку класть «старость» это от слова «страсть»
что делать если люди не любят людей люди не любят себя
люди любят сладкое и пустое
девочки-девочки укладка в песке и глине под маникюром фрагменты кожи
в зрачках невозможность сходства
уже изобретена система чтения мыслей самый лучший порошок чтобы вывести красители крема
самая лучшая жизнь чтоб ни разу не задуматься где мы
девочки-девочки земля холодная не нужно тут лежать вам ведь еще рожать
это укус комариный просто ватку прижать

Елена ЗЕЙФЕРТ

ПЛАВИЛЬНАЯ ЛОДОЧКА

Карагандинская повесть

Dieses ganze, weite Land ist die so genannte «Wiesenseite» der Wolga und erstreckt sich als so geartete Steppe noch weiter über den Uralfluß hinaus bis tief ins Herz Asiens.

Anton Schneider. Geschichte vom Kirgisen-Michel und der schōn' Ammi von Marienta[1]

Если у дома невидимые стены,
то принадлежат ли они ему?

Рамка

2014.
Сильное существо льнёт ко мне и целует подол моего платья.
Возможность удержаться на нескольких плотах сразу.

Я сильнее повести. Она – живая энергия. Она насыщает. Когда отдаёшься ей, высвобождаешь внутренние ключи. Магму новой силы. Повесть как человек, но я сильнее его. Я отшвыриваю её, и она, не раня меня, уходит. Я возвращаю её, и снова питаюсь её силой. И вновь отбрасываю её от себя. Повесть всегда возвращается новой. Пожалуй, ей стыдно вернуться не иной. Я не церемонюсь с ней и не прячу своего эгоизма. Сильное существо льнёт ко мне и целует подол моего платья. У повести нет ушей и глаз, если она всё ещё доверяет и ждёт. Я терпелива, я молчу. Повесть окликает меня, и я вновь отзываюсь.

Теперь она уже агрессивна. Ибо ей хочется жить. Она хватает меня за запястья – на моей коже остаются багровые полоски. Отбрасывать от себя рождающуюся объёмную вещь, швырять её оземь – чревато. Её энергия всё равно прорывает кожу, причём очень больно... Произведение грубо тычется в меня и ищет своё название, и пока это – «Плавильная лодочка». Я по-королевски отдаю себя капризам внешней жизни, калеча своё произведение, постоянно окунаясь в «другое» слово, ежедневно требующее меня на ковёр. Уже несколько не рождённых произведений во мне – они наверняка умерли, ими могла стать повесть, но уже не станет. Стоит представить, сколько во мне вообще брошено трупиков не родившихся текстов, чьи ткани, нитки ещё ищут и находят внутри меня пищу, как небрежно махнёшь рукой – нужно думать о жизнеспособном, жизнелюбивом, знающем воздух и свет.

[1] Вся эта широкая страна – так называемая «луговая сторона Волги», и простирается как рождённая таким образом степная зона ещё дальше через реку Урал глубоко в сердце Азии. Антон Шнайдер. История о Киргизен-Михеле и прекрасной Амми из Мариенталя. *(пер. с нем.)*

Елена Зейферт родилась в 1973 году в Караганде (Казахстан). С 2008 года живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Автор шести книг стихов, русско-немецкой книги-билингвы «Namen der Bäume/Имена деревьев», сборника стихов и прозы «Малый изборник», книги прозы «Сизиф & К°», книги критики «Ловец смыслов, или Культурные слои» и др. Публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Новая Юность», «Урал», «Нева», «Крещатик» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – рец. на кн. Анны Глазовой (2018, № 3-4).

Когда на новой ступени каскада танцуешь чёрного лебедя, а сквозь твою кожу не прорезаются перья и радужки не становятся багрового цвета – это стрельба в молоко. Повесть (а вернее язык её) настолько овладели мной, насколько я пытаюсь им противостоять, сбрасывая на время с закорок, ибо сохранить за собой право на собственную жизнь, пусть как на черновик по сравнению с беловиком или оригиналом повести, – это возможность удержаться на нескольких плотах сразу. Рождающееся произведение как энергетический напиток, им хочется напиться, но теряешь землю из-под ног, летишь, а рядом – берлинские стены, камни на шее, лето без дождей. Ты везде нужен. И гедонизм творчества воспринимаешь как каприз, эгоистический манёвр, детский трюк, дающий возможность мнимого ничегонеделания.

Моё утро в аэропорту. Грея руки о чашку кофе, я задумалась, как давно я не была одна – без людей и фантомов, без героев и образов. И необходимость встретиться с самой собой встала как дело первостепенное, готовое совершиться на моих глазах и, по всей вероятности, обещающее новые внутренние пейзажи. Повесть вся родилась целиком внутри меня, она вычерпывается с любого места, стоит только прислонить к ней ухо. Порой она зовёт, но голос её вплетён во множество других.

Язык повести можно пить и есть, он из органических волокон, и каждое слово сначала перекатываешь на языке, прежде чем одеть им уже давно рождённое внутри меня целиком тело произведения. В руках оказываются то лирические пустоты, то эпические нитки. Теперь вопрос за главным – где взять время и непреклонное душевное состояние на это вычерпывание? Время, которое нужно очистить от вторичного, наносного, время, окружённое самим собой. У меня порой нет времени даже обдумать, почему приходят те или иные фрагменты, а нужно раздвинуть, отодвинуть друг от друга окружающие меня внешние факты и события, как мысли при медитации, иначе облепившие меня вьюны внутренних смыслов заглушат друг друга.

По взаимному согласию, моему и вещи, мышцы повести пронизывают мой язык, и я говорю ею.

Теперь повесть молчит. Я перестала быть ей нужна, ибо стала её частью.

24 сентября 2014, Гисен

Часть 1. Пеленальщик

***

1941.
Изгнанник укачивает в себе дом.
Марийка течёт жидкой металлической речкой.

Внутри каждого человека – зародыш дома. Когда человека гонят прочь, его внутренний дом сворачивается в ещё не родившегося младенца. Изгнанник может не догадываться об этом, но он жив этой истиной. Он сидит на корточках, наклонившись вперёд, и укачивает в себе дом. Несчастный поёт дому песню, которую слышал внутри него младенцем. В песне нет ни слов, ни пауз. Поющий даже не шевелит губами. Дом тихонько засыпает, скрипят половицы, в постели ворочаются сонные люди. Изгнанник встревоженно и удивлённо прислушивается к себе и понимает, что в этом доме живёт и он сам. Блуждая в матрёшечных отражениях, человек множество раз встречает себя. И благодаря этому остаётся самим собой.

Поезд жёстко стучит колёсами, а задремавшей Марийке кажется, что её качают в люльке. Колыбелька похожа на лодочку. Всюду жаркая каменная печь. Девочка бормочет в полудрёме, и лодочка словно поддакивает ей – так, так, так... Марийка распахивает глаза. Над люлькой – размытое улыбающееся лицо в синей шали. Девочка пытается подняться, чтобы разглядеть это лицо, но её тело словно из свинца. Вместо языка тоже кусок металла. Девочка смежает веки, и сильное, убивающее тепло разливается по телу, Марийка течёт жидкой металлической речкой в никуда. Налетает холодный, мокрый ветер, тело девочки твердеет, обретает очертания, ищет себя в пространстве.

Ранней весной отец в Гларусе подрубает несколько деревьев, растущих в поле, и сдирает с них кору.

– Worom, Vadr? Tes tuht jo n Boum weh[1], – осмеливается спросить Марийка, всюду, где можно, из любопытства поспешающая за отцом.

– Hiere is ejn Acker, Matje. Man muss n Platz fohr n Fluhch freimache. Zuh n Herbst wäckst n Weize uf, mir mahle s Mehl un backe s Brout. Dr Boum vortrocknt bald, Techterje, mir mejsel n ab[2].

Иные деревья сжигают прямо на поле, их зола удобряет землю.

В длинный ряд стоят корзины и корзинки, в них травы и ягоды, а в некоторых, с очень плотным плетением, вода. Мама крутит ручку деревянной маслобойки, подливает сметаны в её горло. Из дымохода пахнет копчёным окороком и колбасой, там на крюках можно закоптить сразу целую свинью. Марийка своими глазами видела на чердаке коптильную камеру, она очень широкая, а снаружи выходит в узкую трубу. На лаковые дверцы шкафов в родительском доме приклеены точёные украшения. Уютно, никто не роется в кухонном буфете и сундуке.

Все времена протекают одновременно, меняются только пространства, их декорации и одежды. Повествование всегда идёт в настоящем времени и синхронно, будь то изображение эмиграции из Германии в Россию, раскулачивания, войны, депортации, трудармии, эмиграции из России в Германию.

***

1941.
По корове, как шершни, ползают убогие земляные духи.
Солнце давит на крышу теплушки.

Мать сильно прижимает её к себе и шёпотом твердит: «Tu pist Maria Jäckel, secks Jahre alt, di Mudr hehst Else, Vadr hehst Robert, da Brieder sin Robert un Andreas, tu pist am zweite Agust Neizehnhunnertfufuntraißig kewohre, di Heimat is s Tourf Klarus...»[3], но сознание Марийки противится, ей кажется, что она часть огромной коровы, которую гонят на восток. Злая морось; по той части коровы, которой является Марийка, погонщик нещадно хлещет плетью, и тело девочки содрогается от страха и боли. По корове, как шершни, ползают убогие земляные духи. Ноздри коровы, искалеченные щипцами, раздуваются, сбрасывая нескольких нечистых на землю. Но на короткой шее, вогнутой спине и тощем животе скотины злобных и счастливых духов превеликое множество. Луч ищет себе место; на коровий круп порой ложатся бледные пальцы согбенной и гордой Уснувшей Матери, но духи сразу облипают их, кусая благоухающий в эти минуты воздух.

Теплушка – тёплое слово. Оно пахнет железом и кровью. Марийка не знает, что «tepluschka» от слова «тепло».

Девочка спит в вагоне, когда на одной из станций её беременной матери становится совсем плохо – женщину неукротимо рвёт, рвотные позывы выворачивают пустой желудок. Молодцеватый охранник вытаскивает её на улицу. Крича о дочери, женщина падает к нему в ноги. Он откидывает её от себя, не желая причинить боль, но не соизмеряет силы удара.

Вновь очутившись в промёрзшем вагоне, мама, изо рта которой капает кровь, снимает с себя шаль и обвязывает дочку, как сноп: теперь одна шаль у девочки на голове, другая на теле. Стараясь не стонать, мать тихонько отползает от дочки, которая не плачет и не цепляется за неё руками. Люди как могут теснятся, пропуская женщину в угол теплушки, понимая, что та боится умереть на глазах у дочери. Марийка же словно тупеет, уже не соображая, что происходит вокруг. Сон – лекарство от голода. Веки девочки закрываются.

Когда она вновь открывает глаза, мамы уже нет.

Сознание Марийки на время проясняется. Вот сейчас, сейчас станет легче, сейчас всё изменится... Девочка вспоминает, как этим летом отстала от родителей в Саратове и заметалась, испугавшись,

[1] Зачем, папа? Ведь дереву больно. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Здесь пашня, девочка. Нужно освободить место для плуга. К осени вырастет пшеница, мы намелем муки и испечём хлеб. Дерево скоро высохнет, доченька, срубим его на дрова. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Ты Мария Йекель, тебе шесть лет, твою маму зовут Эльза, отца Роберт, твои братья – Роберт и Андрей, ты родилась 2 августа 1935 года, твоя родина – село Гларус… *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

на незнакомой городской площади, но тут отец и мать подошли и с разных сторон одновременно взяли её за руки. Сейчас теплушка остановится, девочка выйдет, и её встретит улыбающаяся мама, Марийка бросится к ней и увидит, что к ним спешит отец, а за ним и оба брата – Роберт и Андрей. Но вожделенное мгновение никак не наступает. Марийка силится изменить реальность, отталкивает воздух руками. Но воздух непроницаем. «Mudr! Mudr![4]» – истошно кричит девочка и замолкает, оглушённая.

Стук колёс, резкий и мерный, будто вгрызается в голову. Девочке не хочется есть и спать. Марийке странно слышать от людей вокруг слово «Караганда». Она пробует его на язык – тот не слушается, перекатывая во рту непривычное слово. Слово горькое и грубое. Невкусное. Его хочется выплюнуть.

Движущимся то кажется, что охранники о них всё же заботятся, то мнится, что это далеко не так. В вагоне уже не так тесно и ещё холоднее. Едут только женщины и дети. Мёртвых и полуживых выбрасывают на станциях, их безымянные тела кланяются промёрзшей чужой земле, никнут, припадают к ней. Живые с эпическим терпением продолжают своё жалкое, вынужденное странствие. Уснувшая Матерь может помочь девочке только одним – взять её к себе в сон. Марийка время от времени спит, ей снится большая крынка молока, из которой выпрыгивают на порог родительского дома две зелёные лягушки, снятся руки отца с широкими лунками ногтей, тяпка у калитки, ведущей в огород. Божья мамочка спит, её не разбудить. Марийка дотрагивается до её холодных пальцев, и девочке кажется, что они мёртвые. Марийка не знает, умерла ли её мама.

Сверху на земной шар садится кровавое солнце. В нём нет жизни, оно изнурено и немо. Марийка чувствует, как солнце давит на крышу теплушки. Солнце сквозь крышу садится прямо на голову девочки, в мозгу которой в это время корёжится оазис Гларуса, жухнут его нежные поля, никнут деревья с растопыренными, как детские ладошки, листьями, рыдает река Вортуба. Марийка снова истошно кричит. Пожилая худенькая женщина в очках с толстыми разбитыми стеклами, обняв её, закрывает шершавой ладонью ей рот. «Ruhch, Kindje, ruhch[5]». Марийка хватает её руку, слёзы капают из глаз девочки, рука у женщины солёная, влажная. «Ich pin Olga, Kindje. Ich pin ouch alehn[6]».

***

1941.
Корова упала на передние ноги и тужится встать.
Марийка ест белый камень.

...Караганда оказалась промозглой обветренной октябрьской степью, засыпанной серым, несвежим снегом. Изгнанники, оставшиеся в живых, разминая затёкшие ноги, сгрудились возле вагонов и осторожно озираются вокруг. Их ещё много, живучих, цепких, несчастных женщин и детей. В глазах – животный страх. Как можно выжить здесь, на таком холоде, без жилья и тёплой одежды?

Марийка смотрит на небо, где зреет ещё большая непогода. С неба, кажется, никто не смотрит на землю. «Mudr, Mudr[7]», – надрывно, тоненько зовёт Марийка, задрав голову и плача. «Ich pin hiere[8]», – твёрдо говорит Ольга, становится рядом с девочкой и берёт её за руку. Земляные духи начинают выть, склабясь, задыхаясь от злобы, пританцовывая. Огромная корова обиженно машет хвостом, мычит, закрывает свои большие глаза. Она недавно отелилась, и её ударившийся о мёрзлую землю ребёнок где-то умер в пути.

Рельсы лежат прямо на шпалах, без насыпи: железная дорога к новым карагандинским шахтам была достроена совсем недавно для перевозки тысяч трудармейцев. Тусклый ветер блуждает в заснеженных клочковатых волосах земляных духов, они закрывают руками маленькие лица, гримасничая

[4] Мама! Мама! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[5] Тише, детка, тише. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[6] Я Ольга, детка. Я тоже одна. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[7] Мама, мама. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[8] Я здесь. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

и постанывая от удовольствия. Корова упала на передние ноги и тужится встать. В сизом воздухе зреет и лопается холодное октябрьское варево.

Охранники между собой говорят по-русски. Марийка прислушивается, но понимает только одно презрительное слово – «немцы». Она знает, что их так называют по-русски, но не догадывается, почему с таким презрением и недовольством. Один охранник, синеглазый, с щербинкой между верхними передними зубами, немного похож на её отца. Марийка тянется было к нему, но тяжело вздыхает и от страха зажмуривает глаза: мир стал жалким перевёртышем, отец бесследно исчез, стал троллем.

Вдруг кто-то задышал прямо в ухо быстрой, щёлкающей, сладкой немецкой речью: «Matje, nemm da Mudr an dr Hand, ich nemm si zuh mich[1]». Марийка открывает и вскидывает глаза – к ней склонилась уставшая молодая женщина с тоненькой сеточкой морщин у глаз, огромными бледно-голубыми глазами и печальным ртом. «Ich pin Lidia. Mir sin ouch taitsche Lait. Mir lewe hiere schon zehn Jahre, mir hawe n Haus[2]». Лидия уверенно берёт Марийку за руку, девочка тянет за собой Ольгу, но тут подскакивает охранник – тот, который похож на отца Марийки – и отталкивает от неё Ольгу. Он громко ругается. Лидия побыстрее отводит Марийку в сторонку и переводит ей на человеческий язык смысл его ругательств: Ольгу, как и других привезённых женщин, увезут в лагерь.

Серое небо пенится, где-то в другой стране под землёй в уютных рудниках уснули гномы. У каждого бородатого карлика-стража в руках зажаты драгоценные камни. Гномы не знают, что над их головами творится невероятное зло, от которого земля никогда не оправится.

Марийка разжимает ладошку. На ней – круглый белый камень, его просунула в ладошку девочки Лидия. Это курт. «Ese, Kindje. Tes is Trockek‿hs. Dr is lecker[3]». Марийка жадно лижет курт, он солёный, он вкуса её слёз.

На немцев добрыми старыми глазами смотрят казахи и казашки, детей разбирают по домам. Готовы забрать и женщин, но их не отдают.

Марийка ест белый камень.

***

1929.
Между ними дрожащий огонь.
Гости замирают, заглядывают внутрь себя.

Лидия и Виктор сидят друг против друга. Она поставила свечу в песок, и между ними дрожащий огонь. В зрачках Виктора его нет. Марш, поверхностный триумф марша поднимает новобрачных с места. Но где приглашающий – этот высокий, с белым платком на руке велеречивый человек? Куда им идти, покажут ли путь к арочным воротам крёстная мать жениха и крёстный отец невесты? Манна ложится хлопьями на земляной пол. Пусть жених распорядится, чтобы для невесты сыграли туш! Да не один, а три туша, а потом зазвучат три вальса, в которых Виктор закружит Лидию. И никто, никто не осмелится танцевать при них. К платью невесты приколот один подарок – от Виктора.

Впрочем, это лишь игра отражённого огня в зрачках Лидии. Стук барабана и фанфарные сигналы ударяются друг о друга в её глазах, а радужке её жениха и неведом рикошет.

Им пора войти в круг танцующих со свечами в руках. Виктор раздражён, он всегда всем раздражён: и свечами в руках подружек невесты, и стоящими на полу подсвечниками, и едва заметной морщинкой на переносице юной Лидии, и её низким голосом. Их торопят, едва не наступая ему на ноги. «Steh uf! Mach doch! Wider pist tu in dich g'kehrt! So 'ne dumme Gans![4]» – он снова недоволен ею, и это уже стало его вредной привычкой. Лидия едва сдерживает слёзы. Ей кажется, что весь Лилиенфельд печалится о ней, но никому нет дела до несчастной новобрачной.

Все холостые парни танцуют по три вальса с невестой, её платье уже утыкано подарками, как новогодняя ёлка. Глазами она ищет Виктора, но он оживлённо разговаривает с дружкой, в красивых выразительных руках жениха не водка, как у других мужчин, а красное вино. Лидия не понимает,

[1] Девочка, бери маму за руку, я заберу вас к себе. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Меня зовут Лидия. Мы тоже немцы. Мы живём здесь уже десять лет, у нас есть дом. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Ешь, детка. Это сухой сыр. Он вкусный. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[4] Вставай, давай быстрее, опять ты ушла в себя! Что за гусыня! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

зачем на Троицу он поставил возле её родительского дома майское дерево. Кора была содрана с молодой ели, как кожа, красные фрукты и позолоченные орехи подрагивали в зелёной шапке на голове дерева. Разве только карлик, натерев ладони золой, мог бы состязаться в лазании по этой ритуальной ёлке, но ствол её был натёрт жидким мылом. Вот Лидии и достался карлик.

Свечи, свечи на майском дереве и здесь на полу. Гирлянда вокруг колодца; яйца, булки на ней. Hopsa! – звучит лихой вальс вприпрыжку. Но чей это громкий всхлип? Августин, черноволосый, в красной шапочке, упирается руками в стенки музыкальной шкатулки, тщетно пытается выбраться наружу, а затем бросается к своей волынке, лежащей в самом сердце механизма. Мешок из козьей шкуры начинает издавать громкий пронзительный звук. Гости замирают, заглядывают внутрь себя, вереница августинов сыплется в раскрытую горловину печи, исчезая в раскалённой полынье.

Лидия не хочет уходить вместе с женихом, обречённо смотрит на мать, отца, бабушку. Ничуть не уставшие, музыканты играют на скрипке, флейте, цитре; цитра похожа на мясорубку.

***

1930. 1935. 1941.
Рождаясь в Караганде, человек сразу обретает несколько жизней.
Пот капает с её лба в глаза.

Виктор молча смотрит на беременную жену, пряча кулаки за спину. На ней штопаное ситцевое платье, русые волосы собраны в пучок, лоб нахмурен. Пигмент на её лице и круглый живот с торчащим пупком вызывают у него раздражение. Чёртова кулачка, позарился я, нищий, на закрома твоих родителей, их корову, лошадь, ухоженный огород, родящий сад. Уголь – чёрный творог. Его даёт корова. Язык её разрезан, как жало. Я теперь сам эта корова, я живу в Караганде. Моё молоко варят, а сыворотку бережно сливают. Тощие бока мои уже почти встретились друг с другом. У охранников много дубья. В доме Лидии я сыпал овёс скоту и птице, а матушка в детстве пекла мне овсяные лепёшки. Недолго я ел райские яблочки в новой семье. Лилиенфельд, корзина с треснутыми фруктами, ты не так был и хорош, но на Волге немцу всё же лучше, чем в Азии.

Через пять-шесть лет Лидии снится сон. Ей уже трудно ходить, на днях роды. Словно вспомнив что-то, Виктор вдруг вскрикивает, хватает жену за локоть, дёргает к себе и запевает своим тоненьким неприятным голосом:

Tanz' mit mir, tanz' mit mir,
schöne Komsomolka!
Tanz' mit mir, tanz' mit mir
eine Hopsapolka!

Испуганная, молодая женщина хватается за живот, грузно садится на скамью. «Nee, tanz! Tanz, Aas!»[5] – приказывает Виктор, с наслаждением глядя на её гримасничающее лицо. С неба льётся серебряный звук цимбалы, две колотушки раззадоривают её струны. Эта чужая дрожащая музыка плачет ритмом польки. Виктор пляшет.

Meine neuen Stiefel hier
haben dicke Sohlen:
Solche Stiefel hatt' ich nie –
krachen soll'n die Bohlen[6].

[5] Нет, танцуй! Танцуй, сука! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[6] Стихотворение Иоханнеса Шауфлера «Hopsapolka»:
Танцуй со мной, танцуй со мной,
Прекрасная комсомолка!
Танцуй со мной, танцуй со мной
гопсапольку!

У моих новых сапог
толстые подошвы:
никогда у меня не было таких сапог –
они грохочут по полу *(пер. с нем.)*.

В тридцать первом году всё было тяжёлым. Мальчик родился в ссылке. Рождаясь в Караганде, человек сразу обретает несколько жизней. Часть из них он теряет в Караганде. Если повезёт, он начинает жизнь в другом месте. Болезненным броском он переносит себя туда и рождается заново.

Сын Лидии почти не плачет. Он умирает несколько раз и наконец умирает. Виктор, глядя на вытянувшегося младенца, говорит: «Där hat Glick kehat»[1].

Лидия смотрит на Виктора с ненавистью. Пот капает со лба роженицы в её глаза. Она долго прощала, но теперь не может простить этих слов мужу. Что эти слова? Они лишь прозрачная капля. Её можно слизать, проглотить. А Лидия не хочет. А Виктор не хочет с ней больше жить.

...Шероховат верхний слой почвы, он густо зарос травой, скреплён её корнями. Из дёрна строят дома для немцев. Для немцев нет дерева, кирпича, бетона. Можно жить в домах из почвы – так легче привыкнуть к земле.

Дёрн карагандинские немцы припасли для новой партии изгнанников и хранили в сараях. В самом начале сентября 1941-го в Караганду пригнали мужчин. Затем (ещё не упал снег) первую партию женщин. Теперь в снежный октябрь привезли ещё женщин с детьми.

Теперь, через десять лет, у Лидии есть дочка, шестилетняя Марийка. Девочка покорно идёт за матерью, впряжённой в телегу с дёрном. У них есть дом, но нужно помочь своим обрести жильё. Дом внутри человека не спасает его от стужи и зноя.

Хлеборез в Карлаге режет хлеб на крохотные кубики-довески.

***

1935.
Отец, парень что надо.
Donner, бог грозы, ты растянешь четверг на четыре дня.

Отец Розы недоволен. И старший сын, Фридрих, вот-вот женится на русской, этой взбалмошной Женьке, и куколка его Роза во всей Макеевке не нашла себе немца, а идёт за Ваську Апостолова, махонького ростом, чернявого, с добрыми глазами. Люди наперебой говорят – сердце у него золотое, но Фридрих-старший видит другое – слаб парень здоровьем, и сердце не золотое у него, а квёлое, оставит он Розхен молодой вдовицей с детьми.

Сваты сидят весь вечер и часть ночи захватывают. Родителей у жениха нет, он бывший детдомовец (там и фамилию ему, видать, сочинили, ещё при царской России) и пришёл с друзьями, такими же работягами, шахтёрами. В жизни не отдал бы Фридрих свою красавицу Розку за безродного Апостолова, но тот дружит с самим Стахановым, и даже письмо его привёз, коротенькое, скорее записочку, чем письмо. Алексей Григорьевич пишет: отец, парень что надо, твоей семье повезло.

– Komm aus, Roßchen![2] – зычно кричит отец ближе к полночи. – Ich bin invorstanne[3].

Щурясь, глядя прямо в лицо будущему тестю, Апостолов силится понять, что значат эти немецкие слова. Вместо Розы из комнаты выходит Катарина, её младшая сестра. Кудрявые тёмные волосы убраны в пышную косу, непослушные завитки дрожат у висков.

– Берёшь? – Фридрих, обращаясь к жениху, переходит на русский.

– Нет, – испуганно пятится Василий. – Это не моя невеста.

Катарина хохочет, а из комнаты, как пава, выплывает Грета, грузная женщина, старшая сестра Фридриха. Она кокетливо обводит взглядом гостей и не прячет улыбку.

– Берёшь? – снова спрашивает Фридрих.

Василий и его друзья уже смеются, лица их светлеют. Наконец появляется Роза, её Василий с радостью «берёт».

Проходят три недели, солнечный венок на голове у Розы, наступает заветный четверг. Donner, бог грозы, ты растянешь четверг на четыре дня. Распорядитель свадьбы верхом на лошади зовёт гостей в дом. Специально обученная лошадка кланяется, заходит прямо в дом. Грива её в цветах и лентах, на шее колокольцы. В корзинах подружек невесты посуда, её дарят гости.

---

[1] Ему повезло. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Выходи, Розочка! *(пер. с диалекта украинских немцев)*

[3] Я согласен. *(пер. с диалекта украинских немцев)*

Вот и Роза стала Апостоловой, а Женька-то не взяла фамилию Дайтхе, так и носит свою русскую фамилию Воробьёва. Не ей в 1941 печалиться о муже, боевом лётчике, а Фридриху-старшему, «эвакуированному» в Германию с задранным к небу лицом, о сыне и Розе, спасшейся от «эвакуации» под русской фамилией, о брате. Муж обещает увезти её с сыном из голодной Макеевки в Караганду – его друга Стаханова поставили там недавно начальником шахты.

***

1942.
Он кусок чёрного хлеба, зажатый в руке.
Ешь медленно.

...Оказавшись в бараке-лазарете, Фридрих-младший перестаёт стонать, совсем отупевает, уже не ведая, от чего страдает больше. Ушибы от побоев, гниющая правая рука, голод, вши по всему истощённому телу словно существуют отдельно от его прозрачных мыслей.

Наутро лётчик чувствует боль в правой руке, но знает, что руку отняли. Подержат ещё несколько дней в бараке, не меняя повязки, и выгонят вон? Он сам не знает, почему так бесчеловечно думает о них (есть же и предел жестокости), но выходит именно так. Почти оглохший, но чуткий, как зверь, Фридрих слышит на чеканном русском: «А этого в Транспортный цех, там и мертвецы оживают». В желудке пусто, но его рвёт в машине болезненным воздухом. Долинка, мать с сосцами, за что ты так добра ко мне? Почему отпустила живого, не высосала мою желчь, не очистила мой кристалл зрения? Я и рассердиться на тебя не могу, мать всех волков. Да, милая, подлая, я не вожак стаи, не волк, а кусок чёрного хлеба, зажатый в руке. Ешь меня мокрым красным ртом, кормящая сука.

Шестеро суток он почти один. Лишь утром в его сарай заходит минут на десять старушка (снаружи ей кто-то резко открывает дверь, смачно ругаясь), промывает ему рану, щебечет по-немецки. Может, это мой ангел, думает лётчик, но и ангел смотрит на него не без страха.

Отнятая правая рука и болит, и чешется. На указательном пальце был искорёженный ноготь, ещё в детстве, баловник, засунул руку в бабушкину мясорубку, и прокрутил чуток, как только та отвлеклась на кухне. Левая рука хочет по привычке погладить этот ноготь, а его нет. Культя, часть его мускулистого плеча, ещё сплошная рана, но, очевидно, он на время утрачивает человеческую суть – заживает как на собаке.

В углу сарая стоит ведро с водой, он пьёт её бережно, экономно, не зная, принесут ли ещё; с одной рукой очень неудобно пить из ведра. Пьёт, как лошадь, опуская лицо в воду. Пару раз невидимки всё же подливают воды, приносят несколько небольших яблок, немного варёного ячменя, пару сухарей. Карагандинский июль сух и жарок, но ночи не такие и тёплые, а Фридриха и днём бьёт озноб.

Утром седьмого дня в дверь его сарая стучат.

– Вот тебе кнут, вот одежда и сумка! – на земляной пол падает грязная, дурно пахнущая роба и холщовая сума. – Будешь пасти стадо. Через пять минут ждём тебя на улице!

Не знаешь, чего ожидать от них. Ещё пять блаженных минут. Фридрих пробует освободиться от своих лохмотьев – никак. Тело его ещё не знает, как жить с одной рукой. Вдруг взгляд его падает на доску в углу – за ней что-то лежит. Лётчик бросается туда, будто неведомая благая сила подталкивает его, за доской – четыре книги. Он достаёт их левой рукой: потрёпанные «Гамлет», три томика Пушкина. Почему раньше он их не замечал? Не старуха ли принесла их сегодня? Бережно кладёт книги в холщовую сумку.

Разбираясь с пастушеством, Фридрих пытается заодно понять, кто будет кормить его, и пока перебивается диким луком и щавелем, ест листья крапивы, обжигая рот, стебли и листья одуванчиков. Уходя со стадом в степь к терриконам, Фридрих читает стихи вслух. Вещество их кормит пастуха? Кто-то хищный на войне прислушивается к непонятному тылу.

Наконец жить к себе немца пускает старик Ерканат. Нехитрый домишко его растёт в центре сиреневого сада. Зачем так много бесполезной сирени? Она даже цветёт и пахнет недолго, растил бы яблони, груши, сливовые деревья. Фридрих так думает, но не говорит вслух. Кланяясь в пояс своей земле, Ерканат тоже молчит. Выжил он из ума или нет, только Бог ведает, но раненого немца он приютил.

Вздыхая, осматривает казах его рану, долго хлопочет над ней с какими-то снадобьями, потом приносит большую кружку козьего молока и лепёшку.

– Ешь медленно, – строго говорит он по-русски.

Фридрих вздрагивает от двойной радости – он уже и не надеялся, что старик может разговаривать, и очень, очень рад настоящей пище и заботе.

Ерканат течёт к нему своим добрым голосом:

– Я разделю это на несколько раз, Федька. А то умрёшь.

***

1941.
Лидия задирает голову к небу, падает в молочную реку.
Бог терпит боль.

У Марийки, как у всех, есть хлебные карточки. Суточная порция хлеба чуть больше ладошки. Её для Марийки приносит вечером домой Лидия. Девочка сразу же жадно съедает свой хлеб, подбирая все крошечки. Утром Марийка уже очень-очень голодная. Лидия уходит на работу, а девочка, как собачка, бежит за ней: «Lidia! Lidia! Wie lässt tu mich ohne Ese? Ich pin soh hungerich!»[1].

Сердце Лидии как река. Женщина даёт ему утечь в желудок. Он наполняется мутной влагой, речная вода вслепую ищет берег и дно. Пальцы Лидии достают из кармана старого пальто тряпицу, в которую завёрнут её хлеб, аккуратно отламывают кусочек, кладут Марийке в рот – «Nemm!»[2]. Проделав это, женщина бежит, бежит так быстро, чтобы ребёнок не догнал её.

У Лидии в Караганде раньше была и корова, и куры. Казалось, тогда по её жилам текла сытная молочная кровь. Прямо из-под кур Лидия брала в ладони тёплые яйца, грела об их хрупкие бока свои маленькие уставшие руки. Тени в сарае не пугали, падая на рыхлые стены, обитые дранкой. Лидия старательно чистила скребком пол в цыплятнике, ей казалось, что такая работа не грязная, достойная, ведь за нею стояла сытость. Корову и кур изъяли – в общее хозяйство, на благо фронта.

Она часто вспоминала другую свою корову, тоже Марту, которая осталась в поволжском Лилиенфельде. Коров у раскулаченных забрали, согнали в колхозные телятники, но нового скота становилось всё больше, а рабочих рук всё меньше. Людям дали три дня на сборы, а коровы стояли не доенные, у каждой от молока едва ли не лопалось вымя. Животные мучительно мычали. Беременная Лидия дважды прибегала к своей Марте и доила её среди вселенского мычания. Обезумевшие от боли беломордые коровы тупо косились на Марту, их большие розовые ноздри втягивали невкусный воздух. Подоив Марту, Лидия бросалась то к одной, то к другой мученице, чтобы выдоить с них хотя бы пол-литра белой влаги. Но колхозные доярки уже кричали на Лидию, прогоняя её, боясь наказания за то, что пустили немку к её корове. Животные ревели на всё село.

Марта снится Лидии, предлагая для неё и девочки Марийки полное вымя молока. Лидия идёт к корове, а целебная белая жидкость течёт на землю, женщина уже бежит, по щиколотку в молоке, и Мартина морда, как восходящее солнце, занимает собой полнеба. Лидия задирает голову к небу, падает в молочную реку, поднимается, жадно пьёт, набирает полные пригоршни молока. Раздувая ноздри, высунув сухой язык, Коровий Бог на ходулях идёт по молочной реке, дрожат её берега.

Когда Лидия просыпается, лицо и руки её мокры от слёз.

Постель её – твёрдая и жаркая. Тело горит.

Следующей ночью ей не снится день. Изнеможённая Лидия не спит. Не спит и Коровий Бог, он снова спускается с неба, и копыта его уже в жерле раскалённой домны. Бог терпит боль.

***

1942.
Фридриху часто снится высокий каменный лес.
Стоит изменить ракурс, и вещь оживает.

Когда коровы в стаде бегут из степи домой, Марийке кажется, что они висят над землёй, и ей страшно. Тела и копыта их грубы, худые хребты вздыблены, ноздри раздуты. Девочка не может управлять этой силой, Фридрих громко окликает коров, смешивая немецкие и русские слова, животные ме-

[1] Лидия! Лидия! Как же ты оставишь меня без еды? Я так хочу есть! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] На! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

чутся, Марийке жалко пастуха, себя, коров и быков. Чёрно-пёстрая Марта с переполненным выменем по привычке несётся к дому Лидии, но Фридрих зычно отгоняет её в общий коровник. За ней с рёвом бежит огромный двухлетний Малыш, его короткая шея и острая спина словно ждут удара.

– Малыш, komm, komm! – зычно звучит в голове девочки, а ей хочется тишины. Привычная с детства картинка – отец загоняет корову в сарай – стала чёрной.

Фридриху часто снится высокий каменный лес. Он задирает голову – шумят вершины деревьев, опускает – всюду камень. Фридрих ходит по лесу с поднятой головой и головокружением, просыпается от боли в шее. «Фёдор!» – окликает его чёрный великан. Стоит изменить ракурс, и вещь оживает. Имя этому лесу – Vertigo, головокружение. Фридрих никогда не видел поволжского леса. А тот действительно из камня, и почки деревьев в нём похожи на застывшие слёзы.

Укрывая косы синим платком, Божья мамочка держит перед ним в старческих руках молочные реки с кисельными берегами. Белые, белые люди льются оттуда, приплясывая от усталости, текут, кланяются в пояс, умывают руки зацелованным воздухом. Их танец освящён словами.

– Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое. Дивно прозябшая, Ты самое чуткое ухо.

Марийка не жалуется. Никогда! Её бабушка в Гларусе тайком разворачивала из мешковины Библию и читала её ресницами и пальцами. Величальная и благодарственная молитвы выше покаянной и тем более просительной. Счастливая, бабушка улыбалась.

«Боженька, будь, пожалуйста, здоров! Боженька, пожалуйста, не плачь!» – молится на русском языке девочка, глядя Фридриху в рот. Он молится земле и корове, Марийка – стихам из его рта.

Его родная Макеевка оккупирована. Советские немцы как царственный гротескный младенец. С лицом Екатерины II, дитя возлежит на красной бархатной подушке. Две причудливые изумрудно-красные птицы смотрят ему в рот. В его пухлой ручке – цветы с розовыми лепестками, пелёнки и чепец расшиты серебром. В жёстком коконе возлежит он, пеленальщик постелил под ним горностаевую мантию. Не двинуться, не вздохнуть ребёнку в серебре. Грубая рука пеленальщика похожа на кнут. Кокон пелёнки как тигель, узкий, жарко-пламенный, графитовый мешок. Ребёнок ждёт рождения вовнутрь, повитуха бродит в его недрах.

Роза прячет чёрные косы за косынкой. Ретушированную фотографию в простенькой рамке отнесла в погреб, там прикопала её землёй. На снимке молодой мужчина в лётной форме. Черноволосый, с выразительной линией длинных бровей. Её брат Фридрих Дайтхе. 22 июня 1941 года он, боевой летчик, был в действующей армии. Роза знает, что брат сейчас воюет. Защищённая светлой фамилией своего мужа – Апостолов, Роза яркая, свободная на язык. Мой брат Федя воюет – говорит она знакомым, а те проходят мимо, передёргивая плечами, сплёвывая на загаженную войной землю. Жена Фридриха Женя о муже молчит, боится людского осуждения – испачкалась, выйдя замуж за немца. Мёртвые лётчики тоже воюют, мёртвые российские немцы затыкают своими телами дыры в небе, чтобы для фашистских снарядов не было прямого воздушного коридора.

Бабочка родилась без крыльев. Бабочка родилась мёртвой. Бабочка не родилась. Фридрих Дайтхе пасёт коров в Караганде. Он родился.

Ранним утром Фридрих вдруг просыпается с резкой ненавистью к Сталину. Его психическое устройство как пружина. Когда напрягается, угнетается воздух вокруг него, он терпит. Конфликт зреет в подсознании, растёт, его лавовое озеро – огромная плавильная лодочка. Попробуй выжить в ней, щенок, не поднимай горящей головы, не смей, спрячь голову в колени, забудь немецкий язык, Фридрих, забудь русский язык, Фёдор, выучи чужое имя. Марийка каждый день учит его языку поволжских немцев, уж больно забавен для неё его украинский немецкий. Исправляет его, смеётся. Фридрих уже говорит вполне сносно, как её поволжские земляки.

***

1941. 1766. 1942. 1980.
Домна войны кипит.
Карлы очень боятся солнца.

В воздухе растёт колокольня из звуков молитвы. «Jesu, geh voran...»[3]. Баржа чудовищно переполнена, смрад, холод, голодные, напуганные женщины пытаются успокоить голодных, напуганных

[3] Иисусе, иди вперёд *(пер. с нем.)*

детей. Мужчины, понурив головы, стальным голосом постоянно держат напев: «Jesu, geh voran...». Охранники молчат, не смеют перебить пение. Серебряные слова падают за борт, и ледяного моря становится меньше. Лиричный солист сжимается в кулак, немецкий язык тает у него во рту. Мужской голос возводит купол, доходит до языка колокола, любуется и устраняется, а песня висит в воздухе.

Во рту тепло, Бог кладёт туда свои пальцы, с них капает мёд. Иисус, иди вперёд. Неси нас на своей ладони на родину. Сделай нас крепче, чтобы в самые тяжёлые дни никогда не жаловаться на ношу.

Полуторагодовалая малышка на руках у Эльзы заходится в крике, у неё жар. Молодая мать громко рыдает. Муж её подходит к ней, берёт ребёнка на руки: «Else, entehr uns nich, wein nich, sei stark, tu sing, liewer sing mit uns»[1]. Возле Эльзы прялка, кто-то добрый посоветовал ей взять её с собой – вдруг в чужих краях прокормит.

Все времена вцепились друг в друга. Братья Христиан Август и Люка в 1766 году обнимаются, наконец соединившись в Гларусе; отец их Каспар молится в екатериненштадтском храме. У бабушки Розы под ларём с мукой Библия; она прячет паспорт со своей немецкой фамилией Дайтхе. Вечный 1941: огненный таран на механизированную колонну врага, весь экипаж Николая Гастелло остаётся в небе. В карагандинской степи отставшие от эшелона дуют на умирающие пальцы.

Где-то под чужой землёй спят цверги, их дыхание еле слышно. Домна войны кипит. Карлы очень боятся солнца. Марийка не выше их ростом. Они звуки из детства. Бабушкин голос – теперь такая же реальность, как бороды гномов. Гларус – смеющееся селение. Караганда пахнет смертью. Марийка уже понимает, что Караганда любит её, но ответить любовью девочка ещё не умеет. Слишком многое нужно принять в этом странноприимном месте, чтобы полюбить его.

Марийке в школе иногда дают старую газету, одну на весь класс, и можно писать карандашом между строчек. Но это бывает редко. Дома девочка учится писать на запотевших стёклах. Бумаги и чернил нет. В домиках из дёрна, в которых живут немцы, оконных стёкол нет. И даже нет окон. В доме Лидии целых два окна. Весной и осенью на них, запотевших, можно писать. А зимой царапать по изморози.

Соседская девочка Сауле приносит в школу лепёшки и курт. Голодная, Марийка хочет оставить кусочек Лидии, но, увы, и он быстро исчезает во рту.

И Савельевы – хорошие соседи. У их шестилетней Моти есть калоши. Марийка и Мотя бегут к школе: под ногами хлюпает мартовская грязь, улица насквозь промокла. Сто шагов Мотя бежит в своих калошах на босу ногу, потом разувается, отдаёт калоши Марийке и босиком бежит рядом. Замёрзшие, грязные ножки девочек в безропотных калошах.

Пальчики Марийки немеют от холода стекла. Стираешь написанное слово и ждёшь, когда стекло опять запотеет. Русские буквы горделивые и надёжные. Они ставят руки в боки, над ними крыша. Девочка помнит, как выглядят немецкие буквы, они для неё милее и привычнее, но писать их сейчас нельзя.

Марийка может записать уже много русских слов. Она чертит пальчиком: карагандинка. Но стирает это слово. Оно глупая игрушка, шелуха. Девочка слышала его от Мотиной мамы: странное слово режет слух и язык. Марийке кажется, что оно не стирается со стекла. Кто-то невидимый пишет его на другой стороне стекла. Девочка злится, долго трёт пальчиками скользкую, упрямую поверхность. Она ощупывает себя руками, озирается по сторонам. Нет, она не в Гларусе, она в Караганде.

Муж Эльзы поёт, Иисус держит руку на его горячем лбу. Охранник требует опустить ребёнка в воду. Эльза упорствует – нет, нет, ни за что! – и мёртвой хваткой держит в руках умершую девочку.

***

2013. 1766.
Люка, как и другие, – беглец.
Человек с капельками пота на лбу.

Девочка Марийка – семечко. Его обронили в землю двести пятьдесят лет назад, во времена Екатерины, но проросло оно недавно.

[1] Эльза, не позорь нас, не плачь, будь сильной, ты пой, лучше пой с нами *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

Предкам Марийки было нелегко. С эмигрантами не церемонятся. На них кричат, их толкают. Их притесняют уже на германской земле. Спина эмигранта покрыта струпьями косых взглядов. Для переселения не создано нормальных условий. Ничего не организовано. Люди нередко сами идут в порт Любек и записываются в колонисты.

В портовом столпотворении встревоженный Люка постоянно окликает своих жену и детей по именам: «Hanna! Paul! Maria! Klara! Mir fahre nach Russland, isch pin drbei»[2]. Он боится, что близкие растворятся в толпе. Дети задирают головы к отцу. Растерянная Ханна покорно смотрит на мужа, она толком не знает, что делать. Несколько недель назад отсюда отбыл Христиан Август с семьёй, старший брат Люки, он забрал с собой старого отца.

В России с переселенцами тоже небрежны и недружелюбны. Они как пересаженные колосья, а новая земля ждёт зерна, а не колоса. Зёрнам, рождённым от этих колосьев, будет легче? Время пророчески смеётся, ему вторят земляные черви духов. Императрица пригласила в Россию иностранцев, и в первую очередь своих соплеменников – ответственных, трудолюбивых, аккуратных. Но не лично же она принимает каждого из них! Только единицы из переселенцев увидели её лично.

Люка, как и другие, – беглец. Через полтора месяца он станет человеком с капельками пота на лбу.

Хороший кусок российской земли получит имя Биберштайн. Затем превратится в Гларус[3]. К тому времени немцы уже станут российскими немцами.

Когда в будущий Гларус приехали первые жители – двадцать пять семей из Дессау, Вюртемберга и Дармштадта, здесь была лишь невспаханная земля. Она томилась в желании рожать, но боялась иноземных рук и непривычного острия плуга. Немцы добрались сюда на пределе сил, изнемождёнными, трое переселенцев в дороге умерли. Среди них – старший сын Люки, пятилетний Пауль. Беловолосый мальчик с большими веками ангела.

Из Ораниенбаума через Москву Люка идёт за обозом в Поволжье. Пауль заболел уже на подходе к Гларусу – поднялась температура, открылась рвота. Ангел лежит на обозе, Люка держит сына за руку, поёт ему песни и упорно идёт рядом. В какой-то момент он чувствует – рука ребёнка неживая. Он трясёт мальчика за плечи, голова Пауля запрокидывается назад. Обоз приближается к конечной точке. С такой утратой невозможно смириться. Переехать в Россию, потеряв ребёнка. Люка плачет, отворачиваясь от жены и двух дочек, немо выкрикивает в небо проклятья.

Пауль не выдержал изнуряющей дороги. Десять дней на судне. Подводой в Ораниенбаум. Потом в Поволжье: Петергоф – Новгород – Тверь – Москва – Рязань – Пенза – Петровск – Саратов.

Человек с капельками пота на лбу робко осматривается, трёт русскую землю между пальцами, просыпая её, рассматривая на свет. Люка хоронит своего ребёнка. Маленькое тело ложится в землю в грубом занозистом гробу. Веки синие, под глазами тёмные болотца слёз.

Земля, принявшая в себя Пауля, не хочет быть родной. Она сопротивляется, а человек её желает. Он дарит ей свои руки и умения. Человек с капельками пота на лбу. Люка Зигфрид.

***

1941.
Удар под дых изнутри его существа.
В Караганде Фридрих молчит.

Пройти огонь, воду и трубы легче, чем вертикальный самолёт Фридриха. Он не взвешивает доброту, не отмеривает её. Когда ему приятен человек – будь то женщина или мужчина, Фридрих трогательно возвеличивает его, задаривает душевными и материальными подарками, старается всегда поддержать, быть готовым помочь. При этом сам он умаляется. По опыту Фридрих уже знает, что даже хороший человек через малое время становится истеричным пассажиром такого вертикального самолёта. Ведь он ещё не заслужил хорошего отношения, а уже удобно сидит на небесной высоте и золотая рыбка у него на посылках. Люди не благодарят, гневаются, хлопают дверьми. Упрекают,

[2] Ханна! Пауль! Мария! Клара! Мы едем в Россию, я рядом. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[3] В разное время у колонии были разные названия: Гларус, Биберштайн, Сердинский, Георгиевское, Георгиевка.

звонко кричат, порой визжат. Наконец Фридрих затыкает уши и уходит. А обласканные люди возвращаются. За ним по пятам ходит уже несколько десятков «обделённых», упавших с вертикального самолёта. Даже в Караганде, в ссылке, он уже нашёл нескольких «благодарных».

Может, необходимость разреживать слова и эмоции в плотности грубого времени – теперь его – мужской! – путь, рутинный, дремотный путь вышивальщицы? Путь открытой души, чья пища – только аскеза и ощущение удара под дых. Человек раскрывается и ждёт немного ровного тепла, спокойного насыщения световой энергетикой. А ему, не понаслышке знающему боль, предлагают быть холодным, немым, видящим только себя.

Падающий самолёт похож и не похож на падающий с дерева лист: сначала машина воспроизводит движения листа, но затем разваливается на куски, в то время как лист целиком прижимается к земле. Фридриху часто снится дрожь самолёта. Она – срыв потока с крыла – сигнал тревоги: самолёт вот-вот упадёт.

Его арестовали ночью, пригнули к земле, почти не дав одеться, и, голого по пояс, повели к машине. Он пытался выпрямиться, его ударили по голове. Фридрих увидел в этот момент, как в прозрачную кабину его боевого самолёта врезаются шаровые молнии, растекаясь причудливыми деревцами. Так и метафоры порой болезненно прорастали в его творческой глубине, одеваясь в слова, только удар под дых тогда был изнутри его существа, а не снаружи.

В Караганде Фридрих потерял речь. Писателю, чтобы сказать, что он больше не будет писать, нужно начать писать. Иначе вырастет дело – отсечь пальцы, сжечь рукописи, сойти с ума. Просто перестать писать и начать жить – не получится. Плати увечьем, уродством, немощью. Плати за золотую пыльцу с крыльев бабочки на твоих пальцах, за блаженное ощупывание языком немоты в собственном рту, за зацелованный воздух. Крошечная взлётная полоса набегает на пилота, расширяется, не он, а она приближается к нему, он центр... Так же набегает и облако, когда, встав в вираж, пилот обходит его, не покидая отведённую для пилотажа зону.

Оптика людей настолько искажена, что они видят вместо цветка каменный звериный оскал. Сталин показал это в лилипутской мистерии великанов. Фридрих видел небо и знает точки на земле, откуда можно его увидеть.

А дымы из труб, когда ветер, – для лётчика горизонтальные прямые линии.

***

1930.
Ты исчезнешь, Белополье, и карта протрётся в твоей точке.
Господь мой, маленький мой Господь.

Село Лилиенфельд прячется в овраге, оно ребёнок, заснувший посреди острого жнивья, словно на пуховом одеяле. Дитя сморилось, нежные веки тяжелы. Детская сетчатка целует небосвод, цветы, грибницы у толстых корней. Ты исчезнешь, Белополье, и карта протрётся в твоей точке; у тебя несколько имён – Лилиенфельд, Lilienfeld, Белополье, но они не удержат тебя на бумаге земли. Как ты всегда пригоже, медоносное село, как греешь темечко о нежный бок солнца, как щедро льёшь молоко на свои плечи!

Лидия почти не помнит дня выселения из родного села. Память скукожилась. Вот её бабушка Ирма, укрытая плотным серым платком, лежит на лавке в сиротеющем доме. Старая женщина очень боится дороги. Уже задолго до того, как поползли слухи, что могут выселить, Ирма почти перестаёт спать и есть. Её мутит от запаха еды, она худеет, глаза проваливаются. Ночью, уйдя в недолгий сон, бабушка вдруг быстро просыпается, вздрагивает всем телом и громко дышит от страха. Несколько секунд Ирма бездумно всматривается в черноту окна, затем садится на лавку и тихонько воет, обхватив себя руками, пытаясь убаюкать...

Утро плачет. В проснувшемся доме розовеет. Убрав волосы под платок, Лидия открывает окно. Слышно, как отец и мама возятся на хозяйственном дворе, громко переговариваются. На печке варится тыквенная каша, на столе лежит нарезанный к обеду хлеб. Каша – маленькое оранжевое солнце в круглом казанке. На кухоньку проходит красный офицер, снимает свою фуражку, мнёт её в руках. Он деликатен, но исхудавшая бабушка в панике бросается к столу, кидая куски хлеба в свой

фартук, кричит, всплёскивает руками, хлеб падает, бабушка опускается на колени, собирая его. Изнеможённая, она валится на пол, кричит. Её никто не поднимает.

– Есть тут не глухие? По-русски-то говорите? – уже злится офицер. – Я соберу вас в дорогу, скажу, какие вещи взять, какие бросить.

Бабушка не понимает по-русски. Входят мама и отец, у мамы лицо в слезах, отец смотрит в землю.

– Режьте кабанчика, уток, возьмёте с собой немного мяса, – приказывает офицер. Ему неловко не от ужаса происходящего, а от собственной доброты.

– Утки уплыли на середину реки, товарищ майор, – отвечает отец на искусственном русском, с трудом подбирая слова.

Лидия испуганно смотрит на бабушку, а сама держит руки на животе, вслух разговаривая с ребёнком внутри неё. Виктор сидит на лавке, безвольно опустив сильные, красивые руки. Жена ему неприятна, она напоминает толстую, даже жирную пчелу, с утра до вечера носящую своё благородное тело по делам, по делам... А отец её – пасечника, хитрого пасечника, любящего церковные книги.

Er liebte Bücher, Bienen und Gesang...[1]

«Господь мой, маленький мой Господь, как я мог жениться на этой кулачке, вот, дурак, додумался до этого», – в отчаянии сжимает кулаки Виктор. Бабушка вдруг успокаивается, поднимается на ноги, кладёт в рот кусочек хлеба и медленно жуёт. Младенец, почти оформившийся младенец с алыми пяточками и слабой шеей трогается в сторону своей родины. Три ветряка с грохотом падают оземь, кланяясь осиротевшему лоскуту земли. И только лютеранская церковь стоит невидима, как и прежде.

Лидия кружит вокруг дома и вдруг замечает, что бабушка бросает в колодец платки и полотенца, ножи и сковородки. У колодца горка утвари. Глиняные горшки раскалываются, падая под ноги Ирме.

***

1769.
Иисусе, ты присылал нам лодки цвета воды.
Ты родился, младенец?

Журавль колодца волнуется. Что с ним? Люке снится пожар за окном. Спящий, в тугих пелёнках забытья, он рад, что это лишь сон. Но вот уши проснувшегося Люки резко прислушиваются к ночи на улице, дышит его нос. Огонь громок, едок дым. Взгляд в окно – дом Христиана Августа горит!

Вся деревня здесь. Дом горит, похожий на болезненный алый шрам. Злое солнце рвётся изнутри жилища.

– Christian August! Bruhder, mei Bruhder! – зычно кричит Люка. – Allmächtliche, Antwort, wo pist Tu?[2]

Соседи носят вёдрами воду, они здесь уже, видно, давно. Как же Люка так преступно заспался! Ему плохо, ему мерещится, что возвращается Пауль, даже во рту жарко от горя – к брату пришла беда – и радости – обнять сына. Но откуда взяться Паулю? Могилка его на самой окраине Гларуса, мальчику не выбраться из не ставшей родной земли. Крохотный племянник Люки, двухмесячный Каспар с родинкой на лбу лежит в зыбке в саду – родители успели его вынести из дома, а сами вернулись спасать утварь. Люка громко зовёт свою жену Ханну, та, вскрикнув от страха, а потом замурлыкав над ребёнком, уносит его, спящего, к ним домой.

Амбар и сарай пристроены к дому, весь длинный дом горит. Надо выгнать скотину, как можно скорее открыть двери в сарае. Но мысль о брате гонит Люку в дом. Чует сердце, что Христиан Август там. Ох, новенький дом из пяти стен, рублен в угол, пять окон, пять ослепших от красного цвета окон и деревянные гвозди – вы все застряли в глотке Христиана Августа, немая домна его глотки раскалена, лодка, лодка цвета огня. А помнишь, Иисусе, ты присылал нам лодки цвета воды, и в них, невидимых, сидели младенцы, и лежала снедь, и наши руки там были, упрямые руки колонистов, и в каждой из них покоилась горсть жирной русской земли. Русские умельцы строили нам дома, крыли

[1] Использована строка из стихотворения Герберта Генке «Mein Vater» («Мой отец»): «Он любил книги, пчёл и песнопения…» *(пер. с нем.)*

[2] Христиан Август! Брат, мой брат! Господи, ответь, где ты? *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

их лубом, камышом и соломой, а мы сразу выпиливали слуховое окошко, заботились о лестнице на крышу, ставили затворы на двери. И печи, жаркие печи клали только наши мастера.

Ржаная солома тугими снопами устилала крышу, она и разгорелась до небес. С огромным стучащим сердцем в груди Люка бросается в горящий дом, слышит голос брата в круглом погребе, ошалело зовёт его на улицу. Но Христиан Август и его жена Эфа оглохли. Главное их сокровище наскоро прощается с ними, и только его голос они слышат сейчас. Дом уже садится на корточки, кричит криком. Как не слышать его? Люка хватает брата за плечи и пытается его вытащить из погреба. Христиан Август не сопротивляется – да и погреб уже неглубок, набит спасёнными вещами. Усадив брата на скамью в кухне, Люка бросается в спальню – там суетится Эфа, складывая в мешки одежду, постель, её глаза безумны. Начинают рушиться балки. С обгоревшими волосами Люка выбегает из дома и ложится на землю, воя от беспомощности и страха. Горе потерять сына, горе потерять брата, кто, кто следующий из его семьи ляжет в прожорливый Гларус?

Картинка дома Христиана Августа на мгновение вспыхивает в памяти Люки – синей масляной краской покрашен фасад, резные цветы на калитке – и скукоживается, умаляется, исчезает. Рига и сушилка у рухнувшего дома из пепла. Не дыши, ветер, давай помолимся большой печи на заднем дворе, корм для свиней на ней обуглился, а сами свиньи так и не вышли из дверей, в которых две половинки, верхняя и нижняя, ни скотине не выйти, ни домашней птице не попасть внутрь. Крепкие, крепкие двери из пепла.

А в доме Люки улыбается младенец Каспар, испуганные Ханна и девочки целуют ему пяточки. «Mamaje, er is den Paul soh hnlich, des is soh?»[1] – у девочек горят глаза, в них отразился дом в пожаре, дом-покойник, убийца. Ты родился, младенец? Ещё нет, что вы, ещё много добрых рук протянуто ко мне. Я появлюсь на свет, когда буду совершенно один.

***

1769.
Она как невеста ждала на ложе Люку.
Ты больно взял меня за ключицу и сказал: не смей.

Самое светлое окно открыто! Младенец Каспар лежит рядом с трёхмесячной дочкой Люки и Ханны. У ног их бегает другая дочка, полуторагодовалая Эфа. Они обе родились после Пауля, чтобы залатать дыру от него, но так не бывает. Люка радовался, что вслед за их Урсулой у брата родился долгожданный первенец – Зигфриды врастали в Гларус. Росло дерево, пели его пальцы. Каспар был очень похож на Пауля.

Ханна не надышится на мальчика. Сын! Сыночек! Мать троих детей, она как невеста ждала на ложе Люку, целовала ему руки, гладила его длинные белокурые волосы, собранные в хвост, литые аккуратные плечи. Конечно, она хотела не дочку, а именно сына, и даже имя ему приготовила – Пауль. Страшная участь ждала бы это дитя – жить чужой жизнью. Не дал Господь ему родиться. Когда к её измученным глазам поднесли новорождённую девочку, она с укоризной посмотрела на мужа. Тот сидел вдалеке, больше чем Ханна уставший от её непростых родов. Через год с небольшим снова родилась дочь.

А тут мальчишка с другим именем, племянник мужа, сиротка. Сын. Это нежданное материнство придало ей силы. «Awer nich tu hast ihn gebääre, Hanna»[2], – изумляются соседки. «Doch, isch»[3].

Люка тоже рад. И тому, что Ханна так приняла сына его погибшего брата, и тому, что в доме теперь есть сын. Ханна хорошеет. Помнишь, Люка, мы ходили после свадьбы к посажённой матери, и она накормила нас Glückssuppe[4]. Ты набирал в ложку картошку и морковку из своей тарелки и клал мне в рот. Молодые, мы хохотали до упаду – кто, кто из нас будет счастливее другого? Кто съест больше счастья? Не в ту ли ночь мы зачали с тобой Пауля? Когда он ушёл, я билась головой о стену и кричала, что всегда была доброй прихожанкой, а Господь так жесток ко мне! Ты больно взял

[1] Мамочка, как он похож на Пауля, правда? *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[2] Не ты же его рожала, Ханна. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[3] Его рожала я. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[4] «Счастливый суп» *(пер. с нем.)*

меня за ключицу и сказал: не смей. Я запрещаю тебе, женщина. Послушай меня. Люди, которые ждут благодарности за свои добрые поступки, хитры и эгоистичны. Я сторонюсь их. Будьте человечны, отзывчивы, и тогда будете порой по-настоящему счастливы. Ты ждёшь благодарности Божьей? Он должен быть тебе благодарен за то, что позволил обратиться к Нему с молитвой? За то, что даровал тебе жизнь? Ещё за что Он обязан благодарить тебя? Опомнись. Я и сам грешен, кричал на Небо. Ханна, жена моя, ты человек сочувствующий и человек дарующий, ты поддерживала меня в самых трудных ситуациях, но если ты будешь роптать на Бога, я уйду. Ты занята в поле, на гумне, за ткацким станком, прялкой, у колыбели, у печи, иди и выполняй работу молитвы, трудолюбивая пчела. Не будет нам с тобой оправдания в обвинении Господа.

Как и нет никому оправдания в не-участии. Его просто нет. Увидел горе – помоги. Ты не живёшь в минуты не-сострадания, если проходишь мимо страждущего. Перестаёшь быть человеком.

Каспар сияет. Довольный, он сосёт левую грудь Ханны, а Урсула правую. Столько солнца льётся в окно! Люка строит новый дом на месте сгоревшего дома брата. Тяжесть его сердечной мышцы после гибели брата никогда не обретёт былую лёгкость, но маленький Каспар бережно держит отцовское сердце, любуясь им, пряча в своей колыбели.

***

1914.
Бросьте мне с неба лодку, пусть она вывернется наизнанку в воздухе и упадёт на днище! Пусть упадёт на живот! Как кусок почвы, ангел встаёт и уходит в проём неба.

Если с одного берега реки окликнуть своего родственника на другом берегу, он ответит из окон храма, колокола которого на речном дне беззвучно плачут в разлуке со слышащим.

То Волга. А Кривой Торец шумит, неширокий: он то каменный, то неторопливый. Горюет раскалённое дно, уснули берега.

Украина – жирная земля. Она умеет рожать красивых людей.

Как куколка на указательном пальце, Роза бойкая и заметная. Небольшого роста, круглолицая, в толстую косу заплетены длинные чёрные волосы. Именно ей, любопытной, достаётся плёткой от батьки Махно, проскакавшего по улице и от нечего делать стеганувшего попавшуюся под руку девчонку. Удар его плётки ещё тает в воздухе, плечо горит, а Роза, стиснув зубы, бежит вслед за всадником, словно прося ещё под раздачу. Но он уже исчез. Воздух, тень окрика, угасший свист плётки. Каменные перекаты.

В белой муке, труженик, мускулистый ангел сидит у оврага, его длинные, бесконечные руки раскинуты по земле, глаза смотрят вовнутрь. Рушится хрусталь; сколоты, звенят дни. Всюду взвесь, бред. Больно спелёнутый младенец заходится в крике. Люди! Бросьте мне с неба лодку, пусть она вывернется наизнанку в воздухе и упадёт на днище! Пусть упадёт на живот! Знает ли ангел эту глубокую точку в ритме, эту вмятину на собственной переносице, прыжок в рыхлую землю? На его лице семь печатей. Ему ли зализывать раны детям, развешивать грубые холстины и пелёнки на непросохшем небе, вить свитки? Ему.

Роза сама ещё дитя, но её отдали в няньки к новорождённому. С той поры её образование и остановилось на четырёх классах и одном коридоре. Пока ребёнок днём спит, Розу иногда отпускают на часок, и она убегает в школу. Девочка слушает у дверей спокойную речь учителя, но понимает с каждым разом всё меньше и меньше. И русский для неё не родной (в семье-то говорят по-немецки), и урывки знаний дарят лишь зуд, толчки.

Макеевка – настолько живой, неравнодушный городок, что власти боятся – все рабочие, как стаи мух, слетятся к красным. Местный отряд рудничных рабочих хорошо известен в самом Киеве. Ах, Роза, Роза, цветные лоскутки в волосах, маленькие руки. Живущий на небе растёт из-под земли, дым уходит в синь. Как кусок почвы, ангел встаёт и уходит в проём неба, корни свисают с его локтей, корчатся разбуженные им духи земли. Фридрих узнает вкус неба. Поверни голову, лётчик, увидишь, как шествует сильное существо. Хватаясь за волосы, ангел размыкается, и тысячи гонимых проходят в его глотку, создавая столпотворение, пробуя стены на вкус. Руки матери и младенец пока разлучены.

Учитель открывает дверь. «На!» – говорит он с грустью. Книга! Девочка прячет её за пазуху и жадно глядит в большие глаза учителя, словно собачка, которая побыстрее зарывает в землю подачку в ожидании новой. Дверь закрывается.

Волнуется Розина кровь с молоком; просится к оврагу, хочет сразиться с ангелом, прижимаясь к нёбу. Роза бежит со всех ног, но ангел уже снялся с места. Девочка копает землю, глядя в небо. У матери и отца их семеро. Семеро ртов, четырнадцать языков. Старшие дети хорошо говорят на русском, и Роза говорит бегло, но с сильным немецким акцентом. Она сбережёт его до конца своих дней.

***

1979.
Отец возится с землёй.
На столе готовый штрудель в глубоком синем блюде, пар над ним.

Дом на самой окраине Транспортного цеха, на двух хозяев: у Зигфридов синие ставни, у Бекеновых зелёные. На следующий год наоборот, хотя красят, не сговариваясь.

Бабушка замешивает тесто. У Ани и Йоханны слюнки текут! Баба Роза называет это блюдо штрудель, но соседка, старенькая тётя Паулина, поправляет её – викелсклейс, Роза, или на кислом-то тесте хейфеклейс, а штрудель, Роза, сладкий! Бабушка сердится – с ума ты выжила, Паулина, это штрудель! И вообще – говори по-русски, здесь мои внучки, в советской стране живём. Мягкое тесто раскатывается на тонкие большие блины, они целиком смазываются подсолнечным маслом и сворачиваются в длинные рулеты. Кусочки этого рулета Роза кладёт на кубики картошки – она уже тушится в большом казанке. В тающем сливочном масле растёт тесто под закрытой крышкой. «Дальше Караганды не сошлют», – бормочет Роза, закидывая кухонное полотенце на плечо. Радио тихонько рассказывает «Судьбу человека», актёр читает с надрывом, полушёпотом, слышно каждое слово.

Дядя Эдик и его старший сын Костя балагурят, а баба Роза на них не надышится. Сын и внук приехали её навестить.

– Ань, ты где? – кричит Костя. – Кого ты любишь больше – бабу Розу или бабу Марийку?

Анютка вбегает на кухню и с ходу:

– Конечно, бабу Розу, у неё штрудли без капусты и мяса!

– А ты, Иванка? – ведь близняшка Ани уже тут как тут.

– Я больше люблю бабу Марийку, папа похож на неё, и я тоже. Мы немцы.

– И баба Роза – немка!

Йоханна смущённо опускает ресницы, смотрит в пол. Черноволосая красавица Роза подходит к ней, гладит внучку по золотой, цвета луковицы голове.

Мама режет лук. А пальцы её в синих полосках краски (недавно красила ставни), и Анины щёки тоже. Одна из яблонь, перегнувшись через забор, плодоносит в огород к Бекеновым, яблоки её нежны. Выйдешь из дома, впереди барак с огромным тополем, а за ним терриконы двенадцатой шахты, виадук, по нему идут машины и редкие автобусы в Старый город. До школы минут десять просёлочной дорогой вглубь посёлка. А у бабы Марийки крайний дом в другом конце Транспортного цеха, до него полчаса: внутри там такой порядок и стерильная чистота, что хочется разуться, особенно если ты босиком.

А если сесть на автобус, то доедешь до автостанции, а оттуда в Темиртау, в Немецкий драматический театр. Отец трижды возил девчонок только на «Кота в сапогах». «Rihre ti Nauschniki nich an! Heer, heer tei Muttersprahch!»[1], – забирал он у них наушники, из которых лился русский перевод.

***

1979.
Отец как маленькая, мускулистая пчела.
Он не знает ни обиды, ни боли.

Шестилетняя Аня всюду ходит по пятам за отцом, а это не так и просто. Отец как маленькая, мускулистая пчела. Он всегда что-то строит – летнюю кухню, сарай, или ремонтирует дом и хозяй-

[1] Не трогай наушники! Слушай, слушай родной язык! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

ственные постройки, или возится с землёй. «Скрепер!» – кричит глазастый отец, завидев машину ещё на трассе, и бежит к калитке в кирзовых сапогах встречать землю. Скрепер привозит отцу всё новые срезы земли, Аня уже привыкла к железному чудищу и к его необычному имени. Машина пышет железным жаром и словно ест сама себя. Огромный жёлто-чёрный кузнечик, сколько локтей и колен!

Щедрый скрепер сыплет землю у ворот. Отец настилает широкие доски через двор и по ним на самодельной тачке возит в огород навоз. Земляное тело возле дома рождает и рождает, отец повитуха. Рядом с домом снесли больничный корпус, отец всё заглядывал за забор, мерил землю взглядом мечтательного колониста и, наконец убедившись, что пустырь застраивать не будут, начал переносить забор. Огород увеличился втрое. Теперь у самой калитки – грядки клубники, чуть дальше растут огурцы, сладкий перец, редиска, чеснок, возле вагонетки – помидоры, помидоры, помидоры, а на новой, «отвоёванной» у бывшей больницы территории, за старой межой – широкая плантация с картофелем. Между грядками трава и укроп, прополка на Ане и Йоханне. Всюду бочки с водой для полива, одну из них отец раздобыл на лесном складе, уронил её там на ногу, но вёз домой на тачке и бочку, и Аню, а девочка всё спрыгивала, забегала вперёд, задирая к нему лицо, просила: «Пап, а давай я повезу тачку, у тебя же нога...». В жаркие дни Аня и Йоханна залезают в тёплую, чуть илистую и ржавую воду в бочках на разных концах огорода и перекликаются между собой.

Отец никогда ни на что не жалуется. Он не знает ни обиды, ни боли.

Лес прижался к реке. Здесь дети и взрослые. Больно ступать по осенним листьям, будто идёшь по пальцам. Бог поджимает пальцы ног внутри сухих глиняных башмаков, но жёсткая глина ползёт за его движением, съедая воздух, пробуя всё на пути на вкус. В доме своего языка хорошо! Бродит в сибирских цветах по пояс девочка Оля Мартенс, невестятся на советской немецкой алтайской земле девушки Нина Лютцов и Лиза Граф. Баба Марийка и баба Роза говорят между собой на диалекте поволжских и украинских немцев, не понимают друг друга, злятся и переходят на ломаный русский.

Аня садится близко-близко к бабушке Розе и смотрит ей прямо в лицо, на скобку её всегда опечаленного рта (губ почти нет, они словно высохли), ждёт пауз между предложениями или словами. Когда бабушка замолкает, тишина становится сладкой, зрелой, наливающейся новизной. Девочка запомнит именно паузы. В них, как в круглых зародышах зверей, свернулись сказки и мифы о Гражданской войне. Поднимая руки вверх, девочка встаёт, делает шажок и словно наступает на траву лебеду: бабушка варила из неё суп в гражданскую войну, трава выросла большая-пребольшая. Зажмуриваясь, девочка идёт вперёд и... оказывается в чаще из рослых растений. Испугавшись, Аня смотрит вверх, на их макушки. Лебеда или деревья? Руки из манны опускаются на голову девочки.

На столе готовый штрудель в глубоком синем блюде, пар над ним. Картошечка в сливочном масле на дне, пышное дышащее тесто. Мама, побольше клади мне, полную тарелку с горкой, и дай мне большую ложку!

***

2017. 1942.
Она узнает эту мелодию всюду, тонкую нитку рая, ложе семечка в созревшей ягоде.
Трир, рождённый во время восхода солнца, ты всегда утро.

В детстве он рос рядом с прабабушкой, а она жила ещё при лучине, и иногда Кирилл всерьёз говорит «вздуй свет», «я жадую тебя для других». Русский мужчина. Русский язык. Русская земля. Хозяин земли русской.

– Я сильно скучаю, – пишет Аня.

– Я сильнее, – отвечает Кирилл.

Только он может так поддержать.

Для его сообщений у Ани в телефоне особая мелодия, долгая, одна тема повторяется трижды. Когда раздаётся этот звоночек, а раздаётся он, к счастью, часто, Аня сначала прикладывает телефон к уху, тихонько садится и слушает, как всё поёт внутри. Она узнает эту мелодию всюду, тонкую нитку рая, ложе семечка в созревшей ягоде.

Сегодня Аня не рассчитывает времени и прибегает на встречу чуть раньше. Кирилл должен появиться через пару минут, и Аня, предвкушая, поворачивается лицом к колонне в метро, чтобы заглянуть в мобильный и ещё раз посмотреть сообщения от него. И тут её словно горячей волной сносит с места, это он с разбегу обнимает её и, сильный, крепкий, ведёт за собой. Забыть такое невозможно. Его нежная власть – как отдельная личность, её пальцы уже убирают прядь Аниных волос за ухо, губы подтрунивают над её смешным капюшоном, глаза щурятся прямо в Анино лицо.

Аня почти не ест при Кирилле. А он готовится ко встречам. Пробует накормить её пловом, тыквенной кашей, шарлоткой, кексом, мёдом, яблоками, мандаринами, не зная, как угостить, накормить её. Обеспокоенно вопрошая взглядом, спрашивает, почему она не ест. В его руках ей хорошо. Аня ничуть не устала, но взволнованно дышит, закрывает руками грудь, длинные волосы падают ей на лицо. Он не знает, как успокоить её, ласково смотрит на неё и говорит: «Ты сейчас похожа на мою маленькую нежную дочку. Просто обними меня».

В другой стране Красный дом прячет свой рукав. Ante Romam Treveris stetit annis mille Trecentis. До Рима стоял Трир тысячу и триста лет. По этой метафоре, не у Трира римский фундамент, а у Рима – трирский. Нет, Roma secunda, это не так. Как бы не был древен твой виноград и старо твоё вино, Трир, рождённый во время восхода солнца, ты всегда утро. Твой амфитеатр растёт вглубь. Германия вросла в Казахстан. Фридрих бродит по Караганде, зная, что потерял Лидию. «Истинная радость, – пишет он, – исходит только от внутреннего блаженства. Оно питается собственными ключами. Но надо ли бежать внешнего, чтобы открыть в себе источники внутренней радости? Подлинные произведения приносят наслаждение, но оно принадлежит не созерцающему, ибо и стихи, и музыка, и картины – лишь внешние контуры внутреннего удовольствия, прозрачные его стены. Стихи и лица одновременно принадлежат и не принадлежат радости. Если у дома невидимые стены, то принадлежат ли они ему? Есть выразительные лица, они прошли виток спирали. Эпос – лирика – драма. Их кристаллизация завершена и гармония аксиоматична. Видящий их становится соавтором нанесения на них природой последнего мазка. И удовольствие созерцателя здесь по силе сродни удовольствию автора, осознавшего, что завершил шедевр. Такова ликующая кода красоты. То, к чему природа долго шла как мастер, тоже вызывает ощущение последнего штриха совершенства. Будь то чувства друзей или любящих, юмор или сопереживание.

Есть внешнее – внешнее, а есть внешнее – часть внутреннего, его невидимые грани. Такого внешнего не стоит бежать. Оно лишь внешние контуры внутреннего».

Кирилл лежит в постели и смотрит в ночь, улыбаясь. Он пишет Ане сообщение, её телефон ловит его. Изумлённый, Кирилл прислушивается к мелодии. И вдруг понимает – она забыла у него свой мобильный. «Волшебная мелодия, – радуется Кирилл даже этой мелочи. – А ведь порой симпатия к человеку чуть-чуть уменьшается, как услышишь звук его телефона».

***

1766.
Ярится Гороховый Медведь.
Лицо Люки лежит на земле.

Наконец-то настали ночи стука и хлопанья. В окна сыплется фасоль и горох, ярится Гороховый Медведь. Knöpflingsnächte[1], ваши руки черны, хлеб в них бел. Этот хлеб похож на снег. Нежные пальцы Люки берут в руки прут и жёстко хлопают им по русскому льду. Яблоки, орехи, пироги, как облака, лежат на небе. Косматая чёрная Перхта[2] бросает в лицо Люке горсти белой муки из глиняного горшка. Он хватает женщину за плечи, пристально глядит ей в лицо, истошно кричит. Сзади к нему подходит Мария в синем плаще, с золотой короной на белокурой голове. Он резко оборачивается, отбрасывая от себя Перхту. «Wolltest tu mich schlanche, Maria?»[3] – спрашивает он. – «Nej»[4], – отве-

[1] Ночи стука, хлопанья *(нем.)*

[2] Рождественский персонаж у немцев, старуха, одетая в чёрное, с горшком муки.

[3] Ты хотела ударить меня, Мария? *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[4] Нет. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

чает Дева. – «Worom pist tu tautlous rantreete?»[5] – не унимается Люка. «Isch pin barfuhs kekomme»[6]. Он смотрит на её ноги, босые ступни её стоят прямо на снегу. «Fercht dich nich, Lüka, tes is keh Schneh, tes is s Weisbrout»[7]. Мужчину бьёт дрожь, он обнимает Марию и падает к её ногам, обдирая её тело руками, как ствол дерева. Этот хлеб на вкус действительно похож на хлеб.

Люка – изгой среди колонистов, белая ворона. Он мечтатель. Он блаженный. Потеряв дитя, Люка ищет радость внутри себя. Надломленный, он любуется дочерьми, поёт им песни на своём диалекте, почти не слышащем звонких согласных. Новообретённый Гларус – это Klarus, слово не знает звонкого «g», но звук «к» в «Klarus» менее напряжённый, чем настоящий «k», артикуляция его очень короткая.

Лицо Люки лежит на земле. Даже зимой его ноздри забиты этой сырой землёй, сквозь которую смотрят глаза Пауля. Как смириться с потерей ребёнка! Новая земля далась в обмен на кровь и тяжёлые эмоции. Выпуклы веки Пауля, он сквозь снег и лёд смотрит в глаза отца. Ханне мнится, что зарытый мальчик жив. Слишком большая теперь у Пауля постель, материнским пальцам не подоткнуть концы одеяла. Чтобы выжить на чужбине, не обязательно быть очень сильным, крепким, выносливым. Достаточно быть толстокожим. Не раниться об очевидное. Не видеть игольного ушка. Не знать обертонов. Таких среди колонистов немало.

И Люка, и Ханна – красивые люди. Её белокурые волосы и его прямые брови как лучи солнца под разными углами. На лицах Каспара и того, другого, младенца, который родится в восточной ссылке, их черты. Кристкинд, серебряные обшлаги твои чисты. Золотые звёзды на плаще Николая – небо, сладкое небо рождественской неги, пляшут взрослые ангелы с коронами на головах. Поют даже немые.

Ich bin das Christkind ganz allein[8].

Младенец совсем один, повитуха в недрах Его. Один-одинёшенек Бог; Люка, отпусти Его Мать, пусть она идёт по Её делам. Пауль ушёл в чрево земли, земля родит, она ещё много раз родит, но уже не Пауля, под пастушескую песню, под стук мотыги.

– Wer klopfet an?[9]

Люка прибивает две еловые ветки крестом над входом в хлев. В одном рождественском шествии заняты волхвы, охотник, козёл, аист и медведь. Ушедшие, двенадцать роз 1766 года теряют лепестки. Вскидывая глаза к небу, Люка безжалостно сжимает ладонь Марии, Её лицо тронуто болью.

***

1942.1945.
Черноснежная окраина Караганды – это Транспортный цех, Тихоновка, Техбаза.
Ой, папа, папочка мой, да в тебе дырки в виде орденов и медалей.

Караганда резонирует. Ей ли, жёсткой, не пронизывать лучами мягкие металлы?

Марийка ест снег. Она хочет сильно заболеть, чтобы рядом с ней побыл главный взрослый. Мама, отец, Лидия. В Караганде всегда лежит чёрный снег, с угольными крупинками. Не горло заболит, так живот. Мама, мама? Нет, девочка одна. Лидия приходит очень поздно, когда мир Марийки смыкается до узкой щёлочки сквозь почти спящие веки. Голодная, замёрзшая, девочка скитается днём по своей улице Третьей кочегарки. Черноснежная окраина Караганды – это Транспортный цех, Тихоновка, Техбаза.

Девочка как ни сопротивляется, но уже любит Караганду. Чёрная краюха, окраина, так ты мой дом? А где твоё крыльцо? Город просится на закорки. Просёлочная дорога ведёт Марийку Йекель

[5] Почему ты подошла неслышно? *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[6] Я пришла босиком. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[7] Не бойся, Люка, я не замёрзну, это не снег, это белый хлеб. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[8] Слова рождественской песни: «Я Младенец Христос, совсем один». *(нем.)*

[9] Кто стучит? *(нем.)*

мимо домишек Келлеров, Эйзенбраунов, Фишеров, Роттов, Зейфертов, Йоахимов, Пфайфферов... Они боятся говорить на немецком и медленно-долго ищут русские слова, ворочая немецким языком, своим тяжёлым щупом, ищущим русские речевые ходы, нещадно коверкающим их. Такой русский язык Марийка уже понимает лучше, чем некоторые немецкие наречия. Она уже чуть-чуть знает и казахский язык. Отец и дедушка её шестилетней подружки Сауле на фронте. Марийка на всякий случай говорит Сауле, что её отец и мама тоже воюют. И маленькая казашка верит, и сама Марийка верит. Мама Сауле ждёт с фронта мужа с медалями и орденами на всю грудь, и так обязательно случится. Как быть Марийке в этот день? В день, когда русские и казахи принесут в Караганду могучую Победу. Конечно, радоваться.

Придёт и Марийкин отец, ордена и медали по всей груди насквозь. Ой, папа, папочка мой, да в тебе дырки в виде орденов и медалей, вон через них видно дерево, растущее за тобой, и нашу закрытую дверь. Папа, папочка, это твои раны? Нет, дочка, это товарищ Сталин меня обнял, теперь на моей груди навсегда отпечатки его наград.

У Марийкиного отца на плече, как игрушка, крохотный ангел с копеечным заплечным мешком. Он тяжёлый воин, острые колени ангела устали от непрестанных молений, человеческая кожа твёрже горной породы. Это подарок дочке с фронта. Домик на Нижней улице роют вглубь, церковь в нём растёт ввысь. Спустись, соколик, призрак, отец Марийки, по ступеням и окинь взором купол над головой. Дед твой, Роберт, был лютеранским священником, в Виттенберге твой Севастиан и зовут его Мартин, ты в детстве водил пальчиком по строкам Библии в его переводе на немецкий, он научил тебя вере. Лютер забрал у тебя ощущение греха и дал веру – хороший обмен. Уходи из Караганды, милок, нечего здесь делать твоему духу, истекли уже сорок дней, истекли тысяча четыреста восемнадцать дней, рядом с тобой твои старшие сыновья, а здесь ты гость.

Плавильная лодочка похожа и на лодку, и на люльку, и на гроб.

***

1941.
Марк Феликс сжимался, проглатывал себя в кувырок.
На языке воя он говорил с существами гуманнее людей.

Язык Марка Феликса рос и тёк. Перед рождением слова спинка его языка лизала нёбо, и для немца это было непривычно и больно, ибо кончик языка упирался в нижние зубы вместо ожидаемых верхних, кланялся, был унижен. Марк Феликс сжимался, проглатывал себя в кувырок, с силой обнимал свои колени. В трудармии он перестал есть даже ту скудную пищу, которую давали, громко выл, низко опустив голову в колени. В такой позе его бросали в кузов машины и везли на работы в шахту. Ему пытались всучить орудия труда, а он калечил ими себя и других. Штрек его зрения сужался, Марк Феликс начинал истошно кричать, постепенно выбиваясь из сил, теряя сознание. Крик переходил в вой.

Нет, порой он пробовал и петь, но песня медленно стекала в горло и желудок, в плавильную лодочку его существа. Вой для него стал слаще пения, на языке воя Марк Феликс говорил с существами гуманнее людей и слышал их внятные ответы.

Уши его заливало смолой чужой людской злобы. Спохватываясь, он катался по земле, громко кричал, при попытке охранников успокоить его бросался на удары их сапог, подставляя живот, рёбра, щёки. Борода его росла из клочков земли.

Его чудом не убили. Жизнелюбие пропитало неуязвимостью клетки его тела. Осознавал ли он сам, что был готов стать уродом, безумцем, мертвецом, лишь бы не принять условия нездоровой игры, которую затеяли с ним и его сородичами современники? Ему переломали кости и выбили зубы, пока не пощадили – отвезли, едва живого, издыхать в окраинный карагандинский посёлок Транспортный цех. Выбросили из грузовика и уехали не оглядываясь, ведь смотреть умели только вперёд.

Марк Феликс дышал. Его окружала многоликая гора его языка, она дыбилась и была равна миру без Марка Феликса. Язык таял во рту, как яблоко, становясь едва уловимой аурой ангела роста и боли, живущего внутри семечка и прорывающего сильными руками железную кожу плода.

Солнце грелось над карагандинской землёй, на горизонте пасся двугорбый верблюд терриконов.

Через час Марка Феликса нашла Марийка. Язык его вмиг обессилел, обмелел, а затем и обнажил сухое русло, и единственным светом для мужчины осталась её детская немецкая речь.

***

1941.
Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь.
Пора святить соль, воду, мел.

Для обитания ему определили сарай. Здесь раньше стояла корова. Стойло огорожено непрочными досками; серый песок кое-где на земляном полу, как пепел; внутренняя стенка сарая обита дранкой. В углу поставили топчан, накидали туда тряпок.

Марку Феликсу всего девятнадцать. Поволжский мальчик, он учился музыке, когда его погнали в трудармию. Он оставил там разум.

Крупнокостный, очень худой, Марк Феликс сначала лежит, не поднимая головы, дико смотрит на редких посетителей, но, когда вбегает Марийка, едва заметно волнуется, узнаёт её глазами. Девочка кладёт ему в рот хлеб, но он не может жевать его. Она поит его молоком, Марк Феликс пробует поднять голову, ему не удаётся; молоко льётся мимо рта. Он натужно кашляет, лицо его не багровеет, а становится розовым, как у ребёнка. Лидия даёт Марийке маленькую лейку, и девочка поит Марка Феликса из носика, воркуя, радуясь каждому его глотку.

Только через три месяца он встаёт на ноги. Теперь он буйный. С отросшей львиной гривой, рыча, ощеривая осколки зубов, он лютует, бросается на тонкую перегородку в сарае, разносит её в щепы, ломает доски стойла. Плачущий, размытый, колкий, он царапает себе лицо, отбрасывает от себя чьи-то крылья.

Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь. «Man muss spinne, spinne!!! Spinne!»[1] – Марк Феликс вспоминает ловкие руки матери. Она, в тесном кружке других молодых замужних женщин, прядёт[2] и рассказывает истории о добрых духах; он слушает, открыв рот. Паук[3] занимает собой весь потолок сарая.

– Hosanna! – поёт паук, становясь то меньше, то больше. – Sieh, dei Heil kommt![4]

Марк Феликс ему не верит, силится открыть глаза. Ему не нравится слово Heil.

– Dreh dich, dreh dich, Rädje[5], – напевает Марк Феликс и уже ищет глазами уютный угол, поднимая обломки досок, пробуя собрать из них ясельки. Находит воображаемую солому, устилает ею дно яслей. Пусть младенцу будет мягче. Его уже встречают: в волосах Люции укреплены свечи, воск капает на её свадебное платье; Николаус надел цепь на шею; Бальтазар протягивает звезду на длинной палке. А советские немцы обвешаны коровьими колокольчиками, и русские окропляют их святой водой. Ох, пора святить соль, воду, мел, писать на парадных дверях святые слова, солить хлеб для животных. Нельзя работать! Можно лишь готовить пищу и кормить скот! Испеките хлеб из лучшей белой муки. Приготовьте свиные колбасы с квашеной капустой. Пусть к вам придёт Кристкинд[6] – в белом сиянии, с восковыми цветами на голове, в длинных белых рукавицах. Марк Феликс садится на корточки и громко воет. Зима на улице лютует, звенит цепями, щёлкает кнутами, стреляет, трубит, поёт серенады. Надрывно кричит полумесяц. В сарай входит несколько пожилых казахов; их дома по соседству. Они шепчутся между собой, советуются, как помочь Марку Феликсу, добродушно жалеют его, похлопывают по плечу, кладут в руки ему лепёшки и курт.

Когда они покидают сарай, он вдруг выбегает следом и уже боится возвращаться домой. Казахи машут ему руками, но он угрожающе рыдает, падает на колени в снег; они уходят. Ему кажется, что

---

[1] Нужно прясть, прясть!!! Прясть! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Прядение было важнейшей зимней работой для немецких женщин.

[3] Die Spinne *(нем.)* – паук, spinnen, spindeln *(нем.)* – прясть.

[4] Осанна! Вот твоё спасение! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[5] Dreh dich, dreh dich, Rädje – вертись, колесо. *(Из нем. прядильной песни)*

[6] Люция, Николаус, Бальтазар, Кристкинд – неизменные персонажи немецких рождественских обрядов.

кто-то запер изнутри дверь. Да, да! Большое ухо на внутренней стороне двери: чужак слушает, чтобы напасть на хозяина сарая. Пятясь, Марк Феликс уходит в глубокую карагандинскую ночь. Её жерло не знает времени. Марку Феликсу страшно, он испугался Бога.

Младенец Христос, дрожа всем телом, встаёт из яслей, он держит на руках другого младенца, у того жар. Праздник света. Во тьме неспасённого мира расцветает костёр. Луч бьёт в колодец сарая.

***

1942.
Человек как розовый лепесток в воздухе или в меду.
Марк Феликс забивает себе рот сухой землёй.

И в нищете можно окружить себя душевно избыточным. Границы Марка Феликса опять исхожены, он перестаёт отличать золото от глины, еду от воздуха, розу от поцелуя. Взгляд его зацепился за землю.

Пока ему приходится в основном жить на улице. Он перепачкан, чужая одежда на нём изношена, он ударяется о взгляды, как голый. Марк Феликс пытается закрыться, истаять. Женщины со всей Михайловки несут ему хлеб, молоко, папиросы. Он не хочет внимания. Марк Феликс поднимается с земли, проводит рукой по грязным, шёлковым ниткам своих волос, стряхивая с них солому, красные листья карагача, нехотя принимает дары... Папиросы самые дешёвые. Серые глаза его благодарно грубеют от серого дыма.

Марк Феликс давно заприметил домик на Нижней улице, старенький, с прогнувшимся потолком. Его тянет туда. Марийка обещает отвести его в заветное место. Эта фарфоровая девочка с ведёрком в руках, на дне которого картошка и морковь. Кроха. Советская немка. Та, что прошептала ему: «Ты, Марк Феликс, не наш. Ты городской». А король-то голый.

И вот сбылось. Келейник молча приглашает его войти. Это не монастырь и не церковь, пол в домике мазан жёлтой глиной, ни на стенах, ни на узеньких подоконничках нет икон. Марк Феликс горбится, он каждой мышцей осознаёт, что слишком рельефен и обнажён, и в его пустых руках щит. Он не знает, куда положить руки, как спрятать за длинными ресницами испуганный взгляд. Севастиан говорит мягко и скупо. Его мысль мерцает между двумя полюсами – как оставаться собой в душевном достатке и как драгоценна потеря ненужного. Когда лепесток розы попадает в мёд, ощутить аромат цветка может только человек, чьи лучшие качества вогнуты и в любой момент готовы к рождению в мир. Человек и сам то драгоценен, то вторичен, как розовый лепесток в воздухе или в меду. Марк Феликс не понимает по-русски. Но он слышит, едва ли не лёгкими, вдыхающими звуки.

Батюшка берёт в руки чёрный хлебушек и тонко режет его на равные полоски. Несколько из них он кладёт перед Марком Феликсом, заваривает ему чай в железной кружке, оставшиеся кусочки хлеба заворачивает для гостя в тряпицу. Севастиан – бывший лагерник, в заключении он был хлеборезом и возил воду на быках. Он улыбается, и Марк Феликс впервые замечает вокруг себя Караганду. Этот град дарован Севастиану Божьим промыслом и умещается в мимической трещинке у его губ.

Как до святыни, с высоты своего роста, инстинктивно поднимаясь на цыпочки, Марк Феликс дотрагивается до скуфейки на голове крохотного Севастиана, и, словно ребёнок, плачет, лицо его становится сморщенным и некрасивым. Он бросается в сад возле домика, жадно берёт в руки сухую землю, забивает ею себе рот, сладко жуёт её, наклоняет голову и сыплет карагандинскую землю в левое ухо. Его отросшие волосы играют с солнцем.

Под землёй рождается новая корневая система.

***

1942.
Ресницы его теперь цвета губ, цвета языка.
Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу
и задирать к нему голову в поясном поклоне.

Эта степь теперь и летом холодит внутренним, замершим в упрямом ползке ноябрём. Марк Феликс руками роет в ней нору, среди умерших, среди потерявших речь. Их родные и близкие по весне

содрали с земли дёрн, чтобы построить себе жилища. Мёртвые, уже ничему не удивляясь, спрятались глубже. Караганда не для всех становится домом. Но разве поволжский лес был бы гостеприимнее?

Марк Феликс, отогревая, дует на свои пальцы, в земле и крови, он ощупывает ими лицо в поиске себя, ресницы его теперь цвета губ, цвета языка... Огрубевшие пальцы потихоньку добираются до волос, ему, советскому немцу, кажется, что на голове клобук, а на самой маковке драгоценный крест, из которого бежит, пузырясь, энергичная река, извечно мельтешение её ног... Марк Феликс осторожно снимает с себя головной убор. Нет, это одноглавая церквушка, серо-золотая, она быстро уменьшается в размерах и становится с напёрсток. Марк Феликс с трудом прикасается к крохотному колоколу в стене её звонницы, подносит церквушку к уху, закрывает глаза, ждёт беззвучия. Однако звонари, погребённые в земле, без устали раскачивают невидимые Марку Феликсу колокольные языки.

Он достаёт из кармана тряпицу, в которую утром батюшка Севастиан укутал для него немного хлеба, кладёт кусочек в рот, жуёт, не глотая, вынимает хлеб изо рта и затыкает мякишем отверстия в звоннице.

Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу и задирать к нему голову в поясном поклоне.

Сухая карагандинская степь лоснится жирным боком, готовится хоронить храмы, которых нет, лишать колокола тишины. Она прозрачна, в ней рыбьи тушки мертвецов, сморщенные семена, дикие корни. Марк Феликс встаёт с колен, не отрывая взгляда от церквушки в ладонях, озирается по сторонам, стонет, бормочет молитву на немецком языке.

Страх гонит его прочь отсюда, в маленький сад у дома, кажущегося храмом. Он хочет бежать, но лишь медленно-медленно идёт, а мнится ему, что бежит. Домик на Нижней улице в солнечных пальцах, в заплатах. Марк Феликс входит во двор с испуганным лицом, огромный, мешком опускается перед низеньким Севастианом на колени, кладёт церквушку на его скуфью и вдруг радостно понимает, что церквушки этой нет, а свет от неё сияет.

Рамка

Предстоящая мне завтра поездка в Фульду и Висбаден не только возможность передать свои знания молодым учёным, провести семинар, но и ещё одно небо над Германией, столь щедрое на стихи, и встреча с «карагандинской повестью» «Плавильная лодочка», родившейся два года назад именно в Hessen, в городе Гисен.

Никто иной, как она, эта живая повесть, определила место этих семинаров, ибо живёт там и оттуда поддаётся считке с любого своего бока. Тогда, в сентябре 2014 года, я пробовала сбросить повесть с закорок. Теперь я знаю повесть в лицо, знаю её уникальные вибрации и свет в глаза. Она оторвалась от меня наполовину, но другой своей частью живёт внутри меня и зависит от моего графика жизни. Я больше её, и она глохнет от моих верлибров, рассказов, латыни. Жду не дождусь встречи с ней на её родине.

К объединённой Германии парадоксально присоединились и российские немцы. Полное единение нации. Стена обрушилась до языка во рту, и горизонт его поражает.

5 сентября 2016, Москва

Часть 2. Мяч Луны

***

1942.
Язык вынашивает свою речь, как зародыш.
Карагандинская ночь пахнет белым.

Днём покинуть работу невозможно. Рано утром нужно гнать стадо в поле, а сейчас уже ночь. Из Тихоновки в Михайловку больше трёх часов пешком, а в оба конца – и вся летняя ночь. Фридрих то

бежит, то приостанавливается от колики в правом боку. Удастся ли найти Севастиана, да и как осмелиться разбудить его или отвлечь от ночной молитвы.

Язык вынашивает свою речь, как зародыш. Фридрих бежит по обочине и молчит. Во рту его процесс речи во всех затвердевших стадиях, царь шахтной клети, колыбель непостижимой тишины, плотной, как воздух внутри кулака. Изгнанник идёт просить о помощи.

Карагандинская ночь пахнет белым.

Не хлебом, не молоком, а белой полоской лба, не загоревшей под косынкой Божьей Матери. Фридрих-пастух не бьёт коров кнутом – кнутом он отгоняет от них слепней.

Он идёт в ночь, и слепой и свежий карагандинский пейзаж вокруг него складывается в картину Гюстава Доре «Смерть акробата», вбирая в себя самого Фридриха. Видел её репродукцию до войны в альбоме. Мокнут непросохшие краски, свинцовое небо шлифует грубые серые штольни. По их сводам растекаются люди. Степь вдалеке свернулась до брошенного на полу горна, а листья деревьев под виадуком превратились в цепочку, которой прикована к деревянной тумбе сова. Фридрих – мать, на руках которой умирает ребёнок-акробат. Фигура отца-акробата в обречённой позе – видно, это он не удержал дитя в трюке. Вина здесь затемнена горем, оно значительно больше вины. Герои двоятся. Они и люди, и сверхъестественные существа из инфернального провала. Ландшафт ложится на плечи Фридриха. Караганда то и дело выламывается из земной кости утонувшим по грудь телом ангела. Фридрих пытается увидеть его, но тот уже с другой стороны, а то и сзади идущего. Город экстатически рождается, разметав руки в бреющем полёте над низовой энергией, над вспышками тьмы.

А зоркий Севастиан лежит на земляном полу. Он не спит, но не молится, а грезит о старце Нектарии, чьим келейником был двадцать пять лет назад. Его отношения с миром духов окутаны печалью, но без скорби и надрыва, с миром в душе.

Над ветхим домиком на Нижней улице высится сияющая аура православной церкви. Как по ней не узнать обитель Севастиана? Но Фридрих не видит её. Уже на пороге Фридрих единственной рукой достаёт из-за пазухи замусоленный платок, в который старательно завёрнуты картофелины, кусочки хлеба и творога – всё, что голодный человек припас для насыщающего. Не удержавшись, он кладёт крохотный кусочек хлеба себе в рот. И входит.

***

1943.
Весна странствует по телу в тяжёлой зимней карете.
Новь! Студёная вода в горсти! Медонос!

Лидия дрожит, вытирает руки о передник, смотрит под ноги. Синяя ночь, ягоды из чёрной густой крови в глубине Сары-Арки. Проседая до земли, звёзды полощут в своих глотках небо. Неба мало, мало неба! Женщине страшно, она входит в сарай, ощупывает глазами его тёмные внутренности. Марка Феликса здесь нет.

«Его нет!» – за долю секунды горячий ком разливается внутри неё, устремляясь вниз, к уставшему животу. Грёзы настырно лезут ей в глаза и уши; где-то море; где-то крупные мидии на огне, как маленькие точёные женщины, текут, раскалываются, здороваясь створками, переворачиваются, треща; на коромысле – заря и закат; капает белое молоко; тлен.

Когда, Господи, в какой выпавший из Твоей руки зрелый миг скулы и опущенные ресницы этого девятнадцатилетнего мальчика так полюбились ей, тридцатилетней? Когда она впустила его в мир своих мечтаний? Его бросили в Транспортный цех умирать, трудармия отняла у него разум. Но серые глаза Марка Феликса тогда выросли на сером небе Караганды, его ключица впустила в себя язык Лидии. Зимостойкой, ей выпало на долю много солнцепёка. Во рту её пусто. Побеги усыпаны колючками.

Сначала ей подарили дочь, потом любимого. У других наоборот. Она затосковала по Марку Феликсу месяц назад, лёжа в тряпье, рядом с окоченевшей от холода Марийкой. Дров и угля мало, печка еле тлеет, а морозы в этом году трескучие. Советские немцы не знают пощады. Их сбило в кучу – время или другое ненормальное существо, вырвало из гнёзд, семей, щелей, потёмок. Немцы шероховаты, чтобы вплотную притереться к казахам и русским, остаётся нелепый зазор. Но в этом ли дело, если весна странствует по телу в тяжёлой зимней карете, если шалит свет.

Нет ничего для Лидии желаннее, чем покориться этому юному мужчине, отдать ему своё внутреннее, вкусное, душистое, прошептать ему на ухо их сагу. Она кусает свои пальцы, оглядывается по сторонам. Кто-то просится к ней в грудную клетку, покуковать там, побыть в безопасности. Над нею горит железный мост, надо спасти детей, взрослых, себя, Бога, ангелов, Марка Феликса, надо бежать, но...

Пушистые чашечки цветков с короткими широкими зубами по краю, пучки листьев караганы – вкус мёда на языке?

Лидия снимает с себя платок, распускает косы и рассыпает по спине свои роскошные русые волосы. Новь! Студёная вода в горсти! Медонос! Из горного ключа рождается озеро Шайтанколь, в старинной металлургической печи плавятся доспехи Батыя. Упрямясь, Лидия поднимает с пола фуфайку Марка Феликса, прячет в неё лицо, громко дышит, плачет, воркует.

***

1943.
Новорождённый телёнок пробует встать на ножки.
Весь стань ухом.

Севастиан резко оглядывается на ночной стук в дверь, в руках его записки. Фридрих выдыхает приветствие на чеканном заученном русском, робея, подходит к столу, на котором стоит широкая пустая деревянная миска. Своей единственной рукой он пытается вытряхнуть в миску из платка подарки Севастиану, с досадой приговаривая что-то по-немецки, – варёный картофель, кусочки хлеба и засохшего творога. Тот смущается, приходит на помощь.

Нигде нет икон. В доме сыро. В углу стоит низкое деревянное ведро с песком. Из соседней комнаты слышен стук об пол – может, новорождённый телёнок пробует встать на ножки, но скользит и падает. Ему кто-то пытается помочь, раздаётся ласковый грудной голос.

Фридрих опускает голову.

– Ты немец? Ты говоришь по-русски? – на голове Севастиана скуфейка, голос его насыщен.

– Я советский немец. Говорю! Окончил немецкую школу в Макеевке. В лётном училище проходил обучение на русском языке. Выпустился оттуда в тридцать пятом.

– Как тебя зовут?

– Фёдор, – неожиданно для себя говорит Фридрих.

Небольшие руки Севастиана бережно подбирают со стола пищу и кладут её в миску. Ресницы его словно золотятся на свету. Он берёт грубую оловянную тарелку и деревянную ложку с подоконничка в одну узкую дощечку. Фридрих наблюдает за ним как заворожённый. Вот тарелка и ложка на столе. Батюшка приносит с печи котелок и наливает в тарелку ещё тёплого супа. Щедро режет хлеб, приглашая гостя к столу.

– Садись же. Ты голодный. Сам недоедаешь, а еду принёс сюда. – Севастиан замолкает, глядя на высокого, но изможднённого гостя.

Как серое яблоко, висит пауза.

– Ты летал, Фёдор?

– Да, я летал и до войны, и почти месяц во время войны. Меня забрали в Караганду с передовой.

– Где ты потерял руку?

– В лагере. Сюда меня привезли здоровым.

Севастиан так близко подходит к рослому Фридриху, словно просит его наклониться и показать два языка во рту. Прикасается к его пустому рукаву, и пустота наполняется силой. Нет, новая рука не вырастает. Но исчезает страх быть однoруким, смеются мышцы здоровой левой. Фридрих целует руку Севастиана.

– Батюшка, я хотел бы креститься. – Немец не знает, что делать, опуститься на колени или сесть на табурет, к которому призывает рука Севастиана.

Фридрих закрывает глаза. В темноте Лидия проходит между ним и Марком Феликсом. «Wie

schweer is des mich, unner eich Taitsche auszuwähle. Tu, Offizier, is mei Vater ähnlich, un tu, schejner Mann – mei Bruhder»,[1] – её глаза опущены.

Он слышит её внутри себя. Стань же ухом, говорит она. Сбрось меня с закорок. Так кричал командир в лётном училище – чувствуй телом углы атаки, ягнёнок! Стань своим телом наконец! Весь стань ухом! Самолёт взлетает и идёт к посадке под углом, у каждого лётчика привычные углы. Напрягай, напрягай врождённую эквилибристику, пой. Этот несъедобный ртутный шарик в мятном горле, каковы его перекаты, вкусны?! Как полощется он в глотке! Сбрось меня к чёрту, возьми меня, – кричит Лидия. Под каким углом атаки идёт твой самолёт, необузданный пленник?.. Где теперь твой дом? Не отвязалась ли корова, не слишком ли крепкие ремни в плети у безумного погонщика?

Этой глубокой ночью никто не спит.

– Я совершаю требы. Приходи через ночь. Завтра ночью поспи. – Севастиан усаживает гостя за стол.

Через четверть часа Фридрих спускается с крыльца и впотьмах спотыкается о лежащего Марка Феликса. Тот вскакивает.

– Hej, Friedrich[2], – шипит, осторожничая, Марк Феликс.

Фридрих молчит. Между ними горло и женские пальцы драки. Марк Феликс вскидывает руки, словно поправляет свои цыганские волосы. И вдруг наносит несколько сильных ударов по глазам, носу и горлу Фридриха. Через секунду Марк Феликс уже лежит на земле. Первые фаланги кулака Фридриха взяли на себя весь его вес.

– Tes is mei Fraa[3], – стискивает зубы Марк Феликс.

На его лице изумлённая улыбка. С неба смотрят глухие невинные звёзды. Ангел шагает широким шагом по Караганде – одна нога его в Михайловке, а другая уже в Тихоновке.

***

1942-1943. 1766. 1930.
Младенца вносят в Караганду.
Долинка поёт, она мать, она мать умерших детей.

Некрополь слезоточит, кожа его камня влажна. Четыреста сорок шесть тысяч изгнанников в его круглом каменном теле. Гларус свернулся языком в гнезде на левому берегу Волги.

Зацелованного, запутавшегося в чужом полотне, младенца вносят в Караганду. Занавес заката тяжёлый, как бархат; оголён эшафот. С неба льётся роскошь дождя. Младенцу малюют румянец на щеках, рисуют ему слёзы, гримасы боли, закушенные губы. Его руки и ноги уже безвольно висят, голова запрокинута.

Ребёнок Лидии прибыл в Караганду в её животе, Танатос принял роды.

Звучит орфический гимн.

Караганда живёт. Глотая огонь, изрезанная шахтами, беременная, она становится на четвереньки, прячет морду под зреющий живот. Чутки ноздри брата-близнеца бога сна, изогнуты их коридоры. Бродит, он бродит, нюхая воздух, вздыбливая шерсть на загривке; факел в его руке погашен. Он ищет Караганду, но глаз её не видно. Корибанты танцуют на её хребте, укрытом шкурой барана. Чёрная кровь кипит в животе Танатоса, где ты, упругая Караганда? Где твоё смуглое бедро? О, мусульманка, ты не умещаешься под животом коня Фальконе! Руки чёрного мальчика входят в крылья белого мальчика на орнаменте вазы, и пьёт он сквозь вазу красное вино. Город равен звезде, расколотой звезде по имени Малиновка, она же аул Акмол[4]. На детском кладбище некуда воткнуть

[1] Как мне трудно выбрать между вами, немцы. Ты, офицер, похож на моего отца, а ты, красавец, на моего брата. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Эй, Фридрих. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Это моя женщина. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[4] В селе Малиновка (аул Акмол) находится памятник жертвам репрессий «Расколотая звезда».

заступ. Долинка поёт, она мать, она мать умерших детей[5], ей ещё долго жить, скулить, а ищущему торжествовать.

Приказ о выселении – гром среди ясного неба! Марийка устала от шума, воя, молитв и мычания, она в саду, обнимает яблоню: «Behmie, vorsteck mich in dei Worzle»[6]. Яблоня улыбается Беляночке. Радостная, девочка засыпает у корней. Её не могут найти, и подводы трогаются без Марийки, мать её голосит без умолку. Соседский увалень, шестнадцатилетний Давид, спрыгивает с подводы и бежит обратно в Гларус. Девочка уже проснулась и кричит от страха. На плечах Давида она возвращается в руки к маме.

Большой деревянный натопленный дом, кокон тепла внутри зимнего леса за окном. Река почти у крыльца. Искупавшись в проруби, Фридрих стремглав забегает в дом, быстро скидывает с себя полотенце и трусы, ныряет в постель, лежит, дрожа всем телом. Это лишь сон, но Лидия садится на край его постели, и он взглядом зовёт её согреть его тело. Она робеет, но руки её сильнее разума. Лидия гладит горло Фридриха, шар его кадыка, короткую бородку. Он бездействует, молча наблюдает за женщиной. Рыбак, ловкий опытный рыбак, он держит на удочке огромную золотую рыбу, бока её полны будущей икры, рот искажён болью. Потрогай мой рот, лётчик, расковыряй его рану, усиль нашу страсть – воздух просится в рыбьи потроха, солнце целует кайму горизонта. Проходит несколько очень долгих секунд, и Лидия уже лежит на груди и животе мужчины, нежные косточки её затылка в его руках. Это сон. Все спят, в уголку рта Фридриха слюна, как у ребенка. Караганда рожает сказочное угольное дитя, голова его больше тела, уши залиты водой. На тонких ключицах Лидии плещется молоко, Фридрих пьёт его сок, целует дрожащую, как лепесток, женскую кожу.

Зигфрид не корни, а ствол дерева. Умершая веточка Пауля на обозе, дочка Эльзы на барже, сын Лидии и Виктора в саманном бараке: они часть младенца и весь он одновременно. Спелёнутые советские немцы неохотно ложатся в карагандинскую землю, их мышцы сводит до судорог, их гуленье и лепет поднимаются над землёй. Царственный младенец, достань мне с неба целую не расколотую звезду, побалуй меня подарком, я поцелую твою пяточку.

Брошенные в Поволжье собаки бродят в поисках своих хозяев, в их глотки катится мяч луны.

***

1984.
Между строениями – три сбитые в плот доски.
Мы немцы, у нас праздники другие.

Отец вырезает кукольную мебель из жести. В ход идут высокие жестяные банки из-под иваси – отец режет из их стенок стульчики, столики, кроватки, диванчики. Даже шкафчики – дверцы к ним приделывает проволокой. В летней кухне по левую сторону дивана живут Анины куклы, по правую – куклы Йоханны. У каждой семьи своя мебель, есть спальня, гостиная, кухня, прихожая. Куколки маленькие, дети называют их пупсиками. У Ани два мальчика – Костя и Миша. Костя резиновый, у него карие глаза и каштановые литые волосы с завитками на затылке, у пластмассового Миши причёска цвета его тела.

На круглом столе вертится юла, в ней заснеженный лес, идёт снежок, лошадка везёт карету, в ней мишка в барской шубке.

В последние дни августа кукольные семьи переезжают из летней кухни в дом. Между строениями – три сбитые в плот доски (родители и бабушка называют их «доска»), сёстры, собрав пупсиков и их пожитки в два больших бабушкиных платка, бегут по крашеной доске в дом. А в освободившиеся кукольные квартиры мама сыплет в одну красные помидоры, в другую – зелёные. Помидоров много! Их будут мариновать, закатывать из них лечо с болгарским перцем, резать свежими в салат, дарить и продавать, набирая вёдра с горкой и обвязывая их штапельными платками, чтобы плоды не рассыпались.

[5] В Долинке возле бывшего лагеря расположено кладбище детгородка Карлага.

[6] Деревце, спрячь меня в свои корни! (пер. с диалекта поволжских немцев)

Некоторые помидоры лежат, зреют до самой зимы, уже в доме, под бабушкиной кроватью. А зимой в летней кухне холодно, как на улице. Отец держит там мешки с комбикормом для свиней и зерно для кур.

Под Старый Новый год одиннадцатилетняя Йоханна с одноклассниками идёт петь колядки, они берут с собой новогодние маски, у Йоханны мордочка белки. У Витьки Ковалёва не просто маска, а костюм волка – к своему тулупу он прицепил волчью шкуру. Едва живые от страха, дети забегают даже к цыганам, в дом, при котором пункт приёма стеклопосуды. И те, удивлённые, радуясь ребятишкам, дают целых шесть рублей и много шоколадных конфет. Йоханна снимает маску, чтобы осмотреться, вдохнуть обстановку. Пахнет куревом, соревнуются в силе яркая роскошь и яркая бедность. Курчавый седой цыган берёт девочку за руку, спрашивает, как её зовут, и дивится, сокрушённо качая головой: «А почему же тебя зовут, как мальчика?» Йоханна опускает глаза. У него чёрные волосы, но совершенно седая борода. Цыгане живут в середине посёлка, а впереди ещё много домов, но и мешок у детей большой! Дети бегут дальше, рассуждая, настоящая ли была борода у цыгана?

На самом конце Транспортного цеха – дом бабушки Марийки. Ребята стучатся в калитку, громко лает собака, но притихает, узнав Йоханну. Крепкая, стройная, бабушка выходит из дома во двор и кричит: «Кто там?» В ответ раздаётся пение:

Сеем, веем, повеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа все прославляйте,
Угощенья нам давайте!

– Прочь, прочь, – кричит строгая баба Марийка. – Мы немцы, Старый Новый год не празднуем, не нужны нам колядки. Ходят тут, народ пугают.

– Баба Маша! – кричит Витька. – А здесь ваша внучка! – ребята выталкивают робкую Йоханну вперёд.

– Внучка моя? – потеплевшим голосом спрашивает бабушка Марийка, у неё к тому времени уже больше двадцати внуков от девяти её детей. – А чья дочка?

– Дочка дяди Ивана! Наша Иванка!

Через несколько минут ребята сидят на полу в доме у бабушки Марийки, рассыпав по ковру выпрошенные конфеты и деньги, весело их считают и делят. Тут же пробуют конфеты и разбрасывают фантики. Йоханна в ужасе – у бабули в чистых носочках обычно нельзя пройти в гостиную, а тут она пустила всех в верхней одежде, и так намусорили на богатом ковре!

А бабушка готовит им чай с молоком и всё бормочет, извиняясь:

– Ох, не узнала свою рыженькую внучку! Но мы немцы, у нас праздники другие.

***

1997.
Сладок воздух в ноздрях коровы.
Анна медленно прыгает в небо.

Арочные ворота – дерево в красном кирпиче, приоткрытые губы, которых нет. Прозрачный, приземистый, как краб, внутренний дворик[1] жмётся от дождя к земле. Властитель пространства между старыми домами, он просто воздух. Сладок воздух в ноздрях коровы и раструбах её ушей! Девочка Энгельс плакала, причитала: о мальчик Караганда, спустись в рудник за драгоценным камнем, принеси мне кусочек клада, солёный круглый оброк. Он кинулся со всех ног, и превратились в лесу дрозды в поющие камни[2], и кусочек хлеба во рту стал углём. Нарисуйте, прокажённые, корове полумеся-

[1] Арочные ворота красного кирпича и внутренний дворик между строениями типичны для Энгельса и других поволжских городов.

[2] Юноша, отправившийся за драгоценным камнем в рудник, и дрозды отсылают к лирике экспрессиониста Георга Тракля.

цем рога; пусть бока её худы, но голова, с чернотой губ и светом просторного лба, ещё тяжела. Вам видно это? Так выдерните колючую проволоку из кистей её и розовых стоп, из всего человеческого, что у неё зудит, слезится и кровоточит, дайте ей молозива, да будет широкой степь и чёрным ворон.

Сквозь Анну летят куски мяса, мука, сахар, льётся подсолнечное масло, девушка зарывается в свои круглые, как яблоки, колени, уклоняясь от побоев прошлого, беззвучно грозит ему кулаком. Мельница бьётся переломанными крыльями, грузно шагает, перебрасывая вперёд свои части – сруб, бревенчатый брус, жадные жернова, короб с зерном, воронкообразный короб, похожий на траекторию падающего листа. Мельничные шестерня и малое колесо – как солнце и земля, как Солнце и Земля. Долгих пятьдесят шесть лет мельница идёт из Поволжья в Караганду, великан без суставов; на вал посажены два диска, их держат стержни, кованые кольца, железные перчатки. Падая на руки, мельница задевает дыханием Анну, золотые нитки её волос. Девушка встаёт на ноги.

Она медленно прыгает в небо, в зреющий воздух, высоко взлетает раз за разом, поднимая к животу длинные ноги в длинных шерстяных жёлтых гольфах; две коричневые полоски на их канте охватывают её тонкое бедро, короткая юбка-солнце, чёрное солнце, взмывает кругом, обнажая и снова скрывая её живот над чёрными закрытыми трусиками; льётся в мужские губы молоко живота. Он просто смотрит. Дрожа от нетерпения, он иногда идёт навстречу – два-три шага, но этого мало; ноги его пружинят, теплеет голос: он охотник и заворожён ею, гибкой, ладной, пахнущей хвоей. Ах, бестия, сколько сока, как извилисты её бережки. Длинные рыжие волосы её взлетают и снова сыплются ей на лоб, щёки, плечи, круглые не смешливые глаза. Орфей, твоя немота старше звука, слаще арфы. Крикни, Орфей, о звучащий, крикни о себе, побереги её и себя. Земля перепахана ногами футболистов, окроплена мужским потом. Гуттаперчевая, девушка на его глазах колесом проходит через рыхлое поле, её кисти и стопы в грязи, весенней землёй измазано лицо. Она переворачивается в воздухе, солнце бросается в её рот, и он остаётся без солнца, хотя бежит за нею во весь дух, теряя её, жалея обо всём на свете.

Море, ласковое мучное море засыпает поле порошей; бабушка Роза протирает тряпкой мельничный жернов луны, Анна замечает – тряпка из старой бабушкиной синей юбки[3]. Мокрый лоскут скользит по круглому боку райского плода.

***

1980.
Земля и книга. Пальцы солнца ласковые.
Галстук раздражает её как красная тряпка.

Четыре яблони растут за домом, здесь и малинник. Тень, сыровато. Два дерева дают сладкие ранетки, два других – кислые. И плодоносят яблони с кислыми и сладкими плодами по очереди, поэтому по осени сад и двор усыпаны то красными ранетками, то жёлтыми. Ветки раскинулись во двор, за трепетную дранку штакетника. Ствол одного дерева извитый, он услужливо создаёт собой сиденье. Здесь Анина библиотека: земля и книга, яблоко и буква. Щекой к яблоневому стволу – Жорж Санд, Куприн, драмы Лермонтова. Отсюда, по цыплятнику, легко взобраться на крышу сарая, откуда ночью ярче видны хвосты и спины звёздных животных.

Аня – пацанка, вьётся возле отца с малых лет. Он едет за опилками, которыми надо набить двойные стены сарая, – и она за ним. Сосед дядя Иосиф Ротт (его все попросту называют «Йоська-резак») помогает отцу резать свинью, – и Аня рядом, колдует с пряностями над огромной кастрюлей на печке, надевает свиную кишку на трубку чугунного агрегата, из которого выползает душистый ливер. Кольца домашней колбасы по Аниному рецепту.

...Пальцы солнца ласковые, они лежат на крашеном цветном полу спортзала, где Аню принимают в пионеры. С горсткой избранных, отличников. Йоханна сейчас нездорова, её примут позже. В школьном вестибюле, выложенном коричневой и грязно-белой плиткой, её ждёт бабушка Роза. Галстук раздражает её как красная тряпка. Аня бежит к зеркалу, ликует, глядя на себя, а бабушка уже больно тянет её за предплечье домой. «Успеешь ещё поносить этот хомут!» – «Бабушка, это частица

[3] Цвет юбок поволжских немок преимущественно синий.

нашего знамени!» – «О Господи... раньше были частицы гроба Господня и пояса Богородицы... а теперь знамени! Безумцы», – причитает бабушка. Она мешает инициации. Хоть дальше Караганды и не сошлют.

Уборка в бабушкином царстве – кладовке: мама находит за сундуком два эмалированных ведра с переваренным яблочным вареньем. Радость на ползимы! Отважная Анечка с фарфоровой миской стремглав бежит перед обедом в холодную часть дома – на веранду, а оттуда в кладовку и набирает в посудинку тягучие яблочки.

Иволга, летящая иволга разрежает говорение, очищает свет от облаков, небо от земных ударов.

***

1942.
Он вдруг выступает для неё из террикона или из тени.
Его глаза текут к ней вниз.

Фридрих смущённо снимает шапку своей единственной рукой, и Лидия словно впервые видит его волосы на затылке – даже на вид мягкие, но сильные завитки, с ранней сединой, щекочущие шею. Крупный в кости, ссутулившийся, с этими неухоженными отросшими кудрями, он вдруг выступает для неё из террикона или из тени. На него падает луч. Опуская глаза, Лидия удивлённо вздыхает, и Марк Феликс навсегда стекает с её расслабленного языка.

Теряя ненужное, женщина беспокоится, суетится, но мокрый снег уже влечёт их с Фридрихом по течению, некрупные хлопья его лепят их общение, их оживлённые лица. Неожиданный снег в этот день, когда они нашли первую фиалку.

Вернее, он нашёл цветок, а она птичье перо, и зачем-то несла его, с серым от грязи опахалом, всё время в руке и смотрела сквозь перо в серый воздух. Тревожно. О нет, ей сейчас не так, как рядом с Марком Феликсом. Кусать пальцы, заламывать руки теперь не нужно. Это просто снег. Это просто небо. Или снег и небо здесь ни при чём? Будь у Лидии фанфара, она бы приветствовала ею себя, новую, тихую. Здесь нужен мажор, яркий и сильный звук, но робость (трусость?) сильнее его. Будь у них с Фридрихом шест, они бы вырастили на его остром конце фиалку и торжественно внесли её в Транспортный цех. Пусть наконец запели бы просёлочные весенние дороги этого грустного посёлка, и глаза пространства встретились с людскими.

Она пытается прийти в себя, дать себе опомниться. Раньше она виделась с Фридрихом от силы раз в месяц и всегда мимоходом, а теперь будет тревожиться о нём. И как теперь узнавать о нём, где его искать, бежать к нему днём в поле к стаду, идти поздним вечером или ночью к домишку Ерканата? Нет! Нет! Если он сам не появится, она, робкая, и не посмотрит в сторону поля или сиреневого сада, ничего о нём не узнает. А сам он не решится – слишком зажат, искалечен жизнью, да и где-то в Поволжье у него осталась русская жена, она из другого вещества и говорит на другом языке, и делить с ним страдания не стала, но как с ней не считаться.

Лидия громко дышит. Шерстяные нити и длинные ленты на масленичных ветках, что я хочу взамен? Дайте, дайте мне знать, здоров ли он, есть ли у него еда, спалось ли ему! А вот и крест из пепла на моём лбу, вот мох, цветы и листья на мне; смотрите, как пуст, пуст мой выстиранный кошелёк, я повесила его сушиться на штакетник.

Обескураженная, Лидия дрожит, Фридрих молча что-то говорит ей, наклоняясь со своего высокого роста, а ей так хочется взять его под руку. Но она не осмеливается. И он, постоянно помня о своём пустом рукаве, тоже. Его глаза текут к ней вниз, и всё лицо лучится и струится к ней, губы его постоянно трогает улыбка и поддерживает её. Они смотрят друг на друга виновато. И свет, плашмя лежащий на его лице и так просящийся к ней, и эти цыганские, но мягкие седеющие кудри, и губы, губы, волевые, сжатые – возможно, ему было бы безопасно в её сердце, в полом сердце, в трёхстах граммах пульсирующих мышц. На мощном, мясном, кряжистом дереве ликования, за которое Фридрих при желании схватится одной рукой, к которому прижмётся взглядом.

Караганда стыдливо прячет чёрную наготу под временный снег, как Лидия прячет руки в рукава, подальше от искушения. Серебристый, нежный висок Фридриха ласкает её зрачки. А снег бесчинствует, молится, кричит от своей бессмысленной щедрости.

Лидию уже немного мутит от страха. При случайно словленном её взгляде мужчина смущается, смотрит на неё, словно подмигивая; ищет в ней союзника, но говорит взглядом – что же нам делать? Она молчит. Он продолжает – не сердись, если я всё оставлю как есть. Она молчит. Он не унимается – хочешь, сделай шаг навстречу, но я тебя очень боюсь. И сам делает к ней несколько шагов. Зимой попасть из Транспортного цеха в Пришахтинск можно минут за двадцать пять, коротким путём только по тропинке из натоптанного снега, кругом сугробы, а сейчас на месте этого наста – глубокие лужи и грязь. Фридрих и Лидия глазами помогают друг другу, ищут, куда другому поставить ногу, боясь прикоснуться рукой или словом.

Она идёт, глотая непосильный надуманный груз – ей теперь жить где-то, ничего не зная о любимом, да и не имея права это узнать. Он идёт рядом, и на плечах его огромный, вялый, красный вырванный язык, Бог знает, откуда он взялся и так безвольно и несуразно лежит, кривя мужские плечи, лишившись арки нёба, сужающейся глотки и чеканок губ. Стебель языка надломлен, а корни его давно не знали влаги. Снег померк и стал похож на пепел, цвета птичьего пера в руке Лидии, раскрытых глаз Марка Феликса, обрушившегося на Караганду неба.

И вдруг он сам спасает ситуацию – а научи меня, Лида, языку поволжских немцев? Марийка учит, но она ещё малышка. Я буду приходить к тебе на уроки.

***

1998. 2001.
Шар чувства зреет один на двоих.
Йоханна узнаёт в сырой, стекающей скульптуре себя.

Восходит мяч луны. Рыба и меч в рукопашной схватке, близнецы идут друга на друга. Лишь шар чувства зреет один на двоих.

Германия не пускает в себя Йоханну. Девушке кажется, что говорящие на немецком языке стучат ей по макушке барабанными палочками. Она всё понимает и сама говорит, но ей мнится, что её немецкий похож на создание Франкенштейна, он слеплен из случайно оживших слов – песенок, сказок и прибауток отца, рассказов напуганных ссылкой бабушек, обрывков уроков, радиопередач, кинофильмов... Она вибрирует и хочет в русский мир, где всё прозрачно.

Их делегацию провожают два волонтёра: часть группы возвращается сегодня в Казахстан, другая – в Россию. Один волонтёр – высокий, светловолосый мальчик, с мягким взглядом. Она глядит на него во все глаза. Его взгляд тоже изумлён.

Увы, она невезучая, их будет провожать не он. Йоханна уходит, отчаянно оглядываясь, не зная, как поступить. Она и её спутники уже сворачивают за угол, как вдруг этот светлый мальчик догоняет её, трогает за рюкзак, поворачивает к себе...

– Mein Traum wurde Wirklichkeit[1], – голубой взгляд.

На свою ладонь он записывает номер её телефона. Его зовут Юлиан.

А потом – дождь стеной. Её поездки в Германию. Не в страну, а к нему. Беловолосый, смотрящий горе, он встречает в аэропорту, дрожит, когда она рядом, её горло охватывает восторг. В его квартире лишь надувной матрац, телевизор и микроволновка, окна настежь; в сладком поту, они не наглядятся друг на друга. Ей двадцать три, а она ещё не раскрылась... Но как им хорошо! Шестое небо вокруг. Однажды она проскользнёт мимо него в аэропорту и будет смотреть, как он, встречая её, нервно ходит и вслух считает свои шаги, его худые ключицы под футболкой родные: он на расстоянии шёпота.

Четыре поездки. Когда Йоханна полюбит Германию, Юлиан исчезнет, безболезненно, легко. Она оттолкнёт его от себя. Он дух, он часть её внутренней свободы. Его не было. Германия мифологична, она держит на ниточках сказочные существа, запуская их в клетку к тем, кто ощущает себя в Германии, как в неволе. Юлиана можно кормить с руки, он всеядный, смешливый, его мимические

[1] Моя мечта сбылась *(пер. с нем.)*

морщинки прячут в себе младенцев их чувств, не боясь их разбудить, линии жизни на его ладонях – круговые, ибо он – время, то время, пока в её сознании не замерцает очажок «я люблю Германию».

Льётся свет, земля нежна. Йоханну не обмануть. Она ощупывает пространство в поисках Юлиана. Её руки, сами того не желая, лепят человека. Голова, туловище, ноги... Она отходит на два шага назад, всматривается и узнаёт в сырой, стекающей скульптуре себя – на эскалаторе московского метро, с мобильным телефоном, ищущую Юлиана в Фейсбуке, в белом шумном океане глазеющих из-за монитора ошпаренных, ошалевших рыб.

***

1984.
Герда, Агей и Люка.
Игра – прелестна, но она лишь корневая система мира вещей.

Три судьбоносных существа всегда внутри Ани – это Герда, Агей и Люка. Жук, арфа и купол. Строфа, берег и жимолость. Послевкусие их лучей в её прожилках.

Морская галька гладкая, как кожа. На чердаке всюду сено, его запах, цвет. Роскошь позднего лета.

Слуховое окно перечёркнуто хлипкой доской. Агей находит стремянку, взлетает на неё, освобождает окошко.

Гости на даче, эти два мальчика чуть постарше Ани, интересны ей, особенно старший, ему тринадцать, и он называет себя Агей. Анина мама говорит, что его зовут Боря. Но нет, он же сам сказал: «Меня зовут Агей!» Разбрасывая всюду карандаши, он носит с собой большую папку для черчения, в ней наброски стихов, мальчик их зарисовывает, глядя Ане в глаза. Из рукописей его сыплются крупные яблоки, вырезки из журналов, засушенные жуки.

Мальчишки привезли из Москвы импортную куклу, на ярлычке её – имя Герда. Кукла досталась Ане. Игрушка в розовой водолазке, с белыми локонами до плеч. Игривые икры, фарфоровая кожа, птицы ресниц.

Она отличается от советских кукол с их детскими фигурками женственностью очертаний, и она диковинка. Не Герду ли взрослая Аня теперь видит каждое утро в зеркале? Кукла – вещь – человек: это не кольцо, это разные плоскости в скульптуре времени, где между куклой и вещью колеблющийся творец, пробующий на язык телесного цвета акрил и выбирающий чёрно-белую натуру. Кукла рассыпается, а вещь вновь и вновь оживает, порой сотни раз на дню. Аня, внутренняя, тянется к Герде, чтобы, никогда не совпадая, иметь с ней одно сердце. Игра – прелестна, но она лишь корневая система мира вещей.

Душистый чердак – огромная игровая комната. Такая же большая, как яблоневый сад у Славянского бульвара, где живёт Агей. Аня впервые на море. Всюду, даже на чердаке, песок. Девочка бросается в сено, раскидывает руки, переворачивается на живот, смеётся, садится на корточки и вдруг делает кувырок. Копна ситцевого платья, млечный живот девочки – Агей зажмуривает глаза.

Волны бьются о живот. Быть может, ради этого кувырка двести пятьдесят лет назад Люка пришёл в Россию? В Караганде беловолосые Герда и Агей долго ведут Аню за руки. Однажды в детстве повстречавшийся и навсегда пропавший потом мальчик и кукла. Стопам девочки тепло, лучится дневная морская галька. Но вот Анна теряет их руки и даже взгляд, и уже идёт в гору одна. Потом ей нужно потерять и себя.

***

1996.
Удивлённая улица глядит в глазок.
Анна и сама не замечает, как уже ходит по мясу.

Вечерний запах у дома детский, мягкий. Палисадник с петуньями, душистым табаком и золотым шаром оберегает дом с одного краю, яблоневый сад и малинник – с другого. Парадный вход застеклён, мелкие окошки холодной веранды. Крашеное крыльцо, которое Аня и Йоханна моют по очереди.

В доме принято закрывать ставни на ночь. Это право принадлежит бабушке Розе, но порой она кричит: «Geh un mach die Fensterlahde zu, Anna!»[1], а сама, уставшая, снимает с себя фартук, ситцевый платок, роговые очки: готовится спать. Аня бежит в тёмный уже палисадник, за ней Дружок. Девочка бережно снимает деревянные крашеные полотнища с крючков и петель на стене и соединяет их железной перекладиной. В створках ставень узоры – по два ромба в каждой, и внутри дома они как глаза улицы, Аня видит их поутру, просыпаясь в своей комнате в темноте. Бабушкины блинчики или оладьи уже ждут её на кухонном столе.

В одно такое утро Аня выбегает на улицу, а палисадника нет. Неуклюжий бульдозер роет яму на месте бывших клумб, нежность их порабощена. Рыжее нутро у карагандинской земли, месиво из бурой грязи. Девочка пятится к бочке с поливной водой, туда, где растёт красная и чёрная смородина, и вдруг обнаруживает высокие кадки с цветами: отец срезал большой пласт почвы вместе с цветами, чтобы потом высадить их обратно на клумбы. Под палисадником проходит водопровод, и он дал течь.

На следующее утро Аня выбегает на улицу, а палисадник уже на месте: отец выровнял землю, разбил клумбы, мама снова высадила и уже полила цветы. Даже дорожки между клумбами посыпаны гравием. Небольшая вагонетка полна прозрачной воды. Штакетник подкрашен: зелёные и жёлтые тонкие планки чередуют друг друга.

Ромбы, ромбы детских ставень, дарящих утро; удивлённая улица глядит в глазок. Анне тридцать, и она уезжает в Москву, а Караганда волочится за ней. Девушка теперь живёт не в Москве, а в трещине между Карагандой и Москвой, и эта трещина не похожа на ромб. Город-подросток капризен, даже истеричен. Анна отбрасывает от себя его, любящего и любимого, но Караганда снова вцепляется в неё, оглушает тишиной. Уже двести пятьдесят лет Манифесту о дозволении иностранцам поселяться в России, подписанному Екатериной II, «святой доктор» Гааз так давно позаботился о лёгких кандалах для заключённых и добился отмены прута, на который нанизывали идущих на каторгу, а ранним утром XXI века сонная сотрудница в московской поликлинике просыпается и удивлённо выдыхает: «А откуда вы в России-то взялись? Французы живут во Франции, итальянцы в Италии, немцы в Германии». Она вертит в руках казахстанский паспорт Анны, там написано – немка. И глядит с подозрением, и шипит, и очередь за Анной тоже шипит: «Нам самим врачей не хватает, а тут ещё иностранцы...». Девушка открывает рот, чтобы прочесть им лекцию о переселении немцев в Россию, но очередь уже не проявляет к ней никакого интереса. «Немцы – исконный народ России! Они живут здесь с IX века!» – Анна бросает две хлёсткие фразы в спины стоящим, те оборачиваются, медленно вертят шеями, как башнями танков, смотрят с изумлением.

Отец, прижились ли твои петуньи? Всё так же пахнет табак? Сколько лепестков у золотого шара? Мне порой нужна клумба, в трещине моей нет ни земли, ни воды. Здесь только воздух, о как он энергичен и оголён. Бабушка шестилетней малышкой бегала за водой в Новоузенку, но сколько она могла принести с собой – четверть или половину ведёрка? Не отцовская земля и не бабушкина вода сращивают трещину, а жилы Анны, её сердечные мышцы. Она и сама не замечает, как уже ходит по мясу, и оно, натянутое прочными канатами, пружинит. А прошло всего девять долгих лет в Москве.

***

1788. 1942. 1970. 1984.
Волга сама депортирована за Урал.
Амми с белой головой, превратившейся в круглый камень.

Говорят, один из наших вернулся из далёких степей, из плена. И зовут его теперь Kirgisen-Michel. Он похож на кавказского пленника: дочка богатого местного освободила его из восточной неволи. Friedrich Wilhelm Dsirne, Anton Schneider[2], а что вы ещё знаете о нём? Всё ли вы нам рас-

[1] Поди закрой ставни, Анна! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Фридрих Вильгельм Дзирне, Антон Шнайдер – авторы-интерпретаторы российско-немецких сказаний, поволжского эпоса о Kirgisen-Michel и его прекрасной возлюбленной Ammi.

сказали? Когда Михель снова появится в Поволжье? На дворе уже не восемнадцатый, а двадцатый век. Сама Волга депортирована за Урал, распухшим сосудом она течёт в воспалённое чужое горло, из женской тьмы в женскую тьму. Динамики и света нет. Кони плывут по реке и кричат, или это киргизы кричат в тысячи алых глоток, или сама Волга кричит, создавая лошадей, киргизов, немцев, – поволжские пленники, привязанные к сёдлам, бегут за лошадьми. Мир изменчив. Теперь киргизы спасают немцев, делятся с ними последней лепёшкой, гладят по кудрявым головам. Амми всё ещё сидит на волжской дороге, Амми с белой головой, превратившейся в круглый камень.

Когда ощущаешь свои внутренние реки, жизнь становится постоянным спутником. В уединении и без малейшего внешнего воздействия ты можешь достигнуть уникальной эмоции. Она будет равна помноженному на тысячи раз блаженству от одновременного общения с родственным тебе и очень желанным человеком и звучащей рядом удивительной музыки. Ключи, которые питают внутренние реки, тоньше экстаза. Опусти голову в Волгу, в свою внутреннюю Волгу, странник, над тобой взойдёт звезда. Река Нура – струйка пота на коже Казахского мелкосопочника, её вода в низовьях солоноватая, Ишим и Тенгиз ждут Нуру. Немец, русский, волжанин, в реке, в сильной реке твоё мясистое сердце, мускульный красный мешочек, в Волге, не в Нуре, ни одна река не похожа на другую, оставь здесь, брось сюда своё сердце, пусть барахтается в воде без тебя.

Василий Апостолов утром идёт в железнодорожное депо. Нездоровое сердце ухает, булькает, нелегко дышать. Девочка с непослушными волосами, юная мать, пытается подняться с годовалым ребёнком на руках на первую ступеньку виадука, а ступенька очень высоко, девушка просит Василия помочь, он берёт ребёнка на руки, малыш тяжёлый. Сердце плывёт по Нуре. Василий плывёт по Волге. Не выдержало больное сердце, осталась Роза одна в сорок лет. Отец Розы так не хотел, чтобы дочка шла замуж за русского, а теперь Роза злится, что их с Василием Людка идёт замуж за Зигфрида, за Йондю Зигфрида с улицы Третьей Кочегарки. Нашла бы себе хорошего русского парня-стахановца, нарожала бы русских детишек, нет же, влюбилась в фашиста и не выбьешь из неё этой дури! Роза произносит это на русском с неистребимым немецким акцентом.

Аня, Иванка, быстро за яблоками, весь двор красный и жёлтый! Девочки подбирают яблочки. Их полные вёдра, всюду, всюду эти съедобные мячи. Бабушка Роза нарезает их на четвертинки, кусочки яблок сушатся на клеёнках. Как только подсыхают, бабушка кладёт сухофрукты в стираные старые наволочки. Мешки с хрупкими боками пригодятся зимой, из их внутренностей наварят душистый компот.

***

1943.
Огонь не должен гореть на земле.
Дым от костра целебен.

Старое, пропитанное дёгтем колесо хорошо горит; огонь не должен гореть на земле. Крепкие шесты, к которым прибито колесо, держат большой костёр. И Марк Феликс, и Фридрих (он пригнал сюда стадо) стараются быть ближе к Лидии. Другие женщины-немки уже злобно смотрят на неё, по их мнению, невзрачную, уставшую. Johannistag[1] не для всех праздник. Кому-то из девушек, да большинству из них, не с кем прыгать через костёр, мужчин-то в Транспортном цеху сейчас почти нет. И двое лучших из них возятся с Лидией! Ишь, и чужую девчонку, сироту она называет дочкой (приняла, обогрела, но зачем же присваивать?), и мужчин у неё двое. Лидия чувствует эти взгляды, ищет ствол внутри себя, чтобы взобраться по нему или хотя бы опереться.

Она гордо встаёт с травы, отряхивает ветхую юбку, подходит к Марийке; любуясь ею, гладит её кудрявые волосы. Девочка сладко жмурится, трётся о руки Лидии, как ласковый кот. Улыбаясь, они обнимаются, совершенно довольные друг другом. Жадно глядит Марк Феликс на Лидию, ласково-тяжёлым взглядом своих красивых дымчатых глаз, кольца его волос нервно дрожат. Лидия отпускает от себя Марийку, подходит к Фридриху и зовёт его к костру:

[1] День святого Иоанна отмечался российскими немцами 24 июня.

– Willst tum it mich springe, Liebling?[2]

– Tu pist frech! Ich wunner mich immer iwer dich, Lidia. Un fercht dich ejn bißje[3].

Нет, они не говорят это вслух, но глаза их красноречивы, зрачками он раздевает её, она закрывает руками грудь. Опустив глаза, они подходят к костру, но Фридрих упорно становится к Лидии правой стороной, той, где у него нет руки. Как не разомкнутся их руки в воздухе над костром, когда им за руки и не взяться? Лидия шустро переходит на другую сторону, берёт Фридриха за левую руку. Но он уже смущён, и она быстро прячет свои ладони за спину, отпустив его руку. Дым от костра целебен, матери подносят к нему младенцев, чтобы окунуть их от хвори в этот здоровый, по их мнению, чад. Все глубоко дышат.

– Friedrich, treiw di herd näher zuh s Feier, lass di Kih iwer n Feier springe![4] – кричит Марк Феликс, пляшущие губы выдают его безумную ревность и дрожь.

– Treiw, treiw di Kih, Hirt![5] – подхватывают все.

***

1943.
Других летних праздников у немцев и нет.
На губах Лидии блуждает улыбка радости.

Крупный Малыш пасётся рядом, коровий лидер, Фридрих едва прикасается к его крупу древком кнута, направляя его в сторону огня. Животное медлит, осматривая опасное препятствие. Некоторые быки и коровы поднимают губами с земли упавшие с девичьих волос небрежно сплетённые венки из зверобоя, иван-да-марьи, подорожника, ромашки. Старухи, заметив это, осуждают молодых: венки можно было положить на окошко, повесить на входную дверь, положить в хлев или на чердак – всё помогли бы от непогоды и бед. А хочешь, приложи венок такой к коровьему вымени, и надоишь больше обычного! Других летних праздников у немцев и нет, летом совсем нет времени на гуляния, надо сытно накормить скотину и вырастить урожай.

Kommt, wir woll'n nach Rosen
geh'n, Rosen auf mein Hüttchen.
Schöne Rosen auf mein'n Hut[6].

Танцуют танец розового венка. Людно; слышен крик, разговоры, шёпот; дым стелется над июнем в Караганде. Все смотрят на костёр, и все слушают его треск.

– Marijka! Marijka, mei klejnes Matje, mei liew Techterje![7] – вдруг истошно кричит незнакомая женщина, только что подбежавшая к костру с годовалым ребёнком на руках. С её плеч падает тощая котомка.

Марийка резко реагирует на её голос, начинает неистово кружиться на месте, в поисках желанной кричащей, и находит её глазами.

– Mudr! Mei Mitterje![8]

Девочка бросается к женщине, обнимая её, целуя её руки и пяточки брата. Та кладёт ребёнка в траву и поднимает на руки лёгонькую восьмилетнюю дочь.

---

[2] Хочешь прыгнуть со мной, милый? *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Ты дерзкая! Я всегда удивляюсь тебе, Лидия. И немного боюсь тебя *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[4] Фридрих, гони стадо ближе к костру, пусть коровы прыгают через костёр! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[5] Гони, гони коров, пастух! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[6] Слова для старинного Иоганнестанца (танец розового венка).

[7] Марийка! Марийка, девочка моя, родная моя доченька! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[8] Мама! Мамочка моя! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

– Mitterje, pist tu ans Lewe? – покрывает её лицо поцелуями Марийка, не веря своим глазам. – Wuh pist tu soh lang, mei Mitterje? Ich hawe dich soh vermisst[1].

Девочка плачет навзрыд.

– Ich pin hiere, ich pin schon hiere, Kindje, ich wich von unsre Zuhch, ich fihlt mich unwohl, un dann oh wie schweer war es, dich zuh finne un hiere zuh komme[2].

Ребёнок на траве заливается в плаче.

– Tes is dei Bruhder, Marijka. Der hehst Rudi[3], – наклоняется за сыном Эльза.

Марийка радостно улыбается, но вдруг забота корёжит черты её детского лица:

– Mitterje, Mitterje! Un wo sin Vadr, Robert, Andreas? Sin se ans Lewe?[4]

– Ich wejs noch nix iwer se, – тихо вздыхает Эльза. – Awer were mir mit Hoffnung lewe; mir hawe uns getrowe – mir finne ouch se[5].

Люди вокруг громко обсуждают удивительную встречу, кто-то молится, кто-то плачет, радуясь за Марийку и её мать, кто-то тычет пальцем в Лидию. Несколько женщин по очереди передают друг другу замолчавшего на минуты от удивления Руди.

На губах Лидии блуждает улыбка радости, а глаза полны одиночества.

***

1943. 1998.
Он стонет, будто Йоханна расчёсывает рану его рта.
Не Йоханна, а Германия держит Юлиана в зубах.

Очередь доходит до Нуршат. Застенчивая и улыбчивая, казашка берёт на руки Руди у своей соседки, отводит Эльзу в сторонку и горячо шепчет:

– Я могу забрать тебя и твоих детей к себе, хочешь? Семья у меня небольшая, трое маленьких детишек и муж на фронте. А дом рук требует. Если Лидия отпустит Марийку...

Вроде судьба решилась и будет кров, но Эльза напугана. Она всем, всем напугана – и жарким, будто заговорщицким шёпотом незнакомой женщины, и возможным намерением Лидии.

– Но как же она не отпустит мою дочь к живой-то матери? – руки Эльзы сомкнуты на груди крест-накрест, голос тихий и сиплый, но русские слова вдруг нашлись сразу.

– Не знаю. Ваши немки, те, что говорят по-русски, возмущались – Лидия удочерила Марийку.

С жёлтыми пятнами в глазах Эльза подходит к Лидии и смотрит на неё лобовым взглядом. Две матери Марийки как две голубки с кровавыми глазами. На рубашке Эльзы раньше были кокетливые сборки у шеи, а теперь на их месте грязные клочья бахромы; остриженные волосы седые у висков.

– Marijka is mei Tochter, vorsuhch nohr nochemal zuh se komme, vorsuhch s nohr![6]

Лидия молчит, но даже её недоброжелательные соседки, сгрудившись вокруг, теперь начинают осуждать Эльзу.

– Уймись, женщина, Лидия кормила твою девочку, приютила её у себя. Найди в себе благодарность.

Но на Эльзе нет лица, и сама Марийка с ужасом смотрит на её гримасы. Нуршат, держа под мышкой кричащего Руди, другой рукой ласково поглаживает Эльзу за локоть, уводя её от беды, держись,

[1] Мамочка, так ты живая? Где ты была, моя мамочка, так долго? Я так скучала по тебе. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] Я здесь, я здесь уже, детка, я отстала от нашего поезда, плохо мне было, а потом ох как нелегко мне было найти тебя и попасть сюда. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Это твой братик, Марийка. Его зовут Руди. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[4] Мамочка, мамочка! А где же папа, Роберт, Андрей? Они живы? *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[5] Я пока ничего не знаю о них. Но будем жить надеждой; с тобой мы встретились, найдём и их. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[6] Марийка – моя дочь, только подойди к ней ещё раз, посмей к ней подойти! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

держись, милая, мы твоя новая семья. «Какая она красивая, эта казашка», – на секунду отвлекается от ярости Эльза, откликаясь на движение её рук. Кивком головы Нуршат показывает Марийке идти вслед за ними.

Ошеломлённая этим быстрым глухим событием, Лидия вдруг дико вскрикивает, усилием воли удерживается на ногах. Она похожа на тень. Хмурый, Фридрих осуждающе смотрит на Лидию, её бледное лицо, опущенные глаза. Он не делает к ней ни шага. К ней вообще никто не подходит, женщины, как говорливые птички, разлетаются по домам. Только Марк Феликс хочет помочь женщине, поддержать её, но Фридрих хватает его у запястья железной хваткой своей единственной руки. В небе застыла шарообразная луна, костёр догорел. Единственный летний праздник сгорел дотла.

...Мяч луны перекатывается по животу Йоханны, он одновременно принадлежит ей и Юлиану. Ей больно и сладко. Белые волосы Юлиана на её лице, она лежит на его руках, в крепком его конверте. Он стонет, будто Йоханна расчёсывает рану его рта. Её горечь стала вином, мир растёт от его дыхания.

Соскользнувший резец скульптора реальнее натуры, раз этот мальчик вновь обнимает её, продавливая своим телом в провал без глубины. Обжиг, обжиг ждёт Йоханну! Тишайшая, она плачет, а гончар уже ест мак из красного лона. Юлиан полон восторга, он громко дышит, внутри него мост, на который взошли всадники, или колокол; влажная кожа мужчины вибрирует. С золотого купола колокола стекает пот, на серебряный язык привязан груз.

Йоханна мысленно молится, её губы сохнут от внутреннего жара, пока пальцы Юлиана ищут сладкий красный цвет. «О чём ты поёшь?» – кричат его мышцы. «О твоей макушке», – отвечает она, целуя его темя. О, замрите, слышите, как деревянные духовые соперничают с медными? Протяжность английского рожка врастает в длинные ноты валторны, её широкое дыхание перебивает его язычковую экзотику. Йоханна изгибается, избавляясь от тонкой сорочки, Юлиан целует её горло, звучит соло языка.

Они долго теряли друг друга. Она шла по мосту внутри него, сойдя с царственной белой лошади, а он прыгал на одной ножке от восторга, но опускал голову. Не Йоханна, а Германия держит его в зубах.

Юлиан дрожит, мокрые звёзды вынуты из колодца. Белеют хребты созвездий. Лунная блажь. Мир превратился в один язык и два живота. Девушка садится в постели, прижимает сахарные коленки к подбородку. Юлиан молитвенно смотрит мимо.

Йоханна похожа на свою бабушку Марийку: её точёное хрустальное лицо разбивается на маленькие фигурные обломки, их много в закромах Юлиана, эти осколки, их массу клюют голубки с кровавыми глазами, и яйца этих птиц, красные, похожи на пяточки новорождённого.

Люка, Люка, Lüka – примеряет на себя младенец имя предка, но оно, как круглый камень, катится с его лба, пока нежное семейное прозвище не впускает имя в свою созревшую карету.

***

2001.
Geh un mach die Fensterlahde uf, Johanna!
Быть наедине с собой в многолюдье.

«Nimm, nimm, Schätzchen, ich habe dieses Buch extra für Dich besorgt. Der Titel lautet “Deutschland hin und zurück“, der Autor ist auch Russlanddeutscher. Damit wirst du ruhiger. Lies, es berührt und beruhigt dich»[7], – Юлиан, истый дух Германии, продолжает влюблять Йоханну в свою страну. Для неё диковина, диво этот робкий мальчик с белыми прямыми волосами. Книгу Венделина Мангольда она теперь всегда носит с собой. Автор её любит вокзалы, переплетения путей, его стрела «Augsburg – Würzburg» пронизывает и родной для Юлиана Бонн.

[7] Возьми, возьми, детка, я для тебя купил эту книжку. Она называется «Германия туда и обратно», автор тоже поэт и российский немец, тебе с ней будет спокойней. Читай, она убережёт и успокоит тебя. *(пер. с нем.)*

Йоханна стоит на римском фундаменте Германии, всюду Трир, рыжий, осенний Трир. Плиний Старший знал эти места. Взлохмаченный, робкий, Юлиан везёт её в Люксембург, сумеречный город на их глазах постепенно уходит в темноту ступенями крепостных стен: первой гаснет верхняя часть каскада, затем тьма ползёт книзу. Йоханне зябко, они снова забираются в машину Юлиана и едут в Германию.

«Geh un mach die Fensterlahde uf, Johanna!»[1] – слышит девушка сквозь сон. Это кричит бабушка. Но ставень нигде нет. Йоханна, ещё не открыв глаза, ищет руками ставни, Юлиан улыбается, притягивает её голову к себе, целует волосы. Вечером они расстаются. Ей на конференцию в Гисен, а он занят, не уйти с работы.

Незнакомый город для Йоханны начинается с особой формы отдыха – быть наедине с собой в многолюдье. Она одна. Новые люди рядом как дно в мелком водоёме, к которому можно прикоснуться, а можно просто плыть, не заботясь о безопасности. Быть может, дна давно не достать, и они не ответят на её приветствие? Увы, остаться одной значительно сложнее, чем общаться. Но и значительно интереснее. Йоханна надеялась, что выходных с Юлианом ей хватит надолго, можно будет пить и пить их драгоценные капли. Но увы, уже через десять часов после расставания она сильно тоскует по нему, часто смотрит в мобильный, благо Юлиан щедр на сообщения и не играет с ней в молчание.

В воскресенье Гисен погружён в целительную тишину (казалось, жителей здесь почти нет, ни звука, лишь колокольный звон внезапно охватывает город с высокой башни), но с понедельника оживает. Он не игрушечный, как некоторые другие немецкие города. Прогулки по Гисену словно создают вокруг человека воздушную подушку. Город небольшой и понятный. С чистым воздухом. Со своим пешеходным Арбатом. Неожиданный. То встретится железный мост, то тоннель, а в нём узкая речка, поросшие мхом ступени. То городская скульптура обступит тебя, как группка живых людей. То фонтан стеной струй упадёт перед тобой с моста ночью.

***

2001.
Соборы и башни не принадлежат здесь городу.
Красная гусеничка городского трамвая.

Но сказочных чудес от Гисена не ждёшь. Телефон замолкает. Нет, все его функции работают, только Юлиан оффлайн. Может, дело в городе? Другое дело – Фульда, с её стреловидными, летящими в небо соборами, они здесь словно на цыпочках. Когда утром на город опускается туман, дома и площади ещё видно, а самый высокий собор похож на висящий над городом призрак. В Фульде Юлиан всегда был рядом. Был он рядом с Йоханной и в Халле. Соборы и башни не принадлежат здесь городу. Они нездешние. Город и эти высокие пришельцы откликаются на разный зов. Халле скорее голос, чем слух; а его храмы – слух. Тиканье сердца для слабовидящих на светофоре, шуршание под ногами неожиданного мелкого щебня перед рестораном, Flammkuchen[2] в руках шумного официанта – это Халле. А колокольный звон, рассыпавшийся ввысь, а не на землю, и ты с задранной к небу головой – это их Gehör[3] и твой Ruf[4], окликай и будешь услышан, ведь ты внутри органа слуха, среди золотых молоточков и наковаленок, тебя слышат как никогда. Красная гусеничка городского трамвая насторожённо изогнулась у подножия башни.

...Эта общая их дрожь, когда Юлиан встречает её после разлуки, в аэропорту, на вокзале, в метро, улыбается, сразу берёт за руку и быстро ведёт за собой, а Йоханна идёт, влекома, за ним, за ним, за ним, на край земли. Он, высокий, резко останавливается, поворачивает её к себе и жадно смотрит в лицо, она тоже робко разглядывает его выпуклые веки, губы изысканного рисунка. Его руки уже легонько блуждают по её телу, но владеет он ею лишь у себя дома, в своём царстве, сейчас они пере-

[1] Иди открой ставни, Йоханна! *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

Flammkuchen – «пылающий пирог», блюдо из теста, напоминающее пиццу.

[3] Das Gehör – слух *(нем.)*

[4] Der Ruf – зов *(нем.)*

ступят порог этого рая. Пока же он поправляет на ней шарф, уголки её губ радостные, её рыжие волосы рассыпались по плечам, они оба говорят что-то весёлое друг другу на ухо, наверное, она делает много ошибок в немецком, но как они сладки для него. Её робость при нём столь взволнованна и красноречива, да, да, Юлиану нравится её робость, её высоко дышащая грудь, опущенные глаза, руки, прикрывающие нежную кожу. В своей постели он осторожно целует её шею, гладит пальцами её лопатки; кусочек обоев перед глазами Йоханны похож для неё на золотистое солнышко, внутренний ландшафт освещён.

Вечером Йоханна едет в Вецлар, старая часть которого, начиная с моста XII века, – типичная германская сказка. Многовековые строения, мощёные крупным камнем мостовые, гербы на стенах домов. Йоханне не по себе. Дом Лотты, в которую был влюблён молодой Гете, живший неподалеку. Чашка горячего шоколада в кафе у гигантского собора. Привольное течение внутренней реки.

***

2001.
Вертикальный самолёт стоит в ангаре.
Мяч луны возвращён зрелому небу.

Этот собор доращивался в разные эпохи, он разного роста, цвета. Смотрит на Йоханну снизу вверх. Его огромное оголтелое существо лежит на вертикальной прозрачности неба. Йоханна наклоняет голову к своему плечу, с её виска, как с горки, скатываются и ударяются о землю наковальня и молот. За минуту она теряет слух, в уши входят плотные конусы воды, как гвозди.

По очереди, как водится среди влюблённых, они с Юлианом месили ногами глину тишины, серое яблоко пузырилось под их стопами, текло уставшее вино. Когда один прекращал танец, другой его начинал.

Но теперь нет на свете города, в который она бы уехала и вдруг встретила его на улице – наспех прилетевшего к ней, ошалевшего от драгоценной пропажи, с взволнованным сердцем. Йоханна не слышит. Люди ещё не воздвигли этот город, Бог его не придумал. Можно много раз выходить ночью на площади и берега разных городов, но, увы, никто не купил билета на ночной рейс, ничьё нетерпение не мешает любящему уснуть, вертикальный самолёт стоит в ангаре.

Йоханна на чашке весов в руках Юлиана – лишь крошечная золотая гирька, она не перевесит другой, грубой силы камня на шее, возле которой он сам, его родственники, друзья, домашние животные и деньги.

Он больше и не прикасается к ней. Его мимика, обращённая к ней, теперь не полна смущения, изумлённой радости, узнавания. Раньше, чуть оставшись наедине, они с разбега обнимали друг друга, яростно изучая пальцами и губами любимые пейзажи. Их лица и тела не знали границ друг друга. Юлиан и Йоханна радостно улыбались друг другу в лицо, и пальчики её были частью его лица, и он целовал её горло.

Мужчина в белой рубашке и чёрных брюках бежит ей навстречу, полоски его лёгкого чёрного галстука борются с напором воздуха, он пытается освободиться от галстука. На причале одинокий контрабасист. Бегущий слышит. Юлиан не отталкивает Йоханну, но бежит сквозь неё, как птица летит сквозь небо.

Тряпичная луна в руках девушки и мужчины, они раздирают её на куски. Но он твёрдый свет, а она процесс. Их нет больше вместе. Мяч луны возвращён зрелому небу.

***

2013.
В ней Божья искорка.
Он царственно забывает обо всех, кроме себя.

Будто кто-то возвышенный заглядывает внутрь Анны. Он успокаивает её, похлопывая изнутри своими умозрительными ладонями.

– Пришли мне своё фото. Как ты сейчас одета?

– Я сегодня позавтракала фотографией творога. Потом на фотке такси доехала до Лубянки. Лубянка тоже была на фотоснимке.

Анна чувствует, как Олег, слушая её в телефонной трубке, улыбается. Он назначает ей встречу. Сама не зная зачем, она соглашается. Эти встречи ничего не дают, у неё не возникает ощущения родства с ним. Анна садится в машину Олега, поднимая край своей длинной шубы. Она смотрит на мужчину, с которым неделю назад уже почти простилась, и в её зелёном взгляде он читает изумление. Он теперь видит её воочию, он тоже понимает, что они чужие, и тоже сам себе удивляется. В свои сорок Анна выглядит на двадцать пять – двадцать восемь. Но дело не в этом. В ней Божья искорка, от этой девочки уйдёшь, а потом будешь всеми силами возвращать. Анна родилась со звездой внизу живота. Звёздочка загорается избирательно, очень редко, её восход может увидеть желанный мужчина, у которого духовное и физическое, увы, не спорят друг с другом.

Анна в ранней молодости приобрела внутреннюю свободу, а поскольку эта свобода – часть её самой, отнять её невозможно. Мужчина для Анны воздух, но не знает, что она умеет не дышать.

В квартире Олега Анна осторожно оглядывается. Она отбрасывает непослушные волосы, в ней растёт протест.

Олег хочет раздеть её и увидеть в самом низу её живота, слева нарисованную маленькую золотистую подковку, рожками вниз. Один рожок переходит на пространство между животом и бедром. Вот Олег уже рассматривает подковку, голубые прожилки на тонкой белой коже ещё нежнее возле золота этой нарисованной игрушки. Нет, никакой подковки нет! Олег хотел нарисовать её в прошлый раз, но Анна запротестовала.

Она обнимает его, у их внутренних рек общие берега, и он царственно забывает обо всех, кроме себя. Свободолюбие – самая притягательная его черта, вершина айсберга, точка его сборки. Анне становится невыносимо скучно. Чужой, он чужой ей человек! Она быстро одевается, не обращая внимания на его недовольные жесты, и уходит.

***

1982. 2013.
Бабушка Роза выпаривает из самых пузатых ягод арбузный мёд.
Повитуха умывает алые руки.

Арбузами, огромными арбузами завален весь пол на веранде, и так до самой середины осени – в воздухе их полосы и пятна, их горячий сладкий изумруд. Хозяйничая во дворе, бабушка Роза выпаривает из самых пузатых ягод арбузный мёд. Большой чугунный котёл мучается на костре.

Молодой мёд! Желанный тёмно-красный гость, существо цвета крови! Приди в дом, поклонись нам.

Умывшись, Анна смотрит в окно, на кусочек Измайловского парка. Кто-то упрямо сидит на её сетчатке, поджав под себя ноги, понурив голову. Сыплется снежная крупа.

Он появляется, кладёт ей в ладони зерно, ракушку или золотой шарик и, легонько отталкиваясь, ненадолго удаляется, исчезая в свете. Олег – циркач, и Анна рядом с ним восхитительная воздушная гимнастка, в чешуе трико, она и драгоценный камень, и ювелир; ограняет сама себя; своими губами может сдуть с себя отшлифованные частицы и видеть себя перед собой целиком – маленькую, растущую, в одной из своих новых жизней. Снаряд подвешен в небе и вращается по кругу: он мяч луны. Тело Анны тоже круг.

Москва гаснет, как око уснувшей рыбы. Зигфрид никогда не побывает в замке Драхенбург, в этой крепости Дракона, хоть фресками с его изображениями здесь и украшены комнаты Нибелунгов. Он чужеземец. Его тело давно ороговело, омывшись в драконьей крови. Сквозь грубую кожу в схватке с богатыршей-женой не проступают капли пота. Побеждённый Драконоборец по дурной европейской привычке решает объять Русь-матушку, но она поглощает его, не желая его рожать.

Подпаливая ресницы, Олег закуривает длинное тело сигареты, безжалостно наблюдая за её кончиной. Гибкая Аня пляшет на его ладони, корчась от дыма. На ней домашний халатик, ресницы нахохлены. Полные лодки глаз – цвета воды. Причаливая к берегу, они льются, льются через край, тонут в себе. Три собаки прибегают по щелчку пальцев, светясь в темноте.

Каменный красавец ждёт чарку красного мёда! Возвышаясь на берегу Рейна, замок Драхенбург словно символ восхищения, словно поднятый вверх большой палец. Он похож на город: столь большое пространство мыслей занимает уже при первом взгляде. Башни и башенки. Шпили. Террасы.

Резкие ноты стального, терракотового и охряного цветов. Яркая сгущённая зелень окружает замок, как в утробе сказки. Невероятная высота, с которой видно, как кукольная сине-голубая вода Рейна зажата прибрежными домами.

С террасы неоготического замка виден чудо-городок Кёнигсвинтер. Всё это снится Анне. Крепость Дракона смеётся и дышит открывающимися дверьми. Девушка входит внутрь, и изумлению её нет предела – стены замка украшены православной росписью и иконами, с потолка Божья Матерь, в своём спокойном парении, словно устремлена к каждому входящему в храм. Анна слышит запах каждения, радостно дрожит.

Белая слеза, в шёлк завёрнуты куски колокола. Закрывая лицо волосами, девочка зажмуривает глаза, затыкает руками уши и, слепая, глухая, опрометью бежит из Драхенбурга. Йоханна останавливает её, прижимает к себе. Анна – старшая сестра, старше на целых двадцать минут, но неразумная, как дитя. Бабушка Мария её за это ругает, но любит больше всех. Божья Матерь покидает сон Анны, срываясь с церковной стены, пряча глаза, закрывая лицо синим покрывалом. Драхенбург тает, как гигантская ледовая фигура. Сёстры одновременно открывают глаза в Гисене и Москве.

Спящая красавица, постаревшая на сто лет, сквозь мрак зелени, Аня вспоминает об Олеге. Она постоянно достраивает его в своём сознании, как Драхенбург, узнаёт о нём новое, будто обнаруживает незнакомую башенку, террасу или комнату. Глаза её смаргивают Олега с сетчатки или силятся это сделать, обиженно дрожа. Верхняя Анина губа такая же пухлая, как и нижняя, и кукольное лицо словно не знает страдания. Под кожей ходят, играют первыми лучами невидимые мышцы. Кто-то прилёг отдохнуть на её ресницы, надо держать их вверх, напрягая нитки ресниц; смотришь горе, а там пятка младенца, как красно солнышко, сияет, освещает проснувшийся мир. Повитуха умывает алые руки. Рождается драгун.

***

2017.

Волосяные гребни их касок торжественны.
Хочешь, я посажу тебя к себе на колени и покачаю?

У него очень коротко сострижены волосы с висков, она целует и гладит и потом часто вспоминает его виски, и, закрывая глаза, улыбается от того, что влюблена, как девочка, и улыбается и боится.

Палаши в ножнах, но словно летят вперёд. Скоро атака, скрипит земля. Драгуны тучей несутся мимо, волосяные гребни их касок торжественны. Как игрушки эти русские драгуны! – короткие куртки из тёмно-зелёного сукна, с удобными фалдами, серые рейтузы поверх сапог, ряды деревянных пуговиц вместо лампасов. Кони злятся, фыркают, у французов за головой развеваются конские хвосты. Устрашающее украшение! Обнажённые палаши блестят. Где, где Аня видела драгунов? Или о них читала? Ах, да: «Уланы с пёстрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут»[1]. Нет, эти высокие каски совсем рядом, с одной из них она даже стирает к вечеру пыль, воротнички, обшлаги и погоны у него и его друзей утреннего, розового цвета. Ночь садится на город. Её дорогой драгун, рассерженный боем, крепко держит её на своей груди, уходя в сон. Этот русский мальчик ей дороже всех.

Так робко, как с ним, ей ни с кем не было. Она ещё этого не знает. И он тоже. Водяной каскад, по которому дают, дарят Анне Кирилла, многоступенчатый, высокий. Вот Кирилл шлёт ей свои фото, заочный знакомый. Всмотрись в них теперь, на них не он. Вернее, там он иной. Его будут дарить Анне, она словно будет заслуживать его. Завтра он покажет ей объёмность своего ума, послезавтра любовь к саду и спорту, ещё позже трогательную преданность, потом красивую властность. А пока он шлёт ей нежности, изобретая всё новые имена – хорошечка, лялечка, нежная рыженькая девочка. Они удивляют её, их много, но они так весомы и невесомы, как материнская зыбка, как качели грибного дождя. «Хочешь, я посажу тебя к себе на колени и покачаю?» – говорит он. И зачем она полгода бежала его? Не отвечала на его сообщения, глухо молчала. А он писал про виноград, который зреет на берегах Москвы, звал собирать эту нежную розовую ягоду, каждый день ласкал Аню словами, как мог, а уговорить её встретиться удалось не сразу.

[1] Отрывок из стихотворения М. Лермонтова «Бородино».

Он приручает её, а она всё больше взволнованна. Кирилл ведёт Анну к себе. Напевая, он открывает дверь в своей квартире на четвёртом этаже, впуская Аню, она заходит, надеясь, что дыхание сбилось от быстрого подъёма по лестнице. Заходит и старается глубоко дышать. Несколько секунд до его рук, губ, до его грудной клетки, его живота. Она разволновалась уже при первой апрельской встрече, за той круглой белой чашкой кофе. Шли рядом, она слушала его про «Севастопольские рассказы» Толстого и уже заранее не знала, куда девать руки, а в кафе ещё и солнце упало на его висок, осветило добела всю правую сторону его выразительного лица и её тонкое шёлковое голубое платье. Он заметил её смущение, увидел, что она не сделала ни глотка кофе. И на улице просто взял её за руку. Крепко, уверенно, как свою. Её робость не ушла, а скорее усилилась, но стала высокой, желанной. О такой робости можно только мечтать, и она мечтала. «Почему ты не пьёшь кофе? Почему ты не доела творожок? Откуда у тебя эта царапинка на животе? У тебя веки опухшие, ты плакала? Как ты себя чувствуешь? Как самочувствие? Как настроение?» – эти его вылазки в её внутреннее царство так божественны и естественны. Он остаётся мужественным и независимым, проявляя ласку и внимание. Его границы – реки, его суда спускают к ней сходни.

Когда они смотрят дома фильм, и он, возбуждённый, вдруг на пару минут выключает большой монитор, садится перед ней, рельефный, с выпуклыми веками, и говорит взахлёб о том, как цари расширяли границы Российской империи, ей просто хочется дышать, смотреть и слушать. У драгунов пленник, французский конный сапёр, с густой бородой, в белом кожаном фартуке. Такой фартук, право, незаменим при работе с заграждениями – топор может соскользнуть на ногу, да и щепа летит. Его лошадь плетётся за ними, бородач виновато смотрит на неё, оглядываясь. Высокая медвежья шапка упала с его головы, нет на её донце вышитой золотой ручной гранаты. Он был головой колонны, этот пионер с серебряными и пунцовыми прядями на эполетах и нашивкой из скрещённых топоров. Сапёр прижимает к себе топор, но драгуны окружают его на полке серванта в квартире Кирилла. Они тоже спешились. Лошади ржут, крупные глаза их скользят по безветренной дороге.

***

2017.
Он ласкает ей руки, кормит яблоками, маминым беляшами.
Икона выше человеческого роста.

У бабушки в доме печь, на ней чугунные, как она говорит, кружочки. Порой самый маленький из них, когда бабушка шурудит горящий уголь кочергой, падает в печь. Бабушка тогда надевает рукавицу и достаёт кружочек прямо из жерла печи. Рядом с Кириллом Анне хочется говорить о детстве, словно она, ещё маленькая, просится к нему на руки. Он ласкает ей волосы, кормит яблоками, маминым беляшами. Он сажает её к себе на колени и рассказывает ей недавно случившуюся историю:

– Смотрю, у дверей моей квартиры – рыжий комок. Кошка! Недолго думая, взял её к себе. Она рыженькая, я дал ей имя Соррель.

Аня сразу представляет, как быстро была накормлена, напоена, окутана вниманием гостья. На утро у неё уже явно появились лоток, миски для еды, дощечка для подтачивания когтей.

– Я взял Соррель на дачу. Съездили, возвращаемся домой. Выхожу с ней из машины, слышу крики соседских мальчишек – наша кошка! Пришлось отдать, хотя Соррель и сопротивлялась.

Сильный и всегда гармоничный, он так трогательно говорит о Соррель, что Аня любуется им.

Йоханна лежит головой на коленях у Юлиана, смотрит ему в глаза и щебечет:

– Julian, Liebling, weißt du, meine Lieblingserzählung in der Kindheit war „Der Elefant“ von Kuprin. Diese Erzählung handelt von echter zwischenmenschlicher Liebe, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Laune und lebenswichtiger Botschaft. Auf Bitte des kranken Mädchens wir ein Elefant gebracht, und die magischen Genesungsmechanismen werden in Gang gebracht. Ich hatte einen Freund, zu allem Unglück wurde er zum Drogensüchtigen, er wurde geheilt, er war sehr krank. Anfänglich besuchten ihn viele Freunde im Krankenhaus, denn er war Anstifter und talentierter Dichter, und dann nur seine Eltern und ich[1].

[1] Юлиан, милый, знаешь, моим любимым рассказом в детстве был «Слон» Куприна. Это рассказ о подлинной человеческой любви, умении отличать прихоть от жизненно важного посыла. Больной девочке по её просьбе приводят слона, и запускаются волшебные механизмы исцеления. У меня был

Юлиан смотрит ей в глаза и щурится. Ему не интересен этот разговор. Щепотка ревности ещё зудит в нём, но это всё, что осталось живого.

– Du magst mir von anderen Männern erzählen. Wozu?[2]

Но Йоханна хохочет, кладёт ему на губы свой пальчик. Она слепа и продолжает.

– Einst bat mich mein Freund, ihm zwecks Heilung eine große Ikone zu bringen, die in der Kirche rechts direkt beim Eingang hing. „Nun, bringe sie, und ich genese!" Genau so sagte er das. Ich sprach mit dem Geistlichen, und ich mit dem Pater und der Ikone fuhren ins Krankenhaus. Die Ikone größer als mannshoch. Doch einen Elefanten ins Krankenhaus zu bringen, wäre viel schwieriger gewesen. Die Mutter meines Freundes schimpfte mich. Aber die Ikone hatte ihm geholfen, er wurde geheilt[3].

Юлиан отстраняет от себя Йоханну. Кирилл наклоняется к Анне и шепчет ей что-то нежное.

Если человек просит – приведите слона, ну или крота, да приведите, ну чего вам стоит. А не можете – уйдите.

***

1943.
Не их меры увидеть его.
Низкорослые, тюльпаны грудятся, как птенцы.

Фридрих всё же передумал креститься. Для него Севастиан святынька в кулаке. А для Марка Феликса – великан, глаз не хватит рассмотреть его, и над домиком на Нижней он сияние видел. Блаженно купался Марк Феликс в крестильной воде! Каждый по-своему воспринимает Севастиана в меру своей вместимости, до глубины его исчерпать невозможно. Пришли как-то две женщины к Севастиану, смотрели на него, смотрели молча, он и спрашивает: «Зачем вы пришли?» «На вас, батюшка, посмотреть». А он и отвечает вдруг: «На меня смотреть – у вас глаза плохие». Не их меры увидеть его. Фридрих все глаза проглядел, чтобы рассмотреть Севастиана, а видит его скуфейку на макушке. Нужно растить собственный духовный опыт, чтобы скуфья эта воссияла на небе так лучисто, как видел Марк Феликс. Но какой опыт у девятнадцатилетнего мальчишки? К тому же безумного? А он видел сияние. Возможно, Севастиан учитывает нежность его возраста, а Марк Феликс, как зверь, чувствует это и благодарен. И из благодарности льстит и лукавит.

Батюшка тихонько печалится в своём подвиге борьбы со страстями – и о прошлом, и о настоящем. Лишь о будущем радуется. Идут к нему люди с тяжестью, дымом и мыслями, и мысли эти бьют их по голове молотками. А стоит увидеть батюшку, как все мысли покидают человека – и обид ни на кого нет, и жаловаться уже не хочется. То ли слово он знает какое ласковое, то ли прикасается по-особенному. И журит умело, не калеча. Не тронул бы никогда Севастиан Фридриха, о таких, как лётчик, говорит он: «Вот этих людей нельзя трогать, они, по гордости, не вынесут ни замечания, ни выговора». А о таких, как Марк Феликс, иначе: «А других, по их смирению, можно».

Узнай об этом Фридрих, удивился бы: ведь это Марк Феликс вспыльчив и строптив, а я смиренный, однорукий, я тихий пастух. Я сильнее духом этого мальчишки, да придумал он сияние над домом батюшки! Добродушный Севастиан, ты открываешься только духовным младенцам? Ропщет Фридрих. Но на душе у него неспокойно, он уже сам себе не верит. Задирает голову к карагандинскому небу, ищет сияние над Михайловкой. А всюду горизонт!

Такого открытого горизонта, как в Караганде, Фридрих нигде не видел. Степь поёт, и только слепой не слышит песню её тихих красок. Коровы немного разбрелись, Фридрих читает истрёпанные книги.

друг, к несчастью он стал наркоманом, его лечили, он очень болел. Поначалу к нему в больницу ходило много друзей, ведь он был заводила и талантливый поэт, а потом только его родители и я. *(пер. с нем.)*

[2] Ты любительница рассказывать мне о других мужчинах. Зачем? *(пер. с нем.)*

[3] Однажды мой друг попросил, чтобы я привезла ему для исцеления большую икону, которая висела в церкви справа сразу при входе. «Вот привези, и я выздоровлю!» Так и сказал. Я поговорила со священником, и мы вместе с батюшкой и иконой приехали в больницу. Икона выше человеческого роста. Но слона в больницу завести было бы сложнее. Мама моего друга очень ругала меня. А икона помогла ему, он излечился. *(пер. с нем.)*

Разговорил он всё же дома «немого» старого казаха – тот, оказывается, и по-русски говорит, и, конечно, по-казахски, но далеко не с каждым. Начал Фридрих запоминать казахские выражения. Быстро идёт у него казахский в гору. Любопытный Ерканат тоже попросил Фридриха говорить по-немецки. И изумился: Федя, сынок, да ты послушай, как похожи звуки в казахском и немецком языках, похожи наши глотки! Пляшут казахский и немецкий языки каждый свои танцы, а движения порой одинаковые. Фридрих и Ерканат как родственники. Русский язык у обоих напряжённый, не уверенный, но это единственный их общий язык. Ерканат жизнь Фридриху спас, приютил, подкормил, работу нашёл, погибель была бы немцу без казаха.

Ранняя майская степь в этом году ещё нет-нет да порадует запоздалыми тюльпанами. Низкорослые, они грудятся, как птенцы. Подойдёшь, присядешь рядом, их бокаловидные бутоны тянутся к губам. Сильные цветы, их точки видны издалека. Фридрих не выдерживает и, ругая себя, срывает несколько цветков. Молочный, малиновый, жёлтый. Любуется пастух – да тюльпан краше розы! Губы Фридриха против воли тихонько начинают петь:

Ein edles Röslein zarte,
von roter Farbe schön,
blüht in mein's Herzens Garte:
Für all Blümlein ich's krön[1].

Песня обрывается. И зачем сгубил, дурак, эту красоту? Огорчённый своим поступком, пастух оборачивается, ищет глазами коровьего лидера Малыша, но вместо быка замечает три яркие точки на горизонте – две белых и одну синюю. Эти точки тревожат Фридриха, он не сводит с них глаз. Они движутся к нему.

Через время он вскрикивает и бежит к ним навстречу. Роза, сестра Роза в белом платке, с двумя котомками, и при ней сынок лет пяти в светлой рубахе, Эдик, он родился в 38-м, до войны, а в синем платье с вещмешком за плечами босая, бездетная Женя – жена. С силой прижимая Розу к своей груди, не отпуская рук, Фридрих кидается к племяннику, а в это время мысли о жене, одна другой больнее, бьют его – вот, не хотела детей, и поэтому пришла сейчас одна, но спасибо, что хоть от другого не родила, а ведь изменяла, изменяла постоянно, и немецкий язык так учить и не стала, мол, учи, русский, и 22 июня назвала фашистом, и в Караганду за ним, не фашистом, а советским лётчиком, сразу не поехала, и писем сюда не писала. Мыслей в его голове много, но нет среди них одной – а как же теперь Лидия?

– Hunger, grouser Hunger triew uns hiere, Friedrich, in Makeewka hat man nichts zuh beise[2], – честно, жарко шепчет на ухо сестра. А Женя подходит к Фридриху сзади и обнимает его, обнимающего Розу. Из его ладони сыплются на землю литые мёртвые тюльпаны.

***

1996.
Одно из самых приятных ощущений человека –
прикосновение елея ко лбу.
Давно нет кожи.

Аня быстро полощет тарелки под холодной струёй из крана, трёт их мочалкой, но Татьяна Малова, стоя рядом, уже подкидывает ей в раковину новые помытые огромные тарелки, покрикивая, ругая Анину нерасторопность. В трапезной жарко, деревянные стены шумно дышат; сейчас пост, и на

[1] Драгоценная розочка нежная,
красива красным цветом,
цветёт в саду моего сердца:
для всех цветов я её короную. *(пер. с нем.; немецкая песня)*

[2] Голод, лютый голод пригнал нас сюда, Фридрих, в Макеевке совсем нечего есть. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

столе овощной суп, картошка, тушёные баклажаны, небольшие жёлтые яблоки. Красивая, румяная Ольга-повар вытирает пот со лба; заходит Мишка, он то ли плотник, то ли просто нахлебник, с деловитым видом наливает себе супа в миску; чьи-то дети, как гуси, вбегают друг за дружкой в трапезную, шумно скидывают верхнюю одежду и так же, как гуси, гогочут и бормочут над едой.

В храме тихо. Пеленальщик грубо закрывает молчащему царственному младенцу рот, приставляет ухо к его спелёнутому животу. Мерные толчки. Повитуха бьётся там, ждёт родов вовнутрь. Одно из самых приятных ощущений человека – прикосновение елея ко лбу. Когда тело отдыхает, это приятнее его труда. Когда душа трудится, это приятнее её отдыха. Алая пяточка сияет под потолком храма, и весь младенец, родившись, скоро воспарит к куполу.

Анне хорошо в православном храме. Ей нравится, как батюшки служат – ходят, нараспев говорят, как волнуется в полном покое хор. Страсть православного хора полностью очищена от тьмы.

В трапезной стаи мух, всхлипывает кипящая вода в высоком ведре на печке. Проветривают, и вдохи декабрьского воздуха быстро прогоняют тепло. «Таня, Таня, Таня Малова, откуда растут эти тончайшие слюдяные крылышки надежды на другого – у существа с разбитыми скулами, лопнувшими барабанными перепонками? У меня уже нет ни одного участка тканей без душевного синяка. Я остаюсь внутренне целой, а истончившаяся оболочка местами прозрачная и голая. Давно нет кожи. Надежда всегда новая и сверкающая, но безкожный каркас причиняет при ходьбе боль».

Пчела облетает стотысячный цветок, несёт нектар в рот пастуха. Солнце плавает в стакане воды. Словно в янтаре, в меду лежит маленькая прелестная пчела, в жёлтых невидимых лучах.

Таня сердитая, очень худая, седые пряди торчат из-под платка. У неё руки в тесте, но взгляд её накидывает на Аню тёплый платок, успокаивает. Она яростно катает тесто, борясь с ним кулаками. Входит батюшка Пётр, Таня суетится, хочет прислужить ему или попросить благословения, но стесняется налипшего на руках теста. Аня снимает платок со своих плеч и загораживает Таню от батюшки, который благодарно улыбается, от горки нарезанного хлеба и белого солнца на клеёнке.

Рамка

***

Stehen blieben die Kirgisen
Wie erstarrtmit ihren Spießen;
So etwas, wie Deischen sang,
Halten sie noch nicht gehōret,
Waren ganz entzückt vom Klang...

David Kufeld. Das Lied vom Küster Deis[3]

1766. 1942. 2002. 2018.
Вязкое молоко цвета индиго.
Бог даровал впадающую в меня реку.

Красная немецкая корова, я иду к тебе прямо из дома в сарай. Молочная, ты скрестилась два века назад, франконского в тебе не меньше, чем степного, поволжского. Ты не комолая, твои полые рога похожи на лиру. Почему ты вопросительно смотришь? В моей руке ведро с чернилами. Вязкое, вязкое молоко цвета индиго из моих жил. Входит Лидия, я прячусь в нишу, открывшуюся в стене.

[3] Словно замерли киргизы,
Копья опустивши книзу;
Так, как Дайсхен пел, они
Никогда же не слыхали,
Звуком так восхищены...
Давид Куфельд. Песнь о Кюстере Дайсе (худ. пер. с нем. Венделина Мангольда)

Лидия дрожит. У неё слёзы на лице. Женщина садится к стойлу, чтобы подоить Марту, но коровы нет. Я боюсь шелохнуться. Слышен мужской шаг, крупный сутулый мужчина, вздыхая, становится позади Лидии. Она резко и нежно оборачивается к нему. Он волнуется.

– Lidia, tu sah selbst. Zenja is zuh mich kekomme. Mei Fraa[1].

Уныло висит серое яблоко паузы.

– Un was hast tu bschlose?[2] – глаза Лидии полны влаги, а сердце больше её самой.

– Tes is mei Fraa, Lidia, se is mei Fraa[3].

Фридрих пытается выйти, но в проходе Марк Феликс, его кулаки сжаты, взгляд прямой.

– Se geheert jetzt dich[4], – морщится от боли Фридрих, его лицо сползает с кулака Марка Феликса, хотя тот уже спрятал руки за спину.

– Ich wusst, dass tu schwach pist, Friedrich[5].

– In Michajlowka warw ich dich uf ejn Hieb um, Jung[6], – лицо Фридриха искажено.

– Ich reed nich von di Kraf[7].

Белый, как мел, Марк Феликс подходит к Лидии. Она, не ожидавшая его заступничества, закрывает передником заплаканное лицо, молодой мужчина отнимает её руки от лица и бережно целует их маленькими поцелуями. Фридриху больно, топор сердца ухает у него внутри, рубит на куски недавно выросший фундамент.

Восьмилетний Каспар вбегает к родителям в дом и кричит:

– Se hawe mich betrouche, isch pin keh Sohn von se, sondrn Bruhderschkind! Mei Vadr un ma Mudr sin pei s Prant ums Lewe kekomme[8].

Люка и Ханна готовятся к трапезе. Глава семейства медленно поднимает глаза.

– Tu pist unser Sohn, Kaspar. Lahd da Schwestre zu s Ese in, tes is Zeit zuh n Ahmdgebeet[9].

Йоханна, нежная Йоханна, значит, родившегося младенца зовут Люка? У него прямые брови. В комнате бродит заходящее, сонное солнце.

– Julian, hörst Du, wie Lükas girrt? Ich habe ihm deine Hälfte des Mondballes geschenkt[10].

Люка Зигфрид, ты снова приедешь в Москву и снова пойдёшь за обозом в Поволжье. О тебе никогда не узнает твой отец. Юлиан закроет уши руками. Йоханне больше не расковырять рану его рта. Аккуратный Бонн танцует польку на круглой площадке монетки евро.

– Самозванка, твои глаза уже алые, а ты всё кличешь себя повестью. Тебя слишком много. Уймись. Ты многолюдна, как судоходная река. И рук у тебя в избытке, и языков, и белые вершины твоих гор идут ко дну. Сколько в тебе плоскостей. Сколько игральных костей брошено на скатерть.

– Все стороны моего многогранника лежат на одном листе.

Есть ли более чарующий пейзаж, чем показавшийся вдалеке и приближающийся ко мне поезд, из которого сейчас выйдет дорогой человек? Бог даровал впадающую в меня реку. Вот она целует берега и нежно и властно растекается, освежая меня с головы до пят намоленной водой. Я встречаю тебя на Ленинградском вокзале. Мои руки лежат на кудрявых головах Марийки и Люки, читатель.

---

[1] Лидия, ты видела сама. Ко мне приехала Женя. Моя жена. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[2] И что ты решил? *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[3] Это моя жена, Лидия, она моя жена. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[4] Она теперь твоя. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[5] Я знал, что ты слабый, Фридрих. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[6] В Михайловке я одним ударом опрокинул тебя на землю, мальчик. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[7] Я не об этой силе. *(пер. с диалекта поволжских немцев)*

[8] Вы обманули меня, я вам не сын, а племянник! Мои отец и мамочка погибли при пожаре. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[9] Ты наш сын, Каспар. Пригласи сестёр к столу, время обеденной молитвы. *(пер. с нем. второй половины XVIII в.)*

[10] Юлиан, ты слышишь, как гулит Люка? Я подарила ему твою половинку мяча луны. *(пер. с нем.)*

Данила ДАВЫДОВ

***

положим, я иду за ними
положим власть есть у меня
положим, их употребивши
смогу добыть и для себя

бабло, властительство, почёт
и красных бабочек полёт
на яузе армейский флот
и чтоб в костюме я, прибывши

и человеков пожиранье
концлагеря, концлагеря
чтоб не осталось пострадавших
совсем, серьёзно говоря

и губернаторства на марсе
и на титане весь мой флот
и дальше, как возможно дальше.
но нет, саднит опять живот.

мне нравится, что мы больные,
что мы бессильные, ведь нас
отпустишь в космос и, конечно,
осуществится мой рассказ

мы слабые, и это славно
зато мы горячи душой
и этот купол православный
и астероид небольшой

***

мудак, подонок и говно!
сказал мне утром вот прохожий
он как-то был весь неухожен
но это в самом деле так

я не простак, но не хитёр
я просто как-то выживаю
не знаю как, как может вор
часть жизни посвятив сараю

Данила Давыдов родился в 1977 году. Поэт, прозаик, критик, литературтрегер, художник, кандидат филологических наук. Девять книг стихов, книга прозы, книга критики и эссеистики. Переведен более чем на десять языков. Предыдущая публикация в «Волге» – «"Исповедь писаря" и другие рассказы» (2017, № 11-12). Живёт в Москве.

мне холодно, всегда, везде,
со всеми, даже и с родными
когда побудете в нигде

тогда вы станете другими
а мне чего, мне ясен срок,
прекрасно выучен урок

***

мне кажется, что не должны страдать
ваще все люди. вне пола, рас, прочих там различий
я знаю, что звучит возможно неприлично
но никуда не следует бежать

мы всё-таки приматы, нам опять-
таки положено быть разными
но всё-таки не ракообразными,
не усоногими, не то начну стрелять

какого чорта? есть модели
где любим мы и любят нас
но, может, отдадут приказ

и мы восстанем ради цели
которая всех разлучит навек
отменит и понятье человек

***

я отпускаю всех, кому не до меня
какого-то особенного вроде и не делаю
всё это уже прямо до предела.
летают ангелы и крыльями звенят.

мне ничего не нужно
я как бушмен личинку съесть могу
но если снова я в стогу найду
тебя, тут уж не найдёшь предела

***

вот жук какой-то проползает
идёт качаясь человек
и птица в небесах летает
и дождь холодный словно снег

на лавочке сидит подонок
визжит распущенный ребенок
машина въехала в бордюр
и ржет тусовка местных дур

мент проезжает не сигналя
за парком голубеют дали
а может зеленеют что ж
не сразу это всё поймешь

а как поймешь иди оденься
теплей, и в гости ни ногой
возможно и не будет шанса
потом понять что ты такой

***

на череп моцарта с газетной полосы
смотрели грязные трусы
сказал тут череп: стыдно, братцы
пора бы с этим разобраться

пусть мы трусы но мы не трусы
а вы таскаете те бусы
что как туземцам вам вручили
у вас, что, разум отключили?

кто смотрит на кого, неясно
однако то и то согласно
клеймят уродливость людей
и тут пойми, кто лицедей

***

хотел бы быть я чистым разумом
чтоб не было ни зависимостей, ни утех
но это с чего вот так сразу вот?
почему вперед всех?

виолончелистка руками мускулистыми
живописец тоже изрядно жёсткой рукой
доказывают, что им быть чистыми
а я кто такой?

утро встает над родной столицей
в ней делаются страшные дела
нечего, нечего мне стыдится
просто судьба сюда привела

а если б кто-нибудь хоть раз постыдился
возможно и утро было б другим
с какой-нибудь за окном пролетающей птицей
с отсутствием даже мысли, что третий рим

спокойный взгляд на спокойные вещи
окончательно погибшего существа
это, в сущности, не очень страшные вести
доброе утро, родная москва

***

иди сюда, мой скромный, неплохой
и нехороший, просто вот такой,
я протяну свои стальные лапы
включу рецепторы, и пота твоего
почувствую приятный запах
и больше ты не вспомнишь ничего

мне часто снится странная сайнс фикшн
бывает фэнтези, но это не люблю,
а сам-то никого не погублю,
но как избегнуть этих вот ошибок?
лишь запах яблок, груш и вишен
блистанье птиц, скользящий облик рыбок

росгидромет мне говорит: гроза
свинцово было небо, щас – слеза
невинного младенца, но обманчив
мир этих сущностей, которые нельзя
сожечь дотла или упрятать в ящик
ну то есть можно, но нельзя, нельзя

***

формы самодисциплины
приведут меня к инфаркту
верю в силу медицины
но не верю даже факту

а гипотезе тем боле
не поверю, господа
говорите, мало боли?
испытайте это, да

***

может быть, я, деточка,
с твоей точки зрения растительная какая
форма жизни,
ведь мне всё простить – пустяк,
лишь было бы солнышко за окошком,
ну, или хотя бы искусственный свет

всё так

но зато я всё знаю про движенье планет,
про то, что светит отчизне,
про то, какая когда под тобою сломается веточка

***

этого вот не пойму никогда
красносельская – и вдруг чайки
может, яуза, но нет, ерунда
вся в говне –
это, впрочем, разъяснят в чрезвычайке

***

ноги босы, грязно тело
и сосёшь доселе грудь
в этом, братец, всё и дело
в этом, братец, вся и суть

надо бы, вподобь инсектам
сразу выползть и ползти
а когда придавит некто
сообщить, что по пути

ничего, мой позвоночный,
будут лучше времена
превратят в коктейль молочный
чтобы выпила страна

***

всем я должен, перед всеми я виноват, во всем я не прав
совершается некий неустановленный устав
ладно, я согласен, хорошо, давайте так
сил моих правда более нету, но это, право, пустяк

совсем не пойму, зачем, почему, отчего
но мне же и не нужно понимать, я второстепенное существо
делайте что хотите, понимайте, какие вы непревзойденные величины
мне будет спокойно где нет вас, воды пусты и просторы пустынны

***

уверенность что ты есть сила
что всё это сломила нах
она конечно нам могила
на переменчивых ветрах

зачем учить языковые
законы, если вот себе
приходят, говорят: такие!
мы все сидели, ни бе-бе

никто ни бе и ни бе-бе-бе
тут много разных и отличных
наверно я из неприличных
потворствую своей судьбе

***

что там в воздухе носилось
что за сила там была
хоть спросилось, не открылось
или память подвела

не желая, не жалея
за случившимся лучом
все пошли, не изменилось
впрочем ничего ни в чём

***

мы смерть зовём, хотя зачем зовём,
когда она и так повсюду ходит.
мы с ней играем. каждый о своём,
хотя и взрослые, казалось б, люди

наверно, там есть то, чем проживём,
что окончательно уверит в чуде,
но всё ж живём. неявно так живём.
но что-то так или иначе будет.

зачем же тут? тут есть зачем и с кем,
и я не вижу смысла в дикой спешке,
мне нравится пока приют земной

но там уже, надеюсь, мы не пешки,
не представители каких-либо систем.
идем, грызем небесные орешки.
Іванів, Колчев, Горенко со мной.

***

все хотят по-спокойненькому
не будет вам спокойненького
будут кровь и война, и много чего такого
о чём и думать страшно.

будут все библейские проклятья
будут холод, сумрак, мрак
я так хотел, чтоб ты надела это платье –
но не получается никак

Геннадий КАНЕВСКИЙ

[***]

честные заборы и кюветы.
пыльные лодыжки и ступни.
мы ещё остались после лета,
против света, лицами в тени.
нас считал растерянною массой,
мясом для больших очередей
тот, кто заправлял свободной кассой
и кричал «петровна, перебей!»
но мосты над ледяною коркой
рек, текущих с севера на юг,
вновь напоминают город горький,
где любовь по карточкам дают.
зрители захлопали – пора нам.
вон уже готовы куры-гриль,
и на солнце тает панорама,
обещая будущую пыль.

[памяти ю. одарченко]

падок день
до фугасов и мортир.
лишь одна ночная тень
утешает бедный мир.
«ну, покажь» –
слышен шелест над водой.
старомодный метранпаж
собирает сны в ладонь.
взяв редут
синей венки у виска,
маршем медленным идут
постраничные войска,
и на дне,
превращая свет в иглу,
пишет вирши сон во сне
по копчёному стеклу.

Геннадий Каневский (р. 1965) – московский поэт и эссеист. Автор шести поэтических книг, выходивших в издательствах Санкт-Петербурга, Москвы и Нью-Йорка, и книги избранных стихотворений «Сеанс» (М.: ТГ «Иван-чай», 2016), а также ряда публикаций в российской и зарубежной литературной периодике. Участник нескольких поэтических антологий и поэтических фестивалей. Стихи переводились на английский, шведский, итальянский, венгерский, украинский и удмуртский языки. Лауреат премии «Московский наблюдатель» за заметки о литературной жизни (2013), премии журнала «Октябрь» (2015), спецпремии «Московский счет» за книгу «Сеанс» (2016).

[***]

как менеджеры слабого звена

честь ни за что
в окне туманном ветка
секретные запалы городов
обугленных
несложные заставы
и антрацит меж хлюпающих глин

как сбивчивый поход за слепотой

привал на дне
рукой дрожащей спичку
как можно дальше
и на клумбе зря
два небольших анютиных глазка
меж ноготков рекламного гламура

как перечень расходных материалов

неплотный год
освистанная смерть
день послевкусия
наклон равнины
обменник по слогам
ручная кладь

[***]

андрею чемоданову

мама любила хиля.
папа любил джетро талл.
ты никого не любила.
я тебя обожал.
лежали с тобою голые.
играли в вождя и скво.
в то время как дэвид боуи
любил себя самого.

[***]

где старые дачи всегда,
пролитые как из ведра
на холм и в овраги,
пять дней до субботы – среда,
черёмуховы холода
в кульке из бумаги.

где старые дачи – каюк:
там каждому в щёлку дают

глядеть из купален,
как свет изменяется весь,
как спеет придонная взвесь,
как мир идеален.

где старые дачи – продрог.
там речь приблудилась – щенок,
там люди-морфемы,
там чайник свистит, идиот,
там дождь перед утром пройдёт
рассказывать, где мы.

[***]

н. а.

...и пальцы спускаются вниз
застёжки крючки теребя
реки сероватый разрез
в холодном боку ноября
скрипит рассыхается стул
табличка – сдаётся жильё
все любят вирджинию вулф
никто не боится её
камнями карманы набив
себя ободряя *come on*
бестрепетный речитатив
от глаз заслонив рукавом
подёрнуты пеплом угли
повсюду веселье и грязь
они огибают углы
а мы ничего не боясь

[***]

более швея, чем мотористка,
более змея, как говорится,
чем горячий вересковый мёд,
здесь училась – и ушла на подвиг:
вывернуть наружу швы на подлых,
прострочить весёлый пулемёт.
и теперь на башнях водокачек
шелестит бумажный передатчик,
деятель засуженных искусств,
всё пытаясь спеть, как новый бабель,
эту смерть, её звенящий кабель,
эту жизнь – во рту стоящий вкус.

[баллада]

объявили по громкой конец времён.
занавесили зеркала.
первым в этот вечер сгорел «сайгон»,

потому что любовь – зола.
и зевак бессмысленные пинки
попадали в тугую плоть.

но смотрели хмуро из-под руки
те, кому говорил господь.

кто кричал всю ночь, тот к утру обмяк,
лишь глазами туда косил,
где по небу города плыл червяк –
талисман специальных сил.
петиметры пели про сатану
и косплеили чудь и водь.

но, во рту камышинки держа, по дну
шли, кому говорил господь.

и теперь мы все позабыли свет,
перед тем позабывши газ.
и давно ни кожи, ни лёгких нет –
чешуя и жабры у нас.
и беспечные некогда наши дни
мы как соль собрали в щепоть.

а из всех погибли только они.
те, кому говорил господь.

[***]

как будто бубня себе под нос,
как будто летя с земли на марс,
простое, трёхлетнее пой, матрос –
в матроске и за руку – пой про нас.

как будто бы песня тебя защищает
и пыльную землю тебе завещает.

как будто находишься не в раю,
куда попадёшь из железных дней,
а тут, на тверской, где и я стою
под песню, не в силах расстаться с ней.

как будто бы в небе летят эскадрильи,
мечтая, что где-то кого-то убили.

как будто на каждом лежит земля,
невидимый, тонкий и тёмный слой,
как будто поёт за тобой твоя
шальная пуля о доле злой.

как будто не этот младенческий лепет,
а солнце последнее всходит и слепит.

Татьяна РИЗДВЕНКО

РАССКАЗЫ

Симметрия

Отель в маленьком городе, популярном у начитанных туристов.

Небольшой уютный номер. Неожиданно с гардеробной, где смогут спрятаться человек пять, и не будет тесно.

Две полуторные кровати насильственно сдвинуты.

Две лампочки для чтения тускло сияют в головах.

Постояльцы, муж и жена, готовятся ко сну. Неторопливо, с отпускным смаком.

Их номер двадцать первый.

Двадцать второй занимают друзья, тоже семейная пара.

Путешествуют вчетвером, так веселей. Впечатления учетверяются.

Они уже выпили в их номере. Закусили оливками, интеллигентно побалагурили. Пожелали друг другу спокойной ночи, разошлись.

Отель тихий, вдали от большака. Московским невротикам главное, чтоб тихо.

На берегу важной русской реки.

По бокам от кроватей тумбочки. На каждой книга. На правой тумбочке открытый футляр с очками. На левой – бутылка минералки, крем для рук, серёжки.

Муж и жена, по очереди, выходят из душа. Укладываются, точней, усаживаются. Подушка под спину, очки, книжка.

Ей книжку дала почитать подруга, та, что в соседнем номере.

Его книгу специально захватил для него муж подруги из соседнего номера.

Начинают каждый свою.

Книги похожи, для начала, черно-белыми старинными фотографиями.

Читают. Свет от ночников слабый, хилый

Её книга – воспоминания Танеевой-Вырубовой, Анны Александровны. Имя с перчинкой исторического скандала.

Его книга без перчинки, воспоминания святителя Луки, Войно-Ясенецкого.

Фрейлина императрицы, ближайшая подруга семьи последнего царя. 1884–1964.

Врач, блестящий хирург, сделавший ряд важных открытий в области гнойной хирургии, автор ученых трудов, профессор. Лауреат Сталинской премии. 1877–1961.

Анна Александровна постригается в монахини в 1923 году, приняв имя Марии.

Войно-Ясенецкий, будучи уже известным хирургом, опытнейшим врачом, профессором, руководителем Ташкентской больницы, в 1923 году становится архиереем, приняв имя Луки. Карьеру врачебную не прекращает.

Её книга называется «Страницы моей жизни».

Его «Я полюбил страдание».

...Мемуары – идеальное чтение для небольшого путешествия.

Он читает последовательно, она вразброс. Зацепится за фотографию, спускается глазами на текст.

– Послушай, как интересно, – говорит он и читает фрагмент из книжки. Она слушает вполуха.

Татьяна Риздвенко окончила худграф Московского педагогического университета. Была художником по росписи фарфора, преподавателем живописи, журналистом, копирайтером, руководила литературной студией для подростков в Доме Щепкина. В настоящее время работает в сфере арт-коммуникаций. Живёт в Москве. Стихи, рассказы, рецензии печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», вестнике современного искусства «Цирк "Олимп"», поэтических антологиях. Автор трёх поэтических сборников. В «Волге» публиковались стихи (2015) и проза (2017).

Читают, каждый своё.

– Вот уроды, – говорит она.

– Что там? – спрашивает он.

– Какой кошмар, – говорит она, сама себе. Читает, как Вырубову, обвиняя во многих грязных вещах, подвергли медицинскому освидетельствованию. Установившему, что фрейлина – девственница.

Читательница книжки представляет, как заключение медкомиссии читают лысые, в пенсне, мужи. Отводят глаза, не зная, что сказать по этому поводу.

Как, интересно, было написано в бумажке заключения: virginal?

Какие именно доказательства вины, участия в кознях, заговорах, «игре в четыре руки» с Распутиным обвинители надеялись найти под юбками у Анны Александровны?

Что за гипотеза рушилась?

Сам факт такой экспертизы чудовищен и противозаконен, думает она.

– Уроды, – повторяет.

Он не реагирует.

Он в Фатежском уезде, деревня Любеж. Случай из медпрактики уездного доктора. *«Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия, сделанная в совершенно исключительных условиях»*. Обманываясь триумфальном тоном, читает дальше. При осмотре земской школы прибегает девочка с братом-младенцем на руках. Тот задыхается, в горле застряла кусочек сахара. Войно-Ясенецкий оперирует. Из подручных средств перочинный нож, вата, немного сулемы. Режет, положив ребёнка на колени. Один, без ассистента. Предложил помочь учительнице, та в ужасе убежала. Бабка-уборщица оказалась крепче, сделала доктору трубочку из гусиного пера, но тоже капитулировала. Сам-один сделал разрез на трахоме, вставил трубочку. Правда, *«к сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже, по-видимому, в бронхе»*.

Ну вот, начали за здравие, кончили за упокой.

Листая книгу, она натыкается на описание Вырубовой. Один из свидетелей отмечает, что при известной полноте в танце Анна Александровна была грациозна и легка как пёрышко.

Читательнице нравится, она перечитывает абзац.

У него: тридцати двух лет от роду, оставив сиротами четверых детей, от тифа умирает жена Воина-Ясенецкого. Читая псалмы над телом, вдовец в одном из стихов видит Божье предписание немедля взять детям новую мать. Следующим же утром доктор сватается к вдовой помощнице, честно ссылаясь на предпосылки своего решения. Автор подчеркивает, что вторая жена, Белецкая, была только матерью детям его. В результате: отец мотал жизнь по ссылкам, Белецкая растила и вырастила его детей, заменив обоих родителей.

У неё. Анна Александровна была замужем, Танеева – за Вырубовым. Целый год, до развода... Как сохранила девственность, размышляет читательница. К бездетной Вырубовой были горячо привязаны наследники, великим княжнам она была старшей подругой.

В его и её книжках есть похожие фотографии.

Святитель Лука, он же профессор Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович, в окружении учеников и последователей. В основном дамы в одеждах сестер милосердия.

Анна Александровна на деньги, полученные по страховке после железнодорожной катастрофы, строит лазарет. На фото красивая полная Вырубова в палате лазарета, окруженная усатыми богатырями в больничных пижамах.

Герои книг, его и ее, прожили долгие жизни, полные лишений.

На красивом лице Вырубовой, на высоком лбу – в 1917 году появляется шрам от приклада. До старости Анна Александровна сохраняет совершенно детское выражение больших светлых глаз.

Святитель же Лука в последние годы жизни практически ослеп; книга воспоминаний надиктована Лукой его секретарю.

– Представляешь, шесть с лишним лет жил в Переславле-Залесском, – говорит он. Оба любят Переславль, город, чем-то похожий на тот, в котором они сейчас.

– Здорово, – говорит она, без выражения. Она отложила книжку, вытянулась, наслаждаясь свежестью постельного белья, хрустящего, может, даже накрахмаленного. Сейчас уже не крахмалят, но в провинции все по-другому.

– Послушай! – говорит он. Воодушевляясь, снимает очки и размахивает ими, – когда Войно-Ясенецкого высылали из Ташкента, отправляя в первую ссылку, поезд не мог тронуться. Народ, протестуя, лег на рельсы!

Она молчит. Он видит, что она спит.

Он закрывает книжку, снимает очки, кладёт на тумбочку. Выключает свет.

Фактически начался следующий день. Пора и честь знать.

Каждый прочитал страниц по тридцать.

Самое светлое (детство, юность) прочитано уютным вечером в маленьком городке.

Страницы страданий оставлены до Москвы. Непреднамеренно, никакого манёвра, так получилось.

Впрочем, забежав вперёд, она получила представление о том, что ожидает Анну Александровну после февральской революции. Он пока лишь догадывается о том, что ждёт святителя Луку после высылки из Ташкента.

Он щелкает выключателем. Комнату затапливают тишина и темнота. Он натягивает одеяло. Набегает волна телесной радости, в следующую секунду он засыпает.

Тишина. Урчание крошечного гостиничного холодильника не нарушает тишину, подчеркивает её плотность.

Темнота. Густая, сложно-синяя, будто написана хорошим художником, в городке их жило немало.

Животъ

Однажды в пионерлагерь на западе Московской области прислали на июльскую смену девочек из детского дома. Шестерых, в шестой отряд, к девятилеткам, обычным детям, дочкам и сыночкам работников трансформаторного завода.

Сейчас бы это как-нибудь назвали и обосновали, а тогда просто прислали, без концепций.

Для начала вожатых потрясли детдомовские чемоданы. Одинаковые, аккуратнейшим образом собранные, будто роботом. В едином порядке здесь лежали совершенно идентичные платья, кстати, довольны симпатичные, трусы, майки, носки, спортивный костюм и умилительная ситцевая косыночка от солнца. Вещи учитывали размеры пионерок – от крупной атлетической Евстратенко до мелких сестер Котовых.

Детдомовские были прекрасные девочки, отзывчивые, жарко благодарные, хотя и не без странностей. Особый колорит создавали бритые головы: профилактика педикулёза. На отрядных мероприятиях шесть синеватых кочанов выделялись средь вихров и косичек и вносили диссонанс в идиллические картины а ля Дейнека.

Детдомовские любили болеть, верней, сказываться больными. Болели у них места закрытые, где не проверишь: голова и живот. От головы давали лиловатую таблетку цитрамона, на вкус непротивную, даже интересную. Живот восемнадцатилетние вожатые, сами полудети, лечили надёжным домашним способом: длительным поглаживанием по часовой стрелке. От процедуры мнимые больные стихали, с обожанием глядя на вожатых, которых лечение тоже по-своему завораживало. Если даже ладонь умилялась круговой ласке – будто гладишь нагретый солнцем песочек, что уж говорить о животе, откровенно блаженствующем. Бурчание, предшествующее обычно поносу, если и было, то стихало. Однажды таким способом чуть не убаюкали приступ аппендицита у Евстратенко, хорошо, пионерку стало рвать, побежали за доктором, а через полчаса девочку увезли в Одинцово. Отряд в ужасе смотрел, как в белую машину на носилках загружают Евстратенко, тоже белую.

Вожатые, студентки текстильного, в своей гипертрофированной впечатлительности бритых пионерок сначала боялись, а потом полюбили. Студентка Чигирь и детдомовка Соина целый год потом переписывались, но после девочка, видимо, вошла в пубертат, а студентка вышла замуж, переписка прекратилась.

****

Элла вышла замуж на третьем курсе.

Свадьба эффектной Эллы и красивого Дениса, студента известного технического вуза, стала сенсацией и всех взволновала.

Однокурсницы были званы на скромное и, как им казалось, оперативное торжество. Небольшая двушка на западе столицы просияла и стала на сутки смысловым центром Вселенной.

На праздничном застолье говорилось много высокопарных тостов. Однокурсницы, будущие модельерши, не сговариваясь, следили за Эллой: пьёт, не пьёт. Элла пила. Очень красивая, в нежно-персиковом платье, сшитом по её собственному эскизу умелицей-мамой, она пила с удовольствием, не филонила, в рукав не сливала.

Свадьба прошла, и все пошло как обычно: учёба, лекции, рисунок, живопись. Композиция, история искусств, практика на швейных производствах.

Однокурсницы в странном для двадцатилетних девчонок бабском азарте установили за Эллочкиным животом наблюдение.

Живот был примечателен тем, что практически отсутствовал.

Миниатюрная Элла попадала в ту малообитаемую нишу маленьких до коротышечности, но при этом обворожительно изящных женщин. Точёные ручки-ножки, ровная спина, смуглая впадина на месте живота. Пепельные кудри, изящные юбки по колено, необычная звучная фамилия, которую Элла поменяла, но через много лет извлекла, как снегиря из шляпы, и пустила в дело.

Став замужней женщиной, Элла вообще не изменилась. Как и все, рисовала или писала, ходила на этюды, сидела на лекциях, лепила на занятиях по пластической анатомии. Эллочка была ярко талантливая девочка, с лёгким веселым даром, как у Пушкина, но по рисовальной линии. Став в замужестве Цветковой, она еще сильней расцвела, в том числе и в творческом плане.

Живот же Эллочкин, сколько за ним не присматривали, не менялся и был все такой же. И на зачётах, и на весенней сессии вплоть до каникул.

Первого сентября, хоп, выяснилось, что в последних числах августа Элла родила мальчика. И ушла в академ.

Не, ну как такое возможно?!!

Востроглазые однокурсницы, которым почему-то хотелось, чтоб Эллино замужество было по залёту, беременность проглядели. Победу своих пророчеств праздновать было поздно и неуместно...

Через год молодая мама вернулась на четвёртый курс с животом еще более впалым, похудевшая и очень хорошенькая. Пришла с кучей идей, с папкой домашних натюрмортов, кипами стремительных набросков, изображающих крошечного Васю, а всем известно, как трудно рисовать детей.

...Маленький Вася своей малышовой статью, кудрями и глазищами был копия – знаменитый серовский Мика Морозов, эталон детского портрета.

Однокурсницы навещали Эллу в Кунцеве, малыми партиями, с большим любопытством. В небольшой квартирке всегда был разложен мольберт, пахло гуашью и горячим утюгом, Элла шила на заказ. По комнатам уверенно ковылял златокудрый Василий Денисович, одновременно ангел и богатырь. На правом локте, как вельможа плащ, он таскал, никогда не выпуская из рук, собственную описанную пеленку, *манячку*. Она была у него за игрушку и за талисман. При попытке отобрать кусок материи Вася орал и бился, успокаиваясь мгновенно по получении назад. *Манячку* по ночам вынимали из разжавшегося кулачка, стирали, гладили и подкладывали обратно.

...Когда Вася был совсем крохотный и мучился, как все младенцы, животом, Эля гладила молочное пузико по часовой стрелке и вспоминала пионерку Соину: что она, как.

Долго ли, коротко ли, все рассыпались и раскатились, как пуговицы из жестяной коробки. Многие пошли по художественной части, мало кто по модельерской. Иные изменили искусству с риэлтерством и даже банковским делом. Дружили, группками. Многие как бы исчезли, но там, вне зоны видимости, но в зоне слухов, жили, творили, добивались успеха, или не добивались.

Фейсбук нарушил, взбаламутил естественное течение жизни.

В соцсетях нашлись все, кроме Эллочки.

А Элла не терялась – вообще, совсем. По прошествии лет, но довольно скоро, смуглая миниатюрная Элла с плоским шафрановым животом стала известным модельером. В Парижской и даже Московской неделях мод не участвовала, но создала собственный бренд одежды, вполне успешный. Вот когда пригодилась звучная фамилия.

Эллочкина одежда предназначалась для крупных женщин. Будучи огромного вкуса и при этом талантливым конструктором, Элла умела одеть больших женщин так, что они выглядели изящны-

ми, легкими, даже парящими, слегка богемными, без намека на живот, что целевая аудитория очень ценила. В Эллочкином салоне на задворках Петровки всегда было оживлённо, хотя стоили одежки ощутимых денег.

Знаменитый *эффект плоского живота* достигался хитрым и точным кроем. Его пытались повторить, но была там одна конструкционная фишка и хитрость, которая не поддавалась копированию.

****

Интересно с этими животами...

Впалый живот подростка, волнистый дамочки, непомерный пивного толстяка, а внутри одно и то же.

Как в чемоданах девочек из Одинцовского детдома, в животах лежат аккуратно по своим местам завиток желудка, маленькая да удаленькая поджелудочная, волнистый толстый кишечник, уложенные, как пряжа, петли тонкого, загадочная селезёнка, основательная печенка и при ней желчный пузырь.

Тесно, убористо лежат в брюшной полости бесценные сокровища. Не случайно ранение в живот раньше считалось смертельным. Не зря живот, животь в древнерусском означало жизнь.

****

В Склиф Денис попал в конце марта и провел здесь в общей сложности сорок пять дней. Нежную молочно-зелёную весну, и позднюю, в белой и сиреневой пене, наблюдал из окошка.

Авария, о которой он торопился забыть, но приходящий следователь все время напоминал (-ла, это была девушка), оставила его без селезёнки. Человек без селезёнки, представлялся Денис, отвечая на сочувственные звонки.

Загадочный орган селезёнка. Человеческий организм, кажется, готов пожертвовать ею в любую минуту и только и ждет случая.

Пострадали также кости таза, раздробило вертлужную впадину.

Милицейский чин в подпитии нёсся по встречке, лоб в лоб. Сам остался целёхонек, во всех смыслах, ничего козлу за это не было.

Денис, на пассажирском месте, еще хорошо отделался, см. выше. Водитель же такси вышел в лобовое стекло, на приборной доске виднелся тощий зад. Судиться, однако, не стал, были проблемы с законом, как позже выяснилось.

Машина восстановлению не подлежала.

Сначала подживали швы. Один свищ так и не сдался, *плакал* потом несколько лет. Справился с ним, как ни странно, гомеопат.

Поскольку гипс на задницу не наложишь, тазобедренный сустав срастался сам, как мог. Позже выяснилось, смог так себе, подвижность вернулась процентов на 80%. После трёх недель лежания следовало расхаживать ногу, для чего словно специально был создан бесконечный коридор главного корпуса и открытые балконы, тянущиеся вдоль здания. Те, что в торце, использовались для покойников, если кто-то умирал ночью: в ночное время морг не работал. Это было интимным секретом Института скорой помощи, материалом для будущих *мифов Склифа.*

У кровати стояли б/у костыли, перемотанные чёрным скочем. Они напоминали музейные пищали.

Узкую двухместную палату, после нескольких переездов, он делил с Костей. Двадцатидвухлетний Костя, сын известного архитектора, был настоящий московский принц, красивый, как Феликс Юсупов работы Серова, даже лучше. Костя попал в Склиф с огнестрельным ранением в живот, две дырки.

Шальную пулю красивый Костя поймал при перестрелке в клубе, где служил диджеем. Или не служил, принцы ведь не работают.

Костя, хоть и был принцем, оказался нормальным парнем. Они с Денисом, старше на пятнадцать лет, отлично ладили: болтали, когда охота, молчали, друг другу не докучали.

Жена Дениса почти подружилась с Костиной мамой, худощавой немолодой женщиной, он был поздний ребенок, и единственный. Костя поправлялся медленно, были осложнения, всегда ровная спокойная мама дежурила при нем почти безотлучно. Костин живот, когда его распеленывали во время перевязок, выглядел как одеяло в технике пэчворк, или полотно Ротко.

Денис отводил взгляд, нащупывал собственные бинты. Жена-художница хвалила его живот, говорила, как у атлета из красного зала ГМИИ. Теперь будет шрам. Хорошо руки-ноги более-менее на месте, продолжая античный ряд.

Как-то приспособились. Друг дружке помогали, по-мужски, без соплей: приподняться, встать дойти. Костина и Денисова женщины, мама и жена, сбалансировались в сочувственном равновесии, знали, когда отвернуться или выйти, когда смолчать, когда, наоборот, предложить помощь, когда пошутить.

От Костиной мамы Денису перепадали золотистые, белые на изломе щучьи котлеты, кроветворные печеночные оладьи и другая изящная еда. Жена Дениса, беременная вторым, на шестом месяце вполне бодрая и поджарая, готовила сразу на двоих узников замка Склиф, гнала и привозила клюквенные морсы.

А была еще и Света, загадочная Света. Они с Костиной мамой приходили в шахматном порядке, если пересекались, то по касательной. Света бывала реже, только по вечерам и выходным, но регулярно. Ей, по осторожной оценке, было не меньше тридцати пяти. Изящная платиновая блондинка ручной работы, вполне себе взрослая женщина, московская офисная штучка и – внимание! – *Костина девушка.*

Они вообще не увязывались в пару... Денис специально совмещал свои «тренировки», расхаживанья по коридору, со Светиными визитами, чтобы иметь хотя бы гипотетическое подтверждение их связи, отношений. Он желал застать их за поцелуем или объятьями (большего от Кости в его положении ждать не приходилось), чтоб в Светиных докучливых посещениях был хоть какой-то смысл.

Пойду пройдусь. *На часок!* – подчеркивал он. Зная географию и атмосферу Склифа, нужно было понимать героику этого *часка.*

Возвращался, коварно, через минут через сорок. Платиновая, с тщательным макияжем Света все так же сидела у кровати Кости и щебетала высоким травестийным голосом. Денис фокусировал слух: речь шла о промышленных выставках, партнерах, дедлайнах. Света ерошила Костины ореховые волосы, касалась подозрительно румяных щек, худых ключиц. Заметной длины пальцы с алыми праздничными ногтями, гладкие руки женщины с посудомоечной машиной.

Это было почти непристойно... В подружки она не годилась, по всему, скорей в порочные кузины.

Света была сладка как инжир. Костю она звала Костенька, иногда вообще Косточка, как собачку. Дениса, по-соседски, Дениской, их обоих: мальчишки. Его в пот бросало, но терпел, конечно. Света приносила в пластиковых коробочках яства из кофеен. Дениска, хотите чизкейк? Есть еще чёрный принц...

Денис сдержанно отказывался, благодарил, зарывался в книжку. Вместе с морсами, гуляшом и пловом неунывающая жена таскала ему книги. Никогда не читал в таких количествах, ни до, ни после. Он перечитала всего Паустовского, всего Чехова, вплоть до переписки, пьесы просто глотал, а раньше он их оставлял на потом, как невкусное, и не доходили руки. Прочитал «Окаянные дни», всего Сологуба, книжечку заповедного, слишком скоро закончившегося Добычина. Были всё-таки плюсы в его положении...

Чизкейк и чёрный принц так мало сочетались с Костиными шрамами, двумя стомами, с тесной палатой, трубчатыми кроватями, капельницами и синеватым светом, что Денис содрогался: дура, нелепая дура!

...Потому к Светиным приходам он приурочивал свои тренировки. Исхудалым пауком, выбрасывая костыли, выходил в коридор. Однажды, в краеведческом задоре, сунулся на неизвестную лестницу. Двумя пролётами ниже обнаружилась курилка. Денис спустился постоять с мужиками, подышать синеватым мужским воздухом. Один веселый бинтованный курильщик (сил нет терпеть!) приковылял с капельницей. Правой, подпёртой костылем, раскуривал, из левой выходила трубка. Капельница, прямая и строгая, индифферентно побулькивала рядом.

Мужики корректно стряхивали пепел и бычки в поллитровую банку с коричневой жижей. Гыкали, гаганили, главное, не про болячки. Покажь им? – Да ладно! – Ну покажи! – просил другой пижамный курильщик нетерпеливца с капельницей. Тот задрал пижаму, подвинул желтоватые бинты. На животе была искусно изображена грудастая длинноволосая русалка. Она стояла на хвосте, молитвенно сложив руки в позе ныряльщицы над резинкой штанов и собиралась прыгнуть за сокровищем.

Мужики так восхитились, что даже не гоготали. Тем более что в сюжете, в общем, не было ничего смешного. Дородная русалка синела под негустым мехом и внушала оптимизм. Все поправимся, все выйдем отсюда, все у нас срастётся, заживет и будет пучком, аминь.

Русалка порадовала и Дениса. Вот, оказался в нужном месте в нужный час, улов хороших впечатлений! И мужики славные. Довольный, попахивая чужим куревом, пошёл нахаживать свои километры по коридору Склифа, загулялся часа на полтора.

Света еще не уходила. Красные глаза, вспухший нос, явно-недавно плакала. Розовые пятна нарушали оштукатуренную гладь.

– Костенко был? – сочувственно скривился Денис. Врач с плохими прогнозами – первое, на что здесь думали. Они с Костей еще шутили, что врача ему подобрали специально под имя.

Костя отмахнулся, забей, мол, наши с ней дела.

Света ушла довольно скоро, без обычных прощальных рулад.

Лежали молча. Денис читал, Костя щелкал кнопками.

– Любит меня... – сказал он, как бы оправдываясь и будто с недоумением. Денис не слишком вежливо развел руками, мол, и на старуху бывает проруха.

А в пятницу Дениса выписали! Забирали жена и двоюродный брат. Бережно погрузили в машину, костыли положили в ноги. Везли как хрустальную вазу.

С Костей прощались тепло, сроднились за столько дней в одной камере. Одурманенный близкой свободой, Денис обнял бесплотного длинного Костю, прижал, со всеми бинтами и постоперационным тюнингом.

Костенко говорил, Костина выписка – дело трёх недель, но пролежал он в результате еще полтора месяц. После Склифа одно время созванивались, а потом родилась Вера и стало не до того.

****

Денис позвонил Косте через одиннадцать лет. Попался его номер, у Кости был сибирская фамилия на -ых, набрал. Тот узнал, обрадовался. У Дениса даже в носу защипало. Немного поговорили. Родители живы-здоровы, слава богу. Папа работает, все нормально, мама в порядке, в Кисловодск летают каждое лето. Костя тоже работает – директором по маркетингу в известной международной конторе, российском отделении. Денис присвистнул, ни хрена себе, ну ты крут, брат! Женат, двое детей. – Поздравляю! – Так ты жену должен помнить, Светка...

Денис, конечно, помнил.

Вечером, когда Вера угомонилась, а Вася позвонил, что всё нормально, рассказал про Костину жену собственной, как маленькую сенсацию.

...Чего-то, выходит, не рассмотрел, не понял он в этой Свете. Капал желчью: дура, блондинка с чизкейком. Умник, на. Судил-рядил, как-то сам решил за Костю, что не подходит ему искусственная платиновая Света, средоточие пустоты и неестественности. На правах старшего, – а вот стреляный из них двоих был как раз Костя...

Может, Косте только и надо было, чтоб его звала – Кооосточка – щебетала, льнула, гладила по щеке взрослая холёная женщина с красными ногтями и высоким щекотным голосом.

Картина мира – тщательно собранный, надёжно склеенный паззл из тысячи деталей – обнаружил в самой серёдке хаос, ерунду, прорехи, выпавшие куски, людей вверх тормашками. Вместо душного Тулуз-Лотрека – воздушный Шагал, летят двое, а за ними еще двое. А ты ни хрена не понимаешь в живописи (зачёркнуто) жизни.

– Понимаешь меня, Снегирёк?? – он растерянно улыбнулся и качнул низко, для уюта, висящую над столом лампу, отчего спокойный жёлтый свет пришел в смятение.

Жена отлично все понимала. Недрогнувшей рукой она разлила остатки. Вровень – глаз-алмаз, модельер-конструктор.

Денис, заодно, вспомнил эпизод с курильщиками и капельницей, татуировку с русалкой, прыгающей вглубь штанов. Жена ржала, любила весёлую фактуру.

Под диктовку Дениса, уточняя детали, художница изобразила у него на животе неприличную картинку. Синий фломастер щекотно чиркал по коже, обходя глянцевый белый шрам, память об утраченной селезёнке.

Владимир ТУЧКОВ

***

В Папуа – Новой Гвинее, где,
несмотря на всеобщее заблуждение,
живут не папуасы, а меланезийцы,
некогда,
не так и давно
существовал культ поклонения самолетам.
И это вполне разумно
с точки зрения девственного человека,
который прекрасно знает,
что небо – обитель духов.
Причем духов добрых к меланезийцам,
потому что во время Второй мировой войны
добрые духи сбрасывали на парашютах дары –
одежду, продовольствие, всякую утварь,
среди которой были предметы явно божественного происхождения –
трубочки, которые при нажатии кнопки испускают световые лучи,
и ящички, которые, если крутить колесико,
говорят непонятно,
и что-то поют в сопровождении загадочных звуков.

Над моей дачей тоже постоянно летают.
Но не транспортные самолеты,
а вертолеты Ми-8 гражданской модификации.
Их трассы не отличаются разнообразием.
Всегда строго из Сергиева посада строго на Москву,
которая находится на удалении в семьдесят километров.
И –
всегда строго из Москвы строго на Сергиев посад.
Долгое время я пытался разгадать смысл этих полетов.
Но тщетно.
Недавно просветили знающие люди из ближайшего села Голыгина.
Говорят, попы из Троице-Сергиевой лавры летают в Москву.
– А куда в Москву-то? – попытался я уточнить.
Да и зачем? Жизнь в лавре светла и осмысленна.
Как говорится, рядом с Богом
и с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. В «Волге» публикуется с 2014 года.

– Как куда? – изумились знающие люди, знамо дело – в Кремль.
– Но зачем?
– Окормлять.
И знающие люди замкнулись,
поняв, что наговорили слишком много случайному человеку.
Поэтому на вопрос «Кто кого окормляет?» ответом было молчание.
Но тут же я понял нелепость вопроса –
триединая сущность неразрывна,
неделима нашим скудным умом.
Но кто тогда дух?
И это стало понятно вскорости после того,
как зашел в сельмаг,
как купил,
как причастился.
Разумеется, третья неразрывная часть, то есть дух – наша армия,
которую в данном вопросе представляет вертолет Ми-8,
изначально рожденный военно-транспортной машиной.
Именно армия скрепляет воедино,
без щелей, без зазоров, на молекулярном уровне,
церковь и власть.
И стало понятно,
почему жители Голыгина, Неелова, Горелова, Неурожайки тож
скидавают свои картузы,
заслышав в небесах шум приближающегося сакралолета.
Хоть он ничего и не сбрасывает на парашюте,
ничего из того,
что так радовало меланезийцев,
что заставляло их строить крылатых идолов из соломы.

Ведь мы не меланезийцы какие,
нам дан как откровение
осеняющий нас ИСПОКОН.

***

БРЕМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
висит на кривом заборе
под дождем мокнет
себя не помнит
не ищет ответов
с немым укором к небесным хлябям и тоскливому серому ветру
ПЛЕМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
уже за шеломянем еси
прыщеши на вои стрелами
гремлеши о шеломы мечи харалужными
даждь днесь симулякра насущного
ПЛАМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
в печенке циррозной
орлом терзаемой

двуглавой падлою
В ШЛЕМЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
гуляет дрема
напра-налево
без расписания
несется к звездам с эС-эС-эС-эРом во лбу горящим
распознаваемым как Си-Си-Си-Пи
В ТЕМЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
много неясного недосказанного
советологами
пройдохой Фрейдом
Шахерезадой
Иоанном, вполне откровенным с другими
В ЛЕММЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
ключ к мирозданью
к воротам рая
билет на поезд идущий мимо огней погасших и мнимых чисел
чужих ошибок
В ХРАМЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
весна и осень родят друг друга
без промедления и перекуров
роятся стаи псалмом и хоров
и аллилуйя проходит мимо плеч не касаясь
не оставляя в глазах засветки
ЗНАМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
простыней с первого брачного ложа
для предъявленья родне спесивой
народам мира
гостям вселенных
и прочим тварям
ВРЕМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
вошло и вышло
в спине оставив отверстие с блюдечко
да с голубой каемочкой
да ко дню Христову
никак не меньше
нигде не больше
обзора для
для ретроспективы туда-обратной

Амплуа

В полицейских сериалах,
которые начали стремительно набирать популярность
после окончания лихих-девяностых,
есть амплуа трупа.
Самого настоящего трупа,
которого в самом начале действия,
реже – в середине

убивают каким-либо способом,
число которых не столь уж и велико,
поскольку фантазии сценаристов не распространяются дальше
наезженной колеи голливудских сериалов того же жанра.
Редко когда на телеэкранах блеснет
что-нибудь самобытное – подлинно национальное.
Казалось бы, сыграть труп
(или трупа – ведь в конце концов он существо почти одушевленное,
поскольку именно он является неким зародышем сюжета) –
дело нехитрое.
Надо всего лишь несколько минут неподвижно полежать перед камерой,
когда рядом суетятся следователи и криминалист.
Или на столе в морге,
когда труп осматривает патологоанатом,
или опознают родственники,
перед которыми приподнимают с лица трупа простынку.
Надо лежать не дыша,
чтобы у зрителя создавалось ощущение,
что это действительно труп,
а не актер, лицо которого измазали кетчупом.
Режиссеры, придирчиво оглядывая мизансцену
перед запуском камеры,
как правило,
покрикивают, скорее, для порядка:
– Пожизненнее, пожизненнее, чтобы ни одна сука не прошипела – не верю!
Ну, и еще самую малость приходится сыграть «перед смертью».
То есть схватиться за сердце,
когда в него загнали пару пуль.
Или воткнули нож.
Или пробили голову молотком.
Простонать как можно естественней,
осесть
и забиться в предсмертных конвульсиях.
Редко когда по сценарию трупу
Перед смертью выпадает обмолвиться парой слов.
Что-нибудь незначительное,
до предела заезженное –
типа «Не делай этого!», «Не убивай!», «Я заплачу вдвое больше!».

Рынок актеров постоянно растет и расширяется,
предложение катастрофически опережает спрос.
И ситуация уже почти такая же, как когда-то
в Южной Каролине или в Вирджинии на рынке рабов.
Поэтому актеру с амплуа трупа
приходится постоянно оттачивать свой талант.
Изнурительные репетиции.
Многочасовой лежание в неестественных позах.
На земле.
На полу.
На снегу.

На анатомическом столе без одежды.
Задержка дыхания – это вчерашний день.
Режиссеры капризны и разборчивы,
приходится осваивать задержку сердцебиения.
«Тяжело в ученье, легко в бою» –
эта мысль выедает мозг актера,
когда он, облаченный в черный костюм,
часами лежит в гробу в самое пекло,
добиваясь отсутствия потовыделения.

Актеры его побаиваются,
нервно подшучивая, робко подтрунивая,
потому что он их ходячее неизбежное будущее.
Потому что он труп и за кадром,
стремясь постоянно быть в тонусе
с опавшей, словно крылья умершей моли,
лицевой мускулатурой.

А смерть его не берет.
Смерть любуется им,
воплощающим ее торжество,
ее бессмертие.
Поэтому актер с амплуа трупа живет долго.
До того самого мгновенья,
Когда из-за маски попытается робко выглянуть жизнь.

И тут смерть его, любимого, хватает,
Нежно к сердцу прижимает,
Да на тройке с бубенцами,
Потчуя леденцам,
В назиданье нам, о други, с вами!

Павел ЧХАРТИШВИЛИ

ДНЕВНИК КЛИШИНА

Рассказ

Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди...
А. Л. Величанский

20 августа. Решил вести дневник. Хочу выговориться. И ещё хочу, чтобы когда-нибудь, нескоро, кто-то это прочитал. Но такое желание помешает писать искренне. Неразрешимое противоречие. Постараюсь его преодолеть.

23 августа. Пришёл в роно наниматься учителем. Принёс диплом и паспорт. Завроно Аракчеев изумлён: мужчина идёт в школу. На диплом даже не взглянул, взял паспорт и сразу перелистал страницу: проверил, не еврей ли.

– Вы член партии?

– Нет.

– Почему?

– Мне не предлагали.

– Мы никогда не предлагаем. Вас не пугает дисциплина ребят?

– Написано же в дипломе: преподаватель.

– Это ничего не значит. Ладно, улица Стёпина, школа № 3... Идите к директору. Только не говорите, что роно послал.

Пошёл к директору. Тот даже не спросил про партбилет. Посмотрел мои оценки в дипломе.

– Седьмые классы – жуть. Я вас на первый год освобожу от классного руководства. Но вы возьмите музей боевой славы.

Помолчал и добавил:

– Ребята – хороший народ.

Он ведёт историю в старших классах, обществоведение и основы теории государства и права.

Вошла эффектная дама, как потом выяснилось, – завуч, секретарь парторганизации и учительница русского языка и литературы Эльвира Ивановна Благонадёжина. Директор:

– Новый историк.

Дама:

– Член партии?

Я:

– Нет.

Она скорчила такую рожу, будто в школу взяли убийцу или педофила. Директор:

– Будет вступать.

Конечно. Что это за школа с беспартийным историком? Чёрт знает что, а не школа. А с портрета на меня смотрел Брежнев, как бы говоря:

– Будешь слушаться – дам заработать.

Павел Чхартишвили родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. 40 лет работал в Государственном архиве РФ, почётный работник этого архива. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе», «День и ночь», «Север», «Урал», «Подъем», «Южная звезда», «Сура». Живет в Москве.

28 августа. Прочёл «Сердце отдаю детям» В.А. Сухомлинского. Вспомнил себя в четвёртом классе. Учитель физкультуры нам сказал, что мы будем сдавать нормы «Будь готов к труду и обороне» и получим (каждый!) удостоверение и значок. Мы старались, бежали, и я прибежал одним из первых, но никаких удостоверений и значков мы не получили. Потом был последний урок, и классная руководительница спрашивала, кто где проведёт лето, дошла очередь до меня, и я сказал, что мы поедем в Анапу. В нашем классе немногие семьи могли себе это позволить. Учительница предложила:

– Давайте попросим Сашу привезти нам листья растений, которые там растут.

Два месяца мы с мамой ходили по Анапе, собирали листья и подшивали их в тетрадки, и первого сентября я притащил всё это в школу. Но наша учительница уже приняла класс первоклашек, у нас по каждому предмету были новые учителя, которым нечем было заниматься – только моим гербарием. А моим одноклассникам он вообще был до лампочки.

30 августа. Сегодня был «августовский педсовет». Симпатичная молодая учительница русского языка и литературы Тамара Петровна Небогатикова под аплодисменты коллег вручила мне букет как дебютанту. Эльвира Ивановна Благонадёжина поделилась впечатлениями от всесоюзного съезда учителей:

– Министр с трибуны предложил за недостатки в работе лишать учителей классного руководства. Представляете? Делегаты смеялись. А потом, товарищи, вдруг открылась дверь, и вошёл Брежнев. Такая радость. Наш руководитель, который столько делает для страны.

Перешла к проводимому послезавтра уроку мужества:

– Использовать книгу Леонида Ильича «Малая земля». И не забыть сказать о космонавтах.

Тем временем все расшумелись. Директор:

– Товарищи! Нерешённые вопросы – после педсовета.

Эльвира Ивановна не может ему простить, что он взял на работу меня. Ей тридцать пять. Сын во французской спецшколе. Разведена.

31 августа. Подошёл к Благонадёжиной:

– Эльвира Ивановна, можно попросить у вас на денёк «Малую землю»? У вас как у партийного секретаря она, наверное, есть.

– Конечно есть. Я ведь учитель литературы.

Боже мой! Для неё это – литература. В её кабинете портреты Горького, Маяковского, Фадеева, Серафимовича, Шолохова. Вся обойма.

1 сентября. Когда шёл на работу, из подъезда вышла нарядная девочка лет тринадцати с портфелем и огромным букетом. Проходя мимо помойки, бросила букет в контейнер.

3 сентября. В некоторых классах по сорок два ученика, за передними партами сидят по трое.

5 сентября. Разрываюсь между уроками и музеем боевой славы. К нам приезжал маршал авиации! Какой молодец директор, что избавил меня от классного руководства.

6 сентября. Сегодня директор убил:

– Александр Егорович! Вам всё же придётся быть классным руководителем восьмого «А».

– Так у меня же музей!

– Голубчик, вы уж постарайтесь.

8 сентября. Ребята очень сорят на уроках. Причём после занятий сами убирают классы. Но это ничего не меняет. Придумал. Купил за семьдесят копеек пластмассовую корзину, поставил в угол у доски.

– Если у кого-то будет мусор, прямо на уроке вставайте и несите сюда.

Успех был потрясающий.

– Александр Егорович! У меня мусор!

– И у меня!

– А у меня опять мусор!

Два дня было чисто. Потом про корзину забыли.

9 сентября. Рассказывал в пятом классе о леднике:

– С севера надвигались льды. Высота их достигала двух километров.

Мальчик на первой парте в ужасе:

– Ууу!

10 сентября. Ко мне подошла председатель родительского комитета восьмого «А»:

– Александр Егорович! Когда у вас день рождения?

– Первого августа.

– Надо же: как у Небогатиковой! Вы с ней единственные учителя в нашей школе, у которых день рождения – в летние каникулы. Или вы оба не хотите, чтобы собирали с родителей?

– Я действительно родился первого августа.

11 сентября. Завуч требует от меня, чтобы мои восьмиклассники ходили в пионерских галстуках. А ребятам они надоели.

На большой перемене подошли двое моих мальчишек:

– Александр Егорович! Есть хочется, а денег нет.

У меня была только пятёрка. Дал её. Сдачу так и не увидел.

14 сентября. У школы выстроились старшеклассники Тамары Петровны. В турпоход, с гитарой. Вышел директор:

– Рюкзаки на землю!

Проверил содержимое. Нашёл бутылку водки.

– Все по домам!

Молодец.

16 сентября. Излагаю Английскую революцию. Предпосылки... В 1658 году умер Оливер Кромвель.

Гриша Догадкин:

– А от чего?

Стою в растерянности. Понятия не имею, от чего. Все помрём.

23 сентября. Жора Абухов спросил на уроке:

– Александр Егорович! Вы за кого в хоккей болеете?

– Я не интересуюсь хоккеем.

– Значит, вы наш враг.

24 сентября. Восьмиклассники (не мои) выходили из класса на перемену. У моего стола остановилась девочка:

– У вас не интересно.

25 сентября. Жёлтый лист кружится, боясь коснуться чёрной влажной земли, наконец, касается её, я наступаю на него, вминаю в тропу. Я такой же беззащитный листок. Я буду кружиться, потом на меня наступят.

26 сентября. Вошёл в класс. Все дети встали. На доске мелом: «Клишин дурак».

– Дежурный, приведи доску в порядок.

Устами младенца... Конечно, дурак. Ушёл с тихой работы чертёжника.

27 сентября. Вчера директор:

– Александр Егорович! Звонили из роно. От нас нужен человек на два совещания учителей истории. Одно сегодня вечером во Дворце пионеров на Ленинских горах, другое завтра вечером в институте повышения квалификации у метро Аэропорт. Я вас прошу.

Вчера после работы приехал во Дворец пионеров – там ничего об этом не слышали. Сегодня усталый ездил в институт повышения квалификации: да, было такое совещание, вчера.

28 сентября. Благонадёжина мне радостно сообщила:

– Спросила у ваших: «Когда взяли Бастилию?» Никто не знает.

Захожу в буфет. Учитель труда Анисов кушает виноград, сплёвывая косточки в блюдечко. Вот кому хорошо. Подсаживаюсь. Он говорит:

– Они у вас ни черта не знают.

Дома разговаривал по телефону с отцом ученика. Родитель:

– Хочу спросить вас как историка. Если социализм более передовой строй, чем капитализм, почему из Сен-Мало никто не ездит в Париж за колбасой? Почему нет то карамелек, то штанов, то лампочек, то шнурков, то стирального порошка?

Я напряг мозги.

– Потому что капитализму сотни лет. И хотя высшая точка его пройдена, он ещё не вполне разложился. А социализм находится в восходящей, начальной фазе. Его расцвет впереди.

Это я покривил душой. Партия давно объявила, что у нас зрелый, развитой социализм. Папаша:

– Вы понравились ребятам...

У меня на душе потеплело. Родитель продолжил мысль:

– ...В галстуке.

29 сентября. Старшей пионервожатой Латохиной девятнадцать лет. Пришла ко мне на урок и всех порадовала:

– Сегодня собираем макулатуру. Бумага будет приниматься только связанной.

А верёвки родители должны покупать? Встречаю её на перемене:

– Анжелика! Не соберут они ничего. Сейчас за макулатуру дают талоны на художественную литературу.

– А я что могу поделать? Распоряжение райкома комсомола. Кстати, оттуда прислали план работы пионерской организации школы – прямо Программа КПСС. А ведь этот план должен быть написан самими пионерами, детским языком.

Латохина одновременно лаборант по физике.

– Нравится лаборантом?

– Нет. Подай, отнеси, принеси.

О макулатуре. Был свидетелем сценки у пункта её приёма. Два пожилых любителя художественной литературы (около каждого по нескольку связок старых газет) чуть не подрались:

– Это моя связка!

– Нет, моя!

30 сентября. Вырвался в театр. Рядом сидела красивая девушка с серыми глазами. В антракте разговорились. Постараюсь воспроизвести диалог по памяти.

Я. Девушка, вы одна пришли?

Она. А вы?

Я. Один.

Она. Почему?

Я. Не с кем прийти.

Она. И решили познакомиться со мной?

Я. Да. Если вы одна, то, возможно, вам тоже не с кем прийти.

Она. Мне есть с кем прийти.

Я. Это он или она?

Она. И он, и она. Они.

Я. Они не захотели прийти или вы решили прийти без них?

Она. Не много ли вопросов?

Я. Извините.

Она. Вы напористый.

Я. Я ого какой.

Она. Странно, что при этом вы один.

Я. Я очень загадочный.

Она. Таких загадочных миллионы.

Я. Может быть. Но мы все разные.

Она. Да. Не все ищут знакомства в театре.

Я. Вас как зовут?

Она. Анна.

Я. А я Саша.

Она. Александр.

Я. Александр Егорович.

Она. Шутник вы, Александр Егорович.

Я. Я весёлый.

Она. Всегда?

Я. Когда как.

Она. Бываете и занудой?

Я. Жутким.

Она. Теперь ясно, почему вы один.

Я. А вы почему?

Она. Давайте лучше о спектакле.

Я. Давайте.

Она. Вам не нравится?

Я. Нравится.

Она. Но вы говорите без энтузиазма.

Я. Нравится, но чего-то не хватает.

Она. Чего?

Я. Искренности.

Она. Да разве можно искреннее?

Я. Можно. Там ещё большой запас.

Она. Вы хотите, чтоб герои распахнулись догола? Должно быть сокровенное. Нельзя всё говорить. Это даже бесстыдно.

Я. Разве бесстыдна церковная исповедь?

Она. Герои неверующие.

Я. Ну и что? Они люди.

Она. Но в пьесе нет пока подходящей ситуации.

Я. Да, её не хватает.

Она. Вам нравится актриса?

Я (после паузы). Мне нравится не она.

Она (после долгой паузы). А кто?

Я. Вы.

Она. Если бы на моём месте сидела другая девушка, и тоже одна, вы бы это сказали ей.

Я. Может быть. А если бы на моём месте сидел другой мужчина, вы бы понравились ему.

Она. Но у меня уже есть кое-кто, кому я нравлюсь, и мне достаточно.

Я. Почему же вы одна?

Она. Потому что тот человек далеко. Очень далеко. И я его жду.

Я. Давно? Аня, давай его больше не ждать.

Тут началось второе действие спектакля, который меня уже не интересовал. С Анной простились в метро. Я боялся, что она, выйдя из вагона, повернёт по платформе налево, но она пошла направо мимо широкого окна стоящего вагона, и я ещё несколько секунд видел её.

1 октября. Теперь День учителя – и мой праздник. Директор обошёл все этажи, все классы, убедился, что детей в школе нет, и запер её изнутри. Ели, пили, пели Высоцкого: «Сегодня Нинка соглашается – сегодня жисть моя решается!». Учитель труда Анисов был недоволен, что мало купили водки. Небогатикова спросила:

– Александр Егорович, вы на истфаке латынь изучали?

– Было дело.

– Можете сказать тост на латыни?

– Запросто.

Я встал с полным фужером. Всё затихло.

– Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur[1].

– А перевести?

Это Анжелика, старшая пионервожатая.

– Дорогие женщины нашей школы! Мы, немногочисленные мужчины нашего коллектива, не сомневаемся, что вы всех нас любите, и хочу заверить вас в таком же нашем ответном чувстве. А теперь, как в «Кавказской пленнице», выпьем за кибернетику!

[1] Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут белги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. *Первая фраза «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря (100–44 гг. до н. э.).*

Латохина прыснула. Все выпили за кибернетику. Завуч посмотрела на меня уважительно. Я потанцевал с ней, с Тамарой Петровной и с математичкой Ревеккой Ефимовной. Учитель труда Анисов спросил у Небогатиковой:

– Сколько яиц было у Фаберже?

Та отвернулась. Анисов попросил у меня портрет древнеегипетской царицы Нефертити с длинной шеей, для чеканки по металлу. Мне было жалко, но я снял со стены, отдал.

4 октября. На урок пришёл к моему ужасу директор. Я рассказывал, что борьба царя Петра с бегством крестьян на Дон стала одной из причин восстания Кондратия Булавина.

– Считает атаман городка конкретного человека казаком, и Донское войсковое правительство считает его казаком – полковник Долгоруков, проводивший сыск, записывает беглым. Беглые, естественно, разбегались при приближении полковника. А у Долгорукова был план, план надо было выполнять.

Директор улыбнулся: конечно, не выполнишь план – жизни не будешь рад.

12 октября. Прошли войну 1812 года. Потом была контрольная. А сегодня утром повёз свой класс в Бородино. В вагоне рядом со мной сидели Вика Харитоненко, Гриша Догадкин и Дима Глушнёв. Я импровизировал:

– Призвал царь Александр Первый Павлович Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и говорит: «Поезжай, Кутузов, бить французов». Кутузов поехал в Царёво-Займище и сообщил генералам слова императора, те сообщили офицерам, офицеры – солдатам, и вскоре вся русская армия повторяла: «Приехал Кутузов бить французов». Послали парламентёра к французскому маршалу Иоахиму Мюрату, чтобы тот передал Наполеону. А Буонапарте сидел в крестьянской избе и представлял, как вернётся в Париж победителем азиатов. Стал диктовать распоряжение директору театра «Комеди Франсез» возобновить «Безумный день, или Женитьбу Фигаро». Тут ввалился Мюрат и ни тебе бонжур, ни пардон, брякнул с порога: «Priehal Kutuzoff bit francuzoff!» Наполеон, однако, нисколько не испугался и сказал, тоже по-ихнему, по-французски: «Ja sam jego pobju». Тем временем Кутузов ждал реакции Буонапарте и думал: «До чего же хитрая лиса этот Беннигсен, надоел хуже горькой редьки. Хоть бы Государь отправил его послом в Англию». А тот как раз стучится: «Можно, ваша светлость?» – «Да входи, Леонтий Леонтьич, чего уж», – разрешил Михаил Илларионович и расплылся в улыбке. – «Ваша светлость! Злодей сказал, что сам вас побьёт». Кутузов помолчал, подумал и ответил: «Сам, да не с усам».

Поезд шёл долго. Наконец, мы доехали до станции Бородино, и шутить расхотелось. Багряные леса, безоблачное небо. Памятники русским, памятник французам. Л.Н. Толстой: «...стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнурённых, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: “Довольно, довольно, люди! Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?”». У памятника лейб-гвардии Семёновскому полку Гриша Догадкин спросил:

– Александр Егорович! Разве Наполеон – не Гитлер?

– Нет. Наполеон не занимался планомерным истреблением мирного населения.

– Почему Наполеона не казнили?

– Потому что его победили не звери вроде Ежова и Гиммлера.

С Догадкиным спорить трудно. Вика Харитоненко влюблённо смотрит на него. Гриша:

– Но ведь Екатерина Вторая тоже не была зверем, однако казнила Пугачёва.

– Пугачёв был самозванцем, а Наполеон – императором, признанным многими европейскими государями.

Гордись, переспорил школьника. А тебе кто ответит: хотел ли Кутузов давать Бородинское сражение и уложить только убитыми двадцать тысяч русских? Ведь французы и так бы сгинули в бескрайней заснеженной России. А если бы не сгинули? В случае победы буржуазной Франции пало бы в России крепостное право лет на сорок пять раньше 1861 года?

Когда класс ушёл с батареи Раевского, обнаружил, что нет Димы Глушнёва. Где он? Искали. Оказалось, что он на батарее залез в дот 1941 года и сидел там. Потом мы шли по шоссе. Остановилась подвода. Мальчики и девочки бросились к лошади, гладили её, кормили бутербродами.

Вернулись домой благополучно.

16 октября. У меня в кабинете истории на стене – церкви (памятники архитектуры). Это разрешено. Фотографии сам отбирал. Принёс семиклассникам пособие по палеографии. Там устав, полуустав. Предложил:

– Прочитайте. По-русски написано.

Они пыхтели. Я перевёл:

– Слава Тебе, Господи, Царю небесный, яко сподобил меня написати Евангелие сие.

Пионер с места:

– Религиозная пропаганда!

Говорю:

– Если хочешь что-то сказать, надо поднять руку.

И поставил атеиста в угол.

17 октября. Я зарабатываю больше, чем на прежней работе. Естественно, рад. Но скребёт меня мысль, что я, уже не верующий в коммунизм, проповедую его «малым сим». Сойдёт ли это безнаказанно? А если всё же «есть грозный Суд: он ждёт»?

24 октября. Ко мне в класс зашёл Глушнёв, отец Димы. Сказал сыну:

– Выйди.

Мы остались наедине. Я говорю:

– Хороший у вас мальчишка.

Отец пропустил это мимо ушей. Сказал:

– У него по математике только двойки и тройки.

– У Пушкина был ноль по математике.

– И это говорит классный руководитель. Что мне делать?

– Лишить его чего-нибудь.

– Он уже всего лишён. Вот мы же с вами пробились, надо и ему помочь.

– Что вы имеете в виду?

– Поговорите с Ревеккой Ефимовной. Пусть ставит четвёрки. Я в долгу не останусь.

– Вы не рехнулись?

– Ну, извините, – сказал он с досадой и вышел.

25 октября. Хороший адрес у этих домов: Москва, улица Свободы. Стоим с Аней в подъезде. Она:

– Почему женщины верят мужчинам?

– Потому что они для этого созданы.

– Чтобы быть обманутыми?

– Чтобы любить, верить, обманываться и обманывать.

– Я тебя не обману, – говорит Аня.

– Я знаю.

– Но ведь когда-нибудь я тебе разонравлюсь?

– Никогда, – уверяю я.

– Да ну тебя.

29 октября. Объявлен субботник. Опять. Ладно, думаю, я вам устрою. Говорю своим:

– Завтра добровольный коммунистический субботник. Кто не хочет – не приходит. Неприятностей не будет.

Было страшновато, но интересно. Если бы такое сказали в цехе, никто бы не пришёл. Но здесь были дети, которых ещё не била жизнь, которых ещё не тошнило от лжи. На другой день половина класса мыла, таскала, копала. Конечно, кому-то мама сказала: «Хватит гонять собак», кто-то хотел пятёрку в четверти. Но оказалось немало таких, которые и о Фурье-то не слышали. Они просто пришли.

2 ноября. Конец рабочего дня. Внутри всё так и бродит. Скорей, скорей к Анне Хорольской. Ох, уж эти мне московские расстояния. Бегом на четвёртый этаж. Вот она – моя радость, моя жизнь, моё счастье. Я обнимаю её, и она прижимается ко мне. Что я чувствую? Не знаю. Я уже не homo sapiens.

Я homo erectus[1]. Наши тела слились, они глубоко проникли одно в другое. Мы один человек.

[1] Человек прямоходящий *(лат.)*.

Она – это я. Что, если когда-нибудь я её потеряю? Может быть, найду другую? Наверное, найду. Что я буду делать с другой?

Анна спрашивает:

– Ты меня будешь долго любить? Или как Таню?

Разве я любил Таню, думаю я.

– Я остывал время от времени, – напоминаю я ей, – порой надолго, на целые недели.

Подумав, она отвечает:

– Но ведь не всегда надолго?

Я молчу.

– Сашка, я хочу, чтобы родился мальчик. Чтобы у тебя был маленький дружок. И чтоб у него были волосы чёрные, как у тебя, и глаза твои.

– Волосы ладно, – соглашаюсь я, – а глаза сделай серые.

5 ноября. Сегодня бабушкин юбилей. Рассказывала, как она, не имея ни среднего, ни начального образования, поступала в 1930 году в институт. Хотела стать инженером. Волновалась. Был экзамен. Сидела комиссия. Бабушку спросили:

– Может ли рабочий быть контрреволюционером?

Вот что главное для инженера. Бабушка подумала и ответила:

– Вообще-то не должен. Но может.

И была зачислена.

13 ноября. Выпал снег. В сквере вспорхнули птички. Улететь бы и нам с Аней к тёплым морям, в Африку. Вода со снегом. Он быстро тает. Ноябрь не март. Значит, надо ждать холода в городе, в парке, в душе, в крови, в сердце. Но сегодня мне тепло.

15 ноября. За десять минут до конца урока в шестом классе обнаружил, что мне нечего больше рассказать. Велел открыть учебники и изучать параграф самостоятельно. Надеюсь, дети не поняли, что произошло. Мало знаю. Надо читать, читать, а когда? В музей боевой славы, которым я заведую, мне даже зайти некогда. В газете передовица: «Свободное время учителя». Статья о том, чего не бывает.

21 ноября. Зачитал в классе фрагменты письменных работ: «воряги»; «но тут из-за леса выскочили панфиловцы» (вместо: половцы); «Святослава совершала походы на Киев»; на вопрос, что означает слово буржуазия: «бур – город, жуазия – богатые горожане»; о революционерах: «они были смертельно убиты через подвешивание».

30 ноября. Сегодня был промозглый свинцовый день, шёл мокрый снег. Пальцы мёрзли в перчатках. При виде низких тяжёлых фиолетовых туч становилось страшно; хотелось быть сытой, одетой и тупой скотиной.

Набрал номер Ани.

Она. Ты мне ни разу не солгал?

Я. Нет.

Она. Ты всегда такой?

Я. С тобой – да.

Она. Значит, ты не загадочный.

Я. Я очень хороший.

Она. Даже чересчур.

Я. Тебе повезло.

Она. Ещё как.

Положила трубку.

4 декабря. Учительница русской литературы Тамара Петровна повесила в своём классе над доской портрет Пушкина. Явилась учительница русской литературы Эльвира Ивановна и потребовала поменять на Ленина.

– Но ведь это же Пушкин!

– Это мы с вами даже не будем обсуждать.

Интересно: если бы слышал Владимир Ильич?

10 декабря. Старшеклассники четыре часа работали на овощной базе. Замёрзли, некоторые промочили ноги в снегу. Я и старшие других групп пришли к директору базы просить, чтобы дал справки и отпустил. Директор говорил по телефону с райкомом. Видимо, там хвалились: «Мы вам прислали триста человек». Директор базы оглядел нас с тоской и ответил в трубку:

– Мне не надо триста крепостных. Дайте сто человек, но чтоб хотели работать, за деньги.

18 декабря. На родительском собрании Глушнёв-старший заявил Ревекке Ефимовне:

– Кто вам разрешил говорить детям, что Израиль ведёт справедливую войну?

Я потом подошёл к ней:

– Вы так сказали?

На ней лица не было.

– Да Господь с вами. Что я, с ума сошла?

19 декабря. Нельзя выгнать из класса, поставить двойку в четверти, выгнать из школы. Понимая, что тройка гарантирована (а больше им и не нужно), некоторые болваны меня на уроках не слушают. Я унижаюсь: остаюсь после занятий и натаскиваю индивидуально, они сидят и зевают. Одна мамаша мне сказала:

– Пусть у него будут двойки. Был бы мальчик хороший.

Ну и сидел бы мальчик хороший дома.

Спущен план: сколько может быть в классе троек за четверть. Не больше. Классные руководители проставляют в классных журналах точки против фамилий тех учеников, которым можно ставить только пятёрки и четвёрки. Дети это знают.

Сегодня день рождения Брежнева.

20 декабря. Ревекке Ефимовне на уроке стало плохо. Дети побежали к медсестре и директору, тот вызвал скорую. Врач скорой сказал, что приступ прошёл, опасности нет. Директор попросил его отвезти Ревекку Ефимовну домой, тут ехать три минуты. Когда она садилась в машину, он разрешил ей завтра не приходить.

21 декабря. Шестиклассница Лариса Креплякова не соображает ничего. Ну совсем ничего. Директор сказал:

– Доведём до свидетельства о восьмилетнем образовании, и пойдёт в швейное ПТУ.

А мне сегодня что делать? Я открыл ей учебник по теме урока.

– Перепиши в тетрадь вот это предложение, выделенное жирным шрифтом.

Перепишет, пусть с ошибками, поставлю тройку. Классу объявил:

– У Ларисы самостоятельная работа.

Ребята возмущены:

– Мы на тройку у доски отвечаем!

Лариса смотрит на меня ясными добрыми глазами. Она не смогла переписать ни слова. Тройка.

22 декабря. За неделю до выставления отметок за четверть директор собрал педагогов.

– Где Тамара Петровна? Потом придёт и скажет: «Возьмите мою двойку».

Все опрашиваются. Все клянутся, что двоек не будет. Доходит очередь до меня. Говорю:

– Не знаю, как вы на это посмотрите, но я хочу поставить две двойки по истории.

Общий смех. Учительницы вытирают платочками глаза, не ожидали, благодарны мне за дивертисмент. Дольше всех смеялся директор. Когда все успокоились, сказал добродушно:

– Пришлите их ко мне. Я их сам спрошу.

28 декабря. Приснилось, что завроно, я и директор школы пришли в гости к заведующей гороно. В прихожей лежала одна пара тапочек. Аракчеев попёрся в комнату в туфлях. Я разулся и надел тапочки. А директору тапочек не досталось, и он пошёл в носках.

30 декабря. На новогоднем вечере перед дискотекой была художественная самодеятельность. Тамара Петровна поставила с учениками 8-11 классов фрагмент незаконченного рассказа Василия Шукшина «А поутру они проснулись». Действие происходит в вытрезвителе. Там есть интеллигент, его играл дремучий Дима Глушнёв. Небогатикова одолжила ему свой институтский значок. О качестве игры говорить не приходится, но текст пацаны выучили и старались. Хохотала даже Благонадёжина. Потом выяснилось, что Глушнёв потерял значок. Директор ему сказал:

– Если получишь аттестат зрелости, поступай на филологический факультет. Если окончишь и его, то получишь значок и отдашь Тамаре Петровне.

1 января. Идёт белый, белый, белый снег, чистый, как душа пятилетнего ребёнка. Как тихо! Если было бы можно сесть в машину времени и пережить всё сначала: полюбить Таню Галчёнкову, разлюбить Таню, полюбить Аню Хорольскую, потерять Аню. Машина времени существует, но повторяет она только снегопады и листопады.

12 января. Послали на Ленинский проспект встречать Брежнева и Гусака[1]. Мне дали большой портрет Гусака на палке. Подошла дама из райкома партии:

– Ну что вы стоите один? Найдите портрет Брежнева и встаньте рядом. Вон, кажется, у товарища Брежнев.

Я со своим Гусаком подошёл к товарищу и воткнул портрет в сугроб лицом к проезжей части. И не посмотрел, кто у товарища. А потом, когда кортеж проехал, оказалось, что у него тоже Гусак.

22 января. По-моему, мне симпатизирует буфетчица. Эльвира Ивановна улыбнулась:

– Сколько вам гарнира...

Учитель труда Анисов прожевал и поделился сокровенным:

– Евреев ненавижу. Так и бил бы по лицам.

Партайгеноссин Благонадёжина, глазом не моргнув, допила компот.

1 февраля. Постоянно собираю в классе деньги: на шторы, на учебники и т. д. Родители недовольны. Сегодня получили два приказа Аракчеева: о запрете поборов и о том, чтобы в классах были цветы в горшках (опять собирать!). Директор позвонил в роно: какое из этих двух указаний повесить на доске объявлений в учительской? Роно подумало и ответило: повесьте оба. Сегодня же собирали с учителей: у девочки-старшеклассницы пропала в раздевалке дорогая меховая шапка.

9 февраля. Снова сон. Иду в Кремле по коридору. Навстречу медленно-медленно Брежнев.

– Здравствуйте, Леонид Ильич.

– Здравствуйте, молодой человек.

Иду дальше и попадаю в огромный многолюдный зал с накрытыми столами. Ко мне подходит женщина:

– Я Бирюкова, член Политбюро.

– Я Клишин.

Она восклицает:

– Я познакомилась с товарищем Клишиным!

И счастливая уходит. Сажусь и оказываюсь рядом с Эльвирой Ивановной. Она съедает ложечку икры и говорит мне:

– Мы будем последовательно проводить нашу политику активного невмешательства.

Я киваю и ем икру.

19 февраля. Нас назначили агитаторами и вызвали на инструктаж. Инструктор Шайкин:

– Почитайте литературу. Жильцы порой задают скучные вопросы: «Почему крыша течёт? Почему квартиру не дают?» Но иногда спрашивают интересное: «Каковы границы нашего района?» На не желающих идти голосовать составьте список. Сообщим на их работу, там на них нажмут.

28 февраля. Шестой класс. Сегодня тема не самая захватывающая: натуральное хозяйство. Кто-то списывает алгебру, кто-то читает «Приключения капитана Врунгеля», кто-то смотрит в окно, кто-то шепчется с соседкой. Лёгкий гул. Надо «активизировать внимание учащихся». Но как? За первой партой Паша Селивончик. Говорю:

– Давайте представим, что Селивончик – феодал.

Взрыв хохота. Паша смущён. Продолжаю:

– В замок графа Селивончика приехали бродячие торговцы. К ним выходит сам Павлик с кошельком и челядью. Что купит граф? Пряности (перец, корицу), драгоценные камни, китайские диковины: фарфор и шёлк для графини. Больше Селивончику ни на что тратиться не нужно: кожаную и меховую одежду, шерстяные и льняные ткани, оружие, посуду и всё прочее ему в его поместьях изготовят бесплатно.

[1] Густав Гусак – генеральный секретарь ЦК Компартии Чехословакии.

Результат: тишина. Алгебра и Врунгель отложены в сторону. Ай да Клишин, ай да сукин сын!

11 марта. Обсуждали в учительской новый закон. Теперь, чтобы сменить место работы, надо подавать заявление уже не за две недели до ухода, а за два месяца. Все раздражены, но сдерживаются. Вдруг Тамара Петровна выпаливает:

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Точно. В СССР феодальный строй, и начинается крепостное право.

15 марта. Учитель труда Анисов захотел повесить портрет у себя в мастерской. Иосифа Виссарионовича. Сказал мне:

– Спросил завуча, можно ли. Она: «Пока такого распоряжения не поступало».

Взял у меня десятку до получки. Сообщил:

– Слыхал? Тамара Петровна в психушке.

И хихикнул.

24 марта. Мне, видимо, как холостому мужчине поручили посетить незамужнюю Тамару Петровну. Вручили авоську с апельсинами. Посидел у больной. Небогатикова говорит:

– Я, сказав про Юрьев день, испугалась, что донесут. Вскоре мне стало казаться, что за мной следят на улице, в метро. Ждала ареста. Вот и оказалась здесь. Только прошу: не рассказывайте никому.

– Ну что вы. А как лечат?

– Во-первых, резкая перемена обстановки: тишина, покой, режим, прогулки. Во-вторых, лекарств куча, беседы. Во время первой встречи с врачом Альбертом Пантелеймоновичем я поведала ему о своей реплике в учительской. Говорю: «Может быть, не следует так высказываться?» А Альберт Пантелеймонович: «Да трудно удержаться». Вчера доктор сказал, что у меня депрессия, и она уже ослабевает. Сегодня врач спросил: «Вы ощущаете преследование?» – «Нет», – отвечаю. Он: «А чего бы вы хотели?» – «Выписаться» – «Ну, выписаться. Я ещё не беседовал с родными». Теперь не знаю, как покажусь в школе. Будут крутить пальцем у виска.

– Тамара Петровна! Нормальные люди будут к вам относиться так же хорошо, как и прежде. А от встречи в своей жизни с дураками не застрахован никто.

Небогатикова улыбнулась:

– Альберт Пантелеймонович сказал, что КГБ больше не будет мной заниматься.

– Профессиональный юмор.

– На нашем этаже на мужской половине лежит больной Фёдор, который хочет возглавить Советский Союз. Он сказал доктору: «Желание стать главой государства не является свидетельством расстройства рассудка». Альберт Пантелеймонович ему: «Федя! Надо же трезво оценивать свои возможности». Фёдор: «А я и не настаиваю». Обещает, что когда станет генсеком ЦК КПСС, объявит свободу слова, печати, митингов, разрешит частную собственность, свободную продажу Библии и выезд хоть в Америку.

– Здесь у вас райский уголок: можно нести всё, что хочешь.

– Что в школе нового? – спросила Небогатикова.

– Катя Ильмаярова, отвечая Эльвире Ивановне, сказала, что Пушкин специально выучил английский, чтобы читать Шекспира в подлиннике. Благонадёжина ей: «Да где ты это взяла?» При всём классе.

– Катя права. Так и было. А знаете, какую тему для сочинения задала завуч? «Трудовой Петербург в “Евгении Онегине”».

Простился с больной. Уходя из палаты, обратил внимание на стенд с рекомендациями: «Если хочешь выздороветь». Запомнились два совета: «Наведи порядок в тумбочке» и «Не говори о политике». Молодец Альберт Пантелеймонович.

По пути зашёл в «Продукты». Оказывается, подорожали шоколадные конфеты. Тётка, изучив ценники, громко:

– Ну, спасибо, Леонид Ильич!

29 марта. Аракчеев обязал всех учителей района купить по два билета лотереи ДОСААФ. Распространяла завуч. Когда я уходил домой, в дверях стояла Латохина. Я предъявил ей билеты, только после этого старшая пионервожатая выпустила меня из школы.

7 апреля. Вышла на работу Небогатикова.

10 апреля. Вчера на уроке Жора Абухов попал мне в щёку водой из трубки. Говорю:

– Дал бы тебе в лоб, да в школе нельзя.

Он спокойно отвечает:

– Можно встретиться после школы.

Его подружка:

– Он не в вас хотел.

– А в другого можно на уроке?

После работы зашёл домой к Абуховым.

– Сколько раз я тебе сегодня сделал замечание?

– Один.

Мать:

– Вас больше сорока в классе. Если каждому по замечанию! Ты же говорил: «Историк молодой. Интересно» (я обалдел).

Отец молчит.

Сегодня на уроке Абухов:

– Александр Егорович! Вас когда-нибудь пороли ремнём с металлической пряжкой?

– Я вообще-то против таких методов воспитания. Но это дело семейное, может быть, и было за что.

Ещё как было! Дорогой пан директор, не все ребята – хороший народ.

16 апреля. Снова Абухов, и снова на уроке:

– Александр Егорович! Зачем нужна интеллигенция?

– Конечно, не нужна. Пока живот не заболел.

Откуда в нём всё это? Нормальные родители.

18 апреля. В шестом классе сравнил судьбу, с одной стороны – инициатора Реформации, её вождя Мартина Лютера (родился в Эйслебене), с другой – «князя гуманистов» Эразма Роттердамского, самого образованного человека своего времени. Я рассказал, что Лютера, выступившего с открытым забралом, собирались казнить, против него ополчились император и римский папа, Лютер скрывался. А Эразм прожил жизнь благополучно. Хотя он и критиковал церковь, но к его эрудиции папа обращался за помощью; император и короли искали дружбы с Эразмом. «Наставник мира» из Роттердама был противником конфликтов, ненавидел войны и тех, кто их разжигает, считал, что оправдывать войну – нелепость и бесчестие. Он никогда не служил какому-нибудь лагерю. Как Бог, он оставался над схваткой (последнее я не сказал детям, нельзя пионерам про Бога).

Спросил учеников:

– Как бы вы вели себя? Как Лютер или как Эразм?

Дети молчали. В 12 лет трудно решать такие вопросы. А мне, честно говоря, ближе роттердамский «гражданин мира», чем бунтарь из Эйслебена. Я не любитель неприятностей, влечёт к нормальной жизни, к счастью и душевному покою (насколько возможен покой в средней школе). Хорошо бы повесить в кабинете истории портрет умнейшего человека, кисти Альбрехта Дюрера или Ганса Гольбейна Младшего. Впрочем, не надо. Явится завуч:

– Кто это у вас?

– Эразм Роттердамский.

– Замените на Леонида Ильича.

21 апреля. Позвонила однокурсница Люда Фураева.

– Как поживаешь, Саша?

– Чудесно. Завтра к стоматологу. Я придумал анекдот. Знаешь, что такое счастье? Это когда стоматолог говорит: «На сегодня всё». Ты где сейчас?

– На кафедре истории КПСС. Могу устроить тебе часы.

– Я же беспартийный.

– Возьмут.

– Не надо.

– Помню, как ты спросил на научном коммунизме: «Чем отличается верность учению от догматизма? И аналогично, чем отличается творческий подход от ревизионизма?» Класс.

– Как живёшь? Семья, дети?

– Дитя. А ты всё ищешь свою Беатриче?

– Да.

– Ну, ищи, ищи. А насчёт работы на нашей кафедре подумай.

Людка, Людка, ты сама в поиске.

23 апреля. Гриша Догадкин спросил:

– Александр Егорович! Какая страна более развита: США или Лаос?

– США.

– Почему же США всё никак не могут созреть для социалистической революции, а Лаос давно созрел?

Парень перерос учебник.

– Потому что Лаосская народно-демократическая республика в своём развитии миновала стадию капитализма.

Гришенька! Ты совершенно прав. Теория трещит по швам.

Очень надоело врать. Хоть завтра на кафедру истории КПСС. Будем врать на пару с Людкой Фураевой.

Гриша и Вика Харитоненко уже сидят за одной партой.

26 апреля. Задал вопрос, весь пятый «Б» поднял руки: все знают ответ, все хотят отвечать. Тут зашёл директор, увидел эту изумительную картину. Я был на седьмом небе. Директор не стал мешать и закрыл дверь с внешней стороны.

Звонок. Перемена – десять минут. Надо одни карты снять, свернуть, убрать, другие повесить. Потом в учительскую: один классный журнал положить, другой взять. К тому же я дежурный по этажу. А там на перемене пугачёвщина. И если кто-то рванётся из класса в коридор и ударит металлической ручкой двери кого-то в висок, меня совершенно справедливо отправят на нары.

Пятиклассники встают, чтобы выйти из класса. Тут подходит девочка:

– Александр Егорович! Я вчера читала книжку...

И начинает подробно рассказывать. Может быть, ей и некому больше рассказать. Стою. От перемены осталось пять минут. Наконец, она заканчивает. Говорю:

– Молодец. Читай побольше.

И – рывок в коридор. С этой минуты я как учитель для неё кончился.

27 апреля. Меня обязали проводить перемены в туалете, чтобы не курили. Курят. Причём продолжают при мне.

– Кончайте курить.

– Нам нужна курительная комната.

– Пойдёшь на работу, будет тебе курительная комната.

Иду домой. В сквере группа знакомых первоклашек. Один курит, остальные с восхищением и завистью смотрят на него. Подхожу:

– Ты ещё не пьёшь?

Пацан искренне:

– Нет.

28 апреля. Спросил учителя труда Анисова:

– Слушаются?

Тот вздохнул:

– Сегодня шёл в школу. Стайка ребятишек перебегала улицу. И мысль: дали бы автомат.

1 мая. Был турпоход на Истру на 1 мая. Нам с Таней было по восемнадцать. Мы с ней играли в волейбол, и я подбрасывал мяч высоко-высоко. Знакомый из туристов мне сказал: «Какая девчонка!» Вечером мы с ней поставили кружки под берёзу, чтобы набрать соку. Когда утром вышли из двухместной палатки, в кружках был снег: сок замёрз. Берёзовый снег.

2 мая. Не выходит из головы инструктор Шайкин. Сегодня я отправил письмо в «Правду»: «Уважаемые товарищи! Прошу ответить мне на вопрос: правильно ли поступит агитатор, который, узнав, что избиратель не хочет идти голосовать, сообщит об этом по месту работы избирателя? По-моему,

такой способ агитации не только не правилен, а просто вреден. Избиратель придёт и проголосует, а что он будет при этом думать – трудно сказать. С нетерпением жду ответа. А.Е. Клишин, агитатор».

Подгнило что-то в Датском королевстве.

11 мая. Наш второй взвод месил грязь забрызганными сапогами, а сзади шёл водитель с транзисторным приёмником. Мелодия была мне знакома: Антонио Вивальди, Gloria[1]. Я поплыл. Водитель послушал минутку, крутанул, поймал какие-то вопли и успокоился.

14 мая. Учительницы не выдерживают и выгоняют хулиганов из класса, несмотря на категорический запрет. Иногда набирается целая ватага, которая с шумом носится по пустым коридорам. Сегодня во время моего урока в седьмом классе распахнулась дверь, и показалась сборная команда разбойников в составе четырёх человек во главе с моим заклятым врагом Жорой Абуховым.

– Александр Егорович! Можно, мы у вас побудем?

Вот радость-то, Господи!

– Кто выгнал?

– Эльвира Ивановна... Тамара Петровна... Ревекка Ефимовна...

– Вы представляете, на что я пойду, если вас впущу?

Молчат.

– Заходите.

Ну, думаю, держись, Макаренко. Стою у огромной карты, показываю места расселения восточных славян. Бандиты слушают! В конце урока меня осенило:

– Абухов! Покажи союзы племён.

Лидер мафиози подошёл к карте и взял указку:

– Вот поляне, древляне. Здесь северяне, дреговичи, радимичи. Здесь полочане, вятичи, кривичи, ильменские словене. Вот тиверцы, уличи, дулебы, бужане (в конце XI века у них появилось второе название – волыняне).

Матка Бозка Ченстоховска! Поставил ему пятёрку.

18 мая. Мои увлечения Таней и Анной пришли и расцвели так же естественно, как естественно я однажды пришёл в этот мир. И так же естественно, как когда-нибудь я уйду, отцвели и ушли из моей души два эти праздника. Всё ушло, всё прошло, и ничего и никого не надо.

19 мая. В этот день мы с Вовкой Лычёвым в белых рубашках и пионерских галстуках шли по бульвару, на Вовке висел барабан, Вовка грохотал палочками, а я подзуживал:

– Врежь ещё!

Он врезал ещё, воробьи шарахались стаями, а небо было чистое-чистое, синее-синее, и солнце сияло.

20 мая. Получил открытку из райкома партии. Вызывают «в комн. № 12 к т. Царапкину». Будешь знать, Клишин, как затевать Реформацию. Новый Мартин Лютер. Сидел бы тихо, как Эразм.

22 мая. На первом этаже райисполком, вход свободный. Поднимаюсь на второй этаж: райком. У лестницы милиционер, так просто не войдёшь. Показал ему открытку, он прочитал и впустил. «№ 12. Царапкин Антон Николаевич».

– Можно? Здравствуйте. Я к Антону Николаевичу.

– Это я. Здравствуйте.

– Моя фамилия Клишин.

– А... Присаживайтесь.

Он достал листок. Я узнал своё письмо в «Правду». Письменно не хотят отвечать. Не дураки.

– Ваше имя-отчество?

– Александр Егорович.

– Где работаете?

– Школа № 3...

– Что кончали?

– Истфак.

[1] Слава *(лат.)*.

– Поймите, Александр Егорович, у нас не просто так: придёшь голосовать, не придёшь... У нас агитация наступательная. Да, мы сообщаем на работу о не желающих голосовать, и это правильно. Может быть, в конкретном случае агитатор поторопился.

– Я писал не о конкретном случае. Я хочу выяснить в принципе. На работе легко агитировать, там человек очень зависим: премия, продвижение и так далее. А вы вот на квартире поагитируйте.

– Почему не хотят идти голосовать? У вас были такие?

– Да. Потому что барак. А квартиру не дают.

– Так неужели вы, товарищ Клишин, не понимаете? Они хотят, чтобы сообщили на работу, чтобы был скандал. Советские трудящиеся живут в бараке! Глядишь, и добьются квартиры. Вы просите объяснить, я объясняю. Удивительно, вы человек с высшим образованием – и такие письма. До свиданья.

Свернул дискуссию. Знает, что не все, бойкотирующие выборы, делают это из-за квартиры. Есть и другие причины. Обсуждать их с Царапкиным?

Для него интеллигенция – люди второго сорта. В кинотеатре райком повесил диаграмму «Улучшение качественного состава районной партийной организации за пятилетку»: процент коммунистов-служащих удалось снизить. Наверное, горком их за это похвалил.

Гриша Догадкин спросил на днях:

– Александр Егорович, почему вы не в партии?

Надо было ему сказать, что не хочу ухудшать её качественный состав такой дрянью, как я.

– За что меня принимать, за какие заслуги? У меня вон Креплякова ни бельмеса не знает. Кстати, ты почему отказался вступать в комсомол?

– А зачем?

Вика Харитоненко ходит с комсомольским значком.

25 мая. Завуч:

– Александр Егорович, зайдите ко мне.

Зашёл.

– Вас буквально не загонишь на партсобрание.

– Я не член партии.

– Вы историк. Так не годится. Я решила с вами, наконец, поговорить на эту тему вполне серьёзно. Работаете вы неплохо, как учитель вы заметно прибавили, и это не только моё мнение. Если вы сделаете правильные выводы из моего замечания, я со временем смогу дать вам рекомендацию в партию.

Доброжелательно улыбнулась. Просто переворот. Мне светит партбилет – мечта многих советских служащих. Но что произошло? А может быть, я стал ей не безразличен? Вот уж не ожидал.

– Спасибо, я подумаю.

Подумай, Сашка, подумай.

26 мая. Встретил в коридоре Небогатикову.

– Александр Егорович, возьмите в библиотеке журнал «Учитель» номер первый и пятый.

В январском номере стихи Николая Батюни:

Не знаю, будет ли по силе.
Почище Цезаря и Красса:
Даю историю России
Ребятам из седьмого класса.

Им по тринадцать. Всё в начале.
Не всем прожить в тепле и неге.
Ждёт наслажденье, ждут печали.
А я – об Ольге, об Олеге.

Встряхнуть, пронзить, зажечь их книгой:
Как выбирал Владимир веру,

Зачем ходил к древлянам Игорь.
Пусть знают всё. Пусть знают меру.

Пусть знают, что вопросов тыщи.
Тот, кто ответит – тому слава.
Пусть для Руси пути отыщут.
Ну, а пока про Святослава.

***

Жил учитель в Халифате.
Был богат, ходил в халате.
Суть в Коране находил.
В медресе детей водил.

Когда я заведу дома халат? А что в майском номере? Пародия Анастасии Живодёровой:

Жил учитель в Халифате.
С холостяцкой встав кровати,
Он на кухню шёл в халате.
Там он ел фасоль в томате.

Жил завскладом в Ленинграде.
Мог в картишки скуки ради.
Шик в дублёнке находил.
В БДТ жену водил.

27 мая. Снова Тамара Петровна.

– Александр Егорович, идёмте, я вам что-то покажу.

Подвела к стенду.

– Вот, Эльвира Ивановна повесила.

На стенде центральная газета, посвящённая съезду советских писателей. Наверху в газете напечатано крупно: «ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ ПАРТИИ». Небогатикова улыбнулась:

– Чьим помощником был Антон Павлович Чехов?

Я кивнул, повернулся... Рядом Благонадёжина. Видит меня с Тамарой Петровной. Слышит наш разговор. Прощай, партбилет. Недолго музыка играла.

4 июня. Сегодня зашёл в класс к Небогатиковой. Она проверяла выпускные сочинения. Поскольку двойки в аттестате зрелости запрещены, она ручкой с синими чернилами (ей приказали) доводила сочинения до тройки, а дальше уже можно было править красными чернилами.

– Тамара Петровна, дайте почитать, что получше.

– Возьмите, Александр Егорович.

Юра Костин о Хлестакове: «Вот он говорит, что любит, когда ему оказывают преданность и уважение. Да ведь это же мечта маленького человека. И вдруг она сбывается!.. Затем к Ивану Александровичу обращаются унтер-офицерша и слесарша. В комедии есть над чем посмеяться. Писал, как известно, Николай Васильевич Гоголь. Но когда простые люди ищут защиты у Хлестакова, смеяться не хочется».

Катя Ильмаярова: «Чацкий у ног Софьи. И он отвергнут. “Ужасный человек!” Перед чем этот ужас?»

Эдик Шендяпин: «Как горько сказал Лермонтов: «На время не стоит труда, а вечно любить невозможно». А, по-моему, любить, пусть даже на время – ослепительное счастье».

Юля Арзамасова: «...Жизнь не кончена в тридцать один год, подумал князь Андрей, на него нашло чувство радости и обновления...».

Вошла Благонадёжина:

– Тамара Петровна, закончите – принесёте сочинения мне.

Перевела взгляд на меня. Ещё раз посмотрела на Небогатикову, неприязненно. Снова на меня. Тётка в бешенстве. Будет гроза.

5 июня. Меня вызвал директор.

– Александр Егорович! Так вы считаете, что Суворов, подавляя восстание поляков, сыграл реакционную роль?

– А, по-вашему, прогрессивную?

– Дался вам Костюшко. Ведь это всё была шляхта.

– Ну, шляхта. А декабристы были кто? Путиловские рабочие?

Ворвалась Благонадёжина:

– Я нашла в столе Тамары Петровны целый склад сильнейших лекарств!

Директор:

– Ну и что? Вы же не наркотики нашли. Извините, Эльвира Ивановна, я занят.

Завуч вспыхнула:

– Я буду звонить в роно.

– С какой целью? – спросил директор.

– Доложу, что детей учит больная.

6 июня. Красивая бабочка влетела в открытую створку окна, бьётся о стекло и не может понять, почему нельзя вернуться в свободный солнечный мир: ведь не видно никакой преграды.

8 июня. Небогатикова мне рассказала, что директор ей сообщил: ему звонил Аракчеев, интересовался, справляется ли больная учительница со своими обязанностями. Так. Начинается. Завуч всё-таки позвонила в роно. Чего она добивается? Надеется захватить часы Небогатиковой? Нет, здесь другая причина: стерва убирает соперницу. А директор не догадывается, что у него в школе происходит.

– Ну и что директор?

– Спросил, как я себя чувствую, не трудно ли мне.

Не трудно ли Тамаре Петровне. Как будто в школе может быть не трудно. Бедная девочка.

– Меня выгонят?

– Тамара Петровна! Успокойтесь, ради Бога. Никто не имеет права вас выгнать. Закон на вашей стороне.

Ага. Остановит их закон, Аракчеева и Благонадёжину.

9 июня. Сегодня была политучёба. У учительниц мужья, дети. В магазинах очереди. Взрослые женщины вынуждены после работы задерживаться в школе и целый час заниматься дребеденью. Завуч:

– Товарищи! Очень интересная статья академика Балаболкина «Воспитание советского патриотизма и социалистического интернационализма на уроках математики, химии и биологии в средней школе». Будем её изучать. Александр Егорович! Подготовьте к следующему занятию сообщение по статье.

И всучила мне журнал. Я представил, как буду конспектировать бред идиота, которому не поможет лечение у Альберта Пантелеймоновича. Когда все ушли, я остался.

– Эльвира Ивановна! Можно мне больше не приходить на политзанятия? Мне не интересно.

Невозможно описать её взгляд: лёд, разочарование, обида.

– Мы никого насильно не держим. Знаете, я давно хотела посоветовать: вам лучше поискать другую работу.

10 июня. Небогатикова передала мне слова директора:

– Нашёлся один человек, который набрался смелости и сказал, что ему не интересно.

Если бы я мог её защитить. Если бы мог.

Пришёл к директору:

– Вам завроно больше не звонил по поводу Тамары Петровны?

– Я сам ему позвонил. Сказал, что Небогатикова успешно справляется со своими обязанностями и как учительница русского языка и литературы сильнее всех в районе. Предложил её кандидатуру на Доску почёта роно.

– Здорово. Спасибо вам. Теперь её оставят в покое.

– Пожалуй, – согласился он.

11 июня. Принёс директору своё заявление об уходе. Он не удивился.

– Куда же вы?

– Не пропаду.

– Я думаю. В наше-то время.

Он подписал. С 11 августа могу идти, на все четыре стороны, как сказано у Марины Цветаевой. Только там уходящего благословили. Директор для этого не годится. Для этого есть другой человек.

12 июня. Однажды я сидел у Небогатиковой на родительском собрании. Мамы и папы в один голос:

– Почему за сочинения двойки и тройки? Неужели наши дети такие глупые?

Тамара Петровна стала читать им сочинения. Это было нечто. Например, упоминался ранний рассказ Горького «Алкаш» (вместо «Челкаш»). Больше родители вопросов не задавали.

Я, наверное, человек в школе случайный. Она – нет. Я уйду, а она по-прежнему будет открывать детям Тургенева, Блока, Айтматова, Трифонова. Я ей завидую. Не её работе в школе, нет, а тому, что она, нередко среди окружающей дурости, среди забрызгивающей злобы, лжи и грязи остаётся погружённой в светлое, чистое, человеческое.

Небогатиковой двадцать четыре, на вид двадцать. Я долго её не замечал, не думал о ней. До чего хороша! Мне нравится, что она не мускулистая спортсменка, что она такая слабая. На другой работе я был бы для неё Сашей, а она для меня Тамарой, Томой. Как там говаривал князь Андрей? Жизнь не кончена в тридцать один год? Я, правда, не князь, но мне всего двадцать восемь. Кстати, мальчик в сочинении правильно написал: любить на время – это счастье. Бог с ней, с вечной любовью.

Тамара Петровна, благословите меня!

***

14 ноября. Наткнулся на свой дневник, начатый десять лет назад и вскоре заброшенный.

15 ноября. Можно знать тысячи исторических фактов. Знать историю невозможно. Она не познаваема для земного человека так же, как бытие или отсутствие Бога. Даже гениальные историки создавали только убедительные версии.

16 ноября. Тома давно перестала принимать психотропные препараты, депрессия к ней не возвращалась. Ей сегодня исполнилось тридцать четыре, отнеслась к этой цифре мужественно. Для родительского комитета у неё по-прежнему день рождения первого августа.

По рассказам Томы, картина вот какая. У Гриши и Вики Догадкиных две дочки, Вика снова ждёт ребёнка. Дима Глушнёв работает лакировщиком глобусов 2-го разряда. Жора Абухов – один из трёх хозяев кооперативного кафе. Латохина до сих пор старшая пионервожатая и по-прежнему не замужем. Учитель труда Анисов каждый день оставляет кого-нибудь из непослушных учеников после урока в мастерской, запирает дверь и даёт по шее, на следующий день – так же другому; без свидетелей. Завуч Благонадёжина одобряет перестройку и повесила в кабинете портрет Горбачёва. Бывший заведующий роно Аракчеев не работающий пенсионер. Новая начальница районного образования обязала учителей истории в старших классах вести на уроках диспуты. Директор погибает от разгула демократии и зовёт меня обратно в школу на помощь. Не пойду.

17 ноября. Сегодня двадцать лет с того дня, когда гремело «Прощание славянки», мама и Таня Галчёнкова плакали, а лейтенант, ведший строй к эшелону, на вопрос «Куда поедем?» ответил: «Поезд привезёт».

18 ноября. Служили мы в Прибалтике. Мне тогда казалось, что я попал за границу. Сейчас я представил безлюдные осенние пляжи, средневековые замки, вспомнил органную музыку в готических соборах. Как-то в увольнении забрёл в костёл, фуражку снял. Подошла служительница, спросила с акцентом:

– Вы откуда?

– Из Москвы.

– Приходите вечером. Будет служба.

Смешная тётя. Разве солдат решает, куда и когда пойти. Костёл окружало небольшое кладбище. Запомнилась надпись латинским шрифтом: «Артуриньо де Баррош, консул португальский. 1748–1821». Артуриньо прожил семьдесят три года.

19 ноября. Таня Галчёнкова мне писала, что глядит на мою фотокарточку: в каске (выпросил на полчаса у старшины), с автоматом, небритый. Надпись на обороте: «Галчонок, это я в натуральном виде. Люби такого». Любила, ждала.

20 ноября. Анечка Хорольская хотела от меня ребёнка.

21 ноября. Ношу во внутреннем кармане пиджака фотографию тёщи, Стеллы Юрьевны Небогатиковой. Когда я ушёл из школы, она порекомендовала меня на работу к своей приятельнице – начальнице отдела. Я туда явился. Начальница:

– Вы знакомый Стеллы Юрьевны?

– Зять.

А начальнице всё равно. Неважно, кого прислали, важно, кто прислал. Алкоголика не пришлют. Спросила:

– Какое у вас образование?

Я с гордостью:

– Истфак.

Замечательно. Только никакого отношения к профилю работы. Но и это не важно. И это никого там не интересовало. Главное – мужчина. То есть можно: на овощную базу, в колхоз, в дружину. Как раз то, что нужно. Принят. Экономист. Через полтора месяца – старший экономист.

22 ноября. Тарифы, платёжеспособный спрос, товарные запасы. Поработав две недели, я придумал грандиозную программу реформ в стране из двух этапов. Первый: немедленное подчинение лёгкой, текстильной, пищевой промышленности торговле. Чтобы торговля не умоляла промышленность, а приказывала ей, что производить. И чтобы министр торговли СССР имел право снять с работы министров лёгкой, текстильной, пищевой промышленности СССР. Ведь у нас промышленность выпускает то, что ей удобно выпускать, в то время как торговля знает, что спрашивают покупатели. В результате же введения всевластия Минторга, думал я, прилавки наполнятся качественными товарами и продуктами, и недовольство в стране резко сократится. Тогда второй шаг: отмена цензуры. СССР без потрясений станет экономически процветающим и политически свободным. Я не отдавал себе отчёта, что первым шагом хотел предложить что-то, напоминающее рыночную экономику. А вторым... страшно вымолвить... Я был наивен, но не настолько, чтобы в то время такой прожект отправить наверх. Бог уберёг.

23 ноября. Передают концерт Вивальди из цикла «Времена года». «Осень». Хочется встать на колени перед приёмником. Здравствуй, старый друг.

24 ноября. Девять лет со дня свадьбы. Васенька Клишин ходит во второй класс. Тома иногда ловит его на перемене, чтобы лизнуть. Купила ему Жюль Верна «Из пушки на Луну». Он не любит читать.

25 ноября. Мы живём на первом этаже. В июне пришли из школы выпускники, скандировали под нашими окнами:

– Та-ма-ра-Пет-ров-на-спа-си-бо!

26 ноября. Сегодня ехал в автобусе. Битком. Диалог:

– Мужчина! Ну вы просто легли мне на спину!

– Кому вы нужны?

Не спится под первый снег. Первый снег бывает в жизни только раз. Тридцать восемь лет. Свой путь земной прошёл до середины. Божился, врал, менял ремесло, прятал обиду за хохму. Это моя жизнь, она мне дорога. И я не один, со мной два человека. Я их очень люблю. Что ещё нужно?

2011–2018

Иван БЕЛЕЦКИЙ

***

Черная кошка
Серая кошка
Радостный сыч
Взволнованная собака
Конь
Белогрудый бык
Геометрический коршун
Скопа-рыбоед
Правильной формы ёж
А вот уснувший кузнечик
А вот услужливая водомерка
Вы поместились
В поле между улицей и сахзаводом
Как и спрятанная лиса
Как и настырный гусь
Малый проводничок
Для дяди и дедушки

***

Псевдоказак, псевдовойна, псевдосмерть.
Ясно: откроем подпольную школу
с классами консерватизма, войноведения,
некрологии.
Дрожжевое единство, цветочки в овражке,
о, а вот и предметы культа.

Пусть ездят по небу тачанки,
и распускается кочан,
и расцветают калачи
иваныча и михайлыча.
Где виды заводной победы,
где поминальные обеды.

***

Ладно, девяностые выдуманы, но НЛО-то нет.
Тебя воспитали выходцы с Марса, тебя и сестру.
И вот мы собираем грибы в полях,
и ты, и сестра.

Эти фигуры рассеяны по стране.
Мы, например, приехали на уазике, а кто-то пришел пешком,
но все мы посланы сигналами свыше.

Иван Белецкий родился в 1983 году в Краснодаре, в 2005 окончил юридический факультет. Работает журналистом. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге. Стихи публиковались в журналах «Крещатик», «Урал», «Новый мир», «Нева», «Волга» (2014, № 11-12; 2016, № 1-2; 2017, № 1-2).

Мудрые, ненаучные,
опекающие детей и животных,
светили шары конца света.

***

Глупая рыба в хорошей реке
линь красноперка сом
я развалился на берегу
спорю своим лицом
рыбы жуют как наружный мир
подводная его часть
сом стоит на дне словно смерть
на глупость облокотясь
но что эта глупость где ее твердь
где мое место в ней
тухнет река живет холодней
тухни живи холодней
сом стоит на дне словно смерть
холодная он сова
сом унесет рыбака моева
и сплюнет на берег его

***

я понял прелесть накопления вещей
тепло перечисления предметов
собравшихся на мировом плече
опустишь ногу в ледяную воду вещь
глаза погрузишь в камыши большую вещь

прозрачный предмет осень круглая вещь дорога
конёк канюк гуси времени у порога
ружье стреляет вот и не видно ружья
удочка исчезает и окунь и дальше кто

***

Вот вам еще немного пропповщины:
он переваливается через сугробищи.
Улицы шатаются половины,
завязывается замерзающий разговор.
Мягок как глина, пьян как бугор.
«Это граница, ты за границу влез,
ждут тебя дома, но будет сражение,
вложишь в землю свой вес».
(Звезды мерцают уже).
«Мир поедай, звезды эти в т.ч.,
дерево впитывай, гусли рельсы ж/д,
глянь, уже бесконечный маленький город в твоем плече
и большой бесконечный пригород в животе».
Кристаллизуются руки, ледником голова.
Холод и твердь внутри тебя, голова.
Бог зимы повержен и не летит,
ох, бог, прости.

***

Пойдем обсохнем обсохнем пойдем
Бога поищем бгггг не найдем
Худые румяные сохнем и сохнем
У поля футбольного с круглым мячом
Одышка и глупость и спорт
Вот школа вот двор вот футбол
И грязно и мокро игра мозговая
А вот и вратарь как блоха полевая
А вот мы теперь в стороне
Стоим под навесом как нет нас

***

Мне мало лет, я ищу гранит
С прожилками обманки
И в мире много есть границ:
Маслозавод, автоколонна, косогор
И есть ребенок инструмент
Для изучения границ
Для отыскания руды
Отысканья парадигм
Я просто выхожу на огород
Где овощи подножные растут
Я просто додвигаюсь до забора
И сквозь него смотрю на косогоры
Поверху движется локомотив
И щебень во все стороны летит
Свобода во все стороны лежит
Ты с деревом ты с домом с муравой
Ты обнимаешь дерево рукой
И ешь обман как кошка ест траву

***

ночь не ночь рассвет не рассвет
томление стриженых лесостепей
хозяин думает что теперь
не было сна нет так нет
зонтичные цветы
белеют из темноты
думает ноосфера думает мозгозём
река живая плещется карасем
думает как дальше лежа лежать
сильною мыслью ворочать холмы усы
кукурузу преображать в светочасы
овраги еще темнее кладбище так еще
как насчет призраков паники как насчет
прикованности паралича немоты ума
ночи набравшей тяжестей в свой карман
где вы потомки вытягивайте меня

Марина БУВАЙЛО

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ МИГАНОМИИ

I
Saison Théâtrale

Когда я пришёл в себя, по их стандартам, не моим, по своим стандартам, я, ха-ха, был в себе всё время, не выходил из себя, типичный образец алкогольного юмора, прокомментировал профессор, обращаясь к младшим коллегам, так вот, голубчик, я думаю, что вы пришли в себя настолько, что сможете оценить своё положение. Мы сделали всё, чтобы спасти не только вашу жизнь, но и до максимально возможной степени ваши умственные и физические возможности. Дальше всё зависит от вас. Бросите пить, будете вести здоровый образ жизни, физиотерапия, зарядка, особенно в воде... ну что ж, человеческий организм способен на чудеса. Как я сказал, всё зависит от вас, но не только от вас. Жить самостоятельно, я боюсь, вы больше не сможете. Насколько я понял, близких людей, способных взять вас к себе, у вас нет, жизнь в разъездах вам больше не подходит, значит, придётся подумать о чём-то удобном, соответствующим вашим нуждам. Я бы посоветовал, скажем, перманентный дом отдыха для людей вашего круга с постоянным уходом и по возможности с бассейном.

Я выслушал его монолог не прерывая, оценив профессионализм игры, модуляцию голоса, искренность тона и жеста, он был хорошим актёром, вполне подходил на свою роль. Перманентный дом отдыха – это эвфемизм для домов престарелых или инвалидов. Поскольку я из себя, ха-ха, почти... я и самостоятельно просчитал, что жить в отелях и на временных квартирах уже не смогу. Осталось только выбрать место, в котором уход сочетался бы с достаточной долей свободы. Обсудив все возможности с друзьями, моим агентом и с адвокатом, я остановился на «Вилле». «Пансионат Вилла» находится в Грэйле, уютном маленьком городке, как бы специально приспособленном для инвалидных колясок рядом с довольно крутыми лестницами змеятся пологие спуски, и вверх-вниз – к морю и на гору – скользит фуникулёр. Мне всегда хотелось подольше пожить в этой живой многонациональной стране, и вот теперь выдалась, ха-ха, такая возможность. Я уже решился попробовать писать нечто вроде мемуаров и параллельно вести дневник, так что скучать не буду.

***

Среди других привлекательных моментов не последним был и тот, что там уже несколько лет жила Дива и, судя по всему, была довольна. Зная её характер, ха-ха-ха, она бы и секунды не потерпела...

Мне повезло с комнатой, угловая, светлая, продуваемая, два балкона, – на длинный, вдоль горы, сад, и второй, повисший над центральной улицей, пандусы к балконам и в коридор, ведущий в гостиную, столовую, приёмную, хотя с креслом на колёсиках управляться оказалось намного труднее, чем кажется.

Некоторым разочарованием оказались другие жители дома, многие были лежачими, многие страдали потерей памяти. Я с нетерпением ждал встречи с Дивой, которой был представлен в начале своей карьеры, и даже играл с ней – мелкую роль – в одном из фильмов. На вершине славы, за которой, все понимают, ожидается, ха-ха... она была сверх обычного нервна и капризна, но меня заметила и обращалась со мной вполне благосклонно, дала несколько хороших советов.

Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, где работает психиатром. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (М.: НЛО, 2006), «Игры» (М.: НЛО, 2009), «С.П.У.М.С.» (М.: НЛО, 2011). В «Волге» публикуется с 2012 года.

Я ждал встречи с Дивой, но с некоторым трепетом, если я сам ТАК, ха-ха, изменился за тридцать с лишним лет, она и тогда была не первой молодости, я вглядывался в нарумяненных и налакированных старух, которых сиделки, «помощницы» на жаргоне Виллы, в колясках и в креслах вкатывали в гостиную, где гостями были мы сами. Я со страхом вглядывался в бессмысленные лица, отрешённые или детски-восторженные, неужели она одна из них? Когда я обратился к персоналу, сказал, что хочу увидеть Диву, знаком с ней, мне ответили вежливо и приветливо, как их обучали, но без удивлённого восторга – знаком с Дивой!

***

Она жила в другом крыле, для... Я, ха-ха, понял – милый профессор не только оказался неспособным оценить моё чувство юмора, он уверил всех, за моей спиной, конечно, что меня ждёт прогрессивная и скорая деградация, деменция. Таким образом, меня поместили в отделение «нуждающихся в дополнительных услугах», то есть маразматиков.

Для обслуживающего персонала мы все были иностранцами, людьми без прошлого, которым не нашлось места ни в собственных семьях, ни в собственных странах, иначе почему бы мы оказались здесь. Они не были удивлены моим отличием от других «жителей крыла», мы все назывались «жителями», жители восточного крыла, отделения Роза, Пион, Хризантема, жители южного крыла, жители западного крыла. Моя комната находилась в Хризантеме, Дива жила в Перепёлке, западное крыло. По большому счёту «помощникам» было наплевать на нас. Но им хорошо платили, и они хорошо ухаживали, улыбались, уговаривали. Им запрещалось разговаривать на своём языке на территории Виллы, но вдали от начальства они обменивались быстрыми картавыми фразами. В молодости я часто бывал в этой стране, на съёмках и просто дёшево отдохнуть, и подучил, на бытовом, конечно, уровне, язык. Теперь я с удивлением обнаружил, что легко понимаю их, видите, профессор, ха-ха, до маразма мне далековато. Подслушав в первый же день довольно интересный разговор двух девиц, что-то о любовнике одной из них, я решил сохранить знание языка в тайне, на первых порах по крайней мере. И был вскоре вознаграждён полезной информацией кодом садовой калитки, ведущей в город. Я записал его в свою электронную игрушку, прощальный подарок друзей, с которой помаленьку осваиваюсь.

***

К Диве меня привели/везли после многих ежедневных докучливых напоминаний и требований. Она, в шляпке и кимоно, плохо сочетающимися по стилю с обычной точки зрения, но создающими вполне эффективный эффект артистической причудливости, странности, сидела на балконе, заставленном кадками с растениями, так что моё кресло-коляска застопорилось у распахнутых дверей. Я узнал её моментально, попытался напомнить о нашем знакомстве, она прервала меня: «Не тратьте сил, мужчин в моей жизни было много, но я их помню всех». «Ха-ха, я счастлив!!» ха-ха, подумал я, память ей изменяет, приняла за бывшего любовника.

«Я ужасно выгляжу, сплю ужасно, прошлую ночь просидела у окна, смотрела на небо, просто щель! Эта ужасная гора совершенно заслоняет вид! Слева дом, справа гора, а на балконе... там на горе бродят люди, я не могу показываться им в ночном пеньюаре! А вы, зачем вы здесь?

Как ты сюда пробрался и зачем?
Как перелезть ты мог чрез стену сада
Высокую и гладкую? И смерть
Тебе, когда кто из моих родных
Тебя найдет здесь».

Я не сразу вспомнил, сообразил, это не... Она подсказала –

Через эту стену

У меня в голове что-то щёлкнуло, автомат включился, и я продолжил –

Перелетел я на крылах любви.
Оградою из камня невозможно
Сдержать любовь, –
она на все готова,
Твои родные – не помеха мне.

Она –

Они тебя убьют, когда увидят.

Я, уже с лёгкостью, –

Твои глаза опасней для меня,
Чем двадцать их мечей.

Ха-ха, она действительно узнала меня. Поразительно! Именно эту роль, стареющей звезды, подбирающей себе молодых и не слишком талантливых партнёров, чтобы оттеняли, но не затмили, она играла в том фильме, сделанном специально для неё, вокруг неё, чтобы дать ей в последний раз с достоинством сыграть Джульетту. Нас, по сценарию претендующих на роль Ромео, кормилицы, матери, Лоренцо, было около двадцати актёров, ни один из нас не играл больше одной сцены. Никаких Меркуцио, Тибальдов, только сцены с Джульеттой. И со мной именно эту. Ах, как она играла, на просмотре, я ещё тогда ходил, ха-ха, на просмотры, мы все, забыв об истериках и скандалах, любовались ею, её игрой. Сколько...

«Не начинайте рассказывать мне, что произошло с вами, меня это не интересует. Я приблизилась к барьеру, за которым человек перестаёт интересоваться окружающим, только собой! Вы, голубушка, можете идти, вернитесь за ним через полчаса, а вы можете вылезти из вашей каталки и сесть в это кресло, иначе мне приходится напрягать шею, мой позвоночник не выносит...»

Я покорно попытался, цепляясь за перила, встать и передвинуться в указанном направлении. Да уж, представился не в лучшем свете, матерясь и охая. Дело в том, что я на ноги не вставал самостоятельно, по крайней мере, с того утра, когда, очнувшись, обнаружил себя в палате интенсивной терапии. Болтаться между двумя физиотерапевтами не в счёт. Проклятая баба, она заставила меня забыть о моём положении и вообразить себя пылким любовником, перепрыгивающим стены. Но в своём роде я стену перепрыгнул и, обливаясь потом и дрожа всеми мышцами, которые ещё оставались в моём теле, вполз в кресло, чуть не завалив его на себя. Пока я, повиснув на перилах, волочил многопудовый груз тощих палок-ног, она следила за мной с холодным любопытством, но тут слегка кивнула головой, как бы признавая тяжесть проделанной работы. Собственно на это и ушла большая часть получаса, отведённого мне на аудиенцию. Я ещё раз выслушал жалобы на плохой сон, боли в позвоночнике, при этом, показывая, как болит поясница, она выскочила из кресла и согнулась чуть ни вдвое. Мне, хе-хе, воистину стало стыдно – она была старше меня почти на 30 лет. Явилась Яглая, черно-румяная девица, приставленная ко мне. Найдя меня в кресле, удивления не высказала и, кажется, ожидала, что я и назад в коляску сам вернусь, но на второй подвиг меня не хватило и, опираясь на перила, я дал ей доволочить меня.

«Я пришлю за вами», – тоном королевы пообещала Дива.

Вряд ли, – подумал я, – не после такого выступления. Хе-хе, до конца дня я провалялся в постели, даже от ужина отказался.

***

Однако через сутки Яглая снова толкала моё кресло вдоль длинного коридора. «Где вы были вчера? – встретила она меня раздражённо, – я хотела показать вам... идите, милочка, я позвоню, когда вам надо будет забирать его. Я намерена... да перебирайтесь же вы в это кресло, не хотите же вы, чтобы у меня начались боли в шее. Надеюсь, на этот раз вы отдышитесь быстрее, нам...»

«Почему вы отправили Яглаю, если настаиваете на том, чтобы я сидел именно там. Мне кажется, ха-ха, что она бы... Я, ха-ха, предпочитаю висеть на девушках. Гораздо эффектнее, чем на перилах».

«Я терпеть не могу посторонних у себя, когда я в них не нуждаюсь!»

«Тогда пересядьте так, чтобы вам было удобно смотреть на меня, значительно проще и быстрей».

«Я всегда сижу в этом кресле. Мне удобно именно так».

Всегда, в этом, именно так, – не повышая голоса, без нажима, только небольшим изменением интонации, с королевской уверенностью. Чёртова старуха! что ни говори, она, ха-ха, всё-таки большая актриса. Я полез из кресла, если смог один раз...

Ничуть не легче, хоть, ориентируясь на предыдущий опыт, я постарался обдумать порядок действий – так, не придвигать кресло вплотную к перилам, а оставить небольшое пространство, не тащить обе ноги вместе, а держась одной рукой, другой помогать правой ноге передвинуться вперёд, затем подтягивать левую. Не знаю, выглядело ли это элегантнее со стороны, но я остался доволен и даже пообещал себе потренироваться у себя в комнате. Я был готов выслушать жалобы Дивы на погоду, персонал, плохой сон без особого энтузиазма, но и без раздражения, понимая, что собеседников у неё немного, я, вероятно, единственный в этом месте удостаиваюсь чести навещать её – с одной стороны, она всегда была очень капризна в отношении людей, с другой же, ей необходимо общество, в котором она могла бы блистать, брюзжать и командовать. Не какое попало, а людей её ранга. Ну что ж, мы с ней сравнялись, оба бывшие... она была добра ко мне, когда я был никем, теперь была моя очередь. Да и для меня она, вероятно, будет единственным компаньоном, на некоторое время, по крайней мере, пока не прибудет электрическая коляска, со всякими персональными наворотами, заказанная на мои последние наличные деньги – сразу до кризиса я, по идиотскому совету, вбухал весь гонорар в акции, то есть практически потерял всё – если когда-нибудь они и поднимутся в цене, я вряд ли успею этим воспользоваться. Тогда это не казалось катастрофой – я много раз оказывался на границе банкротства, и всегда подворачивались новые контракты, ниоткуда возникали предложения выступить, в общем, обычная актёрская жизнь. Но на меня посыпались неудачи со всех сторон – обломились гастроли в Австралии, от огорчения я, ха-ха, позволил себе некоторую невоздержанность в отношении алкоголя, проспал самолёт, пропустил концерт, с меня содрали неустойку, ну и, как обычно, гонорары едва успевали покрывать долги, а потом – это. Теперь с деньгами у меня было туговато, только небольшая пенсия да ничтожные проценты от продажи записей концертов. У Дивы финансовых, ха-ха, затруднений, скорей всего, не было, и она, хоть и славилась прижимистостью, на себя не скупилась. Почему она выбрала именно Виллу, я сказать не могу, знаю, почему ругала – она никогда не была НИЧЕМ довольна, на словах, по крайней мере. У меня никаких особых претензий к месту пока не находилось, еда приличная, персонал вежливый и, главное, не навязчивый, не заставляют заниматься зарядкой, не стоят, уставившись, пока не проглотишь выданные лекарства – принесли вовремя и ладно, дальше твоё дело. Мою основную «помощницу», Яглаю, на прогулках – нам полагалась прогулка в день – я легко мог уговорить отвезти меня в приглянувшуюся мне пивнушку, гордо именующую себя баром-рестораном, или в рыбачий кабачок. Так что... жаловаться я мог только на судьбу, но это, хе-хе...

Я слушал Диву с почтительным вниманием, но без сожаления, прежде всего, сожаления она бы не потерпела, а во-вторых, я не жалел её, я искренне восхищался, она не была, она оставалась великой артисткой, и я уверен, играющей не для меня, не для публики, единственный человек, достойный её игры, была она сама. Ей было необходимо общество, в котором она могла блистать, но играла она для себя.

***

Чёртова баба, но без неё я бы сдох со скуки. Два часа прогулки и всё, потом я был предоставлен самому себе, с мемуарами пока не складывается, дневник... писать мне не то что лень, писать ручкой почти разучился, хотя теперь приходится, пишущие машинки вышли из моды, даже ленты уже не купишь, компьютера я не заводил, не хотелось обучаться, тратить время, предпочитал, чтобы друзья связывались со мной по телефону, остальные – через агента. Технику я всегда демонстративно презирал. Машину в юности водил, но потом понял, себе дороже – лишнего не выпей, парковка, вообще обуза, хуже собственного дома. Мобильный завёл позже всех – заставили, и самый простой. С этой электронной игрушкой, которую мне подарили перед отъездом, на ней якобы можно всё – читать, писать, она же фотоаппарат, она же диктофон, и ещё куча всего ненужного, я разбираюсь помалу, за-

глядывая в блокнот с каракулями Стивена... вот, хе-хе, научился диктовать. Писать, нажимая мелкие буковки, видно, никогда толком не научусь. Дневник... о чём? Диву надо видеть, о себе... прогулка – кофе, немного вина, пара стопок арэки... хорошенькие подавальщицы, само по себе развлечение, но каждый день писать об этом, увольте. А после прогулки, за исключением появлений помощниц на звонок – где мой завтрак/ужин, хочу, ха-ха, освободиться от съеденного/выпитого, хочу перебраться в кровать или из кровати в кресло, что ещё?.. ну, читаю, музыка... ну, смотрю изредка, для языка главным образом, детские передачи и «гастрономическую программу». Местные новости (кого-то убили, кто-то победил на выборах, кто-то чем-то возмущается) не смотрю – скучно.

***

Мне не приходилось долго гадать, кем она была, жестом, интонацией она намечала характер – королева, оскорблённая и покинутая, скучающая рассеянная красавица, порывистая девушка под присмотром гувернантки, сама гувернантка, нудно перечисляющая правила поведения, лёгкая, слегка вульгарная дама полусвета, – не прерывая монолога, даже почти не изменяя словарь, достаточно старомодный в любом случае. Её роли не были современными, она принадлежала прошлому.

Боюсь, что нужно смириться с тем, что отныне и я... Не легко, однако.

Мой дорогой Ар, пересылаю первую часть расшифровоного. Попробуй всё же разобраться со «своей игрушкой», сможешь посылать то, что ты диктуешь по электронной... Марки, конверты в наше-то время! А почерк! Наслаждаюсь твоими, «хе-хе», наблюдениями о жопах и сиськах нянек. Я оставляю пока все твои хихиканья. Мне нравится, что ты в твоей ситуации видишь забавные стороны. Пиши, пиши, и про Диву, и вообще. Я попробую издать – «пока меня помнят». Уверяю тебя – помнят и будут помнить.

***

День начался необычно – вместо Яглаи, красивой сговорчивой девахи, которую легко было подбить на не то что запрещённое, но не одобряемое администрацией посещение порта, густо населённого легкомысленными пивнушками, явилась Майда, средних лет, щуплая и суетливая. Несмотря на постоянную напряжённую улыбку, она... я уже имел с ней дело и знал, что никаких отступлений от правил она не позволит. Переходить улицу с ней было настоящее мучение, там, где мы с Яглаей лихо скатывались вниз в ближайшем удобном месте, Майда, пыхтя от напряжения, толкала мою коляску вверх, к светофору, большую часть времени к тому же и не включённому – днём машин практически не было, работающие уезжали рано утром, а внутри городка, на узких, кривых, вверх-вниз петляющих уличках, легче и быстрей передвигаться пешком или на фуникулёре, скользящем поперёк угловатых спусков. Конечно, в коляске приходилось избегать совсем уж крутых склонов, но прокатить меня в порт и обратно Яглая не возражала. А Майда могла заартачиться – «начальство в пивные жителям Виллы...» Тоже мне... Если от Дивы я, ха-ха, и готов терпеть дамские капризы, то уж точно не от помощницы. Намеренно надменным голосом я объявил ей, что сразу после завтрака хочу отправиться в старый город – он граничит с портом и граница была условной, большинство портовых заведений имеет выход и на ту улицу, которой начинается торговый квартал. Майда была необычно сосредоточена на чём-то, происходящем внутри неё, во всяком случае, наружу проявлялся вид непривычный и рассеянный. Без нервной улыбки от желания угодить, но правил не нарушить. Мне первый раз пришло в голову такое объяснение вредности Майды и как-то смирило меня с ней. Тем более, что она без возражений принялась толкать коляску в направлении старого города. К светофору. На этот раз я не пытался спорить, движение было как в ранние утренние часы, когда мимо моего балкона неслись машины в промышленные районы, где и работали мужчины городка.

***

Необычное оживление на дорогах не задело моего сознания, я просто отметил это как некоторую шутку – мне пытаются доказать, что правильно переходить улицу в правильном месте. «Куда теперь?» – и, следуя указанию, Майда повернула к моему любимому кабачку, где утренние часы про-

сиживали рыбаки, вернувшиеся с ночной ловли, за кумарами (местный, теперь уже полулегальный, деликатес, нечто вроде долмы с коноплёй), кофе, арэкой и домино в ожидании портомесо – рыбный суп из остатков их улова, вроде буйабеса. Я рассказывал Диве об этом злачном месте, и она вполне готова была отправиться со мной туда при одном условии – «мы поедем на такси, и вы...» – я доберусь самостоятельно от машины до стола, она не желала появляться на людях с мужчиной, которого возят в «телеге», моя электрическая коляска, которая вот-вот со дня на день должна была прибыть, не устраивала её тоже, – «не думаете же вы, что я буду бежать рядом?». Каждый день она терроризировала меня допросами – насколько улучшились мои достижения. То, что я без помощи добирался от кресла до балкона, её не убеждало. Мои достижения! – ха-ха, после нескольких месяцев в больнице, набивая шишки на иной, непривычной «как бы жизни», я вполне комфортно приспособился к позиции человека, которому... помогают/прислуживают? который... который использует свои... ну, скажем, мелкие недостатки в свою пользу.

Но сдавшись Диве, я приспосабливался к её, хе-хе, влиянию. Сегодня я решил попробовать пройти хотя бы от входа в кабачок до моего любимого стола. После трудного путешествия вдоль стены, опираясь на спинку скамьи, я, наконец, приземлился на своём месте с глубоким удовлетворением – справился наилучшим образом. Свидетелей, кроме Майды, не нашлось, обычно забитый в это время сонными, протрезвляющимися к возвращению домой рыбаками и забредшими на поздний завтрак/ранний обед любителями портомесо и туристами, кабачок был пуст. Тем не менее ждать официантку пришлось очень долго, и арэки ещё дольше. «Что происходит?» – спросил я небритого повара. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, – «разве, – он замялся, глядя поверх меня, – разве они...», я оглянулся, за моей спиной стояла Майда и делала страшные рожи, размахивая руками. «Что происходит? – спросил я, вложив всю... цезарь не смог бы звучать более авторитарно, – немедленно объясните!» – чуть не произнёс – доложите, – но вовремя остановился и даже улыбнулся. Официантка, тут она – наконец! – появилась с дозой раза в три превышающей заказанную, сегодня была почти хамски незаинтересована в работе, во мне! да и вообще... Официантки, их здесь обычно две, эта рыжая и ещё одна, они же уборщицы, они же за некую плату поднимались на короткое время вслед за посетителем на второй этаж, и если отсутствовали обе, повар, не снимая заляпанный рыбой фартук, становился за стойку или разносил напитки. Иногда и он исчезал наверху, предполагаю по его манерам, по тем же причинам, и у стойки не было никого. Посетители таких мест толерантны к обслуживанию, если не испытывают недостатка в алкоголе, чего они не испытывали – кто-нибудь из завсегдатаев немедленно превращался в бармена, честно собирая деньги в тарелку, за что, по крайней мере, пара бесплатных напитков ему причиталась.

Так вот, рыжая официантка, за этой я всегда с удовольствием наблюдал – улыбчивая хохотушка. Улыбчивость часто недоступна хохотушкам, это другая, более тонкая игра, другое проявление... ну, разные характеры по-разному выражают себя – громким, как бы неудержимым, чаще наигранным смехом на широкую публику или улыбкой – чётко направленной. Эта шлюшка не только обладала двойным умением, она чувствовала, когда улыбка, все варианты улыбки – саркастическая, понимающая, сочувственная, насмешливая, служебная, до ребячески простодушной – к месту, и использовала своё внутреннее знание очень точно. Она была если не умна и образована, то удивительно артистична, как бывают артистичны талантливые дети, прочитывающие, что от них хотят. Я обычно с удовольствием посматривал на неё, бескорыстно во всех отношениях, как вы можете догадаться, хе-хе. Сейчас она была бледна и выглядела как-то потрёпано... Что-то бабское? – время месяца? беременность? бессонная ночь? любовник? Во всяком случае, несмотря на отсутствующий взгляд, она принесла, наконец, арэку, но отнеслась ко мне как к случайному туристу, потребовав платы немедленно. Однако тройную дозу не учла. ОК, я заплатил, сколько она сказала, в конце концов, ровно за то, что заказал. Майда безразлично сидела над чашкой кофе и не торопила меня, официантка тоже уселась за столиком напротив и чертила пальцем в просыпанной на столе соли, наклонясь так низко, что я мог заглядывать за оттопыривающуюся на груди блузку. Так что я наслаждался арэкой, наслаждался бы, если бы изнутри меня не... не знаю что, тревога без названия, и я, человек, в принципе, не тревожный, пытался определить, в чём дело. С одной стороны, хорошо, всё что я люблю – кабак, красивая девка сидит на стуле, голые плечи исключительно для моего обозрения, океан за окном в облаках тумана, солнце еле пробивается сквозь, арэка, и почти бесплатно, с другой стороны, что-то

происходит. Что...? почему? По экрану ящика, хотя какой это ящик теперь, скорее рамка, единственная современная вещь, по экрану бродили толстые певцы, раскрывающие рты с преувеличенным старанием, звук, слава Богу, выключен, какая-то доисторическая запись доисторической постановки, по костюмам и титрам можно догадаться – Нибелунги, Вагнер.

Просить Майду объяснить мне, что происходит (необычное и, вероятно, не очень хорошее, иначе почему скрывать), бесполезно. Вот Яглаю я смог бы если не уговорить, то, хе-хе, обойти косвенными, хе-хе, вопросами, она не особенно настроена на соблюдение правил и поэтому бывала достаточно расслаблена, не стояла на страже порядка – ну, понятно... ей, в общем, наплевать, лишь бы начальство не узнало. Я попробовал поболтать с шлюшкой-официанткой, но она была совершенно заторможена и даже не улыбнулась моим заигрываниям и шуткам. Допив арэку, я поколебался, не заказать ли ещё, внутреннее беспокойство не улеглось от тройной дозы, но после некоторого раздумья решил остановиться у магазинчика на пути домой, прикупить коньяку, маслин, козьего сыра и устроить небольшой кутёж с Дивой.

Магазинчик, обычно пустой, был забит до отказа, кресло некуда вкатить. Майда предложила мне подождать снаружи, пока она купит всё, что скажу, но я отказался – алкоголь полагалось держать не в комнатах, а в баре, который запирался, а мне вообще был запрещён врачом, законопослушная Майда коньяк купить побоится, поэтому я решил повторить подвиг. Добрался же до столика в кабаке, дойду и до прилавка, в том, что местные жители пропустят меня вперёд, я не сомневался.

***

Местные жители стояли плотной толпой, расступаться и не подумали, не подумали и поддержать меня, я остался висеть на ручке двери, не рискуя сделать шаг. Люди перекрикивались, ссорились, переговаривались, протискивались наружу с набитыми пакетами, и было ясно – закупают продукты, готовясь к чему-то. Меня толкали, пихали – совершенно не похоже на доброжелательных тюринцев. К счастью, в толпе обнаружился наш садовник, с которым у меня к тому времени сложились отношения – он тайком приносил мне сигареты и домашнее вино, и я в долгу не оставался. Разглядев моё бедственное, подвешенное, хе-хе, положение, он доволок меня до кресла, выслушал мой заказ, хмуро кивнул, – это всё? Майда ждать отказалась, и мы отправились домой. За время, проведённое в магазине, я не столько понял, сколько догадался, что в горах что-то происходит. Если бы не общий шум и шум в ушах от напряжения, я бы понял больше, но и так... Сразу за воротами, ещё на довольно крутой части дорожки стоял запакованный предмет, по виду... да что там по виду, на крышке ящика крупными буквами был обозначен получатель – долгожданный четырёхколёсный скутер, наконец, прибыл. Почему-то его бросили у ворот и не вкатили наверх. Я попросил Майду оставить меня рядом и стал дожидаться садовника. Майда, всё с тем же безучастьем, не споря, ушла. Солнце вылезло из утреннего тумана и пекло нещадно, распаковать скутер, чтобы поскорей полюбоваться на него, без инструментов и твёрдо стоящему на ногах было бы трудно. А Горк, садовник, всё не шёл. Майда, очевидно, забыла про меня, подняться самому вверх... хх-хе, попробуйте покрутить руками колёса кресла на этом склоне.

***

Наконец-то... Горк, гружёный пакетами, появился и довёз меня до моей комнаты. Там, подмигнув, отдал заказанное и ещё блок сигарет и большую упаковку местного сухого хлеба. «Это ещё зачем?» – удивился я, хлеб, если нужен, всегда можно взять в столовой, да и сигарет у меня было пока достаточно. «Пригодится», – он выгреб из кармана сдачу с моей сотни, пересчитал, отдал мне, я, как обычно, вернул ему пятёрку и прибавил ещё десять, попросив распаковать скутер и привести его наверх. Он поскрёб голову, – «мои будут волноваться, тёща и так воет с самого утра, я обещал вернуться как можно... А, ладно!» – и убежал, не дожидаясь вопросов. Я выкатился на балкон и повис на перилах. Горк появился очень скоро, толкая уже освобождённый скутер. «Он на бензине или электрический?» – «И так, и так должен быть. Что происходит? чего тёща воет?» – «А-а! Старая! Помнит, как это было тогда, в прошлый раз. Я объясняю, что время было другое... пока все узнали, что происходит... А сейчас и интернет, и мобильные, если что... да и вообще это только слухи! Может, просто... – он махнул рукой, – в любом случае, вас это не коснётся, поживёте пару деньков в Сониа, пока всё успокоится. Пусть покричат!» – «Кто покричит? Что не коснётся?» – «Всё в порядке! Сейчас

закачу его в оранжерею, поставлю на зарядку, покатаетесь, когда вернётесь». Он исчез, вернулся, махнул рукой, прощаясь. Соница красивый город, прокатиться туда я не возражал. На обед ещё не звонили, и я отправился рассматривать свою новую игрушку. Инструкция была длинной и сложной, изучение её заняло кучу времени, и только бурчание в животе напомнило мне, что хорошо бы поесть. В столовой уже не только никого не было, даже запаха еды не осталось, и всё убрано, посуда, скатерти... Я взглянул на часы, ну да, третий час, а ланч в 12. Мне и раньше случалось опаздывать, мою порцию обычно оставляли на подносе в кухне, и помощники разогревали её или приносили салат, сэндвичи, в общем, то, что заказал утром. Сегодня я, кажется... не помню, что именно... что-то... но в кухне не было никого, и никакой еды тоже. Я заглянул в плиту, микроволновку – пусто, холодильник – почти пустой, молоко в бутылках и пара банок простокваши. Кладовка закрыта на щеколду, до которой мне не дотянуться. Никого, только в большой гостиной несколько старух дремали в креслах под громкие марши из радиоприёмника. Одна из них хрипло сказала – пить! Никто не отозвался. Я потянул за шнур, на звонок обычно прибегают сразу 3-4 помощницы, на этот раз не явилась ни одна! Пожалуюсь заведующей, решил я и с этим покатил к её офису. Закрыт! Разозлившись, я чьей-то палкой вышиб стекло пожарной сирены и нажал кнопку. Завыло так, что заложило уши. Ещё две бабки проснулись и заорали, остальные продолжали спать. Никого из обслуги. К вою сирены и старух присоединился треск. Я долго соображал, что и где именно, с трудом понял – телефон у заведующей, той же палкой несколько раз ударив по ручке двери, замки здесь условные, вломился в кабинет, в котором не был с прибытия. Он странно выглядел, совсем не так, как я запомнил – аккуратный, официальный, но с некоторой долей домашней гостеприимности, ну, там, цветы-фрукты-конфеты. Сейчас кресло сдвинуто в угол, к окну, стол завален пакетами, папками, коробками, вроде бы пустыми, ограбили? я даже огляделся, нет ли где трупа. Схватил трубку, мне в ухо гаркнули, – адрес! что горит? Понимать-то я примерно понимаю, и заказать-купить, что мне надо, языка или рук хватает, но выяснять по телефону, что случилось? куда подевались все работники Виллы? и вообще, что творится, почему? – это другое. Я собрал всё своё... у актёра это не воля, это от Бога, умение выложиться в решающий момент, и я выложился!

«Откуда я знаю, что происходит в вашей ***** Вилле, – это был ответ на моё объяснение, почему я нажал на сирену, – если ничего не горит, мне ******* это ******* **********, – он перешёл на английский, – у меня побольше дел, чем слушать твой... материться я и сам умею не хуже, понятно?»

«А в городе? Что вообще **********?»

«У тебя там что, ящика нет? Ничего не происходит! Что, *********, за паника! Вас не тронут! И вообще, что ты там делаешь? Вас же всех эвакуировали!»

Всё-таки мат – это эсперанто, международное, на любом языке самая доступная часть коммуникации. Я объяснил, что никто нас не эвакуировал и мы, ******** остались без помощи и ********** без еды и что ********** нам делать? Он велел ждать у телефона и минут через десять сообщил сухим официальным голосом, что транспорт адекватно справляется с ситуацией и нас скоро отправят в Сонию. Спасибо, хоть сирена перестала выть. Я ткнул кнопку телевизора – он не включился, вернее, включился, но экран остался мерцающе-серым, решил вернуться к себе в комнату, где мой приёмник, настроенный на BBC, и этот, ай-что-то, который я поставил на зарядку ещё с вечера, и вспомнил – Дива! Почти забыл о ней. Коридоры переплетались, а хорошая ориентировка – не моя сильная сторона, раньше меня толкали в коляске, и нужды запоминать дорогу не было. Тем не менее я нашёл её, не дорогу – Диву. В шляпке и перчатках, несмотря на послеполуденную жару, она вышла из коридора мне навстречу – «А, это вы, пойдёмте скорей, я должна это видеть!» Я развернул своё кресло и покатил за ней, на ходу пытаясь выяснить, что именно она должна видеть, и заодно поделиться своими известиями. По-моему, она отреагировала только на сообщение о коньяке, даже скутер её не впечатлил. Попытки рассказать о моих утренних достижениях, об отсутствии персонала Виллы, обо всём странном, она оставила без внимания.

«Кавафис, слышали о Кавафисе?»

После секундного замешательства я сообразил, Константинос Кавафис. Слышал, конечно, даже читал, хотя, по правде, не так уж...

«Варвары, варвары наступают! Так волнительно! Я так боялась, что вся моя жизнь закончится на этом, существование в скучной Вилле, а тут варвары! Разве это не прекрасно!»

Варвары! И тут... Тут до меня дошло, наконец... Может быть, проф был не так уж и неправ. Я всегда славился остротой ума, умением соединить, хе-хе, неочевидное, всё-таки три года в Кембридже, хотя театр занимал большую часть моего времени, тем не менее попал-то я туда не из дорогой частной школы... вероятно, профессор в чём-то прав, мозг мой слегка подпортился – варвары! Я же знал их историю, историю Миганомии. Лет сорок назад гатчане перешли границу... хотя нет, тогда и границы-то не было, одна небольшая империя, они напали просто на соседнее село, только потому, что те говорили на другом языке, и религия... другая? чёрт, не помню, а может, и не знал никогда... в общем, в мозгу моём соединились оборванные провода и я понял, почему выла тёща Горка, почему Майда... и шлюшка-подавальщица тоже... машины на дорогах в неурочное время, сбежавший персонал... Идиот, он же мне сказал это открытым текстом, – она помнит, как это было в прошлый раз! И даже из наших источников, тогда другими странами не слишком интересовавшихся, если НАШИ интересы не были задеты, из газет, телевиденья я знал, что было ужасно. Ужасно! Ужасно и в тоже время беспомощно, не было места влезть – чужая страна, чужие проблемы, их правительство не одобрит чужого вмешательства – почти четверть населения округа погибла, остальные... Тёща воет! теперь я понял, почему. Энтузиазм Дивы показался мне достаточно безвкусным.

– Прекрасно?! Вы думаете, прекрасно, когда людей убивают, насилуют, мучают?! Что в этом прекрасного?!

– Ах, дорогой, я имела в виду не население, которое, радио уверяет, полностью эвакуировано, я имею в виду только себя, на закате жизни испытать по-настоящему волнительную ситуацию, неужели вы думаете, я предпочла бы тихое прозябание в этих стенах? Я по темпераменту, ах, я хорошо бы смотрелась на баррикадах, представьте меня с флагом, против отряда гвардейцев! Пли! – она пошатнулась, держа невидимое знамя революции, и запела во весь голос: – *Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est ar...* – слабее, тише, и вот она повисает на древке, по-видимому, подхваченому, подхваченная соратниками, и шёпотом: – *Aux armes... aux armes, citoyens* перед тем как умереть.

Я почти перестал сердиться, почти поверил ей, хотя знал, что и это была игра. Она играла роль старой женщины, которая играет роль коммунарки.

***

– Откуда вы знаете, что происходит? По телевизору с утра по центральному каналу оперы Вагнера, другие каналы не работают, насколько я знаю, местное радио врёт или крутит музыку, во всяком случае ни в магазине, ни в городе никто ничего толком не знал. Хе-хе! Все эвакуированы?! Хе-хе! На шоссе полно машин. В магазине толпа. Пожарные на своих местах. Варвары! Гатчане не варвары, они... вопрос этот давно закрыт. Ну да, чего-то ожидают. С чего вы решили, что варвары, а не, скажем, торнадо? Мы здесь достаточно высоко, волны до нас не достанут. И... хе-хе...

Она молча слушала меня, улыбаясь, как ребёнку, – вы прекрасно знаете, что не торнадо, не обманывайте себя...

Несмотря на это, я тоже приободрился – в конце концов, смерти я не боюсь, и, хе-хе, если не я, то моё кресло пригодится на баррикадах.

«Давайте, выйдем на улицу!»

«До улицы, до центральной, по этим спускам с полмили. Вниз я скачусь, но назад мне без помощи не подняться. Да и вам...»

«Ерунда, улица прямо под нами! Из гостиной в нашем крыле...»

«Только по верёвке. Там есть ещё лестница, типа чёрный ход на центральную улицу для персонала и доставок, но... нет, нет, если мы хотим узнать, что творится на улице, надо идти на балкон, не на ваш, а тот, над лестницей, там у прислуги место для курения, вполне прилично, просторно, с моей коляской... И увидим, когда за нами приедут, пожарник узнавал, нас вот-вот должны эвакуировать».

Балкон выходил на ту же улицу, что и мой, с одной разницей в разъёме домов было видно море, местами некоторая серость столбом завивалась над почти неподвижной поверхностью, хотя прямо над горой, над нашими головами пыхала желто-синяя горелка солнца и, раскалив камни, выпила из воздуха всю влажную жизнь. Улица, несколько часов назад плотно забитая машинами, опустела, что в это время года и дня нормально – дышать и двигаться почти невозможно, изнеможенный невы-

носимой духотой городок засыпает и просыпается в сумерках остывшим и отдохнувшим для полуночного праздно-праздничного брожения. Ха, неплохо! Надо записать.

«Как неприятно смотреть на покинутый город!»

«Да это сиеста, каждый день так».

«Друг мой, вы недооцениваете моей интуиции. Я вас уверяю, нас бросили».

Словно в ответ ей послышался топот и грохот, я вернулся в коридор – мне навстречу вошли четверо, солдаты? охранники? но с повязками красного креста поверх коротких рукавов зелёной униформы. Один со значком «командос» осмотрел мою коляску и велел, авторитарно, но вежливо, спускаться к воротам. Татуировка на запястье, красно-синяя птица, шевелила крылом, когда он проверял, как работает ручной тормоз. «Спускайтесь вниз. Сами сможете? Автобус на площадке». – «Надо что-нибудь взять?» – «Ничего не надо! там всё приготовлено, вы ненадолго, скорей всего, вечером вернётесь».

Ну дудки, так я и оставил свой коньяк! Предупредив Диву, я отправился собирать вещи – коньяк, шоколад, книжка, сигареты, мобильный, который здесь почти не работает из-за близости горы, хлеб с сыром, пригодятся в дороге, оставить – испортятся, сколько мы проторчим в эвакуации? я ни на секунду не поверил, что это будет всего на день. Подумав, сунул туда же и лакомства, которыми меня по почте снабжали друзья, здесь их нет, имбирное печенье и мармайт. Жаль оставлять скутер, но ясно, что в автобус его не возьмут, хоть бы кресло взяли. Тут я заметил, что больше не слышу шума в коридоре, гош, надо поторапливаться – Дива уже, наверное, в автобусе.

Я покатился к выходу, в коридорах никого не было, но в общей гостиной кто-то кричал, кажется, та бабка продолжала просить пить. Значит, ещё не всех увезли. На пути к центральному входу я заглянул в оранжерею, где заряжался мой скутер – в инструкции советовали оставить его включённым в сеть на 24 часа, но дольше и без надзора? Пока я раздумывал, как лучше, загрохотали снаружи. В дверь, ведущую в сад, барабанили так... однажды я снимался в довольно паршивом фильме и не в главной роли – главное, хе-хе, заплатили мне хорошо и вовремя, то есть когда мне по обстоятельствам особенно выбирать не приходилось. М-м, о чём я? А, да! Какие-то дикие племена брали хорошо укреплённую персидскую вроде бы крепость – целиком фильм я не видел никогда, но грохот помню – пробеги с картонными брёвнами озвучивали так, что даже я, привыкший... вот это мне и пришло на ум – пытаются проломить входную дверь, Виллу берут дикие племена! Дива накликала варваров! В отличие от неё, я совершенно не вдохновился этим и решил побыстрее убираться. Я уже добрался до центрального выхода, когда грохот сзади прекратился так же внезапно, как и начался. Кнопка, открывающая дверь, не работала, во всяком случае, дверь не открылась, две ручки, повёрнутые вместе в противоположные стороны, такая своеобразная защита от дурака, проверка – сумел открыть, имеешь право выйти без сопровождения, тоже не сработали. Закрыли на ключ? Противоположный выход, служебный, с лифтом на центральную улицу для доставки товаров, – им любила пользоваться Яглая, вывозя меня на прогулку, перебежать улицу, свернуть в переулок, пять минут, и мы в порту – был затянут складной решёткой с огромным замком, ни до лестницы, ни до лифта не добраться. Нечего делать, я вернулся в холл и стал ждать, в гостиной всё ещё кто-то кричал, другая бабка бродила между креслами, стучала палкой и звала Дика, – негодный мальчишка, немедленно приди, когда мамочка зовёт, – жутко вредная, норовит ткнуть палкой всех, кого принимает за Дика, и ещё вполне активная, может подойти сзади и шарахнуть. Я устроился у окна, из которого видна была часть подъёма к Вилле, и стал ждать, стараясь не злиться и не нервничать, какой прок, только давление подскочит. Как обычно, потемнело быстро, и на этот раз действительно потемнело – фонари на дороге не зажглись, порт оставался тёмным, я пощёлкал выключателем в надежде, что автономный генератор – здесь был такой из-за частых проблем с электричеством – работает, но увы! В темноте бабки замолчали и, по-видимому, уснули. Никто за нами не возвращался, странное это чувство – отверженности, в школе у меня... мы жили в достаточно бедном районе, и хорошей школы там не было, родители из чисто снобистских резонов отправили нас с сестрой в школы на другом конце города, после занятий остальные мальчишки отправлялись по домам, играть в футбол, в гости друг к другу, а я один оставался в школьном дворе ждать старшую сестру, занятия которой кончались позже. Уф, ужасно, всякие мысли лезли в голову – Санди забыла обо мне, ушла с подружками в кино, уехала домой, родители решили не забирать меня из-за вчерашнего поведения, вечером приедут полицейские

и отвезут... в детский дом, в Австралию, в тюрьму, на ферму чистить коровьи стойла, хе-хе, мой отец любил рассказать, как их класс во время войны отправили для безопасности на ферму, где они... а вы, лентяи, ждёте, пока мать уберёт...

Не то что детские страхи, но чувство непринадлежности, анонимности, безнадёжности и невозможности как-то изменить ситуацию... страшно вернуться в свою комнату, потому что сейчас подъедет автобус, меня не найдут и уедут без меня, но не сидеть же здесь с сумасшедшими старухами, которые... уф, какая-то из них... хе-хе, не розами пахнет...

Дорогой Ар, я рад, что ты научился отправлять и, надеюсь, получать файлы – вот следующий кусок. Как видишь, я очень бережно обращаюсь с твоим текстом, ничего не изменяю, ну разве что очень редко подправляю стиль, явно пропущенные слова и пытаюсь определить последовательность. Посмотри, как получается, и верни мне как можно скорее. Продолжай записывать, всё, что вспоминается, даже не по порядку – я приглажу.

***

О чём они думают, эти эвакуаторы... Ощупью нашёл дверь кабинета директорши, телефон на столе, почему-то он стоял не там, где раньше, посредине, а где-то сбоку, тем не менее нашёл, руки так дрожали, что несколько раз уронил трубку, слава Богу, на стол, не на пол. Телефон был мёртв, гудка не было. Ну что ж, я уже знал, что делать. Пожарная сирена завыла, как положено. Через какое-то время я понял, что с ума-то она меня сведёт, но этим всё и закончится, никто не придёт, через... день или неделю найдут несколько запертых сумасшедших или трупов сумасшедших.

«Дик, бэби, не плачь, мамочка с тобой», – старуха с палкой стояла над коляской. Это помогло, опасаясь палкой по башке, я прокричал: «Не волнуйся, мамочка, я уже не плачу». «Вот и хорошо, твоя сестричка хочет пить, помоги мамочке принести ей молочка. Не бойся, тревога сейчас кончится, и мы пойдём домой».

Она принялась толкать моё кресло. Спорить не приходилось да и не хотелось. После истерики стало легче, вот уж не знал, что в моём возрасте можно так... наверное, если бы тело позволило, катался бы по полу и бил ногами, но и просто от рыданий стало легче. Так же резко, как и началась, сирена на невыносимом взвизге икнула и замолкла.

«Вот видишь, сейчас мы поедем в лавку, купим молока, я дам тебе молочка. И печенья. Мамочка любит тебя». И тут я по-настоящему заплакал, не выл в голос, как минуту назад, а от настоящей, нестерпимой тоски – мамочка! Старуха везла меня по лабиринтам коридоров, и я перестал понимать, где я, то ли немного посветлело, то ли глаза привыкли, но темнота уже была не сплошной, а такой – густо-серый туман с некоторым разряжением по центру и более светлыми пятнами окон справа, судя по их расположению, из своего крыла мы уже выбрались. Интересно, как в темноте найти дорогу обратно в мою комнату и что мне делать с этой бабкой? Она всё время бормотала о молочке, и пить захотелось смертельно, хотя молочку предпочёл бы, хе-хе... Надо посмотреть, что делается в других кухнях, нет ли там чего. И вдруг в конце коридора... Мне не показалось – яркое круглое пятно появилось на дальней стене, побродило по потолку, полу, снова по стене и упёрлось прямо мне в глаза.

«Кто там?! – спросил я, – идите сюда!» Бабка тоже, забыв, что Дик – это я, заорала: «Дик, негодный мальчишка, иди сюда!» Свет метнулся и исчез. Я обтер рукавом мокрое лицо, следы слёз, пот страха. Кто-то там явно прячется. Идти вперёд мне совершенно расхотелось, надо попробовать найти дорогу в мою комнату, у меня там, я вспомнил, тоже есть фонарик. Коляска не разворачивалась – бабка вцепилась и не давала. «Мамочка, – сказал я просительно, – поедем домой, я знаю, где найти молочко, отвези меня домой». Нет, она толкала меня туда, где бродил кто-то неизвестный, тормозить не помогало, она была сильней меня, и колесо только ободрало мне ладонь. За поворотом было также темно, и там затаился кто-то, с фонарём, который внезапно полыхнёт прямо в глаза, и...

***

Старуха в конце концов утомилась, вкатила меня в чью-то комнату и повалилась на кровать. Если бы я знал путь, я бы вернулся, блуждать в темноте наугад, когда в ней прячется человек, кто?.. спасатель бы не прятался. Вор? Или такой же забытый, как и мы? Тогда чего он испугался? он-то

видел нас. Я устал, горло пересохло. И ещё мне, хе-хе, безумно захотелось в сортир, срочно надо найти, – после операции да и вообще в моём возрасте, если немедленно не облегчиться, проблемы гарантированы. В моей комнате всё было приспособлено, а здесь... поручни всё же были, нащупал и выполз из кресла, спасибо Диве за тренировку, оставалось найти сортир, пошарил по стенке – нет, по другой стенке – занавеска... окно?.. дверь... стеклянная, на балкон. Открылась легко... но на этом поручни кончились и, не удержавшись за раму, я вылетел на балкон и повалился во что-то мягкое, качающееся. Не ударился, но дико испугался и заорал. К счастью или несчастью, никто не отреагировал. Мягкое и качающееся подо мной было гамаком, они и мне предлагали натянуть такой, но я представил, как меня будут каждый раз тащить оттуда, и отказался. Сейчас меня интересовало только одно – цепляясь за сетку, защемляя пальцы, извернулся и... о, счастье! Сумел!.. хе-хе, не очень при этом облившись... уф, лучше. По-видимому, я сразу и заснул. Солнце шпарило мне прямо в лицо, вечность... вечность я приходил в себя. Приходил в себя, хе-хе, дорогой профессор, я каждое утро прихожу в себя из снов, думаю, что и вы... на свежем воздухе спалось хорошо, вечность заняло осознание моего идиотского беспомощного положения. Я пойман в сети... в гамак... в капкан... самому мне не выбраться, и помочь некому... В комнате, я припомнил, спит «мамочка», но бабка, нетвёрдо стоящая на ногах, вытащить меня отсюда не сможет, в лучшем случае, принесёт попить, да и здесь ли она ещё? На всякий случай я принялся вопить: «Мамочка, мамочка, это я, Дик! Где ты?» – сухое горло засаднило, и привычный, хотя теперь и неактуальный страх потерять голос, охрипнуть, остановил меня. Хорошенькая смерть ожидала меня, надо... если бы только я сунул свой швейцарский нож не в сумку, а в карман... прорезать бы сетку и вывалиться на пол, потом бы я справился: «Мамочка! Мамочка! Приди ко мне!»

«Ну! и что вы орёте в такую рань? Какая ещё мамочка? Вы что совсем спятили?»

Дива! Голос раздавался снаружи. Их привезли обратно?! Так быстро?

«Вы вернулись?»

«Чего вы орёте? Надеюсь, вы не ко мне обращаетесь, – мамочка?! В самом деле! И где вы, наконец? я вас не вижу».

«В комнате! В чей-то комнате! Нет, на балконе! Я в гамаке!»

«Да, я вижу, что вы действительно спятили. Нежиться в гамаке в такое время!»

«Вы можете вернуться в дом? Пожалуйста, найдите меня и достаньте нож из моей сумки, она в моём кресле, где-то здесь».

«Как называется комната? Какой номер?»

«Если бы я знал! Я попал сюда ночью!»

***

Я понял, что могу, ха-ха, всё... из того, что, хе-хе, дозволяет моё тело, всё и больше, чем... в тот день, когда выбрался с балкона.

Дива с отвращением, лица я её не видел, но голосом она могла обозначить любые эмоции, с отвращением произнесла: «Ну, и долго вы собираетесь валяться на полу? Вставайте! Помогать нам здесь некому. Надеюсь, вы знаете, что случилось с остальными?» Так вот, я сумел подняться с пола, влезть в кресло...

***

Третий день. Наконец-то я начал вести регулярно дневник. Пока я ещё жив, пока хватает заряда батареек, я буду держать мой, как там его, при себе и записывать всё, что происходит. Электричества нет, соответственно, отключились вентиляция, холодильники, телевизор, я не могу зарядить мобильный, стационарный телефон не работает. Вода, к счастью, есть, надолго ли? С горы стекает ручей, где-то там наверху источник, но пить некипяченую воду из ручья? вероятно, не смертельно, если... если можно до неё добраться, хе-хе. Без кондиционеров днём душновато, спасибо, август по местным стандартам прохладный. Еды мало – некоторое количество местного кокосового печенья, терпеть его не могу, но выбора нет, в кладовке несколько мешков риса, но без газа и электричества проку от него немного, так же, как от кофейных зерен, в молодости, на вечеринках и перед сдачей экзаменов мы жевали их – дешевле амфетамина, но моих теперешних зубов на это не хватает. Есть

ещё канистра сухого овощного супа, пакеты всяких приправ и довольно много пачек овсяных и кукурузных хлопьев. И некоторый запас банок с компотами. Мороженные овощи в морозилках размякли, пока их можно есть, но через день-два... мясо там тоже есть, сырое, до этого мы, хе-хе, ещё не дошли... Что будет с нами, трудно предсказать.

Мы – это я, Дива, мамочка и ещё две старухи, которые пока живы. Одна, кажется, та, которая просила пить, отбросила коньки ещё в первый день. Когда мы поняли... Я уговорил мамочку, сопровождая и продолжая уговаривать, отвезти труп в коляске в самое дальнее крыло, с трудом уговорил оставить на балконе, с трудом уговорил вернуться, и стараюсь не думать, что там происходит. Мамочка, к счастью, забывает всё через секунду. Две другие кое-как передвигаются, мамочка кормит их с ложечки холодным супом с печеньем, укладывает спать, меняет пелёнки, если... Приходится напоминать и контролировать, но, по-моему, она от стресса и ответственности сильно поумнела, почти не орёт на Дика и как-то соображает, по крайней мере, знает последовательность действий. Дива к этому отношения не имеет, хотя иногда заходит и серьёзно щупает им пульс – Флоренс Найтингейл, написано на ней в это время. Обычно же проходит мимо, морща нос. Пахнут они действительно не розами. Мы (мамочка, с моей скорее теоретической помощью) уложили их в двух соседних комнатах, и... я надеюсь, кто-нибудь появится, до того, как... по моему, я становлюсь не то что религиозным, я становлюсь суеверным, и из суеверия, как люди считают сорóк и стучат по дереву, повторяю молитву, которой научила меня бабушка с отцовской, религиозной стороны.

***

Единственная односторонняя связь с миром – это радио. Пока хватает батареек. Поэтому включаем с Дивой поочерёдно и только для новостей. BBC редко и скудно, но всё же сообщает кое-что о конфликте в этой области. Так мы узнали, что автобус с «жителями» Виллы сознательно или в силу несчастного случая был спущен в пропасть – там были англичане, поэтому новость попала в эфир, так мы узнали, что городок «полностью эвакуирован», но находится в двойном блокадном кольце – миродержцы оцепили город и не пускают внутрь гатчан, которые, в свою очередь, пытаются не пускать тюринцев вернуться в порт. Все дороги перекрыты, пролив – вход в гавань – охраняется миродержцами, по которым с гор стреляют из пушек и гатчане, и, заодно, бутане, больше из страха перед гатчанами и неприязни к тюринцам. Гатчане неоднократно в прошлом нападали на бутан, а богатые тюринцы, единственные из этой сложной разноязычной и разновероисповедальной страны, имеющие выход в море, если их не трогали, предпочитали не замечать, как в пограничных районах грабят и разрушают деревни соседей. Такие обострения отношений бывали недолгими, но оставляли тлеющими страх и неприязнь между всеми сторонами.

***

Никогда раньше я не задумывался над вопросами выживания, не в смысле выживания с одними минусами в банке до следующего гонорара, и не в том, как когда Сайди ушла к другому, а Барбара ещё не появилась. Даже в реанимации, хотя, вопреки утверждению профа, я был в себе, вопрос выживания в большей степени зависел не от меня, а от врачей, так что мне и задумываться не приходилось, только спросить на обходе – доктор, я, ха-ха, буду жить?

***

Сижу в своей комнате и думаю, почему? Это же... не знаю, правильно или нет думать о жизни? или жить, как все мы жили, принимая экзистенциальность как способ, как единственно возможный способ жизни, а отнюдь не как философскую концепцию приверженцев Сартра? Наверное, я никогда бы не стал актёром, если бы умел по-настоящему задумываться, а не надевать маску. Маска актёру помогает не думать о себе, то есть не думать в философском смысле, не задумываться о, хе-хе, смысле жизни, не определять своей позиции... М-м, славная вещь – вчера нашёл в тумбочке, – Боб С., написано на двери его номера, – правильным парнем был Боб С., покойся с миром, Боб С., правильный напиток, думаю, градусов 45, если не больше, домашняя арэка, высший класс, такой бутыли хватит мне надолго, особенно потому, что Дива отвергла её за анисовый вкус.

***

Наконец, я разобрался в коридорах Виллы, основной дизайн – это свастика, встроенная в кольцо веранд, открытие тревожное, родился я после войны, но фашизм, концлагеря пережил – ну да! тот фильм, который сделал меня, хе-хе, известным. Во время съёмок да и после я просыпался с воплями – во сне продолжались ужасы гетто и Аушвица. Не знаю, что руководило архитектором, но не понравилось мне это ужасно. Знал бы раньше, ни за что бы здесь не поселился. Сейчас уже поздно. Утешаю себя тем, что это изначально какие-то индуистские символы.

Разобрался я в системе коридоров, обшаривая тумбочки «эвакуированных» в поисках еды и вообще полезного для жизни. Диву я с собой не беру, в одном из этих отсеков стоит кресло с разлагающейся старухой, я был идиотом и не заметил/не понял, в какой коридор мы с мамочкой свернули. Я не хочу, чтобы Дива наткнулась на неё случайно. Все мы теперь живём по соседству, так мне легче, хе-хе, пасти мой курятник. Дива отказалась переселяться из своего номера, поэтому я велел мамочке, ну, хе-хе, уговорил перевезти старух в западное крыло и распихал по чьим-то комнатам. Им, включая мамочку, всё равно, памяти никакой, но какие-то навыки сохранились, например... в общем, справляемся как можем. Я тоже переселился в их крыло, и, хе-хе, пытаюсь приспособиться к роли Робинзона, управляющего сумасшедшим, хе-хе, домом.

Робинзон... Робинзон по сравнению с нами был в намного более благоприятной... я помню – ещё до любого минимального успеха, до знакомства с Дивой, до... что это было? Скорей всего, какая-то рождественская сказка-страшилка... режиссер нагнетал/предсказывал «сейчас будет!», барабаня, громыхая, меняя цвета подсветки – я пытался сказать ему, что страх настоящий, когда всё более или менее нормально, но в этой нормальности присутствует предчувствие. У Робинзона перемежались надежда – хлопоты, надежда – безнадежность, но не ужас. Отсутствие электричества, отсутствие нормальной еды и катастрофически уменьшающееся количество и этой скудной пищи, конечно, не радует. Ужас для меня в беззвучии и безлюдии города. Даже мародёры, о которых говорят по BBC, сюда не добираются. Снаряды, которые летят в порт с горы, здесь почти не слышны. Море и скалы, должно быть, съедают звуки. Город, когда я выхожу (никак не привыкну – выбираюсь, на коляске, с трудом) на веранду, смотрящую в город, он мёртв. Мёртвая старуха гниёт на каком-то балконе. Кто будет следующим? Кто-то.

Вот я закрываю глаза и представляю, как это будет – я лежу, темнота вокруг меня, так, как, хе-хе, сейчас. Но вот здесь, рядом со мной, стоит моя фляжка, глоток, другой и, хе-хе, я готов, забирайте меня... Всё, на сегодня достаточно, вообще надо действительно оставить на потом, на конец. Да, хватит на сегодня, предстоит тяжёлая работа – перебираться в кровать, уже неделю делаю это самостоятельно и почти приноровился, хотя могу представить, как это выглядит – до изящества, хе-хе, далеко, но справляюсь.

Дело не в том, что я и Дива совсем утратили контакт. Дива, несомненно, слегка повредилась в уме, она бродит по коридорам с фонариком, заходит в какие-то комнаты. Я пытался догнать, она всегда ускользает. Я вижу вечером из окна, как свет фонаря блуждает по каменистому склону горы. Чего она ждёт, что ищет? так неразумно тратит батарейки. Я пытался поговорить на следующее утро – она делает вид, что не понимает, о чём я. Но не мамочка же – палки нет, да и тоньше в два раза, и фонарик... Бродит во сне? Лица её я, конечно, не вижу, может быть, глаза закрыты?

***

Утро, вероятно, вовсю, вчера оставил часы в кресле и лень лишний раз садиться и пытаться дотянуться. Хотя за эту неделю я достиг большего, чем за десять месяцев с момента перевода из реанимации... Прекрасно помню, как меня катили на носилках, язык плохо подчинялся мне, но я пытался шутить, медбрат сказал – «побереги силы, дружище, они тебе ещё пригодятся»... это меня убедило, и я, пожалуй... старался беречь силы, уклоняясь, хе-хе, от навязываемых физических упражнений. Трудно представить, до чего приспособлен к выживанию человек, никогда раньше я не обращал внимания на посторонних, если они не представляли для меня профессионального интереса, ну, как когда... когда играл этого типа – Глен, член парламента, неплохо сыграно, верно? целую неделю час-два сидел на их заседаниях и смотрел, – жесты, мимика, каждая группа людей имеет присущий этой группе общий набор поведенческих манер, хе-хе, профессор, не совсем деменция, а? Как вам кажется?

Поведение членов парламента в массе и позволило мне сделать Глена индивидуальностью, вполне противной, но личностью. А тут я наблюдаю этих бабок, они перешагнули порог, за которым уже не смотрят на окружающих в поисках одобрения. Тут человек остаётся наедине со своими инстинктами, и, по моим наблюдениям, их инстинкты выживания сильнее инстинкта, как там у Фройда? инстинкт смерти? саморазрушения? не помню... наверно, они и дожили до старости... хотя Дива... вот ведь, её мне трудно видеть, она вся состоит из слоёв грима, я не имею в виду то, что мы, нам, полагается намазывать на морду, а то, кто мы есть в этой жизни... Уф, устал держать эту машинку, надо будет потом послушать, что я здесь наболтал. Пора вставать. Но Дива беспокоит меня, она не ест холодную бурду, которая разводится из супового порошка, почти ничего не забирает из причитающейся ей доли рациона. Я полагаю/надеюсь, что у неё есть запас каких-нибудь деликатесов, шоколада или чего-то в этом роде, но она явно худеет и... она меньше говорит, меньше требует внимания и всё больше сидит на балконе, выходящем на отвесную часть горы, сидит и смотрит на серые жгуты корней и лиан, словно ждёт... кого? чего? варваров? смерти? Хе-хе, мы все ждём смерти. О! мамочка ищет Дика, пора выползать...

***

Мясо в морозилке совсем разморозилось, оттуда подтекают мутные вонючие струйки, если бы у нас был газ, можно было бы сварить его, пока оно не совсем испортилось, но как? не костёр же разводить, хотя... кастрюли есть, спички есть, в саду ручей, полно сухих веток, даром, что ли, всё моё детство родители отправляли меня в скаутские лагеря – развести костёр одной спичкой, хе-хе. Код от двери в сад у меня где-то записан, но без лифта мне туда не попасть, по лестнице... нет, даже если я буду карабкаться два часа вниз, вверх потом мне не добраться... хотя... почему бы не попробовать? Руки работают.

Я не был уверен, что смогу вернуться, не был уверен, что смогу открыть дверь в сад, не был уверен, что не найду в саду – веранды следовали отступлению горы, закрывая вид на примыкающую к дому часть – что не найду в саду кого-то, кого лучше бы не находить, Бог знает, кто там мог скрываться. Не поминай имени Господа всуе, – говорила моя бабка с отцовской стороны. Я и не поминал, потому что, вырвавшись из детства, не вспоминал о Боге вообще. До теперь, хе-хе. Теперь...

Сейчас попробую. Эту штуку оставляю в моей комнате, с Дивой не хочу, ещё включит, услышит, я не всегда, ха-ха, лестно... ещё обидится. Если вы найдёте его, знайте, сегодня 20-е августа, суббота, 9.45 утра, и я спускаюсь в сад. Диве лучше оставить записку. На всякий случай. Если сам не справлюсь... Поднять меня наверх она не сможет, но попить, в крайнем случае, принесёт, может, хе-хе, и шоколадку. Шоколад! правильно, из неприкосновенного запаса отломил кусочек, надел куртку со множеством карманов, фляжку – их у меня две, на четверть пинты и пинту, поколебавшись, выбрал побольше, тяжесть незначительная – наполнил арэкой, взял перочинный ножик, зажигалку, сигареты в нагрудный карман, докатился до номера Дивы, постучал, она не ответила, хотел приладить записку на двери, но обронил и решил не тратить силы, поднимая. Может, и не понадобится. Если всё в порядке, вернусь за мамочкой, поможет с кастрюлей и мясом.

***

Наконец, я восстановился настолько, что могу рассказать, что происходило... то есть что, хе-хе, помню из того – сполз я вниз намного легче, чем рассчитывал, практика предыдущих дней помогла. Да и вообще руки у меня сильные, так что поднять тело над ступенькой и аккуратно опустить на нижнюю не слишком сложно, если приноровиться. Встать и набрать код оказалось намного сложней, к тому же бесполезно, двери не открылись, то ли без электричества система не работала, то ли заперто на ключ. И тут... я точно знаю, что, как обычно, зажал тормоза, выбираясь, иначе не вылезти, и тут – банг – раздался грохот, вниз неслась моя коляска, дребезжа, лязгая по ступенькам, задела стену на повороте, дав мне время, хотелось бы сказать – отскочить, ну, отодвинуться. Набрав скорость на финишной прямой, она врезалась в дверь и, я говорил о качестве здешних замков, но это не при чём... да... если бы она с той же силой в меня... Дорогой Сэм, ты был бы если не опечален, то, по крайней мере, хе-хе, расстроен, как бывает, когда слышишь о смерти ровесника, а мы были больше чем ровесники, смею надеяться. Попробую найти слова для того, что было за дверью.

Я видел мёртвых в своей жизни, но... как бы сказать... загримированных под живых, в парадной одежде, с припудренными щеками. Бабка, которая отбросила коньки неделю назад, не в счёт, как сидела в кресле, так и осталась сидеть, только дышать перестала.

За дверью были не мёртвые, за дверью были трупы, первым я увидел того, который говорил со мной, лицо неузнаваемо, распухло как мяч, светлые волосы грязными клоками прилипли ко лбу, но... татуировка на запястье, эмалевая полоска «коммандос» на груди блестит под солнцем... Рядом и подальше ещё двое, тоже с повязками красного креста. Груда досок по обеим сторонам двустворчатой двери, они, по-видимому, забивали её (наверное, тот грохот, словно брали крепость), когда их пристрелили. В упор или с горы? Мне было...

...нет, не описать... Сказать вонь – само по себе не передаёт ничего – ужасающая, страшная, тошнотворная. Есть цветы, у моих родителей у гаража росли такие, нежный запах к июню делался мощным, концентрированным, и вблизи уже тогда в нём присутствовал зловещий мотив распада, а ещё через несколько дней, если вовремя не постричь куст, он превращался... Однажды, ещё студентом, с сильного перепоя я поставил машину, одолженную накануне у отца, прошёл мимо отцветающего куста, вдохнул, и пока меня выворачивало на газон, эти слова пришли мне на ум и вертелись в голове потом всякий раз, когда я подходил к гаражу. И вот теперь преследующие меня смутные образы, нет, скорее, обрывки фраз – одуряющая сладкая вонь смерти, зловещий мотив разложения, сладкий распад человеческой плоти, – ими рождённые, моментально вспомнились и приобрели подтверждение, форму.

Если бы я мог бежать, убежал бы ещё до того, как огляделся, это моё тело не пустило, заставило остаться и задуматься. Коляска, врезавшись в заросль лавровых кустов, там и застряла. Между эвкалиптовых деревьев. Тащить её наверх без лифта... хе-хе, даже десять лет назад такая работа была мне не по силам. Забраться по лестнице наверх, вероятно, кое-как смогу, но что потом? Ползать по коридорам? Обо всём этом я задумался уже после того, как желудок мой перестал выбрасывать... уф, вспоминать противно, ешь деликатесы или овсянку, размоченную в воде, поболтавшись в животе, оно превращается в одинаковую дрянь. Великое открытие, хе-хе, на старости лет. Это сейчас я могу шутить, остался жить, как понимаете. Стал на три недели старше с тех пор. Уф, цепляясь за раму двери, я выполз на, хе-хе, свежий воздух – кладбище несвежих трупов. Эти трупы были людьми совсем недавно, чужими людьми, но каким-то образом минутное общение смерть превратила в почти родство, во всяком случае я не сумел от них отстранится, как от бабки, которую мы бросили на чьём-то балконе. Той было всё равно, она и до этого уже была неживая, только ещё дышала... пить просила... наверно, я смог бы дать ей попить, но... что делать, не принёс. И не думал об этом. До этой минуты, до только что.

Как я и полагал, сухого дерева, даже помимо досок, которыми они зачем-то заколачивали дверь, было навалом. В скаутском лагере я научился разводить костёр. И, хе-хе, заодно курить. Поэтому зажигалку всегда носил в кармане. Перспектива кремации трупов меня не радовала, однако... Стараясь не дышать, где-то ползком, где-то на заднице, сидя, собрал кучу сухих палок и листьев, наломал лавровых веток, свалил около того, который лежал подальше от двери, поджёг, так делают в Индии. Дождя давно не было, загорелось моментально, лавр, даже не высохший, горит хорошо – так пыхнул, что чуть меня не подпалил. Доской подпихнул костёр вплотную к телам и накрыл другими досками. Пряный дым значительно очистил воздух от вони, образовал завесу, скрыл меня от страшного зрелища, можно было заняться коляской.

Хватаясь за ствол эвкалипта, я сумел подняться и взглянул на себя – зрелище было, хе-хе... не важно, я пересказываю события, не отвлекаясь на, хе-хе, эмоции, дотянулся до коляски, ага, понял, когда ты в ней сидишь, она твоё кресло, но со стороны воспринимаешь как коляску. В общем, выковырял я её из кустов и даже сумел поставить на колёса, подставка для ног отлетела, но кое-как приладил. За это время костёр и то, что... должно на нём... доски-то горели, но... пришлось несколько раз ломать ветки и подтаскивать сушняк... Непонятно, как они справляются в Индии, да ещё на воде... конечно, если бы тела лежали поверх огня... но понятно, поднять их мне было не по силам, да и близко подползать, не то что дотрагиваться... Я был готов забираться по ступенькам обратно, чтоб сбросить с балкона газеты, бумаги, книги, всякие тумбочки, всё, что горит, что смогу найти по комнатам, но сначала решил проверить своё кресло в работе.

...ну, в конце концов, влез – одно колесо здорово разболталось, но кое-как... кресло докатило меня по каменной дорожке за угол здания, туда, откуда начинался спуск в город – решил, если уж могу ехать, а не ползти, попробовать добраться до парадной двери, вверх, но не очень круто, попробовать открыть её, посмотреть открыта ли калитка в город, заперты ли ворота центрального входа, да просто посмотреть на что-то нормальное. Я был у того дальнего угла, когда оно... взрывная волна перевернула кресло, засыпала меня песком, гравием, всяким хламом, тем не менее балкон обрушился не на меня, стёкла тоже, я был оглушён и ошарашен, но не ранен.

Бомб больше не бросали, но стрелять продолжали долго, звенели стёкла, противно визжали пули, попадая в стенку. Я не двигался, только обтёр лицо и постарался выплюнуть изо рта гадость, которая туда набилась. Нелегко, когда рот так пересох. Кажется, я несколько раз засыпал, а может, терял сознание, во всяком случае, были какие-то провалы во времени, окончательно понял, что произошло, уже совсем в темноте. Ночь была тёплой, но тело застыло и подчинялось мне совсем плохо. Стрельба прекратилась, хотя кто их знает, они могли быть в саду, спуститься вниз по скале. Всё равно я решил ползти назад, пока не окоченел окончательно, упершись руками, подтянул туловище, двигался осторожно, однако и это было ошибкой – скоро что-то больно воткнулось мне в ладонь. Выдернул, мокро – кровь? Полез в карман за платком и... нащупал фляжку. Идиот, совсем забыл, набрал чуть-чуть в рот, прополоскал и плюнул, капнул на ранку, всё наощупь, дрожащими руками, но сосредоточенно, стараясь мимо не пролить, и только потом позволил себе сделать глоток.

***

Я был счастливчиком, они могли шарахнуть на пять минут раньше, и тогда со мной бы стало то же, что стало с теми тремя, которых я пытался похоронить индуистским способом, вероятно, те, наверху, заметили меня, только когда я уже был в кресле, а может быть, палили просто наугад по столбу дыма. Ночь я провёл не слишком, хе-хе, комфортабельно, но арэка сильно помогала. Я отхлёбывал небольшое количество и держал во рту, пока алкоголь не растворялся в слюне, так я сумел дотянуть до рассвета. Наверняка я был счастливчиком, если бы я не порезал руку – она, надо сказать, уже распухла и болела, несмотря на дезинфицирующее и обезболивающее действие арэки, – полз бы дальше. Так вот, в нескольких сантиметрах от того места, где я, хе-хе, провёл ночь, зияла яма, воронка. На дне, я аккуратно заглянул, осколки кирпичей, стекла, а за ней целая гора обломков, перемешанных с вывернутыми эвкалиптами и землёй. Все окна, выходящие на сад, следовательно, и в моей комнате, не теперешней, а в той, куда меня изначально поселили, топорщились битыми стёклами или просто стали дырами. Вот так вот, хе-хе, остался бы в своей комнате – кровать прямо у окна...

Пополз бы дальше в той кромешной темноте, свалился бы в яму или бы весь изранился. Даже думать о возвращении тем же путём было бы глупо. Кресло на этот раз пострадало больше, правое колесо совсем отвалилось, рука, несмотря на то что я щедро делился с ней арэкой, болела всё больше, но надо было как-то выбираться, ползти до дверей, откуда начинался спуск в город. Утро было тихое, тёплое и слегка пасмурное. Наверное это то, что я с достоверностью запомнил из того дня – полз в полуотключке, видел только серый гравий и плиты.

***

А дальше знаю исключительно, почти исключительно, из рассказов, моя память смешивает температурные галлюцинации с происходившим на самом деле. Ужасов хватало всюду. Но организм у меня здоровый, спасибо отцу с его предками, про деда говорили, что дожил бы до ста, если бы, хе-хе, не утонул в семьдесят пять.

Выжил. Не знаю, привиделись ли мне оборванные люди, сновавшие вдоль дороги, как и марширующие солдаты, одетые в балаклавы, подобные римским шлемам, на мои крики они не реагировали, возможно, мне казалось, что кричу. Во всяком случае, никаких криков ни Дива, ни Таша, рыжая официантка из кафе, собственно и нашедшая меня, не слышали. Не все жители покинули город, это было очевидно, но Виллу обходили даже мародёры, потому что ходили слухи, что она охраняется вооружёнными миродержцами. Таша... она не успела убежать, пряталась неподалёку, шла мимо, увидела меня, валявшегося у ворот, узнала, не побоялась войти и доволочь наверх, надеясь, что миродержцы окажут мне помощь, но вскарабкавшись через разбитое окно внутрь, нашла там только несколько старух – сумасшедших и умирающих от истощения. Сумела открыть замок, втащила меня внутрь и

с помощью старух уложила в койку. Помню только сильную боль, когда она расковыряла мою пораненную руку и вытянула кусок стекла. Следующие несколько дней я продолжал попеременно то спать, то бредить, какие-то страшные лица склонялись надо мной, во сне ли, были ли они галлюцинациями или искаженные моей болезнью Дива и Таша. Единственно, кого я узнавал и не боялся, это мать Дика. Старуха то орала на меня, требуя, чтобы я немедленно вставал и шёл за ней, то жалела – поила, меняла пелёнки, её вопли успокаивали меня, возвращали к реальности, я подчинялся, переставал метаться, глотал, но она быстро отвлекалась и ковыляла дальше в поисках Дика. На смену приходили тёмные фигуры, пугали, теребили больную руку. Таша присыпала мою рану чем-то жгучим и вонючим, давала пить горькую воду, Дива заставляла глотать её. Потом как-то враз болезнь отступила, я узнал Диву, хотя узнать её было трудно. Из безвозрастного образа женщины, достигшей некоего, хе-хе, возраста, она превратилась в дряхлую семенящую старуху. Но глаза и очень живой рот, то, что сделало её Дивой – чуть прищурилась, косо улыбнулась, даже не улыбнулась, наметила, чуть растянула губы... ну, мне не надо объяснять, те, кто видел «Сны» – она тогда была 19-летней студенткой философского факультета Сорбонны, а играла проститутку от её пятнадцати лет – девчонки, сбежавшей от отца-тирана, до сорокалетней тётки, всё ещё надеющейся на лучшую жизнь, – помнят, как она справлялась с той по любым стандартам безумно трудной ролью. В колледже одно из моих эссе... всё, больше не отвлекаюсь, так вот, узнать её можно – надо! – по свету, отразившемуся в ваших собственных глазах, по собственным лицевым мышцам, неосознанно пытающимся повторить неповторимые движения её губ, вздёргивающихся в улыбке клиенту... и, через секунду, воробью на краю крыши, ребёнку с обручем, подруге... на её улыбках, таких разных, таких... хе-хе, повторяюсь, неповторимых, построен, нет не построен – банальный сюжет о стареющей шлюхе, продолжающей ждать бросившего её любовника, фильм, ни на что не претендующий, кроме кассового сбора, благодаря игре никому не известной девчонки превратился в шедевр мирового кино. Так вот, я бы узнал её даже среди сотни старух... хотя она действительно так... постарела. Сколько я проболел? Год? Что со мной происходило?

Сутки, наверное, ушли на возвращение к реальности, к пониманию того, что не год, всего неделя, ну восемь дней прошли с того момента, как я спустился в сад, поранил руку, неизвестно сколько, но не больше шести с тех пор, как Таша дотащила меня до койки... хотел бы я сказать, что шок от перенесённого вернул мне способность управлять моими ногами, увы...

***

Тем не менее через ещё пару дней выполз из койки, кое-как вымылся, переоделся с помощью любвеобильной мамочки, Таша нашла мне другую комнату с чистой койкой – слава Богу, хоть в этом ограничений не было. Тут меня снова навестила Дива и показалась мне ещё более изможднной – «Ну и сколько вы собираетесь валяться как чурбан? Сегодня второе сентября, помните?» Я с трудом помнил, кто я, хе-хе, шутка, сами понимаете. С трудом... «Сентябрь, начало театрального сезона. Выползайте из постели, пора начинать репетиции, мы и так задержались из-за вашей глупости. Зачем это вам приспичило устраивать фейерверки, пока победители не вошли в город? Вот что из этого вышло. Скажите спасибо, что вместе с домом не взлетели на воздух! Я была уверена – ещё одно такое развлечение с вашей стороны, и мы не дождёмся победителей. Мужчины! Оружие! Плохое сочетание, взрывоопасное, всё зло на земле...»

Я пытался вспомнить, откуда это? Что-то знакомое – Брехт? Не помню... там было что-то о НАС, плачущих женщинах, чёрт, не помню, совсем память отшибло то ли болезнью, то ли контузией.

Повихлявшись в простынях и подушках, сел спиной к стенке и постарался адекватно реагировать, сделать лицо человека внимательно слушающего и не то чтобы соглашающегося, но принимающего участие. Но, если честно, единственная адекватная реакция, которую испытывал в тот момент – страх!!! Страх, что профессор окажется прав и уж теперь я постепенно превращусь в маразматика, того не замечая. Хе-хе.

***

Дива является каждый день и... жестами, недовольным выражением лица – «вы еще валяетесь?!» – заставляет меня с помощью Таши, которая стала больше чем помощницей, нашим ангелом-спасителем, перебираться в кресло. Мы репетируем, прерываемся, ссоримся из-за текстов, что-то из

Шекспира, Беккета, стихи, – тут я действительно понял, что память моя уже не совсем та. Всё же кое что запоминаю, кое что записываю – и эта штука, кстати... магнитофон этот, Таша называет её таблеткой... то, во что я сейчас говорю, пока работает и очень помогает.

Таша полностью переселилась к нам и старалась ещё больше. Сказать по правде, я не очень понимал, что заставляло её ухаживать за нами, не эта же малоинтересная еда, которую она могла просто забрать, и почему она предпочла не эвакуироваться, пока можно было, а осталась в городе, в котором, кроме мародёров и бандитов, не было никого. Ну, кроме нас, хе-хе. Я пытался расспрашивать её... Отклоняюсь, знаю. Но иногда совершенно не хочется...

Вообще она ориентировалась в этом новом для неё помещении прекрасно, нашла кладовку, в которой хранились кресла-каталки, так что у меня теперь был выбор, нашла где-то фонарик – наши с Дивой совсем разрядились, а темнело теперь рано, так что Таша провожала нас до постели, терпеливо ждала, пока я устроюсь, задёргивала шторы. Её присутствие успокаивало – просыпаясь ночью, я иногда видел свет фонарика, вспыхивающего на горе, и мне казалось, что в ответ ему откуда-то из Виллы отвечают. Значит, кто-то всё-таки здесь прячется или пробирается по ночам. Я, стараясь не напугать женщин, поделился с ними своими опасениями, они решили, что мне это кажется...

***

Приёмник Дивы работал на батарейках, мы их берегли и включали только два раза в день – в девять утра и в полночь – скудно, но кое-какие новости достигали нас. В остальном нам приходилось рассчитывать на Ташину информацию. Она время от времени исчезала без предупреждения на несколько часов, иногда на день, и, вернувшись, рассказывала, что случилось, что ожидается, почти всегда безошибочно. Кто-то в городе, по-видимому, был в курсе... Кто-то в городе... – не наше дело, сказала Дива. Пару раз Таша даже подзаряжала мою «таблетку» – видно где-то в городе было электричество.

***

Да, я записывал наши репетиции. У меня храбрости не хватает прослушать то, что было записано между 3-м сентября и «днём победы». Ымф-ымф, платок... из глаз всё капает, куда-то задевался. Что-то совсем расклеился, аж из носа... ымы... Могу сказать, что я и в молодости так не работал – ымф... капает, – не то что совсем не работал, бывало, что вообще не спал, перед... особенно если накладывались... разное, скажем съёмки ещё идут, а репетиции... ну, и тому... ымф-ымф-ые.

***

Ну вот, приступим заново, про что я? на чём мы, я, прервался? Да... слушаешь BBC и ушам не веришь, как будто про другой мир, другой город – объединённые усилия миродержцев и прогрессивных сил обеих сторон, бла-бла-бла... а о том, как это всё на самом деле... ымф-ымф-ые...

***

Ну вот, собрался. Кадр!

Мы не придерживались определенного текста, а следовали причудливым вариациям настроения Дивы... я... ымф-ымф-ые...

Текст да и сама пьеса менялись по нескольку раз на день, хватило бы на много актов. Роли мы распределили приблизительно, кое-что я успевал конспектировать, хотя больше импровизировал. Репетировали как проклятые, по десять часов в день, почерк у меня более или менее читабельный, несмотря ни на что, а у Дивы рука дрожа... ымф-ымф-ые...

И я по привычке делал пометки, конспектировал, записывал на эту штуку... всё... наши репетиции и... и... ымф-ымф-ые...

Память у неё, мне бы такую даже в молодости, но смотреть на неё было мученье – одни кости, хотя ели мы теперь почти нормально, – Таша приволокла откуда-то чугунку и жгла в ней всё деревянное – кровати, тумбочки, так что суп и каша были горячие, да и те огромные банки компота она сумела взломать, совсем неплохо, особенно, хе-хе, поначалу.

Да, эта шлю... о-о, aut bene, aut nihil... ымф-ымф-ые... занавес!

Теперь-то я зна... уфм-ыы...

Про что я? А-а, вот... спектакль... Дива вспоминала, я частично заучивал, частично импровизировал, многое досочиняли, ну чтобы связать, это в основном я – не впервой! По крайней мере, мы были заняты своим делом, хотя много смысла в этом не было. Таша приходила смотреть на нас, и Дива и ей нашла роль. Эта шлюш... ымф-ымф-ые... я не ошибся, она была прирождённой актрисой.

***

Мы продолжали репетиции, несмотря на новости. Но спектакль получался... пьеса... ымф-ымф-ые... получилась... ымф-ымф-ые... не могу удержаться, так всегда, стоит вспомнить...

ВВС объявило, что переговоры увенчались успехом и именно завтра, в сопровождении миродержцев, тюринские войска, сняв оборону, возвращаются в город.

Дива была возбуждена – «Премьера! Премьера! Мы должны встретить победителей спектаклем».

Её волнение передалось всем, мамочка носилась по коридорам в поисках Дика, толкая перед собой и оставляя на пути коляски – пустые и с теми двумя старухами, иногда и моё тоже, прокатит, отвлечётся и бросит посреди коридора. Таша... такой бледной и задумчивой она не была, насколько я помнил, даже в день эвакуации. На мои расспросы не отвечала, но позже подошла сама и попросила всем говорить, что я её нанял ухаживать за нами и с первых часов блокады она неотлучно находилась при нас. Неотлучно! Ревнивый жених, хе-хе, возвращается? Она кивнула.

***

К вечеру, основная жара уже спала, Дива режиссёрским голосом приказала всем собраться на балконе, нависающим над центральным шоссе. Таша привезла старух и даже сумела утихомирить мамочку кокосовым печеньем. Генеральная репетиция!

«Завтра Таша отсюда, нет, правее, чтобы победителям было видно, должна объявлять о спектакле, мы читаем монологи, разыгрываем сцены, но сам спектакль назначается на ближайшую субботу, в центральном холле, вход бесплатный, все желающие приглашаются увидеть спектакль с великими актёрами Марго Сперанти и Николасом Арно. Таким образом мы, приветствуя победителей, одновременно делаем рекламу нашему спектаклю. Текст объявления напишет Арно. Итак, занавес поднимается».

***

Следующий день мы с Дивой провели на балконе – даже не обедали, только пили кофе с галетами. «Сейчас, сейчас, они войдут в город, и мы будем приветствовать их! Надо было бы сделать билеты». Она заразила меня своим волнением, но к моему примешивалась тревога, и прежде всего из-за беспокойства Таши. Она не скрывала, что боится, я не знал, чего она страшится – гатчане сняли осаду и, насколько было известно обозревателям ВВС, всё прошло мирно, без стрельбы, но... город оставался если не пустым, то затаившимся. Улица под нами, порт – безлюдны, ни автоколонн, ни отдельных прохожих, и если бы не чайки – совершенная тишина. Я несколько раз катался в джон, в сортир то есть, но Дива, по-моему, и на это не решилась, может быть на минутку, пока я... понятно, что для меня это процедура непростая, даже сейчас, после... да, я знаю, тяну, не о главном...

***

Сейчас, скажу всё одним духом. Это монолог героя, да, конечно, это он, мой герой, как всегда... но это понимаешь в процессе...

Сначала, на первых порах, начиная актёрскую жизнь, ты притворяешься (некоторые успешно, другие менее...), пока не начинаешь жить в шкуре героя. На этом сломалось много нашего брата – либо ты застреваешь в роли того, первого, который сделал тебя, либо тихо сходишь с ума, становясь каждым, кого играешь, пока не научишься выстраивать сантиметровый зазор между собой и ним, героем, вроде бы ты – он, но знаешь, что этот сантиметр удерживает вас друг от друга. Этому учишься. Или нет.

Ар, тут я, как уже сказал, чуть-чуть подправил с грамматикой и с последовательностью. Если не возражаешь. Но это пока черновой вариант, выверим вместе позднее. Я не включаю несколько рас-

плывчатые заметки в начале твоего дневника, хотя они мне нравятся – не хочу шокировать читателя. Шок читателям предстоит. В любом случае, я сохраняю исходники и мы всегда к ним сможем вернуться. Запиши всё, что ты мне рассказывал по телефону. Я даже думаю, что стоит включить не только фотографии, но и отсканированные кусочки дневника и м.б. даже сделать СД с твоими аудиозаписями, как приложение, конечно. Издательства предлагают хорошие условия, обсудим позже.

***

Я, хе-хе, играю роль человека, живущего в пансионе/доме... я играю роль.

Целый день мы сидим на балконе и ничего не происходит, совершенная тишина. Наступает вечер, темнота, только огни в порту вдруг зажглись. Но и всё! Ничего больше. Николас Арно устал, засыпает и просыпается, но подчиняясь негласным приказаниям Дивы, остаётся в своём кресле. Пока Дива не решает, что ждать дальше бесполезно – ночью победители нас не увидят, даже если...

На заре, солнце едва выползло из-за соседнего балкона, только острые свечи продирались сквозь щели, Дива растолкала ме... растолкала Николаса и...

Николас, конечно, повиновался. То, чего многие женщины не могли ему простить, – он повиновался. «Скажи, ты меня любишь!» Он говорил. С чувством! Повиноваться проще и требует меньше, чем объяснения и ссоры. А если действительно не хочешь чего-то, просто поворачиваешься и уходишь. Без объяснений и ссор. В общем... когда я/Николас выбрался на нашу смотровую площадку, меня ошеломил звук, не оглушил, звук был достаточно тихий, но непривычный – скрип, шорох, будто тысячи людей одновременно волочили ноги по песку. Но никого не было, по-прежнему никого не было видно. Вчера тишина, сегодня... и никого. «Внутрь, надо внутрь, здесь плохо, надо схорониться!» Я повернул коляску. «Куда вы?! Девушка, куда вы нас гоните? Мы останемся здесь. Николас, объясните ей, что она член труппы!» «Послушайте, давайте сначала попробуем узнать, в чём дело. Что-то её испугало. Мы ровным счётом ничего не потеряем, если вернёмся в гостиную на пятнадцать минут, узнаем, в чём дело, успокоим её. Всё равно в таком состоянии от неё проку нет». Если бы Дива сказала нет, я бы всё равно ушёл. Но она молча встала и вошла внутрь, я поехал за ней, последней зашла Таша, и когда я оглянулся из-за поворота коридора, она запирала балконную дверь и спускала жалюзи. «В чём дело?» – «Плохо, плохо. Нет театр». В гостиной одно окно смотрело на ту же улицу, что и площадка, но сквозь щёлку ставней видны только жалюзи балконов напротив, глухие, светло-жёлтые в противном ярком солнце. Подумать, что совсем недавно, на днях, я любил солнце. Скрип стал значительно громче, глухой, зловещий. Я приоткрыл створку... приподнялся, выглянул – по улице двигались серо-зелёные металлические коробки, выглядящие почти как детские игрушки, имитация танков. Куски металла, двигающиеся сами по себе, никого не видно. Защитники возвращаются домой? Оккупация? Это напоминало научно-фантастический фильм или, скорей, ужасов. «Танки», – сказал я женщинам. Они обе подошли, встали рядом со мной, ымф-ымф-ые...

***

За эти дни я столько раз рассказывал и пересказывал по телефону, лично, друзьям, консулу, полиции, давал интервью каким-то людям, казалось бы, мог сосредоточиться и хотя бы... становлюсь старым маразматиком, профессор, хотя посмотрел бы, как вы бы, хе-хе, справлялись в такой ситуации. Ымф-ымф-ые...

Не верьте тому, что пишут в газетах, даже якобы с моих слов, не верьте журналистам. Ни я, ни Дива не подавали сигналы ни одной стороне. Таша? Вероятно. Но о ней не пишут. Во всяком случае, не в наших газетах. Мы не сбрасывали цветы победителям, не отбивались от них ящиками с растениями. Эти подонки начали стрелять раньше, когда Дива приоткрыла окно. Таша пыталась остановить её, но не успела, они начали стрелять, «На балкон, на балкон, – закричала Дива, – они должны видеть, в кого стреляют!» Таша схватила её. Но Дива вырвалась – «они не будут стрелять в женщин и...»

«...и детей», – подсказал я ей.

«В инвалидов, если вы настаиваете! В артистов! Мы артисты, и кто бы они не были, завоеватели или победителями, мы должны встретить их, как полагается артистам – спектаклем. Даже если мы играем только для себя. Таша! Объявляйте! Можете не подходить к перилам, если вам страшно! Начинаем!

Всё как обычно!»

Мы вышли на балкон. Танки шли, больше не стреляли. Таша пела, сперва дрожащим голоском, а потом привычный спектакль успокоил и её –

Анатава-а-а, микусати ваа – а,
Анасииава, аната-ва-а

Я –

Чего мы ждем здесь, отчего форум так переполнен?
Ибо варвары к нам днесь пожалуют.
Отчего же сенат наш сегодня бездействует?

Не дожидаясь паузы, вступила Дива, я замялся, на репетициях мы... она жестом велела продолжать –

Дива –

Дня Первого настала ночь –
И благодарная за то что этот

Я –

Ибо варвары к нам днесь пожалуют.

Дива –

был ужас пережит
Я приказала петь Душе своей

Мне оборвали струны – отвечала –
И от смычка одни частицы.
До утра пришлось трудиться
Над её починкой

А следующий День – велик
Словно вдвойне Вчера
Передо мною разворачивал Кошмары
Пока он не затмил мне взор

Я –

Сенаторы почто сидят, не издают законов?
Поскольку варвары к нам днесь пожалуют.

Дива –

Мой Мозг – расхохотался –
Бормотала – я будто глупая – хотя
День тот был много лет назад –
Мой мозг хихикать продолжает

Я –

Зачем законы станет принимать сенат?
Вот варвары придут – ужо создадут законы

Дива –

И Что-то странное – во Мне –
Какой была тогда я –
И Она – иначе чувствует –
Не знак ли то Безумья?

Таша пела, я перестал прислушиваться к скрипу, дальше... тот кусок из Гамлета...

***

Они вошли, такие же серые, как их машины, и указали на Ташу. Она их не заметила, стоя спиной к двери, продолжала петь, Дива, лицом к ним, продолжала свой монолог. Что мне оставалось? Да и что я мог... дождался реплики... Они нас не замечали, но, задержавшись на... секунду? час? схватили Ташу. Не прекращая петь, мне казалось, что петь она не прекращала, визг, крик как будто исходил из другого горла, как будто у неё было два горла, она пыталась освободиться. «Отпустите её, что вы делаете?» – моя попытка вылезти из кресла чуть не увенчалась быстрым успехом – кресло накренилось и почти повалилось, один из солдат подскочил и удержал меня. «За что вы её схватили, что она вам сделала? Она хорошая девушка, всё время была с нами, спросите Диву. Таша спасла нас! Если вам нужны её услуги, надо просить по-хорошему, она не откажет. Отпустите её!» Другой, в защитной форме, как те, которые собирались эвакуировать нас, заорал: «Заткнись, шлюха, поздно выть! Твои друзья сдали тебя, мы всё знаем!..» – «Вы ошибаетесь, она никуда не выходила, она...» – «Заткнись, старик! Слышал взрывы в порту? Это твоя шлюха и её дружки! Смотри на меня, шлюха! Думаешь, мы не видели твои сигналы? твой жених, перед тем как мы его вздёрнули, он не был бы тебе нужен в том виде всё равно, мы...» И тут Дива как будто проснулась и бросилась на него, он был в два раза выше её, она до плеча его не доставала, но он испугался, я видел, он испугался её... На крики, стуча палкой, примчалась мамочка, толкая впереди кресло с одной из... о, Господи, Господи, воля Твоя, это была та, которая откинула коньки месяц назад, которую мы, э-э... бросили на балконе. Оставшись без присмотра, мамочка набрела на труп, а может, она всегда знала, где он находится, но как бы то ни было, она приволокла коляску сюда, и тут нервы у них сдали. Они были мальчишками, воспитанными на рассказах женщин, потерявших в конфликтах мужей и отцов, страх и ненависть, жертвенность и беспощадность сидят глубоко в таких детях в мирное время, вырываясь на поверхность, когда назревает очередной конфликт. Они были военными, обученными держать оружие в руках и стрелять по врагам, но, вопреки или поэтому, при виде старухи, толкающей коляску с полуразложившимся телом, у них сдали нервы, сначала один, потом другие начали стрелять, бездумно, бестолково, в мамочку, в коляску, из которой... уф, тошно вспомнить. А я... в мой угол они не стреляли, пули звенели, мрамор балкона взвизгивал и взрывался осколками, падали вниз вазоны с цветами, в этой суматохе ужаса и безумия они ранили одного из тех, которые держали Ташу, а я смотрел не на них, только на Диву, сумасшедшую актрису, она выпрямилась, вытянулась, помолодела, и когда длинный, когда его задели, когда он упал и выронил автомат, или как называется то, из чего они стреляли, Дива среагировала моментально, наклонилась и подхватила оружие.

В её-то возрасте! Таша вырвалась и бросилась к перилам. Их обеих... ымф-ымф-ые... ымф-ымф-ые... Своего раненого они унесли с собой, оставив меня и...

***

Завтра приедет Вилл и увезёт меня домой. Интересно, куда? Где будет мой дом? В среду я даю интервью, через неделю буду участвовать в программе, посвященной Диве, ымф-ымф-ые... ымф-ымф-ые...

Ну что ж, я актёр... театральный сезон...

William Shakespeare. Romeo and Juliet. *Перевод Б. Пастернака.*

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, (Константинос Кавафис). В ожидании варваров. *Перевод А. Величанского.*

Emily Dickinson. The first Day's Night had come.

2
История миганомов Предгорья

Родоначальник Миган, спасаясь от диких животных, врагов-соплеменников, диких племён, приплыл на самодельной лодке к узкому пустынному побережью, окружённому разновысотными горами, с тремя женами (или наложницами). От этих трёх – Бутаны, Тюрины и Гатчаны – пошли три рода, три клана, варившихся в тесном семейном котле – любили, женились, ссорились, отбивали друг у друга женщин, отбивались плечом к плечу от иноземных захватчиков и пиратов. Остались родовые названия, да ещё имя одной из дочерей, Кумары, которая впервые приготовила кумары. Их с тех пор готовят по всей Миганомии, основные ингредиенты остаются неизменными – олегу с семенами и листьями конопли, чесноком, перцем, толкут в ступах, но с вариациями не только местными и сезонными, добавляют зелёные грибы, горькие травы или маслины, заворачивают фарш в морскую капусту, виноградные листья, розовые лопухи, каждая семья имеет свой особый, от «бабушки, прямого потомка Кумары», рецепт, который считает единственно правильным. К сожалению, и единой истории нет, каждый клан рассказывает её по-разному, делая упор на враждебности и агрессивности соседей, собственном альтруизме, героической самообороне и блистательных победах.

Бутане обвиняют тюринцев и гатчан во всех смертных грехах, ведущих за собой кровопролитные схватки, набеги, захваты территории. Им, бутанам, поначалу приходилось труднее всех – обидевшись на родственников, уже достаточно дальних, из-за несправедливого раздела чего-то (по разным версиям – улова, наследства, невест, каких-то других ценностей), потомки Бутаны ушли с прибрежного насиженного места и поднялись на верхние долины. С трудом обжились в непривычных перепадах температуры, низком давлении, занимались охотой, освоили скотоводство, приручая диких коз и баранов, плели корзины, собирали ягоды и грибы, дикорастущую коноплю, вязали грубые подстилки, валяли шерстяные одеяла, обрабатывали шкуры. Изредка всё же спускались к морю обменять сыр и копчёное мясо на сушёную рыбу и морскую капусту, попробовать чужих кумаров, вежливо похвалить, утвердившись в знании, что свои лучше. В общем жили мирно, несмотря на обиду и охлаждение. Тем временем тюрины и гатчане продолжали жить рядом и довольно тесно, ловя рыбу, занимаясь мелким земледелием, мелкой морской торговлей, мелким пиратством. Пока дела не пошли худо – более мощные пиратские судна установили контроль на всех выходах в море, торговля сошла на нет, пиратство стало невозможно из-за неконкурентоспособности маленьких, хотя и отважных команд на маленьких, хотя и быстрых лодках. Рыбу тоже приходилось ловить с осторожностью, не выходя из бухты, еды стало в обрез, гатчане, собственно и занимавшиеся пиратством и поэтому привыкшие к большему достатку, ссорились между собой и с тюринцами, и в конце концов часть из них тоже поднялась на плоскогорье и занялась освоением плодородной части в междуречье, выращивая кукурузу, коноплю, виноград, заодно покрадывая у бывших родственников из соседних кланов баранов и сушёную рыбу. Иногда нападали на рыбацкие лодки, отнимая улов. Тюринцы время от времени, в свою очередь, отправляли мужчин посчитаться с ворами-обидчиками. Бутане не вмешивались, это была не их история. Они занимались своими делами, проходили века, потомки Бутаны развивали прядильное искусство, изобразительное, их ковры славились по всему миру. Собирали, сохраняли предания предков, обучали молодых, прогнозировали будущее. Но когда затрагивали их честь, они становились на её защиту, у них были не только скотоводы и созидатели, но и воины. Это история от бутан.

Тюринцы же рассказывают её несколько по-иному. Им, тюринцам, завидовали и свои, и чужие. Когда Миганомию, к тому времени собственно Тюринию, тюринцы были способнее и предприимчивее остальных, грабили пираты, отбирая нажитое, похищая женщин – красотой и статью отличались потомки Тюрины, бутане и гатчане со стороны наблюдали, не вставая на защиту и даже не помогая оправиться после набега. Больше того, пользуясь ослабленным положением Тюринии, сами занимались грабежом, отбирая всё больше территории, соблазняя, заманивая в горы девушек. Умные и красивые тюринцы отправлялись на поиски знаний в дальние путешествия, по всему свету собирали семена мудрости, привозили домой и взращивали их. Благодаря тюринцам вся Миганомия пользо-

валась славой земли науки и культуры. Но свои же миганомяне, в прошлом кровная родня, позавидовав... ну что ж, военные науки Тюринии, заимствованные и изобретённые, катапульты и порох, построения рыбьим косяком, психологические атаки, когда паруса и сети растягивались... – ну, это всё известно из истории. История от тюринов.

История от гатчан кратка и прямолинейна – они единственные истинные потомки Мигана. Миган и Гатчана были связаны тайным словом, Кумара – их дочь. Она не только приготовила первые кумары, она – Первая Мудрая гатчан, написавшая Правило – «женщины, матери и про-матери, занимают почётное положение, их желания выполняются, потому что они рожают и выкармливают будущих гатчан, мужчины же – добытчики и воины, их роль охранять и продолжать род, выполнять Правило, только так клан сохранится. Все гатчане находятся под покровительством теней Мигана, Гатчаны и дочери их Кумары». Все остальные жители Миганомии – дети рабынь, второстепенные, боковые кланы, не придерживающиеся Правила и, соответственно, не имеющие прав на наследства Мигана. Гатчане могут заниматься сельским хозяйством, пока справедливость и Правило не призовёт их защищаться от правила-не-соблюдающих.

3
Фрида

В маленький город на берегу Атлантического океана я прилетела на свадьбу. На свадьбу моей бывшей ученицы, хорошие отношения с которой превратились в дружбу и даже в некотором роде партнёрство – она создала мне профессиональный сайт и вообще помогала со всякими компьютерно-интернетными проблемами и задачами. Событие должно состояться в пятницу, так что несколько дней до и после я смогу провести неспешно и, главное, бесцельно. Мальвина, ученицу зовут Мальвина, уверяла, что место очень дешёвое и совсем маленькое, кроме местных жителей там нет никого, никаких туристов. Пока-ещё-жених Антон мрачно заметил, что такого теперь не найдёшь даже на полюсах и Эвересте, и проще бы скромно отпраздновать в Бостоне, куда всем легко добраться, а потом ехать в свадебное путешествие, но Мальвина всегда могла настоять на своём.

Такси из аэропорта я заказала заранее по интернету и, выйдя в зал ожидания, крошечный и битком набитый, начала оглядываться в поисках водителя с моим именем на табличке. Нет нигде. Я подождала, побродила, волоча за собой чемодан. Зал пустел. «Лиза! Лиза!» Через секунду я была в объятиях огромного, совершенно незнакомого мне мужика. «Ты всё ж таки получила, я боялся, что ты переехала, номер поменялся и вообще... месседж оставил на всякий случай, совершенно не надеялся, что получишь, тем более прилетишь, как ты быстро! как тогда, раз и собралась! совсем не изменилась! почему не дала знать? я уж не помню, оставлял ли номер? я ведь совершенно случайно...»

Я осторожно пыталась освободиться от этого болтающего без пауз, притиснувшего меня к влажной рубашке, одновременно гадая/вспоминая, кто бы он? Какой-то друг Мальвины? почему на ты? Из Израиля? они там все на ты, или кто-то незнакомый, обознавшийся? Мало ли Лиз? Я наконец выдралась, совсем приготовилась спросить, а вы, собственно, кто, и увидела опустившиеся углы рта, дрожащие губы и ручьи слез. Что-то мне это напомнило... типа дежавю. Круглое загорелое лицо, выпуклый лоб с морщинками, круглые красные глаза за очками и обвисшими веками, редкие волосы, прилепившиеся к щетине щёк – нет, я его никогда не видела, и в тоже время... «Ну успокойтесь, ничего, ничего... хотите, я принесу вам воды?» В голосе его слёз не было, он не всхлипывал, как будто говорил кто-то другой, а не этот с дёргающимися губами.

«Ты чего мне “вы”? поехали! в машине есть вода, просто подумал, как она была бы рада, если бы... я уверен, она чувствует, что ты здесь...» Кто она? О чём он, о ком? Псих какой-то! «Пошли, пошли в машину, там кондиционер, поговорим по дороге». «Я не могу, у меня заказано такси, меня шофёр ждёт». – «Такси?! такси! где?» – «Я пока не нашла его». – «Стой здесь!» Он вытер лицо ладонью, ладонь обтёр о рубаху, придвинул серый картонный ящик на тележке к моему чемодану и убежал.

В зал вливалась новая волна прилетевших, и разглядеть в ней странного человека я не могла. Минут через десять до меня дошло – влипла! Это террорист, здесь же совсем недавно была граждан-

ская... или... я заказывала такси по американскому сайту, американцев здесь не любят. Это террорист, его прислали вместо такси. Наверняка в ящике бомба! Что делать? Схватить чемодан и бежать, пусть без меня взрывается! Нельзя, народ опять стал прибывать, дети бегают, вон женщина беременная и с ребёнком в коляске, полицию надо. Где здесь полицейские? Во всех аэропортах должны быть. «Уходите отсюда скорей! Где полицейские?!! Как позвать полицейского?» – я уже во весь голос кричала беременной. Она не обратила внимания, не понимает по-английски, в любом случае орали вокруг все, окликая, приветствуя, переговариваясь. Я схватила свой чемодан и стала проталкиваться к стойке информации. Девушка без большого энтузиазма отреагировала на моё сообщение об оставленном ящике, с удивлением на вопрос о заказанном такси, но всё же через пару минут ко мне вышел мрачный человек в деловой фуражке. Полицейский? «А как заказать такси?» Девушка уже разговаривала по телефону и внимания не обратила. По методу приоритазайшен (как это по-русски? есть такое слово?) я решила, что сначала надо отвести человека к подозрительному предмету, а потом уже искать такси или вообще способ добраться до гостиницы. Проталкиваться на этот раз не пришлось, перед авторитетной фуражкой расступались. Я указала пальцем в направлении ящика, повернулась уходить и... снова уткнулась во влажную рубашку на мягкой груди. «Ты куда делась? я тебя всюду...»

Тут он заорал мне прямо в ухо и рванулся к ящику. Какое-то время они с фуражкой громогласно и вдохновенно втолковывали что-то друг другу, пиная попеременно тележку ногой, а я раздумывала – уходить? подождать? Вообще-то к этому времени мне стало ясно – не террорист, и любопытно – что в ящике, кто этот человек, почему он так растрогался при виде меня... и надежды на заказанное такси уже совершенно не было, может он всё-таки подвезёт меня. Человек отодрал липкую ленту от ящика и вместе с фуражкой склонился над содержимым. Я подошла поближе – вино, бутылки, штук сто, не меньше. На свадьбу Мальвине? Сколько же приглашённых? Мне говорили – ты и ещё несколько друзей.

Несмотря на раннее и не очень солнечное утро, Мерседес напоминал сауну, на крошечном пятачке парковки машины сновали, менялись местами, перекрывали проезд друг другу, водители орали и размахивали руками через приоткрытые окна. Наконец мы выбрались на шоссе, кондиционер быстро охладил воздух, даже слишком. Я достала из сумки листок с адресом отеля и попросила подвезти, не обязательно прямо туда, куда удобнее по пути. «Какой ещё отель? – прорычал мужчина – никакого отеля, остановишься у нас». Робко пробормотав, что отель заказан, я боком, не открыто, взглянула на мужчину – нет, не знаю. Если и встречала, совершенно не помню. И опять слёзы льются из-под очков. Псих. Надо аккуратно, не обидев, отделаться от него как можно скорее. Кто он на самом деле? Живёт здесь? Говорил с фуражкой на местном и с другими водителями ругался свободно.

«Если захочешь, завтра с утра поедешь со мной, до всех, чтобы ты с ней без толпы, там специальная комната, я каждый день, только что оттуда, она совсем не меняется, платье привёз, она сама выбрала, цветы из нашего сада, музыку, какую она – помнишь...»

Слёзы льются по щекам, но голос не дрожит. Может не псих, а устроитель свадьбы. Есть такая профессия. А слёзы, наверное, болезнь, аллергия или что-то.

«Все завтра прямо в храм приедут, а потом к нам».

В храм! Религиозная свадьба?! От Мальвины всего ожидать можно. Хотя Антон, кажется, католик и буддизмом стал недавно увлекаться, вегетарианцем стал. Только почему завтра? Назначено же на пятницу? Или я путаю? Приглашение в компьютере, надо срочно посмотреть. Может быть, сюрприз молодожёнам? Насколько я знаю, они должны прилететь только в четверг. Или уже здесь, завтра только венчание, тайком, а празднование в пятницу? Как романтично.

«А кто-то ещё прилетел? Я думала, что я первая. А вы здесь только работаете? Или всё время живёте?»

«Лет десять, приехали и влюбились – городок, вилла, сады... до аэропорта в Сонии всего два часа, сначала летали туда-сюда, Фрида здесь с эвакуированными детьми работала, а я... потом снова война, госпиталь... ну, остались».

Фрида? Фрида?! У меня была тётя Фрида, мамина двоюродная сестра, старше меня на восемь лет, не так уж намного... Первые годы после нашего отъезда мы, мама в основном, поддерживали связь, переписывались, звонили... не частое имя, но... Ей сейчас должно быть под шестьдесят. Она здесь? в

таком маленьком городке? Конечно, не она, она даже в Крыму, куда нас мама когда-то возила каждое лето, скучала по Москве. Мы очень дружили, я смотрела ей в рот. На правах старшей она просвещала меня. Ну, всякие темы, которые взрослые обходили или запрещали, она со мной обсуждала, объясняя, «как на самом деле». Сильно позже я узнала, конечно, что её объяснения были примерно такой же ерундой, как и рассказы подружек во дворе, но тогда я не сомневалась и гордилась доверием взрослой, пятнадцатилетней тёти. Моя Фрида? Нет! Вряд ли...

«А-а... знаете, простите... знаете, у меня такая плохая память на лица, я вас не узнала».

Он, не вытирая слёз, громко засмеялся. «Ох, дурак, конечно! не сообразил, то-то ты мне "вы", редко в зеркало гляжусь, да и прежнего себя не помню, а ты совсем не изменилась, сразу узнал, хоть не ждал, не думал, что дозвонился, прилетишь, я – Санёк, Фридин муж! В-вд...», – он заикнулся или громко икнул.

Санёк, Фридин муж... я даже не знала, что Фрида, если это моя Фрида, вышла замуж. «Она часто о вас говорила – о тебе, о Галюсе». Галюся это моя мама. Значит не ошибка. Он действительно узнал меня. Но кто такой Санёк, за которого вышла Фрида, по-прежнему оставалось тайной. Вокруг неё, молодой, всегда вертелись мужчины, все старше её, все по тем меркам богатые и известные. Она брала меня на премьеры и просмотры и просто в гости. А потом я вышла замуж и сидела со своей новорожденной двойней, мой тогдашний муж был жутко ревнив, терпеть не мог Фриду, называл дамой полусвета, не отпускал меня ни на шаг, а особенно к ней. На редких семейных встречах тонким иезуитским голосом, полушёпотом расспрашивал её об очередной «своре кавалеров», практически открыто хамил ей, но знали об этом только мы с Фридой, она утешающее подмигивала мне, остальные родственники не догадывались.

Вскоре она крестилась. Я развелась. Мы встречались по-прежнему редко, общались больше по телефону.

Когда близнецам было пять, мы уехали сначала в Вену, потом в Италию, потом в Америку. Мама переписывалась с Фридой, изредка звонила, но очень нерегулярно, а за последние годы связь и совсем оборвалась, мы много переезжали, Фрида тоже переехала куда-то. В общем... но мы с мамой вспоминали её часто. Мама укоризненно – «ну вот, вторая Фрида» или «мешигине Фрида», по отношению ко мне или внучке. Я, скорее про себя, чем вслух, всё ещё пыталась разобраться со своей подростковой завистью к популярности Фриды, ведь некрасивая, большой толстый нос под сросшимися, слишком широкими бровями, с лохматой, никогда не только не уложенной, толком не расчесанной гривой, с повадками неуклюжего мальчика, что подчёркивалось выбором одежды. Мама жалела её за «нелепость», дарила и пыталась заставить носить красивые платья (действительно красивые, у мамы, помимо отменного вкуса, была знакомая в модной комиссионке), Фрида иногда приходила к нам в них, но не появлялась «прилично одетой» нигде кроме. По крайней мере я ни разу не видела её в модной одежде ни на выставках, ни на концертах, ни на показах в Доме кино. Это не моё, говорила она, и действительно, в мешковидных балахонах или нелепых, широких и коротких штанах она выглядела и держалась естественно, почти грациозно. Крещение поменяло образ её жизни, круг друзей сократился и несколько изменился, но это не коснулось стиля одежды, только балахоны стали менее яркими и длиннее. Фрида уверяла, что с любовными романами покончено, и я ей верила, она не врала, она вообще не врала.

Так вот, Санёк узнал/помнил меня, но я совершенно его не узнавала, ни лица, ни имени. Я перебирала в памяти всех поклонников Фриды, которых знала. Не было среди них никаких Саньков. Был седой красавец Александр Аркадьевич, и профессора-музыковеда тоже, кажется, звали Александр, молодящий режиссер, Алик, очень известный – умер несколько лет назад, других Александров... Да и несмотря на довольно солидный объём выглядел он намного моложе, чем мог бы выглядеть через 20 с лишним лет любой из Фридиного окружения. Санёк вёл машину осторожно, объезжая выбоины.

«А Фрида дома?»

«Нет, она там, в больнице, завтра, я же сказал, если хочешь, завтра с утра, до всех, мы с тобой за ней поедем, а все прямо в собор, потом... потом уже к нам, к нашему возвращению всё будет готово».

В больнице.

«В больнице? Господи, а почему?»

Он только всхлипнул и махнул рукой. Как бы поаккуратней расспросить, что с ней? Вот почему

он плачет. Никаких слов я не находила, мне было стыдно признаться, себе самой в первую очередь, что за все годы, сколько? лет десять с последнего письма, кто написал то последнее, она или мама? не сделала даже малейшей попытки связаться с Фридой, узнать от общих знакомых что-нибудь о ней. Правда, после смерти мамы я и о них ничего не знала. Мама, тоже нерегулярно, с ними как-то поддерживала отношения, рассказывала мне об их делах (разводились, болели, умирали, переезжали, уезжали), а я, вымотанная работой, детьми, хронической нехваткой денег, т.е. на еду, квартиру хватало вполне, но постоянно возникали дополнительные или непредвиденные траты (новая машина, уроки тенниса и бейсбола для близнецов, семейные выезды на отдых и всякое такое), принимала это, как её же пересказы телевизионного «мыла», т.е. пропускала мимо ушей, кивая головой. И неужели...

«Народу завтра будет, не протолкнёшься, здесь так принято, все знакомые приходят, а уж к нейто тем более. Она здесь не просто иностранка», – говорил он не очень громко, но целиком уйдя в свои воспоминания, я умудрилась забыть о нём и вздрогнула. В больницу приходят?

«Видишь, все знают».

Мы уже въехали в город, пробирались по узким мощённым улочкам, пешеходы прижимались к стенкам домов, но не сердились, а, напротив, кивали, махали приветственно, дородная женщина дотронулась до стекла, Санёк открыл окно, остановился, она погладила ему щёку. Протиснулись в совсем уже щель между двумя каменными стенами, и перед нами открылся океан – не синий, а почти фиолетовый. Слегка чиркнув зеркалом по камню, отозвавшемуся противным взвизгом, мы резко въехали на площадку перед... затрудняюсь даже назвать, такие я видела в кино – замок, не замок, роскошная вилла, но старая, по-настоящему старая, не новодел. На крупном гравии стояло несколько машин, больших, даже грузовик. Он-то как сюда протиснулся?

«По дороге, в объезд, у меня просто сегодня на серпантин терпения нет».

Это он на мои мысли или я вслух спросила? Иногда я думаю вслух и если мама слышала, она неизменно вспоминала Фриду – мишигене, как... Знает ли Фрида, что мамы больше нет?

«Как называется это место?»

«По местному Чекхувсмала, Вилла Чехов, Фрида назвала... Фрида так хотела, чтобы Галюся сюда приехала пожить, она для неё как мать была, я думаю ей важно... ей важно было показать, что она... ладно, вылезаем и пошли в дом, отдохнёшь, поешь, к океану спустись, пляж там, в сад, а у меня... прости, сегодня до вечера... повожу после, когда... всё».

Дом внутри... я даже не буду пытаться описывать, в двух словах, похоже на смесь роскошного отеля и виллы южно-американского сериала. Лифт поднял нас на, не заметила, на какой, этаж. Мрамор, стеклянный потолок, картины – ох, я знаю эту, где я её видела? В Москве, кажется, у кого-то в мастерской. Неужели Мальвина и Антон могут себе позволить нанять такое даже на несколько дней? Я знаю, это очень дешёвая страна, особенно теперь, после их войн. Всё равно это должно стоить бешеных денег. Мальвина, конечно, экстравагантная девушка, но Антон очень аккуратен с тратами. Мой номер был достаточно странный – почти пустая белая гостиная, несколько белых мягких кресел, стол, явно компьютерный, с проводами и розетками, окно до пола, в спальне большая современная кровать, похожа на ортопедическую, старинный дубовый шкаф с инкрустацией. Столик – дрессингтабле, как это по-русски? куча флакончиков, зеркала в старом тяжёлом дереве, вертящийся стул перед ним.

«Ну вот, в этой удобно, располагайся, если не по вкусу, устраивайся в другой, какая понравится, сейчас Майду пришлю, она по-английски говорит, всё покажет, распакует, разложит, ты ведь хоть на несколько дней останешься? прими душ и спускайся, там кофе, перекусишь, бассейн тоже, – Санёк всхлипнул и, махнув рукой, пошёл в сторону окна, – не обращай внимания, сами текут, от меня не зависит, вообще, голова не варит, дел куча, завтра поговорим».

Я спросила ему в спину: «А остальные здесь поселятся? Где Мальвина и Антон?» Какие-то хриплые звуки, и он исчез за занавеской. Я подождала и двинулась за ним. За занавеской – раздвижная дверь открыта на длинную веранду с видом на океан, сад, парк, но Санька не было. Ох, я должна была расспросить его и о Фриде, и о свадьбе, однако... в общем-то, я почувствовала облегчение и решила вместо душа найти спуск к пляжу и искупаться. Я так устала, мамина болезнь, фокусы Саймона – два раза бросал университет, и на этом фоне мой собственный идиотский роман. Не хочу думать ни о...

ни о чём не хочу, купальник, полотенце, очки, косынка, плыть, лежать бездумно на песке, обсыхать, плыть, смывая песок морской водой, лежать бездумно, лежать и сохнуть, и снова плыть... Мобильник не забыть бы на всякий случай захватить.

Ничего себе начало, заснуть на солнце – наверняка сгорела, плечи и ляжки щиплет, завтра будет по-настоящему больно, спасибо, высокая волна разбудила, окатив меня. Вода подобралась вплотную. Сон снился... вертелся, постепенно стирая детали. Снилась мне мама, как часто снится – молодая, здоровая, я спрашивала её, почему же ты не говорила раньше, что ты жива? Я послала тебе письмо с Фридой, сказала она мне на этот раз, неужели эта мишигене вейб забыла передать. И сама Фрида была где-то здесь, мелькала. Фу, как кружится голова.

«Мадам, мадам, откройте глаза, сейчас Смэн отнесёт вас к лифту. Откройте глаза!»

У меня глаза открыты, хотела сказать я, я вижу ваши ноги, просто не могу смотреть выше, но язык говорил что хотел, неразборчивое.

Меня несли, я вяло думала – это инсульт, но страха не было, совершенно наоборот, хорошо, никакой ответственности. В лифте, медленном, сонном, но с кондиционером, в зеркальной стене отразилась полуголая сильно немолодая тётка на руках у чужого мужика, и эта картинка заставила меня забарахтаться, привела в себя настолько, что я попыталась встать на ноги, во всяком случае, освободится из рук несущего человека. Сопровождающая нас женщина успокаивающе говорила, всё в порядке, всё в порядке, мы отнесём вас в вашу комнату и вызовем врача. «Нет-нет, – на этот раз язык подчинился, – врач мне не нужен», меня уже сгрузили на кровать, горячая кожа прикоснулась к холодному, приятно скользящему, и это придало мне силы и уверенности. «Врач мне не нужен, я просто перегрелась, заснула на солнце, сейчас пройдёт, уже всё в порядке».

Женщина в длинной чёрной юбке и серой свободной блузе стояла в дверях. Строгая, неулыбающаяся – та же, что помогала мне добраться сюда? или всё же вызвали врача? События скомкались и смешались со сном, меня поили, мазали холодным, приходили Санёк, Фрида, мама, я знала, что опаздываю на свадьбу и не могла проснуться... но теперь проснулась и чувствовала себя вполне нормально, выспавшейся, свежей и даже очень голодной. В комнате был полумрак, за спиной женщины намного светлее. Я села, женщина сделала несколько быстрых шагов. «Мадам выпить это, – она протянула мне стакан мутноватой жидкости, я покорно выпила, довольно приятная, кисло-сладкая, – здесь опасное солнце, ветер с океана обманывает, угоняет жару, люди должны беречься, не жариться, не спать». – «Я знаю, это было глупо с моей стороны, я не спала в самолёте и заснула нечаянно, собиралась только слегка обсохнуть... всё в порядке, я чувствую себя прекрасно». – «Хочет мадам ужин? Доктор сказал, что мадам можна принимать ужин и вино красное». Я засмеялась – прекрасный совет, но... когда будет ужин? «Который час?» – «Тридцать минут после одного». Половина второго. Мы приземлились около восьми, добрались, вероятно, к десяти, ну, не так уж долго я спала. Ланч здесь заканчивается рано, я это знала из путеводителя.

«А можно мне съесть что-нибудь прямо сейчас, хотя бы йогурт?» – спросила я женщину. Она двигалась, как... как майтрон (матрона? а! – старшая медсестра), чётко, быстро, с достоинством – распахнула дверцы шкафа, мои вещи кем-то аккуратно развешаны на плечики, вынула шёлковый халат с драконами и кистями, подаренный на пятидесятилетие, положила рядом со мной, произнесла: «Мадам будет брать еду на веранде?» На веранде? Жарко, но, наверное, там тень и ветерок. Я кивнула. Она ушла.

Накинув халат на голое тело, кожа была чувствительна, но не больше, голова не кружилась, босым ступням было приятно на каменном слегка шершавом полу, я дошлёпала до плотных штор, не пропускающих солнце, отдёрнула, за ними было черно, ещё одна? Рука свободно прошла сквозь тьму, я шагнула вперёд, острый запах морской воды. Солнца не было. Чернота вокруг медленно разрежалась, пропуская подсветку извне, внизу редкие огоньки, прямо над головой звёзды разной величины и интенсивности. Так же медленно просветилось в сознании – ночь. Половина второго утра. Не два часа проспала, а больше двенадцати. Ещё шаг, и вспыхнули яркие фонарики, осветили перила, тёмную зелень, мраморный стол, отделив веранду от окружающего мира. Оставив только плавающие запахи южной ночи и звуки. Треск, шорох, всплески. И... голос, хрипловатый, низкий, даже через столько лет не изменившийся, моментально узнаваемый. Фрида! Её выписали! Она говорила, но

тихо, слов не разобрать, только голос. Как будто молится? или читает стихи? на веранде выше или ниже? И там же бормотание и невнятные всхлипывания. Я подавила желание бежать к ней, очевидно, всхлипывает рядом Санёк, и им сейчас не до меня, иначе бы позвали.

Пришла давешняя матрона, я увидела её сквозь щель в шторах и вернулась в комнату. Сидеть на веранде мне расхотелось, да и есть, по правде, тоже. Помимо йогурта – целой плошки, мне принесли большой графин прописанного красного вина, много тарелочек и мисочек с рыбой, овощами, соусами и... «Кумары?» – о них пишут во всех путеводителях. Матрона кивнула и показала, как их едят – как бы взяла двумя пальцами и макнула в соус, этот или этот, потом в рот, сделала очень артистично, даже подставила ладошку под воображаемые капли, стекающие с виртуальной еды, но серьёзно, без улыбки. На приглашение сесть и поужинать со мной покачала головой, сослалась на дела и удалилась. Жаль, я хотела расспросить её о здоровье Фриды, о замке, свадьбе.

Вино было густое, терпкое. Рыба и соусы острые, сладковатые. Бокал вина, немного рыбы, парочка кумар, скорее из любопытства, чем от голода. Кумары – жареные треугольнички из листьев какого-то местного растения с начинкой из мяса и овощей. Традиционное блюдо ужина, написано в путеводителе, раньше обязательно с коноплёй, но теперь коноплю, кажется, запретили. Не могу сказать, что очень понравилось. Оставив йогурт, я отдала поднос появившейся матроне. Она укоризненно покачала головой, – «доктор сказал ужинать», – и вернула мне вино и тарелку с кумарами. «Мадам не имеет платья для церкви, я думаю, то будет правильный размер, – она указала на чёрное платье на дверце шкафа, – мадам хочет попробовать?» Чёрное на свадьбу? Местные обычаи? Знает ли об этом Мальвина? Я вежливо поблагодарила – «спасибо, завтра». Мне чёрное идёт, но... всё-таки... Я вертелась с боку на бок, стараясь заснуть, но не получалось. Съела йогурт, открыла лаптоп, но не смогла подключиться к интернету, айфон не работал, по-видимому, намок, когда меня захлестнуло волной, вернулась в постель, кондиционер урчал и дул, мешал, снова встала, накинула халат, налила вина и устроилась в плетёном кресле у выхода на террасу. Прихлёбывая вино, я рассматривала неровную темноту там, где по моим понятиям был горизонт. Светлые пятна – крупное, наверно, обозначало порт, а выше, расплывчатые, могли быть кораблями в океане или низкими далёкими звёздами. В животе начало урчать, жаль, что не оставила себе вкусную рыбку, но поскольку другой еды не было, я принялась за кумары, кусочничанье по ночам – моя беда. И постепенно начала понимать, почему они считаются лакомством. Поджаренные листья похрустывали на зубах, пряная начинка лучше чувствовалась без слишком сладкой или слишком острой приправы. Вино хорошее, ночь прекрасная, Фриду выписали, значит, завтра в больницу ехать не нужно. После восемнадцати лет, нет, не восемнадцати, двадцати двух, близнецам было по пять, когда мы уезжали, Фрида очень хотела их крестить, даже уговорила маму, в принципе неверующую, вернее, верящую во всё, что было убедительно ей преподнесено, но я вовремя вмешалась, видеть Фриду, после двадцати двух лет разлуки, в больнице было бы тяжело. Вряд ли мы смогли бы побыть наедине, мне предстояло сказать ей о смерти мамы, она точно об этом не могла узнать, если контакты прервались так давно, что мама даже не знала об её отъезде. Или знала и мне говорила, но я пропустила мимо ушей? Завтра попрошу матрону отвести меня к Фриде. Мне хотелось увидеть её, и в тоже время было страшно, и неловко, и... как возвращаться в свой бывший дом, где живут другие, или прийти в гости к бывшему мужу в его новую семью, ну, в общем, не по себе. Кумары действительно замечательная закуска к такому замечательному вину, такой тонкий, слегка копчёный вкус. Похрустывают на зубах и...

...на веранде... на веранде... я не заметила, как она появилась, напротив двери сидела Фрида, смотрела на меня, как всегда, боком, из-под спадающей гривы, совершенно не изменилась, совершенно такая, какой была на нашей отвальной. Она тогда появилась так же совершенно незаметно, вдруг я увидела её сидящей на диване с бокалом вина. Близнецы, только что бесившиеся с другими детьми в соседней комнате, прислонились с двух сторон к её коленям и дремали. Подсесть к ней, не разбудив их, не было никакой возможности, да и люди всё время менялись, приходилось здороваться, прощаться, обнимать, наливать, мыть стаканы, подрезать хлеба и колбасы. И мы толком не поговорили. Сейчас она сидела в такой же позе, и даже балахон на ней был похожий. В предрассветной мгле отчётливо цвета не разобрать, но всклокочены волосы как раньше. Я забарахталась, вылезая из кресла, но она подняла руку, не надо. Как мне был знаком этот жест, она терпеть не могла сентиментальности.

«Фрида! Я не заметила, как ты появилась. Ты совершенно не изменилась! Почему ты была в больнице?»

«Разве я была в больнице?»

«Мне сказал Санёк, твой муж».

Она повторила, улыбнувшись: «Санёк, мой муж».

«Фрида, ты меня узнаёшь? Я Лиза, дочка Галюси».

«Конечно, я узнала тебя. Галюся здесь, я знаю».

«Фрида, мама умерла три года назад. Мы потеряли связь, я не знала, что ты вышла замуж, что уехала. Как жаль, что не знали. Ты могла бы прилететь к нам. Где ты живёшь? В этом отеле? Санёк работает здесь?»

Она продолжала улыбаться: «Санёк там, с тобой».

Тут до меня дошло – у Фриды Альцгеймер или что-то вроде. Вот почему она была в больнице, из-за этого плачет Санёк. Я вскочила, чтобы обнять её, и свет на террасе включился, очень яркий. Фрида заслонилась и отпрянула. В поисках выключателя я зацепилась за рельс, по которому скользили раздвигающиеся двери, и почти упала, повиснув на шторе. Опрокинув при этом кресло на поднос с кувшином. Сейчас на грохот прибежит матрона, фу, как неприятно, придётся объяснять, но никто не появился, только Фрида ушла, пока я поднимала кресло и подбирала осколки.

Терраса была длинной, несколько занавешенных дверей, тихонько пройти вдоль не удалось, свет включался на моём пути, и пришлось вернуться. Ясно, что Фрида напугалась и моих расспросов, и грохота. Может быть, ей не разрешают выходить одной из комнаты и она не хотела, чтобы её обнаружили. Надеюсь, что с ней хорошо обращаются. Зачем я, дура, вскочила!

Ночь тихо светлеет, огни внизу растворяются в голубеющем воздухе. И наконец, захотелось спать, глаза закрывались, еле дошла до постели.

Разбудило меня пенье в саду, целый хор голосов. И колокольчики. Свадьба?! Всё-таки сегодня. Пора собираться. Я выбрала серое шёлковое платье, моё любимое. В нём всюду прилично, и в церковь тоже, и прохладно. А вечером надену жёлтое в полоску, открытое. Хорошо бы выпить кофе, но кого попросить? В коридоре меня встретил Санёк, в костюме и чёрном галстуке. С ума они тут сошли! на свадьбу! Что за обычаи! Надеюсь, Мальвина в курсе.

«Ох, я хотел посылать тебя будить, как ты себя чувствуешь? будешь завтракать у себя или внизу? Уже все собираются, но у нас есть ещё время».

«Здесь, в комнате. Больше десяти минут мне на завтрак не нужно. Привыкла, только кофе и какой-нибудь фрукт – апельсин, дыня. А где Фрида?»

«А помнишь, пельмени жари...», – он всхлипнул и ушёл.

Внизу, наверное, завтракает Мальвина с подружками или Антон с друзьями – они решили ночь накануне провести раздельно, смех – после трёх лет совместной жизни, но не моё дело. Мальвинины подружки, как правило, красивые, успешные, ухоженные и одинокие, раздражают меня безмерно, может быть потому, что в душе я ассоциирую себя с Фридой, свободной и независимой, а на самом деле, как они – в личной, не рабочей, жизни не умею найти правильную форму поведения, держусь либо слишком независимо, почти хамски, либо забиваюсь в раковину. Неприятно смотреть на себя со стороны. А с друзьями Антона мне и вовсе говорить не о чем. Саму свадьбу ради Мальвины я потерпеть готова, но... Интересно, услышал он про кофе?

Услышал. Через пятнадцать минут, деликатно, надеюсь, отклонив настойчивое желание матроны нарядить меня в чёрное, я с трудом влезла, была вложена, в маленькую спортивную машину. Дико дорогую с виду и дико неудобную. Санёк молчал, и я тоже, чтобы не вызывать приступа рыданий. Ясно, тяжело, мне тоже не радостно было видеть, какой Фрида стала, при том, что внешне осталось прежней. С мамой было проще, потому что она за два месяца превратилась в дряхлое существо с потухшим взглядом и ушла совершенно растительным образом, просто высохла.

У-упс! Мы затормозили так резко, что я бы влетела в стекло, если бы не ремни. Перед нами разворачивался маленький автобус, заваленный цветами.

«Дойдём пешком, здесь близко, через сад, там никого не будет, рано ещё, мы вдвоём посидим, если хочешь, я тебя с ней на пару минут оставлю, вылезай!»

По саду бродили люди, немного. Тем не менее Санёк схватил меня за руку и почти бегом доволок до небольшого помещения белого с высоким стеклянным куполом. Храм? Санёк втащил меня через боковую дверь, сказал – сейчас, и ушёл внутрь. Я огляделась, у стен ширмы на колёсиках – семисвечник и звезда Давида, дальше мадонна с младенцем, иконы, мусульманский полумесяц, распятие на колёсиках, синтезатор или орган, в общем, музыкальный инструмент, цветы в тяжёлых горшках, на досках с колёсиками тоже.

«Пойдём, – Санёк вернулся, обнял меня за плечи, кивнул на ширмы, – во время войны раненых и больных свозили со всех сторон, больница Красного Креста, разные религии, пойдём, всё сделано».

Такая же белая комната с куполом завалена букетами. Густой одуряюще-парфюмерный воздух. Посреди возвышение в белых мелких цветах. К свадьбе? До меня не сразу дошло, что посредине труп. Санёк подвёл меня поближе. Старуха с подрумяненными круглыми щеками на восковом лице, белые волосы с венком из белых роз. «Что это? это кто?» – «Здесь так полагается, я не хотел, но спорить не стал, пусть, – не отпуская меня, Санёк прижался щекой к лицу покойницы, – Фрида, Лиза здесь, приехала с тобой попрощаться, ты ведь знаешь, что она здесь».

Если бы я сама ночью не видела Фриду, не разговаривала с ней, я бы... я бы могла подумать, что это она, изменилась, но она. А это кто?

Мне стало плохо. Сознания я не теряла, но ноги держать перестали и голоса доходили как через текущую воду. Я пыталась объяснить, что Фрида в гостинице, я видела её прошлой ночью, говорила с ней, это чужая женщина лежит там. Санёк мошенник, я его не знаю. Врач? наверное врач, в голубом халате почти насильно заставил меня выпить рюмку чего-то крепкого и через несколько минут слабость и шум в ушах прошли. Санёк, совсем белый, сидел рядом со мной на полу. Врач и его чем-то поил.

Я умылась под надзором женщины в халате, выпила кофе, посидела в прохладе и решила, что буду молчать, чтобы был шанс спасти Фриду, даже если она совсем выжила из ума. Ясно, что ему, Саньку, почему-то важно, чтобы Фриду считали мёртвой. Хочет жениться ещё раз? Вряд ли можно так побледнеть по заказу. Слышал ли он то, что я бормотала, и от этого ему стало плохо, или... Надо надеяться, что просто от вида трупа и духоты...

Всё продолжалось нестерпимо долго.

До собора, от силы километр, мы ехали полчаса, кроме нас все шли пешком. Нас везли в открытой машине, сразу за телегой, именно телегой, в ней на помосте, на белой ткани лежало тело, усыпанное цветами, и девочки в чёрном поддерживали эту ткань, как шлейф, мужчины несли растянутый на палках навес. Я косилась на Санька. Он сидел очень строгий, всё ещё бледный, но слезами не обливался. Так старался только ради меня? Хотя нет, он и для Фриды плакал, она говорила, а он плакал, и в голос. Хороший же он актёр. Бедная Фрида! Может быть, она вовсе не выжила из ума, а притворялась. Ничего не понимаю, что происходит, что за ужасная игра?

Собор был набит, люди вставали, пели, опускались на колени, потом выстроились в очередь к гробу. Санёк взял меня под руку и повёл вперёд. Господи, что я должна делать? Целовать чужую мертвую старуху? Слава Богу, она присыпана цветами. Санёк зацепил горсть лепестков из фарфоровой бочки и высыпал на женщину, я поступила так же, Санёк обнял меня и прижался мокрой щекой, я едва сдержалась, чтобы не оттолкнуть его на людях. Глазами я поискала в толпе Мальвину или Антона, или кого-нибудь смутно знакомого.

Всё продолжалось нестерпимо долго.

Цветы, речи (естественно, я ни слова не понимала), пение, потом тело несколько раз обносили вокруг собора и наконец опустили в яму, засыпав остатками лепестков.

«Ты понимаешь, какая это честь? её так здесь любили, так были благодарны, похоронить иностранку в ограде, так и своих давно не хоронят, она святая была, действительно, правда».

Интересно, о ком он? о Фриде или о женщине, которую похоронили?

«Ну вот, ещё пару минут и можно уходить, поедем домой, примем душ, переоденемся, поминки здесь праздник, ты приготовься к этому, поначалу мне трудно было привыкнуть, поедем опять старым городом, чтобы всех опередить».

Может быть... может быть, я всё это придумала, просто он организатор похорон, как организатор свадеб? Зарабатывает этим. Тогда причём здесь я, почему все эти люди подходят ко мне и прижимаются щеками – мужчины к ладони, а женщины к моей щеке?

Надо срочно вернуться в отель и позвонить Мальвине. Если бы мой телефон работал, если бы знать, как найти отель, я бы уже сбежала, но пока была полностью во власти Санька.

«А как мне...» – меня уже усаживали в машину, на заднем сидении Майда-матрона. Я даже не могла спросить, куда меня везут, где это «домой».

Мы вернулись на виллу, молча, мрачно. Санёк опять задел стенку, но слегка, протянул мне руку – «двадцать минут, не больше, мне самому не до этого, ты-то потом сможешь уходить передохнуть, я не смогу, пока все не разойдутся».

Айфон так и не пришёл в себя, компьютер требовал пароль для доступа в интернет... Я прошла по веранде взад и вперёд, шепча – «Фрида», затем в полный голос – «Фрида, я жду тебя». Фрида не появилась, появилась Майда, спросила, когда я буду готова? Буду ли я переодеваться? Надо ли помочь? Сообщила пароль. И на моё холодное спасибо сказала, что гости собрались и начнут сразу, как я спущусь.

Что мне оставалось? Только холодный душ. Я надеялась, что кто-нибудь из сегодняшних гостей, кто говорит по-английски, расскажет, кого мы сегодня хоронили, неужели никто не опознал женщину, не может же быть, что весь город в заговоре? И против кого? Не меня же? Когда Мальвина, наконец, появится, у меня будет сообщник, а пока...

Меня действительно ждали, и сразу, как я, ведомая Майдой, вошла, запели-закричали. Заплакали? Сначала мальчики в коротких чёрных тогах. В мальчишьи голоса быстро вплетались женские, мужские, высокие, потом басы, и я шла через зал поющих. Дико неприятно. Чувствуешь себя на сцене, сейчас они раздвинутся, замолчат, в ожидании сольной партии. Не прерывая общего пения, мужчина в длинном красном шарфе поверх чёрной рубашки, я заметила его ещё в храме, поднял над головой стакан и прокричал несколько слов. И у всех в руках оказались стаканы, на треть наполненные янтарной жидкостью. Вот удивительно, никто не бросился, не толкался, не выстраивался в очередь, просто протягивали руки, брали стаканы со столов у стен, тем, кто подальше, мне в том числе, передали. У детей, целой оравы, были отдельные столы, где командовали девицы в фартуках.

Все подняли стаканы, выпили – похоже на густой, очень крепкой херес. Настойка с приятным привкусом трав, аниса, как та, что мне в больнице влили в рот. Вчера прописали вино – они здесь всё алкоголем лечат? Вкусно. Точно так же, спокойно, продолжая петь, подходили женщины, прикладывались щеками, подливали вино, протягивали корзиночки с кумарами, по виду разными, я попробовала сказать – спасибо, но неизвестно откуда оказавшаяся рядом Майда сказала – «нельзя отказываться, надо брать и класть сюда», протянула мне корзинку и салфетку. Народу в зале становилось заметно меньше, воспользовавшись этим, я сначала медленно, затем решительно пошла к двери, из которой пришла.

В моей комнате... уф! черное платье на спинке кресла в зашторенном полумраке напугало меня. На веранде было настоящее пекло. Я прошлась вдоль занавешенных дверей и окон, тихо позвала – «Фрида». Потом громче. Внизу ещё пели. Я попробовала ручку соседнего номера – не открылась. На стук тоже никто не откликнулся. Другие открыты, застеленные кровати, кресла, картины, ничего особенного. Винтовая каменная лестница вниз, я решила обследовать всё, что успею, пока там поют. На других верандах то же самое – убранные, нежилые, но ждущие, комнаты. Некоторые двери всё же заперты. Я стучала в каждую и окликала Фриду, за одной мне послышался шум, я заколотила сильней, занавеска слегка отодвинулась, и недовольная рожа жирного кота уставилась на меня неприятными оранжевыми щёлками – чё надо? Фрида всегда любила кошек. Фридин? Он пристально смотрел на меня. Эй, ты, позови Фриду – хотелось сказать ему. Но он и без просьбы помог – прыгнул, зацепился когтями за что-то, прямо мне в лицо открылась широкая форточка, через которую просунулась рыжая полосатая башка и стала тереться о мою руку – чеши! Не время для нежностей, впихнув животное внутрь, я сама попробовала пролезть вслед, вспомнив детскую мудрость, если голова пролезла, и остальное тело пролезет, но недооценила разницу относительных анатомических размеров ребёнка и взрослой тётки... и тут кошачий лаз стал закрываться, придавив мне спину... барахтаясь и извиваясь в доступных пределах, больно безумно, боковая рама впивалась в ключицу,

нижняя давила то на грудь, то на рёбра, мне удалось пропихнуть левую кисть в комнату, но и всё, пытаясь освободиться, я застряла окончательно. Орать было бесполезно – за общим шумом кто услышит? я смирилась с судьбой и приготовилась к худшему, если Санёк или его сообщники найдут меня здесь, то ли шпионящей, то ли ворующей, спокойно могут и пришибить – кто узнает? Я так и не успела сообщить своего адреса ни Мальвине, ни детям. Эсэмэска, что долетела, и всё. Мягкое и шерстяное начало тереться о ладонь. «Котик, – сказала я нежно, – а не хочешь ли ты приоткрыть эту щель чуть пошире?» И пальцем потыкала в мягкое. Глупое животное стало урчать. Но скоро ему надоело быть приветливым, и он начал противнейше орать и царапаться, даже куснул меня. «А ну, прекрати!» – крикнула я. Мне ответил мужской голос, по-английски, с акцентом не русским, но и не американским, спросил меня, что прекратить?

«Я хотела погладить вашего котика и застряла, не могли бы вы открыть окно пошире?»

«Что вы делаете здесь?»

«Я родственница Фриды, она остановилась здесь, моя тётя. Ох, откройте, наконец, окно!»

«К сожалению, я, хе-хе, прикован, не могу встать, спасибо, что разбудили, сейчас позвоню Майде».

«Прикован? в каком смысле? Здесь приковывают людей?»

«Мы приковываем себя сами, привычками, верой, не только религиозной, просто верой! Идеями, чаще чужими».

«Вы хотите сказать?.. а кто вы? Философ?»

«Увы, нет, хотя кончил именно философское отделение. Тринити колледж, Оксфорд».

«В Штатах? Вы учились в Оксфорде?! Моя дочь...»

«В Штатах? В Шта-а-тах? Там тоже есть Оксфорд? Неужели? Нет, конечно, Оксфорд в Англии, если вы, конечно, слыхали об этом провинциальном месте».

«Мне больно так лежать, и этот мерза... кот царапает меня, помогите мне, вызовите кого-нибудь, мы можем поговорить потом».

«Милая дама, я бы рад вам помочь и, хе-хе, заодно и себе, но Майда, она должна прийти, отвезти меня на церемонию козла, видимо, не слышит или не хочет, лень подниматься, нам остаётся только развлекать друг друга, пока она не соблаговолит появиться. Без Фриды всё рассыпается, Эдвард, кроме своего горя... эти русские, простите, я не хотел, вы ведь русская?»

«Нет. Но я родилась и выросла в Москве, и мой родной, материнский то есть, язык – русский. А если нам покричать, может кто-то услышит? Мне на самом деле очень больно. А кто вас приковал? Вы знаете Фриду? Она давно больна?»

«М-м. Знал, насколько можно знать женщин, особенно такую, как Фрида. Вы действительно её племянница?»

«Действительно! Давайте позвоним кому-нибудь. У вас телефон есть?»

«В принципе есть, но я оставил его в кармане пиджака, который рассеянная девица, убирающая здесь, повесила в шкаф, не выложив то, что мне нужно – телефон, фляжку... Все, понимаете ли, спешили в храм. Теперь я жалею, что отказался. Ненавижу похороны всякого вида, но... На козла я хочу посмотреть. Если козёл талантливый, на это смотреть стоит».

«Если бы вы помогли мне выбраться, сказали, что нажать, чтобы окно открылось, если знать, я бы...»

«Я думал, хе-хе, что подвигов в этой жизни мне достаточно, ну ладно, попробую».

Последовали скрипы, звяканья, стуки, охи и стоны, как будто человек пытался разорвать цепь. Господи, как страшно – ясно, его держат прикованным, потому что он опасен, сейчас он освободится и...

«Не надо, – почти взвыла я, – я лучше потерплю, вас же накажут».

Сквозь громыхания я услышала что-то, вроде а-ха-ха, откуда-то с пола. Зачем, зачем я приехала сюда? обошлись бы на свадьбе и без меня. Я бы помнила Фриду такой, какой она была, не выжившей из ума, а на диване с моими детьми, на выставке с бокалом, в окружении друзей, улыбающейся. Ей уже не помочь, или... во что я ввязалась?! Штора, болтающаяся перед глазами, уехала в сторону, видней не стало, но стало слышней, снизу прямо под моей головой хихикнули: «Прекрасно! Вы застряли в тигровой двери, я открыть её не могу, только Тигра, на ней магнитный ошейник, мы забыли снять его, чтобы не вылезала. Сегодня ей лучше сидеть внутри». Голос был рядом, но человека я не

видела. Сумасшедший или убийца, мне уже было всё равно из-за острейшей боли в шее и судорог в ногах от нелепого положения. «А не могли бы вы... да снимите же с него ошейник и откройте им окно! Мне больно». Невидимый человек хихикнул; «Если бы я мог!» – снова кряхтение и охи, что он там делает? – «Тигра сидит рядом с вами, на подоконнике, без помощи мне не подняться, уцепиться не за что. Дотянитесь до неё сами». Моя ладонь поболталась в пустоте, кот решил, что с ним играют и запустил в неё когти. «Тига-Тига, – позвал голос, – Тигра». Нащупать ошейник не удавалось, Тигра продолжал драть меня. Он всё время извивался, проклятое животное! если дёрнуть его за хвост, оно повернётся? где твой хвост, мерзавец, смотри в какую беду я попала, зачем ты меня сюда заманил. Я почти ожидала, что оно скажет, сама залезла, мне выйти не даёшь, так тебе и надо, сиди теперь.

«Позовите кого-нибудь, Фрида! Фри-и-ида! Позовите её!»

«А! Вы тоже... Ко мне иногда приходит Дива. Когда-то я думал, что русские вашего поколения верят только в коммунизм, я и сам был тогда коммунистом, время и пара поездок в Советский Союз надолго излечили меня от веры во что либо, я думал, ваша страна переживает теперь тоже самое, но Фрида говорила, что вместо коммунизма страна пропагандирует христианство в его средневековом виде... Тигра!»

«Вы давно знаете их? Что это за гостиница? почему вас и Фриду держат взаперти?»

«Это вилла. Чекхувсмала. Тигр, Тигра! Хорошая девочка! Вот! У меня, хе-хе, её ошейник. Я брошу его в дверцу, если промахнусь, попробуйте подобрать, у вас же одна рука свободна».

Он оказался метким стрелком, меня сильно стукнуло по уху и... о, счастье! Ловушка не то чтобы открылась сама, но уже не давила на меня, так что я выползла обратно, и форточка захлопнулась, оставив моего, кем бы он вообще ни был, спасителя по другую сторону стекла. На моё во весь голос «спасибо» ответа не было. Придя в себя от боли, судорог, мурашек, я стала сожалеть, что не смогла расспросить этого странного человека о Фриде, о том, кого сегодня хоронили, что всё происходящее значит – кто такой Санёк, имеет ли он отношение к свадьбе? И вообще, что это за место? Где держат Фриду? А он сам? Почему прикован? Попробую позже найти его, а прежде я должна написать Мальвине и детям, дать адрес, предупредить... На всякий случай.

Снизу доносилось пение, через крики, общий шум, лязганье и звон посуды. Пряный запах жареного мяса перебивал все другие. Мальвинин скайп – «не в сети», отправила ей сообщение с просьбой позвонить НЕМЕДЛЕННО на виллу Чекхувсмала, написала детям – «я остановилась на вилле Чекхувсмала, встретила Фриду, нашу Фриду, внешне совсем не изменилась, буду на связи каждый день».

Снова приняла душ и переоделась в чёрное, чтобы быть менее заметной. Голова была лёгкая, все последствия вчерашнего перегрева совершенно исчезли. Звонков или сообщений от Мальвины не было. Я прилегла на кровать и попыталась понять, что происходит. Что происходит? Очевидно, я попала в какую-то грязную историю, Мальвина, выбор места для свадьбы, встреча с Саньком в аэропорту, Фрида, её болезнь, подставные похороны, это случайное совпадение? Может ли такое быть?

Пение прекратилось. Спуститься в сад оказалось глупостью – там, в тени нависающих веранд, столы ломились от разнообразных салатов, холодных закусок, которые я с трудом опознавала, туда-то все и переместились, а хуже всего, Санёк был там. И сделал вид, что страшно мне рад. Родственничек, как же! Сзади, из-за дома, явственно тянуло дымом и подгорающим мясом, барбекю.

«Не исчезай, постой здесь, на, выпей, это местная настойка, арэка, вкусная, и кумары вот эти зелёные, они самые настоящие, много их не ешь, ты как себя чувствуешь? а у меня даже чуть-чуть забалдеть не получается, я столько выпил, и хоть бы хны».

Говорил он без пауз, как и раньше, но с запинками. И трезвым вовсе не выглядел. Я попробовала этим воспользоваться, чтобы поймать его, и сказала небрежно: «Я слышала вчера Фридин голос, где её комната? Я хочу зайти к ней».

«Потом, сейчас я её запер, чтобы никто не ходил, и самому тоже, а то я все ночи сижу там, слушаю, я любил её записывать, потом поможешь мне разобраться? завтра уже, когда всё кончится? ещё ведь и козла резать не начали».

«Слушаешь Фриду? Я её вчера виде... слышала её голос. Зачем её запирать, разве она буйная?»

Он начал что-то отвечать, мяться как-то совсем невнятно, но тут вокруг заорали, заговорили, захлопали – козла привели, сказал Санёк и пошёл вперёд, волоча меня за руку. На помост в глубине двора поставили, приподняв за локти, человека в белой накидке, в шапке-маске с рогами и бородой.

Он задрал голову и закричал-запел. Я узнала – это уже раньше пели и в храме, и хор в зале, странная немелодичная песня-плач, жалоба.

«А Фрида сюда спустится?»

Санёк взял у меня из руки надкусанную кумару, сунул себе в рот, сказал невнятно – «так с непривычки бывает» или что-то такое же странное. «Что?» – не поняла я, он не ответил, и вообще было поздно что-либо спрашивать. Вокруг все заорали, молитву? песню? раскачиваясь всем телом, ритмично и как-то агрессивно, и по знаку человека в чёрной мантии, вскочившего на платформу, повторяли «Айха!» По крайней мере мне так слышалось – Айха!

Человек-козёл встал на колени, тряс головой, орал, но за общим шумом слышно не было. Санька оттянули от меня, люди начали двигаться, придвигаться к помосту, я воспользовалась моментом, протолкнулась через толпу и... Меня дёрнули за руку. Мужчина в инвалидном кресле был мне знаком. Не то что я помнила, кто он, но, несомненно, видела его где-то. «Здравствуйте», – сказала я сначала по-русски, потом по-английски. Он засмеялся и ответил – «Hello, my friend! I hope you are all right. How is your neck?» Но даже до того, как он спросил о шее, я узнала голос – человека, который вызволил меня из захлопнувшегося окна. И теперь у меня не было сомнений, я действительно где-то видела его, видела и слышала, лицо в сочетании с голосом, откуда я его знаю?

«Ну вот, пора познакомиться. Меня зовут Николас, для друзей – Ар. Вас зовут Лиз, это я знаю от Эдварда».

«Да, я Лиза. Собственно, я прилетела на свадьбу Мальвины. Вы её знаете? Мальвину?»

«Мальвину? Первый раз слышу».

«Вы здесь давно? Приехали отдыхать или живёте здесь?»

«Долгая история, так получилось».

«А вы можете рассказать немного о стране, этом городе, этой странной вилле? Что с Фридой, кто этот Санёк, откуда вы знаете их?»

«Тогда сначала послушаем козла. Он удивительно хорош сегодня. У нас ещё много времени. Козлиный плач будет продолжаться до первой звезды – по меньшей мере, час. Потом начнётся похоронная трапеза – до восхода».

«А... простите, у меня очень плохая память на лица, но я уверена, что мы где-то встречались».

«Может быть потом мы припомним, где именно. Не могли бы вы принести мне немного арэки. Да не в эту склянку, принесите стакан. Нет, лучше принесите всю бутыль с того стола. Мы оставим её здесь и будем пить понемногу, не будем, хе-хе, жадничать.

Козлиная песнь в этой стране, если можно это место назвать страной, я бы сказал, часть части света, которая сфокусировала все проблемы нашей старушки-земли, так вот, козлиная песня – это плач-восхваление, это праздник. Вот, вот, слушайте – тут ведь всё, и древний восток, и григорианские хоралы, и средневековые менестрели, вот, слушайте... Нет, я не музыкант, к сожалению, хе-хе... В этом Богом и людьми раздробленном месте, в котором есть всё для счастья и мира, океан, солнце круглый год, горы, пастбища, арэка и кумары, всё для счастья, правят обида и страх. Козлиная песнь примиряет нас со страхом, не только смерти, со страхом вообще. Нет, не поэт тоже. Слышите-слышите, то, что поют дети, они зовут к битве, к битве со страхом. Конечно, с одной стороны, это как бы, хе-хе, призыв к войне и плач по тем, кто погиб и погибнет... Я пацифист, как и Фрида, но Козлиная песнь выше войны, смерти, как и вообще, хе-хе, искусство. Замечательная арэка, её надо пить маленькими глотками, чуть смачивая рот. Во-от, правильно, именно, хе-хе, так. Жаль, вы не можете принести мою фляжку – Тигру сегодня нельзя выпускать, слишком много народа, шумно, пахнет мясом, потом будут петарды. Придётся, хе-хе, утащить всю бутыль. Назначаю вас главным контрабандистом. Вон там ещё одна, неоткрытая, давайте и её сюда, ко мне в коляску, вот-вот, под плед. Я потеснюсь, хе-хе».

Мне нравился этот старик с парализованными ногами, нет, не старик, а скорее, поживший, с глубокими морщинами и хитрыми глазами, не мутноватыми, а ярко-серыми, молодыми, где-то я встречала его раньше, но не в коляске, коляску бы я запомнила.

Хор постепенно замолкал, только человек в белом костюме и маске козла продолжал петь высоким дрожащим голосом. Завывать. Прожекторы разом погасли. Небо уже совсем потемнело. Только помост освещался. Туда впрыгнули два парня, помогли влезть мужчине в странном головном уборе, типа рыбацкой панамы-треуголки, и Саньку, дали им длинные кривые ножи – «козла резать не на-

чали», вспомнила я... неужели в самом деле будут резать? козла или человека, играющего его роль? мне стало страшно.

«Ну вот, сейчас будут резать козла» – сказал мой сосед.

«Как?! Этого человека?»

«Нет, конечно! Козла».

«Санёк?»

«Да нет, старик, ритуальный резчик».

На помост верёвками втянули настоящего козла, живого, в колпаке, закрывающем морду, с высовывающимися золотыми рогами и золотыми же копытами. Он стоял смирно, свесив голову.

«Я не хочу на это смотреть», – закричала я.

«Я тоже, давайте уедем в сад. Да отпустите же тормоза, так вам меня не сдвинуть».

Я развернула коляску и почти бегом откатила её подальше, через тоннель вьющихся растений в сад, откуда нам навстречу бежали люди смотреть, как будут резать несчастное животное.

«Какой варварский обычай! Бедный козёл!»

«Ну, их сутки кормят коноплёй, вряд ли он что-то соображает. На бойнях не в пример хуже. Вы не вегетарианка? Я вот тоже нет, хотя, побывав на бойне, с год мяса не ел».

«Не вегетарианка. Хотела бы, но не получается! А как вы попали на бойню? Часть философского образования?»

Он хмыкнул: «Это было бы неплохо, надо предложить всем будущим философам... Нет, позже, по долгу, хе-хе, службы».

«А... а Фриду вы знаете тоже по службе? Расскажите мне о ней. Мы были очень близки в детстве, она, конечно, немного старше, а потом не то что разошлись или поссорились, просто мы уехали, она осталась. Что она делает или делала здесь? И её муж, кто он? Давайте выпьем ещё немного этого коньяка, мне он понравился. Вы здесь давно? Расскажите».

«Назвать арэку коньяком! Ваше счастье, что кроме меня вас никто не слышит... В Миганомии не любят французов. Впрочем, беда Миганомов в том, что ещё больше они не любят друг друга, а больше всего себя самих. Все эти постоянные братоубийственные конфликты, ревность, нежелание и неумение признать и простить... Вся их история – это история обид и ревности внутри большой семьи. Их общий...»

«А что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? И как вы познакомились с Фридой? Вам...»

«Кто вы по профессии?»

«Я? Ну, преподаватель. Биолог».

«Это, хе-хе, хорошо».

«Почему?»

«Не психолог и не интервьюер, это было бы, хе-хе, непрофессионально. Слишком много вопросов без пауз».

«Может быть, слишком много арэки. Мне надо узнать, что с Фридой, вы обещали рассказать мне о ней и об этом месте».

«Скорей недостаточно! Как удачно, что я прихватил и эту, открытую, мой штопор остался в комнате вместе с фляжкой. Стаканов нет, придётся вам принести, можно, конечно, из бутылки, но дамы справляются с этим плохо, и захватите какой-нибудь закуски. Заодно посмотрите, что там происходит. Настоящая еда начнётся после того, как все причастятся к кровавой жертве. Мы пока посидим здесь, вон беседка, в которую я могу въехать без помощи».

Вокруг помоста толпился народ. Происходило что-то, на что я смотреть не собиралась.

Со стаканами и едой я вернулась к своему собеседнику. Он уже устроился в беседке, там было светло, такой мягкий тёплый свет, мраморный столик, мраморные диваны завалены вышитыми подушками. Моё решение принести целый поднос закусок было одобрено.

Никакого особого уменья расспрашивать не понадобилось. Прихлёбывая арэку, он начал говорить.

«Что вы хотели узнать? Почему Фрида приехала сюда? Полагаю, как все – отдохнуть, посмотреть. Насколько я знаю, свадебное путешествие. Случайно. Добрались сюда, влюбились в городок, купили виллу».

«Купили?! Фрида? У неё же никогда... Ну, здесь недорого, конечно, но такую виллу».

«Эдвард – человек, мягко говоря, не бедный».

«А кто такой Эдвард?»

«Ну, это вам лучше знать, он же говорит, вы с детства знакомы».

«Да?! Сказать по правде, я уже совершенно запуталась, не понимаю, кто? что? что происходит? похороны, свадьба. Фридин муж тоже, я его... с трудом узнаю».

«Что вы знаете о Миганомии?»

Практически ничего. Раньше изредка в новостях, но в последнее время ничего не слышала, а об именно этом городке и вообще ничего не знала. Путеводитель купила, полистала. Исторически – междоусобные конфликты, из-за чего? Ранние застройки почти полностью уничтожались землетрясениями, пожарами, войнами. Хороший ровный климат. Горы, океан, белый песок, кумары. Но это не то, что я бы хотела узнать.

«Очень мало. Хороший климат. Дёшево. А почему здесь мало туристов?»

«Мы возвращаемся к истории Миганомии. По легенде всё население произошло от человека по имени Миган и его трёх жён, поселившихся в Риове, диком тогда месте. Некоторые учёные считают, что Миган был греком, другие – египтянином, кто-то считает, что миганомы принадлежат пропавшему Израилеву колену. – (Я не была настроена на лекцию о Миганомии, но особого выхода у меня не было. Если он рассердится или обидится, расспрашивать будет некого, слушала я поначалу неохотно, но он был хороший рассказчик). – Некоторые, на основании совершенно уникальных языковых корней, атрибутируют происхождение миган более ранней цивилизации Атлантиды, Гондваны, допотопным обитателям земли, спасшимся в горах, сами же миганомы считают, что произошли из внеземной цивилизации. Вообще кому только не приписывали... Передайте-ка мне, пожалуйста, вон ту, хе-хе, плошку с соусом. Так вот, с одной стороны это их объединяет, они пришельцы, открыватели, на голом месте, из ничего, создавшие страну, культуру, у них общий прародитель, они все родственники. Но cherchez la femme! Три жены – три клана, по имени жён. Гатчане, бутаны и туринцы. Кланы, признавая свое единокровие, борются за так называемое первородство. Гранатовый соус лучше всего воон к тем кумарам. С религией тоже самое, изначально они все язычники, звездопоклонники, позже, где-то между концом ВС и самым началом АД с большим привкусом греческого многобожья. Потом внутри кланов появились христиане, иудеи, поклонники Шивы, буддисты. Миганомы, особенно гатчане – бродяги по сути, они много странствовали, обретали новые религии, привозили их с собой. Вообще для всех миганомов было характерно возвращаться домой. Ну, естественно, и привычки, и культура постепенно менялись в каждом клане по-разному. Бутаны, путешествовавшие меньше, считают себя хранителями прародительских традиций. Сами понимаете, иногда старые обиды, хе-хе, даже в одной семье, в одной семье особенно, приводят...»

«А вы, вы как попали сюда? И что здесь Фрида де...» – я прикусила язык, не больше одного вопроса at a time.

«Со мной – это скучная история, а что бы вы хотели узнать о вашей тёте? Вы с ней долго не виделись?»

«Долго, лет двадцать, около того. Внешне она совсем не изменилась».

«Серьёзно? Мне-то кажется, она довольно сильно изменилась за время болезни. Ну, конечно, подкрасили. Она была замечательной женщиной. Меня поражало, как, не поднимая голос, мягко, не суетясь, она умела организовать невероятные вещи – например, этот госпиталь. Невозможно со всех точек зрения – найти врачей, готовых работать здесь, медсестёр и монашенок, готовых ухаживать за людьми разных кланов и религий, священников. И деньги, большу́ю часть, конечно, вкладывал Эдвард, но были и другие источники, пожертвования из разных стран и, конечно, потрясающая способность Фриды привлечь организации, не особенно, хе-хе, склонные к благодеяниям, фармакологические фирмы, например. А сами пациенты – если бы ими не занимались так, как было устроено Фридой, они бы продолжали свои войны на территории больницы. Конечно, это заслуга не исключительно Фриды, но без её участия больницы бы не было. Она была мастер-майнд, катализатором. А! Зовут, слышите. Первый ритуал приобщения к плоти – это важно».

«Сырое мясо?»

«Нет, конечно, приготовили раньше, этого подадут на рассвете. Примирение жизни со смертью. Вам придётся, хе-хе, помочь мне, по гравию без помощи катиться трудно, а мой скутер слишком громоздок для садовых дорожек».

Толкая коляску, говорить невозможно, поэтому я постаралась уложить в голове, привести в какой-то порядок услышанное. Преподавательская привычка в потоке лекций, студентов делать быстрые заметки, чаще ментальные, чем записанные, прошедшего занятия, чтобы позже занести в компьютер, очень пригодилась. Хотя выпитый алкоголь и вообще все события дня осмыслению происходящего не помогали. Мой путаный пересказ частично от этого...

Так вот, помимо не очень в данный момент интересных мне фактов истории, я узнала, что Фрида действительно вышла замуж, живёт здесь и даже принимала активное участие в местной жизни, ясно, что в прошлом. И Санёк и... э, Эдвард... нет, не Эдвард, – Николас, говорят о её деятельности в прошлом времени. Значит, работать она больше не может, мне не показалось, вероятно, деменция. Фрида была жива вчера, да не вчера, сегодня! Рано утром. Я говорила с ней. Не очень толково, но она отвечала мне, узнала меня. А раньше я слышала её и Санька. Она говорила, он плакал. Так что это не Фридины похороны. Какое это имеет отношение ко мне? Загадка. Богатый Эдвард, который, оказывается, знал меня в детстве, оставался тоже загадкой. Родители Фриды умерли очень рано. Какой-то родственник со стороны отца? А-а, может быть, его жену мы и хоронили. Её тоже зовут Фрида? Нечастое имя, но в семьях так бывает. В честь, скажем, прабабушки.

Сразу, как мы въехали в достаточно освещённую часть парка, сразу к нам подбежали, перехватили ручки кресла и растащили меня и моего собеседника в разные стороны. Меня, на этот раз довольно неделикатно, вытолкнули на середину, а затем подняли на помост. Не могу сказать, что я испугалась – вероятно, арэка смягчила неожиданность.

В глубине двора, дальней его части, отгороженной яркими огнями, светящими снизу вверх, что-то происходило, оттуда вышел давешний палач с длинным ножом, за ним вынесли носилки. Козёл с золотыми рогами. Отрубленная голова покоилась на подносе и была украшена цветами и лентами. Стеклянный сосуд в форме козлиного лежащего тела был наполнен красным. Вероятно, если бы не арэка, я снова... но арэка придала осмысленность головокружению, не обморок, просто надо подержаться за что-то. Что-то – был Санёк, его плечо, я схватилась за мягкое и тёплое, он поддержал, приобнял меня, удерживая на ногах, и так мы стояли, не совсем твёрдо, но не шатаясь, не падая, пока мне в рот запихивали горячее, острое, пахнущее пряно травами и вином, мясо, давали запить из рога. «Кого всё же мы хоронили?» – спросила я его. Не расслышал? из-за шума?

Потом меня, уже нежно, спустили, под руки свели с помоста, моё место заняли другие, длинный хвост выстроился, завился вокруг, вот и мой друг Николас, интересно как... а-а, его хотели вытащить из коляски и поднять на руках, но он отказался. Санёк теперь был главный, из козлиной вазы длинной шпагой доставал куски «кровавой жертвы» и давал следующему по очереди. Я покричала ему и, несмотря на общий шум, он услышал и посмотрел вниз. Я указала на Николаса, Санёк понял, кивнул и, встав на колени, протянул шпагу с нанизанным как на шампуре мясом. «Ну вот, мы причастились к ритуалу, теперь можем вернуться в беседку», – Николас умел говорить чётко даже с набитым ртом, даже после такого количества арэки. Повинуясь его приглашающему жесту, я ухватилась, как раз вовремя, голова слегка ещё кружилась, за ручки коляски. Подальше от шума, козлиной головы, вообще от всех ритуалов. Теперь самое время было начать расспрашивать, и напрямую.

«Николас, мы остановились на... ? где сейчас может быть Фрида? Моя Фрида».

«Вопрос скорее философский, вы имеете в виду её сознание? То, что именуется душой? Вы человек верующий? Я, скорее всего, агностик. Возможно, через какое-то время я стану ярым атеистом или истово верующим, хе-хе. Мне нравится не привязывать себя к чему-то определённому, даже к сомнениям. Мы можем считать, что душа существует в виде электромагнитных или световых волн, а может быть её вообще нет... как и смерти...»

«Я не про душу, я про Фриду. У неё, конечно, Альцгеймер или что-то похожее, но она меня узнала».

«Господи, детка, что вы говорите! Фрида, ваша тётя, была очень больна, последние месяцы она жила исключительно силой воли, но голова у неё была совершенно ясной, Эдвард может подтвердить, он был с ней до последней минуты».

«Причём тут Эдвард, я не знаю никакого Эдварда».

«Но только что вы вместе, на помосте... детка, вам нехорошо? Майда говорила, что у вас вчера был солнечный удар, здесь очень коварное солнце. Похороны близкого человека – нелёгкая вещь. Может быть, вам надо полежать? Вот, выпейте немного арэки. Это замечательное лекарство один раз спасло мне жизнь. Вот, немного, маленькими глотками, и полежите. В моём теперешнем, хе-хе, положении молодым женщинам я, увы, опасности, хе-хе, не представляю».

Я благодарно откинулась на подушки, закрыв глаза. Так! Эдвард, вероятно, фамилия. Александр Эдвард, нет, никогда не слышала. Богатый Эдвард.

Николас кажется приличным человеком, но и он старается убедить меня, что хоронили близкого мне человека. Фриду. По-видимому, она сошла с ума, Санёк, муж, убивать её не стал, побоялся или пожалел, просто объявил, что она умерла, и с почестями похоронил какую-то случайную старуху. Чтобы освободиться. Что-то примерно такое я в детстве читала, какой-то английский роман. Почему он плачет, почему он так хотел, чтобы я присутствовала при всем этом представлении, пока не ясно, но надо узнать. Может быть, даже сама Фрида сможет мне что-то объяснить. Может, она хоть что-то помнит. А пока я должна делать вид, что верю спектаклю! Мальвина тоже, она, скорей всего, в нём участвует, почему-то важно было зазвать меня сюда, сделать свидетельницей «похорон» Фриды. Мальвина... Нельзя заснуть, надо попытаться всё выяснить.

«Ох, простите, я почти заснула. Да, Александр Эдвард. Я привыкла звать его по-другому».

«Конечно! Санок. Так звала его Фрида».

«Да-да. Да! Я так давно их обоих не видела».

«Я понимаю. Как вы себя чувствуете? Не пора ли нам выпить немного арэки и присоединиться к остальным?»

«Давайте посидим немного здесь. Я ещё не готова снова стоять в толпе. Как много народа, здесь всегда так? Что подразумевает козлиная церемония? Приношение жертвы кому? Ох, я не должна задавать больше одного вопроса!»

«Хе-хе, вы способная ученица. Ну что ж, у нас ещё есть время. Вы читали Жирара Рене *The Scapegoat*?»

Он рассказывал, способная ученица кивала, но на самом деле в голове не осталось ничего, только сплошное недоумение, крутились те же вопросы – что происходит? кто этот человек? где Мальвина? почему фальсифицировали похороны Фриды? где она сейчас? а её муж Санёк? кто он? Как он смог узнать меня, не зная меня? От Мальвины, конечно, он мог получить фотографию и дату прилёта. Хотя... Мальвина не знала, что я собиралась прилететь именно вчера, никто не знал, кроме детей. Могла узнать от них, когда именно я прилетаю. Иначе как бы... Почему именно моё присутствие было настолько важно? узнали, когда я прилетаю, отменили такси, устроили целый спектакль, ах, случайная встреча! Мальвина, несомненно, замешена. И вдруг до меня дошло – Фрида получила наследство. Мама говорила, что у них был богатый родственник, ювелир, у которого после революции жену и дочку убили то ли махновцы, то ли белые, то ли красные – искали бриллианты. Он уехал в Южную Африку, стал миллионером или миллиардером. По семейному преданию, он завещал деньги своей сестре, бабушке Фриды и моей мамы. Прабабушка не могла их получить, боялась даже заикнуться об этом, и они пропали. Вероятно, деньги лежали где-то в банке, сейчас, после перестройки, нашли наследников. Фрида получила свою долю, и Санёк на ней женился. Ради денег. И на эти деньги куплены замок и больница, местные люди заинтересованы – у них появилась работа или они просто за деньги принимают участие в таком безумном представлении, подкуплены. А я ведь тоже теперь, после маминой смерти, прямая наследница. И родственница. Значит Фрида собиралась всё мне оставить. Санёк об этом узнал и... её сначала свели с ума, потом положили в больницу и там отравили. Хотя... что со мной!? Фрида же жива, кажется, я тоже схожу с ума. В самом деле, начинается. Меня тоже положат в больницу и... И ни одна душа не узнает...

Мой собеседник сделал последний глоток, жестом показал – допивай и пойдём.

Стоит поделиться с ним моими дедуктивными выводами? Надеюсь, он всё-таки не участвует в заговоре российской мафии и искренне верит, что Фрида умерла. Нужно рассказать ему о моих подозрениях так, чтобы он серьёзно отнесётся к этому.

«Послушайте, – осторожно сказала я, – прежде чем мы вернёмся, я бы хотела спросить вас, что вы думаете о Саньке, Эдварде?»

«Пока не знаю, боюсь, что он сломался, не просто горюет, а сломался. Когда узнал о болезни Фриды. Она, как могла, пыталась поддержать его, думала о нём больше, чем о себе. Я на своём веку восхищался, не влюблён, влюблён я был во многих, а восхищался, двумя женщинами, Фрида одна из них. Может быть, позже я расскажу вам о другой».

«А не могли бы вы рассказать о Фриде? Может быть, вы знаете, когда она получила наследство, до или после замужества?»

«Понятия не имею, она никогда не рассказывала мне о наследстве, насколько я знаю, все деньги принадлежат Эдварду, он был крупным бизнесменом, новый русский, так их у вас называют?».

«А, а вы... Когда вы последний раз видели Фриду?»

«Весной её выписали по её настоянию, хотя все уже знали...»

«И вы говорили с ней?»

«Да, конечно. Она каждый день сидела здесь в парке, с Эдвардом или с медсестрой, потом внезапно ей стало хуже... недели три назад... она ещё некоторое время боролась, сопротивлялась... Пока снова кровотечение... Эдвард не вылезал из больницы, а когда...»

«На каком языке она говорила?»

«Со мной на английском, конечно. Её коммон, коммон официальный язык Миганомии, был совсем неплох, лучше моего, я предпочитаю тюрин, местные говорят на тюрине, тут помимо коммон ещё три языка, собственно диалекта, три диалекта, корневая структура...»

«Фрида хорошо говорит по-английски, она кончила факультет английской литературы, она и меня учила, ещё ребёнком».

«Эдвард тоже у неё учился».

«Английскому? они между собой говорят по-английски? Мне показалось, что Фрида забывает русский».

Я сознательно употребляла настоящее время – удивится или нет, но Николас не замечал.

«Фрида жива, этой ночью я видела её своими собственными глазами! она меня узнала, мы говорили. Я говорила с Фридой на веранде, потом я уронила кувшин, и она убежала, испугалась».

Он хмыкнул и насколько позволило кресло повернулся и посмотрел на меня, отвёл взгляд на что-то сбоку, поверх моей головы. Предупреждает??? Нас подслушивают???

«Да, для вас это неожиданность, конечно. И вчерашний... Когда приезжает ваша подруга?»

«Я уже не знаю, можно ли ей доверять. Она меня заманила сюда, то есть я приехала к ней на свадьбу, она решила праздновать здесь, я приехала на несколько дней раньше, просто отдохнуть. Никому, даже Мальвине, не сказала, но она могла узнать, когда именно. Я заказала отель и такси по интернету, а встретил меня Эдвард. Тут конечно много странного, я уже не понимаю, кому теперь могу доверять. И вилла эта такая... такое странное место, и похороны неизвестно кого».

Его лицо, несмотря на морщины, живое и... выразительное – выражало некоторое недоумение-растерянность. И снова стало удивительно знакомым. Где-то из прошлой жизни? Знает Фриду. Значит, из московской. У неё были знакомые иностранцы. Знает русский? Почему не признаётся? Он отвёл взгляд. Боится, что узнала?

«Давайте вернёмся к празднующим».

«ОК», – сказала я неохотно.

Остаток ночи прошёл совершенно уж сумбурно, несколько раз я пыталась ускользнуть, поискать Фриду и посмотреть почту на компе, но меня останавливали, обнимали, тёрлись щеками и вовлекали во всеобщее безумие – очередное хоровое пение (дали ноты и английские слова), очередной раунд еды или питья, незамеченной сбежать мне не удавалось. Крепкие, однако. В Бостоне все бы давно разбежались, а в России валялись бы, где попало.

Очевидно, за мной следили, хотя и неявно. Санёк несколько раз пробивался ко мне, но и его сразу утаскивали, видно боялись, что напившись, а он был явно нетрезв, проговорится... О чём-то, чего мне знать не положено. Но я уже и сама вычислила. Всё-таки университетское образование предполагает логическое мышление и решение задач не только академических, но и детективных... дедук-

тивный подход, да, да! Именно. Маленькие серые клеточки. Очень всё логично складывалось, Фриду свели с ума, меня заманили и либо просто убьют, либо тоже сведут с ума. К собственному удивлению, страшно не было, а скорее, наоборот, радостно от того, что такое хитроумное построение, такую ловушку разгадала. Надо поскорее убираться отсюда и Фриду забрать. Я собралась поделиться результатами своих выводов с Николасом, пусть знает, что я не дура, нашла его, он кокетничал с девицей в длинном, как на фотографиях в путеводителе, расшитом платье.

Вокруг толпа незаметно превратилась из однородно чёрной в пёструю, по-видимому, представление кончилось, больше траур изображать не надо, многие переоделись.

Значит, нужно срочно покидать вещи в чемодан, найти Фриду, найду, даже если придётся звать во весь голос, заставлю Майду или кого-нибудь показать её комнату. Теперь уже всё равно, мы уезжаем. Потребую вызвать такси. Именно сейчас, пока все ещё продолжают пьянствовать. В Америку ей без визы нельзя, но в Израиль, наверное, можно. Нужен паспорт. Какой у неё паспорт? И как его найти?

В коридоре, прислонившись спиной к моей двери, свесив голову, спал Санёк. Церемонится было некогда, и Санёк завалился набок, совершенно забаррикадировав вход.

– А ну, проснись, – я снова начала трясти его.

Не открывая глаз, он бормотал – «сейчас, Фрида, сейчас, пусти, я ключ потерял, мамка убьёт».

– Какая мамка, кто убьёт, кого? Да проснись же ты, мне тебя не сдвинуть.

Просить кого-нибудь помочь, пока я не уложила вещи, не написала подробное письмо детям, где я, что с Фридой, как нас искать на случай, если завтра не смогу позвонить, если... если что-то случится, просить помочь я боялась.

– Где Фрида? Куда ты её спрятал?

– Фрида, пусти меня, это я, Эдик, не прогоняй меня, пусти.

Эдик, Эдвард, ключ, мамка. Упс! Я, кажется, поняла, кто он. В коммунальной квартире, в которой Фрида жила, давно, ещё до расселения, был мальчишка Эдик, младше меня. Круглое, вечно заплаканное лицо. Ключ на верёвочке вокруг шеи. Мать сутками работала и, кажется, пила. Фрида его подкармливала, помогала делать уроки и – точно! –учила английскому. И к нам иногда приводила. Вот откуда он меня знает. Ну да, он даже приходил на нашу отвальную. Был уже довольно красивым высоким парнем с девчачьим лицом. Хорошо же он отплатил Фриде. Женился из корысти, свёл с ума, объявил умершей. Эдик Саньков. Точно, мать так и звала его – Саньков, а Фрида – Санёк.

Я потыкала его острым носком туфли в бок, испугав меня, он резко сел, огляделся. Я на всякий случай отошла подальше, к лифту.

– Ох, что мне снилось, прямо как... – он улыбнулся, потом слёзы опять потекли.

– Ты – Эдик. Можешь не притворяться. Я видела Фриду, разговаривала с ней. Она вполне разумно отвечает, она сказала, что поедет со мной. Где её паспорт?

Он кивал, продолжая заливаться слезами и улыбаться вполне бессмысленно.

– Квартира на Покровке, я забыл её совсем, а тут... ну, как живая, входная дверь изодранная, я резал, когда мать любовника привела, и сам хотел зарезаться, Фрида нож отняла и налупила, стою я под этой дверью и прошу Фриду открыть, а она со мной разговаривает с той стороны.

– Где её паспорт?

– Русский? Вроде там, в её кабинете, – он ткнул в закрытую дверь рядом с моей, я туда ломилась раньше, – я ещё не разбирал ничего, поможешь мне потом?

– Завтра. Иди спать. Внизу скоро разойдутся. Где твоя комната? Проводить?

Он помотал головой и, придерживаясь за стенку, пошёл к лифту.

Теперь надо спешить! За распахнутой дверью веранды кто-то разговаривал. Я слегка раздвинула шторы – Фрида сидела в кресле, в той же позе, что и вчера. Напротив неё... напротив неё сидела моя мама, в своём любимом синем платье в мелкий жёлтый цветочек, крепдешиновое, купленное при жизни отца, оно порвалось ещё до нашего отъезда.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ЭТО БЫЛИ ТОРПЕДЫ ДОБРА

Стихи из книги

***

Мама моет раму, моет, намывает,
И стекло всё чище и прозрачней, тоньше,
А за ним, как в дымке, местность нулевая
С клочьями обертки, упаковки той же.

Не рабы, не рыбы, разве египтолог
Разберет, о чем там наследили птицы.
И как прежде труден путь и очень долог,
Чтоб домой с картошкой Элли возвратиться.

Потому что блазнит и не отпускает,
Кутает в тумане, словно в новой шубке,
Прожитая вечность, музыка морская,
Голос ей знакомый, ласковый и жуткий.

***

Телефонная барышня вместе с тургеневской девушкой,
На опарыша ловят они и на кембрик
Судаков безголосых и жирных копченых лещей
К пиву зимней реки, что в граненом стекле ледяном
Пробку вытолкнуть тщетно пытается, пеной исходит.

И дружинники парами ходят, и за руки держатся,
Где темно, как в чулане Мальвины, пока не сбежишь
На большой перемене от учителей дорогих.
Во дворе ни травы, и последнее дерево срублено,
Чтобы стать на минуточку центром былого туризма.

Артемоны бродячие гавкают, лисы с котами шипят,
Хромоногие, подслеповатые горе-калеки,
В девяностые поле чудес раскопавшие, только тю-тю
Те копеечки – все их сожрал автомат беспонтовый,
А как верили, что им ответят отцы из Кремля.

Алексей Александров родился в 1968 году в городе Александров Владимирской области. Закончил Саратовский университет, работает инженером-конструктором. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Дети Ра», «Новый берег», «Урал», «Новая реальность», «Белый ворон», «Крещатик», «Зинзивер», альманахах «Тритон» и «Улов», антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому», в сетевых журналах «TextOnly», «Цирк "Олимп"+TV» и др. Книга стихов «Не покидая своих мультфильмов» (New York: Ailuros Publishing, 2013).

***

Спонсор нашего показа
Был инспектором горгаза,
А вчера уехал цирк –
Кран открыл и спичкой чирк.

Чтоб плясало, как во храме,
Очистительное пламя,
Чтобы полз по бахроме
Сон в хитиновой броне.

Ангел ловит мух на завтрак,
Всё забыв из-за азарта,
Самовольно бросив пост
У одной из ярких звезд.

И теперь инспектор бывший
Ей в лицо здоровьем пышет,
Пишет праздничный отчет
И с небес дождем течет.

То, что нас не убивает,
Потихоньку убывает,
Словно вереница дней,
Нас не делая сильней,

Но быстрей, хитрее, громче –
Говорит великий кормчий, –
Слышишь звон, а дыма нет?
Это таяние монет.

***

Всесоюзная перепись поэтов –
Стучат в дверь, задают вопросы,
Строго спрашивают: почему
Не печатаетесь в периодике и толстых журналах?

Бессмысленно бормотать в ответ
О творческом кризисе и неформате,
Золотым пером заносят в списки,
Облагают налогом за безыдейность.

А у тебя кончились февраль и чернила,
Мартовский заяц ободрал кору,
На вербе вылупились цыплята
И гоняются за гадким туалетным утенком.

Некогда в секретном погребе
Доедать последние банки солений,
Сквозь стены проходит их аполлон
И, ужасно фальшивя, играет на лире.

Притворись дворником, брадобреем,
Пожарным с эрегированным брандспойтом,
Ставь крестик вместо подписи,
Выдумай язык и молчи на нем.

***

И ставит, и ставит им градусники.
Но надолго их не хватает,
Ртуть сворачивается в серебристый клубок,
Смешивается с кровью.

Терминатор выходит сквозь прутья клетки,
Словно воздух из негерметичных небес,
Насвистывая оду «к радости».
Не в моем, сука, темпе –

Говорят из фильма про разрешенных барабанщиков,
Их судьба волнует не всех –
Опаздывать к занавесу, громыхающему как поезд.

Всех их надо лечить касторкой,
Думает бармалей-педофил,
К единственной маме на свете плывя на плоту,
Той, что с мечом стоит сквозь бури и ветер.

***

Трудно быть богом, молодым,
Девушкой, гамлетом или не быть
Патриотом своей страны,
Когда это все падает с неба.

А нужно только иногда подпрыгивать,
За такую зарплату, еще бы.
Не кусать руку кормящего,
А зализывать раны и улыбаться.

Легко на сердце, на первом канале,
Где гондольеры продают серенады,
Зачерпывая длинными ложками
Со дна самую гущу жизни.

А кто не скачет, тот не в пальто
Стоит на автобусной остановке,
Вглядываясь в темноту, откуда
Рейсовый харон на своей гулянке

Плывет и поет о черных глазах.
Или это радио «шансон» у него
Орет, пока он отрывает билетики,
Объявляя гражданам пассажирам?

***

После смерти все коты
Попадают в Простоквашино,
Пьют там сладкое парное молоко
И едят правильные бутерброды.

Не выписывают никаких журналов,
Даже Новый мир и Волгу,
Терпеливо учат говорить
Птицу-медиума, чтобы не дай бог

Не прокрались в этот рай
Пронырливые почтальоны
С толстой сумкой, доверху набитой
Извещениями и счетами.

***

Плывут в тоске необъяснимой
Некосмонавты в пыльных шлемах,
Пока с орбиты их не снимут,
Как хулиганов несмышленых,

Как неуклюжих водолазов
С вокруг обвитой пуповиной,
Когда уже закрылся винный
И вслух молчит один философ.

Аскет лежит на голых досках,
Как на единственной гражданской,
Дымя последней папироской,
По геометрии натаскан.

Качнется влево или вправо,
Но что изменится? Как будто
Решился перерезать провод
И ждешь всемирного капута.

***

Погода шепчет: укради
В гостях серебряную ложечку.
В кустах сидит слепой радист
И расчехляет свой баян.

И соловей свистит о том же,
Его поставили на стреме,
Пока по всем каналам дождь
И благодатная Мария,

Пока охрипшая река,
Покашливая под мостом,
Тебе протягивает чашу
Необжигающего света,

Чтоб не закрыл ее инспектор
На новый свадебный замок,
Где тысячи других ржавеют,
Но тьме грядущей не сдаются.

***

Это были торпеды добра,
Зашифрованное послание коринфянам,
Но с тех пор многое изменилось.

Северная Карелия братается с Южной,
Сверяясь по новому глобусу,
Где проходят границы познания.

Мир – это не станция в небесах,
Там встречают души умерших
Ангелы в скафандрах,

Это город Наоборот,
В котором живут звери,
Диктующие стихи, но вместо слов

У них получаются облака и ветер.

Сергей БОРОВИКОВ

ПРО ВИНО

Посвящается Стасику, Лёньке, Сливе, Валере, Сашке, Тане, Вадиму, Жене, Роману, Алле, Вите, другому Сашке, Ленке, Кирке и еще многим, павшим в неравной борьбе с алкоголем.

За окном дождь, которого не было всё прошедшее губительное лето и весь сентябрь, и первую неделю октября, с непрерывным зноем, лесными пожарами и той тоской, что охватывает меня при неподвижном безоблачном небе, которого всегда желают пошляки-ораторы своей глупой аудитории.

Волга ходит тяжелыми длинными волнами, сгоняя с себя наползшую мглу.

Рядом с моим стулом в кресле спит Степан, мой кот, по удаленному телевизору играют Листа.

Хорошо.

А я пишу книгу о водке.

12 октября 2010 года

Минуло семь с половиной лет. Степана давно нет в живых. За моим окном не Волга, а отцветшие яблони, вишни, цветущая сирень. Живу я теперь не в городе, не в квартире, а в доме в двух километрах от села Багаевка, некогда знаменитого сортом яблок «мальт багаевский».

Хорошо.

А я продолжаю винную книгу, которую начал в 2001 году, несколько раз останавливался, спустя годы возвращался к тексту, опять бросал, и вот вновь продолжаю.

21 мая 2018 года

1

Начать бы надо с первой рюмки, но начну с предварений.

Сперва сумбурно.

Водка – тема тем в русской литературе, это ясно, ибо она тема тем в русской жизни.

И все мало, сколько ни писали.

Дополняли, поправляли, углубляли, доказывали, восхищались, пугали, опровергали: резкие два полюса и мало чего между ними.

Полюса:

1. Водка-водочка-водчонка-водчушка, юмор и теплота, принеси-ка мне, братец, друзья мои, прекрасен наш союз, поросеночек под хреном, водка-селедка, эх, я нынче чтой-то стал нестойкай, и опять юмор и радость.

2. Зеленый змий, беляк, чертей ловил, из петли вынули, зарезал муж жену и брат брата, политура и одеколон, дебильные дети, порушенная экономика, и вообще ужас и горе.

Выбираю золотую середину.

Раздумывал, какие из моих многочисленных выпивок следует припомнить. Но подумал, что для читателя череда попоечных историй и эпизодов может оказаться утомительной. Решил по своему обыкновению мешать жанры, чередовать воспоминания с размышлениями, жизнь с искусством, правду с выдумкой.

2

Впервые я попробовал вино лет пяти от роду. Помню очаровательную горячую сладость во рту и натекший вскоре в комнату приятный туман, сквозь который я видел ёлку, слабо поблескивающую своими украшениями, и мою будущую золовку Нину Спирину. Если мне было пять, ей должно было быть около восемнадцати, и это она налила мне вина. Что было потом, я не помню, но знаю по рассказу брата, который, воротившись после кратковременной отлучки, за которую его невеста успела

меня напоить, и крепко напугавшись, уложил меня спать, дабы родители не поняли, что ему нельзя доверять младшего брата.

Брат умер в возрасте 53 лет в 1988 году. Стало быть, от моей первой выпивки до той минуты, когда я поднялся с рюмкой на его поминках в малом зале ресторана «Волга», прошло примерно 35 лет.

Второй случай винопития помню хорошо. То было на дне рождения у соседской девочки, мы с ней были лет семи. Ярче всего запечатлелось закатное солнце в окне, золотое, и вино в рюмке, золотое. Мягкая теплота от того и другого. И еще возмущение пришедшего за мной отца, выговорившего родителям Нины Башариной, что дали детям вина. Здесь пикантно будет сообщить, что Нина и ее родители были татарами, то есть мусульманами, и что именно с ней и Машкой Тимофеевой вечерними сумерками я познавал азы женской анатомии.

Помню и третий. И опять с возмущением родителей моих, но уже не в гостях, а по возвращении домой. Был день рождения одноклассника, на много последующих школьных лет ставшего моим главным другом. И там нам наливали сладкое теплое вино.

Далее столь четких воспоминаний у меня не сохранилось. Помню лишь, как иногда вино пробовал в гостях у Спириных, но дома никогда.

У нас крайне редко бывали гости. Совсем редко. По большой необходимости. Как на новой квартире в день рождения отца 19 августа 1961 года, с арбузами, помидорами. Было мне 14 лет, и когда родители отправились провожать гостей, я в скоростном режиме допил, что оставалось на столе. Но погубило меня не это, а то, что кто-то забыл тоненькие папироски-гвоздики, и я столь же быстро закурил. К тому времени я уже не раз баловался табаком, но тут двойной удар мгновенно бросил к окну, из которого с четвертого этажа я благополучно блюнул вниз.

Но все это цветики по сравнению с тем, что было 6 июня 1963 года.

3

В тот день исполнялось 16 лет нашей однокласснице Таньке Личман.

Мы тогда начинали иногда выпивать, и уж ладно бы, но Илья, бывший среди нас воистину плохим мальчиком, вертел в голове уже и другое.

А именно: он баловался таблетками. Собственно, началось с того, что общаясь со шпаною, он зачем-то похвастал им розовым рецептом на наркотики. Мать его работала в больнице.

Наркотики в те годы были вовсе не так распространены, как сейчас. Близко к этому не было. Я даже не могу припомнить, насколько в ходу было само слово. Кажется, лишь там, где обличались пороки буржуазного общества.

Соответственно, наркотические средства были доступны. Помню, что долгое время главным лекарством от кашля был кодеин, запрет на который очень всех удивил. Во всяком случае, у Илюшкиной матери розовые бланки валялись среди всяких квитанций и др. мусорных бумажек. Не было и интереса к наркотикам, за исключением, пожалуй, дури, или по-другому анаши. Слова марихуана тогда еще не слышали. Дурь можно было купить на рынках у азиатских людей. Такой зеленоватый липковатый комочек, завернутый в бумажку. Ребята говорили, что после курения дури нападает неудержимый смех. Я несколько раз курил анашу, набивая косячок. Надо было разъять папиросу, осторожно прикусив краешек бумажной гильзы, стащить её. Табак высыпался на ладонь и смешивался с анашою. Затем, уже чуть послюненными для притирки пальцами, гильза восстанавливалась, и в пустую её часть с нежной курительной бумагою с ладони осторожно всыпалась смесь. Могло возникнуть осложнение с тем, что при движении гильзы разымались внутри ее бумажные зубчики, которые удерживали табак от того, чтобы он высыпался вовнутрь. Тогда надо было засунуть туда небольшой кусочек бумаги.

Курить анашу требовалось не так, как табак, но часто и глубоко затягиваясь и задерживая выдох, давая дыму постоять в легких.

У меня никаких реакций кроме противного перечного вкуса во рту эти опыты не вызвали, и я их прекратил.

Возвращаюсь к роковому дню 6 июня 1963 года.

Ещё по дороге Илюшка предложил мне таблетку барбамила, чтобы заранее задуриться.

Вина на столе было немного. И Танькина мать Вера Алексеевна выставила его символически, и у гостей, а было нас человек десять, денег не было, принесли две бутылки водки и четыре «вермута

розового». Самый жуткий, не розовый, а зелёный, как абсент на картине Пикассо, и самый доступный тогда вермут был производства Ртищевского райпищекомбината.

Происходящее помню плохо, так как вскоре мой дружок за недостатком вина предложил менять его на таблетки, кажется, две таблетки на полстакана вермута.

Совсем в тумане то, как Вера Алексеевна тащила меня домой.

Утром мама пыталась меня разбудить, надо было отправляться на завод.

Почему на завод, а не в школу?

Среди множества хрущёвских затей было и введение производственного обучения в десятилетке, для чего её превратили в одиннадцатилетку, и мы в неделю два дня проводили не в школе, а на заводе «Сардизель», выпускавшем передвижные электростанции на колёсном ходу.

Вот мои дневниковые записи сентября 1962 года.

«Пишу на литературе. Только что вызывали. Что пост. не знаю. Работал на заводе. Я в самом большом цехе – механическом. Поставили к молоденькому парнишке. Зовут Петро. Работал сам 2 раза. Делаем клапаны, он делает 2 операции. И я тоже на первой сдал штук 15, на второй 10, ничего. В брак ничего не пошло. После работы зашел в электроцех. Вот где жизнь. Тихо. Сидят, курят, вертят какие-то винтики. А мне не то что покурить, а сидеть негде, да и некогда. Кругом все грохочет. Все трясётся. Я обязательно переведусь в электромонтажники во что бы то ни стало. Я буду делать одно и то же. А они всё время меняются. Договорился с f, он сегодня придёт в школу. Ну, пока всё».

Дело в том, что после 8-го нашу компанию развели в 9-х по разным классам, и мои друзья Илюшка и Витька остались в «А», а я попал в «Б». Но «ашников» готовили в электромонтажники, а «бэшников» в токаря. Я хотел убить двух зайцев: на заводе поменять профессию, а в школе вернуться в родимый «А». Буквой f я обозначал отца, по-английски.

Конечно, на заводе было куда веселее… но я отвлекаюсь. Словом, в то утро мать не смогла меня разбудить. Это было тем удивительнее, что я всегда, с самого раннего детства легко просыпался и вставал.

Не смогла разбудить и днём, и только поздним вечером я очнулся.

Последовал допрос. Я раскололся. С Илюшкой было запрещено дружить.

В заключение расскажу, как его жизнь всё-таки осложнили наркотики. Та его знакомая шпана скоро распространила информацию об удивительном еврейском мальчике, который запросто добывает рецепты на наркотики. Кто ещё там, забыл, но точно помню долгоиграющую историю с уголовником по кличке Кот, по имени Вася Крюков. Он жил напротив школы, и когда урок был биологии или черчения – на первом этаже, то бывало в открытое окно раздавалось:

– Илья, выдь сюда сейчас, блядь!

Класс смотрел на Илюшку, преподаватель биологии (чертилка не обращала внимания), после повторного приглашения подходила к окну.

– А ещё военный, – корила она, – и так выражаетесь!

Кот отвечал ей всякими словами. Никаким военным он, конечно, не был, но летом одевался так: армейская рубашка поверх галифе, обнажавших босые ступни в расшитых тапочках, на голове яркая тюбетейка.

Как-то я присутствовал при том, как Вася с помощью Илюши кололся. Сперва мы отправились в старинную в дореволюционных высоких шкафах аптеку на Большой Горной, где мы (Вася остался на улице) купили зелье. Затем Кот в своей комнате коммуналки зажёг спиртовку, налил коричневую жидкость в столовую ложку, нагрел, вытянул содержимое сквозь ватку в шприц. Кололся в вену у локтя, Илья держал жгут.

А потом Илюша неожиданно исчез, перестал ходить в школу. Мать сказала, что он всю четверть будет учиться и лечиться в т.н. «лесной школе». Спустя время мы узнали, что Петрусенко где-то скрывался от разыскивавших его уголовников, поскольку перестал добывать для них розовые рецепты, которые домой мать больше не приносила.

Самое интересное, что Кот и спустя много лет не отстал от Илюшки, который давно уже работал в Первой советской больнице, был женат и раз, и два, родил детей. У Кота появился крайне неприятный спутник – Вовка Алякин, с которым мы учились, пока его не исключили, в одном классе. Ещё в юном возрасте Алякину на роду (и на лице) было написано стать мелким уголовником.

Как-то мне в редакции сказали, что кто-то просит меня выйти. Когда я вышел на Набережную, Кот и Алякин, сидя на постаменте памятника Федину, закричали хором: «Вот он, вот он, наш редактор!» От меня-то им ничего было не надо, просто Илюша зачем-то сообщил про моё место работы, и они развлекались. Если Алякин был просто мразь, то Кот конечно артист. Илюшка рассказывал о его появлении в полной казачьей форме, с шашкой и нагайкой, с рассказами об участии в какой-то боевой кампании. Другой раз среди ночи, сидя дома с книгой у лампы, он услышал за окном голоса: «Дома? – Нет его, темно. – Смотри, в библиотеке свет горит...» Чтобы оценить чувство юмора говоривших, надо знать, что Илюша жил в маленьком одноэтажном доме в глубине старого саратовского двора.

Вот на какие воспоминания навёл меня день 6 июня 1963 года.

4

Я не помню, когда возникло у меня именно это сочетание: *русский алкоголь*. Куда естественнее было бы определить тему как русские И алкоголь. Но в таком виде она предстаёт словно бы состоящей из двух частей, не соединяемых, но разделяемых соединительным союзом «и». То есть алкоголь и некая общность, условно называемая русские, и между ними существуют некие отношения.

Вопрос стоит иначе, но прежде о моем понимании понятия *русский,* ибо без уточнения понятия могут возникнуть всевозможные искажения смысла сказанного. Так, я полагаю, что собственно русской нации в этническом плане нет и не было, слишком велики различия людей, называющихся русскими. Зачастую больше, чем с близлежащими этносами. Так, например, живущие веками рядом русские и некогда крещенная ими мордва по внешнему облику, обычаям, менталитету, в конце концов, имеют между собою куда более общего, чем русские же обитатели, скажем, Ставрополья с их полукавказскими полуказацкими нравами и южной внешностью имеют общего с угрюмовато-сдержанным светлоглазым типом северян, скажем, архангелогородцев, которым в свою очередь куда ближе южных как бы единокровцев какие-нибудь соседи вепсы. Это первое.

А второе то, что несмотря на иронию, с которой встречалось определение «советский народ», таковой народ во многом существовал в реальности. Сплав национальностей происходил, разумеется, с неравной интенсивностью, и, скажем, новоприобретенные прибалты всегда были наособицу, чужаками, а кавказцы или казахи были близки населению России, которое, кстати, куда больше размывалось, чем даже русифицированные, прекрасно владеющие русским языком и порядками грузины или азербайджанцы. В том сказалось занимавшее всегда русские умы сочетание тяги к коллективному и стремления до самоотверженности опереться на свои силы, с полным безволием в иных отношениях; в этом русском характере ксенофобия причудливо сочетается с снисходительной симпатией к чужакам, даже и в тех случаях, когда чужак засовывает ему руку в карман. Впрочем, бездонно глубокая тема национального увлекает нас от непосредственного предмета разговора. Итак, годы Советской власти были годами ещё большего, с одной стороны, размывания и без того условного понятия русский с одновременным влиянием русского уже в значении российского на большую часть населения СССР.

Итак, говоря о человеке второй половины XX века, можно определять его как новую, полусоциально-полуэтнически сформированную общность, населяющую Россию под определением условно «советский», или нынче более корректное, но нарочито-ельцинское «россияне». Отчего же тогда автор предпочитает придерживаться определения «русский»?

Просто-напросто и во всем мире, и у нас самих бытование понятия «русский» носит обобщающе практический характер, не имеющий сколько-нибудь оценочного облика. Последнее утверждение не приложимо к националистам, строящим свои социальные, политические и проч. программы исходя из чисто этнических принципов. Но поскольку автор к таковым не относится, он будет в книге употреблять понятие «русский» именно в том значении, в каком он понимается абсолютным большинством жителей России, в самом что ни на есть житейском, если угодно обывательском смысле.

5

Что ж, пора вернуться к собственному опыту.

Сначала я хотел в этом тексте следовать хронологии, но понял, что это будет непродуктивно: ну, ставлю я перед своей памятью задачу вспомнить, что, где, как и с кем я пил с 18-ти годов до 25, потом до 40, потом до 60... К тому же я не уверен, что припомнится самое важное, да и насиловать съёжившийся мозг не стоит.

Положусь, как во всю жизнь, на случай, а писать буду вовсе не только о бывшем за столом и за углом, а и о воображаемом, и всякие мыслишки, а также примеры из литературы, кино и живописи. Но всё же главная задача – это привести в доступную мне и интересную читателю систему.

Вот сейчас вспоминал о давно меня занимавшей классификации пьющих, которую я набросал ещё в 80-х в неоконченном романе «Крюк»[1] и сейчас себя тридцатилетней давности процитирую:

«Примерно на третьем-четвёртом году употребления алкоголя люди расслаиваются (это лишь один вид градации, есть и не один другой) на так называемых умеющих пить и не умеющих пить. Существуют, правда, и вовсе непьющие, но они не представляют собою интереса, по крайней мере, для автора. Так вот, к не умеющим пить относят людей, которые, попав в условия, сопровождаемые алкоголем (дни рождения, праздники, свадьбы), начинают поглощать имеющиеся напитки. Ограничителями здесь могут служить прежде всего их количество, менее – качество, общество в целом и соседи по столу, супруга, возраст, состояние здоровья, отчасти уровень интеллекта и социальное положение. С поправками, но, в общем-то, однотипно, не умеющие пить люди проходят положенные этапы:

– оживлённая беседа;

– внезапное ощущение себя незаурядной личностью;

– столь же внезапное похорошение особ женского пола за столом;

– обострившаяся неприязнь к жене;

– потребность в танцах и иных физических упражнениях;

– выявление среди гостей (пока визуально) людей неприятных и явно на празднике лишних;

– всё более неодолимое влечение к приятным женщинам и неприятным гостям с различными, правда, намерениями;

– растущее сопротивление окончательно омерзевшей супруги;

и, наконец:

– активные действия или, как вариант,

– лёгкое покалывание за ушами, похолодение кончика носа и пальцев конечностей, следующая за этим не всегда контролируемая потребность избавиться от содержимого желудка.

И т.п.

Словом, не умеющие пить люди блюют, дерутся, бьют жён, кричат, поют песни, пристают к прохожим и, наконец, засыпают мёртвым сном до следующего праздника.

Не то умеющие пить – зависть жён не умеющих пить. Это они способны весь вечер очаровательно ухаживать за дамами, поддерживать – да что там – заводить самые блестящие беседы, танцевать без пошлостей, и притом не только не проносить мимо рта, но даже сверх того опрокидывать рюмашку по мере собственной потребности, а не произносимых тостов.

Когда вы видите в тёмной прибазарной щели личность с жёлтыми щеками, незаживающими ссадинами, с кошёлкою в руке и подругою в синяках и грязных тёплых чулках, знайте: скорее всего это человек, некогда умевший пить.

Впрочем, зависть жён – понятие неотъемлемо классовое (если принять, что для меня несомненно, что мужья и жёны есть классы не менее, чем буржуа и пролетарии). Я сам был свидетелем того, как жена абсолютно непьющего мужа, к тому же заведующего кафедрой, да ещё и обожающего её, т.е. и жену, и кафедру, как эта жена в компании двух других жён, мужья которых пили целеустремлённо, изменяли и скандалили, послушав недолго их невыдуманные рассказы, вдруг стала врать, что её муж явился вчера на бровях, весь в извёстке и губной помаде. И самое-то смешное, при этом знала, что подругам настолько хорошо известна её семейная жизнь, что они не верят ни слову, а ещё смешнее, что подруги не опровергали её и не улыбались, как бы не желая лишать товарку тех жизненных ценностей, которыми её обделила судьба и которыми они сами в избытке обладали».

Конечно, моя грубая классификация страдает, как и всякая, упрощением. Всегда были, есть и будут люди, по-разному относящиеся к спиртному. Градация чрезвычайно обширна и по-ювелирному тонка – от не переносящих запаха алкоголя до благополучно десятилетиями пьющих по бутылке и более водки в день, сохраняя при этом работоспособность, высокий статус, неплохое физическое здоровье, совмещая «употребление» с занятием спортом, рыбалкой, охотой. В медицинском учебнике мне как-то попался на этот счёт любопытный пример с неким гражданином 72 лет, обратившемся с

[1] Опубликовано в «Знамени» (2002, № 11, http://magazines.russ.ru/znamia/2002/11/kr1.html).

жалобой на снижение потенции. Врач выяснил, что Г. выпивал в течение последних сорока лет ежедневно бутылку водки, выкуривал пачку папирос «Беломор», и привык иметь половые акты также ежедневно.

Академик А.Н. Крылов вспоминал о брате знаменитого физиолога И.М. Сеченова: *«Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкафчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.*

Порция, которая ему ставилась в шкафчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г, когда он умер, имея от роду под 80 лет.

Замечательно, что, живя безвыездно в деревне, он выписывал два или три толстых журнала, две газеты, имел хорошую библиотеку русских писателей, для которой он своими руками сделал превосходный, цельного дуба, громадный шкаф. Русских классиков он всех перечитал и хорошо помнил; хорошо знал критиков – Белинского, Писарева, Добролюбова; иногда заводил с молодежью беседы на литературные темы и умел ошарашить парадоксом, если не всегда приличным, то всегда остроумным, и это несмотря на ежемесячные три ведра водки в течение 50 лет. <...>

Иван Михайлович Сеченов <...> сблизился и подружился с С.П. Боткиным. О чем была докторская диссертация Боткина, я не знаю, но диссертация Ивана Михайловича была на тему: «О влиянии алкоголя на температуру тела человека». Не знаю, служил ли ему его родной братец объектом наблюдений, но только через много лет, в конце 80-х годов, Иван Михайлович передавал такой рассказ С.П. Боткина.

– Вот, Иван Михайлович, был у меня сегодня интересный пациент, ваш земляк; записался заранее, принимаю, здоровается, садится в кресло и начинает сам повествовать:

– Надо вам сказать, профессор, что живу я давно почти безвыездно в деревне, чувствую себя пока здоровым и жизнь веду очень правильную, но все-таки, попав в Петербург, решил с вами посоветоваться. Скажем, летом встаю я в четыре часа и выпиваю стакан (чайный) водки; мне подают дрожки, я объезжаю поля. Приеду домой около 6 часов, выпью стакан водки и иду обходить усадьбу – скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов в 8, выпью стакан водки, подзакушу и лягу отдохнуть. Встану часов в 11, выпью стакан водки, займусь до 12 со старостой, бурмистром. В 12 часов выпью стакан водки, пообедаю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану в 3 часа, выпью стакан водки... и т.д.

– Позвольте вас спросить, давно ли вы ведете столь правильный образ жизни?

– Я вышел в отставку после взятия Варшавы (Паскевичем в 1831 г) и поселился в имении, так вот с тех пор; а то, знаете, в полку, я в кавалерии служил, трудно было соблюдать правильный образ жизни, особенно тогда: только что кончили воевать с турками, как поляки забунтовали. Так вот, профессор, скажите, какого мне режима придерживаться?

– Продолжайте вести ваш правильный образ жизни, он вам, видимо, на пользу.

– Вы, Иван Михайлович, не знаете этого чудака?

– Кто же его в нашей местности не знает, это Николай Васильевич Приклонский.

Однако едва ли Иван Михайлович (рассказал своему другу С.П. Боткину про не менее «правильный» образ жизни своего брата Андрея».

Всегда будут люди, которым вино придает живости и остроумия (именно по их поводу Лев Толстой отозвался: «И тогда я готов благословлять вино!»), и те, у кого определенная доза вызывает страстное желание заехать кому-нибудь в морду, а то и пырнуть ножом. Невозможно привести всех к единым нормам в отношении алкоголя.

6

За полвека регулярного употребления спиртных напитков я прошёл разные стадии этого занятия.

Первую я бы назвал случайно-компанейской. В собравшейся по тому или иному поводу группе молодых людей первой естественно возникала алкогольная тема. При выборе вина определяющим были деньги. Поэтому пили, что подешевле. Не помню, существовали ли тогда суррогаты вроде по-

следующих «Трои» или жидкости против замерзания автомобильных стёкол, как-то присутствовал денатурат, но где-то не вблизи нас. Водку пили реже, потому что её закусывать надо, а денег на закуску не оставалось.

Кроме упомянутого выше вермута, пили портвейны с разнообразными названиями и одинаковым вкусом. Особенно и даже с содроганием вспоминаю «Волжское крепкое», не имевшее винного не то что вкуса, но даже запаха и цвета. Сухое вино по причине его слабости пили редко.

Одно время, уже студенческое, перешли на продукцию, где крепость не требовала закуски – сладкие наливки. Это была уже следующая моя стадия – выпивка не в компании, а вдвоем.

Осень 1965 года, первый курс, мы с Лёнькой Назаровым начинаем день не с лекции, а с похода по распивочным местам. В то время почти не существовало их, специально выделенных, вроде рюмочных, но алкоголем, но не водкой и не коньяком, в разлив торговали почти в любом продуктовом магазине и кафе. В столовых чаще бывало только пиво. Про тот сентябрь вспоминается даже не кафе, а так, под распространенным тогда именем «кафетерий», на Привокзальной площади в сером конструктивистском здании, угол ул. Ст. Разина, в двух шагах от мехмата, где первокурсником был мой друг. И пьём мы, не закусывая, по стакану очень сладкой и крепкой, 25 градусов клубничной наливки. И по второму. В то время были очень распространены сладкие наливки и горькие настойки. Любимая многими «Перцовая» к ним не относилась, это была не настойка, а водка.

И чем же мы занимались, приняв по четыреста грамм? А ничем. Изо всей моей прошедшей жизни мне, пожалуй, жальче всего этих бессмысленно проведенных двух-трёх лет. В том возрасте возможны, потребны и желательны первые любовные если не страсти, так увлечения, сексуальные опыты, но ничего подобного у нас не было. Говоря *у нас*, я имею в виду именно меня с Ленькой, а, скажем, Илюшка, подружившись с Сандро, предался банным увлечениям да и первым блядствам. Витька Зелькин как бы уже присматривался и пристраивался к будущей коммерческой деятельности, к тому же у него был мотоцикл. Кто-то уже прочно врастал в спорт. И все при этом выпивали, но как-то помимо главного, а мы с Лёнькой вполне бессмысленно сосредоточились на почти ежедневной выпивке, чтобы вскоре зачем-то жениться.

Пили чаще за Лёнькин счёт; во-первых, его отец был щедрее моего, а во-вторых, он не боялся тащить что-нибудь из дома на продажу, и я уже где-то описывал, как мы пропили его детскую энциклопедию в 12-ти больших жёлтых томах. Неудивительно, что вскоре мы приобрели репутацию забулдыг. А что наши родители? Его не знаю, а моя мама грустила, но не ругалась, а отец однажды серьёзно предложил мне лечиться. Думаю, и не возражали они против ранней женитьбы в надежде, что это отодвинет от выпивки.

7

В журнале «Знамя» (2006, №9) опубликованы воспоминания Бориса Грибанова о Давиде Самойлове и статья Елены Холоповой «Утопленная истина»[1]. Замечательные каждая по-своему, публикации разительно противоречат друг другу. А может быть, и дополняют.

Эпиграфом к воспоминаниям Грибанова прямо-таки просятся пушкинские строки: «Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!» Главный герой – замечательный поэт, его друзья и коллеги то и дело наливают, выпивают, посещают рестораны и пивные, забегаловки и коктейль-холлы. Они веселы, остроумны, их восприятие действительности свежо, а вино, водка, коньяк, коктейли и пиво лишь помогают ярче гореть не гаснущему в них творческому огню.

Грибанов вспоминает и иные судьбы, из которых самая мрачная – поэта-фронтовика Сергея Наровчатова. «Было время, когда пьянство Серёжи достигло гомерических размеров. Мы слышали рассказ о том, как пьяный Серёжа в ресторанном зале Дома литераторов на глазах у всех писал в открытый рояль». Однако, суть наровчатовского сюжета не в его алкоголизме, но в том, что «Серёжа решил делать карьеру». Он дошел до высших литературных званий и отличий вплоть до редактирования «Нового мира» и «гертруды», теряя и остатки своего небольшого поэтического дарования.

Ну, и где же тут водка, а где выбор «применительно к подлости»?

Если мемуары Б. Грибанова продолжают ту мощную и прочную традицию русской, и не только русской, культуры, в которой вино было неотделимо от вдохновения, творчества, свободы духа,

[1] Об этом см. также: Сергей Боровиков. Руси веселие есть пити, не можем без того и быти // Знамя. 2007. № 1; http://magazines.russ.ru/znamia/2007/1/bo13.html

то статья Елены Холоповой «Утопленная истина» продолжает собою длинный ряд антиалкогольной публицистики. Написанная ярко и страстно с неподдельной, я бы даже сказал, вдохновенной ненавистью к спиртному, статья рисует картину повального убийственного пьянства жителей республики Коми, особенно сельских. Бесконечный ряд насилия, смертей, болезней, скотства, создающий в целом трагическую картину всеобщего вырождения, наводит в очередной раз на печальные раздумья типа: «Ужасно. Что с нами происходит? Что-то надо делать!»

А что делать?

Антиалкогольной публицистике, и статья Холоповой не исключение, присуще тягостное ощущение безысходности и неяркая неуверенная надежда: вот если бы перестала Русь пьянствовать, то...

А что то?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Что было вперед: водка, русский приоритет которой блестяще доказал покойный Вильям Похлёбкин, или русский национальный характер?

В отношении национальных особенностей стоит сделать не бесполезную оговорку. Существенно, что трагическая картина пьянства у Холоповой разворачивается не где-нибудь, а на Севере, среди народа коми. Хочу ли я сказать, что в русских центральных, так сказать, коренных землях пьют меньше? Обобщать не смею, и все же антиалкогольных тормозов там сохраняется куда больше, чем у коми, мари, не говорю уж о чукчах или эвенках. А – спустимся к югу, где крепко и лихо пьющие кубанцы и донцы никогда – ни в царские, ни в советские, ни в новые времена – не слабели столь массово, не сдавались безвольно на съедение алкогольному молоху. Хотя там, помимо самогона, в ходу собственное вино. Беззащитность северных народов пред зелёным змием давно известна. Много было замечено и нашучено на этот счет по поводу наших северных соседей – финнов. Отчего же алкогольно зависимый народ Суоми не деградировал?

Сопоставление пьющих завсегдатаев ЦДЛ и жителей Коми также невольно наводит на размышления о национальных особенностях. Быть может – не убоимся заметить – все дело в том, что Давид Самойлов урождённый Кауфман?

Вопрос, конечно, интересный.

Во-первых, следуя своему обыкновению опираться на собственный жизненный опыт, я могу назвать не одного и не двух известных мне спившихся, во всем тягостном безобразии этого слова, русских евреев. Правда, думаю, они спились все же потому, что были не слишком евреями, а слишком русскими. Между тем наши евреи (про иноземных не скажу) пьют много, и по поводу, и просто так. Но у них, как и у кавказцев, и у русских южан, алкоголь – добавка ко многим радостям жизни, но не замена их.

Бабушка одного моего пьющего знакомого учила его мать и жену: «А вы яво отвлякайте, отвлякайте!»

Что ж, дело, отвлёк же ведь товарищ Сталин до войны от пьянства не запретами на алкоголь, а каторжным трудом, репрессиями, борьбой за всё и вся, всеобщим взаимодоносительством. А рестораны работали до четырех утра. Пьяным на работу как-то идти было не принято. Потому что опасно. А как же совместить ресторан до рассвета и тюрьму за прогул? Мерой, мерой! И страхом. Но, как и всё у вождя, цена за относительный порядок была слишком высокой. Повыше, думаю, чем урон от пьянства.

Но тот же тов. Сталин положил начало новому, послевоенному расцвету пьянства от пресловутых «фронтовых» ста грамм до практически не ограниченной временем и местом торговли водкой.

При Хрущёве стали пить если не меньше, то всё же упорядоченнее.

При Брежневе пили от всеобщей невиданной в нашей истории расслабухи.

При Горбачеве объявили борьбу с пьянством. Виктор Астафьев об этой затее: *«...зло лишь меняет одежды, даже не облик, и прикидывается нагло добром. Последнее постановление о трезвости и налаживании морали нашей – это почти неприкрытая злобная акция против и без того запуганного, затурканного народишка. Те, кто сочинил сей документ, прекрасно знают, что исполнять и проводить его в жизнь будут люди, всё уже пропившие, начиная с комиссарских широких галифе, в которые бздеть удобно, и кончая честью и совестью. Они и открыли тихий террор на местах, выгода от которого временная, последствия неоглядные, уходящие в пространства. Да кого сейчас они, пространства, интересуют. Переночевать бы сегодня, а завтра, как на фронте, авось переднюем».*

А я тогда, в 1988 году, писал в газете «Советская культура»: «Сидя в президиуме учредительной конференции общества борьбы за трезвость, куда меня записали по должности главного редактора

журнала «Волга», я огляделся. Знакомые все лица! Их вклад в борьбу с пьянством, так же как и мой собственный, неизвестен, зато известно объединяющее всех высокое служебное положение».

Больше про ту унизительную вакханалию вспоминать не хочу.

При Ельцине, который преступно отменил госмонополию на производство водки, его «россияне» в невиданных масштабах стали травиться и умирать от подделок и суррогатов. Проклиная водку, нельзя уподобляться ребёнку, бьющему по предмету, о который ушибся. Преступница не водка, а власть, обогащающаяся на здоровье народа.

Ужасаясь размаху современного пьянства, мы опираемся на идеализацию прошлого, в котором якобы «так не пили». Но вот письмо Льва Толстого брату Сергею от 24 июня 1852 года из Пятигорска. *«Вчера в первом часу меня разбудил на моём дворе плач, писк, крики и страшный шум. – Мой хозяин ехал ночью с ярмарки, с ним повстречался татарин – пьяный и в виде шутки выстрелил в него из пистолета. Его привезли, посадили на землю посреди двора, сбежались бабы, пьяные родственники, окружили его, и никто не помогла ему. Пуля пробила ему левую грудь и правую руку. Сцена была трогательная и смешная. Посреди двора весь в крови сидит человек, а кругом него столпилась огромная пьяная компания. Один какой-то пьяный офицер рассказывает, как он сам был два раза ранен и какой он молодец, баба орёт во всё горло, что Шамиль пришёл, другая, что она теперь ни за что по воду ночью ходить не будет и т.д. и т.д. Наконец уж я послал за доктором и сам перевязал рану. Тут приезжал мертвецки пьяный фершел, сорвал мою повязку и ещё раз разбередил рану...»*

В повести М. Ю. Лермонтова «Фаталист» (1839) смельчак поручик Вулич погибает от руки не врага, а просто пьяного казака: *«Вулич шёл один по тёмной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошёл бы мимо, не заметив его, если бы Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца».* (Лермонтов описал реальный случай).

В России пили, пьют и будут пить. Но в различные эпохи и периоды пили больше или меньше.

8

Период своей жизни с тридцати до сорока я вспоминаю со смешанным чувством удовлетворения постоянным профессиональным движением, всё большего места, отданного выпивке, и саднящей памятью о брачных печалях.

Важным в моих профессиональных достижениях были всё возрастающие заработки. Я много печатался в разных изданиях, стал много ездить, чаще всего в Москву, иногда в Питер, дважды за границу, по волжским городам меньше, чем мог. Ширился круг литературных знакомств, правда, в основном определяемых ориентацией «Волги». Мимоходно проходили любовные связи, которые романами назвать было нельзя, они не тревожили. Вышло уже шесть книг – четыре в Москве и две в Саратове, приняли в Союз писателей. Получил большую четырёхкомнатную квартиру с видом на Волгу. Были живы родители. Старшему сыну к моему 40-летию было уже 18, а младшему 5 лет. Наконец, в 37 лет я сделался главным редактором республиканского журнала.

Осложняло это благополучное житьё членство в КПСС. То есть не столько само членство, сколько втягивание меня во всевозможные структуры, вызванное необъяснимым расположением ко мне верхов, несмотря на мою любовь к спиртному, отсутствие каких бы то ни было личных карьерных устремлений, невоздержанность слов, приятельство с сомнительными гражданами и многое другое, как бы не способствующее постоянному движению на социальный верх.

Даже если я когда-нибудь и попытаюсь разгадать собственный тогдашний взлёт, то и очень напрягшись, вряд ли сумею его объяснить. Возможно, сыграло роль то, что присущая мне с детства безынициативность очень соответствовала всему тонусу брежневского времени. Я не просто прожил свои самые успешные годы в эпоху застоя, но был по натуре его верным союзником. И, думаю, случись в судьбе такое знакомство, мы бы с Леонидом Ильичом поладили.

И, наконец, со всей серьёзностью и ответственностью заявляю, что склонность и привычка к выпивке мне только помогли.

Но просто склонности к выпивке было недостаточно. Надо было не только держать дозу, но как бы сливаться в застолье с окружающими и обстоятельствами, при этом не подлаживаясь, а оставаясь самим собою. Не сразу, хоть и надолго, и не навсегда, я этому научился.

Поэтому, когда моя бывшая жена после развода не придумала ничего лучше, как написать в обком письмо, сообщая о том, что я много лет успешно скрываю ото всех своё пагубное пристрастие к выпивке, никакой реакции сверху не последовало, кроме той, что письмо мне дали прочесть.

9

Много раз в жизни смолоду и в старости я напивался допьяна, но реже всего в этот успешный период молодой зрелости. И никогда не попадал в вытрезвитель или в милицию. Наверное, потому, что не склонен был к хулиганству (хотя и такое случалось) и никак не относился к тому типу, который мой друг поэт Евгений Рейн определил так: «сам с собою, с пьяным, не знаком».

Вспомню хотя бы двух представителей этого типа: одноклассницу Юлю Остромогильскую и работника журнала «Волга» Витю Бирюлина.

Если и встречал я человека, чья фамилия стопроцентно ему соответствовала, это была Юля Остромогильская. Даже описывать не стану, просто повторите про себя фамилию и вообразите её. Росту была маленького, нос имела огромный, поведения тишайшего.

И вот как-то собрались мы на день рождения у Вовки Бабаяна. Подарки вручили, выпивали, танцевали. Начались кое-какие обниманцы. Хозяин не отходил от Раи Сычёвой. Остромогильская вдруг громко потребовала внимания и, взяв со стола кремовый торт, торжественно сказала: «Вова, надеваю тебе бэрэт!» И нахлобучила, именно как берет, торт Вовке на голову.

Для полноты впечатления должен сообщить, что Бабаян долгое время, пока стремительно не облысел лет в сорок, носил на голове причёску в точности как у депутата Госдумы Валентины Петренко – не просто густые волосы, а жёстко сформированная в шапку негритянская растительность.

В школе все знали, что Юля рабски дружит с властной Раей Сычёвой, которая и сейчас попыталась совладать с хулиганкой, что оказалось нелегко. В борьбе, которая доставляла ей видимое наслаждение, Юленька успела громко высказать столько неожиданных непристойностей, что я не могу доверить их своему перу не из-за стеснительности, а по слабости памяти, которая, боюсь, утратила первозданную прелесть похабных слов советской старшеклассницы.

Второй заявленный мной персонаж Витя Бирюлин отличался от Юли Остромогильской и полом, и возрастом. Общим в них было всегда спокойное, если не сказать меланхолическое, поведение.

Когда однажды летом приехал ко мне московский друг Саша Карелин, я решил его с Витей познакомить, имея в виду возможность ему издаться в «Современнике», где Карелин руководил редакцией критики. Однако Витя сумел быстро и успешно исключить для себя любую возможность какого-либо с Карелиным сотрудничества.

Дело было так. Пришли мы в «Волгу», побывали у Палькина и, захватив Бирюлина и напитки, вернулись ко мне на Коммунарную, 14, где нас ждали жёны. Как и в случае с Остромогильской, я не уловил момент преображения Вити. Кажется, он или нагрубил, или даже стал приставать, что для него удивительно, к Лене Карелиной, но мгновенно вспыхнул его конфликт с москвичами. Всегда бледный, а сейчас белый, Сашка вскочил из-за журнального столика, за которым мы пировали, а противник, сидя, схватил со столика длинный кухонный нож, которым резали колбасу, и стал тыкать им в столешницу с такой яростью, что удивительно, как не переломилось лезвие.

Я вытащил озорника из-за стола, из комнаты и из квартиры. Карелин крикнул вдогонку: «Старичок, выстрел за мной!»

Главное наше с женой огорчение было в испорченной поверхности нового столика, очень красивого, польского, купленного в недавно полученную квартиру.

Когда впоследствии (случившегося Бирюлин не стыдился, потому что не помнил и явно не вполне поверил в то, что я рассказал) случалось сидеть с Витей за столом, я ожидал нового эксцесса, но их не было, и я решил, что то был единичный эпизод. Но ошибался.

Опять Витя проявил себя в гостях, но уже не у нас, а у наших друзей Лисенковых. Как Витя оказался в нашей компании, не помню, но вновь, допрежь тихий, сделался буен, но его сумел угомонить опытнейший в застольных ситуациях хозяин и уложил в соседней комнатке. Мы продолжили прерванное занятие, пока нас не отвлёк доносившийся оттуда равномерный хруст. Зашли и увидели, что гость, лежащий лицом к стене, на которой висел коврик, сплетённый из морской травы, энергично его грызёт, издавая поднявший нас от стола хруст.

И ещё случай с тем же персонажем опять у меня в гостях, но уже на Предмостовой площади. Мы вышли, провожая гостей, среди них были и Бирюлины. Я был от них в стороне, когда услышал, как говорится, шумы и крики. Они вновь относились к Вите.

На площади, т.е. на въезде и выезде из Саратова, такого движения, как сейчас, тогда, конечно, не было, и все же место круглосуточно оживлённое с идущим туда-сюда транспортом, с милицейскими постами. И находясь там, заведующий отделом критики журнала «Волга», молодой коммунист Виктор Бирюлин, вынимая изо всех (была поздняя осень) карманов документы, сигареты, деньги, бумажки, ключи, швырял их навстречу проезжающим авто с криком: «Берите, всё забирайте!»

Тут жена его скрутила, поймали такси, запихали.

О почти таком же случае, но не с Бирюлиным, мне рассказывал тот же Карелин, который в ЦДЛ стал свидетелем того, как пьяный Валерий Васильевич Дементьев, стоя у выхода из ресторана, встречал всех вопросом: «Чего тебе надо? Это? Держи!» и кидал удостоверения члена Союза писателей, секретаря Правления СП, лауреата Госпремии и т.д.

Встречал я людей и с полярным преображением. Так, моя мама терпеть не могла, когда её брат, выпив, становился непомерно ласков, называла его «сахарин».

10

Как-то мой другой сослуживец, а потом и подчинённый, завотделом очерка и публицистики журнала «Волга» непьющий Владимир Нилович Панов попросил проконсультировать его в гастрономе, когда ему надо было купить спиртное для юбилейного стола, и у прилавков удивлённо спросил: «Как ты так научился быстро выбирать из стольких водок?» «Нилыч, – ответил я со вздохом, – просто я их все уже пил».

Одно время я стал собирать в альбом наклейки с выпитых бутылок. Там примерно штук 200. Правда, есть и повторы, когда марка одна, а этикетки разные. Пивные этикетки собирал в конверт, но так и не наклеил. Занимался я этим недолго, к тому же, естественно, в моё собрание не попали наклейки с бутылок, которые я пил у кого-то в гостях, в ресторанах, а то и на улице. Нет старых советских водок, с которых я начинал; впрочем, ещё выпускались многолетние «Московская» и «Столичная». Позже появились «Русская», «Пшеничная», андроповская без определений «Водка», которую за расположенные туда-сюда на этикетке зелёные буквы называли ещё «Коленвал», а потом уж пошло-поехало. При всех режимах сохранялись сорокаградусные «Перцовка» и «Зубровка».

Далее следует обзор моей коллекции с комментариями, который я сейчас опускаю, и Бог даст, когда-нибудь воспроизведу в книжном издании.

11

Самым мучительным в первые годы приобщения к алкоголю была тошнота. У Бунина в рассказе «Генрих» герой «...упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звёздами». В первые годы выпивки стоило лечь, как накатывал этот, нередко приводящий к рвоте, полёт, который я с годами испытывал всё реже, обычно лишь вследствие употребления не тех напитков.

Классического соединения водки и пива не миновал, думаю, ни один пьющий русский. Сливаясь, т.н. «ёрш» приобретает отвратительно сладкий, чуть ли не парфюмерный привкус.

Вообще я отрицательно отношусь к любым коктейлям, изобретению лукавому и опасному. Помню, как Лёнька о попытке нашего друга Ильи и его первой жены Любы Киселёвой (боже, я пишу только о покойниках!) внедрить в домашнее гостевание коктейли отозвался так: «Илюша с Любой в бар играют, а у нас головки болят».

Единственный коктейль, что я признавал, это джин с тоником, который, строго говоря, не коктейль. Одно время мне довелось частенько его употреблять, причём с настоящим английским «Бифитером», когда был членом Букеровского комитета, который находился в ведении Британского Совета, аналога нашего Минкультуры. Мы и заседали в здании Библиотеки Иностранной литературы, где Совет обосновался.

Когда уже не доводилось пить приготовленный джин-тоник, я довольствовался баночным, пока недолго он был в продаже английский. А потом, за неимением джина, пристрастился мешать с тоником водку. Правда, не всегда «Швепс» можно было купить. Был еще хуже «Швепса» тоник, забыл название, с голубой этикеткой, кажется «Будвайзер».

А тоник оказался гадом. Ежели быть точнее, содержащийся в нём хинин.

Как и многие работники т.н. умственного труда, я смолоду страдал геморроем. А ко времени, о котором идет речь, мне было лет сорок, но геморрой меня не слишком часто и не слишком сильно мучил. И вдруг по нарастающей резко усилились боли, да такие, что хоть кричи. Как-то с женой выходили из Крытого рынка, и я застыл, не силах шевельнуться, мне в известное место будто нож втыкали. На моё счастье через дорогу находилась хозрасчётная поликлиника, где меня обезболили. А к вечеру я вдруг догадался: хинин! Он резко расслабляет мускулатуру таких слизистых, как анус и матка. Во времена нашей туманной юности хинин был даже популярен как контрацептив, на что память услужливо преподнесла ядовитую реплику той же Таньки Личман, отозвавшейся на предполагаемый роман её соседки с общим знакомым: «Никак он её не оформит, заждалась, бедняга, насквозь хинином пропиталась, аж пожелтела...»

Стоило мне отказаться от любимого коктейля, как проклятый почечуй исчез.

За долгие годы употребления спиртных напитков я и сам блевал, и других видал, и раз уж зашла речь об этом неаппетитном занятии, вспомню случай один, другой, третий. Давайте по именам. Собутыльники Витька, Ленька и Илюшка. Про блёв первого не помню, про второго и третьего расскажу, а о себе в школьном дворе прямо сейчас, потому что это первое по времени воспоминание в тему.

Пили в жару в гнусном подвальном магазинчике на ул. Кутякова (б. Цыганская) в старинном доме, известном до революции как табачная фабрика Левковича, а в наше время как общежитие СГУ №3, в котором никто не хотел жить. Отрадный, хоть и вонючий, прохладный полумрак, как обычно в таких местах бочки, на одной из которых водка, кружки с пивом и пирожки с повидлом (уместнее было бы с *повидлой*). Стаканов нет, водка почти горячая, наливаем её в относительно холодное пиво, вкус смеси уже описан мною выше. Кажется, до магазинчика начали пить на улице, потому что в памяти возникает убийственное сочетание пронизанной солнцем толстой пивной кружки, слепящего в глаза солнца и омерзительного вкуса. Следующее воспоминание того дня – меня, т.е. морду мою, обтирают мокрой тряпкой после блёва. Открываю глаза – обтирает меня Ленька, а невдалеке много любопытствующих ребятишек в форме. Мы на школьном дворе в перемену, и значит еще май. Когда выбирались оттуда, запомнил типовое школьное 30-х годов здание на Железнодорожной улице.

Перехожу к друзьям.

Итак, номер первый Назаров Леонид, два эпизода.

Первый относится к нашему частому гостеванию у Лёнькиной однокурсницы Оли Малышевой в настоящей сталинке. На том углу – Б. Казачьей и Вольской – две четырехэтажных довоенных сталинки, одна белая, другая коричневая. Оля жила там потому, что её отец был директором военного завода на Дачных. Ни у Лёньки, ни у меня никаких любовных поползновений по отношению к хозяйке не было. В конце концов она вышла замуж за другого писательского сына Вольфа, который, несмотря на половинное еврейство, пил и столь необдуманно хулиганил, что однажды, находясь в нетрезвом состоянии, с дружками попытался влезть в Обком КПСС и затеял на входе драку с не пускавшим их милиционером, что для папы, члена этой самой КПСС, могло приобрести и политический оттенок.

В тот раз с нами у Малышевой была ещё её подруга, Таня, фамилии которой не помню, но зачем-то в памяти засело, что её отец был заместителем начальника Приволжской железной дороги, и жила она в доме, прозванном Восьмиэтажным, потому что он был первым таким в Саратове. Лёнька в тот раз быстро окосел, наверное потому, что мешали наше шампанское с хозяйкиным, точнее, её папы, коньяком, и мирно с нашей помощью улегся в соседней комнате на одну из двух деревянных (таких я не видел) кроватей. Едва я с девушками вернулся за стол, из спальни раздался зловещий рёв рвоты. Прибежав, мы пытались уберечь окружавшее Лёньку добро, но было поздно: Оля потащила в ванную застирывать покрывало, мне велела выбросить лежавшие на прикроватной тумбочке конфеты, а Тане – помыть тумбочку, на которой они, облёванные, лежали. Я, конечно, собрал с помощью платка немало шоколадных конфет в ярких московской фабрики имени Бабаева обёртках, но уже у ведра передумал, не выкинул и, отмыв их от рвотной, как пишут в медпротоколах, массы, сложил в пакетик, и вечером того же дня угощал «Мишками на Севере» в другом доме других девушек, не испытывая при этом угрызений совести.

Второй Лёнькин случай был на пляже. В тот раз я несколько из-за дружка пострадал, точнее, пострадала моя рубашка. Тогда у дебаркадеров бывала большая давка. Как-то видел, как матрос с пере-

возного «Омика» бил сверху от рубки по головам людей, теснившихся на трапе, готовом обрушиться. И тогда людей, двигавшихся на «Омик» или с него, разделили сетчатым проволочным забором.

Мы сошли с «Омика», а по ту сторону забора двигались отбывавшие с пляжа, и вдруг Лёнька, просунув руку через ограждение, сдернул летнюю кепку с головы щуплого мужчины, который не растерялся, но схватил не Леньку, а ближайшую к нему мою рубашку, сразу порвав, и с нервными криками, не выпускал до тех пор, пока мой друг не швырнул ему обратно кепку. Хорошая была рубашка, импортная, мама вечером огорчилась.

А далее мой друг уже в воде распугал державшихся за оградительный буй девушек тем, что, подплыв к ним хорошим брассом, фонтаном блюнул в их сторону.

Из Илюшкиных же рвот припоминается поздних уже времён утро, когда, зайдя к нему, услышал из туалета спазматическое рычание. В наши, уже немолодые, года мы перестали блевать по вечерам, стали по утрам. А у моего друга была и вторая слабость – обжорство. Я ещё стоял в сенях, когда одновременно хозяин выходил из туалета, а в дом входил гостивший у него Андрюша Лопато с трехлитровой банкой пива и большим промасленным кульком, увидев который, Илюша, довытирая рот после рвоты, радостно воскликнул: «Чебуре-е-чики!» и, выхватив из кулька один, стал торопливо пожирать.

Из запомнившихся мне ещё рвот расскажу о знакомом, с которым мы случайно оказались в ресторане «Волга» рядом за странным столом. Странен стол был тем, что состоял из нескольких сдвинутых вдоль стены столиков, отгороженных шнуром от основного пространства зала, где пировала свадьба. Звали моего знакомого Вова Шмулевич. Был он милым еврейским парнем, синеглазо красивым, беззлобным, даже тихим и никогда трезвым. Невыдуманная пикантность ситуации состояла в том, что его угощал тесть, живущий с дочерью в другом городе и явившийся в Саратов, чтобы уговорить зятя на срочный развод с целью освободить дочь для нового замужества и эмиграции, а м.б., развод уже был и требовалось разрешение на вывоз ребёнка. Шмуль радостно напивался, тесть нервно улыбался и повторял: «Володя, ты закусывай, закусывай!» Нестандартности обстановки способствовали и шумные свадебные звуки рядом, и возникший за столом крайне неприятный и даже опасный, по словам буфетчицы Тани, субъект спортивно-уголовного вида, который вдруг громко заявил: «А свадебка-то еврейская!» Тем временем бедный Шмуль успел напиться и стал аккуратно блевать под стол, приподнимая для этого скатерть. Тесть что-то бормотал, тип нехорошо оглядывался по сторонам, и я поспешил удалиться. С тех пор Шмуля не встречал, потому что общался с ним лишь у Володи Тартера, уехавшего в Израиль. А когда в 2012 году хоронили моего друга Илюшу, на еврейском кладбище я увидел могилу Володи Шмулевича. Там же уж лет пятнадцать как лежал и его опекун Тартер, незадолго до смерти вернувшийся в Саратов.

Из блеваний под стол там же в «Волге» вспомню случай с известным саратовским журналистом Алексеем Колобродовым. Мы придумали с Ильей устроить встречу для печати в журнале «Общественное мнение», где Колобродов был главным редактором, с руководителем оркестра «Волги» Валентином Золотухиным. Старый советский лабух, Валентин знал тьму историй из кабацкой жизни. Пафос их состоял в измельчании ресторанных нравов как следствия общего падения нравов.

Золотухин был редкого обаяния человек, весь словно бы промытый, почти лысый блондин, высокий, с чарующе грациозными жестами рук. Был он ударником, когда-то джазовым. Лет ему было шестьдесят. Однажды нас с женой пригласил в гости её пациент, или, как говорят врачи, её больной, занимавший весьма ответственный пост заведующего промышленным отделом обкома, где оказался и его друг Золотухин. Их сближала страсть к джазу. Сложно представить, скажем, в советском (или антисоветском) кинофильме такую дружбу.

Это было в 2000-м, тяжёлом для меня во всех отношениях, году. Дату называю по публикации «Человек из ресторана» в колобродовском журнале.

Условились так: назначаем день, встречаемся в ресторане, Илья готовит стол, за который платит издатель, мы все беседуем под диктофон.

К тому времени мы, я во всяком случае, уже не бывали в «Волге» так часто, как прежде, и Валентин там уже не работал, и зал пустовал, лишь буфетчица Таня Прокофьева искренне нам была рада.

Итак, в назначенный, самый хороший для выпивки вообще и ресторанной в частности, час, т.е. в 4, мы сошлись в назначенном месте у накрытого стола. Мы – это я, Валентин и Илья. Заказчика беседы не было. Пока прошло полчаса и даже час, мы ещё радовались встрече и любимому залу, не притра-

гиваясь к рюмкам, что-то вспоминали, но чем дальше, тем больше возрастало наше неудовольствие и недоумение. Стал волноваться Илья, который организовал довольно для того времени богатый, в силу своих особых связей с работниками «Волги», стол, где было и овощное разнообразие, и мясное, и даже рыбное. Он даже стал помаленьку причитать: как же расплачиваться? Мы с Валентином его успокоили, сказав, что разделим требуемое на всех. Прошло еще немало томительных минут и явился пьяный Колобродов, объяснив, что задержался в Балаково. Мы знали, что всякое со всяким может случиться, но не понимали, почему наш молодой друг и не подумал извиниться. Он же вёл себя по обыкновению беспардонно, громко, шокируя Валентина, матюгался, и наконец, классически отвернув белоснежную скатерть, стал обильно изрыгать под стол балаковское угощенье, опять-таки не думая извиняться. Беседу перенесли.

12

Раз уж о похмелье, коснёмся и этой большой и больной темы. Как-то я уже приводил, как не самый известный, в отличие от описанных М. Булгаковым страданий Стёпы Лиходеева, но не уступающий ему пример из рассказа А. Толстого «Подкидные дураки» (1927).

«Ракитников проснулся. По оконным стеклам течет. В мокрых крышах отсвечивает бело-серый дождливый день. Шумит вода в водосточной трубе. Потянувшись за папироской, Ракитников увидел, что рукав на правой руке у него засучен. Это его удивило. Поднял голову и еще больше удивился: оказывается, лежал он совсем одетый на постели, жилет расстегнут, новый пиджак изжеван, брюки на коленках в грязи, рукав засучен по локоть, но башмаки сняты, – значит, оставалось все-таки кое-какое соображение... Схватившись за голову, он застонал. Череп трещал, как арбуз. Но пусть бы болела голова – физическая боль пустяки, а в такую погоду даже может и развлечь отчасти. Но трудно было вынести общую проплёванность всего существа, невыразимую пакость, тоску сердечную... <...> Мрак души его сгущался. Моральные угрызения походили на собачьи укусы. Видели вы когда-нибудь, как в овраге псы рвут ребрастую падаль, упираясь лапами, рыча от отвращения? Точно так же мрачные выводы пожирали сердце Ракитникова».

Сашка Карелин называл душевные страдания чувством вины перед родиной, я же когда-то для себя объяснил их чисто биохимическими процессами в организме, лишь по нашей слабости и начитанности приводящим к страданиям нравственным.

Есть ещё и то неприятное свойство похмелья, что заставляет брезгливо относиться к себе и избегать общества, даже и собутыльников. Это собственная, остро ощущаемая, физическая отвратительность.

Когда-то на волжской островной базе отдыха, т.н. Дубовой гриве, к начальнику приезжал непутёвый сын, пьяница и игрок, с компанией, в которую непременно входил его сослуживец Пряник, Прянишников Володя, лет тридцати с хвостиком. Он был худ, неопрятен и жалок, а похмелье придавало ему дополнительные краски, что он остро ощущал, и когда садились за стол, перед первым стаканом униженно просил не смотреть на него. А я не удержался. Перенеси на экран виденное тогда, оно могло бы стать действенной иллюстрацией вреда пьянства. Мучительное движение водки из стакана в глотку и обратно в стакан и опять в глотку, сопровождаемое отчаянными жестами левой руки, словно загоняющей проклятую жидкость по нужному пути...

13

Много я встречал пьяниц, знал и умеренно выпивающих, встречал и абсолютных трезвенников, но особую группу составляли бросившие пить, находившиеся кто в пожизненной, кто во временной завязке. И у всех наблюдался не только не угасший, но обострившийся интерес к выпивке.

Они очень любят выспрашивать, сколько ты вчера выпил. И где? С кем? И что пили, и обошлось ли без происшествий и т.д. Самые в себе уверенные готовы помогать во всех действиях – закупке спиртного, устройстве стола, разлитии и т.д.

Вот и я, пребывая в наступившей пожизненной трезвости, вспоминаю свои алкогольные времена, и пытаюсь передать опыт, сделать выводы, обобщить...

Но нет, надо, наконец, оборвать затянувшееся повествование. Хочу увидеть его пусть и незавершённым, но напечатанным, ведь не в моих малых силах найти окончательную форму для этой бесконечной русской темы.

5 сентября 2018 года, с. Багаевка

ПОЭТЫ АНТОЛОГИИ «УЙТИ. ОСТАТЬСЯ. ЖИТЬ»

Ефим ЗУБКОВ, Владимир МАТИЕВСКИЙ, Игорь ПОГЛАЗОВ, Геннадий ЛУКОМНИКОВ, Игорь БУХБИНДЕР, Михаил ФЕЛЬДМАН, Анатолий КЫШТЫМОВ

Подготовка, предисловие Бориса Кутенкова

В начале 2019 года выходит второй том антологии «Уйти. Остаться. Жить», посвящённый поэтам, ушедшим молодыми в 70-е и 80-е годы XX века. Первый, охвативший период последних двадцати лет, напомним, появился в 2016-м и был отрецензирован во многих изданиях (см., например, неравнодушный отклик Андрея Пермякова в «Волге», 2016, № 11-12, в котором справедливо сказано о «переплетении неудачи и успеха» в замысле антологии).

Первый том – всегда репетиция; второй – всегда, в той или иной степени, следствие мировоззренческого крена (разумеется, если замысел живой и подвижный – и способный к варьированию в рамках сложившейся концепции). В готовящейся книге мы решили сделать шаг от воспоминаний к литературоведческому осмыслению; от мемуарного произвола – к свободе интерпретации текста. Благо и контекст – абсолютно, кажется, не исследованный – располагает к тому.

В этой подборке, своеобразном дайджесте будущей антологии, – семь поэтов, ушедших в последний период существования советской империи, на пороге изменений, которые при их жизни невозможно было предсказать. Семь судеб, загубленных обстоятельствами, временем, – и семь разных голосов, успевших за краткий срок земного существования удивительным образом сложиться, претерпев разумеющуюся ломку. Как сказал, помнится, ушедший в прошлом году Кирилл Ковальджи на Вторых Литературных чтениях «Они ушли. Они остались» (2013): «у таких людей дьявольская интуиция, и перед смертью они начинают работать на износ, словно что-то чувствуя»... От каждого остались несколько тоненьких сборничков в Ленинке, несколько публикаций в советской, реже – постсоветской прессе.

...Можно читать. Открывать, признавая право поэта на посмертную жизнь – и читательским сотворчеством способствуя этой жизни. Критиковать замысел – который, как это часто бывает, есть парадоксальный трамплин для разговора о поэзии.

Ефим Зубков (1947–1976)

Родился в Симферополе. Первые стихи написал 12 апреля 1961 года. Они были посвящены полёту Ю. А. Гагарина и в тот же день напечатаны в газете «Крымский комсомолец». Затем печатался в коллективном сборнике «Моя Светлана», выпущенном Лениздатом в 1965 году. Закончил техникум. Служил в армии. Работал слесарем, строителем-электромонтажником, был руководителем театральной студии, руководителем группы регулировщиков радиоаппаратуры в техникуме. Печатался под псевдонимом Иван Зимин. В 1973–1975 годах занимался в Московской литературной студии при Союзе писателей. В 2016-м вышла книга «Из времени вовне» в издательстве «Регтайм».

***

девушка
давайте погуляем
времени
немного потеряем
поболтаем
разного насчёт

мальчики
давайте бить посуду
время

максимального абсурда
нехотя
а всё же настаёт

девушка
давайте погуляем
времени
немного потеряем
поболтаем
личного насчёт

мальчики
давайте мыть посуду
не бывать в отечестве
абсурду
этот фокус
с нами не пройдёт

девушка
давайте погуляем
ничего совсем
не потеряем
помолчим
добытого насчёт

мальчики
не трогайте посуду
повернитесь задницей
к абсурду
нечего
заглядывать вперед

***

Когда-то меня впервые предали.
Сделал это друг.
Потом предавали ещё,
но было
уже не так интересно.

Разговор с самим собой

любимый
Ефим Григорьевич
не проще ли
застрелиться
уж если
в шутку не тянет
валяйте себе
всерьёз

всё равно
попрошу повтори
не согласен
что прожил
подпольно
колокольня стоит

на крови
разворованная колокольня

давно
про это
подумываю
можно сказать
собираюсь
никто из ваших
знакомых
обреза
не продаёт

начинается звук
изнутри
продолжается
сколько угодно
колокольня стоит
на крови
изумительная колокольня

любезный
Ефим Григорьевич
повеситься тоже
выход
строкою закончить
вдох

чем дожить
до чужого
«взорви»
лучше
шнур запалить
добровольно
колокольня стоит
на крови
приезжайте смотреть
колокольню

да вот
всё места
не выберу
и времени
не хватает
народ меня
беспокоит
подумает
что подвох

лечь под утро
а встать
до зари
жить нуждой
умереть добровольно
пол
действительности
на крови
а второй половине
не больно

Владимир Матиевский (1952–1985)

Родился 21 января 1952 года в Ленинграде. Среднюю школу закончил в 1969 году. До и после службы в армии (1970-1972, Сахалин и Камчатка) работал фрезеровщиком, стропалем, библиотекарем, грузчиком, а с 1977 года кочегаром в Зоологическом институте АН СССР. Стихи начал писать в середине 70-х. Чуть позже стал переводить англоязычных поэтов (Паунд, Йейтс). В начале 80-х приступил к переводу романа Сола Беллоу «Дар Гумбольдта». Перевод остался не закончен. В 1975-77 гг. посещал занятия в ЛИТО при ДК им. Ленсовета. В 1982 году был принят в члены «Клуба- 81». Каждое лето отправлялся путешествовать. Памир, Дальний Восток, Средняя Азия, Северо-Запад России, Волга, Закавказье – вот далеко не полный список мест, где он побывал. В 1980 году женился. В 1981 году у него родился сын, по отцу названный Владимиром. После 1980 года каждое лето он ездил на Белое море, на заработки. При жизни не печатался – ни в официальных изданиях, ни в самиздате; большой корпус текстов опубликован на сайте «Сетевая Словесность» в 2016 и 2017 гг. Умер 25 января 1985 года. Похоронен на Ковалёвском кладбище, недалеко от Бернгардовки, где, по легенде, покоится прах одного из его любимых поэтов, Николая Гумилёва.

***

Если хочешь, чтоб тебя выслушали,
начинай со слов: – Я тоже давно мертвец,
никуда не спеши,
верь только самоубийце,
но главное, будь скромнее...

Художник, и дома не снимая шляпы,
извиняясь за беспорядок, говорит,
что работал всего лишь он – жалкий дилетант.

Поэт хвалит другого поэта, говоря,
что не знает ничего лучше этих или тех строк.

Искусствовед говорит: – Это культурные стихи
или же не говорит ничего.

Муж говорит жене, что в нищей стране
пусть и она со своим ребёнком остается нищей.

Или сыну: – Если б твой отец был настоящим мужчиной,
ничего подобного не случилось бы.

Влюбленный молчит. Но он хочет сказать фразу Пьера:
– Будь я красивейшим, умнейшим, лучшим из людей,
то сейчас же, не раздумывая, на коленях
просил бы руки и любви Вашей...

...Ветер в каждом ищет опоры.

Солнце уже не выдаёт себя за золотые прииски.
Осенний лес ещё богатец,
но завтра не проронит и листа...
Каждый мудр. Как Бог Отец...

Очевидно, пришла пора скромности,
выставок на квартирах,
фотокопий и карикатур.

***

О, моя бедняцкая душа!
Что могу я предложить любимой?

Крылышки летучего мыша
в южных городках любимых...
Расскажу о крематории вещей,
где стоят мои автомобили –
облицовки быстрых миражей,
старые и сплющенные крылья...

Спите, спите в пыли.
Скорости вынули душу.
Спите, мои нули,
корысти ради не думайте.
Я покопаюсь внутри,
как в уголовном деле:

ржавые банки – пни
красного дерева.
Кладбище старых машин –
лежбище битых тюленей...
А если в щёлку ширм, –
просто телеги!

Я не имел вещей
Я не ломал их тел.
Я не умел вещей
и никуда не летел.

Игорь Поглазов (1966–1980)

Родился 27 декабря 1966 года, ушёл из жизни накануне своего четырнадцатилетия, 14 декабря 1980 года. Жил в городе Минске. За последние два года им было написано около двухсот стихотворений. Восемь лет его стихи существовали в самиздате, пока не пробил молчание ленинградский журнал «Аврора». Первым, кто протянул Игорю руку, был журналист «Авроры» – Дмитрий Губин. Следом отозвались белорусская и московская печать. В 1991 году в издательстве «Мастацкая літаратура» вышла книга поэзии Игоря Поглазова «Закрываю двери, которые не открыл». В 1994 году друзья по литобъединению издали его книгу «Стихотворения». Стихи Игоря неоднократно печатались в русской, белорусской и зарубежной периодике, в журнале «Литературa», на сайте «Полутона» с предисловием Дмитрия Строцева. Его творчеству были посвящены две литературные передачи на Белорусском радио и одна – в Нью-Йорке (США).

***

Обвяжи мне шею лебяжьими руками.
Что же было с нами?

Ты меня целуешь нежными губами.
Что же стало с нами?

Ты проходишь мимо, задевая пламя.
Что же будет с нами?

Декабрь 1980

***

Спаси меня от Страшного суда.
Пусть смоет пот дождя пути сюда.
Спаси меня от Страшного суда.

Спаси меня от правильных речей.
Как будто чей-то я и вроде бы ничей.
И позови меня на пиршество дождей.

Убереги меня от Тщетных дум,
И о себе самом Проклятых дум,
И от чужих всегда проклятых дум.

Мой милый друг, безвременен и свят,
Пусть за решёткою окна деревья спят,
Пусть кресла полудремлюще глядят
В остывший засыпающий закат.

О мой философ, друг, приятель мой,
Сегодня я какой-то сам не свой.
Стою у входа в ледяной сезам,
А для чего стою, не знаю сам.

Спаси меня от Страшного суда,
От Правильных речей – от их суда,
От тщетных дум, от тщетных-тщетных дум...

Сентябрь 1980

Геннадий Ильич Лукомников (1939–1977)

Поэт- и художник-аутсайдер. Работал чертёжником, фотографом; рабочим сцены, затем–художником в декораторском цехе Бакинского театра оперы и балета. Погиб, сорвавшись с балкона при не совсем ясных обстоятельствах. Регулярно «издавал» свои рукодельные сборники – рукописные, а в последние годы иногда и машинописные – тиражом от одного до нескольких экземпляров. Посмертно несколько стихотворений публиковались в антологиях «Самиздат века» (Минск – Москва, 1997), «Русские стихи 1950–2000 годов» (М., 2010), газете «Лимонка» (2003, № 212). Рисунки (со статьей Ариадны Арендт об авторе) – в английском международном журнале ар-брюта и искусства аутсайдеров «Raw Vision» (2018, № 97). Отец поэта Германа Лукомникова.

***

Позади мильардная галактика,
Бесконечное количество вселенных,
На душе от путешествий Арктика,
В сердце тыща океанов пенных.

Театральная среда вокруг –
Звёзды танца, оперы вплотную,
И Пегас – мой закадычный друг –
Затащил меня в стихов пивную.

Раж планеты ширится, растёт,
Всё из-за того, что гениален

Я, любивший всех на свете тёт
В тишине роскошных тихих спален.

Так руби же новую главу,
Ибо зло лишь злом перешибают,
Сквозь богатств опавшую листву
Вижу будущих Нью-Йорков стаю.

Чуткий я палач и объедала,
Резвы мысли, словно полотёры,
В животе скандалы за скандалом,
Вот бы всё на свете было горы.

Путешествия совсем надулись,
Роскошь и богатство обалдели,
Эх, пустил бы я в планету пулю –
Хватит похваляться своим Дели.

***

Толстой написал страницу,
Островский закончил пьесу,
Колумб обнаружил Америку,
Кеплер нашёл звезду,
А я обошёл границу,
Дал новый толчок прогрессу,
Спокойствием сделал истерику
И счастьем – езду.

***

Ну и Музу себе откусил
Тот, кто дремлет, питаясь стихами,
Кто рабочими скачет шагами,
Кто творит всею армией сил.
Говорят, что ума не надо,
Если мышцы играют под кожей,
Если ходишь с нахальною рожей
Под кольчугой большого оклада.
Отзвените и прохрустите
Что-нибудь в отношении денег,
И на Марсе какой-нибудь Беник
Вас проводит глазком нефертити.

Игорь Бухбиндер (1950–1983)

Родился в Новосибирске. Учился там же, в университете (факультет математической лингвистики). За участие в акции против ввода войск в Чехословакию был арестован, исключён из университета и выслан в город Фрунзе (ныне Бишкек). Там работал машинистом на фрунзенской ТЭЦ. Помимо стихов, писал рассказы, немного переводил с французского (например, Сименона). Входил в местные ЛИТО («Горные зори», «Время»), друзья вспоминают, что про подающих надежды начинающих авторов в то

время говорили «ну, тебе прямая дорога к Бухбиндеру». Его стихи распространялись через самиздат (например, в первом выпуске альманаха «Майя»), позже они опубликованы в приложении к тому за «Антологии новейшей русской поэзии "У Голубой Лагуны"» Константина Кузьминского). После того как его стихи вместе с альманахом «Майя» оказались опубликованы на Западе, у Игоря снова были неприятности с властями. Умер 4 июля 1983 от астмы в том же Фрунзе. После смерти Игоря его друзья (скульпторы Юрий Пономарёв и Евгений Синявский) сделали надгробный памятник из гранита и мрамора, позже разрушенный вандалами.

***

Нет на свете земли, за которую стоило биться.
Под пятой энтропии прохладна она и чужда.
Словно демон пустыни, поводит ноздрями убийство,
Приходя в города.

О мой ангел небесный, зачем говорить понапрасну?
Оглянись и увидишь, что пала бессмертная рать.
Если время земное тебе не покажется рабством –
Есть ли смысл умирать?

Зрелость света. Сезанн

Красные руки ласкают,
Белые – хлеб подают.
Рушится красная скатерть
В детски-крахмальный уют.
Устлано иглами ложе
В дальнем сосновом раю.
Красный побег невозможен? –
– В белом раздумье стою.

***

И знаю я – всё сбудется с тобой,
Каких бы благ душа ни избежала,
Жужжит оса над сладкою губой,
И я, закрыв глаза, целую жало.

Михаил Фельдман (1952–1988)

Родился в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Погиб в железнодорожной катастрофе в августе 1988 года под станцией Бологое. Автор посмертно изданной книги стихов «Миновало» (1990).

Капитуляция

На всех
моих вещих снах
на словах
на молчании

развевается белый флаг

на моей ненависти
на любви моей
на поэзии

вывешен белый флаг
на стенах
на пейзажах
на прошлом и будущем

вывешен белый флаг

на лицах
на именах
на взлётах и паденьях

развевается белый флаг

со всех окон
спускается белый флаг

и в руках
держу белый флаг

***

Слово ловит
во мне магнитом
чувства и зародыши чувств
среди них
чувство счастья любви
и отчаянья
чувство ревности гнева
и прочие

слово ловит магнитом
другие слова
оно обрастает
звуками запахами
и даже мясом

слово может
обнять приласкать
ранить

нужно сказать слову
доброе слово

нужно сказать солнцу
что оно называется
солнцем
птицу птицей назвать
подыскать
ещё одно имя Богу

Анатолий Кыштымов (1953–1982)

Родился 10 февраля 1953 года в селе Московское Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, в семье крестьянина. Ещё в школьные годы начал писать стихи. В 1971 году окончил школу и год работал в родном совхозе на стрижке овец. В 1972 году поступил в Абаканский государственный педагогический институт на филологический факультет. Был бессменным редактором факультетской газеты, членом литературного объединения института. Выступал со своими стихами перед студентами. Кроме поэзии, увлекался рисованием, резьбой по дереву. После окончания института, в 1976 году, начал работать в абаканской школе № 10 учителем черчения и рисования, потом художником-оформителем в отделении железной дороги и во Дворце пионеров г. Абакана. Создал свой орган издания «Сампич» («Сам пишу, издаю, читаю») и стал автором-издателем своих рукотворных книг: «Радость дождя», «Здравствуй», «Сказка о мышонке...» и других. Первый сборник стихов «Я не прощаюсь» вышел в Абакане в 1993 году, после этого было издано ещё несколько книг избранных стихотворений.

Сердце

Ты многое знаешь,
И многое помнишь.
При звуке любимых имен
Ты радостной кровью
Мне вены наполнишь
И взгляд мой – зажжёшь.
Но что-то случилось.
Лежу я и слышу,
Как бухаешь ты в голове
Всё громче и громче,
Все ближе и ближе,
Как время моё на руке.
И я отнимаю висок от ладони.
Брожу и пою, а потом
Сижу, скособочась, как лодка, что тонет,
Черпнувшая левым бортом.

***

Не скрипят, как первый снег,
Табуретки в тёмном доме...
Незнакомый человек,
Вот тебе мои ладони.
Посмотри в мои глаза,
Назови своё мне имя...
Что-то хочется сказать
Между днями и родными.
Маму б только не пугать,
Одному побыть в квартире...
Плакать в длинную кровать,
Слушать, как там в вашем мире?

Михаил БАРУ

СКАТЕРТЬ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ

Кадом

В Кадом я ехал из Касимова. Сначала по хорошему асфальтовому шоссе, потом по не очень хорошему, потом по плохому, потом, когда пошел грейдер в мелких, заполненных водой зубодробительных ямках, оказалось, что то, плохое, было хорошим и даже очень, потом, через два с половиной часа, за которые я проехал около ста сорока километров, показался Кадом. Не то чтобы показался издалека, как Москва на семи холмах, а так, как появляется маленький провинциальный поселок городского типа – точно гриб из-под опавшего листа. Сначала едешь по улице с частными домами, а потом... Нет, не так. Не успеваешь проехаться по улице с частными домами, как сразу же приезжаешь в центр с внушительным городским собором и крепкими, коренастыми купеческими домами, у которых, кажется, есть не только два верхних этажа – каменный и деревянный, а еще десяток подземных, и растут эти дома здесь не одну сотню лет. Насчет собора я не оговорился – он городской. Кадому пошла девятая сотня лет, и в поселки его разжаловали только в двадцатом веке, в двадцать шестом году, а до этого он был всегда городом. Правда, с екатерининских времен – заштатным, но... начнем с самого начала.

В первый раз Кадом упоминается в Никоновской летописи под 1209 годом. Любой кадомский краевед вам скажет, что к тому времени город был уже о-го-го каким! Если и не было в нем еще кинотеатра и библиотеки, то городская баня и парикмахерская точно уже работали. Относительно того, почему город называется Кадом, существует столько версий... Одни говорят, что «Кадыма» – клич хазар к бою. Князь Святослав, разгромив хазар во второй половине десятого века, отобрал у них в качестве репараций и контрибуций этот клич и присвоил его построенной крепости на восточной границе Киевской Руси. Другие считают, что город так назвали в честь татарского князя Кадыма. Третьи нашли в словаре Даля глагол «кадомить», означающий «ходить из дома в дом, слоняться», и бог знает почему решили, что это все о часто менявшей свое русло реке Мокше, на берегу которой стоит Кадом. Четвертые полагают, что Кадом – производное от мордовского «кадома», означающее нечто потерянное и оставленное. Понятное дело, что Кадом не потерян и не оставлен, но потеряно и оставлено Старокадомское городище, из которого мордву вытеснили славяне, и в память об этом печальном событии мордва решила назвать свое поселение Кадом. Затейливо, что и говорить. Проще всего версия пятых, а вернее, пятого, которого звали Василий Никитич Татищев. Он считал, что название города происходит от арабского «кодим», что значит «стража». И слово это принесли в здешние края камские булгары, торговавшие с местными славянами и собиравшие дань с мордвы. Впрочем, Татищев эту простую и понятную версию выдвинул еще в восемнадцатом веке. Могли ли все те, которые были после Василия Никитича, не прибавить хотя бы... Конечно не могли.

Теперь о событии, в связи с которым Кадом был упомянут в Никоновской летописи. До прихода в те края татар оставалось еще без малого двадцать лет и потому ни о каком сожжении и разграблении города не могло быть и речи. Для того чтобы попасть в Никоновскую летопись, кадомчанам достаточно было убить рязанского тысяцкого Матвея Андреевича. О причинах этого убийства, как вы сами теперь понимаете, историки и краеведы говорят разное. Одни говорят, что тысяцкого убили вместе с теми рязанцами, которые пришли для того, чтобы Кадом мордовский превратить в Кадом рязанский. Другие считают, что рязанцы под деревянным стенами кадомской крепости схлестнулись с камскими булгарами, которые совсем не собирались сокращать свою налоговую базу, отдав за здорово живешь Кадом ненасытным рязанским князьям. Третьи утверждают, что никаких камских булгар не было и в помине, а были половцы...

Так или иначе, а Кадом ко времени всех этих безобразий с рязанским тысяцким был городом. Правда, находился он не в том месте, где теперь расположен современный Кадом, а на восемь километров выше по течению Мокши. Теперь там находится село Старый Кадом. В девяносто втором году прошлого века рыбаки со дна Мокши у Старого Кадома подняли по частям челюсть мамонтенка,

которая теперь занимает почетное место в Кадомском краеведческом музее. Был мамонтенок ручным или диким, был сиротой или жил с семьей и просто потерялся, а кадомские детишки, плававшие как рыбы, затащили его в реку поиграть, и он провалился в омут – теперь уж не узнать.

В 1382 году Дмитрий Донской купил у крещеного мордовского князя Александра Уковича северо-восточную часть Мещеры, и земли, на которых стоял Кадом, стали московскими. Конечно, все было не так просто с этой покупкой – пришлось заключать отдельный договор с рязанским князем Олегом, в котором было прописано, где проходит граница между московским и рязанским княжествами.

Ко времени правления Ивана Грозного Кадом уже не одну сотню лет был городом засечной черты. Через него проходила дорога, по которой из Москвы в Астраханское ханство, в Ногайскую орду и в Заволжье ехали московские послы. Называлась эта дорога Большой Посольской. По ней же гнали табуны из Астрахани в Москву. По ней же послы возвращались обратно в Москву[1]. По ней же везли в Москву соль из прикаспийского озера Эльтон. По ней же, да и не только по ней, приходили татары. Вернее, набегали и отбегали, унося награбленное и уводя пленников. Кроме татар приходили ногайцы, приходили черкесы, приходили даже донские казаки, и всех этих любителей чужого добра надо было встретить, завести в непроходимые леса, навести на засады, капканы и ямы с замаскированными в них острыми кольями, надо было загодя, еще осенью, поджечь степь, чтобы лишить весной, в сезон набегов, свежей травы их лошадей, ну, и наконец, застрелить непрошенных гостей из луков с пищалями и зарубить саблями. Занимались организацией всех этих оборонительно-диверсионных мероприятий специальные люди, называвшиеся «стоялыми головами в поле»[2]. Нельзя не сказать, что среди прочих отражали все эти бесчисленные татарские и ногайские набеги местные кадомские татары, пешие и конные, давно живущие тут и частью уже принявшие православие. Они были организованы в особые татарские полки. До самого Смутного времени засечная черта поддерживалась в полном порядке. Во время Смуты часть засек, острожков и сторожевых вышек пожгли, а что не сожгли – то разорили. Дозорные в отсутствие командиров, приказов и указаний, кто сегодня враг и откуда наступает, просто разбежалась. Время было сложное – соседняя Елатьма стояла за польского королевича Владислава, а в не менее соседнем Темникове окопались сторонники Тушинского вора. В Кадоме стояли поляки и литва. Какая уж тут засечная черта... Только при Михаиле Федоровиче ее стали восстанавливать. И делать это нужно было безотлагательно, потому, что крымские татары набегали на эти места весь семнадцатый век так часто, что крестьянам приходилось пахать с оружием в руках.

Мало того что Кадом был одним из звеньев засечной черты, так он еще состоял в списке городов, которые несли так называемую струговую повинность, то есть был обязан строить и отправлять струги на Дон. Расходы на судостроение раскладывались и на городское и на окрестное население. Пришлют указ из Москвы, в котором сказано, сколько в этом году надо строить стругов, высчитает воевода сумму, необходимую для строительства, разложит ее на каждого и отправляет подьячих во все кадомские дома и окрестные деревни с селами, чтобы те собирали струговые деньги. Если кто думает, что воевода не завышал сумму строительства и не клал часть денег себе в карман... Бывало, и сами сборщики податей присваивали часть собранных денег. И земские старосты присваивали. И воеводы. Конечно, те, кто платил эти налоги, таких безобразий терпеть не желали и потому вышестоящему начальству жаловались, жаловались...

Пока Кадом исполнял роль крепости в составе засечной черты, его перенесли на то место, где он сейчас и находится. Видимо, посчитали, что новое место лучше защищено во время весенних половодий и в военном отношении выгоднее. О времени перенесения Кадома существует несколько мнений. Одни считают... Короче говоря, если все эти мнения сложить вместе и поделить, чтобы вычислить среднее, то получится, что перенесли на новое место город в период от начала двенадцатого века, еще до нашествия татар, до середины шестнадцатого века, уже при Иване Грозном, когда никакую мордву бояться было уже не нужно. На самом деле, судя по грамоте Приказа Казанского дворца, в ведении которого был Кадом при Алексее Михайловиче, перенос города произошел не ранее конца шестнадцатого века, поскольку еще в середине семнадцатого века кадомчане помнили границы принадлежащих им участков в старом Кадоме. Толку, правда, от этой памяти было мало – только одна печаль, потому как все эти земельные угодья были пожалованы Старокадомскому мужскому монастырю. Помнили об этих угодьях и татарские мурзы, которым еще при Иване Грозном их раздавали за службу. Деваться, однако, было некуда. Кадомский воевода на основании указа дал монастырю бумагу, в которой гово-

рится: *«Отказано безоброчно Троицкой Старокадомской пустыни четвертная пашня и всякие угодья, как наперед того владели старокадомские помещики, мурзы и татаровя, и как преж тех мурз и татар владели кадомские посадские люди, пушкари и затинщики»*.

Кстати, о кадомских воеводах. Чаще всего они были из обедневших московских стольников. Воевода в Кадоме это, конечно, не стольник в Москве и даже не полтинник, но поправить свое финансовое положение... Только не надо думать, что кадомские воеводы только и делали, что брали взятки и вообще были медведями на воеводстве. Чижиков они не ели, а вот послами русского царя бывали неоднократно. Была такая в семнадцатом веке практика – брать из Шацкой провинции, к которой тогда был приписан Кадом, воевод и отправлять их главами посольств к иностранным государям. В 1646 году царь послал кадомского воеводу Богдана Минича Дубровского к королеве Христине в «Свецкую землю». Почти сто человек было в этом посольстве. Встретили их торжественно, с пушечным салютом. Дубровский произнес речь и поздравил шведскую королеву от имени русского царя. И кушанья подавались «на сорока осьмех блюдах», и сами блюда были искусной работы, и дорогие вина лились рекой, и никто из наших не упился, и не сболтнул лишнего, и все бы хорошо, но... Христина спросила о здоровье Алексея Михайловича не вставая с трона. Пришлось кадомскому воеводе передать королеве через толмача, что «время бы королевину величеству встать и про великого государя здоровье спросить». Толмач перевел и Христина немедля встала и еще раз, уже стоя, о здоровье русского царя спросила.

Через два года Дубровский поехал во главе посольства в Нидерланды, а еще через двадцать лет уже другого кадомского воеводу, Богдана Ивановича Нащокина, Посольский Приказ назначил своим представителем на переговорах с английским посланником. И каждый раз кадомские воеводы возвращались после дипломатической службы в Кадом. Не оставались в Москве отираться при Посольском приказе. Да и был ли в этом смысл? Приедет воевода к себе домой, в рязанскую глушь, прикажет истопить баню, напарится до полной очумелости, подадут ему стерляжьей ухи с молоками, а к ухе пирог с сомовиной, выпьет он не заморского хересу, а домашней запеканки или водки, настоянной на мещерских травах, поднимется на крепостную стену, посмотрит на тихую безмятежную Мокшу, на облака, плывущие по ней в Оку, на мужичка в заплатанном зипуне, везущего на лодке целый выводок зайцев, даст в ухо подьячему, не вовремя сунувшемуся с бумагой на подпись, вдохнет полной грудью и скажет:

– Господи, хорошо-то как!

Потом посмотрит ласково на съежившегося от страха, потирающего ушибленное ухо подьячего и добавит:

– В другой раз велю тебя, анафема, высечь. Ступай теперь. Да скажи там, чтобы наточили как следует мою рогатину. Ту, у которой тулья с серебряной насечкой. И пищаль пусть вычистят, а то еле пищит. Завтра на медведя пойду.

И о толмачах, раз уж о них зашла речь. Среди кадомских татар были целые династии потомственных толмачей. Состояли они при посольствах в Крым, в Астрахань, в Казань и в Порту. Толмач мог попасть в плен, умереть или состариться, и тогда на его место брали такого же кадомского татарина или он сам просился на эту должность при Посольском приказе. Вот вам и медвежий угол.

Вернемся, однако, к набегающим крымским татарам, ногайцам и черкесам. Тревожили они эти края до сороковых годов восемнадцатого века, и только после заключения мира с Турцией при Анне Иоанновне кадомский край из прифронтового стал тыловым, а при Петре Первом все засеки еще были, что называется, в рабочем или боевом состоянии.

Надо сказать, что при Петре Алексеевиче даже мирная жизнь проходила в боевом состоянии. В семьсот восьмом году был объявлен набор с десяти дворов по одному человеку на строительство Петербурга, Таганрога и Азова. В том же году Петр приказал выслать из Шацкой провинции, а значит, и из Кадома, всех «виноватых баб и девок», которых определяли в работу на полотняных и прядильных заводах. Покоя не было никому. Через шесть лет кадомскому воеводе Кошкарову было велено собрать всех дворянских недорослей старше десяти лет на смотр к губернатору, с тем чтобы определить их пригодность к службе, и тех, кто окажется годными, отправить в военную канцелярию. Кошкаров... почти год *«ни о чем не пописывал и оных недорослей никого не высылал»*. Петр Алексеевич написал Кошкарову еще одно письмо, в котором предписывал *«тотчас донести и прислать таких ослушников список, а за такое их ослушание поместья и вотчины отписывать на великого*

государя». Теперь уже велено было всем дворянам от десяти до тридцати лет явиться на смотр в Петербург, в Сенат. Петр, прекрасно понимая, что и тут найдутся желающие уклониться от призыва, прибавляет *«кто до марта месяца не явится и кто на такого известит, оному все его пожитки и деревни отданы будут, какого бы оной низкого чина ни был, или хотя слуга оного, без всякого препятствия»*. Надо сказать, что все эти письма Кошкарову писал не какой-нибудь третий секретарь одной из сенатских коллегий, а сам царь, для которого не существовало мелочей. К примеру, велено было Кошкарову отослать в Петербург самых лучших кузнецов. Не на время, а насовсем. Можно себе представить, как обрадовался этому указу Кошкаров, не говоря о кузнецах и их семьях. Мало того, Петр требует, чтобы воевода для уезжающих собрал командировочных по две деньги со двора. И чтобы Кошкаров, не дай Бог, не схитрил и не отобрал кузнецов поплоше, прибавляет: *«А ежели выбранные кузнецы будут в делах своих плохи, выбравшие их за несмотрение будут лишены всех своих движимых имений и чести с жестоким истязанием»*. Вряд ли Кошкаров имел сомнение насчет неотвратимости лишения чести и жестокого истязания.

Без наказаний не обходилось. Да и как было без них обойтись... К примеру, предписывает царь Кошкарову, чтобы кадомские купцы *«отпустили в Санкт-Петербург на продажу за море без умедления нынешним зимним путем»* пеньку и юфть. *Тем более что задаток купцы уже за них взяли. Купцы, конечно, отпускают, но... поставляют гнилой товар. Заморские партнеры бессовестных кадомских купцов пишут жалобу Петру Алексеевичу, и всех, кого Кошкаров смог по этому делу поймать, ссылают по царскому указу в каторгу навечно, а тех, кто «сыщется в таком воровстве после, и таковых казнить смертью»*[3].

Посылкой кузнецов в Петербург дело не ограничилось. В семьсот двадцатом году было велено собрать с каждого двора по пять алтын и полторы деньги на «строение по Неве реке изб», да налоги с рыбных ловель, да с мельниц, да с пустошей и сенных покосов, да с воскобоен, да с торговой бани, да с найму подвод, да с меду и куньего меха пошлин, да подушные налоги с монастырских и помещиковых крестьян, с служилого чина, с попов, со служилых, дворовых и деловых людей, да с малолетних, которым десяти лет не исполнилось... При Анне Иоанновне умудрились обложить налогом даже личные бани, с которых полагалось платить рубль в год. При таких поборах население стало разоряться, и крестьяне из деревень в окрестностях Кадома стали попросту разбегаться, чтобы не платить недоимки. Бежали на Дон. Оставшиеся должны были платить за тех, кто убежал, а потому бежали даже богатые крестьяне. Власти, понимая, что по-хорошему недоимки им не получить, присылали для их сбора по-плохому специальные воинские команды. Жители Кадома и окрестных деревень этим командам, мягко говоря, не радовались. В 1754 году отряд по налоговой разверстке прибыл в Кадом и пытался арестовать бургомистра, чтобы отдать его под следствие. Не тут-то было. Один из ратманов собрал три сотни человек с дубьем, которые пришли к зданию воеводской канцелярии и бургомистра отбили. Бургомистр отказался пойти на расспрос в канцелярию. Вахмистр, командовавший воинской командой, писал в своем отчете начальству: «не пошел и с немалой дерзостью и необычайным криком так сердцем своим опалился, что говорил: “Мы, де вас и преж сего таких приезжих видели и с ними поступали по своему кадомскому обыкновению, да и ты, де, присланный, не дождися того, чтоб и тебя по шее отсюда не выбили. А ежели, де ты под неволю захочешь меня взять то хотя и с ротой прислан будешь взять не дамся”».

Бежали не только от налогов. Бежали от рекрутчины. Отсиживались в лесу, пока не отрастали обритые волосы. Плели лапти и рогожи, вили веревки а потом обменивали все это на хлеб и другие продукты у приезжавших в лес крестьян. Кто-то из беглых уходил на Дон и там работал поденщиком у казаков, кого-то прибирали к себе местные помещики для разных темных дел, а кто-то собирался в разбойничьи шайки. Весь восемнадцатый и первую половину девятнадцатого века по дорогам близ Кадома трудно было проехать, чтобы не попасть в руки грабителей. Правду говоря, в этих глухих местах, в этих дремучих лесах разбоем занимались и до восемнадцатого века. По кадомским лесам разгуливали шайки разбойников. Численность некоторых из них достигала сотни человек. Летом они плыли по Мокше на многочисленных лодках и грабили окрестные села, сельские церкви, монастыри, кабаки, таможни и помещичьи усадьбы, а зимой выезжали на разбой в обозах, в которых иногда было до семидесяти подвод. Властей не боялись – грабили «дневным разбоем». Да и как было боятся властей, которые посылали против них воинские команды, состоящие большей частью из отставных

солдат и инвалидов. Со стариками бандиты вели себя благородно – отберут ружье и отпустят домой. Правда, перед тем как отпустить, высекут для острастки. В одном из сел не только ограбили церковь, но и заставили священника окропить святой водой свои лодки.

Мало-помалу в Кадомском уезде разбой сделался таким выгодным предприятием, что им занялись все сословия, включая священнослужителей. В селе Богданово Кадомского уезда священник Макарий и его дочь прятали у себя дома разбойников и награбленное. Три сына Макария грабили окрестные села, поместья в соседнем Шацком уезде и плывшие по Мокше лодки. Из этих трех только один был беглым рекрутом – остальные два были священниками. Кадомский купец Волков ограбил двух женщин и был приговорен «к наказанию кнутом и к вырезанию ноздрей до кости». Дело дошло до того, что и кадомские дворяне подались в разбойники. Отставной прапорщик Маматказин с пятью сообщниками ворвался в дом капитана Шишова, когда тот был на службе, и вынес из дома шкатулку с тысячью рублями золотом. Еще и избил домочадцев капитана. Крестьяне князя Беглова из деревни Еромчино Кадомского уезда с дубьем... Кадомский купеческий сын Шветчиков с дворовыми людьми, вооруженные ружьями, рогатинами и кистенями... Пуще всех лютовали разбойничьи шайки, в которых были атаманшами местные помещицы – княгиня Енгалычева, коллежская регистраторша Моисеева и вдова кадомского помещика Февронья Разгильдеева[4]. Эти разбойницы не только приказывали своим людям грабить, но и сами активно участвовали в грабежах и избиениях несчастных жертв. Нападали на всех без разбору. В сохранившихся в Тамбовском историческом архиве документах есть жалобы на Енгалычеву от дворового человека кондуктора инженерного корпуса Савельева, который показал, что разбойница *«била их дубьем смертным боем, и сняли с них господских денег 15 рублев, да шубу новую, цена 2 рубля, кушак новый верблюжий, цена 30 копеек, да шапку с рукавицами, цена 50 копеек. И стали мы от тое лютости едва живы, а наижесточае бил нас княжин дьячок села Матчи Силантий Семенов»*. Фамилия дьячка из села Матчи встречается и в жалобе дворянина Веденяпина, которого нужда заставила по дороге из Елатьмы в свое имение остановиться на ночлег в селе Большое Никиткино Кадомского уезда у дворянки Чурмантеевой. *«И в то число, – писал Веденяпин, – в полночь к оной вдове Чурмантеевой приехала воровски М.А. Енгалычева с людьми своими и со крестьяны и села Матчи попом Семеном Акимовым да церковником Силою Семеновым, и связав меня, били смертно и топтали и денег семьдесят рублев моих отняли, и лошадь мерина гнедова отняли ж...»*.

Дело кадомского помещика отставного драгуна князя Алексея Мансырева было и вовсе из ряда вон. Князь был в гостях, когда на него напали люди неукротимой Февроньи, ограбили, отняли лошадей, экипаж и теплые вещи. Ну, это бы еще полбеды. Беда была дальше. Разбойники связали и привезли князя в дом своей атаманши, которая стала его бить по щекам и таскать по полу за волосы. Этого ей показалось мало, и она приказала зашить князя в рогожный куль, что и было немедля и с охотой исполнено ее людьми. Бог знает, что случилось бы дальше с отставным драгуном, если бы староста Разгильдеевой этот куль не распорол. Тогда Февронья решила князя опоить. Принесла два графина вина и насильно заставила его выпить их содержимое. Пьяного Мансырева посадили на лошадь и староста ударил ее цепью. Лошадь понесла и сбросила князя[5].

Надо сказать, что нравы ~~кадомских печенегов~~ обычных жителей Кадома и уезда, не занимавшихся разбоем на большой дороге, не сильно отличались от нравов тех, которые им занимались. Кадомские купцы отличались буйным и необузданным нравом. Один выгнал из Преображенской церкви священника и не поленился все церковные двери закрыть на свои замки, другой любил пригласить полный дом гостей, а как те придут, то вместо водки и закусок потчевал их палками, розгами и таскал за волосы, третий так искусал за нос и щеки четвертого, что то вынужден был обратиться в городскую ратушу для того, чтобы его укусы освидетельствовали и привлекли обидчика к ответу. Встречались и совсем дикие случаи. Князь Енгалычев пригласил к себе в гости дворянина Петра Малахова и налил ему большой стакан водки. Такой большой, что Малахов понял – ему все не выпить и отказался. Тогда Енгалычев обиделся и вылил водку из стакана на голову Малахова. Ну, кабы этим дело ограничилось, то оно бы и ничего, но это, как оказалось, был лишь первый акт драмы, которая мгновенно превратилась в трагедию. Во втором акте Енгалычев поджег облитые водкой волосы Малахова.

От этого, как писал в жалобе потрепевший, у него «волосы на голове догола все погорели и лицо все, тако ж и глаза от того повредились, и руки позжены, и едва... показанной Енгалычев затушил сам шубною полою».

Девять лет Енгалычева искали, чтобы наказать. Девять лет посылали за ним нарочных из уездной канцелярии, но никак не могли застать его дома – то он на охоту уедет, то на рыбалку, то в деревню следить за тем, как идет сенокос, то к соседке чай пить, то в баню, то в... Бывало и нарочные заблудятся в полутора кадомских улицах и придут не к тому дому. Постоят разиня рты, почешут в недоумении затылки, да и пойдут обратно в канцелярию. Еще и в кабак на обратном пути завернут.

Нельзя сказать, что власти не реагировали на разгул воровских шаек в Кадомском уезде. На главных дорогах и разъездах стояли вооруженные пикеты, по Мокше плавали на лодках патрули, жителей призывали покрепче запираться на ночь и держать в доме оружие, а люди богатые не передвигались по уезду иначе, как в сопровождении специально нанятой вооруженной охраны. Для помощи в поимке преступников присылали из других городов крупные воинские подразделения. Однажды прислали целый Донской казачий полк и *«...те донские казаки делали озорничества, обнобляли народ на морозе и забивали многих плетьми и саблями до смерти»*. Вот такие тогда были озорники... И все же к середине девятнадцатого века разбойничьих шаек в Кадомском уезде стало куда как меньше. То ли это произошло по причине интенсивного освоения сельскохозяйственных угодий, то ли от развития ремесел и, вследствие этого, занятости делами, то ли от того, что налогов стали платить меньше, то ли от общего умягчения нравов... В 1867 году губернские статистики в своем отчете писали «Жители Кадома отличаются простотою нравов, ведут жизнь скромную, убийств и грабежных случаев не было».

Вернемся, однако, в восемнадцатый век. Было бы несправедливо говорить, что он прошел в Кадоме и окрестностях под знаком разбоя на большой дороге. В 1766 году кадомское купечество и мещанство писало наказ своему выборному купцу Рожнову, который должен был его отвезти в Петербург, в Уложенную комиссию. Пунктов в этом «Наказе» было всего восемь. Среди прочего, кадомское купечество просило запретить дворянству торговать. Совсем запретить и «ни под каким видом в торги и откупы касающиеся купеческой пользы коммерческие промыслы не вступать, дабы купечеству подрыва и помешательства не чинили». Не хотело кадомское купечество и мещанство конкурентов. Хотело, чтобы им разрешили иметь крепостных. Конечно, купечество понимало, что вряд ли им разрешат, но вдруг... Просили выселить из города пушкарей, которые именовались однодворцами. Пушкарями они уже сто лет не были, а вот торговлю, как однодворцы, кое-какую могли иметь и имели, и были купцам не то чтобы поперек горла, но... Бывших пушкарей, кстати, выселили в новую слободу за город и не дожидаясь указа из столицы. Еще просили, чтобы купцам убавили срок на выборной должности бургомистра и ратманов с пяти до трех лет. Уж очень мешала должность бургомистра или члена городского магистрата купеческим делам... Нет, теперь себе такое представить решительно невозможно. И еще одна просьба была у граждан города Кадома – освободить от подушного оклада всех немощных и уродов. Куда там освободить... Хотя бы подлечить... При Екатерине Второй в Шацкой провинции был всего один лекарь, который проживал в Шацке за сто сорок верст от Кадома и в Кадом носа не казал. Вот купцы в «Наказе» и писали: «От оного лекаря никакой пользы кадомские купцы не получают, да и оной лекарь никогда в Кадоме не бывал».

Через пять лет после жалоб на отсутствие городского врача в Кадом пришла чума. Через год чума ушла, но вместо нее пришел массовый конский падеж. Еще через год, вместо пошедшего на убыль конского падежа, в Кадомский уезд пришли пугачевские отряды. Кадомский воевода Зенбулатов, узнав о приближении бунтовщиков, мгновенно исчез из города в неизвестном направлении, а его заместитель Сомов отправил в соседний Шацк гонца с запиской, в которой дрожащей рукой писал, что «кадомское купечество и ратуша подозрительны, к защите города ненадежны и бунтуют». Зря он так о купечестве. Из кадомских купцов только один Трофим Евсеев «самоохотно» оказался среди сторонников Пугачева. За что и был сначала приговорен к смертной казни, а потом помилован, закован в железа и отправлен в Оренбург, в каторжные работы. Зато кадомских пономарей оказалось среди повстанцев целых два. Эти приняли активное участие в грабежах помещичьих усадеб, монастырей и стекольного завода купца Коржавина. Один из этих пономарей, Савватий Марков, еще и именовал себя «царским офицером». Впрочем, до взятия пугачевцами Кадомской крепости дело так и не дошло.

В 1779 году Кадом стал уездным городом Тамбовского наместничества. Городу дарован был герб, на котором «в зеленом поле два положенные крестообразно молотила». Кадомские поля, конечно, своей урожайностью не славились – чернозема там нет никакого – одни суглинки, но в Кадом из Тамбовской и Пензенской губерний осенью и зимой свозили в купеческие и государственные амбары хлеб, а весной отправляли в Москву и Петербург. Ну, а из Петербурга, даже если посмотреть на Кадом в сильную подзорную трубу, ничего, кроме хлебных амбаров и каких-то крошечных, величиной с муравья, купцов и мужиков с мешками на спинах, снующих возле этих амбаров, не видно. Не изображать же на гербе амбары и этих муравейных мужиков с мешками. Вот и...

И все же прогресс не обходил Кадом стороной. В 1780 году кадомский городничий князь Маматов приказал снять первый план города «в целях соблюдения порядка в расположении строений». В городе поставили будки, поместили в них усатых будочников, учредили караулы, запретили стрелять из ружей и спускать с цепи собак. И это не все. Солодовни и кузницы вынесли за город. И, наконец, городские власти решили навести порядок среди беспризорных свиней, разгуливавших во множестве по улицам города. Для них назначили специальных пастухов, которые... Бог знает, что эти пастухи делали со свиньями – то ли уговаривали их разойтись по домам, то ли нещадно секли хворостинами, не переставая при этом уговаривать, то ли отводили на штрафные стоянки и потом заставляли хозяев втридорога оплачивать их содержание за счет города.

Развивалась и промышленность. В уезде были разведаны запасы железной руды, и братья Баташевы в середине восемнадцатого века купили здесь землю, крестьян и построили железоделательный завод с домной для выплавки чугуна. Вслед за ними еще два брата, князья Репнины, тоже построили железоделательный завод. Репниным землю и крестьян покупать не пришлось – они в этих местах владели ею давно. Правда, в 1776 году князь Петр Иванович, бывший обер-шталмейстером, генерал-аншефом и действительным камергером, которого все эти домны, молоты, горновой камень, флюсы и чугуны отвлекали от интриг при дворе, уговорил брата продать завод и родовые земли в Кадомском уезде братьям Баташевым. И продал за восемьдесят тысяч рублей. Баташевы так энергично скупали окрестные земли и строили на них заводы, что к концу восемнадцатого века у братьев в Мещере было девять заводов, производивших несколько десятков тысяч пудов железа. Вывозили его в Петербург, Нижний, Москву и продавали на местных ярмарках. Зимой везли на подводах, а летом – по Мокше и Оке на гусянах, мокшанах[5] и дощаниках, которые местные умельцы строили тут же. Судостроением здесь занимались давно. Надо сказать, что инструмент у судостроителей издревле был один – топор. Отходов при таком способе производства было не море, но река. Еще и побольше Мокши. Петр Первый еще когда обязал местных жителей строить водяные мельницы, на которых можно было бы не только молоть зерно, но и пилить доски. Местные жители на слова Петра Великого... внимания не обратили. В 1764 году уездная канцелярия вменила в обязанность жителям покупку ручных пил. Местные жители на это вменение в обязанность... не обратили внимания. Тогда за постройку «топорных» судов решили накладывать штрафы и сами суда уничтожать. Местные жители... Только после постройки местными купцами прямо на пристанях по Мокше и ее притоке Ваду пильных заводов местные жители согласились не то чтобы зарыть топор войны, но хотя бы заткнуть его за пояс.

Что же до промышленности, то, кроме ковровой фабрики князей Енгалычевых, продукция которой шла в обе столицы и продавалась на ярмарке в Нижнем, их же суконной фабрики, стекольного завода полковника Бобрыкина, сдаваемого им в аренду какому-то московскому купцу, и винокуренного завода купца Муханова, прибавить к металлургическим заводам Баташевых почти и нечего. Нет, конечно, можно учесть крошечные свечные заводики, светимостью в сорок или шестьдесят свечей в год, разные салотопни, красильни холста, называвшиеся кирпичными заводами сараи, в которых обжигали кирпичи, самогонные аппараты отдельных обывателей, плетение лаптей, заготовку грибов, ягод, вязанье носков, квашение капусты и пение печальных песен при лучине, но мы этого делать не станем.

В 1787 году Кадом перестал быть уездным городом и началась его заштатная жизнь. Тотчас же осмелели свиньи, которые стали разгуливать по Кадому так, точно это был не город, хоть и заштатный, а вовсе деревня. Обыватели стали просыпаться по утрам на полчаса позже, а потом и на час. Была упразднена уездная канцелярия, и оба писца – старший и младший – оставшись без работы, запили горькую. Количество убитых мух, в пересчете на одного обывателя, увеличилось буквально за какой-нибудь год в три с лишним раза. И это не считая пойманных, но отпущенных. Не говоря о клопах.

Русская уездная жизнь страшна тем, что живи ей хоть сто, хоть двести лет – все равно ни до какого будущего не доживешь. Как ни изворачивайся, как ни вытягивай шею вперед, как ни оглядывайся назад – все равно ничего, кроме настоящего, не увидишь.

В войне двенадцатого года кадомцы приняли участие в составе народного ополчения Тамбовской губернии, к которой тогда был приписан Кадом. Пока его собирали, пока покупали ружья, сапоги, валенки, армяки и суконные шаровары, пока меняли гнилое сукно на хорошее, пока схваченные за нечистую руку купцы, тряся бородами и крестясь, клялись, что черт попутал, что сукно и сапоги были самого отменного качества, что видно от сырости или от мышей, не говоря о моли, которая сожрала без остатка валенки... остатки армии неприятеля и сам Бонапарт сумели переправиться через Березину.

Все же, в заграничных походах кадомцы успели принять участие. В пятнадцатом году ополченцы вернулась домой и привезли трофейного шампанского, шарманок, кашемировых шалей, женских тюрбанов на восточный манер, шляпок с атласными лентами, сшитых по последней парижской моде и таких бесстыжих полупрозрачных кисейных платьев, что кадомские дворянки и купчихи просто вырывали их друг у друга из рук, чтобы... нет, не примерить, Боже упаси, но... может быть... снять выкройку и сшить точно такое же, но муаровое, а лучше шерстяное, с завышенной талией и закрытой наглухо грудью, длинными рукавами, опушкой из беличьего меха... Одним словом, что-то вроде салопа, чтобы зимой, когда ударят морозы...

Девятнадцатый век прошел в Кадоме как проходят века и даже тысячелетия в заштатных городах наших провинциальных губерний. Все те же винокурни, салотопни, торговля лесом, свечные и стекольные заводики производительностью десять рюмок и две бутылки в месяц каждый, те же кустари с деревянными ложками и лаптями, те же грибы, ягоды, квашеная капуста и квашеная капуста с клюквой и антоновскими яблоками, лещи, караси и налимы, пойманные в Мокше, те же печальные песни при лучине... Кстати, о лещах. В Кадоме в дни, когда нерестился лещ, запрещали колокольный звон. Даже тогда запрещали, когда дни нереста совпадали с Пасхой.

В двадцать четвертом году, незадолго до своей смерти, приезжал, а вернее, проезжал через Кадом по пути из Тамбова в Пензу Александр Первый. Угощали его, конечно, не карасями, а разварными стерлядями, которые, надо заметить, до сих пор водятся в Мокше[6], и рябчиками из окрестных лесов. Когда через тринадцать лет через Кадом проезжал цесаревич Александр Николаевич, его тоже угостили стерлядями и рябчиками. Проезжай сейчас через Кадом... Впрочем, теперь государи через забытые Богом поселки городского типа не ездят, а стерлядь и рябчиков им привозят по месту жительства.

В тридцатых годах в Кадоме дважды свирепствовала холера. Как раз тогда, когда Пушкин дописывал в Болдине «Евгения Онегина», в Кадоме, в окрестных селах и деревнях хоронили умерших от морового поветрия. Первый врач появился в Кадоме только после отмены крепостного права – в шестьдесят четвертом году. Впрочем, появись он раньше... В соседней Елатьме уездное начальство в разгар эпидемии тридцатого года докладывало в Тамбов, что в селе Богоявленский Погост «ныне... выстроен балаган, в котором всегда находятся два караульных, которые беспрерывно жгут навоз». Это, думается мне, все, что нужно знать о провинциальном здравоохранении первой половины девятнадцатого века в России.

В 1839 году в Кадоме открыли первое учебное заведение – приходское училище. Кадомский городской голова Буренин пожертвовал для него свой дом. Кадомское городское общество обязалось каждый год выделять училищу тысячу сто рублей. Об открытии училища даже писали в «Тамбовских губернских ведомостях». Учили детей четырем предметам – арифметике, Закону Божию, чтению и письму. Четверть века прошла после открытия училища, и власти открыли в нем класс для девочек. Приняли в этот класс десять девочек восьми и девяти лет. Ну, а женскую гимназию в городе построили только в девятьсот пятом году. И все это при постоянном росте количества салотопен, лесопилен, лаптей и квашеной капусты с клюквой на душу населения, свечных и кирпичных заводиков, каждый из которых был мощностью в один домик кума Тыквы в месяц, и печальности песен, которые пели при лучине. Ко времени отмены крепостного права в заштатном Кадоме было почти девятьсот домов и семь с половиной тысяч жителей. Это было... обидно потому, что в соседних уездных городах Шацке и Темникове, который к тому же был уездным городом для Кадома, населения и домов было меньше. Дает, к примеру, уездный предводитель дворянства ежегодный был, а ты бросай все и езжай к нему за тридевять земель в Темников вместо того, чтобы просто выйти из дома и пройтись... Впрочем,

пройтись по улицам Кадома было не так просто, если ты не в сапогах. Улицы были немощеные. Домовладельцы, каждый перед своим домом, гатили их хворостом. Вот и пробирайся по этому хворосту. Особенно под вечер, когда фонари... Хотя какие фонари... откуда...

Не все, однако, было так плохо. По данным Тамбовского губернского статистического комитета в Кадоме, в первой половине шестидесятых годов позапрошлого века проживало семь живописцев. И это при том, что кузнецов было всего шесть! Не говоря о портных, которых было всего десять. И это не все. В конце девятнадцатого века зародилось в Кадоме и уезде такое, чего не было нигде. И сейчас нет нигде, кроме Кадома.

Впрочем, тут надо все по порядку. О том, что в Рязанской и Тамбовской губерниях много мест, где плели и плетут кружева, известно всем. Плетут здесь на коклюшках, как плетут и в Вологде, и в Балахне или даже в какой-нибудь Бельгии. И в Кадоме, и в окрестных деревнях и селах тоже плели – кружевные салфетки, полотенца и скатерти, которыми наши бабушки так любили украшать буфеты, комоды, этажерки, столы и диваны. Те самые кружевные салфетки, которые нас приучили не любить и считать символами мещанского быта. В конце девятнадцатого века еще никто не знал и даже не догадывался об этом символизме. Именно тогда кадомская помещица Мария Александровна Новосильцева стала скупать у местных рукодельниц эти кружева. В своем имении Муханово близ Кадома она организовала пункт по приему кружев. В те годы как раз случился неурожай, и крестьянки охотно продавали кружева, которые никто и никогда у них не покупал. Поначалу Новосильцева и не ожидала никакой прибыли от покупки этих кружев – это была скорее благотворительность, чем коммерческое предприятие. Однажды Новосильцева зашла в дом к одной из жительниц Кадома и увидела на комоде красивую кружевную салфетку, вышитую неизвестным ей способом. Оказалось, что вышивка эта сделана иголкой, и умению так вышивать хозяйка дома училась у матери, а мать у бабушки, а бабушка... Новосильцева не стала ждать рассказа о прабабушке, а немедля пригласила мастерицу и ее сестру, которая тоже умела так вышивать, к себе в имение и определила их наставницами крестьянских девочек, уже обучавшихся мастерству вышивания. Так началась кадомская игольная вышивка, непохожая ни на какую другую. Называется она «Кадомский вениз». Почему «кадомский» понятно, а вот почему «вениз» объясняет другая история, больше похожая на легенду.

Царь Петр желал, чтобы его придворные были одеты по последней европейской моде. Эта самая мода предполагала наличие кружев в туалетах женщин и мужчин. Какие у нас были кружева к началу восемнадцатого века... Представьте себе, к примеру, думного боярина в кружевах или стрелецкого полковника... Нет, лучше не представлять. Впрочем, Петр не занимался умственными построениями – он просто приказал привезти специально купленных венецианских кружевниц в Кадом, где они должны были обучить монахинь местного монастыря кружевоплетению. Царь любил, когда монахи и монахини заняты производительным трудом. Он и вообще считал, что молиться они должны в свободное от работы время. Короче говоря, кружевницы приехали и увидели Кадом... Сначала-то они ехали по дороге, по обочинам которой росли дремучие мещерские леса и в кустах сидели соловьи-разбойники, потом... Нет, этого даже и представить себе невозможно – еще месяц назад вы катались на гондолах по каналам, слушали концерты Вивальди, веселились на карнавале, пили горячий шоколад или венецианский кофе с коньяком и сливками, угощались венецианскими пирожными – и вдруг дремучие леса вокруг, монастырь, похожий на тюрьму, мужики, похожие на медведей и пьющие водку из колодезных ведер, сами медведи, играющие на балалайках, монахини с постными лицами... Первые кружева, сплетенные венецианскими кружевницами в Кадоме, были мокрыми от слез, а потом дело пошло, потом мужики, которые поначалу казались такими дикими... потом водка... потом балалайки... Нет, не так. Потом монахини, освоив секреты венецианского кружевоплетения, превзошли его и сочинили, как композитор сочиняет сонату или симфонию, выращивая ее из маленькой мелодии в несколько нот, неповторимое игольчатое кружево, кружевное Фаберже, которое...

Впрочем, я увлекся легендой и забежал вперед. В конце девятнадцатого века и в начале двадцатого кадомская вышивка еще только начиналась и делала первые неуверенные стежки. Вернемся в Кадом того времени и посмотрим на... торговлю лесом, винокурни, салотопни, воскобойни, квашеную капусту, лапти, стерлядь, лещей, карасей и налимов. Куда от них денешься... Возле Кадома, в Большом Лунине и в Сидоровке делали ушаты, кадки и лохани. В селе Старый Кадом и вовсе плели из ивовых прутьев корзины и кошелки. Плели при свете лучины и пели песни, печальнее которых... Впрочем,

прогресс все же был. Лапти, к примеру, стали плести левые и правые, а не одинаковые, как раньше. В селе Ермишино к началу двадцатого века было уже пятьдесят семь гвоздилен! У помещицы Новосильцевой, кроме светелки, где обучались кружевницы, был винокуренный завод, и работал он не по старинке, используя в качестве сырья рожь, а картофель, но... улицы все равно были немощеные. Только в девятьсот двенадцатом году, когда в Кадоме было уже более тысячи домов, уездное земское собрание упросило губернскую управу выделить городу денег, чтобы хворост заменить на булыжную мостовую хотя бы на части главной улицы. И даже с немощеными улицами Кадом был самым крупным городом в уезде – в нем проживало чуть более девяти тысяч человек, а в уездном Темникове всего восемь тысяч. В тринадцатом году базар в Темникове дал сборов семьсот рублей, а в Кадоме – две тысячи! Обидно, что и говорить... И это не все. В начале прошлого века в городе было три церковно-приходских школы, гимназии... правда, население просило у властей, чтобы в школах, кроме грамоты, от которой, если честно, в повседневной кадомской жизни было толку мало, открыть ремесленные классы, чтобы детей научить какому-нибудь ремеслу. В девятьсот третьем году в городе открыли целую ремесленную школу. Рядом с городом, в селе Куликово, работала школа-мастерская, которую содержал помещик Селезнев с процентов своего капитала. Выходили из школы кузнецы и слесари. И такие это были слесари и кузнецы, что их работы получали почетные дипломы на Нижегородской выставке, похвальные листы на Тамбовской и как-то раз получили бронзовую медаль на всемирной Парижской выставке. На работу они устраивались, как правило, в крупных промышленных центрах.

Городские власти не жалели денег на народное образование. В одиннадцатом году расходы на него составляли треть бюджета Кадома. Они тогда еще не знали, что большевики назовут это Ликбезом и запишут себе в послужной список. В тринадцатом году в городе открылась школа кружевниц. Через два года после открытия при школе появилось общежитие, и в нее стали принимать девочек из окрестных сел и деревень. Попечительницей школы была дочь Марии Александровны Новосильцевой – Мария Юрьевна Авинова, написавшая в тринадцатом году книгу о развитии кустарного дела в Кадоме[7]. Авинова открыла в Кадоме «пункт женских рукодельных работ», с которым сотрудничало до девятисот местных крестьянок. Кружевные изделия поставлялись заказчикам в Москву, Петербург, Киев и Лондон. В Лондон, а не в Темников. В год их вырабатывалось почти на восемнадцать тысяч рублей. Уже в десятом году была завоевана первая бронзовая медаль на Моршанской сельскохозяйственной выставке, через год на той же выставке большая серебряная медаль, еще через год – золотая. В том же году была получена золотая медаль на Тамбовской сельскохозяйственной выставке, а в тринадцатом году кадомские кружевные изделия были удостоены золотой медали уже на Всероссийской кустарной выставке.

Пункт Авиновой проработал пять лет – до восемнадцатого года и был коммерчески успешен. Самое удивительное, что отечественные заказчики требовали кружев, вышитых по западным образцам, а заграничные заказчики – по отечественным. Хотя... это и не удивительное вовсе.

Перед самой первой мировой Кадом полюбил чтение. Земское «Общество по устройству народных чтений» стало устраивать народные библиотеки, сельские читательские пункты, закупать для них по льготным ценам волшебные фонари и диапозитивы. В Кадоме работала городская публичная библиотека имени Пушкина, открытая еще в 1868 году. Там выступали с лекциями местные учителя, врачи, агрономы и священники. Это было время, когда местная интеллигенция была полна надежд услышать уже завтра ангелов, увидеть всё небо в алмазах, увидеть, как всё зло земное и все страдания... Никто тогда и не догадывался, что вместо неба в алмазах большевики покажут им небо с овчинку.

Советская власть пришла в Кадом лишь весной восемнадцатого. Поначалу думали, что обойдется – железная дорога обходила Кадом далеко стороной, обычные дороги... знаем мы, какие у нас обычные дороги. Леса глухие, городок маленький, заштатный, экспроприаторов кот наплакал. Такие обычно не нужны никакой власти – ни старой, ни новой, но... не обошлось. В марте на общегородском митинге избрали Ревком и Совет депутатов, председателем которого стал какой-то бывший матрос. Совдеп сразу стал реквизировать у купцов дома и все, что в этих домах было. Создали женотдел и возглавили ликвидацию неграмотности. Распахали луга под просо и стали налаживать снабжение продовольствием населения. Не забывая, конечно, о нуждах пролетариата в обеих столицах. Так наладили, что уже к лету того же года в городе начались волнения и на центральной площади собралась толпа, выкрикивающая антисоветские лозунги. Бывший матрос, не долго думая, вызвал на подмогу из Темникова отряд конных красноармейцев. Командир этого отряда, не долго думая, установил на

балконе горсовета пулемет и дал несколько очередей над головами. Толпа тоже решила долго не думать и быстро разбежалась. Зачинщиков волнений, а заодно и нескольких купцов, посадили в подвал дома с пулеметом на балконе и потом, чтобы не выпускать их просто так, взяли контрибуцию. Больше контрреволюционных выступлений в Кадоме не было.

Осенью того же года в городе праздновали первую годовщину революции. Пел объединенный хор школьников. Бедным по решению новых властей раздали реквизированное у буржуазии белье. Был устроен обед на три тысячи человек, и на каждого обедающего выдали по полфунта мяса и хлеба. Надо полагать, что и мясо с хлебом для праздничного обеда тоже предоставила буржуазия. Недели за две до обеда уездная продовольственная коллегия обратилась к населению с призывом собрать картофель в подарок голодающим Москвы и Петрограда. Может быть, именно поэтому в меню праздничного обеда картофель не вошел.

Уже было сказано, что рожь, не говоря о пшенице, в тех местах растет плохо, а потому продовольственный комитет Тамбовской губернии выделил в девятнадцатом году для Темниковского уезда, к которому тогда был приписан Кадом, пятьдесят тысяч пудов зерна. Не просто так выделил – за выданный хлеб необходимо было поставить Красной Армии двадцать тысяч пудов мяса, триста тысяч пудов сена, сто тысяч пудов картошки и шестьдесят тысяч пудов семечек. И это не все. Красной армии нужны были красноармейцы, чтобы грызть все эти семечки. Их брали из расчета от десяти до двадцати мужчин в возрасте до сорока лет от каждой волости. Их брали, а они дезертировали...

Не хватало топлива. Уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов обратился к населению с ~~призывом~~ приказом заготовить сорок тысяч кубометров дров и вывезти эти дрова к станциям железной дороги и к пристаням на Мокше. К дровам велено было присовокупить сто шестьдесят с лишним тысяч пудов угля, круглый лес, пригодный для строительства, двенадцать тысяч подвод для вывоза, в которые запряжены двенадцать тысяч лошадей, и двенадцать тысяч возниц...

~~Посреди всего этого~~ В том же девятнадцатом году создали краеведческий музей. Правда, через четыре года все его экспонаты забрали в уездный Темников[8].

В двадцать девятом образовали Кадомский район и началась повальная коллективизация. Тех, кого власти классифицировали как кулаков и подкулачников, быстро выслали на север и на восток, а оставшиеся середняки и бедняки стали вступать в колхозы. Правда, не все. Были и те, кто не выдержав голода и репрессий, стали уезжать целыми деревнями в города и другие области. Одни деревни ехали во Владимир и владимирскую область, другие в Крым, а третьи в Ленинград. Впрочем, и эти самовольные выходы из строя власть вскоре прекратила. Если уж быть совсем честными, то Кадом и район обезлюдели. В двадцать шестом Кадом перестал быть городом и превратился в село, каковым и был до пятьдесят седьмого года, пока ему... так и не вернули городской статус, а назначили быть поселком городского типа.

В самом Кадоме до войны развивалось... почти ничего. Вот разве что строили на местной судоверфи, организованной из кустарных артелей, деревянные баржи для Московского речного пароходства, которые буксиры таскали за собой по Мокше и Оке. Впрочем, их здесь строили всегда. Со временем, когда корпуса барж станут сваривать из железных листов, Кадомскую судоверфь преобразуют в деревообрабатывающий комбинат, но это произойдет еще только в шестидесятом году, а пока вернемся в двадцатые. В двадцать пятом году пункт женских рукодельных работ, организованный Авиновой, был включен в систему ВСНХ и превратился в промыслово-кооперативную артель «Пробуждение», в которую вошли двадцать пять кружевниц-надомниц. Школа кружевниц при этом стала швейно-вышивальным техникумом. Кадомские кружева к тому времени стали покупать не только в Европе, но и в Америке. В двадцать седьмом в Кадом привезли почетный диплом первой степени из Мексики и золотую медаль из Лиона. Через восемь лет в артели работало уже полторы сотни кружевниц. Еще через восемь лет... началась война, и кадомская артель перешла с кружев на ватники и белье для фронта, но уже на третьем году войны кружевные изделия, которые можно было продать за валюту, стали производить снова.

В том же году в Кадоме создали швейный техникум – один из лучших техникумов подобного профиля в Советском Союзе. В нем готовили не только кружевниц и вышивальщиц, но и технологов, механиков, бухгалтеров и экономистов швейного дела. В семидесятых годах в техникуме обучалось более тысячи человек.

После войны в Кадоме... ничего не поменялось. К частью, фронт до Кадома не дошел и даже немецкие самолеты до него не долетали, а потому нового строительства в нем не было никакого – ни гражданского, ни промышленного. Все продолжали жить в тех домах, которые достались им по наследству от бабушек и дедушек. Полезных ископаемых в районе не обнаружили. Есть залежи песка и торфа, но нет желающих их добывать. Можно, конечно, приписать к полезным ископаемым мореный дуб, который во время половодья приносит Мокша в больших количествах. Кадомчане его собирают, в основном, на дрова, а в пятидесятые и шестидесятые годы его заготавливали в промышленных масштабах и вывозили в Москву, где использовали для отделки зданий, в том числе и для отделки Кремлевского Дворца Съездов. Практически к царскому столу. Конечно, я могу рассказать вам еще и про кадомское сельское профтехучилище, которое раньше готовило механизаторов и животноводов для нужд колхозов и совхозов, а теперь... тоже их для кого-то готовит, но... лучше вернемся к кружевам и кружевницам.

В шестидесятом году артель «Пробуждение» переименовали в фабрику, на которой работало около трехсот мастериц, а в девяносто втором году государственная фабрика стала частным предприятием. Помещается фабрика в перестроенном здании церкви, которому двести пятьдесят лет. Это хорошо, потому, что стены у фабрики толстые, двухметровые, и зимой в ней тепло. Теперь тепло денег стоит, а денег у фабрики не то чтобы много. Если честно, то мало. Работает на ней около шестидесяти сотрудников, но кружевниц, которые умеют вышивать венизной техникой, всего семь. Есть еще цех, где вышивают на специальных швейных машинках. С одной стороны это, конечно, машинная вышивка, а с другой... Строго говоря, сама техника предполагает сочетание машинной и ручной вышивок – сначала контуры рисунка, который придумал художник, обметывают на машинке, потом лишнее внутри этих контуров с невероятной ловкостью и аккуратностью вырезают маленькими кривыми ножницами, а дальше каким-то непостижимым образом вышивают на машинке тонкие прожилки, напоминающие скелеты высохших кленовых листьев, и обшивают их или вручную иголкой или на машинке... или обметывают... Я долго смотрел на то, как вышивают на машинке скатерть. Вышивали медленно, чтобы я успел рассмотреть все в подробностях, но... кроме мельканья пальцев и стежков... Скатерть была на тему охоты – с глухарями и дубовыми веточками. Заказали ее... люди, которые могут себе позволить заказать такую скатерть. У них, наверное, есть охотничий домик, а в домике стол красного дерева с резными кабаньими и медвежьими головами на ножках, на который эту скатерть не стыдно положить. Как рассказал мне директор фабрики Николай Дмитриевич Ренин, работающий здесь уже тридцать пять лет, теперь можно не только заказать скатерть, но и ~~морочить голову~~ вмешиваться в процесс вышивки. К примеру, велеть, чтобы нитки, которыми вышивают хвост глухаря, были не черные, а разноцветные. И глухарю, не говоря худого слова заказчику, вышьют павлиний хвост. ~~И заказчику вышьют, если заплатит~~. Потому, что стоит такая скатерть не меньше пятидесяти тысяч рублей. На такую не поставишь бутылку столичной и миску с квашеной капустой, а только хрустальный графин с французским коньяком, которому лет сто, и блюдо рябчиков, запеченных с ананасами.

В соседней комнате уже без всякой машинки вышивали кружевное болеро из натурального шелкового шифона, похожего на лоскуток предутреннего тумана. Такое болеро, сквозь которое в сумерках или даже в полной темноте светятся обнаженные женские плечи. Такое болеро, которое накидывают, чтобы эти плечи обнажить. Только под таким болеро их сестра зябко поводит плечами, сводя нашего брата с ума. Это болеро надо вышивать самыми тонкими шелковыми нитками три месяца. Когда директор сказал, это уже второе болеро на одни и те же плечи, я попытался себе их представить – сначала плечи, а потом деньги, которые нужно иметь, чтобы заказывать себе такие болеро... но плюнул и перестал.

Смена у вышивальщиц длится по восемь часов. Все это время они вышивают, вышивают и вышивают. Не вскакивают с рабочего места с криком «Не могу больше!», не рвут все, что вышито непосильным трудом, в мелкие клочья, а молча и сосредоточенно вышивают. И так пять дней в неделю, а когда заказ срочный, то приходят на фабрику и по выходным. Получают они за эту работу, в среднем, тысяч десять. Если месяц удачный, то и двенадцать. Все, что свыше этих двенадцати, зависит от сноровки вышивальщицы. Можно, конечно, поднимать цены на скатерти, вышитые блузки и салфетки, но заказов теперь мало. В пятнадцатом году вышили разного почти на два миллиона рублей, а продать не смогли. Испугавшись банкротства, нашли московскую фирму, которая согласилась стать совладельцем «Кадомского вениза». Теперь москвичи выкупают все, что вышито в Кадоме, и продают в Москве.

Продается, если честно, плохо. Те, кто понимает в красоте, не имеют денег, а те, кто имеет деньги... Вот и ищи, как иголки в стогах сена, богатых и понимающих.

С начала двухтысячных стали вышивать иконы. Изнанки у этих икон нет – они представляют собой расшитый цветными шелковыми нитями воздух, вставленный в тонкую рамку. Поначалу их брали очень хорошо. Обычные люди брали для подарков. Министерства брали. Теперь кризис и такие подарки по карману только тем, кого он не коснулся. Больше всего их любят дарить сослуживцам прокурорские и полицейские чины.

Тогда же, в начале двухтысячных, фабрика сотрудничала с подарочным фондом президента. Покупали они кружевные салфетки, носовые платочки, иконы. Мало, надо сказать, покупали. И вот однажды привез им Николай Дмитриевич двухметровую скатерть «Мираж». Такое называть обычным словом скатерть назвать сложно... Таким кружевом накрывают стол, когда к вам в гости приходит, к примеру, царь соседнего царства с женой, тещей и детишками, или королева соседнего королевства с самыми приближенными и самыми красивыми фрейлинами, или просто зайдут выпить пива и перекинуться в картишки знакомые герцоги с графами и баронами. Вот тогда вы прикажете постелить на стол такую скатерть, рассадите гостей вокруг стола, посмотрите на нее, поахаете, а потом встанете и пойдете на кухню стучать кружками и картами по обычному кухонному столу, изрезанному ножом. Стал Николай Дмитриевич уговаривать чиновника из фонда приобрести эту скатерть и двенадцать салфеток к ней. Чиновник стал отказываться и говорить, что подарки они дарят по большей части мужчинам, поскольку на самом верху у нас сидят мужчины, которым подавай сабли, кинжалы и ружья. И этих блестящих железных сабель, кинжалов и ружей можно купить на те деньги, что стоит этот «Мираж»[10], столько... И все же купил после долгих уговоров. Вдруг попадется среди мужчин женщина, которой эта скатерть как раз подойдет по размеру к столу или к занавескам... Как в воду глядел. Женщина попалась и оказалась английской королевой, которой президент, когда был с визитом в Англии, скатерть с салфетками и подарил[11].

Не надо думать, что Кадомский вениз – это удовольствие только для богатых и очень богатых людей, ~~которое доставляют им искусные, но бедные кружевницы~~. Шьют на фабрике женские блузки, украшенные машинной вышивкой, которую, на самом деле, обычный человек от ручной и не отличит, и блузки эти обычному человеку по карману. Видел я, к примеру, кружевную бабочку, которой можно украсить женское платье. Говоришь девушке «закрой глаза», а сам, дрожащими от нетерпения пальцами, берешь ее за узорчатые крылышки и... Не девушку, конечно, а бабочку.

Нельзя сказать, что государство фабрике не помогает. Кадомский вениз проходит у государства по статье «народные промыслы» и за народность имеет скидку при уплате аренды. За государственные деньги на фабрику провели газ и сделали пусть и не капитальный, но все же ремонт. Государство разрешило фабрике не платить налог на землю и на имущество. Конечно, без этой помощи было бы еще хуже, но...

Ходил я по фабрике, смотрел на кружевниц, на то, как мелькают иголки в их ловких пальцах, вышивая невиданной красоты цветы, резные листики размером с ноготок младенца и думал, что не будь у нас букв, а было бы вместо них узелковое письмо, как у индейцев доколумбовой Америки, то кадомским венизом мы вышивали бы стихи. У каждого уважающего себя поэта была бы секретарь-кружевница. Вышьет она, к примеру, строчку «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем...», обошьет ее со всех сторон птицами, полевыми цветами и мотыльками, поднимет на поэта полные слез глаза и дрожащим голосом спросит:

– Точно не совсем?

– Еще как не совсем! – ответит тот. – Еще как! И не сомневайся!

И тут же продолжит:

– Но пусть она вас больше не тревожит...

И вот еще что. Нитки, которыми в Венеции вышивают кружева, раза в три, а то и в четыре толще тех, которыми вышивают в Кадоме. Так и знайте.

---

[1] В 1548 году через Кадом прошел на Москву караван, в котором было восемь десятков послов и три десятка погонщиков скота, которые гнали шестнадцать тысяч лошадей, принадлежавших ногайскому князю Измаилу. Через семь лет через город прошел еще один караван этого князя, в котором была уже тысяча послов, купцов и погонщиков, которые гнали двадцать тысяч лошадей и четыре тысячи овец. Представляю, как все это стадо унавозило одну единственную улицу Кадома. Конечно, эти лошади и овцы предназначались не

только и не столько для подарков русскому царю, сколько для обмена на порох, ружья, хлеб, сукна, изделия из металлов и меха.

[2] Как тут не вспомнить пушкинское: «В своей ужасной красоте над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена, пустыни сторож безымянной...».

[3] Не хочется, чтобы читатель думал о кадомских купцах плохо. Они были очень оборотистые. К примеру, еще при Михаиле Федоровиче, в 1633 году, был такой случай. Готовилось большое посольство в Персию. Зимовало оно в Тамбове, чтобы, как только потеплеет и дороги просохнут, двинуться на юг. Города Шацкой провинции и, в том числе Кадом, должны были ежемесячно поставлять для пропитания посольства 52 пуда и 26 фунтов сахару, 15 пудов сальных свечей, 4 пуда воска, 45 пудов говяжьего сала, 105 ведер вина и семь с половиной пудов чеснока*. Воеводы Шацкой провинции за голову схватились – они даже представить себе не могли, где можно найти такое количество провианта, свечей и воска. Выручили начальство кадомские купцы Усачев и Шемякин, предложившие поставить все необходимое всего за три недели, но по договорным ценам...

*Страшно подумать, как от послов разило перегаром и чесноком.

[3] Конечно, гораздо красивее Февронья смотрелась бы с фамилией Разгильдяева, но... чего не было – того не было.

[4] Она ему потом долго снилась – высокая, статная, в обтягивающих кожаных штанах, с раскосыми, мечущими зеленые молнии, кошачьими глазами, полными чувственными губами... Часто просыпался отставной драгун среди ночи весь мокрый как мышь, то ли от страха, то ли от мыслей, в которых и самому себе боже упаси признаться.

[5] Мокшанами назывались деревянные баржи с закрытой палубой, на которых перевозили зерно и муку. Их делали на местной судоверфи, и потому без Мокши в их названии не обошлось. Баржи открытого типа – гусяны – строили на речке Гусь, под Касимовым. Кстати, о Мокше. Пять лет назад, в двенадцатом году, в мае, она поднялась на восемь метров и затопила три четверти города. И стал Кадом как Венеция, и плавали жители по улицам на лодках несколько недель. Еще и в июле вода стояла в огородах. В Кадоме любят рассказывать приезжим историю про одну старушку, которая после того, как вода спала, пришла домой и полезла в печь, чтобы протопить ее. Открыла заслонку, а оттуда на нее смотрит голова сома с такими огромными усами... Насилу старушку откачали. До наводнения двенадцатого года рассказывали, что история эта приключилась пятьдесят лет назад, в наводнение шестьдесят третьего года, в наводнение шестьдесят третьего года рассказывали о двадцать пятом годе... Короче говоря, если бы кто-то догадался сделать гипсовые раскрашенные чучела сома и старушки и поместил бы их в местном ресторане, то бармену было бы о чем рассказать посетителям. Приезжим, конечно.

[6] Местные жители стерлядь, конечно, ловят, хотя и ловить ее запрещено. Ловят так, что выловили уже до «гвоздиков», как сказал мне экскурсовод в краеведческом музее. На рынке стерлядь продают шепотом. Перед тем как продать, пристально, изучающее на тебя смотрят, вздыхают и говорят, что была, но уже кончилась. Зато карасей сколько хочешь. Перед женщиной, продававшей рыбу с рук, стояла старая детская железная ванночка, полная огромных жирных карасей, которые стоили... в Москве за эти деньги на каком-нибудь Дорогомиловском или Лефортовском рынках продавец с тобой даже не поздоровается.

[7] Вообще, людей, способных вышивать, в Кадоме было много. В начале двадцатого века в городе работала тысяча надомниц, вышивавшая мережкой. Это в Кадоме, все население которого составляло девять тысяч, включая стариков и детей.

[8] Надо сказать, что после Великой Отечественной войны кадомские энтузиасты все же собирали старинные вещи и документы, имеющие отношение к истории города. Хранилось собранное частью в краеведческом уголке одной из средних школ, а частью в районном отделе культуры. В восьмидесятых все куда-то исчезло. Я спрашивал в местном музее куда исчезло. «Не куда, а как, – поправили меня. И сами же ответили: – Бесследно».

[9] Впрочем, теперь уж нет ни колхозов, ни совхозов. Есть частные сельскохозяйственные предприятия. Вот они-то и дышат на ладан.

[10] История эта случилась в третьем году, и в тех ценах скатерть с салфетками стоила пятьдесят тысяч рублей.

[11] Ходили слухи, что Елизавета скатерть на королевский чайный стол сначала постелила, но как увидела какими глазами на нее смотрит невестка – так сразу и прибрала. «Даже и не думай, Камилла – сказала королева. – Даже и не мечтай. Купи себе обычную – английского или голландского шитья, а эту не отдам. Вот когда помру, тогда... правнучке Шарлоте в приданое пойдет. Может, вспомнит прабабку, когда будет замуж выходить...» И промокнула слезинку кружевным платочком тонкой работы, который, видимо, случайно упал в коробку, когда скатерть укладывали в Кадоме.

Сергей СОКОЛОВСКИЙ

ЧЕРКИЗОН

Наталия Черных. Неоконченная хроника перемещений одежды. – М.: Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Новый русский роман).

Жанровая классификация книги ставит в тупик. С одной стороны, перед нами роман о любви – едва ли не самый пронзительный из всех, написанных на русском языке за последние десятилетия. С другой стороны, перед нами памфлет, временами доходящий в своей радикальности до «оскорбления чувств» всех – проторченных героев подполья, верующих разной степени воцерковленности, офисных работников, сотрудников медицинских учреждений. И вместе с тем – это история болезни главной героини, и вместе с тем – история России девяностых годов прошлого столетия, увиденная и прожитая глубоко частным, приватным порядком, без какой-либо политической вовлеченности и ангажированности.

Alter ego автора, Эльвира, Иля, от лица которой ведется повествование, объединяет собой несколько наплывающих друг на друга сюжетов. Первый по счету – про деградирующую, распадающуюся «Систему», в том узком смысле, в каком это понятие использовали отечественные хиппи. Здесь много общего с предыдущим романом Наталии Черных, «Слабые, сильные»[1], но если там разложение субкультурной среды являлось стержнем, вокруг которого выстраивался рассказ, то в «Хронике перемещений» это скорее фон, сценическая декорация. Следующий сюжет – для Черных не менее традиционный – обретение и укрепление веры в Христа, в строгом соответствии православному катехизису, но зачастую не благодаря, а вопреки деятельности околоцерковного окружения. Третий – вышеупомянутая история хронического заболевания: первые симптомы, долгая муторная диагностика, адаптация к изменившимся условиям жизни, получение инвалидности. Четвертый – опыт работы в офисе образца середины девяностых. Пятый – утрата собственного жилья, потеря дома. Переплетающиеся сюжетные линии можно перечислять и дальше, со всё большей сухостью их описания, – вот только перечисление приведет в того же свойства тупик, что и попытки определить жанр.

Потому что это не «любовный роман». Это роман о любви. О любви неизлечимо больного человека к человеку умершему. Так сложилось, что прототип последнего мне хорошо известен, были знакомы лично. Не очень-то он меня жаловал, особенно в последние годы, покуда оставался жив. На мне его одежда сейчас, без шуток. Персонажи Черных имеют вполне узнаваемую портретную пластику – но решенную преимущественно в графическом ключе. Цвет есть только у одежды. *«Одежда – это второе тело. Моего уже нет, так оно не нужно даже мне. Но люблю его и ухаживаю за ним, как оно того требует, ибо за тело придется отвечать Богу. Однако живет только одежда»*. Одежда, драпирующая душу в замещение тела. Слово «одежда» встречается в романе 125 раз. Или 126, включая название. Нужно иметь вкус к подобного рода прозе – иначе чтение рискует превратиться в пытку: значительная часть романа посвящена монотонному каталогу, в котором скрупулезно указаны не только материалы, модели и фасоны, но и цены, и страны производства, и места покупки. Самое знаменитое среди последних – Черкизон.

Черкизон – неофициальное название самой книги. Назвать ее биографической – значит немного откусить себе язык. Потому что биографическое Черных использует в качестве простого каркаса, а дальше начинается причудливая игра трансформации всего и вся – сродни работе модельера, перекраивающего судьбы в искреннем презрении к достоверности. Документальность здесь невозможна: мера карикатурности и сарказма, доставшаяся как андеграундному бытованию, так и процессу вхождения в жизнь церковной общины, – на порядок превосходит объем, который выдерживают традиционно скроенные мемуары. То, что может быть считано как демифологизация сложившегося образа «девяностых» либо как производство некоей персональной альтернативной мифологии означенного десятилетия, – на деле оказывается свидетельством катастрофы. *«Изменение – мое пора-*

[1] Волга. 2015. № 1-2; http://magazines.russ.ru/volga/2015/2/3ch.html

жение – было в том, что Никиты уже не будет, а Иля вместо него. И совершенно не представляю, как жить.

Никитой называла способность принимать других», – с того дня, как Иле незачем больше проводить долгие часы под окнами любимого человека, она называет его именем самые важные жизненные функции. Которые, пусть на уровне печального каламбура, тоже могут быть в случае необходимости делегированы одежде. Либо ландшафтной архитектуре: «*Никита вырос самостоятельным, любвеобильным и заботливым. К тому же умел принимать гостей. По крайней мере недолгое время, когда его знала. Жил он в той части Москвы, где росли сталинские тополя*».

Последний тихий парад – все прочие герои романа проходят в небе над Черкизоном – Никита наблюдает со стороны. «*Не было только Никиты. Вернее, он был. Скользнул тенью в тени, так и не разглядела. А они все шли и шли, и невозможно было оторвать глаз*».

Повсеместно растиражированное высказывание «Если вы помните шестидесятые, значит, вас там не было», подразумевающее ключевым элементом десятилетия некую полноту жизни, связанную с глубоким экстатическим самозабвением, преобразуется у Наталии Черных в «Если вы помните девяностые, значит, вы продолжаете себе лгать». Подразумевающее, что кроме среднего качества одежды и дешевых понтов быть особо ничего и не могло, – в пределах символических примет времени. Помнить такое – дело нехитрое, прямо скажем, но строить на этом браваду «памяти о легендарном десятилетии» – увы, практически невозможно. Сколько ни украшай данный миф кадрами криминальной хроники – он рассыпается, как песок.

Подобно, например, К. Крахту в «Faserland» и А.Ф.Т. ван дер Хейдену в «Битве за Синий мост», Черных использует памфлетное письмо, направленное не против тех или иных социальных проявлений, но против самой социальности как таковой. В отличие от них – с поправкой на безысходную, глухую восточноевропейскую тьму. Там, где задачей становится развенчание реальности, мнящей себя структурированной и оформленной, – повседневная одежда перестает быть метафорой внешней, манифестированной фальши той или иной идентичности. Она становится прямым, неопосредованным и фактически единственно возможным смыслом и содержанием «мира дольнего». Тряпки они и есть тряпки.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

МИР – ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ

Полина Жеребцова. 45-я параллель: Документальный роман. – Харьков: Фолио, 2017. – 506 с.

Новый роман Полины Жеребцовой, свидетельницы чеченских войн, повествует об участи грозненских беженцев в России. Полина и её мать ищут пристанища в расположенном на 45-ой параллели городе Ставрополе, после того как их собственный дом в чеченской столице был уничтожен при очередной бомбардировке. Время действия относится к 2005-2006 годам.

Любой роман Полины Жеребцовой – копилка историй. Здесь множество сюжетных ответвлений и лиц, возникающих перед читателем лишь единожды. Будучи соединёнными в общее повествование, эти рассказы и образы складываются в реальность разнородную, пёструю, пугающую, иногда почти фантасмагорическую. Картина как будто пишется то рукой русского художника-передвижника, то отчаянного сюрреалиста, создающего самые немыслимые композиции. А сам автор выступает то публицистом, то гневным проповедником, то психологом, то отстранённым хроникёром, то мистиком-духовидцем.

В романе можно выделить три основные линии: пребывание Полины и её мамы в Ставрополе, история геев Николя и Захара и жизнь ставропольской деревни Бутылино, где Полина смогла приобрести временное жильё. Их объединяет фигура главной героини. Воспитанная в строгих правилах русская девушка-мусульманка, без преувеличения человек чести и долга, оказывается в мире перевёрнутых моральных норм, в котором культивируется сила и её главный атрибут – деньги. Тех, кто нуждается в поддержке и помощи, в этом мире принято унижать и бить. Оказавшись в этих условиях, героиня не прогибается «под изменчивый мир», не отвечает злом на зло и не ломается. Вокруг воруют, пьют, обманывают, продаются. Полина не принимает правил этой «игры». Это не может не вызывать восхищения. Но повода для оптимизма читатель здесь не найдёт. Вся ситуация чудовищна: юная героиня, потерявшая на войне всё самое ценное – здоровье и родной дом, вынуждена нести на себе абсолютно непосильный груз проблем

и забот. Высокие представления о морали в аду не помогают, без них героине было бы легче выжить. Бесконечная череда несчастий становится причиной психической болезни её бедной матери, человека по природе щедрого и благородного. «Терпение и труд всё перетрут» – совсем не те слова и не тот вывод, которые приходят на ум в связи с историей Полины. Роман написан не для того, чтобы вселить в читателя веру в себя и человеческую стойкость. По крайней мере, не только для этого. Простая мысль, которая постоянно стучится в голову: «Человек не должен так страдать. Люди не могут так обращаться друг с другом. Так жить нельзя».

О рассказчике много говорит стиль изложения. В повествовании Полины Жеребцовой иной раз соседствуют несовместимые, казалось бы, стилистические элементы. Например, изображая разгул стихии, автор использует и выразительную поэтическую метафору, и газетное сообщение: «Листья кружились в смертельном танце. Транспортное сообщение приостановилось». Здесь нет диссонанса. Автор в каждом случае выбирает те слова, которые наилучшим образом подходят к описанию, не подгоняя их друг к другу, и в этом тоже выражается его предельная честность.

В романе вскрыты негласные законы нашей жизни. Неутешительный факт: людям по-прежнему не чуждо стремление превратить других людей в своих рабов. Со времён восстания Спартака в этом смысле ничего не изменилось. Это беспроигрышный и надёжный способ самоутверждения. Тема рабства, не метафорического, а буквального, проходит через весь роман. Полина и её мама оказываются в Ставрополе без денег, без прописки, без связей. Что с ними происходит? Окружающие пытаются им помочь? Нет. Окружающие, за очень редким исключением, стараются воспользоваться их беспомощным и зависимым положением, чтобы превратить даже не в слуг, а именно в бесправных и безропотных рабов. Так поступает домохозяйка, которая заставляет их обслуживать себя и до глубокой ночи работать по дому. Все работодатели, которые взваливают на одного человека обязанности четверых, лишают его выходных, нагло обворовывают, платят, если вообще платят, гроши, норовя при этом подсунуть фальшивые монеты. Положение несчастных беженцев осложняется тем, что у них вымогают взятки, им не отдают положенные документы и так далее и так далее. Всё это объясняется далеко не только стремлением к банальной выгоде. Важнейший мотив – чистая радость от унижения ближнего. Директор магазина, в котором работает Полина, запрещает сотрудникам даже присаживаться на стул, отлучаться не только на обеденные перерывы, но даже и в туалет, разговаривать между собой... Не ради денег, а «для души».

Другой важнейший акцент романа – роль предрассудков, предубеждений, особенно тех из них, которые успели отлиться в пресловутые традиции. В одном случае они играют роль лома, крушащего судьбы. Это относится, например, к традиции выдавать малолетних дочерей замуж по решению родителей. В другом – искажающего кривого зеркала, в котором кровожадный и жестокий бандит-убийца предстаёт в качестве «настоящего, сильного мужчины», достойного уважения, а совершенно безобидный юношагей вдруг оказывается страшным преступником, заслуживающим смертной казни. Сама Полина, как и её мама, начиная с того момента, когда разгорелась чеченская война, играют одну и ту же роль – чужих среди своих. Чужие русские среди чеченцев, за пределами Чечни они немедленно получают ярлык «чеченских террористок», понимают, что жить среди русских не смогут. И здесь и там женщины, не причинившие никому никакого вреда, постоянно сталкиваются с лютой враждебностью, которая отнимает у них последние душевные силы, вынуждая защищаться, иногда с оружием в руках.

История Николя и Захара соединяет в себе самые невероятные повороты, вступая в диалог одновременно с романом Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» и с сериалом «Секс в большом городе». Здесь гротеск поворачивается к читателю всеми своими гранями. И самой страшной, почти босховской, стороной, когда преследования и угроза физической расправы выталкивает героев в страшную голодную нищету, вынуждая жить среди бомжей на городской свалке. И довольно комичной, когда Полина, девушка строгих традиционных правил, оказывается вовлечённой в любовный треугольник, другими участниками которого являются бисексуал и гей.

И наконец – село Бутылино. Взяв кредит под грабительский процент, ведь не ограбить беззащитного человека – грех, Полина покупает жильё в деревне под Ставрополем. У неё появляется возможность получить прописку, без которой у неё нет никаких прав. По сравнению с происходящим

в Бутылино пьеса Горького «На дне» представляет собой описание спокойной и вполне благополучной жизни. Население деревни – отсидевшие уголовники, убийцы и воры, горькие пьяницы и умалишённые. Бытовуха, грязь и жестокое живодёрство как средство выяснения отношений между людьми – среда, в которой оказываются Полина с мамой, «счастливо» обретшие, наконец, «крышу над головой». Позиция мужественной Полины безупречна. Она не жалеет себя, но и не рассыпается в елейном сочувствии к «униженным и оскорблённым». Она слишком хорошо знает жизнь и людей, чтобы чему-то удивляться и обманываться на чей-то счёт. Но здесь, в окружении безнадёжно опустившихся людей, которые даже не пытаются отдать себе отчёт в своих поступках, главная героиня выступает тем необходимым праведником, чей пример может переломить ситуацию и изменить положение вещей. Полина не делает ничего специально и напоказ. Она всего-навсего живёт, не подчиняясь дикому закону джунглей и не позволяя себе погрузиться в морок царящего вокруг абсурда. Её скупые, немногословные поучения, адресованные местным детям, обретают силу библейской проповеди. Она оказывается тем необходимым человеком, от которого эти несчастные дети узнают о существовании привязанности и любви.

Отказ от моральных ориентиров ведёт всех нас в нечеловеческое состояние, условно говоря, в деревню Бутылино. Идея, казалось бы, не новая. Но здесь она оплачена той высокой ценой, которая возвращает ей первоначальную силу и безоговорочную убедительность.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ДОЙТИ ДО САМОЙ ЖУТИ

Татьяна Бонч-Осмоловская. Умножение сущностей: Статьи и рецензии. – М.: Проект Абзац, 2018. – 288 с.

Татьяна Бонч-Осмоловская. Развилка. Повести и рассказы. – Харьков: «Ранок», 2017. – 480 с.

Есть хороший способ вогнать умного, амбициозного и желательно молодого человека в лёгкую фрустрацию. Следует дать ему задачку про шахматного коня. Всё просто: доска 8x8, конь, ходящий сообразно своему правилу («буковой ге») и формулировка: «обойти всю доску, попадая на каждое поле ровно по одному разу». Спустя час-другой, постоянно заходя в тупик через шестьдесят или даже через шестьдесят два хода из требуемых шестидесяти четырёх, оппонент сочтёт задачу безнадёжной. Тут надо порадовать его, сообщив, что проблема имеет не менее чем 19 591 828 170 979 904 решений. Да, девятнадцать квадриллионов, пятьсот девяносто один триллион... и далее там размерность почеловечнее. Важный момент: совокупное количество вариантов прохождения доски ходом коня на многие порядки больше представленного числа, и с обыденной точки зрения малоотличимо от понятия «бесконечность», а сходу решить представленную выше задачу может не каждый гроссмейстер. Но об этом амбициозному молодому человеку знать не нужно. Пусть фрустрирует пока.

Именно эта головоломка, только приложенная к дому на парижской улице Симон-Крубелье, 11, стала одним из математических оснований книги Жоржа Перека «Жизнь способ употребления». Дом тот состоит из десяти этажей по десяти окон в каждом из них, включая лестницу и подвал. Стало быть, число решений увеличивается ещё в несколько тысяч раз, однако фабулу повествования определяет единственный вариант, установленный автором. Впрочем, только шахмат недостаточно. Матрица 10x10 устанавливает размер (вернее – порядок) греко-латинского квадрата, также описывающего структуру дома, расположенного по означенному адресу. Ещё точнее – двадцати одного квадрата, допускающих сорок два сгруппированных попарно атрибута для каждой из девяноста девяти представленных в романе комнат.

Что есть греко-римский квадрат? Он есть табличка с равным числом столбцов и строк. В нашем случае, повторим, 10x10. Каждая ячейка содержит одну из десяти греческих и одну из десяти латинских букв (или одну из десяти римских и арабских цифр). Надо сделать так, чтобы в любой строке и в любом столбце каждая буква встречалась по одному разу, а пары из латинских и греческих букв в таблице не повторялись. Всё просто. Только вот искали вариант квадрата для матрицы, превышающей 6x6, свыше двухсот лет. А потом нашли. А ещё чуть позже Жорж Перек использовал этот вариант в своём романе. Воспроизведя его, повторим, двадцать один раз для различных пар атрибутов. Таких, как «положения и действия», «стены и полы», «двумерные и

объёмные фигуры», «пропуски и ошибки» и т.д.

Об этом: о квадратах, о задаче коня, а также, к примеру, о кенине и ещё о некоторых чуть менее очевидных, но важных для построения книги «Жизнь способ употребления» вещах Татьяна Бонч-Осмоловская рассказывает нам в первой из статей, составивших сборник её критики. Рассказывает подробно, постепенно вводя усложняющиеся категории. Примерно так, как делала это в своей монографии о литературе формальных ограничений[1] или чуть раньше, в курсе комбинаторной литературы, читанном ею для студентов МФТИ. Разница в одном: курс и монография содержали множество самых разнообразных литературных объектов, а статья сосредоточена на романе Ж. Перека. Вернее – две статьи. Да: вторую работу сборника автор начинает с краткого повторения тезисов исходной публикации. Шаг, прямо скажем, смелый. Но оправданный. Во-первых, о книге Перека надо говорить, и говорить очень-очень подробно.

Увы, один из главных романов XX века в России переведён недавно и прочитан немногими. Да и в большинстве случаев прочитан странно. Вот довольно типичный отзыв, опубликованный на сайте с пристойной модерацией и неплохим кругом читателей: «*Оригинальный стиль и совершенное отсутствие какого-либо смысла*». Наверняка, тут сыграла роль автоаннотация Ж. Перека, где он назвал свою книгу не романом, но романами, и рекомендовал читать её «с любой главы». В определённом смысле это так. Действительно, бесконечные описания вещей, подробные экфразисы, эффекты остановившегося мгновения лишь оттеняют совершенно внятное содержание отдельных новелл – где-то бытописательских, где-то детективных, где-то мелодраматичных, где-то обитающих сугубо в пространстве языка. По отдельности знакомиться с ними тоже вполне интересно. Например, потому интересно, что некоторые ситуации, происходящие в доме, населённом в основном небедными людьми, весьма напоминают завязки повествований Зощенко.

Но через роман проходят, как минимум, две с половиной отчётливых сюжетных линии. Археолог Фернан де Бомон ищет потерянный, разрушенный и забытый город (безуспешно); миллионер Персиваль Бартлбут тратит пятьдесят лет жизни на создание, а затем – на изощрённую деструкцию пятисот самых красивых морских видов (в рамках задачи почти успешно). И, наконец, художник Серж Вален создаёт картину, изображающую дом со всеми его мелочами и обитателями. В его случае успех можно назвать абсолютным. Опять-таки, в рамках задачи. А задачей было завершить историю классического авангарда с его стремлением к сути и свободе через отказ от фигуративности: «*...холст был практически чист: несколько аккуратно прочерченных углем линий делили его на правильные квадраты; набросок плана дома, в котором отныне никому уже не придется жить*». Аллюзия на «Сто лет одиночества» прилагается бонусом. Хотя нет. Тут мы уже переходим в область метазадачи. Об этом Бонч-Осмоловская писала в финале первой из статей, посвящённых книге Перека: «*Зачем она написана? В чём была глобальная задача автора? Это вопрос, ответ на который читатель, получивший основу для прочтения "Жизни", может найти самостоятельно*».

Уловка здесь на поверхности: задача далеко не одна. Или? Собственно, затем и понадобилась вторая статья о том же романе. Первая, скорее, предваряла его прочтение, а эта предлагает осмысление. Смотрим: формально обе-две с небольшим линии романа сошлись в пустоте. Персонажи умерли, дому предстоит разрушение, мир, каким мы его знали, подошёл к финалу. Да, это ведь тоже замечательный образ: дом, переживший две мировые войны, оккупацию и много разного, делается просто ненужным. Избыточно барочным – презентация этой избыточности и есть одна из целей подробнейших описаний – от хронически неисправного лифта[2] до каждой домовой мелочи. Отличная аллюзия на снос сделавшегося слишком уютным модернистского мира. Впрочем, не только модернистского. Роман Перека, появившийся на заре эры постмодерна, включает в собственный мир характернейшие постмодернистские методы. Попутно указуя на ничтожность этих методов. Скажем, в годы написания книги московские концептуалисты из группы «Коллективные действия» занимались акциями, весьма сходными с трудом художника Бартблута. Была у них серия «Поездки за город», предусматривающая создание, а затем разрушение объектов. В итоге от предметов искусства оставались лишь описания. Да, в отличие от

[1] Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. Самара: Бахрах-М, 2009. – 560 с.

[2] Вполне социального, кстати, лифта – до этажей, некогда населённых прислугой, этот лифт принципиально не ходил.

Бартблута, эти путешествия не требовали миллионных затрат и полувека жизни, но разница тут сугубо количественная. То есть финал всего – пустота, тлен, разрушение, бессмыслица?

Финал трижды обидный, если принять во внимание усилия, затраченные автором. Да-да, объединение УЛИПО, где состоял Жорж Перек, разрабатывало методы создания литературы без вдохновения, сугубо на приёмах и технике. Но это было операцией прикрытия. Иначе зачем бы Переку понадобились пять лет для создания книги? На словах он ведь ещё был, скажем, приверженцем идеи «нулевой степени письма», озвученной Роланом Бартом. Только вот все его книги стилистически крайне разнообразны. Последовательная реализация «нулевой степени» исключала б такую полистилистику в принципе. Как исключают её точные и почти незаметные метафоры, включённые в ткань рассматриваемого повествования о парижском доме. Допустим, *неутомимые бульдозеры*, оставшиеся за кадром, локализованные в относительно далёком будущем, но абсолютно неотвратимые[3]. А в итоге этого тщания – ничто? Апофеоз разрушения? Торжество энтропии?

Почти да. Однако тут Бонч-Осмоловская вводит ещё одно крайне важное для её критического метода понятие – «странный аттрактор». Вернее, адаптирует этот физико-математический термин к литературной критике. Вообще, аттрактор это финальное состояние эволюционирующей системы. То, к чему эта система стремится. Скажем, для маятника, колеблющегося в среде, имеющей сопротивление, аттрактором будет точка, где он замрёт; для некоторых конфигураций старенькой видеоигрушки «Жизнь» (она же – «Эволюция»), аттрактором станут циклически повторяющиеся осцилляции, порой довольно эффектные. Примеры и сущности тут можно умножать, но для нас имеет значение так называемый «странный аттрактор». Он возникает в некоторых приложениях неравновесной термодинамики. Ради упрощения и красного словца её иногда называют «теорией катастроф». Изображение странного аттрактора найти несложно. Только, разумеется, это будет трёхмерная визуализация. Вернее – проекция трёхмерной визуализации на плоскость. Мерцающая изнутри фигура имеет довольно несусветную для нашего восприятия форму. Она и есть *несусветная*, не сему свету принадлежащая. Говорят, «странный аттрактор» отчётливо воспринимается из четвёртого измерения. Возможно: поживём, помрём, увидим.

Так вот: аттрактор всех линий романа «Жизнь способ употребления» действительно странный. Мы не можем наблюдать его непосредственно, однако базовые свойства описать в состоянии. Собственно, Татьяна Бонч-Осмоловская этим и занимается во второй статье книги. Точнее, и этим – тоже. Описание описаний, взятие производной высшего порядка – достойное и славное занятие. Впрочем, тут лучше процитировать автора: «*С завершением жизни человека воспоминание о нем запечатлевается в вещах, затем – в описании этих вещей, в словах: "...писать: кропотливо пытаться удержать что-то, что-то оставить существовать, забрать какие-нибудь драгоценные осколки у пустоты, в которую они впадают, хоть сколько-то, след, отпечаток, знак или несколько штрихов" (Perec 1974, 123). В длинной, почти бесконечной череде описаний вещей, в описаниях воспоминаний, в описаниях описаний воспоминаний – попытка удержать исчезающий подлинник или восстановить уже исчезнувший – вернуть из глубин Аида Эвридику, все же пропадающую навсегда*».

Следующая статья, вошедшая в «Умножение сущностей», посвящена роману Флэнна О'Брайена «Третий полицейский». В этой работе, имеющей характерное и точное название «*Дурные бесконечности "мира мёртвых и проклятых"*» критик подробно разбирает мелькнувшее уже в предыдущих главах понятие «фракталы». Естественно, не в сугубо математическом, но литературном приближении термина. Суть статьи тоже интересна, но нам важнее полное представление об авторских методах, в коих понятию фракталов, равно как и приведённым ранее заимствованиям из мира разнообразных математик, принадлежит ведущая роль.

Именно такое приложение абстрактных методов к очень разным литературным объектам часто приводит к неочевидным результатам. Если уместно, я б назвал эти результаты «предсказуемо неочевидными». Так часто бывает на стыке несходных областей человеческого духа. Причём ни в одном случае не заметно авторской изначальной предубеждённости или, тем более – подгонки результата под изначально за-

[3] Возможно, бульдозеры эти – заслуга переводчика, но мы ведь говорим не о книге Перека, а об её анализе Бонч-Осмоловской. Объект же этого анализа – именно русский перевод романа.

данное решение. Нет, исследования приведены очень глубокие и добросовестные. Вот что Бонч-Осмоловская пишет о книге Валерия Хазина «Прямой эфир»: «*Пока читала роман, я переслушала множество оперных арий, прочитала “Сон в красном тереме”, освежила знакомство – ранее реальное, теперь виртуальное, с Максом Пинскером, посмотрела мультфильм Андрея Свислоцкого “Типнэротомахия”, снятый по мотивам старинной книги о любви и сне во сне. Разбросанные подсказки, намеки, повторения. Сколько кофе надо выпить, чтобы дойти до конца тайных троп? Если же тропы круговые*»? Кроме того, очень подкупают авторские манеры речи. Да, некоего единства стиля, разумеется, не скрыть (да и ни к чему это скрывать), однако мы имеем дело с тем случаем, когда критическое высказывание само по себе становится фактом искусства.

Критик проводит своего рода мультидисциплинарное исследование современной литературы. Часто находя близких себе по духу, но то ли полузабытых, то ли не вошедших ещё в литературный контекст персон. Например, пока мало кто написал у нас о Мишеле Деза. А ведь этот русско-французский математик-поэт был явлением совершенно необычным. В том числе, и в своей манере говорения, казалось бы, очень далёкой от того, что мы привыкли считать поэтическим языком как средством довольно иносказательным и живущим по законам, далёким от законов науки и природы. Опять-таки, лучше будет процитировать: «*Математик же, понимающий смыслы структур, больше знает и о структуре, и о сути мироздания. И если он говорит с человеком обыкновенным на языке поэзии – это не способ притчами изложить скрытую истину, но скорее необходимость непрерывно производить мысль; не проповедь птицам, но само это щебетание, неотделимое от птичьего существа*». Мысль очень точная при том, что на щебетание стихи М. Деза похожи меньше всего.

Порой используемая критическая метода позволяет открыть в разбираемой книге неожиданные грани. Или даже изменить внешне проявленную суть произведения. Скажем, повествования Анны Сапегиной, объединённые в цикл «Мужчины провинциального города», они ж действительно не о мужчинах. Они – о девушках и женщинах, весьма недвусмысленно старающихся тот город и тех мужчин побыстрее оставить.

Иногда критика Бонч-Осмоловской звучит почти разоблачительно. Вот что она пишет о подборке Дениса Безносова: «*Завершим упоминанием двух оставшихся стихотворений подборки. «пора кульминации», самое простое стихотворение, исследует, как мне видится, приём случайного выбора слов из существующего текста, возможно, через десять или через сто слов. Метод снова скрыт, и догадаться об исходном тексте невозможно, перед читателем предстаёт только трансформированный текст с его отсутствующими синтаксическими связями, имеются лишь звуковые сочетания. Остаётся вслушиваться в музыку песка этих случайных слов, некоторые из которых даны прописными буквами, что привлекает к ним внимание, хотя и не прибавляет смыслов*». Тут надо отметить внутреннее противоречие: метод-то как раз ясен, не обнаружены исходный текст и способ отбора слов в собственное стихотворение автора. Казалось бы, автор попался, попытка запустить конвейер не удалась. Но рецензия в целом остаётся сугубо положительной. Отмечая, что, дескать, «*Используемые методы – достаточно традиционны, это, оксюморонно говоря, классический авангард, как опробованное альпинистское снаряжение, которому можно довериться при восхождении*», критик надеется на «пересборку стихотворной ДНК». То есть новая цель достижима с использованием не самых новых средств. Подход, возможно, спорный, но последовательный.

Изредка стиль критика делается вообще уничтожительно-ехидным. В первую очередь, это относится к статье «*Несколько отражений в мутном стекле (российская действительность в современных западных романах)*». Действительно, цвет клюквы в приведённых отрывках просто вырвиглазный, а вкус этой литературной ягоды – кислее кислой кислоты: «*Советские реалии присутствуют на поверхности, но растворяются в глубине. Это похоже на популярное изложение атомной физики пятикласснику: автор и знает, что упрощает, но как ему иначе объяснить! Во время первой встречи героев Вера отвозит на остров тело умершей старухи – похоронить, просто закопать там. Извините, откуда такая самодеятельность? А морг, а запись в книге актов государственного состояния, учет и контроль? Ниоткуда, иначе рассказчик не оказался бы в лодке, вызвавшись помочь Вере, в обнимку с трупом всю дорогу до острова. Так и познакомились*».

Это ещё относительно мягкое высказывание. Иногда Бонч-Осмоловская доходит до состояния абсолютной беспощадности: «*Если разбирать ро-*

ман на части, от него мало что остается. А ведь в нем был стиль. Это добротный текст. Это, собственно, относится ко всем упомянутым романам. Хорошо, профессионально сработанные книги. Картины природы, звуки природы: "Выше плоской крыши, выше вылинявшего красного флага, летел прочь живой треугольник диких гусей"». Назвать роман «добротным текстом» равноценно вынесению приговора.

А вот далее грядёт форменный парадокс. Вдоволь посмеявшись над попытками описать советско-российскую действительность, критик признаёт очень немалые достоинства рассматриваемых ею книг на эту тему! Только вот относятся эти книги не к нашей отечественной жизни, а к месту и времени обитания их авторов. Россия же здесь только удобный фон для обсуждения внутренних проблем и поисков решения оных. Когда-то для этого создавали утопии, антиутопии и литературные путешествия на Луну. Для нас же, живущих в России, разбираемые повествования – именно мутное зеркало. А уж что тут важнее: «мутное» или «зеркало», решать читателю.

Словом, анализировать и пересказывать книгу «Умножение сущностей» интересно, но бессмысленно. Для этого её придётся переписать. И получится много хуже, нежели у автора. Поэтому лучше сосредоточиться на базовых идеях. А они, так или иначе, касаются сущностей литературы формальных ограничений. Ещё точнее: современной литературы формальных ограничений. Ибо, как указывала Бонч-Осмоловская в своём курсе Комбинаторной литературы (2005): «*На протяжении более двух тысяч лет, с эллинской классики до классицизма XVIII века, литература создается по определенным "техническим» правилам"*»[1].

Правила эти касаются не только построения сюжета или риторических фигур. Такие приёмы как липограммы, моновокализмы, усложнённые тавтограммы, а тем более жанры, подобные палиндромам, действительно известны с античных времён. Да и география этих жанров крайне широка. В известном индуистском гимне «Ганеша-сахасранама» все слова начинаются со звука, похожего на наш [г]. Да, в честь начальной литеры воспеваемого божества. А в другом романе, написанном на санскрите, в целой главе нет губных звуков, что крайне нелегко для этого языка. Так писатель сообщал об усталости персонажей после ночи поцелуев.

Словом, изначально техническая сторона литературы носила функциональный характер, и обращение к читателям было довольно прямым. А вот дальше всё стало много сложнее. Деятельность УЛИПО, которой Бонч-Осмоловская уделяет особое внимание, равно как и работа других, менее известных литераторов и литературных групп, была, в определённой степени, реакцией. Не в смысле ретроградности, а в смысле ответа. Ответа на романтизм, на авангард первой волны, на иные литературные направления, провозглашавшие «свободу от всех и всяческих ограничений». И в этом ответе есть несколько составляющих. Первая, в значительной мере, идейно-научная.

Вот что об этом говорит Бонч-Осмоловская: *«...концепции теории поля, теории относительности, квантовой механики, а так же такие основания математики, как теорема Гёделя, теорема Тьюринга и "проблема Остановки" соотносятся с литературными стратегиями, развиваемыми в работах Дэвида Герберта Лоуренса, Владимира Набокова, Роберта Пирсига и Томаса Пинчона (Hayles 1990).*

Хейльз полагает, что причина этих совпадений лежит не в присвоении терминов и постулатов, которые писатели заимствуют у ученых или наоборот, но в общекультурном движении, определяющем знание эпохи (Hayles 1990, xi).

А знание эпохи XX века определялось социальными явлениями, прежде всего Первой и Второй мировыми войнами, но также индустриальными и научными революциями. Они изменили мир и мировоззрение человека, поставив его перед пониманием собственного могущества и собственной мерзости. Как можно существовать после Освенцима, как может поэзия существовать после Освенцима – вопросы, на которые вынуждена отвечать литература послевоенного мира. Отвечать не только документальными свидетельствами, публицистикой и эмоциями, но и литературными экспериментами. Жорж Перек совершает это, включая в структуру романа "Жизнь способ употребления" не только перечисленные математические формы, но и концепции нелинейной динамики неравновесных систем, в просторечии – теории хаоса или теории катастроф».

Это одна сторона медали, её аверс. Указание, по какому поводу награда выпущена. Но есть и

[1] http://www.ashtray.ru/main/texts/bonch_course/lecture1.htm

реверс, маркирующий личность монарха или символику государства, чеканившего ту медаль. Да, речь идёт об авторской стилистике. В статье о стихах Е. Кацюбы Бонч-Осмоловская пишет: *«Алфавитное ограничение вместе с силлабической рифмой становится методом комбинаторной организации текста, отличающимся от стандартной поэтической структуризации. В отличие от алфавитных стихотворений Брюсова и Авалиани, Кацюба свободно пользуется этим приемом, ограничение становится скорее исходным толчком, предоставляющим возможность говорить с читателем на современные и вечные темы, чем строгим формальным ограничением, необходимым для соблюдения во всем стихотворении»*.

Интересно, отчего нельзя говорить с читателем без необходимости «строгого формального ограничения»? Тем более, что говорить так вполне можно. Скажем, Ирвин Уэлш, оглашённый «первым великим писателем XXI века» задолго до начала этого самого века, формальными ограничениями не пользуется. Его манера примерно такова: «Они пошли в заброшенный дом, поднялись на чердак, вмазались, стали смотреть на поезда. Потом Марк сказал...». И ничего, читатель покупает, критик привечает. Уэлш, разумеется, такой не один. Он просто более на слуху.

Стало быть, возможность говорения, предоставляемая формальными ограничениями, носит совершенно иной характер. Она настраивает артикуляционный аппарат писателя. Вспомним, к примеру, книгу Сергея Довлатова «Марш одиноких». Состояла та книга из передовиц и фельетонов для американской русскоязычной газеты, где Довлатов трудился главным редактором. Статьи были самого разного толку. Порой они напоминали довлатовские рассказы, какими мы их знаем и любим. Иногда, что неизбежно в регулярной прессе, материалы оказывались сильно политизированными. Причём политизированными в совершенно конкретном направлении. Газета пребывала в оппозиции к тогдашнему президенту Рональду Рейгану и его республиканской партии. Стало быть, полагалось осуждать каждое его действие. Президент вводит эмбарго на поставки пшеницы в СССР за афганские дела? Довлатов пишет статью против: мол, советский народ не виноват, нельзя допустить голода. Спустя немного времени президент эмбарго отменяет. Тут бы и порадоваться, мол, к нам прислушались (хотя о наличии издания «Новый американец» Рейган, понятное дело, и не подозревал). Однако нет. Ругать – так ругать. Создаётся передовица с осуждением отмены эмбарго и обвинением в потакании агрессору.

То есть политическая позиция была, мягко скажем, гибкой. Оппозиционно-гибкой, что тоже не редкость. А вот эстетическая оставалась неколебимой. Во всех без исключения опусах, создаваемых, повторим, заработка ради, Довлатов оставался верен собственной стилистике. В смысле, не начинал слов в предложении с одной и той же буквы. Вот просто ни разу.

Подобным образом формальные ограничения и дают литератору точку опоры. Боюсь ошибиться, но, похоже, для прозаика они важней, чем для поэта. Всё-таки, стихи – это всё, что не проза. Плохие ли, хорошие ли, но они суть стихи. А вот с прозой так не получится. Отнюдь не всё, что не-стихи, являет собою прозу.

Мы, кажется, далеко ушли от изначального предмета: разговора о книге «Умножения сущностей» *per se*. Это очень хорошо. Собственно, цель критики – провоцировать к размышлениям. Хотя вольно или невольно появляется некоторое чувство ревности к автору. Вернее, желание узнать, насколько он соответствует задаваемым им же критериям. Когда речь идёт о критике, не занимающемся изящной словесностью, вопросов нет. Но Бонч-Осмоловская – самостоятельный писатель. Поэтому тут хочется не «проверить алгеброй гармонию», чем она, как видим, успешно занимается сама, но понаблюдать за созданием гармонии по математическим законам. Вроде бы, в её критических работах о таком методе, давным-давно принятом в серьёзной музыке, сказано премного.

Итак, давайте откроем сборник повестей и рассказов Т. Бонч-Осмоловской «Развилка». Сразу оговорюсь: про значительную часть формальных приёмов, встречающихся в этой книге, я трусливо умолчу. Риск ошибки велик. Прислушаемся в очередной раз к автору: *«Хорошее литературное ограничение – спрятанное ограничение. О нем узнаешь, только добравшись в конце книги до авторского послесловия»*. А послесловий в «Развилке» предусмотрительно нет.

Итак, открывает книгу повесть «В плену запечатанных колб». Завязка проста: довольно молодую учительницу, Наталью Владимировну Замкину, преподающую русский язык на каких-то вполне блаженных островах (возможно – в тихоокеанских владениях США), приглашают в

Москву, покинутую ею несколько лет назад. Зовут не просто так, а по важному делу. Ей предлагают работать над учебником русского языка для соотечественников, обитающих в разных концах Земли. А параллельно – расследовать историю восьмидесятилетней давности о зарубежной работе советских разведчиков.

Прочтя где-то 1/8 часть книги, невольно начинаешь предсказывать фабулу: роман окажется приключенческим, работа поразит героиню степенью своего маразма, она непременно попадёт в шпионскую историю, произойдёт любовь, а кто-то из ведущих персонажей погибнет. К догадкам таким располагает стиль. Всё-таки, мы уже прочли Бонч-Осмоловскую в качестве критика, догадываемся о её предпочтениях, и оттого некоторые маркёры однозначно указывают на принадлежность к жанру интеллектуально-коммерческой литературы. Жанру, кстати, у нас почти и несостоявшемуся. Ибо «жанр» это когда не только Акунин, но хотя б ещё имён 20-30.

На природу книги намекают метафоры вроде: *«На этих ее словах в комнату влетела высокая женщина в юбке до пола и вязаной кофте до колен. В кабинете стало тесно, будто теннисный мяч застучал по стеклянным стенам»*. Или чуть пародийно звучащие красивости: *«Подоспел вечер. Темнота всплыла со дна университетского двора, зародившись в царапинах асфальта, поглотила, не разжевывая, золотые всполохи окон, обслюнявила вязы, да, наверно, вязы, перечеркивающие стену до третьего этажа, доползла до плоскостей крыш»*. Или славные оксюмороны, столь частые и малозаметные в нашей обыденной и невнимательной к мелочам жизни: *«Утренняя вахтерша смотрит сонно с дивана за окошком. Она обрюзгла, размякла, обросла лысиной и бородой»*.

Отчего-то повесть поначалу напоминает «Беглую книгу» Анны Мурадовой – почти состоявшийся хит интеллектуальной беллетристики. Расслабившись, осознав, что сюжет раскроет сам себя, без напряжённого читательского внимания, пытаешься словить автора на неточностях и анахронизмах. Изредка получается. Например: *«Она стукнулась коленями о стену и открыла глаза. Пассажиры аплодировали, как принято только в России, счастливые, что самолет сел благополучно»*. На внутренних рейсах в Латинской Америке вполне даже аплодируют. Говорят даже, будто оттуда обычай к нам и пришёл. Или про руководительницу главной героини: *«Через минуту ее голос медью звенел в коридоре – отчитывала студента за слишком длинные волосы»*. Такое в наши дни возможно в медицинском или фармацевтическом ВУЗе – всё-таки, когда патлы валятся на операционное поле или в изготовляемый лекарственный препарат, это нехорошо. Но в заведениях гуманитарных к причёскам не цепляются, пожалуй, со времён К.У. Черненко. Бывает сложнее. Вот предложение о том, как провести свободную минутку: *«Тут недалеко на Калининском есть отличный японский ресторанчик»*. На Калининском? Весной 2014-го года? Хотя тут, скорее всего, очаровательный и сознательный анахронизм предлагающего: дескать, вот такие вот мы старые москвичи, что для нас Новый Арбат – это старый Калининский проспект.

Как видим, вылавливаемые блохи феноменально мелковаты и немногочисленны. А потом их ловить совсем надоедает. Верней, становится некогда. В книжке отлично передан московский темп жизни, когда успеть нельзя в принципе, но все как-то успевают. Оттого и читаешь её на схожей скорости. Но главное даже не в этом. Главное – как повесть тебя обманывает. Прежде всего: ход сюжета удаётся угадать менее чем на половину. Да, маразм в учебном заведении процветает, да, героиню пытаются завербовать. Нет, любовная линия только мелькнёт; нет, никто из персонажей не умрёт, только один исчезнет, да и то в интересах дела, по заданию.

Но суть – в деталях, конечно. При всём разнообразии математических терминов, упоминаемых Бонч-Осмоловской в её сборнике критики, понятия «матрицы» там нет. В курсе комбинаторной поэзии есть, а в книге – нет. Но говоря о её повести, без этого термина обойтись трудно. Три сюжетные линии накладываются друг на друга и перемножаются сложным матричным образом.

Более или менее всё просто с разведчиками тридцатых годов. Им просто не повезло. Хотя как сказать? Не повезло с выполнением конкретного задания. Затем некоторые из выживших сделали немало хорошего и разного. А вот со шпионской и научной линиями выходит дивно. Прежде всего, они переплетаются до неразличимости. В какой-то момент «Запечатанные колбы» очень напоминают любимые «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Вплоть до некоторых деталей. Моменту поисков довоенной разведсети в «Колбах» параллельны флешбеки к военным эпизодам в книге Зиновьева. Даже появляется тихий вопрос: «А зачем заново говорить об этом»? Но

говорить надо. В конце концов, и сугубо повторить мысли, изложенные в романе Зиновьева, только спустя сорок лет и в относительно новых реалиях, лишним не будет.

Кроме того, реалии эти действительно новы и пугающи. Да, есть преимущество: никто не гибнет. Зато все занимаются тотальной имитацией. Вот абсолютно все. Студенты искренне спрашивают, можно ли вносить изменения в скачиваемые(!) курсовые. Умные вполне студенты-заочники, по-французски умеющие. Зато те же студенты быстро и хорошо оценивают проекты, нацеленные на благоустроение города Москвы и улучшение жизни её обитателей. Да-да, безупречно демократически собранные на открытом конкурсе и переданные на рассмотрение учёных и специалистов проекты. Оценивают студенты. За автоматы на зачётах: «*...очевидно было, что их больше интересуют проекты поддержки молодых и красивых, чем слабых и больных*».

Преподаватели имитируют бурную деятельность. Имитируют честно, искренне, подолгу засиживаясь на работе и спасаясь потреблением незначительных количеств спиртного. Можно сказать, дескать, у нас так было всегда, но *так* у нас было не всегда. Вспомним малозамеченные до сих пор, но доступные в «Журнальном зале» романы Владимира Губайловского «Учитель цинизма» и «Точка покоя». Да, и в семидесятых, и в девяностых дурдома хватало, хватало и трагедий, но жизнь имела непосредственное соприкосновение с бытием. Можно было в свободное от пьянства время искренне получать знания, а спустя немногие годы, те же знания прилагать на пользу себе и окружающим. Через пень-колоду, при активном или пассивном сопротивлении мироздания, но было можно. Вернее – хотелось.

А теперь вот не хочется. Система молотит вхолостую. Заметим: множество систем всех уровней. Казаки это понятно, казаки в своём ряженом варианте – симулякр по определению. Студенты – халявщики. На то пошло, так и значительное большинство научных работников при всех режимах валяли дурака. Даже и протест лучше такой, каким он представлен в книге: протестующие аккуратно изображают сопротивление, а правоохранители – репрессии. Но, например, вербовка Натальи разведслужбе тоже не удалась. Собственно, и нужды-то в этой вербовке не было. Госпожа Замкина готова быть агентом российского влияния бескорыстно. Собственно, она таковой и является. Русский язык преподаёт, о культуре говорит. Но нет. Бюджет должен быть освоен!

«Докладная записка

В связи с увеличением количества агентов и в соответствии со сметой прошу утвердить увеличение учетных расходов на поддержание деятельности программы. Список прилагаю.

С уважением – Г. О. Рыбколов».

Фамилия руководителя относительно крупного отдела – пожалуй, самая очевидная аллюзия во всей повести. В целом тут работа более тонкая. Чего не скажешь о деятельности персонажей. Там тупо, но эффективно осваивают средства.

История повторилась трижды. Вслед за трагедией и фарсом настало время коммерческого мюзикла. Всё для денег, всё для... ну, ясно. Вот тут и возникает главное различие с романом Зиновьева. В «Зияющих высотах» были недовольны все – солдаты, диссиденты, стукачи, кагэбэшники, учёные, выездные, невыездные... Словом, без исключения всё население Ибанска. Теперь ровно наоборот. Ситуация всех устраивает. Ворчат, конечно, но работу имитируют честно. И да: гранты-то капают.

Тут остановлюсь. Фабулу «Запечатанных колб» пересказать нестрашно. Дело не в ней. Но вот книгу рекомендую категорически. Она, книга эта, хорошо предупреждает. Да, конечно, возразить легко: вроде, кругом что-то строят, что-то производят, что-то появляется. Даже деятельность отечественной разведки, судя по регулярным скандалам, вполне существует. Ну, так и Зиновьев свой роман создал за 15 лет до гибели той страны.

Кроме того, как ни архаически это звучит в наши дни, спустя почти тридцать лет после известной дискуссии о «проблеме положительного героя», Наташа – вполне себе такой герой. Слабости есть, но они на виду. А вербовка подразумевает шантаж. Как и вовлечение в систему делёжки малых или больших средств. Там открытые и безупречные не нужны, там все должны быть повязаны недобрым.

Зато в следующей повести, названной «Сиблинги, или Из Феодосии на Марс», в кадре сплошь ангелы. Смертные, мятущиеся порой, но ангелы. Дивно талантливое семейство Глазовых, жившее в мире, где не случилось Второй мировой войны. Или случилась, поскольку раз в тексте упомянута *Первая*, значит, была она не единственной, но прошла та война стороной, или в ином варианте. Сразу можно найти массу

аллюзий. Вернее, даже искать не надо. Вот цикл Сэлинджера о Глассах, вот масса литературы об альтернативной истории, вот фильм «Сошедшие с небес» с Александром Абдуловым и Верой Глаголевой. Вот, наконец, повесть «Жизнь сестёр Тревен» из всё того же романа Ж. Перека «Жизнь способ употребления»: «*...якобы документальное повествование о своих пяти племянницах, близнецах, ставших знаменитыми и богатыми, преуспевших каждая в своей области: политик, ученый, помощница стального магната, путешественница, химик. Однако рассказчик тут же признается в подмене: на самом деле книга мадам Тревен – об обитателях дома, странные ассоциации с биографиями которых отражаются в биографиях сестер Тревен. Отыскать эти ассоциации стороннему читателю практически невозможно, это известные только автору иррациональные связи, иные траектории странного аттрактора*».

Да, это так. Вообще, и недоступных читателю ассоциаций, и приёмов, использованных и описанных Бонч-Осмоловской в своих работах, книга о Глазовых содержит почти неулавливаемое количество. От списков вымышленных книг до поэмы-унивокализма. Повторю: книга получилась очень интересной для чтения. Банально так интересной – как беллетристика в хорошем смысле термина.

Только есть один важный момент, меняющий многое. Вернее, не момент, но персонаж. Он почти скрыт, но всё время на виду. Это рассказчик. Некий человек, от чьего имени ведётся повествование. Рассказчик, употребив немало виски на протяжении многих дней, набрёл на странно маркированную страницу в Википедии. Ту самую, посвящённую Глазовым. Нет-нет, «обычная» Вики тоже рассказывает о многих людях с такой фамилией, но эта была необычной.

Сидит продолжающий употреблять *безликий* повествователь, сёрфит по страничкам. Читает биографии неимоверно талантливой семьи, находит всё, что с нею связано. И постепенно становится главным героем. Тут мы применим к литературе последний из математических терминов данной статьи. А именно – перенормировку. Необходимость в такой математической операции возникла на заре квантовой физики, когда в процессе вычислений зарядов и масс частиц стали появляться явно отсутствующие там бесконечности. И от этих бесконечностей как-то надо было избавляться. Мы тут лучше прочтём мнение специалиста, изложенное, впрочем, весьма популярно: «*Любая попытка учесть взаимодействие этих частиц быстро приводит к тому, что математики называют расходящимися рядами. Говоря упрощенно, перенормировка подразумевает выделение некоторых элементов, расходящихся до бесконечности, и их взаимозачет с другими подобными элементами; оставшийся в уравнении недостаток заменяется произвольной постоянной, значение которой можно определить экспериментально. При условии, что количество таких переменных конечно и что значение каждой из них можно определить, говорят, что теория может быть перенормируемой*».

И важная сноска на полях:

«*А вдруг те самые бесконечные ряды, которые кажутся такими неудобными при математических вычислениях, имеют какой-то глубинный смысл и говорят нечто важное о природе реальности*»[1].

Выходит, гениальной семьи Глазовых могло быть или не быть, мировые войны могли пойти так или иначе, можно было изменить всё или почти всё, ввести множество произвольных постоянных, но рассказчик так же сидел и тупил бы в компьютер, читая о реальных или вымышленных делах и явлениях. А рассказчик этот ведь ты. Ну, или я. Любой из нас.

На этих-то перенормировках и возникают абсолютно неизмеримые бездны жути. При том, что на ужастики или триллеры книги Бонч-Осмоловской похожи менее всего. Просто глядят те книги в бездну. Опять-таки, в тебя, иными словами.

Там ещё в самом последнем рассказике о детском утреннике будет вопрос: а нужно ли малых сих спасать? А не готовы ли малые сии принести в необходимую жертву не Искупителя, а кого-то совсем-совсем иного? Тоже отнюдь не случайного.

Там ещё много чего будет – на страницах этой книги. Вернее, уже состоялось. Теперь надо, чтоб как-то воздействовало на тех, кто готов воспринять. А ведь нас таких немало. И да: найдём или нет хоть малую толику спрятанных аллюзий и приёмов – дело десятое. Комбинаторная литература она ж не ради этого совсем. Как и не комбинаторная, впрочем.

---

[1] Б. Клегг. Квантовая теория / пер. с англ. О. И. Перфильева. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 160 с.

Вячеслав ЛОПАТИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ

(Продолжение. Начало см.: Волга, 2017, № 11-12; 2018, №№ 3-4, 5-6)

Памяти Огарёвой Н.В.

Идеология

...Глубокие перемены нужны во внутрипартийной жизни – в направлении развития демократии, критики и самокритики, гласности в работе партийных и государственных органов всех уровней, аппарата. Идеологическая работа партии должна быть полностью освобождена от казёнщины и штампа, трескотни и декларативности, приближена к реальным проблемам, к фактическому положению дел, сознанию людей. Проблемы, волнующие людей, не должны игнорироваться или загоняться в дебри малопонятных рассуждений. Они должны получать ясную постановку и аргументированные ответы. Не должно быть запретных тем для высказываний и обсуждений. С. 34.

В былые времена, когда в идеологии царили лицемерие и ложь, застой мысли, догматизм и узость мышления, огромное расхождение слова и дела, бесстыдное ограничение гласности, идеология была в расцвете. А теперь, когда мы освобождаемся от всего этого и вступаем на путь обновления, – идеология распалась? С. 176.

Медведев Вадим Андреевич, председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС. В кн.: Вадим Медведев. В команде Горбачёва. М.: Алгоритм, 2016.

Партактив

Время было ещё голодное. В ресторане гостиницы «Москва» нам подали постный суп из цветной капусты и картофельные котлеты. Быстренько уничтожив этот вегетарианский обед, мы поспешили на заседание. ...сначала зашли в бюро пропусков. Там нам сказали: «Проходите по списку». ...Всюду сверяли фамилии с паспортами и, как бы ощупывая глазами, спрашивали: «Оружия не имеете?» ...внутри здания на контроле стояли не старшины, а подполковники. Один из них провёл... в фойе с буфетом... – «Располагайтесь и ждите вызова, – сказал он. – Если есть желание – можете закусить. Буфет бесплатный». ...пристроился к бутербродам с севрюгой и копчёной колбасой. ...открыли пару бутылок лимонада, похожего по шипучести на шампанское...

Минут через двадцать нас впустили в зал, где небольшие столики были расставлены в шахматном порядке. За каждый мог сесть только один человек. Впереди был невысокий барьер, за ним – полированный стол и три кресла. ...несколько членов Политбюро, секретари горкома партии и работники Управления пропаганды Центрального Комитета... уселись за столики впереди нас. Вскоре и за барьером появились трое солидных мужчин. Андрея Александровича Жданова мы, конечно, сразу узнали, так как не раз встречали в Ленинграде. Он занял председательское место. Двое усачей уселись по бокам. У меня невольно возникла мысль: «Вон тот усач справа, будь лет на десять моложе, мог бы в каком-нибудь фильме выступать в роли Сталина». В те времена стоило лишь упомянуть имя Иосифа Виссарионовича, как люди на собраниях вскакивали с мест и бурно аплодировали. А если он появлялся сам, устраивали получасовую овацию. Этот же пожилой человек вошёл и скромно уселся почти у краешка стола. Одет он был как-то по-домашнему: просторный тёмно-серый костюм полувоенного, полупижамного покроя. Брюки заправлены в мягкие сапоги с невысокими голенищами.

На красочных портретах, которые висели тогда повсюду, чуть серебристые на висках волосы Сталина росли густо, лицо изображалось без морщин, и усы не топорщились. А у этого старика сквозь редкие седые волосы просвечивала лысина, лицо было рябоватым и бледным. ...слева от меня сидел сотрудник аппарата ЦК. Я пригнулся к нему и шёпотом спросил: – «А кто тот седой справа?» Сосед посмотрел на меня с недоумением и отстранился. И тут я сам понял, кто это. Просто здесь, в ЦК, когда входил Сталин, не принято было вскакивать и встречать его аплодисментами. Всё происходило тихо, по-деловому.

Андрей Александрович Жданов открыл заседание и предоставил слово начальнику Управления пропаганды ЦК товарищу Александрову, предупредив, что ему отпущено десять минут.

Александров скороговоркой доложил... оба ленинградских журнала – «Звезда» и «Ленинград»... Больше всего досталось редакциям за то, что они поместили стихи Анны Ахматовой, а «Звезде» дополнительно за вредный рассказ Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». Закончил он весьма нелестным выводом: редакции обоих журналов не справляются с возложенной на них работой, а Ленинградский горком партии плохо ими руководит...

Затем слово получил ответственный редактор «Ленинграда» Борис Лихарев. Он и так был бледен и худ, а тут побледнел ещё больше. Казалось, не шёл, а тащился за барьер. ...Борис каким-то отрешённым голосом каждую фразу начинал со слов «Правильно сказал товарищ Александров» и повторял перечисленные недостатки.

Сталин вдруг перебил его: – Говорите зубастей! Почему со всем соглашаетесь?

Лихарев несколько воспрянул духом и начал оправдываться: – Я бы не напечатал... если бы... не было разрешения реперткома.

– Разве репертком даёт разрешения для печати? – спросил Сталин. – ...И перед всем иностранным не надо благоговеть и ходить на цыпочках...

– Вы о том, что мы много переводных вещей печатаем? – не поняв Сталина, спросил Лихарёв.

Иосиф Виссарионович, не слушая его, с заметным грузинским акцентом продолжал: – Получается, будто они учителя, а мы – ученики. Достойно ли это советского писателя? Низкопоклонничество получается.

Борис Лихарев стушевался и умолк.

Вторым пошёл за барьер Виссарион Саянов. Очки его сверкали, но сам он походил на сомнамбулу и тоже был бледен. Заговорил глухим голосом: «...“Приключения обезьяны” напечатаны не по вине Зощенко, а случайно, так как на редколлегии решили завести в журнале «страничку для малышей».

– Разве ваш журнал для детей? – сердито спросил Сталин. – Элементарной требовательности нет ни у редактора, ни у секретаря. Ни уму ни сердцу ничего не даёт. Бездарной балаганной штуке предоставили место. Только подонки могут создавать подобные произведения. У Зощенко есть обиды на советских людей... Хулиган ваш Зощенко! Балаганный писака!!

...Сталин не унимался, говорил резко, не сдерживая себя... – Видите ли, обезьянке в клетке лучше жить, чем на воле. В неволе легче дышится, чем среди советских людей!

...Саянов... вдруг резко изменил тему выступления, повёл речь о том, как много развелось подражателей всему иностранному, советским-де литераторам не к лицу идти по захоженным тропам буржуазных мастеров. Русская отечественная литература не этим славилась и славится на весь мир. Всё своё красноречие, образованность и хорошую память пустил Виссарион в ход. Сталин слушал его, согласно кивал головой, чувствовалось, что Саянов расположил его к себе...

Заседание продолжалось. Секретарь Ленинградского горкома Широков, попросив слова, что-то мямлил, признавая критику в свой адрес, и жаловался на писателей, которые не посещают Университет марксизма-ленинизма.

Сталин резко оборвал его: – Дайте им книги – сами разберутся. Они взрослые люди. – В этой реплике почувствовалось, что Широкову больше не бывать в горкоме, судьба его решена.

Его место занял первый секретарь Ленинградского горкома Попков... Он стоял с видом провинившегося комсомольца... – не всегда удавалось прочитывать «Красную звезду»...

– Как? Как? – перебил его Сталин. Словно мальчишка, не выучивший урок, Попков с просящим лицом повернулся к нам: «Подскажите-ка, как называется ваш проклятый журнал?» Чувствовалось, что до истории с обезьянкой ему не доводилось брать его в руки. Мы принялись шепотом подсказывать: «Звезда»... просто «Звезда»!

– Да фу-ты, господи, «Звезда», – подхватил Попков. – Перепутал с газетой «Красная звезда».

Сталин, видимо, услышал подсказку, потому что понимающе ухмыльнулся в усы и неторопливо стал ломать папиросы, вытащенные из красной коробки, и набивать добытым табаком трубку. Попов сник, говорил упавшим голосом...

Потом вышел Александр Прокофьев. Каким-то не своим, звенящим голосом он сообщил, что «..несут в журналы не готовые произведения, а отрывки, филейчики...»

– Это как на Кавказе... Подведёт к висящей туше и спрашивает, какой кусок тебе нравиться? – спросил с усмешкой Сталин.

– Именно так, филейную часть предлагают, – ответил Прокофьев.

Их разговор вызвал смех. Нависшие тучи как бы развеялись.... – А Анна Ахматова не сама стихи принесла, их у неё выпросили сотрудники редакции.– Зачем вытащили старуху? – неодобрительно спросил Сталин – Она, что ли, будет воспитывать молодёжь?

Сталин не останавливался и говорил не менее десяти минут... – Наши журналы не могут быть аполитичными. Некоторые думают, что политика – дело ЦК и правительства... В этом у нас расхождения с писателями... Мы требуем, чтобы наши писатели воспитывали молодёжь идейную. Почему я недолюбливаю людей вроде Зощенко? Они проводники безыдейности. ...Зощенки воспитывают молодёжь. Этого мы больше терпеть не можем. У нас в редакциях не политические, а приятельские отношения, пропускаются плохие произведения. Что выше: приятельские отношения или идеи? Человек, который боится критики, правды о себе, – трус. У него нет мужества. Запускать болезнь нельзя. Критику нужно встречать мужественно: «А не мог ли я лучше поработать?» Это совершенствование. ...нужен Главный редактор. Он один станет отвечать перед государством и партией за направление журнала, а редколлегия будет помогать. Важно, чтобы этот пост занимал человек, имеющий моральное право критиковать писателей, делать замечания по рукописям. А если вы посадите олуха царя небесного, какая польза от него авторам?

Наши журналы не частные предприятия. Есть в Англии лорды, которые содержат журналы. Вы же работаете в государственных, народных журналах. Не надо считаться со вкусами людей, которые не хотят нас признавать...

В Ленинграде не хватает материала двум журналам. Трагедии не будет, если плохой журнал «Ленинград» закроем. Это называется рационализацией. ...И если дела пойдут хорошо, позже можно будет открыть в Ленинграде два, три, даже пять журналов. А пока – лучше один хороший, чем два хромающих...

На продолжающемся заседании выступил Всеволод Вишневский. Он был одет по-парадному – при всех орденах, медалях и даже при царских георгиевских крестах. Говорил, как на большом митинге. ...Всеволод рассказал, какой боевой и самоотверженной была опергруппа флотских писателей, которой он руководил. При нём такого в Ленинграде не могло случиться. Он бдительно следил за журналами. Стоило уехать, и... оставшиеся опозорились. Но дело будет поправлено, он не оставит «Звезду» без внимания.

Видимо, Сталину не очень понравилось выступление Вишневского. – Писатели свои дела должны делать без оглядки на начальников с большими званиями и орденами, – сказал он. – Награды они получили за дела, не имеющие отношения к литературе...

Выступив с коротким заключением, Жданов сказал: – Переходим ко второму вопросу. Товарищи, пришедшие по первому, могут покинуть заседание.

Мы стали подниматься. Сталин, недоумевая, спросил: – Это кто – писатели? Разве им неинтересно послушать про кино? Пусть останутся.

...В зал вошли режиссёр фильма «Большая жизнь» Леонид Луков и автор сценария Павел Нилов...

...Жданов... о второй серии фильма «Большая жизнь». – ...в этом кинопроизведении нет идей, смешаны две эпохи. ...впечатление, что не было достижений в технике после пятилеток. Показан примитивный, грубый физический труд. Коллектив всё делает на свой риск, даже вопреки решениям государственных органов. Разве мыслимо восстановление без организаторской роли государства? Восстанавливают шахту, и никто не вспомнит, что прошла тяжёлая, всё разрушившая война. Общая обстановка в фильме не соответствует жизненной правде.

– Мы мобилизовали миллион работников на Донбасс! – вставил Сталин.

– В «Большой жизни» никто не поднимает людей на восстановление, – продолжал Жданов. – Руководители словно изолированы от народа. Герои фильма малокультурны, политически плохо воспитаны. В картине не соблюдена пропорция личного и государственного.

– Сколько израсходовано денег? – вдруг спросил Сталин.

– Четыре миллиона восемьсот тысяч, – торопливо ответил режиссёр.

– Пропали деньги! – как бы про себя пожалел Сталин.

После этой реплики режиссёру и сценаристу стало не по себе. Они заметно побледнели, у обоих дрожали руки. Оправдываясь, они просили только об одном: разрешить им изменить некоторые сцены, доснять картину.

– Не понимаю, как вы это сделаете? – возразил Сталин. – Я смотрел первую серию. Она сделана лучше, но тоже есть неудачные сцены. Я замечаю, что люди мало работают над предметом, который демонстрируют, легко и безответственно относятся к делу. Эта лёгкость доходит до преступности. Чарли Чаплин в немом кино умел говорить, работая над деталями. Без деталей нельзя создать характеры. Щепетильно надо работать. Некоторые наши поэты в месяц пишут по две поэмы, а Гёте проработал двадцать лет над «Фаустом». Возьмите фильм Пудовкина «Нахимов». Режиссёр не потрудился как следует. Нет элементарной добросовестности. Показал два-три корабля, танцы, свидания. Фильм о чём угодно, только не о Нахимове. Совсем забыто, что русские Синоп брали и свои порядки там установили. Куда легче показать танцы. А ведь картина должна демонстрироваться всему миру. Или Эйзенштейн сделал две серии об Иване Грозном. Получилась омерзительная вещь! Исказил историю, изобразил войско Грозного – опричников – сборищем идиотов и дегенератов, вроде ку-клукс-клана. Неверное отношение к опричникам! Старые историки неправильно расценивали Грозного. Они не учитывали обстановки. В фильме Иван Грозный – безвольный Гамлет. Изучение эпохи требует большого труда и терпения. Не знаю, как научить людей относиться к своим обязанностям и к себе с достоинством?

В «Большой жизни» всё собрано, чтобы заинтересовать зрителя. Гармошка, пьяный разгул, романсы, лёгкие любовные похождения. А у зрителей вкусы разные, многих не привлечёшь лживыми сценами. Процесс восстановления занимает восьмую часть картины. Очень больно, когда хотят хороших людей испачкать. Всё на Донбассе пахнет старинкой. Вместо инженера поставили простого рабочего. Такое было лишь в первые годы советской власти. Теперь это неправильно. Шахты вводят в строй при высокой механизации. В фильме ни слова о врубовой машине. Спутали прошлое с сегодняшним. И типы не те. Другие люди прибыли на Донбасс. Что останется от картины, если выкинуть из неё цыганщину, девушек, над которыми крыша течёт, а их сказками и песнями утешают? Это не типично у нас. Когда над людьми течёт вода, а здоровые парни, вместо того, чтобы крышу починить, приходят забавлять. Нехорошо получается! При существующих персонажах навряд ли возможны переделки. Надо целую группу новых героев вводить. Как они войдут в старую картину? Частичные переделки не помогут. Пропали деньги!

Мы ушли с заседания возбуждённые встречей со Сталиным и потрясённые его короткими выступлениями. Ни на какой транспорт садиться не хотелось, до гостиницы «Москва» шли пешком. Всю дорогу восхищались: – Вот она – гениальная простота! Такой занятой, а почти все журналы читает и фильмы смотрит. Ну и работоспособность! А как чётко и ясно формулирует!

Пётр Капица. Это было так // Нева. 1988. № 5. С. 137–142.

*

Контроль над соблюдением творческой интеллигенцией установленных партией большевиков канонов осуществлялся, с одной стороны, строжайшей цензурой, а с другой – системой доносительства и репрессиями. С. 229.

В конце 30-х годов писатели были так напуганы репрессиями, что даже в личных дневниках расточали панегирики Сталину. Вот как Корней Чуковский в дневнике расписал свои впечатления от появления Сталина на съезде комсомола 21 апреля 1936 года, куда поэт получил приглашение: «Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомлённый, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюблённые, нежные, одухотворённые и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех было счастьем. К нему всё время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и

зашептали: «Часы, часы, он показал часы» – и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне всё время о нём восторженные слова, а я ему, и мы оба в один голос сказали: «Ах, эта Демченко заслоняет его!» (на минуту). Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью». С. 267.

В.Д. Игнатов. Доносчики в истории России и СССР. М.: Вече, 2014.

*

Переход человека в иную веру для русского правительства всегда казался каким-то пределом человеческой подлости. Это обижало правительство. И вселяло в них неуверенность: дескать, они не так хороши со своей религией и хозяйством, что от них бегут.

Михаил Зощенко. Голубая книга. М.: Астрель, 2010. С. 25.

*

Посмотрите, как Сталин куёт свою речь, как кованы его немногочисленные слова... Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом нам надо.

И. Бабель. 1-й Всесоюзный съезд писателей.

Ольга Фёдоровна Корпакова

– А вы воспоминания не писали, Ольга Фёдоровна? – Боже сохрани! – А почему «Боже сохрани»? – Ну, я не знаю. Чтобы обыкновенные люди писали воспоминания – по-моему, это как-то даже и неудобно, неприлично. – А кто должен писать? Какие-нибудь писатели? – Ну, известные люди – ну, может, близким интересно бывает...

– Ольга Фёдоровна, а вы не знаете? Гущин с Ненашевой где занимался, где занятия были? – Она и к нему приходила, и в мастерскую при музее. – А мы думали, что у вас! – Ну, он бывал, конечно, но чтоб заниматься – нет! – А сейчас про неё ничего не слышно? – Я знаю, что-то у них с Нонной – не знаю, что произошло, и они совсем потеряли связь. Что-то разобиделась Нонна. – Огарёва говорит, картинки смотрели, Альдона говорит: – И мы ЭТОМУ поклонялись?

– А с Альдоной как познакомились, она саратовская? – Нет, она из Волгограда, но училась она в Саратове, а у нас она жила. – В доме прямо у вас жила? – А у нас она просто жила: Роза Кармеева и она – учились вместе. Она – Матюшина – стала скульптором, а Роза Кармеева живописец, и у неё хорошие ученики были, талантливые... – А Альдона приезжала в Саратов после окончания училища, она с Гущиным встречалась? – Нет, не встречались больше. Она приезжала памятник ему сделать. – То есть они общались только письмами, получается? – Нет, ну когда здесь они были, конечно, встречались постоянно... уехала. Она довольно быстро вышла замуж. – А вот Ненашева, это по мужу фамилия? – Да! Матюшина она – она Матюшина.

Наша компания просто была – Альдона, Борис Белов, Нонна и я...

С Огарёвой? Как раз в 43 мы и встретились с Огарёвой. На первом курсе, на первой встрече. Ещё до занятий, первый раз мы встретились – там собирали нас. И она мне говорила: – Ты знаешь, я очень тебя, так сказать, отрицательно оценила. – Ну, у меня какая-то такая шляпка была чёрная – вот с таким вот бантом! – бархатная. Ну, она говорит: – Какая-то фит-фок! – Я говорю: – Ну, и долго это продолжалось? – До первого занятия! – А потом так вот накрепко, на всю жизнь...

С Гущиным познакомилась через Нонну Валерьевну. ...Давно уже. Всё уже давно. И Нонки нет уже... оборвались ниточки! – Ольга Фёдоровна, а кто был муж у Нонны Валерьевны? – У неё не было мужа! Она не выходила. – Она давала нам интервью, мы записывали её, и рассказывала, что в один год она потеряла бабушку, маму и мужа, и мы тоже так удивились. – Никогда! Нет, она никогда не была замужем! Она влюблена была в Илюшу, но он погиб – ну, это было очень давно. Погиб, по-моему, в сорок пятом. – Ну она сама нам сказала. – Чего не было, того не было! Это я сбегала замуж, по-моему, то ли в сорок седьмом...

«Закон времён, металла звон»

– А Гущин общался с Оксманом, с Гуковским?

– С Оксманом точно нет, по-моему и с Гуковским тоже нет. Кружки такие были рядом, но не пересекались.

– А вот с Серебровским вы общались? Очень много работ Гущина у него было.

– С певцом? Общались, конечно. Поскольку я была фанаткой оперы. Я со всеми общаюсь.

– А с Дубровиной общались?

– Да, уже потом, потом. Она очень не хотела на телевидение, сколько приглашали. Она говорила: «Не хочу, чтобы меня видели, чтобы меня помнили такой, какой я была». – Вера Андреевна, когда она ушла из театра, она преподавала? – По-моему, преподавала, да. Вот Урусова с Адашевским – знаю, что они преподавали. А вот Барелли уже, по-моему, – нет. Странно, вот была почему-то тяжёлая. Не то чтобы она большая была, а вот тяжёлая. Про Станиславову я делала передачу. Бардина была...

– Ольга Фёдоровна, а когда вы учились, какая специальность у вас была. Филолог? Преподаватель русского языка и литературы? – Преподавателем я ни одного дня не работала, сразу ушла в библиотеку. А на практике пришла, между прочим, в мою школу, которую я семилеткой оканчивала. Пришла в класс и думаю: – Господи, вот такую Корпакову – одну, не дотюканную... – Почему это? – Круглая отличница, задира! – Не похоже на вас, не верю! Вот что круглая отличница, верю! – Ну, что вы? Та ещё была! Круглая отличница, тогда не было золотых медалей, а грамота была. Так что вот, хулиганка была!

– А Борис Белов с вами учился вместе? – Кончили-то мы одновременно, в пятьдесят первом. Я пошла работать в библиотеке, а он уехал в Златоуст. Он писал страшные письма про этот город, про своих учеников в вечерней школе. – Это он по распределению поехал после окончания? – Да. Я перешла на заочный, поэтому меня не касалось это распределение. – А почему вы перешли на заочный? – Ну, во-первых, просто хотела остаться здесь, во-вторых, как-то мне уже не хотелось ходить и всё прочее. Так что предпочла – а он загремел! И писал, что страшное впечатление на него произвело Куйбышевское море. Там, говорит, всё белое было, потому что рыбы все кверху брюхом плавали – все погибли! Ужас просто!

Аудио-видео запись Галины Беляевой

Вспоминаю Бориса Белова вместе с Ольгой Фёдоровной.

Борис, отработав полагающиеся два года, опять в Саратове – поэт. Знаменитая песня Белова – «Огней так много золотых на улицах Саратова...». За невнимательность эгоистическую я перед ним до сих пор испытываю вину. Захотел он посмотреть нашу живопись – мою, Люси, Чудина. Жили в чудинском подвале, тогда по радио впервые передавали песню на слова Белова, потом ставшую популярной, – «Крепче за баранку держись, шофёр...»[1] Борис перевёл текст с кого-то из скандинавских поэтов и его вариант, параллельно с чьим-то другим, более мне нравился – после! А тогда мы и слушать не стали – Борис пытался обратить наше внимание на песню, но он же не сказал, что это его песня...

Белов с Гущиным друзья[2], в шахматы играют – оба увлечённо. Какие-то звания-отличия за игру в шахматы у Белова были, а Гущин страстно играл – этим довольствовался. Борис перебрался жить в Москву, играл в шахматы с соседом писателем-фантастом Гансовским. Повесть того «Шесть гениев» правдоподобно иносказанием говорит о нашей повседневной тогдашней жизни – персонаж книги это Ярыгин Валентин, саратовский неподцензурный поэт. О своих стихах Валентин говорил: *– Раз уж наш, взвинтивши нервы, / за твоё ж дарёное / крошит зубы, / в двадцать первый / передайте оное. –* Ярыгин настоящий патриот, искренний коммунист, фронтовик, ранен, «пьяница», умер в 1970 году. Пророчески сказал Ярыгин – в двадцать первом веке стихи его напечатаны. О характере Ярыгина дают представление персонаж из повести «Шесть гениев» и актёр, играющий Меркуцио в английском кино «Ромео и Джульетта».

---

[1] Версия В.Л. не соответствует общепринятой. Об истории создания песни «Огней так много золотых» см., например: http://www.norma40.ru/chd/a-ya-lyublyu-zhenatogo.htm; о песне «Крепче за баранку держись, шофер!» см.: http://gg34.ru/society/5948--l-r.html и др. Есть также саратовская версия относительно песни «Огней так много золотых»: по устному свидетельству Гнатенко Виталия Ивановича (аудиозапись 2015 года), автор музыки – композитор, руководитель эстрадного и оркестра народных инструментов при Саратовском автодорожном институте Владимир Лацков, прочитавший стихотворение в местной молодежной газете и положивший его на музыку задолго до выхода в свет фильма «Дело было в Пенькове». ***(Здесь и далее – Прим. ред.)***

[2] Воспоминания Бориса Белова о Н.М. Гущине см.: Волга. 2010. № 3-4; http://magazines.russ.ru/volga/2010/3/pa13.html

Декабрь 1962 года[1]

Событие! «Хрущёв посетил Манеж» – «общее внимание формализму!». Саратов, спасибо Грибоедову, все знают – «деревня, тётка, глушь...» Город Пугачёв от цивилизации дальше Саратова на пятьсот километров. Там есть художники. И обижается знакомый из Пугачёва. – *Раньше что? Сижу, этюд пишу, прохожие идут. Кто-нибудь остановится, смотрит, а и спросит, что я делаю. Теперь каждый обзывается – А! Абстракт!*

В декабре 1962 года Гущин Николай Михайлович переполнен летними впечатлениями, рассказывает о посещении Саратова студией Белютина, арендовавшей теплоход творческим маршрутом Москва – Астрахань – в Саратове остановка. Мы от Бориса Белова узнаём о приглашении Гущина белютинцами смотреть их работы. Вожатый Белов: Гущин; Аржанов, Солянов, я увязался. Нашу группу – поднимаемся по сходням, а с палубы один так лениво, недоволен назначенной ролью! – нас фотографирует. Охотно показывали художники свою работу – куча, навалом записанный картон. Вот где формализм! – а может абстракция? Я не понимал их картины, хотя меня директор саратовского художественного училища Просянкин хотел выгнать из училища именно за формализм, – что это такое, я тогда не знал. Теперь что получается? Теплоход «дают» – значит «разрешили»? Никакого сомнения в светлом будущем, Гущин в восторге – *пусть теперь остановят!* – Остановили! – говорит Солянов.

Гущин играет в шахматы с Эмилем Арбитманом, тогда ещё не замдиректора по науке, а научным сотрудником. Искренность ли, наивность – никак не притворство, Гущин с воодушевлением рассказывает о Франции, там плохо художникам из-за посредников «маршанов». На Западе художники предоставлены сами себе, а вот у нас государство заинтересовалось, общественное внимание к проблемам искусства на уровне Советского правительства – это хорошо, выступление Хрущёва – это перемены к лучшему – *...это только начало!* – Арбитман и отозвался. – *Боюсь,* – говорит, – *конец будет самым неинтересным.* – От удивления запомнился этот диалог, потом удивился проницательности Арбитмана.

Н.С. Хрущёв сказал «при посещении Манежа»: «*В чём-чём, а в отношении искусства и культуры Сталин был абсолютно прав! Слышите? Прав безо всяких оговорок!*» (Нина Молева. Эта долгая дорога через XX век. М.: Книжная находка. 2003. С. 201).

Исходники

Н. Г. Чернышевский

В диссертации Чернышевский ниспровергнул идеалистическую эстетику и создал теорию такого искусства, которое связано с реальной жизнью и практическими потребностями человека, служит человеку и решает важные общественные задачи. «Прекрасное есть жизнь! – провозгласил Чернышевский в своей диссертации и пояснил: –...видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям». В этих словах заключалась политическая му дрость материалиста Чернышевского. Для него прекрасна не та жизнь, которая окружает его, а та, какой она должна быть после изменения действительности в соответствии с революционными идеалами.

Николай Гаврилович Чернышевский в портретах, иллюстрациях, документах. Сост. О.А. Пини, А.П. Холина. Под общей редакцией Н.М. Чернышевской. Ленинград: Просвещение, 1978. С. 9.

В. И. Ленин

К. Маркс и Ф. Энгельс создали научные основания для развития теории марксистско-ленинской эстетики и системы её категорий.

В.И. Ленин развил и углубил диалектико-материалистическое понимание эстетических категорий, в особенности категории искусства, художника и партийности. С. 45.

В.И. Ленин был глубоким материалистом-диалектиком, глубоко разбирался в вопросах искусства. С. 48.

Социальные аспекты категории искусства связаны с тем, что в нём... зафиксированы его возможности объединять чувство, волю и разум масс (В.И. Ленин), создавать духовное единство народа. С. 163.

Е.Г. Яковлев. Проблемы систематизации категорий в марксистско-ленинской эстетике. М.: Искусство, 1983.

[1] Об этом также см.: В. Лопатин. Две выставки // Волга. 2015. № 9-10; http://magazines.russ.ru/volga/2015/10/22l.html

И. В. Сталин

14 и 16 августа 1946 года: постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и «О кинофильме "Большая жизнь"»: «являющиеся выражением сталинской заботы о создании изобилия духовной культуры в нашей стране». – Редакционная статья «На пути к советской классике» //Искусство. 1951. Сентябрь-октябрь.

Социалистическая духовность

...социальная среда, под воздействием которой формируется человек, наряду с материальными заключает в себе и духовные факторы... К духовным факторам относятся наука, просвещение, искусство и литература, господствующая в обществе мораль, –...духовная культура общества. С. 335.

Важным элементом духовной культуры, способствующим прогрессу личности, является искусство. Сделав искусство достоянием народа, социализм поставил его на службу самоутверждению личности, её всестороннему развитию. Чувственная конкретность и образность, эмоциональность и доступность делают социалистическое искусство могучим средством формирования нового человека. С. 337.

...помощь человеку в его практических делах оказывает и теория научного коммунизма, которая не только раскрывает картину светлого общества будущего, но и указывает конкретные пути его созидания.

...атеизм – непримиримость к различного рода религиозным предрассудкам и верованиям. ...формирование у всех членов общества научного, коммунистического мировоззрения неразрывно связано с атеистическим воспитанием личности.

Советский Союз – первая в мире страна массового атеизма: большинство его граждан навсегда освободилось от религиозного дурмана. Однако религия в нашем обществе ещё живёт, она держит в своих тенетах определённую часть граждан, а к этому никак нельзя относиться равнодушно. ...Религиозная мораль с её проповедью непротивления притупляет в верующих классовое чутьё, чувство бдительности. С. 342-343.

Коммунистическая партия видит свою задачу в том, чтобы вести борьбу против буржуазной идеологии, добиваться высвобождения народных масс из-под влияния всех видов и форм буржуазных идей, привычек и нравов, распространения в массах передовых идей марксизма-ленинизма, идей научного коммунизма.

...коммунистическое воспитание трудящихся обязательно предполагает непримиримую борьбу с идеологией реакционного империализма. Всякое принижение борьбы с буржуазной идеологией означает ослабление позиции социалистической идеологии и наносит непоправимый ущерб делу коммунистического строительства, делу формирования нового человека. С. 345-346.

В.Г. Афанасьев. Научный коммунизм. М.: Изд. Политической литературы, 1966.

Идеал – это специфически духовное образование, представляющее собой обобщённый и вместе с тем зримый образ «Хорошей жизни», жизни такой, «какова она должна быть по нашим понятиям», как говорил Н.Г. Чернышевский. С. 8.

В социалистическом обществе культура становится единой по духовной направленности... С. 13.

...эстетическая культура может сыграть очень важную роль в вытеснении и преодолении религиозных верований, являющихся существенным препятствием в формировании научной картины мира. Эстетическое воспитание, раскрывающее советскому человеку богатство его жизни и деятельности, строится на верном понимании действительности. Оно развивает его творческие способности и жизнелюбивые устремления, покоящиеся на вере в свои собственные силы. Социалистическая эстетическая культура формирует человека для человека и человека для общества, обходящегося без посредничества потусторонних, сверхъестественных сил.

Эстетическая культура социализма формирует реалистическое мировосприятие, использовать которое в борьбе с религиозным миросозерцанием совершенно естественно и закономерно. Как и научная картина мира, эстетическая культура объективно правильно отражает действительность и способствует освоению и использованию окружающего мира в человеческих целях, чего не даёт религия, выступающая фантастическим, искажённым отражением действительности, превратно ориентирующим человека в мире материальных и духовных ценностей. Дальнейшее развитие эстетической

культуры служит ступенью, значительно облегчающей и намного ускоряющей переход от простого, бездумного неверия к сознательному, научно обоснованному отрицанию сверхъестественного и от наивно-материалистического мировосприятия к мировоззрению научно-материалистическому, вырастающему из современной научной картины мира. С. 72-73.

Коммунизм как самое гуманное общественное устройство ставит перед человеком возвышенные цели. ...в ходе приобщения индивида к миру духовной культуры раскрылось всё богатство человеческих потребностей, которое Маркс считал мерилом богатства личности... ...возвращение обществу усвоенных человеком духовных продуктов... Следовательно, смысл и практическое назначение формирования нового человека – в воспитании потребности реализовать всё богатство человеческой сущности, в воспитании потребности служения обществу. С. 151.

Особенно велика и почётна роль советской интеллигенции в коммунистическом воспитании трудящихся масс. Коммунистическая партия историческими постановлениями по идеологическим вопросам указала ясный путь интеллигенции, дала направление её работе. Руководствуясь этими указаниями, борясь с влияниями упадочной буржуазной «культуры», советская интеллигенция достигает всё больших успехов в деле развития самой передовой в мире социалистической культуры. С. 196-197.

Эстетическая культура советского человека. Под редакцией проф. М.С. Кагана. Составитель сборника Г.А. Праздников. Издательство Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. 1976.

Справка

Григорий Праздников преподавал в Саратовском пединституте, – доброжелателен, контактен. С Виктором Чудиным встречался в его мастерской – выпивали. Гоша (имя в дружеском общении) – без труда достигавший карьерных высот, пьющий, рано умер. Особо – о чудинской мастерской на 6-м этаже НИИ, на Площади Революции. Оказался там опальный Чудин нежданно-негаданно по милости Юрия Михайловича Коркина (после внезапной смерти Боброва Бориса Павловича (1913-1964) стал председателем саратовского отделения союза художников СССР). Коркин, кэгэбэшник без зарплаты (по идейным искренним убеждениям), знал Чудина до знакомства того с «идеологическим диверсантом» Гущиным. Коркин хотел перевоспитать Чудина, получил указание, что не надо загонять неблагонадёжных художников «в подполье», – их надо держать «на виду». Чудин занимал мастерскую вместе с двумя Лёшами – Пановым и Гусевым. Чудина лишили мастерской после смерти Коркина, когда к власти в СХ пришли прагматики «чеченята» (покровительствовал депутат горсовета, главный художник Саратова – 1958–1980 гг. – Чечнев Александр Никитич, 1907–1995 гг.). В отчётах Обкому КПСС Выставком СХ сообщал, что от участия на выставке отсеивались картины из-за «идейно-художественных недостатков». Обман руководства, – высокие понятия камуфлируют корыстные побуждения. Василий Фомичёв на «закрытом» Выставкоме 1957 года не стеснялся «между своими» сказать: – *Мы его* (того, другого, пятого-десятого) *на выставку пустим, а нас покупать перестанут.* – Вот это духовность – советская!

Формирование нового человека

Культурная революция

– составная часть социалистической революции, означающая целый переворот, целую полосу культурного развития всей народной ма ссы и имеющая своей целью создание новой, социалистической культуры.

Своеобразие культурной революции, осуществлённой в СССР, заключается в том, что она была произведена сверху, по инициативе и под руководством Коммунистической партии и государственной власти, при активной поддержке со стороны миллионных масс рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, боровшихся за преодоление культурной отсталости страны, за победу социализма. Неоценимым достижением культурной революции является формирование нового, советского человека – человека нового типа, понимающего политику партии и Советского государства и активно проводящего её в жизнь. Одной из главных задач культурной революции являлась задача создания новой, советской интеллигенции. Партия указала советским писателям и художникам, что литература и искусство должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу нашего строя, – политикой партии. С. 266-267.

Краткий философский словарь. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Издание четвёртое, дополненное и исправленное. М.: Политиздат. 1954.

Статья В. И. Ленина «О кооперации» – конспект

Я, справедливо убеждённый в необходимости классовой борьбы, теперь, со времени Октябрьской революции понимаю, что состоявшееся свержение г осподства эксплуататоров становится самой неподкрашенной действительностью.

У нас, действительно, раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства... ...теперь гигантское, необъятное значение приобретает для нас кооперирование России. ....только кооперирование населения. ...широкое и глубокое подчинение русского населения общим интересам. Исключительное значение имеет эта кооперация, во-первых, с принципиальной стороны (собственность на средства производства в руках государства), во-вторых, со стороны перехода к новым порядкам путём возможно более простым, лёгким и доступным...

Объединиться для построения социализма... Этой-то ступени мы и достигли теперь. И несомненно то, что, достигнув её, мы пользуемся ею непомерно мало.

Мы перегнули палку, в том отношении, что забыли думать о кооперации, что недооцениваем теперь кооперацию, что начали забывать уже гигантское значение кооперации в указанных выше двух сторонах этого значения...

Надо поставить кооперацию политически так, чтобы не только кооперация вообще и всегда имела известную льготу, но чтобы эта льгота была чисто-имущественной льготой... Надо ссужать кооперацию государственными средствами собственности...

Каждый государственный строй возникает лишь при финансовой поддержке...

...под этой поддержкой недостаточно понимать поддержку любого кооперативного оборота, – под этой поддержкой надо понимать поддержку такого кооперативного оборота, в котором действительно участвуют действительные массы населения. Давать премию, кто участвует в кооперативном обороте, это – форма безусловно верная, но при этом проверять это участие и проверять его сознательность и его доброкачественность, – вот в чём гвоздь вопроса.

Нам, с точки зрения «цивилизованного» (прежде всего грамотного) европейца, нужно сделать ещё очень немного для того, чтобы заставить всех поголовно участвовать и участвовать не пассивно, а активно в кооперативных операциях... Собственно говоря, нам осталось «только» одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. «Только» это. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы.... Для участия в кооперации поголовно всего населения требуется целая историческая эпоха. ...и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости, без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и так далее, – без этого нам своей цели не достигнуть. Всё дело теперь в том, чтобы уметь соединить тот революционный размах, тот революционный энтузиазм, который мы уже проявили и проявили в достаточном количестве и увенчали полным успехом, уметь соединить его (тут я почти готов сказать) с уменьем быть толковым и грамотным торгашом...

...ряд привилегий, экономических, финансовых и банковских, кооперации – в этом должна состоять поддержка нашим социалистическим государством нового принципа организации населения. ...надо уметь отыскать ту форму «премий» (и те условия выдачи их), которую мы даём за кооперирование...

А строй... кооператоров при общественной собственности на средства производства... – это есть строй социализма.

...теперь центр тяжести переносится на мирную организационную «культурную» работу. Эта культурная работа в населении преследует именно кооперирование. Полное кооперирование невозможно без целой культурной революции. Но наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Мы начали не с того конца, как полагалось по теории всяких педантов, и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы всё-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной.

Я готов сказать, что центр тяжести переносится для нас на культурничество, если бы не международные отношения, не обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе...

(По тексту 3-го изд. Сочинений В.И. Ленина, том XXVII, стр. 391–397.

Сговор

...в ночь с 23 на 24 августа сговор между двумя диктаторами свершился. На банкете в честь подписания пакта Сталин вдруг произнёс заздравную речь в честь фюрера, а Риббентроп 28 сентября, ведя переговоры о границах между СССР и Германией скажет, что в Кремле «он себя чувствует как среди старых товарищей по партии». Думается, что в тот момент Риббентроп не лицемерил, а действительно почувствовал атмосферу определённого родства между большевистской и фашистской диктатурами.

В ночь подписания договора 23 августа и секретного протокола Сталин, по свидетельству близкого окружения был оживлённее, чем обычно. Настроение его приподнялось. В разговоре с Риббентропом вождь ВКП/б/ согласился с мнением, будто Антикоминтерновский пакт (союз Германии, Италии и Японии) направлен не против СССР, а против западных держав. Сталину казалось, что он одержал большую победу над дипломатией Англии, к которой он относился с большим предубеждением. Прощаясь с Риббентропом, Сталин буквально сказал ему следующее: «Советское правительство принимает новый договор очень близко к сердцу. Вы можете положиться на моё честное слово. Советский Союз не подведёт своего партнёра».

Юрий Фролов. Великая Сталинская империя. М.: Алгоритм. 2014. С. 62

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

«Партнёр» Гитлер в ловушке «внезапного» нападения

Именно тогда в полной мере проявилось полководческое искусство советского командования. Намерения противника оно просчитало настолько точно, а меры противодействия продумало так грамотно, что гитлеровцы ещё до начала своей операции были обречены на провал. Осуществилось решение Сталина – дождаться наступления врага, измотать его, находясь в обороне, а уж потом перейти в контратаку.

Валерий Шамбаров. На Восточном фронте – перемены // Свой. Журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова. 2018. Июль-август. С. 4-5.

Свои – чужие

Жак Р. Пауэлс. США во Второй мировой войне

...на Восточном фронте Советы по-прежнему боролись с «подавляющей частью» немецкой армии, как отметил британский историк Клайв Понтинг, в то время как западные союзники никогда не противостояли более чем 10 процентам от общего объёма сил вермахта. С. 134.

Рузвельт и Черчилль считали, что повторение советско-германского пакта 1939 года не было немыслимым... ...был исторический прецедент: российско-германский Брестский мир 1918 года. Этот мир позволил немцам начать крупное наступление на Западном фронте, которое едва не позволило им вырвать победу в конце Первой мировой войны. С. 136.

Так как на Восточном фронте Красная армия продолжала яростно сражаться с вермахтом и после Сталинграда и Курской битвы, Вашингтон и Лондон в конечном итоге поняли, к большому для себя облегчению, что Сталин не оставит их в беде. В этом контексте можно понять, почему сразу же после Сталинградской битвы, по случаю конференции в Касабланке 14-25 января 1943 года, Рузвельт предложил, чтобы союзники обещали никогда не вести сепаратных переговоров с нацистской Германией и соглашаться только на безусловную капитуляцию их общего нацистского врага. С. 137.

...во время Второй мировой войны на каждого американца, который «отдал свою жизнь», как говорится в таких случаях, приходилось не менее 53-х советских солдат; в общей сложности лишь 600 000 британцев и американцев были убиты на всех фронтах, в том числе в войне против Японии, когда более 13 миллионов советских солдат погибли на Восточном фронте. Один только Ленинград потерял больше людей, чем совокупные потери Соединённых штатов и Великобритании во всей Второй мировой войне. Для того, чтобы обеспечить поддержку Сталина, было действительно полезно на время забыть

об интересах балтийских государств и Польши. Так что польские и прибалтийские интересы, можно сказать, были принесены вовсе не на алтарь советских амбиций, как внушали миру в годы «холодной войны», а на алтарь британских и американских интересов. С. 140.

Красная армия... была сильна огромными массами пехотинцев, отличными танками и мощной артиллерией. Западные союзники...имели на руках военный козырь, против которого у Советов не было никакого эквивалента, козырь, который позволял американцам и англичанам наносить разрушительные удары даже на большом расстоянии от их собственных фронтов. Этим козырем были их военно-воздушные силы, самый впечатляющий воздушный флот бомбардировщиков, который когда-либо видел мир. И Вашингтон, и Лондон хотели, чтобы Сталин знал об этом. В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года... Дрезден, столица Саксонии, город, известный хранившимися там произведениями искусства, был атакован британскими бомбардировщиками не один, а два раза. А на следующее утро город подвергся нападению бомбардировщиков американских.

.../нападение/ намеренно вызвало огненную бурю, которую британский журналист и историк Филипп Найтли описывает так: «Искусственный торнадо, в результате которого воздух всё быстрее и быстрее втягивается в огонь. В Дрездене ветры со скоростью более 150 километров в час сметали людей и обломки в огромный пылающий костёр с температурой более тысячи градусов по Цельсию. Пламя пожирало все органические вещества, всё, что могло гореть. Тысячи людей погибли, были сожжены, обращены в пепел, задохнулись». С. 176-177.

Черчилль решил, что полное уничтожение немецкого города под носом у Советов, так сказать, «даст понять то, что надо» Кремлю... ...мысли союзников... были обращены уже к послевоенной реконструкции, планы такой операции начали вырисовываться как полезный способ «запугать Советы».

Как писал британский военный историк Александр Макки, Черчилль «намеревался написать на ночном небе /Дрездена/ текст урока» для Советов. ...Черчилль действовал с ведома и одобрения Рузвельта. Партнёры Черчилля в политической верхушке, а также военной иерархии Соединённых Штатов, в том числе Генерал Маршалл, разделяли его мнение; их тоже «очаровала, как пишет Макки, идея «запугивания /советских/ коммунистов, терроризированием нацистов». С. 184-185.

Бомбардировка Дрездена была демонстрацией силы, призванной показать, что в лице своих военно-воздушных сил западные союзники обладают оружием, на которое Красной армии нечем ответить, независимо от того, насколько сильна и успешна она против германской армии, и против которого у неё нет достаточных средств обороны. С. 192.

...самым отвратительным в американских глазах был коммунизм. Причина этого заключалась в том, что данная революционная идеология отказывалась от капитализма в целом, а кроме того, в том, что её сторонники были активно заняты с 1917 года строительством в Советском Союзе радикально отличающейся социально-экономической системы, таким образом, обеспечивая капитализм нежелательной конкуренцией общества, построенного на противоположных капиталистическим принципах. С. 230-231.

В двадцатые и тридцатые годы американские политические и промышленные элиты были антикоммунистами и, следовательно, с пониманием относились к фашизму. Однако *после Перл-Харбора фашисты стали врагами Америки, в то время как Советский Союз по воле причуд войны превратился в союзника Дяди Сэма. Лишь по этой причине во время войны были временно приглушены пылающие огни антикоммунизма... Многие известные американцы публично сетовали на то, что Соединённые Штаты оказались в состоянии войны «не с тем врагом», и сенатор Тафт громко предупреждал, что «победа коммунизма будет гораздо более опасной для Соединённых штатов, чем победа фашизма».*

Нацизм, как и фашизм вообще, был крайне правым политическим течением, которое не только показало уважение к существующему капиталистическому социально-экономическому порядку, но, что было также важно, оказало капиталу такие важные услуги, как устранение профсоюзов, а также социалистических, коммунистических и всех других левых партий... Именно по этой причине корпорации Германии...оказали щедрую финансовую поддержку нацистам во время их продвижения к власти, связали себя с ними после того, как они пришли к власти, и сотрудничали с ними, получая прибыль от таких типично государственных инициатив, как преследования противников режима, экспроприация еврейского населения, перевооружение и внешняя агрессия. Макс Хоркхаймер очень точно подметил, что те, кто хочет говорить о фашизме, не могут молчать о капитализме, потому что в конечном счёте фа-

шизм является лишь формой капитализма, его проявлением. ...как пишет Эдвин Блэк... «мир понял, что корпоративный сговор /стал/ краеугольным камнем гитлеровского террора». С. 305-306.

...хотя конец Третьего рейха уже был на горизонте, машина пропаганды Геббельса агрессивно работала по сценарию спасения нацистского государства, в частности, речь шла о проекте сепаратного перемирия между Германией и западными союзниками с целью совместного «крестового похода» против большевистского Советского Союза. ...ведущие круги в Великобритании, да и буквально во всём капиталистическом мире считали большевизм своим «естественным врагом» и в то же время рассматривали нацистскую Германию в качестве основной силы этого предстоящего «крестового похода». С. 174.

...На такой сценарий надеялся не только Дёниц и многие другие немецкие командиры, но и многочисленные высокопоставленные должностные лица в рядах западных союзников, которые вслух мечтали о броске на Москву плечом к плечу с вермахтом. ...заместитель Эйзенхауэра, генерал Паттон, как сообщалось, *сделал такое заявление: «Мы будем бороться с ними (Советами) рано или поздно... Почему бы не сделать это сейчас, пока наша армия цела и проклятых русских можно загнать пинком по задницу обратно в Россию за три месяца? Мы легко можем сделать это сами с помощью немецких войск, которые у нас есть, если мы просто вооружим их и возьмём их с собой; они ненавидят этих ублюдков. За десять дней я могу устроить достаточно инцидентов, которые смогут ввести нас в состоянии войны с этими сукиными детьми, и дело будет выглядеть так, словно виноваты они. Настолько, что наше нападение на них будет полностью оправдано».* С. 211-212.

Было просто немыслимо, конечно, чтобы Вашингтон и Лондон пошли на сделку с нацистами. С другой стороны, в американской спецслужбе УСС (Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ) уже в течение некоторого времени считали, что есть возможность прихода к власти в Берлине людей, которые, в отличие от нацистов, стали бы приемлемыми партнёрами для американцев и англичан. ...возможность того, что вермахт сможет продолжать сражаться на восточном фронте и в конечном итоге совместное выступление против Советов. ...По данным немецкого историка Юргена Брюна...: УСС, очевидно, представляло правящие круги Америки. ...Кадры УСС ещё были заняты тем, как победить национал-социализм, но они уже планировали «ликвидировать» Советский Союз как политическое образование или, по крайней мере, свести до минимума его влияние в послевоенной Европе»...

УСС, таким образом, установило контакт с определёнными немецкими военными и политическими руководителями, которые составляли то, что вошло в историю как антигитлеровская «оппозиция», хотя большинство этих людей поддерживали Гитлера с большим энтузиазмом во время его триумфов...

После самоубийства Гитлера 30 апреля 1945 года американцы и британцы получили новую, возможно, последнюю возможность найти «респектабельных партнёров» в Германии. Нацисты, такие, как босс СС Генрих Гиммлер, также охотно предложили свои услуги, но эти люди не отвечали важнейшим критериям респектабельности. ...открывалась бы возможность заключения перемирия и организации совместного «крестового похода» против Красной армии. ...так называемый «юнкерский вариант» вдруг стал реалистичным вариантом для американской политики в последние дни войны в Европе, когда преемником Гитлера не ещё один фанатичный нацист, но, казалось бы, почтенный человек в военной форме, адмирал Дёниц....

До чудовищного альянса между британцами, американцами и немцами и до совместного «крестового похода» против Советов дело не дошло. Но тем не менее интерес, проявленный в Вашингтоне и Лондоне к такой сделке, был, конечно, не только теоретическим: практическая подготовка к ней на самом деле осуществлялась, «на всякий случай». С. 204-207.

Вместо того, чтобы позволить запланированные демократические реформы управления «снизу вверх», американцы приступили к восстановлению авторитарных структур по принципу «сверху вниз», где это было в их силах. Они отодвинули в сторону антифашистов в пользу консервативных, авторитарных правых деятелей, в том числе многих бывших нацистов, на чью помощь они могли рассчитывать при восстановлении традиционных отношений власти в западной части Германии. С. 309.

С точки зрения американской правящей элиты, холодная война была идеальной в первую очередь потому, что она велась против «идеального врага». Вторая мировая война была «войной против неправильного врага», как некоторые генералы Вест-Пойнта называли её. Действительно, немецкий нацизм – и фашизм вообще – не был естественным врагом политической и социально-экономической элиты США, ибо что они инстинктивно признавали фашизм тем, чем он был, а именно проявлением капита-

лизма, которое функционировало на пользу бизнеса. Американская правящая элита поэтому с неохотой пошла на «крестовый поход» против фашизма. Она была невольно втянута в войну против Гитлера и продолжала вести бизнес с фашистами даже после Перл-Харбора... Генералы Вест-Пойнта также сказали: «Мы должны бороться с коммунистами!» – и этот комментарий отражает реальность, с точки зрения американской правящей элиты...что естественным врагом для неё был и остался коммунизм и его Советская Родина, даже в то время, когда это государство было таким полезным временным союзником с 1941 по 1945 г.

...правящая элита, примером которой были вышеупомянутые генералы в Вест-Пойнте и в ещё большей степени их печально известный коллега Паттон, рвалась свести счёты с ненавистным Советским Союзом. «Горячая война» предпочтительно развязанная вместе с остатками нацистов, по-видимому, была предпочтительным вариантом, но внутреннее и международное общественное мнение не позволило бы этого. С. 326-327.

На Потсдамской конференции, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года, Трумэн получил долгожданное сообщение, что атомная бомба была успешно испытана 16 июля в Аламогордо, Нью-Мексико. Американский президент счёл, что пришло время сделать свой ход. Он больше не старался выдвигать предложения в адрес Сталина, вместо этого он выдвигал всякого рода требования; в то же время он отвергал с ходу все предложения, исходящие с советской стороны... Сталин, однако, не проявил обнадёживающей готовности капитулировать, даже когда Трумэн попытался запугать его, прошептав ему на ухо, что Америка приобрела невероятно мощное новое оружие. Советский Сфинкс, которому, конечно, уже сообщили о Манхэттенском проекте его разведчики, ответил ему ледяным молчанием. Трумэн сделал вывод, что только реальная демонстрация атомной бомбы сможет убедить Советы в необходимости уступить ему дорогу. В результате этого в Потсдаме не было достигнуто общее согласие по важным вопросам. С. 239.

...у Трумэна были причины, по которым он хотел использовать атомную бомбу. Ядерная бомба позволила бы американцам заставить Токио безоговорочно капитулировать, удержать Советы от Дальнего Востока, и – последнее, но не менее важное – запугать советских лидеров, и, таким образом, позволить Вашингтону навязать свою волю Кремлю в отношении европейских дел. Ради этого Хиросима и Нагасаки были стёрты с лица Земли. С. 243.

Не Сталин, а Трумэн в 1945 году (и впоследствии тоже) не выразил заинтересованности в диалоге между равными. С ядерным пистолетом у бедра американский президент не считал, что он должен относиться к «кремлёвским парням», у которых не было такого супероружия, как себе равным. С. 247-248.

Холодная война, которая продлится почти полвека и вынудит мир жить под угрозой возможной ядерной войны, началась, когда американские лидеры посчитали, что с помощью ядерной бомбы они смогут навязать свою волю Советам. До этого момента Советы изображались как героические союзники в «крестовом походе» против нацизма. Теперь пришло время превратить СССР в грозное пугало для «свободного мира», потому что американская правящая элита рассчитывала получить значительные выгоды от такой метаморфозы. Враждебный Советский Союз отныне стал гораздо более полезным, чем Советский Союз – союзник. Во-первых, таким образом можно было в самой Америке дискредитировать как «неамериканских» предателей не только горстку коммунистов, но также – и это было гораздо важнее – многочисленных американцев с более или менее левыми радикальными убеждениями. Во-вторых, существование якобы враждебного СССР оправдывало также титанические «оборонные» расходы, которые помогали поддерживать «процветание» экономики страны также и после войны...

Несмотря на свои многие недостатки, СССР, или, по крайней мере, идеализированная его версия, функционировали до войны в качестве источника вдохновения и надежды не только для относительно небольшого числа американских коммунистов, но и для профсоюзных лидеров и радикальных и прогрессивных граждан США, Кроме того, государство большевиков выдержало страшное испытание нацистской атаки, и после Сталинграда промышленные и военные успехи Советов были более чем впечатляющие. Эти успехи смогли продемонстрировать жизнеспособность и достоинства эксперимента большевиков и повысили престиж и популярность Советского Союза среди американского населения.

...Кроме повышения заработной платы, рабочие Америки теперь начали требовать и различных видов социальных пособий, которыми давно уже пользовались их коллеги в советском «рае для трудящихся», например, пенсий по старости, пособий по безработице, медицинскому страхованию, а также

оплачиваемых отпусков. ...средний американец испытывает большое восхищение таким достижениям Советов, как «перераспределение богатства, равенство, экономическая безопасность и... возможности для образования».

После мрака «грязных тридцатых» и жертв, принесённых за долгую, мрачную ночь войны, большая часть населения не только в Соединённых Штатах, но и повсюду в западном мире ожидала нового социального расцвета. В Великобритании эти надежды на социальную «новую сделку» в основном сбылись, хотя консервативные лидеры, такие, как Черчилль, выступали против этого. Именно по этой причине британский народ поменял своих консервативных правителей во время всеобщих выборов летом 1945 года на правительство подлинно реформистской лейбористской партии. Таким образом, в Великобритании были созданы обширная система социальной безопасности на основе плана, известного как план Бевериджа, и то, что в скором времени станет известно как «социальное государство». В послевоенные годы британская модель вдохновила аналогичные социальные реформы во многих странах Западной Европы, а также в Канаде и в Австралии, но не в США... Американское государство благосостояния не стало возможным потому, что американская правящая элита нашла способ избежать требования социальных реформ, и способом этим было развязывание холодной войны. Встревоженные тем, что они воспринимали, как «тенденции к социализму», корпоративные лидеры страны ответили на это многогранной кампанией «защиты американской экономической системы», «характеризующейся свободным предпринимательством», как писал Роберт Гриффит. ... Американская правящая элита, однако, не без причины боялась, что после войны льготы для свободного предпринимательства, то есть привилегии бизнесменов и корпораций, могут быть дополнительно ослаблены государственным вмешательством и централизованным планированием, иначе говоря, ростом «командной экономики». Изображение Советского Союза в качестве врага также позволило им осудить все формы экономического вмешательства государства как «коммунистическое» или, по крайней мере, «неамериканское» и, наоборот, защищать «свободное предпринимательство» как неотъемлемое право всех американских патриотов, как «американский образ жизни», критиковать который могут только предатели американского флага. С. 251-255.

Вот так в Соединённых Штатах была запущена антикоммунистическая и антисоветская кампания – ещё до того, как прозвучали последние выстрелы войны. Правящие круги считали, что не только успех и престиж Советского Союза, но даже его существование слишком сильно вдохновляет левое крыло в политической и общественной жизни. Тем не менее СССР просуществует ещё в течении полувека, так что в западном мире всё это время будет оставаться невозможным умиротворить рабочих заработной платой, рабочим днём, отпусками, пенсиями и так далее, которые хотя бы в чём-то уступали советским, по другую сторону железного занавеса...

С помощью более высокой заработной платы (как в США) или более или менее комплексной системы социального обеспечения (как в Великобритании, Канаде, и большинстве стран Западной Европы) оказалось возможным обеспечить лояльность большинства населения по отношению к существующей социально-экономической системе. Поэтому мы можем понять причины того, что после распада Советского Союза рабочим, а также безработным, женщинам и так далее практически везде в западном мире пришлось примириться с урезанием всевозможных социальных льгот, которые они привыкли считать само собой разумеющимися в эпоху холодной войны. Потому что у существующего капиталистического социально-экономического порядка больше нет конкуренции и для него больше нет необходимости обеспечения лояльности населения посредством высоких зарплат или высокого уровня социальных услуг. С. 257.

Более полувека прошло после окончания Второй мировой войны и десятилетия после окончания холодной войны, но Пентагоновская система продолжает работать на всех парах, постоянно изобретая новых «врагов», таких, как Саддам Хусейн и кризисы, такие, как война в Персидском заливе в 1991 году, конфликт вокруг Косово в 1999 году, а в последнее время террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Так же как во время Второй мировой войны и во время холодной войны, сегодня военные расходы составляют источник невероятно высоких прибылей для крупных корпораций и, таким образом, служат для пополнения кошельков богатых менеджеров и акционеров.

Холодная война ...новый «конфликт» Он *вынудил Советский Союз, который был практически разрушен войной, вкладывать львиную долю своего национального богатства в вооружения в течении неопределённого периода времени в отчаянной попытке не отставать от американцев в гонке вооружений,*

которая постоянно ускорялась... Таким образом, всё меньше и меньше становилась вероятность того, что Советы смогут успешно строить социалистическое общество; вместо этого значительно увеличивались шансы того, что эта задача потерпит в конечном итоге фиаско, и именно это в конце концов и произошло, хотя американской правящей элите пришлось ждать почти пятьдесят лет, прежде чем придет время её триумфа. С. 259-261.

...советская система вынуждена была быть своего рода «социализмом в осаждённой крепости» и потому довольно мрачным на вид социализмом. Необходимость одновременно «идти в ногу» с американцами в военном отношении и контролировать собственное население, а также свои страны-сателлиты, требовала огромных усилий, которые СССР оказался не в состоянии поддерживать в долгосрочной перспективе. Родине коммунизма пришлось поднять белый флаг к концу 1980-х годов, положив тем самым конец большевистскому проекту, наполнявшему мир либо надеждой, либо ужасом (в зависимости от того, о ком идёт речь) в течении более семидесяти лет. Хотя, несомненно, в этом сыграли свою роль и различные другие факторы, такие, как неэффективность советской бюрократии, но, по сути, верно, что, как писал немецкий автор Юрген Брюн, холодная война стала преднамеренной «гонкой вооружения до смерти» для Советского Союза. С. 330.

Жак Р. Пауэлс. США во Второй мировой войне. Мифы и реальность. М.: Алгоритм. 2016.

Актуальность проективной реальности

МЫ

Член партии обязан:

...выступать против любых действий, наносящих ущерб партии и государству, и сообщать о них в партийные органы... С. 10.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. Утверждён XXII съездом, частичные изменения внесены XXIII и XXIV съездами КПСС. М.: Политиздат, 1982.

Критикуя себя с партийных позиций, мы признаем, что не смогли претворить в действительность ленинский тезис о самой ненужности театра. И где же наш революционный размах, где наш революционный энтузиазм, если мы допускаем существование в Саратове театра драмы, совокупно с театром оперы и балета! Вопиёт оскорблённая память революционного земляка Николая Гавриловича Чернышевский: его имя присвоено Саратовскому театру оперы и балета. Ясно указавшему на красоту действительности Николаю Гавриловичу Чернышевскому прекрасна не та жизнь, которая окружает его, а жизнь, преображённая в соответствии с революционными идеалами.

Недостаток бдительности, пример изощрённого сопротивления представителей ушедшего мира – готовящаяся в Саратове к постановке опера «Кармен». Этой постановкой политические шарлатаны пытаются внушить массам, будто без уничтожения капиталистического строя люди могут быть избавлены от язв капитализма. Опера «Кармен» – это то, чем верхушка буржуазного общества услаждала себя. Опера «Кармен» – это то, что отвлекает от решения важных общественных задач. Коррида, тореадор, цыгане! Этим персонажам место не на сцене, а в исправительно-трудовом лагере, авось, там получат рабочую квалификацию! Вот тема, достойная ниспровергать идеалистическую эстетику! Тема перевоспитания! Тема, связанная с реальной жизнью! Тема, связанная с практическими потребностями человека!

Член партии имеет право:

...б) свободно обсуждать... вопросы политики и практической деятельности партии... вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать своё мнение до принятия организацией решения. С. 11.

Устав Коммунистической партии Советского Союза...

Мы «отстаиваем своё мнение до принятия организацией решения». Разве не вклад в развитие самой передовой в мире социалистической культуры существование в Саратове не только драматического театра, но и театра оперы и балета? Разве не по нашей инициативе театр драмы несёт имя Карла Маркса, а театр оперы и балета гордится именем нашего земляка, высоко ценимого Лениным революционного демократа Николая Гавриловича Чернышевского? Мы свершаем достижения на пути в светлое будущее, под водительством партии, отчётливо видящей дали коммунизма! Соответствуя

возрастающему значению ВКП/б/ по формированию личности советского человека, мы выдвигаем кандидатуру тенора Серебровского Георгия Васильевича на звание Заслуженного артиста Республики, а затем, согласно разнарядке, он Лауреат Сталинской Премии! И вот очередной наш успех – *туда его мать:*

– Театр оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского сообщает о постановке оперы «Кармен». Постановку оперы «Кармен» осуществил Заслуженный артист Республики Лауреат Сталинской Премии, Г.В. Серебровский. Художник И.В. Севастьянов. – Газета «Коммунист», 19 декабря 1947 года.

Бдительность

Но мы не будем почивать на лаврах! Самокритика есть неотъемлемое и постоянно действующее оружие в арсенале Маркса, Ленина, Сталина, неразрывно связанное с их природой, с их революционным духом.

Мы признаём свои ошибки, не боимся самокритики. Нами допущены идеологические изъяны в Саратовском Городском отделе по делам искусств, Радищевском музее, художественном училище. В связи с подготовкой и проведением 50-летия СХУ обнаружились недостатки нашей бдительности.

50-летие Саратовского художественного училища. Собрание открыл начальник городского отдела по делам искусств т. Садковой. Доклад – директор СХУ т. Шиханов. Председатель местного отделения союза Советских художников Миловидов. – Газета «Коммунист», 2 июля 1947 года, № 129 (3886).

Мы видим дискредитировавших себя руководителей, остающихся на ответственных должностях! С опозданием мы расформировали Городской отдел по делам искусств, – уволены начальник отдела Садковой и зам. начальника Завьялова. Только теперь мы заменили на посту председателя Союза художников беспартийным большевиком Гуровым внутреннего эмигранта Миловидова. Уже не Шиханов, бывший директор СХУ с 1938 года, а Глафира Андреевна Кириленко в качестве нового директора получила Поздравительный адрес Саратовского областного Союза советских художников в связи с 50-летнием училища. О работе Глафиры Андреевны Кириленко, уже бывавшей директором СХУ, Никитин Владимир Ильич, бессменный на протяжении 17 лет завуч художественного училища сигнализировал – *Кириленко – усилила воспитательную и общественную работу училища, помогла созданию лучших условий для работы училища. Она добилась получения нового, более подходящего здания, заготовила материалы.* –

С учётом корректировки Никитина, благодаря проявленной им своевременно активности, директором СХУ не был назначен предполагавшийся на эту должность Данилов. Дана партийная оценка фронтовику Данилову, его противостоянию беспартийному большевику Гурову. Извращая позицию Гурова, Данилов утверждает со слов того – *...во время войны позволительно было несколько снизить качество работы. Попробуйте вы, ссылаясь на военное время, снизить качество на каком-нибудь производстве, попробуйте выпустить плохой миномёт, плохой пу*лемёт. *Если вы директор такого завода, вас повесят за это и правильно сделают.*

Постановкой вопроса о «качестве» Данилов не ориентируется на непревзойдённые образцы по своей глубочайшей партийности и марксистско-ленинской принципиальности в вопросах критики труды Ленина и Сталина, –

*

– ...истину, которая – согласно с В.И. Лениным – конкретна: всё зависит от условий места и времени.

Виктор Кожемяко. ДЕЗА. Четвёртая власть против СССР. М.: Алгоритм, 2017. С. 248.

Товарищ Сталин сделал реальным высказывание Ленина в узком кругу членов ЦК: «Нравственность есть то, что выгодно партии и революции».

Юрий Фролов. Великая Сталинская империя. М.: Алгоритм. 2014. С. 312.

...в письме в редакцию журнала «Пролетарская революция», 1936 год, № 6... Сталин протестует против дискуссий по вопросам, являющимся «аксиомами большевизма», и высказывает свой взгляд на роль документа в историческом исследовании: «Допустим, что кроме уже известных документов будет

найдена куча других. Кто же, кроме безнадёжных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам, прежде всего, а не по их декларациям?» (Сталин И. Сочинения: в 18 т. М., 1951. т. 13. С. 96.) ...Сталинское недоверие к документу... Вождь считает, что документами можно пренебречь, если они противоречат марксистской концепции. – Дронова Т. И. Историческая проза Ю. Тынянова на переломе эпох: «Восковая персона» // Эпоха «великого перелома» в истории культуры. Сб. научных статей. Саратов: Изд. Саратовского университета, 2015. С. 145-146.

*

Мы не скрываем ошибки – наша бдительность не на высоте. Но есть достижения! Мы не допустили создания формалистической школы театральных художников на базе Саратовского художественного училища. В результате длительного агентурного наблюдения уличён и разоблачён в формализме главный художник театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского Кисимов – работал главным художником с 1941 по 1947 годы. Кисимов уволен из Саратовского оперного театра, также из художественного училища, где с целью отравить сознание советских людей готовил кадры своих последователей из числа способных студентов СХУ.

– В СХУ открыта выставка по итогам учебного года. Этюд «В парке», клеевая краска В.А. Солянова и два этюда В. Серебрякова отобраны для Всесоюзной выставки работ учащихся художественных училищ в Москве. – Газета «Коммунист», 7 июля 1946 года.

Дипломную работу Солянов начинал при Кисимове в 1946 году. Зафиксировано восхваление Соляновым Кисимова – *тонкий колорист. Его постановки на ура!* – Ко времени защиты диплома Кисимов уволен из художественного училища, но его ученик Солянов распространяет сведения, что тот при защите дипломов находился за экзаменационным столом.

На место Кисимова главным художником оперного театра назначен работать «свободно, открыто, до принятия организацией решения» Севастьянов Иван Васильевич (1920 г.р.). Установленная склонность к формалистическим изыскам заставила Севастьянова, выполняя вредительскую программу своего друга Кисимова, пригласить после окончания училища всё тех же Владимира Серебрякова и Владимира Солянова работать художниками-декораторами в оперный театр. Серебряков перед поступлением в училище служил в армии, оттуда вернулся больным. Вскоре он умер. Солянов не преминул заявить – *Серебряков был самый талантливый выпускник нашего театрально-декоративного факультета. Его дипломная работа – эскизы и костюмы к пьесе Леонида Леонова «Золотая карета» – была особо отмечена Владимиром Владимировичем Кисимовым.*

Не дожидаясь партийного решения, Севастьянов уволился в 1948 году – на его месте Шуйский Евгений Михайлович. – *Севастьянова в плане борьбы с «формализмом» выжил «реалист» Шуйский.* – заявил Солянов. После совместной работы с Севастьяновым Солянов видит отсутствие творческих установок у Шуйского. – *...забор на сцене. Как пошёл кружочки рисовать с одной стороны, так и кончил на другом краю сцены... – Место Кисимова занял художник, которого назвать талантливым никак невозможно, но это ни власть, ни художников не беспокоило. По эскизам этого художника, работая в театре после окончания училища я писал декорации к трём спектаклям. Низкий оформительский уровень его постановок надолго определил художественное лицо театра.* – Солянову, уже отравленному воздействием Кисимова и Севастьянова, противопоказано оздоровляющее влияние Евгения Михайловича Шуйского. Художник-декоратор Солянов не хочет играть роль тупого исполнителя, намерен сдавать вступительные экзамены в Харьковский художественный институт. О саратовских формалистических извращениях своевременно распространена информация. Профилактические меры действуют. Рассказывает Солянов, что секретарь приёмной комиссии, принимая документы для вступительного экзамена, предупредил – *Да вы ж не сдадите! – Почему? – А у вас в Саратове все формалисты! – Я чувствовал себя подготовленным, и моя наивная вера в справедливость вселяла надежду на лучшее. Писали обнажённую модель. В результате мне сказали: «Красиво, но формализм», – и указали на дверь.*

Условия нового расцвета культуры и науки в нашей стране в преодолении отставания литературы, искусства и философии от запросов и требований партии. Подобное отставание от сегодняшних требований видно на примере поучительной истории многолетнего директора художественного учи-

лища Шиханова И.В., допустившему к преподаванию формалиста Кисимова и самому скатившегося в лагерь формалистов. Зафиксирована дискредитация Шихановым преподавателя СХУ беспартийного большевика Гурова. Утверждая приоритет качества исполнения перед сюжетным содержанием, Шиханов вослед Данилову во всеуслышание разоблачился: – *Вопросы качества художественной работы, создание тематических полотен... Я не согласен с товарищем Гуровым, что во время войны можно было кое-как работать. Я не согласен с преподавателем Гуровым... Я никак не могу согласиться с таким утверждением, что важна тема, что живописный язык – вещь второстепенная...*

Шиханов – дорога оппортуниста! – за много лет директорства утратил большевистскую наступательность в воспитании молодых советских художников. То ли дело, когда директором художественного училища был Бурмистров, безоговорочно следовавший партийным установкам в период, когда недобитые ошмётки дворянско-буржуазной культуры протаскивали реакционный лозунг «искусства для искусства», прикрываясь маской безыдейности. – *С первых же дней (1928-1929 учебный год) Бурмистров и Подольский (завуч)... вместо обнажённой натуры ввели копии с портретов, лозунги, афиши и т. п.* – (из письма А.В. Петрова к М.А. Егоровой-Троицкой). – Ефим Водонос. Очерки художественной жизни Саратова эпохи «культурного взрыва» 1918–1932. Саратов: Бенефит, 2006.

Тогда Бурмистров – директор художественного училища, затем в 1938-1939 годах директор Радищевского музея, выкорчёвывал саратовские пережитки дворянско-буржуазного течения в искусстве, считал «Голубую Розу» отрицательным явлением, подчёркивая во внутримузейном инструктаже – *Политическая ошибка показывать народу Врубеля, Борисова-Мусатова.*

Глаз да глаз нужен! Стоило Бурмистрову отсутствовать (мобилизован в Красную Армию), как Радищевский музей затеял провести выставку Борисова-Мусатова. – *...в СГХМ готовится к открытию выставка, посвящённая 40-летию со дня смерти В.Э. Борисова-Мусатова. Будет представлено около 40 произведений.* – Газета «Коммунист». 27 октября 1945 года.

Выставка не состоялась благодаря своевременной бдительности Московского управления по делам искусств: – *Музею было предложено экспозицию пересмотреть и внести в неё изменения согласно указаний комиссии, созданной для просмотра нашего макета реэкспозиции 2-ой половины XIX века и начала XX века.* – Архив СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 144.

Однако Бурмистров (после демобилизации опять директор Радищевского музея) утвердил годовой отчёт музея, утратив классовое чутьё и чувство бдительности, забыв, что политика партии составляет жизненную основу нашего строя.

ОТЧЁТ о деятельности Радищевского музея за 1947 г.

...В русском отделе имеется: – Конец XIX в. и нач. XX в. (Васнецов, Жуковский, Виноградов, Малявин, Грабарь, К. Коровин, Ал. Бенуа, Сомов, Остроумова-Лебедева, Головин, Борисов-Мусатов, Уткин, Петров-Водкин и многие другие) – три комнаты. – Архив СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 169.

С попустительства Бурмистрова, целых три комнаты Радищевского музея заняты формалистами, декадентами, мирискусниками, голуборозовцами, низкопоклонниками Запада, словами товарища Сталина – *безродными космополитами.*

Отступник Бурмистров

В этот день. В музее им. Радищева состоялось заседание жюри по отбору работ художников на выставку, посвящённую 50-летию СХУ. Из 300 просмотренных работ – отобрано более 200 произведений. ...В.В. Коновалов, В.П. Рупини, Н.П. Боев, Н.П. Волконский, Е.И. Боева, Ф.М. Корнеев, Фёдорова-Кривцова, А.О. Никулин, П.С. Уткин, А.И. Кравченко, А.И. Савинов, Б.В. Миловидов, Ф.В. Белоусов. – Газета «Коммунист», 29 июня 1947 года, № 127 (3884).

На всеобщее обозрение отобрана картина разоблачённого врага народа Ф.М. Корнеева. А ведь в 1938-1939 годах Бурмистров, директор Радищевского музея, требовал не выставлять в музейной экспозиции картины разоблачённых врагов народа Корнеева, Вебера, Юстицкого. Тогда Бурмистров подчёркивал – *Музей поставлен на службу Советской власти, а мы с таким отделом Советского искусства далеко уедем?*

Личное дело Бурмистрова Ивана Дмитриевича

Начато 15 апреля 1937 г. Окончено 24 мая 1950 г. на 8 листах.

Г. р. 1898 с. Власовка Бековского района.

Образование незаконченное ушёл с 3 курса Высших Государственных Саратовских Художественных Мастерских (институт). 1918–1923. «...в г. Самаре и откудова на живописный факультет, у художника Карева... Формалистическое засилье и материальные трудности вынудили меня оставить учёбу».

С февраля 1929 г. дир. Сар. худ техникума по 1932 г.

С 1930–1933 г. директором вновь организуемого техникума Калмыцкого Национального искусства.

1932 – VIII. 1933 дир. Н. Волжского Краевого техникума национального калмыцкого искусства г. Саратова.

6 апреля 1937 г. – директор Радищевского Музея. Освободить директора Фомину Инну Александровну – назначить её Зав. фондами музея.

IV 1937 – VII 1941 Директор Радищевского музея.

С 41 по 1946 – Красная Армия, пом. Командира.

IV. 1946 – III. 1949 Директор Радищевского музея.

Приказ № 6. от 7 февраля 1949 г. Бурмистрова освободить с 25 января с. г. Завьялову Валентину Фёдоровну назначить с 25. Бурмистрова назначить на должность гл. хр. СГХМ.

1 ноября 1950 г.

1) Необходимо предложить заведующему фондами тов. Бурмистрову оставить музей по собственному желанию. Тов. Бурмистров вызывается в Москву для окончательного решения.

2) Тов. Оболенской Н.И. предложить должность Главного Хранителя музея и о результатах срочно поставить в известность Управление (Учреждение ИЗО-иск. Комитета по делам искусств при Сов. мине РСФСР)

1 ноября 1950 г. /В. Крюков/ Зам. Нач. Упр.

Архив СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 1. Ед. хр. 469 9.

Очевидец Солянов

В летние каникулы после седьмого класса я работал на авиационном заводе, где дослужился до токаря 4-го разряда. В это время немецкие самолёты по ночам бомбили Саратов. Наш цех не принадлежал к числу главных, и мы оставляли станки и лезли на крышу со щипцами тушить зажигательные бомбы. В большинстве цехов люди продолжали работать, это было видно через вентиляционные отверстия на крыше. Одним из первых разбили завод шарикоподшипников. Когда мы утром после смены вышли с завода и стали, как обычно, прыгать на грузовые машины, чтобы ехать домой, то увидели – кузова их были заполнены трупами рабочих с шарикоподшипникового. Это было страшно. С. 24.

Осенью 1942 года я был принят в Саратовское художественное училище. Военное время. Зимние походы студентов и преподавателей на западные окраины Саратова, где мы рыли оборонительные рвы. ...В училище я обрёл друга. Миша Аржанов (к сожалению, его уже нет с нами) был талантливым и, пожалуй, самым образованным на курсе. Наше общение было плодотворным, мы часто работали на природе и много говорили о живописи. Он был добрым и покладистым человеком в жизни, но непримиримым и независимым в вопросах искусства, что и определило его нелёгкий творческий путь.

В то время в училище преподавали известные живописцы и театральные художники города: И.Н. Щеглов, Б.В. Миловидов, Е.К. Щаблиовский, В.В. Кисимов.

Иван Никитич Щеглов – художник в том кристально чистом понимании живописи, которая не нуждается в притянутой философии, но сама источает её.

Деликатный, эмоциональный, всю жизнь посвятивший искусству, он восторженно говорил об импрессионистах, особенно Сезанне, и щедро передавал ученикам свой опыт.

Постоянно занимаясь живописью, Иван Никитич всегда находился в педагогической форме, которая позволяла ему на любой стадии наших ученических работ давать им точную оценку. Он буквально упрашивал не трогать удачное место, а писать вокруг, а если эта его просьба нарушалась, он искренне сокрушался, повторяя: «Ну, я же Вам говорил». Жаль, что тогда я не способен был воспринять всё, что он мог дать, а говорить о живописи сейчас мне хотелось бы больше всего с ним.

Его бы к лику святых, но, невзирая на его почтенный возраст, Ивана Никитича посадили в тюрьму – по доносу за то, что он в своих картинах не пишет советских людей. Какая разница, за что...

Владимир Владимирович Кисимов. Человек высокой культуры, разносторонне образованный, известный театральный художник – вёл у нас дипломный курс на театрально-декоративном факультете. В Саратов занесла его война. Очень общительный, темпераментный, он чем-то внешне и внутренне был похож на Валентина Михайловича Юстицкого, может быть, степенью таланта. Придя к нам на курс впервые, в беседах с каждым из нас прежде всего выяснил наши интересы в разных областях искусства, культуры, литературы и в зависимости от этого рекомендовал или отвергал пьесы, которые мы выбирали для дипломных работ. Оказалось, что все учащиеся работали над пьесами, которые были близки им по духу. На защите дипломных работ был отмечен высокий художественный уровень театральных эскизов всего курса. Заслуга в этом, конечно, принадлежала Владимиру Владимировичу. Я оформлял пьесу А. Крона «Офицер флота».

Станковая живопись для В.В. Кисимова была неотъемлемой составной частью театрального искусства. Незадолго до защиты дипломов «проницательные» собратья по кисти и теоретики от искусства обнаружили в его станковой живописи формализм. Это было отмечено в прессе, была создана комиссия из авторитетных лиц для проверки тлетворного влияния живописи нашего преподавателя на дипломные театральные эскизы учащихся.

Ни у кого из нас формализма не обнаружили, а вот Владимиру Владимировичу уехать из нашего города, на радость столичным театрам, помогли. Так отблагодарил Саратов В.В. Кисимова за то, что в трудные военные годы как главный художник Театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского он отдавал театру и городу свой незаурядный талант.

Два Кисимова один за другим не рождаются. После отъезда В.В. Кисимова в театре возобладали тенденции нового главного художника... они мне не были близки. Работать стало неинтересно.

Щаблиовский Евгений Кириллович. С большой благодарностью вспоминаю нашего учителя театрально-декоративного искусства, с которым мы прошли всю учебную программу театрально-декоративного факультета, исключая дипломный год.

Е.К. Щаблиовский был главным художником драматического театра имени Карла Маркса. Он не был живописцем, но это был образованный, невероятно эрудированный в вопросах театральной культуры художник сцены и педагог. Мелом на доске он по памяти рисовал костюмы по странам, векам, годам и сезонам. Это был светский лев – высокий, красивый, женщины его любили, но он жил один, если не считать домашней экономки и породистого кота. К нам на курс приходил, как в родной дом, а когда был не в духе – свои капризы мог по-своему излить и на нас.

Заходит в класс хмурый с классным журналом под мышкой, молча садится за стол, раскрывает журнал, ставит левую руку локтем на стол, пальцем поднимает левую бровь, называет фамилию первого по алфавиту ученика и задаёт вопрос, к примеру, по эпохе Возрождения: «А что возродилось?» – Молчание. – «Садитесь». Пройдя весь алфавит, не произнося, кроме фамилий и «садитесь», ни одного лишнего слова, видимо, удовлетворённый нашим единодушным невежеством, он закрывает журнал, кладёт его под мышку и торжественно уходит.

Когда бывал в настроении, вёл себя с нами по-семейному просто, рассказывал анекдоты, у него их было записано две тысячи, шутил, весной ходил с нами на этюды. Мы писали клеевой краской, которую разводили в общих глиняных горшках, и каждый нёс по горшку через весь город. Писали наш собор, ездили за Волгу. Сам Евгений Кириллович никогда не писал, где-нибудь садился, а мы по мере готовности приносили ему свои этюды, и он их смотрел. Щаблиовский, как я говорил выше, живописцем не был. Говорили, будто бы рассказывал Щеглов, что к нему домой неожиданно и впервые пришёл Евгений Кириллович. Щеглов принял это за большую для себя честь и даже оробел перед таким гостем, и уж совсем растерялся, когда тот стал просить, чтобы он научил его живописи. О подробностях разговора можно только гадать, не в них дело, но сам факт выглядит правдоподобно и говорит о сознании ущербности Щаблиовского в этой важной для театрального художника области.

Зимой мы часто занимались в его мастерской при театре имени К. Маркса.

Однажды я столкнулся с ним у проходной театра и стал уступать ему дорогу, он по-джентельменски поднял меня за воротник пальто и пронёс через дверь. Такие эпизоды говорят о его очень тёплом отношении ко всему нашему курсу – за ними стояла методичная и скрупулёзная подготовка к каждому заня-

тию, последовательная и основательная. Знания, нужные для работы в театре, он действительно умел преподнести так, что они запоминались надолго.

В своей деятельности театрального художника был максималистом. Когда директор театра урезал финансовую смету на постановку спектакля, Евгений Кириллович разбил кулаком свой макет к этой постановке, понимая, что не сможет воплотить свой замысел полностью. Говорил нам, что когда он установил, на какой процент директор занижает смету, то стал её соответственно завышать. Интересный был человек. Личность.

Борис Васильевич Миловидов – известный саратовский график и живописец, вёл живопись у нас на втором курсе.

Мягкая голубовато-прозрачная общность цветового тона волжских островов и особенно любимых художниками Зелёного и Казачьего отложила неповторимый и благотворный отпечаток на живописцев Саратовского края. В сороковые годы, когда я учился, тоталитарная власть продолжала планомерно и бескомпромиссно искоренять искусство как непредсказуемый источник инакомыслия, подменяя его задачами пропаганды режима. Старшее поколение носителей лучших традиций подвергалось репрессиям и забвению. Имя П.В. Кузнецова было под запретом. Когда Б.В. Миловидов принёс репродукцию с картины Ж. Сёра «Городок на Сене», чтобы показать нам на курсе, у него были неприятности. Импрессионисты были под запретом.

Я не мог тогда оценить всю пагубность давления власти на искусство. Преподаватели были лишены возможности ориентировать нас на лучшие образцы живописи и говорили, что исповедают внутренне, если это не укладывалось в предписанные идеологические рамки, но всё возможное делали. Б.В. Миловидов, кроме конкретных персональных замечаний, часто произносил афоризмы, побуждающие нас к размышлению.

Урок живописи, тишина.... Борис Васильевич неслышно ходит за нашими спинами и вдруг произносит: «Леонардо да Винчи говорил: «Пиши ясно там, где ясно, а где не ясно, пиши не ясно». – Без комментариев. И снова тишина. Или в другой раз: «Вам надо бы сказать, в каком направлении нужно класть мазок». После длительной паузы: «Да нет, вам это ещё рано». А в каком направлении нужно класть мазок, мы так никогда и не узнали.

На летней практике мы вместе с Борисом Васильевичем писали этюды на Зелёном острове, правда, нам свою живопись он не показывал, но прелесть старой Волги я помню.

А живопись как таковая имела для нас самостоятельную ценность. Мне кажется, что тот живописный тон старой Волги, о котором я писал выше, утрачен вместе с затоплением островов. Заповедные места и традиции разрушаются быстрее, чем создаются. Год после окончания училища, когда я собрался поступать в Харьковский художественный институт, помня хорошее отношение Бориса Васильевича ко мне и моей живописи, я принёс к нему домой свои работы, чтобы посоветоваться, что отобрать для допуска меня к экзаменам в институт.

Отнёсся Борис Васильевич к моей просьбе очень серьёзно. Он разложил живопись на полу в радиальном направлении к центру комнаты, сам встал на табуретку, чтобы увеличить расстояние для удобного осмотра работ и составить общую картину. Поворачиваясь вокруг оси, он долго и внимательно рассматривал работы и дал очень лестную для меня оценку, а в заключение сказал, что качество работ значит мало, главное – куда ветер подует. Он знал, что говорит: устрашающий каток идеологии коснулся и его, а ветер в Харьковском институте подул не в мою сторону. С. 28-32.

Владимир Солянов. Магеста. Саратов, 2003.

Подготовка и проведение 50-летия Саратовского художественного училища

1946 год

К 50-летию художественного училища.

В феврале будущего года исполняется 50 лет со дня основания СХУ.

К этой дате коллектив преподавателей и студентов готовит творческие работы, которые будут представлены на выставке, посвящённой 50-летнему юбилею училища.

Студенты 4 курса живописного отделения пишут работы на свободные темы. Студент т. Илюшкин – картины «Встреча» и «В кузнице».

Студент т. Белонович – «Душегубка», т. Плотников – «Осень в деревне».

Приглашены – Жуков, Климашин, Сапожников, Шишловский. Юбилейная выставка будет организована в одном из залов Радищевского музея.

Газета «Коммунист», 31 декабря 1946 года, № 258 (3757).

1947 год

50-летие Саратовского художественного училища.

Июнь, 29. В СГХМ открылась выставка в честь 50-летия СХУ... Каталог:

Каталог выставки, состоявшейся в дни 50-летия Саратовского художественного училища. Саратов. 1948.

Газета «Коммунист», 31 декабря 1946 года; 29 июня, 2, 6, 9 июля 1947 года (Хроника художественной жизни Саратова». 1874–1980. По материалам местной периодической печати. Изд. СГУ, 1988).

29 июня открылась выставка работ саратовских художников, посвящённая 50-летию существования художественного училища и выставка работ воспитанников училища.

Газета «Коммунист», 6 июля 1947 года, № 132 (3889).

Выставка саратовских художников. В Радищевском музее открылась выставка 50-летия СХУ. Более 200 произведений в пяти больших залах. Хронологический порядок (экспозиции). В ближайшие дни выставка будет пополнена.

Газета «Коммунист», 9 июля 1947 года, № 134 (3891).

К 50-летию СХУ.

За высокую идейность советского изобразительного искусства.

Художники Виктор Николаевич Перельман, Игорь Александрович Ершов, художник-декоратор театра имени Вахтангова Сергей Николаевич Ахвледиани, зам. редактора журнала «Огонёк» Виктор Семёнович Климашин, профессор Всероссийской Академии художеств Николай Александрович Павлов посетили редакцию и поделились...

В. Н. Перельман:

Юбилей – это крупнейшее культурное событие не только в жизни Саратова, но и всего Советского Союза. ...С большой радостью отмечаем мы, что училище находится на правильном пути реалистического развития, располагает неплохими кадрами педагогов... Нельзя не отметить такого даровитого художника, как студент Бузулуков, работы которого радуют своей выразительностью. Оригинальность и самостоятельность в разработке темы видна в работах студентов декоративного отделения училища. ...вопрос поставить о превращении училища в высшее учебное заведение.

Справка

Бузулуков Сергей Александрович. 1925 – 1960-70-е (?), Саратов, Ленинград (?). Кончил СХУ (1941–1947). ИЖСА (1947–1953). Аспирант А.Х. у Б.В. Иогансона. Участник зональных, республиканских, всесоюзных выставок с 1951 г. Известны картины: «Пугачев в Саратове». х., м., 147х97, «Степан Разин в Саратове», «Саратов – Сталинграду в 1942 году», «Портрет Ивана Никитича Щеглова».

– *Считается моим лучшим учеником, а я с ним не могу поговорить о Борисове-Мусатове.* – Щеглов. 1962 г. Бузулуков спился, умер в безвестности в Саратовской областной психиатрической больнице, «на Алтынке», ориентировочно в 1960-е годы.

В.С. Климашин:

...существеннейшим недостатком музея является то, что в нём отсутствует советский отдел, нет работ современных художников.

И.А. Ершов: художник окончил СХУ в 1930 году. Картины «Портрет таджички» и «Рождение сына» были отмечены правительством – орден «Знак Почёта».

...в училище нет сейчас графической мастерской.

С.Н. Ахвледиани:

С удовлетворением отмечаю, что работы студентов училища, и, в частности, декоративного отделения отличаются продуманностью, известной самостоятельностью, оставляют очень хорошее впечатление. Безусловно – это очень большое достижение коллектива.

Н.А. Павлов:

Я хочу остановиться на одном очень важном вопросе. Это вопрос о повышении политико-воспитательной работы в училище, о постановке политической учёбы. К сожалению, среди саратовских художников политическая учёба организована слабо. Для того, чтобы правильно разрешить тему, художник должен быть подкован политически и идеологически.

Газета «Коммунист»...

Необходимость повторного открытия отчётной выставки 50-летия СХУ

Партия непобедима, если она не боится критики и самокритики, если она не замазывает ошибок и недостатков своей работы, если она учит и воспитывает кадры на ошибках партийной работы, если она умеет вовремя исправлять свои ошибки.

Партия погибает, если она скрывает свои ошибки, затушёвывает больные вопросы, прикрывает свои недочёты фальшивым парадом благополучия, не терпит критики и самокритики, проникается чувством самодовольства, отдаётся чувству самовлюблённости и начинает почивать на лаврах – История ВКП(б). Краткий курс. ОГИЗ – Госполитиздат, 1945. С. 345.

В музее имени А.Н. Радищева.

5 октября вновь открылась выставка 50-летию – дополнена: Кацман («П-т. Демьяна Бедного» и «Голова мальчика»), Перельман, Поляков, Егоров, Троицкая, Ершов, Сидоренко, Петрова, Потапова, Штессель; ск. Ивановского, рисунки и графика Полякова, Кравченко, Климашина, Зенкевича, театрального художника Ахвледиани и студентов Академии художеств СССР – Н. Ивановой, А. Ивановой, Талько. ...более 300 работ.

Газета «Коммунист», 8 октября 1947 года, № 199 (3956).

Выставка работ саратовских художников в связи с 50-летием со дня основания художественного училища – 139 экспонатов. Каталог. –Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 168.

Отчёт библиотеки и научных работников за ноябрь 1947 г.

1. Устройство выставки XXX лет изобразительного искусства в Саратове – Кожевников.

2. Изменения в экспозиции выставки саратовских художников, посвящённой 50-летию Саратовского художественного училища. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 170.

Многочисленную агентуру создал классовый враг в рядах саратовских художников. Поэтому и повторную юбилейную выставку 50-летию СХУ не удалось полностью очистить от чужеродных влияний. Убирая с глаз экспонаты буржуазного искусства, мы создаём своё собственное социалистическое искусство. Из искусства прошлого мы даём народу только то, что ведёт человека к освобождению личности, руководствуясь указаниями основоположников марксизма-ленинизма и товарища Сталина.

*

...подобно тому как дерево становится крепче и приносит лучшие плоды, когда во-время срезают его отсохшие ветви, то никакие личные соображения не удержат нас от изобличения и устранения... отдельных лиц... Мы не опасаемся, что это поведёт к нашему ослаблению. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V. Гос. изд-во, 1929. С. 94.

Литература, партия, армия – всё это организм, у которого некоторые клетки надо обновлять, не дожидаясь того, когда отомрут старые. Если мы будем ждать, пока старые отомрут, и только тогда обновлять, мы пропадём, уверяю вас. – Сталин И.В. Сочинения. Т. 18. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. С. 199-204.

Павел Кузнецов

Присутствует на юбилейных торжествах по поводу 50-летия СХУ. Из агентурных материалов: Кузнецов высказывает антисоветские взгляды, особенно по вопросам политики партии и Советского правительства в области литературы и искусства, считает, что свобода искусства в нашей стране невозможна. Для всего творчества Павла Кузнецова характерно выхолащивание идейной направленности, воспевание индивидуализма, уход от советской действительности. Павел Кузнецов ученик Борисова-Мусатова, учредитель «Голубой Розы».

Товарищ Сталин учит – у нас нет незаменимых людей. В 1941 году Павел Кузнецов, заслуженный деятель искусств РСФСР с 1929 года, уволен из Института по повышению квалификации художников при комиссии по делам искусства Мосгорисполкома, в 1948 году уволен с кафедры живописи Московского центрального художественно-промышленного училища. Таким образом в его лице закрыт доступ советской молодёжи ко всему реакционно-отжившему.

Учитывая ошибочное мнение Луначарского, восторженно разделявшего творческие принципы раннего Кузнецова, и в экспозицию, и в каталог повторно открывшейся выставки не включены ранее прославленные картины Кузнецова «В степи. Мираж» – 1911 г., и «Весна в степи» – 1911-1912 г. (поступления в Радищевский музей 1919 г.), и «Степь» – 1910-е (поступление 1929 г.). Пока Павел Кузнецов не лишён звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», пришлось ввести в экспозицию повторной выставки его картину «Цветы» – 1936-39 гг. (поступление 1940 г.). Представленные на выставке эскизы декораций и костюмов к опере «Золотой петушок» работы Павла Кузнецова, как и названные картины, «являются собственностью Сар. госуд. худож. музея им. А.Н. Радищева». Это так теперь музей – при директоре, переродившемся Бурмистрове! – «служит советской власти»?

Информация к размышлению

1946-й. Разговор (Белютина Элия) *с П.В. Кузнецовым. «Зачем аспирантура? Но будьте же, голубчик, реалистом. Ваша продукция не для нынешних художественных советов. Вас не купят и не выставят. Если быть совершенно беспристрастным, у вас два источника – Кандинский и икона. И то и другое, да ещё в варианте абстракции, неприемлемо. И не будет приемлемо... ...Посмотрите, какой дремучий вариант натурализма привезён из Средней Азии, из эвакуации. И наступление на культуру только продолжается... Победили не светлые начала, идеи... Победила тупая безмозглая сила. С людьми, которые лишились всего, куда легче бороться, навязывать свою волю». – «Уверяю вас, Павел Варфоломеевич, ощущение жизни...» – «Когда-нибудь возьмёт верх? Когда-нибудь! А пока вы получите возможность три года заниматься своей живописью. Это очень много. А там будет видно... И непременно, голубчик, вступите в Союз. На всякий случай, знаете ли. ОНИ к тем, кто в стаде, придираются меньше. ИМ порядок казарменный нужен. Догляд, как у нас на Волге говорят. Пусть думают, что и вы не ушли от их надзора.» С 1937 года Кузнецов был отстранён от преподавания.* – Нина Молева. Эта долгая дорога через XX век. Жизнь и творчество Элия Белютина. М.: Книжная находка. 2003. С. 161-162.

Валентин Юстицкий

Политическое упущение – участие на выставке Юстицкого, осуждённого в 1937 году – *за открытую к/р троцкистскую агитацию, направленную против проводимых мероприятий ВКП/б/ и Советского Правительства». ЮСТИЦКИЙ был подвергнут лишению свободы сроком на ДЕСЯТЬ /10/ лет, с отбыванием в исправтрудлагерях.* (Приговор).

Больной Юстицкий освобождён из лагеря на год раньше, чтобы не портить лагерной отчётности, «актирован». Вопреки ожиданиям выжил – Юстицкому, будь он советским человеком, каяться, указывать на ошибки, совершенные вопреки истинным намерениям, обещать не повторять их вновь. Однако досрочное освобождение от исправительного труда не даёт возможности исправиться. Теперь Юстицкий обвиняет советский суд в несправедливости – якобы указанная ему в приговоре вина является вымышленной. Мало того! – посмел неожиданно представить советскому зрителю свои картины. Застигнутые врасплох бывшие ученики Юстицкого отобрали две его картины на повторную юбилейную выставку. Они показали свою политическую неграмотность, – не учли труды Ленина и Сталина, неоднократно указывавшие, что без разгрома буржуазной культуры нельзя покончить с капиталисти-

ческими пережитками. В результате идейно-политической близорукости саратовских художников – и нашего упущения! – на выставке, а затем в каталоге выставки 50-летия СХУ оказались две работы Юстицкого:

1) Автопортрет. 1946 г., х. м., 48х40,5;
2) Женский портрет. 1946 г., х. м., 64х49.

Ретроспектива

Юстицкий поразительно не советский художник. Он с великолепным пренебрежением проигнорировал все внешние приметы советского строя и был совершенно чужд его натужному оптимизму... Как подлинный художник, Юстицкий чувствовал высокий божественный смысл Игры. В послелагерные годы это чувство не только не исчезает, а напротив, обостряется. Подобно артисту, проживающему, как свою, множество жизней, Юстицкий оказывается «свидетелем» то бала в Версале, то въезда Дон Кихота в Саламанку, то прогулки галантной пары из какого-то ХУШ века... композиция «Арлекина» восходит к Ватто... один из участников бала в Версале – Бодлер. Юстицкий всегда следовал первому вспыхнувшему импульсу, первому движению души... Непосредственному зрительному впечатлению он отдавался со страстью, но в частном сразу схватывал общее. В самых маленьких – меньше тетрадного листа – мгновенных набросках пером с натуры заключены целые картины, полные жизни. Огромный мир, населенный людьми, деревьями, водой, небом, воздухом. Это завершенные композиции, которые не нуждаются в дальнейшей проработке. – Н. Свищева. Свободные фантазии Валентина Юстицкого // Газета «Саратов», 23 апреля 1992 года.

Фёдор Русецкий

Участвует на выставке тремя картинами.
1) «Волга» – 1942 г., х.м., 40х59.
2) «Гуси» – 1946 г., б.м. 30Х40.
3) «Весенний пейзаж» – 1946 г., б.м. 29,5х40.

Русецкий был – *участником сборищ, на которых подвергались обсуждению в контрреволюционном направлении политические вопросы, критиковались политика совласти, её мероприятия; высказывалась враждебность к членам совправительства... На почве недовольства условиями творческой работы, существующими в Советском Союзе, мы на своих сборищах критиковали политику партии и совправительства в области литературы и искусства в антисоветском духе... Мы критиковали политику совласти в области искусства и литературы, как неправильную. Что мы поставлены в условия, когда нам «позволено» работать якобы только в строго ограниченных рамках и отображать как в литературе, так и в искусстве жизнь только односторонне.* – Допрос 7 июня 1935 года.

– *Русецкого Фёдора Петровича подвергнуть лишению свободы сроком на пять лет.* – решение Спецколлегии краевого суда.

О том, где и как он отбывал наказание, помалкивал под подписку о «неразглашении». Освобождён в 1940 году «по амнистии».

Иван Щеглов и К. Ситник

Щеглов не изолирован от социалистического общества по нашему недосмотру. О его антисоветской сущности свидетельствуют скрытный образ жизни и стремление навредить. Чего стоит несанкционированная огласка Щегловым обстоятельств его задержания при написании картины «Казанский взвоз», – а ведь фиксировал имеющее стратегическое значение устье впадающего в Волгу Глебычева оврага. – *Когда я писал, у нас не было в наличии разрешения писать, я сел, меня берут под ручку и ведут куда надо...* – Не Щеглову публично упрекать нашу бдительность, когда товарищ Сталин повсюду усматривает разветвлённый антисоветский заговор! Щеглов ухитряется выходить сухим из воды, а сам уже судим дважды. По агентурной информации в 1928 году Щеглов арестован и заключён под стражу в городскую тюрьму, где содержался один месяц, а затем народным судом был осуждён на один год исправительно-трудовых работ, с отчислением по месту работы 25% от заработка. Вторично Щеглов привлечён к уголовной ответственности в 1933 году, он являлся участником контрреволюционной

группы, существовавшей в городе Саратове, и проводил антисоветскую пропаганду на нелегальных сборищах. Вместе со Щегловым были арестованы органами ОГПУ Рязано-Уральской железной дороги и привлечены к уголовной ответственности художники Скворцов Александр Васильевич, Гофман Виталий Анатольевич и ещё ряд лиц. В процессе следствия выяснилось, что Щеглов, якобы, не являлся участником указанной группы и поддерживал со Скворцовым и Гофманом близкие связи только как с художниками. Щеглов был осуждён условно на 3 года лишения свободы. Скворцов был в ссылке в Казахстане с 1933–1936 годы, а теперь он шестью графическими работами представлен на выставке.

Ретроспектива

...в Саратове... было и несколько честных художников, не пятнающих себя конъюнктурой – график Александр Скворцов, живописец Иван Щеглов.

Н. Свищева. Противостояние // Газета «Богатей», 2000, № 1(65).

*

Поражает изощрённость маскировки – у всех на глазах! – отживших элементов. На повторной выставке Щеглов показывает девять картин!

1) Крестьянский дворик. 1926 г., х.м., 51х62,5. Поступление в Радищевский музей: 1930, дар автора;

2) Мирный переулок. 1049 г., х.м., 68,5х73,5. В 1979 г. записано в инвентарь музея;

3) Натюрморт. 1944 г., х.м., 74х70. В 1945 г. музеем приобретено у автора;

4) Вечер на Волге. 1937 г., х.м., 60х95. Поступление в музей: 1967 г. от Саратовского Дома учёных;

5) Городской пейзаж. 1945 г., х.м., 74х90;

6) Крутец. Этюд. 1946-1958 гг., х.м., 60х80,5. В 1979 г. записано в инвентарь музея;

7) Казанский взвоз. 1945 г., х.м., 78х101. Поступление в музей: 1947 г. от Саратовского городского отдела искусств;

8) Натюрморт. 1939 г., х.м., 78х80. Собственность народного артиста Республики И.А. Слонова;

9) Пейзаж. 1937 г., х.м., 68х72,5.

Кто бы мог подозревать безобидного – *мухи не обидит!* (Солянов) – художника Щеглова? Понадобилась директивность столичной прессы, чтобы и у нас раскрылись глаза. – *...пейзаж – убежище для формалистов... В пейзаже ещё нередко под флагом решения профессиональных проблем, совершенства формы скрываются эстеты и формалисты, носители теории «искусства для искусства», сторонники безыдейного искусства.* – К. Ситник. Советский пейзаж // Искусство. 1948. № 3.

Ещё недавно от Ситника слышались восхваления в адрес буржуазного «художества»: – *Опираясь на веками накопленный опыт, они (импрессионисты) оказались способными виртуозно воспроизводить каждый отдельный момент жизни природы, они сумели показать её изменчивость. Для этого им было нужно ещё применить ряд важнейших оптических законов, единство света и цвета природы, законы разделения тонов, законы красочных рефлексов, цветность тени – то, без знания чего теперь художник казался бы недоучкой – было освоено ими.* – К. Ситник, М. Орлова. Художник и природа // Газета «Советское искусство», 27 апреля 1939 г.

К. Ситника воспитала партия, и он от своих заблуждений следа не оставил. Как разъясняет А.А. Жданов, непримиримый враг догматизма и начётничества, новый подъём в развитии советской культуры возможен только на основе непримиримой борьбы с аполитичностью, безыдейностью, буржуазным объективизмом, низкопоклонством перед разлагающейся буржуазной культурой. Вот какие усилия прилагает К. Ситник для дальнейшего подъёма передовой советской культуры. – *А. Герасимов... Его многочисленные доклады и печатные выступления... являются образцами непримиримой борьбы с отступлениями с последовательно реалистических позиций, со всеми теми, кто стремится свернуть наше искусство на путь формализма и безыдейности... ...он беспощадно разоблачает и громит упадочное и антинародное современное буржуазное искусство и его проводников – безродных космополитов и эстетствующих низкопоклонников.* – К. Ситник. Искусство, служащее народу (к 70-летию со дня рождения А.М. Герасимова) // Искусство. Сентябрь-октябрь 1951.

К. Ситник служит кому надо. – *Серьёзным тормозом явился культ личности... ...немалыми помехами развитию служили пережитки импрессионистического этюдизма – погоня ...за случайным, мимолётным эффектом, состоянием, а также пережитки моды на ту обеднённую, схематическую трактовку, какую давали образу человека декоративисты-стилизаторы и формалисты.* С. 12.

...насколько ярче воспринимаются и с какой силой призывают быть такими, как Ленин, образы великого вождя, созданные в скульптурах Н. Андреева или на картинах А. Герасимова «Ленин на трибуне» и бригады Б. Иогансона «В.И. Ленин на III съезде комсомола». С. 14.

...портрет бывает очень близок исторической картине... Примером такого исторического портрета-картины может служить уже упоминавшееся полотно А. Герасимова «Ленин на трибуне» или композиция И. Бродского «Ленин в Смольном». С. 15.

Только последовательно реалистический метод творчества – метод социалистического реализма – открывает истинный путь к новому расцвету этого прекрасного жанра живописи. – С. 17.

К. Ситник. Портрет в живописи и его особенности // Искусство. 1956. № 4.

К. Ситник представляет созданную классиками марксизма-ленинизма-сталинизма новую советскую интеллигенцию. Деятельность К. Ситника – свидетельство необходимости очистить воздух, которым МЫ дышим.

Бдительность и ещё раз бдительность

Названные участники выставки 1947 года **показатель крайнего неблагополучия в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей.** Почему нужно предоставлять выставочную трибуну всем этим упадочным и глубоко чуждым нам художникам?

Классово чуждым элементам не затаиться в безвестности! Профилактическое обслуживание творческой интеллигенции позволило по агентурным материалам принять меры активизации разработок и подготовки их к оперативной ликвидации. Художники, отличающиеся от нас, активно разрабатываются. Поведение таких людей, клевещущих на наш государственный и политический строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике партии и Советского государства не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения. Изолированы Корнеев, Вебер, на долгий срок Юстицкий. Агентурное наблюдение осуществляется за Скворцовым, Щегловым, Русецким, Эккетром, Миловидовым – в 1936 году три месяца под следствием. В ходе социалистической культурной революции создаётся здоровая атмосфера, в которой не выживают чуждые элементы. Например, Кисимов, утратив работу в Саратове, поставил в Ленинграде спектакль «Кармен» – казалось бы, катайся как сыр в масле! – так нет же, утонул в 1948 году.

Удивляемся терпимости к подобным гражданам. Остаётся непонятным и вызывает удивление, почему и на каком основании государственные органы СССР разрешают Юстицкому жить на свободе в то время, когда советский народ, сплочённый в нерушимом морально-политическом единстве, ведёт борьбу против буржуазных предрассудков, когда советская интеллигенция достигает всё больших успехов в деле развития самой передовой в мире социалистической культуры, успехов в борьбе за ещё большую классовую зоркость, здоровое партийное чутьё, уменье распознавать врага в самом зародыше и беспощадно разоблачать и разбивать его. Враг всё более маскируется, но мы приверженцы сталинского учения об усилении классовой борьбы, – врага найдём повсюду! Разоблачая вредные уклонения от политики партии, мы солидарны с великим пролетарским писателем Горьким – *не сдающегося врага – уничтожить!*

Для нас пример – страстная и беспощадная борьба основоположников и вождей большевистской партии Ленина и Сталина за чистоту марксистско-ленинской теории, их знаменитые труды, в которых разработаны идеологические, организационные, тактические и теоретические основы большевизма и впервые в марксистской литературе вскрыты идейные истоки оппортунизма, стремящегося подчинить советский народ буржуазной идеологии, внести в него разложение и парализовать его волю в борьбе с капитализмом.

Партия учит распознавать врага в самом зародыше, уметь беспощадно разоблачать и разбивать его. Чем больше успехи социалистического строительства, тем сильнее сопротивление капиталистических элементов. Классовый враг окончательно **не добит**. Его агентура внутри советской страны до конца **не уничтожена.** Большевистская партия, возглавляемая великим **Сталиным**, до конца оста-

лась верной ленинским заветам. Она с таким же ожесточением, с такой же непримиримостью, как и **Ленин**, обрушивалась и обрушивается на всех врагов социализма.

*

...пускай сотни газет, как бы они там ни назывались – социалистические, почти-социалистические и пр., пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам: «диктаторы», «насильники» и т. п. слова, МЫ знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос; они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьём, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. – В.И. Ленин. ПСС. Т. 35. С. 260.

Утилизация образованного населения

Он (Толстой) *рассуждает отвлечённо, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов* (В.И. Ленин. Л.Н. Толстой и его эпоха. 22 января (4 февраля) 1911 г.) – Л.Н. Толстой. Т. 1. М.: Изд. «Правда». 1948.

В письме А.М. Горькому, отправленном 15 сентября 1919 года в Петроград, В.И. Ленин утверждал, что интеллигенция – *на деле это не мозг, а говно нации.*

Ленин В.И. ПСС. изд.5-е. М.: Изд. политической литературы, 1970. Т. 51. С. 48-49.

*

Ленинизм воплотил в себе все лучшие традиции русских революционеров-демократов XIX века. Наша советская культура возникла, развилась и достигла расцвета на базе критически переработанного культурного наследства прошлого. Наша партия устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков – Чернышевского, Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Плеханова, Луначарского – когда его идеологические изъяны корректированы Лениным.

С гордостью и счастьем видим мы, что являемся участниками самого великого культурного движения, какое видывали под луною, что призваны играть хотя бы и скромную роль в величайшей драме, которая близится к грандиозной и радостной развязке. И, оглядываясь на современных художников, мы констатируем, что в общем и целом они обслуживают только класс умирающий, живут паразитарными интересами, жалкими чувствами и идеями элементов отмирающих или хищнических, не умеют, не смеют, не могут отразить движение и надежды носителей светлого будущего (Луначарский А.В.). – А.Г. Соколов, М.В. Михайлова. Русская литературная критика конца XIX-начала XX века. Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1982. С. 136.

В великую эпоху 60-х годов, когда непосредственные наши предшественники, утописты-разночинцы, вели за собой новую (уже не дворянскую) колонну штурмующих старую Россию, они с некоторым сомнением относились к величайшему поэту русско-дворянской культуры – Пушкину...

Прошло несколько десятков лет. Реакционная эстетствующая интеллигенция, пошедшая на службу капиталу и отрекшаяся от неудавшегося народничества с почти ренегатской стремительностью, интеллигенция, начавшая устраивать утончённейший европообразный внутренний и внешний быт для себя и для своих жаждущих «культуры» богатых хозяев, стремится всемерно восстановить культ Пушкина, в то же самое время расшибая вдребезги авторитет великих шестидесятников. – А.В. Луначарский. Вступительная статья // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В шести томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1936. С. 65-66.

Горький в свое время говорил, что десятилетие 1907–1917 годов заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда после революции 1905 года значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, скатилась в болото реакционной мистики и порнографии, провозгласила безыдейность своим знаменем, торопясь развенчать те высокие идеалы, за которые боролась лучшая, передовая часть русского общества.

Ренегаты, скатившиеся из лагеря революции в лагерь реакции.

На свет выплыли символисты, имажинисты, декаденты всех мастей, отрекавшиеся от народа, провозгласившие тезис «искусство ради искусства», проповедовавшие безыдейность в литературе, прикрывавшие свое идейное и моральное растление погоней за красивой формой без содержания. Всех их объединял звериный страх перед грядущей пролетарской революцией.

По социальным своим истокам это была дворянско-буржуазная культура в тот период, когда дни аристократии и буржуазии были сочтены и когда поэты и идеологи господствующих классов стремились укрыться от неприятной действительности в заоблачные высоты и туманы религиозной мистики, в мизерные личные переживания и копание в своих мелких душонках.

Такова культура царской России, – маленькая, узкая личная жизнь с ничтожными переживаниями и совершенно далекая от народа. Это – культура десяти тысяч верхних слоёв старой дворянской России, обреченных, которым ничего уже не оставалось, как только вздыхать по «доброму старому времени». Помещичьи усадьбы екатерининских времен с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, любовными беседками и обветшалыми гербами на воротах. Дворянский Петербург; Царское Село; вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Все это кануло в невозвратное прошлое! Осколкам этой далекой, чуждой народу культуры, каким-то чудом сохранившимся до наших времен, ничего уже не остается делать, как только замкнуться в себе и жить химерами.

Что общего между той культурой и интересами нашего социалистического общества и государства? Ровным счетом ничего. Индивидуальное творчество – дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо. Наша советская культура – не частное предприятие.

Все эти «модные» течения канули в Лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали.

Призывая нас глубоко овладевать учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, А.А. Жданов говорит: – *Наше знание должно быть действенным. Оружием революционной теории надо владеть в совершенстве – оно должно разить врага, под какой бы маской он ни скрывался.*

Художник – боец передовой линии идеологического фронта

«Искусство победившего социализма».

Все эти «Голубые розы», «Бубновые валеты», «Ослиные хвосты» и прочие порождения декадентской и формалистической эстетики несли в себе реакционное содержание, утрачивали национальную независимость в области художественного творчества, одурманивали и духовно растлевали народ. – Редакционная статья. Художник – боец передовой линии идеологического фронта // Искусство. 1947. № 6 (ноябрь-декабрь).

Продолжение следует

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын *(документальные исследования)*: agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru
Алексей Слаповский *(проза)*

Сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 15 октября 2018 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.